Мих. Старицкий

Дніпро

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Твори у восьми томах

Видавництво художньої літератури
„ДНІПРО“
Київ—1965

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Том п'ятий

КНИГА ДРУГА

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Трилогія

Видавництво художньої літератури
„ДНІПРО"
Київ—1965

Редакційна колегія:
М. Д БЕРНШТЕЙН, М. П. КОМИШАНЧЕНКО,
Н. І. ПАДАЛКА, І. І. ПІЛЬГУК

Упорядкування *І. І. Стешенко*

Примітки *В. У. Олійника*

Редактор тома *М. Д. Бернштейн*

КИЇВСЬКА КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ № 4

Буря

Исторический роман из времен Хмельниччины

I

Широко раскинулись дремучие леса от северной границы степи Черноморской до истоков Тясмина, Ингула, Большой Выси и Турьей реки [1]. Раскинулись они темною пеленой, окутали прохладною тенью тихие реки, прозрачные озера, зеленые болота. Шумят над ними могучие, столетние дубы, высокие, светлые ясени, широколиственные клены, раскидистые яворы да мрачные, холодные сосны, не согретые в самый жаркий, солнечный день.

Весело, шумно и привольно в лесах и в безбрежной степи.

Выглянет из-за дерева голова буй-тура *, подойдет стадо лосей к воде, промелькнут вдали пугливые серны, или любопытная белка перепрыгнет с ветви на ветвь. Эх, много обитателей в дремучих лесах! Вольно бродить им повсюду: всем хватит и пищи, и места... Разве когда прозвучит в зеленой глубине удалая козацкая песня и всполошит любопытный звериный народ. Много в лесах и непролазных болот, и заповедных тропинок, есть где укрыться и гонимым людям от жестокой панской руки.

Много лилось в этих дебрях неповинной крови, много глушилось стонов под сводами вековечных лип, много раздавалось криков отчаянья и безумной отваги... Где ж вы теперь, свидетели давнего горя и славы? Где вы, Мотроновские, Круглые, Лебедянские леса? Где вы, тихие реки, прозрачные озера, безбрежные степи? Остались одни имена ваши среди груды мертвых страниц...

Пронеслась над роскошным краем буря господня; разметала, сожгла заповедные пущи, высушила реки,

---

* Буй-тур — дикий бик.

засыпала болота. Превратила роскошный край в печальную руину, понагнула головы прежних героев, притупив их к ударам роковой, неотразимой судьбы...

Нет вас, дремучие леса, нет вас и сильные люди! Остались одни лишь могилы да безводные байраки с торчащими пнями на сожженной степи, на широкой братской могиле, что протянулась от Черного моря вплоть до Ингула, до Турьей реки.

Мир вам, великие тени! Спите спокойно! Полегли вместе с вами и ваши верные други. Осталась одна только слава, да и та уснула с вами рядом под сырою, холодною землей...

А ударят сильные руки в звонкие струны старой бандуры — и подымется она из безмолвных могил и снова полетит на могучих крыльях над заснувшею родною землей!..

Светало. Была пора, когда мрак в дремучем лесу сгущался еще больше, то принимая неясные очертания чудищ, то ютясь черными клубами у корней дерев; только по световым пятнам, проглядывавшим изредка между густою листвой крон, можно было заметить, что горизонт уже побледнел и что звезды начали уже тонуть в этой прозрачной лазури.

Внизу было страшно сыро и пахло болотом. Хотя это был сентябрь месяц, но утренники донимали уже плохо прикрытого обитателя этих трущоб.

Послышалось вблизи резкое характерное фыркание, затрещал камыш, крякнула всполошенная дикая утка, и опять настало молчание.

Между группою высоких вязей, стоявших на небольшом пригорке, чернело теперь едва заметное отверстие; оно вело в тесное логовище крупного зверя.

— Ох, опять день! — послышался из пещеры слабый стон.— Опять тревога и пекельная мука!.. Брось ты меня, ради бога! Моя жизнь покалечена, а твоя еще пригодится.

— Полно, полно, друже,— ответил на это более нежный и мягкий голос.— То голод и лихорадка навели на тебя отчаяние... И какая клятая доля,— продолжал тот же голос.— Едва спаслись в этой трущобе, как окружила лес конница.

— Не ради нас же?

— Кто их знает! Полеванье, что ли!

— И без конницы я колодою лежу,— простонал другой голос.— Прошпыгнула каторжная пуля ногу, и не повернешь. Хоть лбом бейся, не повернешь. Как будто и не козачья нога.

— Поправится, лишь бы из западни вырваться,— утешал более мягкий голос.

— Горит у меня все,— прошептал после некоторой паузы первый голос.— Хоть бы капельку холодной воды.

— За́раз, за́раз,— ответил бодро товарищ, и из норы выползло существо до такой степени исхудалое, что напоминало скорее выходца из могилы. Рубище висело на нем лохмотьями; сквозь дыры светилось изможденное ссадинами и синяками тело; земля во многих местах пристала к нему и свешивалась, держась перепутанными корнями. Глубоко ушедшие в орбиты глаза горели лихорадочным огнем. По внешнему виду трудно было различить пол этого таинственного обитателя, только взбитые копной и перетянутые узлом волосы обличали в нем женщину.

В лесу стало несколько светлее. Клубившийся мрак принял теперь нежные, голубоватые тона и разостлался молочиым туманом между гигантских стволов дерев, не ведавших пока ни пилы, ни секиры.

Как дикий зверь, изгибаясь и пролезая между кустарниками, доползла эта несчастная до источника, зачерпнула в какой-то черепок воды, завернула оттуда в другую берлогу, перекинувшись двумя-тремя словами с такими же жалкими обитателями, и возвратилась к своему убежищу. Подползая к нему, она заметила, что две лисицы сделали вокруг норы несколько узлов и скрылись в чагарнике; боясь, чтобы следы их не привлекли сюда гончих и доезжачих, она тщательно разбросала слой пожелтевших листьев, а потом уже возвратилась к своему умирающему другу. Тот с жадностью прильнул губами к чистой прозрачной воде и пил ее, дрожа всем телом, пока не почувствовал некоторого облегчения от снедавшего его внутреннего огня.

— Вот еще сыроежек принесла я тебе,— высыпала она из-за пазухи кучу красноватых грибов.— А Степан наш плох,— добавила она.— Заходила к ним, без памяти лежит. Все зовет жену и детей.

Раненый ничего не ответил на это, только со стоном повернулся в берлоге и замолчал.

А у опушки леса уже собиралась пышная охота пана старосты; богатством ее он хотел пустить всем пыль в глаза.

Целые полчища доезжачих были одеты в особую форму. Высокие ботфорты, засунутые в них узкие зеленые рейтузы, сверху такого же цвета венгерки с массою переплетавшихся по всем направлениям шнурков и кистей. Каждый из них держал в одной руке на ретязе пять смычков гончих собак-огар, в другой — длинный бич. Через плечо имелся небольшой, но звонкий рожок, а за зеленым шелковым поясом у всякого был засунут кинжал и пистоль. Огары, от светло-желтой масти до черной с подпалинами, жались к ногам своих доезжачих, жмурились, визжали и, перепутываясь между собою, грызлись с досады; припугнутые бичом, они ложились на спину и покорно, с полным смирением поджимали ноги.

Начальником над доезжачими был, очевидно, шляхтич. Одежда его, такого же типа, отличалась особенною пышностью; она была расшита дорогим гафтом, украшена серебряными аграфами, а шнурки и кисти сверкали золотом.

Борзятники все были на конях быстрых и легких для бешеной скачки; на них был какой-то фантастический костюм из коричневого сукна с синим едвабом; на головах были надеты шапочки с плюмажем * из перьев крисы-вороны. На длинных сворах суетились и прыгали подле них с радостным лаем густопсовые хорты.

Борзятники заняли места подальше вдоль опушки, охраняя всю линию, чтобы зверь не прорвался в открытую безбрежную степь.

Но особою вычурностью отличались костюмы сокольничих и корогутников; они пестрели разноцветными шелками, напоминая костюмы немецких рыцарей, а чрезмерною яркостью цветов — нарядных шутов.

Вся эта яркая картина стройных мысливских команд, обрызганная первыми лучами восходящего солнца, нарушалась задним планом: там стояли целые массы загон-

---

* Плюмаж — оздоба з пір'я на шапці чи жіночому капелюшку.

щиков, согнанных сюда из нескольких соседних селений. Унылые, исхудалые лица, рваная одежда и тупое равнодушие не гармонировали с праздничным настроением и нарядностью сытой, самодовольной толпы.

На дорогом арабском коне прискакал пышный всадник, очевидно, ясновельможный пан и важный начальник. На нем был роскошный кунтуш из блаватасу, отороченный дорогим соболем. Сбруя на коне и оружие пана сверкали драгоценными самоцветами. Отдуваясь от быстрой езды, он осматривал выпученными глазами охотничьи отряды и подергивал в каком-то раздражении свои торчащие и закрученные вверх усы.

— Пане! Пане Ясинский! — крикнул он наконец резко, обратясь в сторону старшего доезжачего.

— Служу пану! — подскакал тот и осадил коня на почтительном расстоянии.

— А что, все ли готово? — спросил тот у ловничего, подымая искусственно тон.

— Все, как желал егомосць,— ответил, наклонив голову, ловничий,— полагаю, что и ясновельможный пан староста, и его именитые гости останутся довольны охотой.

— А много обойдено зверя?

— Штук десять вепрей-одинцов, трое зубров, множество серн, оленей... я уже не говорю про барсуков и бобров.

— А этого знаменитого пана писаря нет еще?—спросил, понизив голос, вельможный пан, пристально оглядывая окрестность.

— Приедет, он падок до панской ласки, — пожал презрительно плечами ловничий.— Все они, псы, только из зависти ненавидят шляхту, а дайте им, пане добродзею, почет и пенендзы *, то такими сделаются заядлыми шляхтичами... Э, пся крев! — махнул он с сердцем рукой.

— Пан, кажется, недолюбливает их, особенно с того времени,— прищурился язвительно шляхтич,— как побывал в их руках?

— А, будь они прокляты! Разрази их перуны! — побагровел даже от злости Ясинский.— Смерть им и муки!

---

* Пенендзы — гроші.

— Но как ты мог вырваться из рук этого дьявола Кривоноса? Почему он не содрал с тебя с живого шкуры? — допекал пышный пан расспросами и разжигал Ясинскому еще не зажившую рану.

— Единый бог и матка найсвентша спасли меня,— прижал кшижем * к груди руки Ясинский.— Ой пане подстароста, если бы ваша мосць знали, что то за бестии, что то за звери! Меня вельможный пан послал тогда известить князя о Кривоносе... Правда, я уже чересчур зарвался своею храбростью, ну, меня и схватили... Натурально,— один на сто,— не устоишь! Перебил я десятка два этой рвани, а все-таки взяли,— махал себе в разгоряченное лицо шапкой Ясинский.— Другой бы стал унижаться, проситься, и хлопы бы смиловались; но я не такой: всю родню ихнюю распотрошил, а кто ближе подойдет — в ухо! Не могу, гонор есть! Ну, меня этот двуногий сатана велел было вешать, но Чарнота просил остановить казнь и подождать Хмельницкого, что тот, мол, натешится... Обрати, пане, внимание, что этот тайный и ловкий зрадник в одной шайке с ними... Вот меня связали, заткнули рот и бросили пока в балке под Жовнами, прикрыв хмызом, а сами отправились, кажись, под Лубны... Лежу я день, лежу другой, вижу, конец приходит. Начал я выть и веревки рвать, ничего! Веревки только врезываются в тело, хмыз колет глаза, лицо, земля лезет в горло, а вытье мое еще примануло волков. Вижу, конец. Начал молитву читать. Вдруг что-то — тарах, тарах! И на меня! Я обмер. А это был именно мой спаситель: какой-то хлоп ехал, лошадь его испугалась волков, ударила в сторону и опрокинула повозку на меня. Таким образом был я обнаружен и спасен,— расстегнул даже от волнения жупан Ясинский.

— Так ты готов им мстить? — спросил подстароста, понизив голос и пронизывая Ясинского пытливым взором.

— Месть и истребление! Вот, пане, мой лозунг до смерти.

— И сегодня не раздумал? — проговорил еще тише и вкрадчивее подстароста.

— Мое слово — кремень,— ответил напыщенно Ясинский,— но для вельможного пана я готов рискнуть и головой.

---

* Кшижем — хрестом, навхрест.

— И пан никогда не раскается, вечная благодарность и дружба,— бросал, отдуваясь, фразы подстароста,— да и риску никакого: в темном лесу так легко ошибиться прицелом—на полеванье бывает столько печальных случайностей, а пан плохой стрелок.

— Да, ясный пане, очень плохой,— улыбнулся хвастливо ловничий,— на сто шагов попадаю в око.

Пан подстароста Чаплинский засмеялся и, потрепав ловничего одобрительно по плечу, поехал с ним вместе выбрать место, с которого было бы лучше начинать гон.

Между тем, к сборному пункту начало подъезжать и пышное панство, потянулись элегантные экипажи, рыдваны, колымаги, кареты, окруженные блестящими кавалькадами. Экипажи были запряжены чистокровными лошадьми встяж и управлялись кучерами с бича. В первой карете ехал местный пан староста, еще молодой годами, но уже с изношенным и помятым лицом. В другой карете ехал важный магнат князь Заславский. В открытых экипажах ехали более или менее тучные вельможные и простые паны.

Между кавалькадами гарцевала на лихом скакуне эффектная красавица. Рыжеватые волосы ее оттеняли необычайную белизну ее кожи; карие глаза ее сверкали огнем из-под густых бархатных бровей; во всей фигуре ее было что-то огненное, жгучее...

Пушистые ковры были уже разостланы на пригорках; на них были накинуты в беспорядке шитые шелком подушки. Общество разместилось. Появились повара и лакеи из особенных специальных фургонов.

В это время к панству подъехал грациозным аллюром человек лет сорока пяти. На свежем, мужественном лице его играли энергия и сила. И по осанке, и по одежде всадника смело можно было признать за уродзоного шляхтича.

— А, пан писарь, наш генеральный писарь! [2] — произнес подстароста, посматривая с недоумением кругом,— а где же пышна крулева? Неужели она осталась дома? Тогда это ясное, ласковое утро превратится в зловещий мрак.

— Панна Елена сейчас приедет,— ответил сухо пан писарь.

— А, спасибо, спасибо, сват! — обрадовался чрезмерно Чаплинский,— и от себя, и от всего панства бла-

годарю я! Потому что панна Марылька... никак я не могу привыкнуть к новому имени,— уронил он с презрением,— да, полагаю, наша пышная панна приведет здесь всех в небывалый восторг: нет ведь на всем свете другой такой звездочки!

Неприятная дрожь пробежала по телу у пана писаря, но, подавив в себе негодование, он молча подошел к знакомой ему шляхте. Сам пышный пан староста любезно кивнул ему головой и процедил сквозь зубы: «Прошу пана сесть!»

II

Утро разгоралось яркое и блестящее. День обещал быть роскошным, одним из тех дней, которыми нас дарит на прощанье осень и про которые сложилась даже пословица: «Хто вмер, той кається, хто жывый, той чваныться».

Лес в своем пышном осеннем уборе сверкал под лучами яркого солнца всеми оттенками золота и бронзы; кроны деревьев, как грандиозные купола, теснились и толпились в долине и вновь подымались за нею, убегая широкими волнами в синеющую даль. Между светло-золотыми покровами клена вдруг подымался иногда, словно мрачный монах, почерневший глод; напротив него ярко алел, точно обрызганный кровью, молодой берест; вокруг темного дуба вился в иных местах дикий виноград, щеголяя своими лиловыми листиками.

Вся эта смесь мягких переливов тонов с яркими переходами, все это подавляющее величие векового леса производили неотразимое впечатление. Рыжеволосая красавица не могла устоять от восторга и шумно высказывала свои впечатления молодому, нежному пану.

— Ах, мой пане, какая прелесть, какая роскошь! Этот предсмертный наряд так прекрасен. Я непременно устрою себе такой же.

— Позвольте! — восклицал молодой обожатель. — У пани источник жизни и света, пани не увядающий лес, а лучезарное солнце!

— Вот то-то, пане, и худо,— вздохнула с очаровательною улыбкой красавица,— от солнца все прячутся

и — прямо в лес, а когда я облекусь в умирающие цвета, мне будут оказывать больше трогательного внимания... Сам пан почует новую волну в своем сердце.

— Ну, пани Виктория! — всплеснул руками пылкий шляхтич,— ничего уже с моим сердцем статься не может: все оно перетлело в уголь.

— Ах, бедный,— уронила с сожалением пани Виктория,— какое же у пана непрочное сердце!

— Агей, до забавы! — раздался в это время громкий возглас пана господаря.

— Начинать пан прикажет? — подскочил Чаплинский.

— Да. А что, у пана отмечены лучшие места для моих почетных гостей?

— Отмечены, пане!

— Мне бы особенно хотелось угодить князю Заславскому. Я ему уступлю свое место. Вероятно, вы для хозяина приберегли самое лучшее?

— Конечно, ясновельможный пане,— поклонился подобострастно Чаплинский и затрубил в серебряный рожок.

На этот призывный звук ответили и из глубины леса, и из дальних опушек другие рожки, давая тем знать, что все на своих местах и ждут распоряжений. Пан староста чигиринский знаком пригласил своих гостей пожаловать в лес, а пан подстароста начал их расставлять по звериным тропам. Пану писарю указано было место гораздо ниже, в непроходимой трущобе, которая и поручалась ему одному.

«Уж не желают ли они выгнать на меня медведя?» — подумал пан писарь и осмотрел свой отточенный, дорогой ятаган.

Когда именитые гости стали на своих местах, тогда Чаплинский предложил пану старосте занять излюбленное им место; оно находилось хотя немного и дальше, но зато представляло единственный лаз для зверя, так что все ушедшее из леса от пули должно было натолкнуться неизбежно на притаившегося здесь мысливца. Молодой Конецпольский одобрил предложение и пошел вслед за подстаростой вверх по опушке.

— Вельможный пане, — остановился Чаплинский, пропуская пана старосту вперед,— как вы насчет Субботова, о котором я вам вчера говорил?

— А что? — повернулся быстро пан староста, думавший совсем о другом.

— Да то, что Хмельницкий владеет им незаконно...[3] jus occupandi *, не имея на то никаких закрепляющих документов; ведь это земли, принадлежащие к староству, значит, каждый пан староста может наделять их кому хочет, но только за своего панования, для нового же старосты постановления предшествующего не обязательны.

— Но пан забывает,— возразил с некоторою досадой молодой Конецпольский,— что предшественником моим был на этот раз мой отец, которого я глубоко чту и воля которого для меня священна.

Этими словами был нанесен намерениям Чаплинского смертельный удар, и он, почувствовав его, как-то съежился, согнулся и замолк; потом уже, спустя несколько времени, овладев собою, он начал снова тихо и вкрадчиво, в интересах лишь самооправдания:

— Но достоуважаемый панский родитель, воля которого и для всех нас должна быть священной, в последнее время изменил свое мнение о войсковом писаре; егомосць заявил публично сожаление о том, что оставил эту беспокойную голову в живых.

— Говорят, хотя я этого сам и не слыхал,— ответил раздумчиво староста, — во всяком случае отец намекнул бы мне, что Хмельницкий пользуется его даром недобросовестно, что насколько он прежде своими доблестями был полезен нашей милой отчизне, настолько теперь стал явным врагом Речи Посполитой.

— Стал врагом, изменником... Есть свидетели, что он принадлежит к шайке Кривоноса, а панский отец, первый вельможа, государственный деятель, стоящий превыше короля, конечно, был занят более важными интересами, чем следствием про быдло... Наконец, женитьба, недуг,— нашептывал льстиво Чаплинский.

— Д-да, но пан забывает, что сам отец изменил свои политические убеждения, стал поддерживать короля... стал восставать против золотой нашей свободы...

— Эх, вельможный мой пане, такие слухи распускает про ясноосвецоного магната лишь быдло козачье, вот вроде этого писаря, чтобы высоким именем произвести смуту... О, поверьте, вы отогреете за пазухой змею!

---

* Правом захоплення *(лат.)*.



М. П. Старицький. *Фото.*

— Быть может, да я и сам его недолюбливаю,— потер себе лоб староста,— не доверяю его льстивым речам. Но чтобы явно нарушить распоряжение отца — ни за что! Голову скорее сниму ему, если уличу в измене, а унизиться до грабежа хлопа — не унижусь!

— Я преклоняюсь пред высокими понятиями о рыцарской чести, которые вельможный пан в себе воспитал,— поклонился ниже ободренный Чаплинский,— только во всяком случае повторяю, что это человек очень хитрый и крайне опасный... Его бы удалить, обрезать...

— Д-да, кабы Перун разразил его, то я был бы рад,— улыбнулся пан староста,— а зацепить человека без всякого с его стороны повода считаю недостойным себя.

— А если бы кто совершил над пресловутым писарем или над его имуществом какое-либо насилие,— впился в старосту расширенными зрачками Чаплинский, осененный какою-то жгучею мыслью,— то вельможный пан посмотрел бы на это сквозь пальцы?

— А мне что? — пожал тот плечами,— для удовлетворения и личных обид, и имущественных имеются особые суды, жалуйся!

— Совершенно верно! — даже захлебнулся от восторга Чаплинский.— Вот и место! — указал он разбитый молниею ствол липы.— К этому пню сбегаются все тропы. Ну, счастливого полеванья, коханый мой пане! — поклонился он и, не чуя земли под ногами, побежал вдоль опушки дать сигнал к началу гона, а сам решил отправиться с дамами, и особенно с панной Марылькой, на более интересную охоту...

Осмотрелся еще раз пан писарь, снял дорогую черкесскую винтовку, подаренную ему приятелем Тугай-беем, проткнул иглой затравку, подсыпал на пановку свежего пороха и поправил кремень; осмотревши ее еще со всех сторон, прикинувши раза два-три на прицеле, он остался, наконец, доволен рушницей и поставил ее у ствола березы, за которым притаился и сам; такому же тщательному осмотру подверглись и его турецкие пистолеты, и ятаган, и кинжал, и даже охотничий нож. Успокоившись насчет оружия, писарь начал приглядываться к местности, которой ему пришлось быть хозяином.

Словно очарованный, стоял задумчивый лес. Все было спокойно под высокими светлыми сводами. Только пятна ярких цветов медленно передвигались на них, то сверкая световою игрой, то сливаясь в прихотливые радуги. Внизу было светло; но свет, проникавший сквозь толщу зелени, принимал здесь фантастический золотисто-голубоватый оттенок. Толстые стволы вековых дерев, по мере удаления, окрашивались больше и больше в синий цвет, так что глубина леса казалась вся синей... Только в иных местах прорвавшиеся сквозь листву солнечные лучи обрызгивали яркими бликами гигантов и нарушали световую гармонию.

В лесу стояла чуткая тишина; одни лишь дятлы прерывали ее, и эхо звонко разносило по лесу их постукивания. Здесь, в глубине леса, тянуло сыростью, и в воздухе, хотя и мягком, чувствовалась уже ободряющая свежесть, предшественница грядущих морозов.

Торжественный покой дремучего леса смирил поднявшуюся было бурю в сердце прибывшего гостя и навеял поэтическое затишье: только внутренний охотничий жар медленно распалял его и заставлял вздрагивать сладостным трепетом сердце. Он присматривался и приглядывался к каждому кусту, к каждому валежнику... Ничего нигде... ни лесной мыши!.. Только по другой стороне оврага заколебалась какая-то тень. Не лисица ли это? Они чутки и удирают до наступления опасности. Но нет!.. Лисица на таком расстоянии — не более кошки, а это что-то другое...

Пан писарь начал зорче следить за этим местом и, наконец, убедился, что там, за дубом, прячется тоже какой-то охотник.

Пану писарю это показалось странным. Всегда на таких охотах места приглашенным гостям отводились разборчиво, и никто из посторонних не смел ни перебегать, ни занимать отведенного другому места, а здесь непрошенный товарищ захватил его место. Мало того, захватчик находился ближе к узкому овражку, по которому обязательно должен был проходить зверь, а потому ему, хозяину места, оставалось быть только благородным свидетелем.

«Не насмешка ли это? — недоумевал пан писарь.— Вряд ли... Но кто же там? Уж не воровски ли прокравшийся охотник? То-то он из своей засады так зорко сле-

дит за мной, точно боится, чтобы я его не заметил. Экий злóдий! Ишь, блеснуло что-то... О, снова! А впрочем, ну его и с этой панскою охотой, и с хамскою услугой! Запалить люльку, чтоб дома не журились!..» — порешил он наконец и полез за кисетом.

Сначала у него возмутилась было охотничья жилка; но досада, что кто-то другой перебил его место, взяла верх. Коли портить, так портить: «Як не мени, так и не свыни!» Он расстегнул немного жупан, опустил пояс и снял даже шапку, повесив ее на сучке, так как ему от ходьбы и от волнения было душно, и, набивши тютюном люльку, с наслаждением затянулся едким дымом.

Вдруг далеко впереди раздался рожок, но не робкий и нежный, а дерзкий, вызывающий. За ним откликнулись хором другие, и вслед за тем послышался глухой шум, словно возрастающий прибой немолчного моря.

Вздрогнул пан писарь и машинально погасил большим пальцем огонь в люльке; потом, поддаваясь охватившей его охотничьей страсти, взял в руки винтовку и начал выискивать, куда бы ему перескочить или переползти, чтобы стать повыгоднее таинственного товарища. Он заметил, что вправо от него тянулся густой дикий терновник и, загибаясь дугой, спускался к самому дну балки, где перемешивался уже с камышом и ракитником, там же за ним стояло дупластое, толстое дерево, и, очевидно, направление оврага было на одной линии с ним. Сообразив все в одну минуту, Богдан нагнулся, пробежал это пространство и стал за деревом. Место оказалось действительно лучшим: теперь дно балки лежало прямо перед ним и позволяло следить за приближающимся зверем на далеком расстоянии. Злорадная улыбка пробежала по лицу пана писаря: «Ну, уж во всяком случае теперь я буду первый стрелять, а ты, злóдий, воображай, что я дурень, что я все на старом месте стою!.. Однако, его за горбком и не видно отсюда»,— бросил он пристальный взгляд по направлению к засаде и потом, повернувшись лицом к гону, онемел, застыл, весь обратясь в напряженное внимание.

Шум возрастал. Эхо, проснувшись, понесло его гулко под широкими сводами леса. Вот к неясному гулу присоединилось робкое и визгливое тявканье гончих; за ним через несколько мгновений откликнулся более хриплый песий бас; потом еще и еще... и вдруг вся стая залилась

сотнями разнообразных, преимущественно трогательно плачевных с подвыванием голосов. Лес словно вздрогнул и насторожился.

Сердце у Богдана забилось тревожно; он еще пристальнее стал следить по направлению приближающегося шума. Вот промелькнула лисица... пошла, кажись, на товарища... вот другая мелькает по левому, крутому спуску оврага... остановилась, понюхала кругом воздух своею острою, почти черною мордочкой, махнула длинным пушистым хвостом и направилась прямо на него.

Фу-ты, какой матерый лис! Спина темная-темная, хвост по краям чуть серебрится и только на брюхе подпалины, но тратить на такого малого зверя пулю не приходится: наши деды берегли ее лишь для крупного зверя, с которым и побороться было любо, а мелкого или травили, или ловили в капканы.

Но вот невдалеке, на дне балки, в самой трущобе, раздался приближающийся треск и ускоренное фырканье. Богдан вздрогнул, взвел курок и взял ружье наперевес, прикипевши к дупластому дереву.

III

Через мгновение показался и зверь,— огромный дикий кабан выставился наполовину из терновника, чтобы сообразить дальнейшее бегство. Чудовищная голова, непропорциональная даже туловищу, опустивши рыло, изрыгала со свистом и храпом клубами пену и пар; налитые кровью глаза злобно сверкали; обнаженные и загнутые назад клыки ярко белели на черно-бурой шерсти; набитая сплошь древесной смолой и грязью, она обратилась в непроницаемую броню; единственными убойными местами представлялись лишь ухо да глаз. Богдан приложился и выжидал более удобного поворота головы. Вдруг раздался чей-то выстрел, Богдан вздрогнул от неожиданности. Зверь выпрыгнул из засады и, не видя врага, хотел было направиться в сторону, но опытный стрелок поймал его хорошо на прицел и послал вдогонку меткую пулю. Загремел выстрел, кабан ткнулся рылом в землю, приподнялся на передних ногах и начал мотать в одну сторону головой, точно желая достать клыками до уязвленного места.

— Убит! Дойдет! — потирал руки Богдан.— Вот так рушничка, спасибо Тугаю! — И он в восторге крикнул: «Го-го!», давая знать ближайшим ловничим, что зверь на месте и чтоб они поспешили; но зверь, услыхав крик, приподнялся снова и, шатаясь во все стороны, побрел налево в глубь леса. Вытянувши нож и оставивши у пня рушницу, Богдан бросился за ним в погоню. Однако смертельно раненый кабан, обрызгивая кровью стебли и кустарники, напрягал свои могучие силы и не только не замедлял шага, а, напротив, ускорял его. Теперь уже догнать его, по крайней мере без собак, становилось затруднительным; впрочем, стройный хор гончих гнал уже по пятам и возрастал в силе. Богдан начинал уже уставать, задыхаться, вдруг он заметил, что кабан провалился в какую-то яму и безнадежно барахтается в ней; тогда он бросился с удвоенною энергией на свою жертву, но последняя словно смеялась над ним, и в тот момент, когда победитель думал уже насесть на зверя, тот вырвался еще раз и скрылся в ближайшем чагарнике. Разгон Богдана был до того стремителен, что он не мог удержать бега и очутился сам в той же яме или берлоге, откуда только что вырвался вепрь. Упавши с разбега, Богдан почувствовал сначала боль от ушиба или вывиха, а потом до него донеслись из ямы человеческие голоса и стоны. Последнее обстоятельство поразило его; он нагнулся, чтобы узнать, кто там, но вдруг в глубине зарычал злобный голос:

— Если двинется — пулю съест.

— Раз маты породыла! — крикнул в яму Богдан.

— О, свой! — ответил кто-то радостно, но в это время вся стая гончих навалилась на жалкую берлогу; с воем и лаем принялись собаки рыть землю, а штуки три вскочили даже в самую яму. Богдан вытолкал их и, крикнувши: «Субботов!», выскочил сам на пригорок.

Стая как бы разделилась на три группы, рьяно лаяла и разгребала землю. Догадавшись, что и там, быть может, сидят такие же нежданные звери, как и в этой берлоге, Богдан бросился со всею энергиею отвлечь стаю, направив ее на следы красного зверя. Поймавши несколько гончаков, он наткнул их на свежие следы, обрызганные кровью, и когда они, затявкав, знаменательно понеслись запальчиво в чагарник, он направил туда и остальную, уже возбужденную товарищами стаю. Тог-

да только, убедившись, что ни одного доезжачего не было здесь, Богдан вздохнул свободно и, утирая рукавом жупана пот, обильно выступивший на его лбу, направился и сам замедленным от усталости шагом в эту трущобу. Недалеко в долине вся стая кружилась на одном месте, победно ворча.

А в это время спускались с пригорка к болоту два всадника.

Ехавший впереди всадник был пан подстароста, а следовавший за ним — пышная панна Елена, одетая в полупольский, полумалорусский костюм, отливавший светло-розовыми и светло-лиловыми тонами, она напоминала нежный цветок первой весны. У обоих всадников сидело на левой руке по хищной птице, накрытой с головы красным, разукрашенным колпачком. За пышным панством следовало в почтительном расстоянии еще несколько корогутников, с такими же ловчими птицами; внизу у болота стояли особые мысливые с легашами.

— Не мудрено, моя крулева, все это может наводить на разные догадки...— говорил искренно и убедительно подстароста, осаживая коня и пропуская Елену рядом с собой,— ведь панна целых два месяца не казала никуда глаз, не допускала к себе, точно замурованная красавица в волшебном лесу!.. Ездил я, ездил!

— Будто уж так часто? — бросила вскользь Елена с лукавою улыбкой.

— Разрази меня Перун! — вскрикнул подстароста.— Да хоть бы встретиться было, как в сказке, с змеем-собакою, хоть переломил бы на нем пару копий, потешил бы богатырскую удаль. Уж либо мне, либо ему, собаке. Да, на беду мою, змей-то субботовский сам прятался.

— Рыцарство делает пану честь,— метнула Елена блестящий взор в самое сердце подстаросты,— но, к сожалению, в Субботове не было при мне змея-стражника,— вспыхнула она легкою зарницей.

— А сам этот захватчик-владелец, где же он находился?

— Тато Богдан? — приподняла Елена с недоумением ресницы и потом сразу опустила их черной бахромой.— Он находился при сиротах-детях, то удалялся в пасеку молиться и грустить по жене...

— Го-го! Поверю! Сто чертей с ведьмой! Такой-то он, этот козак,—выкрикнул презрительно Чаплинский,— такой он нежный и страстный малжонек? *

— Пан Богдан,— подчеркнула Елена и побледнела, как лилия,— поступал шляхетно с женою и при жизни, и после смерти, тато мой вообще человек шляхетный.

— Ха-ха! И панна это утверждает, именно панна? Езус-Мария! — уставился он на нее своими выпуклыми светлыми глазами.

Елена вспыхнула до ушей и не нашлась, что ответить.

— Неужели же,—продолжал с горечью собеседник,— неужели пышная панна, крулева литовских лесов, привязана к нему, как дочь, или даже... я молчу! — спохватился Чаплинский.

— Тато мне,— ответила после некоторого молчания взволнованная Елена,— много, много сделал добра; он спас меня от смерти, вырвал из рук врага, защитил от преследования, поручил опеке магната, значит, дал эдукацию, и теперь любит, как родное дитя...

— Может быть, больше? Ведьма ему в глотку! — прошипел сквозь зубы, прищуривая глаза, спутник.

— Пане! — подняла гордо головку Елена и сверкнула молнией на Чаплинского.

— Пшепрашам,— съежился тот и перешел сейчас же в трогательно искренний тон...— Я верю, он сделал действительно панне несколько услуг, и он был награжден за них уже сторицею тем, что мог их сделать: я бы за одно это, за одну возможность, за близость к панне, отказался бы от рая... Як бога кохам! — проговорил он одним духом и потом, глубоко вздохнув, отер струившийся по лицу пот.

Панна поблагодарила его обворожительным взглядом и сконфузилась.

— Иные же дяблы-перевертни берут за свою услугу страшную плату...

Елена вспыхнула теперь вся до корня волос ярче полымя и отвернулась, чтобы скрыть набежавшие, непослушные слезы, а Чаплинский, не замечая, что своей наглостью нанес ей обиду, продолжал в ревнивом азарте.

— Такую несообразную, несоответственную плату,

---

* Малжонек — чоловік.

какую может заломить только жид или хлоп! Берут и не квитуют! * Когда можно поквитовать — не квитуют... Три месяца проходит, но что им тайные терзания жертвы! Хамский гонор важнее.

Последние слова попали так метко в обнаженную язву Елены, что она вздрогнула от боли, побледнела мгновенно и ухватилась рукой за луку седла. Чаплинский сконфузился, заволновался и бросился к ней.

— Сто тысяч ведьм мне на голову! Что я, старый дурень! У ног панских лежу! Раздави, а прости! Языка бы мне половину давно надо было отнять, он всегда выбалтывал то, о чем ныло сердце! — сыпал спешно подстароста, задыхаясь и ударяя себя кулаком в грудь.— Вот кто виноват! Вот кто! Око отравленное, полоненное!

— Но я-то, пане, ни в чем неповинна,— ответила наконец надменно Елена и обдала подстаросту таким холодом, что он задрожал как бы под порывом декабрьского ветра.— Да, наконец, я не просила пана об опеке,— улыбнулась она свысока,— а пан позволил себе, и несправедливо, такие речи, какие разрешаются только капеллану на исповеди.

— Милосердья! — прошептал, низко кланяясь и отводя далеко руку с шапкой, Чаплинский и весь побагровел от оскорбленного самолюбия. Потом, желая скрыть свое смущение, он заговорил сразу небрежным тоном.— Здесь осторожнее, панно, крутой спуск, я лучше проведу под уздцы вашу лошадь,— с этими словами он соскочил с седла и пошел впереди.

«Да, в этом-то он прав! — думала взволнованно Елена, уставившись в челку коня и покачиваясь в седле.— Богдану, видимо, мало нужды до моих мук! Все ведь поставила на карту, а он, кажется, больше дорожит мнением своих хлопов, чем моей честью. Что ж это? Или краса моя ему надоела, или он не понимает, какие оскорбления я терплю? — сжимала она больше и больше свои соболиные брови, и складка ложилась меж ними все резче и мрачней.— Краснеть при всяком намеке, при всяком подходящем, даже не на меня направленном слове. Выслушивать все замаскированные соболезнования... А! — втянула она в себя воздух дрожащими, раздувающимися от гнева ноздрями и отбросилась назад.—

* Квитовать — розплачуватися.

А если б? — она не договорила своей мысли и покрылась вся жарким румянцем.— Ведь могло же и может статься! Хорош бы был тогда для меня шестимесячный срок! Я ему месяц тому назад намекнула даже об этом... он всполошился было сильно, затревожился, побежал посоветоваться к отцу Михаилу, а потом мало-помалу затих, успокоился... Шляхетный вчинок!..— губы Елены сложились в саркастическую усмешку.— Уклониться хочет, что ли? Или он считает свои хлопские звычаи важнее меня?! После этого еще и та святоша может вернуться в мой дом и вытолкать меня вон? Так нет же, не пропали еще чары моей красоты! Почувствуешь ты мою неотразимую силу! Не ласка — ревность замучает тебя! А другая уже никогда не войдет в твое сердце...»

Пан Чаплинский вскочил вновь на коня и подъехал к Елене.

— Уже мы скоро у места, моя панно кохана,— начал он робко и потом добавил тихо, с умоляющим взором,— неужели панна лишит навек милостей своего покорного и верного, как пес, раба? Я же не хотел обидеть, а сердце глупое не могло сдержать своего порыва. Я уже и без того наказан, сильно наказан,— вздохнул он.

— Я не сержусь, пане,— улыбнулась печально Елена,— сиротам ведь и не подобает пренебрегать указаниями.

— Нет, не то, я понимаю шляхетную гордость, я сочувствую ей. «Не лезь в друзья, коли не просят», но не могу удержаться, не могу,— правда за язык так и тянет... Ну, ну, умолкаю! Нем, как рыба. А вот, что я хотел сообщить и панне для соображений, и даже свату, это значит вашему тату, для сведений,— начал он деловым тоном, заставив Елену серьезно прислушиваться к его словам.

— На последнем сейме в Варшаве наш почтенный король уличен в намерениях, направленных против нашей золотой воли и конституции, то есть просто был уличен в государственной измене [4].

Елена взглянула на него изумленными, недоумевающими глазами, да так и застыла.

— От него теперь отняли почти всю власть, расстроили все мероприятия,—продолжал, смакуя, Чаплинский,— но с клевретами его думают поступить еще строже, а особенно с более мелкими и сомнительного происхожде-

ния. Таким песня во всяком случае спета, имущество их будет сконфисковано, а, пожалуй, многие из них не досчитаются и голов.

— Ай, на бога! — закрыла панна глаза руками.

— Панно, богине, стоит ли такое зрадливое быдло жалеть? Катюзи по заслузи! — пожал он плечами.— Вот свату моему не мешало бы осмотреться.

— А что? — повернулась быстро Елена.

— Да ведь он все терся у уличенного уже Оссолинского, бывал у короля, ему давались какие-то поручения, на него решительно падает подозрение.

— Я что-то не понимаю,— заговорила Елена, подняв на Чаплинского сухие глаза,— значит, и Оссолинский всего ожидать может?

— Всего не всего, а удаления от должности — верно.

— А мой тато всего за то, что был предан королю и первым сановникам ойчизны?

— Дитя мое, король сам есть раб ойчизны, раб Речи Посполитой,— толковал докторально подстароста,— если он требует чего-либо незаконного, вредного для нашей свободы, то повиноваться ему в таком разе преступно. Сват мой поступал неосторожно, и ему нужно оправдаться серьезно, не то рискует всем... Речь Посполитая к внутренним врагам своим немилосердна. А он не к часу против меня нос дерет!.. Заискивать бы ему у меня нужно, потому что я и в Кракове, и в Варшаве, и в Вильно имею руку... меня все знают, имя пана Чаплинского гремит по всей Литве и Польше! — Голос его звучал все заносчивее и злобнее.— Здесь ему, если и не найдут улик, трудно без поддержки устоять, а я, напротив, расцветаю в силе: староство все и теперь в моих руках, владения Конецпольских под моими ногами, мои собственные во всех углах Литвы... Умрет старый Конецпольский, сын перейдет в Подолию, а я останусь здесь настоящим старостой,— подкручивал усы Чаплинский, закусив удила...

Елена смотрела на него новыми, изумленными глазами и все бледнела... В голове у нее кружился какой-то хаос... в сердце стояла тупая, докучливая боль.

— Да что староста?! — увлекался в азарте Чаплинский.— Мне предлагали польного гетмана, а от польного до коронного один шаг. Уродзоный шляхтич, моя панно едына, не хлоп, да если еще тут и тут,— ударил он себя

по голове и карману,— полно, то он может захватить в свои руки полсвета.— И, почувствовавши, что произвел впечатление речью и эффектно закончил ее, захлопал в ладоши и бросил в сторону Елены изысканно любезно: — Пыльнуй, пышна крулево, забава начинается... нужно держать правою рукой за колпачок сокола, и как только вылетит цапля, или утка, или гусь из-под собак тех, что вон по берегу рыщут,— то нужно сейчас же сорвать с птицы колпак и указать на добычу...

— Ах, как это волнует,— ответила Елена с милою улыбкой, уже совершенно овладев собой.

С шумом поднялась из тростника большая цапля; широко взмахивая своими выгнутыми крыльями и вытягивая сложенную чуть ли не втрое шею, она медленно повела головой с длинным клювом и, описав в воздухе полукруг, направилась на тот же берег назад, ближе к лесу.

В это мгновенье Чаплинский сорвал колпачок со своего кречета и крикнул Елене: «Пускайте!» Но панна растерялась, отняла руку от колпака и оставила в темноте сокола, а тот еще крепче впился в руку своими согнутыми когтями.

Грациозный, легкий, оперенный красивою рябью, которая на голове сливалась в один темный тон, а к хвосту расходилась волною, кречет снялся с руки и мелкими, частыми взмахами перпендикулярно поднялся вверх, точно кобчик, чтоб рассмотреть, где добыча. Заметив же ее, понесся наперерез стрелой. Цапля, завидев своего смертельного врага, всполошилась и начала торопливо подниматься вверх; она изменила первое направление и повернула клювом к врагу, стараясь до встречи подняться как можно выше, чтобы постоянно находиться над кречетом.

Сокола и кречеты бьют свою добычу сверху; только кречет по диагонали ударяет добычу и ранит ее клювом, а сокол взлетает высоко и, сложив крылья, падает камнем на жертву.

Цапля неслась теперь на Елену, взмывая все выше и выше. Кречет делал спиральные круги и приближался к своей добыче; но последняя,— по крайней мере казалось снизу,— выигрывала в расстоянии.

Елена до того была восхищена этой воздушной гоньбой, что не только забыла про своего сокола, но забыла

про все. Уронивши поводья, вся разгоревшаяся, с сверкающими глазами, она следила лишь, поднявши головку, за поединком пернатых.

Чаплинский подскакал и почти крикнул:

— Панна! Пускайте же сокола! Снимите колпачок, панна!

— Ай, пане, как это прелестно! — заявила с восторгом Елена.— Я и забыла про своего... Колпачок? Ах, зараз,— и она наконец сорвала его.

Сокол встрепенулся, зажмурил сначала от света глаза, а потом сорвался и понесся легкими полукругами; но заметив добычу, ракетой взвился вверх и начал достигать ее широкими кругами. Стремительный полет его, видимо, превышал быстроту цапли, и сокол уже, вероятно, находился в одной плоскости с кречетом, когда последний заметил соперника; он сначала остановился в недоумении, а потом, изменив полет, погнался за соколом; но тот вырезывался вперед и вперед и подымался уже выше цапли.

— А, сокол, сокол мой впереди! — восторгалась детски Елена и хлопала в ладоши.— А какой он крохотный кажется, словно ласточка вьется.

— А вот и мой добирается,— волновался Чаплинский.

Цапля между тем, заломив голову, напрягала последние усилия, чтобы подняться выше своих преследователей, но сокол уже над нею взвился, остановился и замер... Цапля следила за врагом и с трепетом ожидала страшного удара. Вот сокол сложил крылья, цапля вдруг сделала вольт — перевернулась на спину, выставив против врага острый клюв и длинные, крепкие ноги. Свинцом ринулся сокол и угодил бы, быть может, на клюв, как на вертел, если бы не подскочил наперерез ему кречет и не вцепился в сокола, желая отбить у него добычу.

— Ай! Что же это? — возмутилась Елена.— Панский кречет напал на моего сокола? Останови, пане! — разгоралась она и гневом, и страстью.

— За блага жизни, моя крулева, всяк готов перерезать горло другому,— улыбался знаменательно пан Чаплинский.

А разъяренные хищники впились взаимно когтями и с остервенением начали рвать друг у друга роскошное

оперение, ломая крыльями крылья. Бойцы, держа друг друга в объятиях, быстро опускались вниз, окруженные целыми облаками пуху и пера. Цапля, воспользовавшись ссорой врагов, бросилась в лес и скрылась в листве.

— Сокол мой, сокол! — чуть не плакала панна Елена, подымая в ґалоп коня, словно стремясь на помощь к несчастному.

— Да, соколу не сдобровать, — злорадно вставил Чаплинский,— у кречета побольше и посильнее когти.

— Ой-ой! Не говори так, пане: сокол—моя надежда!

Но сокол с ловкостью отражал удары противника и наносил свои; наконец, ему удалось вырваться и отлететь... Теперь, будучи на свободе, он напал на кречета с неотразимою силою: бросался пулей на него сверху, шеломил острой грудью и ударами крыльев. Кречет слабее и слабее мог защищаться, наконец, избитый, истерзанный, облитый кровью, он начал падать комом, а разъяренный сокол разил его и разил.

— А что, а что! — шумно радовалась и смеялась Елена.— Наша победа! Моя надежда столкнулась с панской самоуверенностью и перемогла ее.

— И уверенность, и гордость, и пышность — все сложу у божественных ножек,— скривился Чаплинский,— лишь бы панна вступила со мной хоть в столкновение.

— Посмотрим! — улыбнулась вызывающе Елена и понеслась вперед.

— Так панна преложила гнев свой на милость? — догнал ее Чаплинский.

— Я не злопамятна,— ответила Елена, ожегши его молнией взгляда...

IV

Богдан, подозвавши доезжачих и поручив им убитого вепря, отправился обратно за своей рушницей и шапкой.

В лесу во всех концах раздавались выстрелы и крики: «Го-го!» и «Пыльнуй!». Лес вздрагивал и стонал от ворвавшегося в его вековой покой гвалта. За опушкой вдали раздавались крики травли и порывистый топот коней.

Проколесивши порядочно по лесу, Богдан едва мог

найти свою рушницу, а шапки, как ни высматривал, нигде не видел ее вокруг на соседних деревьях; наконец, он узнал первое место свое и направился к нему, но шапка исчезла; с досадой он повернул было назад, зная, что подвергнется сильным насмешкам, как вдруг случайно наткнулся ногою на шапку. Удивился Богдан, отчего бы упасть могла шапка без ветру, и, подняв ее, сейчас же узнал и причину: шапка была пробита пулею насквозь; сучок, на котором висела она, был расщеплен, а под ним сидела глубоко в стволе пуля.

«Это не случайность,— вдумывался Богдан, соображая положение места своего таинственного товарища,— очевидно, выстрел его, но такой вышины зверя нет в наших лесах, а потому и такой промах невозможен...»

— Метил, очевидно, в голову! — промолвил громко Богдан, пораженный этою дерзостью,— приятель какой-то... из старых или новых? И метил, несомненно, с согласия или даже указания хозяев... Никто бы не решился оскорбить магната таким гвалтом над его гостями... Эге-ге! Значит, моя голова здесь порешена!

Он пошел из лесу медленными шагами, поникнув головой; ее гнели тяжелые, бесформенные думы, из хаоса которых вырезывался один только ясный, неотступный вопрос: дело ли это личной вражды Чаплинского или желание самого старосты?

Время шло...

Давно уже серебряный рог Чаплинского протрубил сбор, но Хмельницкий не слыхал его и шел без цели вперед.

Из лесу ловничие выносили в разных местах сраженную добычу: кабанов, оленей, серн и одного забежавшего в эти леса зубра; за ними выходили группами счастливые мысливцы и неудачники. Вырывались возгласы и взрывы смеха, а иногда и гневные возражения.

— Як пан бог на небе,— азартился красный, как бурак, и толстый, как лантух (большой мешок), пан Опацкий,— так правда то, что моя рушница из знаменитых; вы не смотрите, панове, что она неказиста на вид, зато в каждом ремешке ее седая сидит старина... Она была подарена прапрадеду моему великим князем литовским Ольгердом.

— Да тогда еще огнестрельного оружия не было,— осадил его кто-то из более молодой шляхты.

— Как не было? — озадачился пан и, слыша легкий смех окружавших слушателей, пришел еще в больший азарт.— А я заклад с паном держу... Да что с паном? Со всем панством! Никто не перестреляет моей рушницы! Идет сто дукатов, тысяча дукатов,— что никто? Тут и сила, и меткость... нет на свете рушницы другой! Я на сто кроков, как ударил в хвост вепря, так он только сел и давай что-то жевать; я подхожу — жует; я его хвать за горло, он выплюнул... и что ж бы вы думали, панове? Мою пулю! Выплюнул и, натурально, протянул ноги...

— Ха-ха! — засмеялся тот же шляхтич.— Пан, значит, нашел по себе убойное место... Только отчего пан сегодня по кабану сделал промах и залез со страху на дерево?

— Я промах? Я залез?.. Пан мне даст сатисфакцию! * — горячился уже до беспамятства пан Опацкий.— Да я на сто шагов этою ольгердовкою,— потрясал он рушницей,— у мухи голову отшибу!

Взрыв гомерического хохота покрыл слова обладателя рушницы великих литовских князей.

По опушке за ними шел старый мысливый с длинными седыми усами и подбритою серебристою чуприной; он, видимо, поучал молодежь:

— Хладнокровие и находчивость — вот необходимейшие качества для охотника! Раз со мною был какой случай: пошел я на полеванье,— так думалось, серну либо оленя свалить... Коли нежданно-негаданно на узком проходе через овраг — тыць! Нос к носу — медведь! Ах ты, бестия! Ну, со мною всегда дубельтовка **, еще от Жигимонда... Не долго думая, прицелился я и — цок, цок!.. Не спалило! Дяблы и пекло! Забыл я, шельма, насыпать на пановки пороху! Что делать? Медведь не хочет ждать... Встал на дыбы, лезет, ревет, лапами ловит... Ну, другой бы растерялся и погиб, а у меня — находчивость и смекалка: вспомнил я, что в кармане моей бекеши лежат соты меду, а ну, думаю, предложу, да выиграю время, и успею подсыпать пороху на пановки... Достал я добрый кусок сот из кармана и поднес его кудлачу... Матка свента! Как он обрадовался, лакомка! Смакует, ворчит, облизывается... А я исправил рушницу,

* Сатисфакция — задоволення поєдинком за образу честі.
** Дубельтовка — мисливська рушниця-двостволка.

да как бабахну с обоих стволов, так башка у медведя и разлетелась в щепки, даже меду не доел... Бей меня Перун!

В одной группе шел ожесточенный спор, и дело становилось жарким; толпа вокруг спорящих все возрастала.

— Я, панове, утверждаю,— горячился один, довольно худощавый, с подстриженными усами шляхтич,— что моя пуля сидит в голове этого оленя, на всех святых — моя! Я первый выстрелил, и олень в тот же момент мотнул головою.

— Мотнул, как от овода, панове, потому что пуля просвистала мимо,— махал неистово руками соперник с налитыми кровью глазами и двойным подбородком,— а после моей пули олень полетел через голову.

— После моей! Будьте, панове, свидетелями! — кричал первый.

— После его, после его! — подтвердили некоторые.— Пан — добрый стрелок.

— После моей! Стонадцать дяблов нечесанных! — кричал с двойным подбородком мысливый.— На пана Езуса! Будьте, панове добродейство, свидетелями.

— После его... после его пули! — отозвались другие.— Мы видели, пан — добрый охотник, и дубельтовка у него важная.

— А у пана,— рычал и тыкал рукою на худощавого охотника с кровавыми глазами шляхтич,— у пана рушница годна лишь пугать воробьев на баштанах.

— Моя рушница? — вопил стриженый.— Это обида, оскорбление чести! Я вызываю пана... Я требую, чтобы сейчас же мы испробовали на себе силу наших рушниц!

— Готов, пане,— орал посиневший уже от злобы шляхтич,— так же всажу выдумщику пулю, как и этому оленю...

— Неправда, пан — выдумщик, то пуля моя!

Неизвестно, до каких бы печальных результатов привел этот спор, если бы не прервал его подошедший и давно нам знакомый пан ротмистр.

— Панове добродейство! Прекратите спор,— сказал он торжественно,— пуля в голове оленя моя!

Это так ошеломило всех, что сразу настало молчание; потом уже взбудоражились спорившиеся.

— Разве пан ротмистр стоял там? Стрелял? Было только два выстрела! Это нахальство!

— Стоял и стрелял,— спокойно, с улыбкой даже ответил ротмистр.— Мой выстрел слился с вашими, а с чьей стороны нахальство, я сейчас обнаружу. Пышное добродейство, олень, как вы видели, бежал мимо этих панов боком, значит, и стрелять могли они только лишь в бок, а пуля между тем посажена между глаз — это раз! Пули свои я таврю, вот обратите внимание,— показывал любопытным он пули,— это два; в голове этого оленя сидит пониже рогов такая же моя пуля, что я на месте и докажу,— это три!

И, нагнувшись к лежавшему тут же оленю, он нащупал в затылке у него пулю, ловко разрезал кожу, расщемил кость и вынул ее у всех на глазах; на ней стояло такое же его тавро.

— Виват пану ротмистру, виват! — раздались кругом радостные крики, и восторженная толпа, подхватив на руки героя, понесла его вместе с трофеями до стоянки.

Теперь только Богдан вышел из лесу на опушку и заметил, что солнце уже клонилось к закату. Длинными косяками тянулись тени от леса в долину. Осенний туман стлался по земле тяжелою волной. Становилось пронзительно сыро.

Невдалеке, на пригорке, начиналось уже охотничье пированье. Некоторые гости пропустили уже по второму келеху гданской водки, в то время любимейшей, другие подходили по сановитости то к пану старосте, то к Чаплинскому, иные уже расседались и разлегались живописными группами на расброcанных по пригорку коврах и подушках. Над всею этой компанией стоял веселый гомон, прерываемый взрывами смеха и виватами.

Повара суетились при полевых очагах; в обозе шло оживленное движение с бутылками и бочонками. Подавали в серебряных полумисках знаменитый бигос, и аромат его доносился до опушки самого леса... Всю эту оживленную пеструю картину освещало эффектно солнце косыми пурпурными лучами.

Богдан направился долиною в обход, не желая разделять панской трапезы, а имея в виду найти лишь поскорее Елену. Вдали он увидел рыжекудрую красавицу. Она ехала верхом; в тороках у ней привязана была

лисица; молодой шляхтич лебезил что-то и заезжал и справа, и слева; но Виктория, видимо, не удостаивала его вниманием. Она обрадовалась, когда увидела пана ротмистра, и, резко отстранив молодого вздыхателя, начала с старым своим знакомым оживленный, волновавший ее разговор.

Богдан, избегая встречи, повернул овражком налево и неожиданно наткнулся лицом к лицу на Ясинского. Последний даже отшатнулся в ужасе, побледнел и начал дрожать как осиновый лист.

«Вот он, иуда!» — мелькнуло в голове Богдана.

— Чего перепугался так, пан? Что увидел меня живым? — бросил он ему презрительно.— Мы характерники и с паном еще счеты сведем.

Ясинский что-то хотел ответить, но у него сильно стучали зубы.

Богдан плюнул в его сторону и направился к компании; он остановился на приличном расстоянии, закрытый вербой, и высматривал, где находится его квиточка, его зирочка, но пока ее не было видно. Богдан долго стоял, общество давно уже все разместилось и совершало культ Бахуса и Цереры[5]; вон и Виктория уселась между молодыми людьми, но, несмотря на их ухаживанья, несмотря на сыпавшиеся к ее ножкам восторги, не слушает их, а, устремив глаза в уголок вспыхнувшего алым отблеском леса, неподвижно сидит, и легкая тень грусти ложится на ее задумавшиеся глаза. Говор доносился к Богдану совершенно отчетливо.

— Славно, славно мы отделали короля в Варшаве на сейме! — смеялся октавой чрезмерной тучности пан Цыбулевич, тот самый, что смягчил лозунг Иеремии Вишневецкого и вместо «о́гнем и ме́чем» проповедывал «канчуком и лозой».— Разоблачили все его шашни, все злостные подкопы под нашу свободу. Спасибо великому канцлеру князю Радзивиллу и ясному пану Сапеге, они разоблачили. Измена, зрада!

— Неужели до того дошло? — усомнился Конецпольский.

— Слово гонору! Як бога кохам! — ревел Цыбулевич.— Приповедные листы скреплял своею печаткой, а не канцлерской, нанимал иноземные войска без ведома сейма, давал деньги для вооружения этого козачьего быдла, снабжал его какими-то привилегиями, благослов-

лял нападения и походы на мирных нам турок, чтобы вовлечь их в войну, а то для того, чтобы поднять войско козачье и при помощи песьей крови сокрушить нашу золотую свободу.

— На погибель всем зрадныкам! — рявкнула уже подпившая компания.

— Ну, а на чем стал сейм? — спросил Чаплинский.

— Ха-ха! — загромыхал Цыбулевич.— Отняли у короля все доходы, воспретили сношения с иностранными державами, наем войск, лишили права давать какие-либо постановления, привилегии, иметь свое войско, кроме тысячи гайдуков, ограничили даже раздачу королевщины, поставив ее под опеку... Одним словом, эта коронованная кукла будет держаться теперь лишь для парадов...

— Виват, пан Цыбулевич! Ха-ха-ха! — разразились все громким хохотом.— Ловко сказано, коронованная кукла! Виват, виват!

— Но ведь у короля, как оказывается,— отдуваясь и сопя, вставил князь Заславский,— была большая партия... и, может быть, она еще поднимет борьбу?

— Да, как же...— запихал за обе щеки бигос Опацкий, — Оссолинский, Казановский, Радзиевский... гм-гм!.. и другие, а главное, они имели клевретов здесь: вот с этими птахами уж нужно серьезно расправиться...

— О, мы знаем здешних клевретов! — злорадно заявил пан Чаплинский.— Здесь-то и таится главное гнездо измены... Здесь под полою слишком милостивых властей и плодятся эти гады.

— Так раздавить их! — крикнул кто-то издали.

— Дайте срок!—ответил многозначительно староста.

— А бороться пусть попробуют! — брякнул саблей какой-то задорный юнак.

— Да мы просто не дадим королю ни кварты, ни ланового [6] ни на какие расходы,— отдувался Опацкий,— так ему не то что войска, а и на собственные харчи не хватит.

— Однако,— возразил Заславский,— если лишите государство доходов, то сделаете его беззащитным перед врагами, перед соседями.

— Э, княже! — засмеялся Опацкий.— Ну его с этими войнами: одно разорение и убыток! Да лучше уж, коли

что, откупиться... или там отдать кусок какой пустопорожней земли, чем тратиться... Сбережения нам пригодятся...

— Верно, верно, пане! — послышались одобрительные отзывы со всех сторон.

— А для хлопов, для усмирения внутренних врагов,— рявкнул Цыбулевич,— у нас есть свои надворные войска, и мы скрутим в бараний рог теперь это быдло!

— Да, да,— послышалось с задних рядов,— но нужно прежде уничтожить до ноги это козачество.

— И уничтожим,— икнул Опацкий.

— Все сокрушим,— заключил Чаплинский,— и будем жить лишь для себя... любить и наслаждаться!

— Виват! — заревела сочувственная толпа.

Богдан более не мог слушать. У него словно оборвалось что-то в груди. Холодный пот выступил на лбу крупными каплями, в ушах поднялся такой гул, будто он летел в бездонную пропасть... «Вот оно что! Смерть, погибель! Оттого-то этот негодяй и был так дерзок!» — мелькали в его возбужденном мозгу отрывочные мысли.

Богдан пошел вокруг пирующих высматривать свою горлинку и наконец заметил ее несколько в стороне; она стояла с своей камеристкой Зосей и о чем-то весело с ней болтала... потом Зося куда-то поспешно ушла, а Елена осталась одна и задумалась: она засмотрелась на восток, где лиловатая мгла ложилась уже дымкой на мягкую даль, и какая-то своевольная тревога пробежала тучкой по ее личику...

— Пора, моя голубка, домой,— дотронулся нежно Богдан до ее плеча.

— Ай! Это тато...— потупилась виновато Елена и прибавила спохватясь: — Да, пора... хоть хозяева любезны и гостеприимны...

— Да вот как гостеприимны...— И Богдан показал ей пробитую пулею шапку.

— Что это? — вздрогнула Елена.

— Пуля, пущенная в мою голову.

— Ай! — закрыла глаза Елена и сжала руку Богдана.— Поедем, поедем отсюда!

Богдан тихо отвел ее к колымаге, где увязан был сзади дикий кабан, а сам вскочил на своего Белаша.

Короткий осенний день догорал. Огромный огненный шар садился ярким багрянцем. Окровавленною чешуей

алел весь закат, и до самого зенита доходили кровавые полосы... Богдан взглянул на небо и вздрогнул невольно: его поразило такое роковое соответствие между этим небом и его мятежными думами...

V

Ясное сентябрьское солнце весело освещало своими ласковыми лучами обширный зажиточный хутор, раскинувшийся по степи вплоть до самого Тясмина. Прекрасный новый дом с резным дубовым ганком, множество хозяйственных построек, крытых опрятными соломенными крышами, высокие скирды на току,— все это указывало на зажиточность и домовитость владельца, а огромный сад, протянувшийся за домом, убранный осенним солнцем в самые прихотливые цвета, свидетельствовал и о присутствии большого эстетического чувства. И летом, и зимой — во всякое время хутор смотрел так приветливо и радушно, что у каждого проезжающего вырывалось помимо воли громкое восклицание: «Ай да и молодец пан сотник! Вот хутор, так хутор, получше панских хором!»

Несмотря на то, что не все узорные ставни в будынке были открыты, на дворе уже кипела полная жизнь: высокий журавель у колодца скрипел беспрестанно и резко, то подымаясь, то опускаясь над срубом; у корыта толпились лошади и скот; дивчата шныряли из погреба в кухню и из кухни в комору. Смуглый молодой козак с черными как смоль волосами гонял на корде коня. В воздухе стоял бодрый гам, пересыпаемый легкими утренними перебранками баб.

К воротам подъехал какой-то верховой и, войдя без коня во двор, начал шушукаться с одной из молодычек. Молодычка побежала и вскоре вызвала к нему за ворота молоденькую служанку с лукавым, плутоватым лицом. По ее кокетливому шляхетскому костюму ее можно было бы признать за настоящую панну, только манеры выдавали ее. Приезжий переговорил о чем-то с служницей тихо и торопливо и, получив от нее несколько таких же торопливых ответов, сунул ей в руки какую-то бумагу и сверток и быстро вскочил на коня.

В большой светлице будынка сидели, придвинувшись

поближе к окну, две молоденькие девушки; в руках у них были рушныки, на которых они вышивали тонкие, прозрачные мережки. Но, казалось, работа не очень-то занимала дивчат, так как они то и дело складывали ее на коленях и принимались серьезно и с тревогой болтать о чем-то полушепотом, посматривая на входную дверь. На вид им нельзя было дать более шестнадцати-семнадцати лет. Одна из них, которая казалась немного моложе, была чрезвычайно нежна и тонка. Светло-русые пушистые волосы ее были сплетены в длинную косу; тонкие черты лица имели в себе что-то панское, и все личико ее, хотя и бледное, было чрезвычайно привлекательно. Другая же смотрела настоящею степною красавицей. Черные волосы ее рассыпались непослушными завитками надо лбом и спускались тяжелою косой по спине; на смуглом личике пробивался густой румянец; тонкие, словно выведенные шнурком брови так и впились над большими карими глазами, и задумчивыми, и ласковыми, и игривыми, а при каждой улыбке из-за ярких губ дивчыны выглядывали два ряда зубов, таких мелких и блестящих, словно зубы молодого мышонка.

— Слушай, Оксана, как ты думаешь, отчего это тато, как вернулся с охоты, вот уже неделя, хмара хмарою ходит, даже дома не сидит, все больше на пасеке? — допытывалась молодая светловолосая девушка, уставившись своими ясными, подернутыми грустью глазами на подругу.

— Может, случай какой? От Ганджи я слыхала, рассказывал, что на пане шапку пулею пробило.

— Ой лелечки! — всплеснула руками первая.— Спаси нас, матерь божия! За что ж они так на тата?.. И чего ездить туда, где люди такие недобрые, такие злые? — прижалась она к плечу Оксаны.

— Катруся, голубочка, уже и слезы! — обнимала и целовала Катрю Оксана.— Бог миловал, ну, и будь рада. А может, то и брехня! Скажи мне лучше, отчего это панна Елена тоже с неделю уже сама не своя, словно вчерашнего дня ищет, а завтрашний потеряла?

— А что ж? Верно, встревожилась за тата,— ведь он же ей благодетель.

— Ой, не такая она, чтобы благодеянья долго помнила,— покачала головой Оксана,— бегают глаза у ней, крутит она и что не скажет, то неспроста.

— Ты несправедлива к ней, Оксаночка,— горячо вступилась за свою названную сестру Катря,— ты ее недолюбливаешь... Я знаю за что, и ты права. Но к тату и к нам Елена очень добра и ласкова.

— Да, чтобы все на польский лад переделать! — буркнула Оксана и начала что-то распарывать в шитье.

— Не на польский, а на эдукованный лад,— сверкнула глазами Катря.— Елена смотрит и за Оленкой, и за меньшими братьями, чтоб и одеты были как след, чтоб и расчесаны были гарно, чтоб и поклониться умели и заговорить когда и как знали.

— Да разве их при Ганне не мыли, не чесали, не одевали? — даже возмутилась Оксана.

— Мыли, кто говорит, только тогда обращали внимание, чтобы дети были чисты и сыты, а Елена старается еще, чтобы дети были красиво одеты и зачесаны и чтобы умели поводыться. Вот и мне, спасибо ей, Елена много-много показала всякой всячины и многому научила... А Андрий? Прежде ведь был таким волчонком, что и в хату, когда чужой человек, ни за что не войдет, а теперь стал такой милый и смелый... А Юрко и не отходит от нее, так ее любит. А сколько она видела на свете всяких чудес! В каких дворцах, в каких пышнотах бывала, начнет рассказывать — сказка сказкой, а все бы слушала! Да и ты, и бабы дивились не раз ее росказням!

— Все она брешет... она чары знает...— отвернулась Оксана.

— То наговоры, Оксанка, а Елена добрая, хоть и хитрая... Как у нас в светлице хорошо убрала! Сколько повыдумывала нового, просто любо!

— Да, нового! — раздражалась Оксана.— Ни дид, ни Ганджа уже не обедают вместе с нами.

— Так они сами не захотели! — возразила наивно Катря.

— Сами?.. Так им под носом пхекала, что, конечно, плюнули! А из нищих или кобзарей если кто придет? Хорошо, коли пан дома, привитает, а если пана нет, так их сейчас спровадят, бабуся украдкой разве накормит. А с бабой как она? Да еще не так она, как ее варшавское дитятко Зося... Э, что и толковать!

— Может быть,— смущалась все больше Катря,— к другим, а вот к нам и к тату... Она часто и гуляла с ним, и утешала его, чтобы тато не журился.

— Да, послушала б ты няню или Матрону-булочницу, много и я не разберу, а ты и подавно, а говорят нехорошо... Она лукавая и скверная.

— Не говори так, Оксана, мне все-таки жалко ее; она одна, сирота, нас жалеет, да вот целую неделю тужит о чем-то...

Оксана нахмурилась и начала усердно вышивать. Долго сидела Катря, задумавшись, затем она взглянула на свою подругу и ей захотелось загладить причиненную ей досаду.

— Ну, не дуйся ж, Оксана,— обвила она ее шею руками,— а когда ты ждешь Олексу?

— Не знаю,— ответила та, покрывшись вдруг при названном имени густым румянцем и склоняясь еще ниже над работой,— передавал, что скоро, может, освободится, тогда непременно приедет сюда.

— Надолго?

— Не знаю и того, — вздохнула Оксана.— Только где же ты видела, чтобы из Запорожья надолго отпускали?

— А ты уже очень соскучилась за ним? — усмехнулась лукаво Катруся.

Но на предательский вопрос последовал в ответ только подавленный вздох, и головка молодой дивчыны наклонилась еще ниже над работой.

— Ну, ну, будет печалиться! — закричала весело Катря, бросая уже совершенно в сторону работу и садясь на лавку рядом с подругой.— Будет, говорю тебе, слышишь? — обхватила она ее шею руками и насильно притянула к себе.

Оксана ничего не ответила и только крепко зажмурила глаза.

— А очень ты его любишь, Оксана?

— Ох, Катрусю! — вздохнула дивчына, прижимаясь к ее груди и обвивая шею подруги руками,— так люблю, что и сказать не могу!

В это время шумно распахнулась дверь, и в ней появился сияющий радостью и здоровьем мальчик лет тринадцати; через плечо у него висело два зайца.

— А что, затравил, затравил! — крикнул он весело, весь запыхавшись от ходьбы и волнения.— Гляньте-ка,— сбросил он их на пол.

— У, какие здоровые, — подбежала Оксана,— как кабаны!

— Возьми их, Андрийко, — отозвалась смущенная Катря,— ишь накровавил... И что они тебе сделали?

— Капусту вон за пасекой выгрызли,— потирал руки и любовался своей добычей Андрийко.

— Где ты их подцепил? — волновалась Оксана.

— А тут же, за капустой, в левадке... Тимко пошел к ковалю коней ковать, а я пошел с сагайдаком на леваду... Росяно — страх!.. Вот я и пошел, а за мной и увяжись Джурай да Хапай... молодые еще... Тимко их недолюбливает, а я...

— Славные, славные цуцки! — оживлялась все больше Оксана.— Ты увидишь, Андрийко, что они и Знайду, и Буруна за пояс заткнут...

— Заткнут, заткнут,— воодушевлялся хлопец,— слухай же: пошел я по капусте, сбиваю головки... Вдруг — куцый! Я второпях пустил стрелу — не попал... Заяц в левадку так и покатил, а из левадки в луг... Собаки же где-то замешкались... Я ну кричать... Принеслись, увидели — да как пустятся! Растянулись, как бичи. Заяц клубком катится к лесу, а они стрелою наперерез... Я бегу, ног не слышу и сапоги сбросил... вот, вот уйдет... ан нет! Растянули, настигли!.. А на обратном пути и другого затравил!

— Где же ты сапоги бросил? — допытывалась в ужасе Катря.

— А там, в бурьянах... после найду.

— Молодец, Андрийко, молодец! — восторгалась Оксана.

Хлопец действительно был красив, так и просился на полотно. Симпатичное личико, детски нежное, алело здоровым румянцем; темные глаза горели удалью и утехой; волосы, подстриженные грибком, были ухарски закинуты; штанишки, подкрученные за колени, обнажали белые, мускулистые ноги. Во всей еще несложившейся фигуре его видны были природная гибкость и грация.

— Иди переоденься,— настаивала Катря,— чтоб тебе еще не досталось за сапоги!..

— Эх! — махнул рукою Андрийко.

— Любый, славный! — обняла его крепко Оксана.

— Пусти,— вырывался хлопец,— мне есть хочется... аж шкура от голода болит.

Заскрипела внутренняя дверь, и в светлицу вошла сгорбленная старуха, повязанная темным платком. Глянула она на Андрея и ударила руками об полы.

— Господи, что это он наделал? Забрехался, окровавился... босый... Долго ли до беды?

— А ты посмотри, няня, какие зайцы,— начал было вкрадчиво мальчик.

— Что мне зайцы! — перебила она,— беспутный... Ступай переоденься сейчас...

— Дай мне есть, бабо...

— Годи, годи!.. Переоденься!.. Иди, иди! — и баба потащила Андрийка за руку.

А в горенке, теперь еще лучше разубранной, сидит Елена. Не хочется ей сходить вниз, досадно как-то, видеть никого не хочет... И скучно, и тоскливо, и не выходят из головы слова Чаплинского. Смотрит она в окно, под которым в роскошном наряде расстилается сад широкими ступенями. Прежде тешил он ее своими задумчивыми вершинами, своею приютливою тенью, а теперь кажется дикою глушью. И этот будынок тоскливо мертв, ах, и все они!.. Что ни говори, хоть и добрые, а хлопы, да и только. И разве можно их со шляхтой сравнять? А он?.. Она в нем ошиблась!.. Положим, известие, переданное Чаплинским, могло взволновать и его, так почему же он не заботится сбросить с себя гнусное подозрение и показать себя настоящим шляхтичем, а не бунтарем-козаком? Елена вспомнила слова Чаплинского и покраснела. Они его не считают за пана, нет, нет! Да и он сам виноват в том. Кем окружает себя? Опять бандуристы, старцы и еще худший сброд. Да и не очень-то он и о ней думает: приходит какой-то молчаливый, угрюмый, все скрытничает, не доверяет ей. Это обидно, больно, она все отдала, она любила, а он разве спешит успокоить ее, отвести угрожающую опасность? Думает ли он об этом? Ха-ха! Ему лишь бы самому было хорошо, а что ей весело ли, скучно ли — все равно! Ну, что с того, что он целует ей ноги, дарит дорогими нарядами, камнями, жемчугами? Что ей с того, когда ни их, ни красы ее не видит никто?.. А он нарочито избегает теперь всех. Ах, скучно, скучно как! Хотя бы опять попасть в прежнюю обстановку.

И вдруг перед глазами Марыльки встали непрошенные образы: роскошные залы, блеск, аромат, пышные

кавалеры, восторженные похвалы, теплые пожатия рук, пламенные взоры. Мечты несли ее, несли неудержимо: вот она снова на охоте; блестящее собрание; ее замечают, перешептываются, громкий говор, смех, звук серебряных рожков, отдаленный лай собак и страстный шепот Чаплинского... здесь близко, близко, над самым ухом у ней.

Снизу, из детской комнаты, донесся капризный крик ребенка:

— Олесю, Олесю! Я без нее не буду одеваться, скучно за ней!

— Юрась! — очнулась Елена, и легкая тень пробежала по ее лицу. Но тут же она встрепенулась, подавила вздох и весело сбежала по лестнице к своему пестунчику.

— Совсем испортила дытыну,— ворчала баба, входя снова в большую светлицу к дивчатам,— просто дурманом каким либо чарами сбила хлопчика с пантелыку. Дитя было как дитя, а теперь вот без нее,— метнула она в сторону злобным взглядом,— дышать не может. Ух, надоела мне эта ляховка, перевертень, ехида! А уж больше всего эта ее покоевка Зося, уж и силы моей нет! То того ей подай, то то принеси,— хозяйка приказала. А какая она мне хозяйка? Одружись с ней по христианскому закону, тогда стану хозяйкой называть, а так — тпфу! — плюнула она с сердцем,— вот она что мне со своею покоевкой, а не хозяйка! Стара уж я, скоро придется богу ответ давать и правды никому не побоюсь сказать.

Старуха подперла голову рукой и взглянула в сторону Катри своими подслеповатыми глазами. Катря сидела, низко наклонив голову, так что лица ее не было видно.

— Ох, сиротки вы мои, сиротки бедные, что-то с вами будет? — шептала она тихо, утирая фартуком глаза, и затем прибавила, вздохнувши: — Вот, детки, перехватила я у прохожих людей весточку про нашу голубоньку... про Ганну...

— Про Ганну... а что ж там? — вскрикнула Оксана, оставляя работу и подымая оживившееся личико.

VI

— Ох, голубка Ганна, наша бедная! — закивала печально головою старуха.— Видели ее в монастыре, в Вознесенском, что в Киеве... Вся в черном, говорят, а сама белая, как мел, стала, а прозрачная, как воск... только глаза и светятся... Сказывали, что скоро-де ее и постригать будут, клобук на голову наденут.

— Бабуся, а кого постригут, тому уже из монастыря никогда выйти нельзя? — спросили разом и Оксана, и Катря.

— Нельзя, голубочки, нельзя... Постригут — это уже все равно что живого в землю закопают! — вздохнула глубоко старуха.— Ох, верно уже до живого допекли ее здесь, что выбрала она себе такую долю! А не так мы с покойной паней думали, да что ж, не угодно было господу, его воля святая!..

Оксана отерла рукавом набежавшую слезу.

— Так-то, дивчыно, не одна ты, много еще душ заплачет тут по нашей порадниці! — расплакалась уже совсем баба.— Вот теперь без нее и совета никому дать не могу. Прислал пан сотник сюда целую толпу людей, тайным только образом, чтоб никто не знал и не ведал. Как глянула я на них, детки, так чуть сердце мое в груди не разорвалось. Голодные, оборванные, как дикие звери, не видно на них и образа христианского. Вот до чего довели паны! Накормила я их вчера, а они так из рук и рвут... Теперь наготовила кушанья, да самой мне не донести, вот вы бы помогли... только никому — ни слова!

— Сейчас, бабуню, мы вам поможем! — поднялись разом Катря и Оксана и побежали.

В это время в светлицу вошел молодой черноволосый козак в богатой одежде.

— Что ж, бабо, когда завтрак будет? — спросил он громко, бросая на стол шапку.— Вон посмотри, как солнце высоченько подбилось, а я коней ковал, объезжал, выморился словно собака.

— Да я не знаю, как теперь с тем завтраком,— повела плечами старуха,— прежде все сходились, а теперь все как-то врозь... Батько твой спозаранку на пасеке... Панна Елена только что поднялась...

Молодой козак сделал несколько шагов по светлице.

— Да что ж, Тимку, поди за мной,— отозвалась баба,— всыплю я тебе галушек... а то у нас тут через ляховок все кверху ногами пошло.

И она вышла, хлопнув за собою сердито дверью.

Молодой козак сделал по комнате еще несколько шагов и остановился; с языка его сорвалось какое-то крепкое слово; он досадливо отшвырнул в сторону попавшуюся ему под руку шапку и снова заходил из угла в угол.

На некрасивом, но своеобразном и энергичном лице козака отразилось какое-то сдерживаемое волнение; брови его нахмурились, и меж них залегла глубокая, характерная складка; то он теребил сердито свои густые волосы, то проводил рукою по лбу, а назойливая мысль травила его еще сильнее. В самом деле, с некоторых пор все у них в доме пошло по-новому. Все чем-то недовольны, отмалчиваются, и батько хмурый. Ух, много тут через нее затеялось!

— Ляховка подлая! — прошипел вслух козак, стискивая до боли кулаки.

— Кого это ты так, Тимко? — раздался за ним звонкий, молодой голосок.

Козак быстро повернулся и остановился как вкопанный; густая краска покрыла все его лицо до самых ушей: на пороге полуоткрытых дверей стояла панна Елена, свежая и веселая, как весеннее утро. Ни тени былого раздумья не было видно на ее лице, она вся сияла и казалась каким-то невинным, шаловливым ребенком, вырвавшимся порезвиться. Голубой кунтуш облегал ее стройную фигуру; длинные, золотистые косы, переплетенные жемчугом, спускались по спине; одна ножка, обутая в красный сафьянный черевичек, стояла на пороге, а другая кокетливо выглядывала вперед, едва касаясь пола носком; руками панна Елена держалась за двери, выгибаясь своим стройным корпусом вперед.

— Кого же это ты так бранил, Тимко? — продолжала она спрашивать, не ступая с порога.— А? Быть может, меня? — Она улыбнулась сверкающею улыбкой и, притворивши за собою двери, легко спрыгнула в комнату.— Говори ж, говори! — подбежала она к Тимку.

Тимко стоял по-прежнему неподвижный и красный как рак.

— Молчишь? Значит, обо мне сказал,— проговорила она печальным голосом, устремляя на Тимка грустные синие глаза.

Тимко молчал.

— Ох, Тимко, Тимко, скажи мне, за что вы на меня все так повстали? За что? Что я вам сделала? Чем я кому помешала здесь? — заговорила она таким жалобным и ласковым голосом, что слова ее мимо воли западали в сердце и Тимку.— Вот и ты! Никогда со мной слова не скажешь, как будто я чужая тебе. Заговорю — не отвечаешь, посмотрю — отворачиваешься. Ляховкой подлой зовешь. Какая же я теперь ляховка? Я к вам привернулась и сердцем, и душой!

— Да это я не про вас, панно,— буркнул негромко Тимко.

— Не про меня? Ну, вот и спасибо, вот и спасибо, мой добрый, мой милый, мой цяцяный! — заворковала быстро Елена, опуская свои белые как снег ручки на загорелые руки козака.— А отчего ж не витаешь меня, а? — нагнулась она, заглядывая в его опущенные глаза.— Ну, скажи ж: «Добрыдень, ясна панно!» — да поцелуй мне ручку! Вот так, вот так! — говорила она, посмеиваясь и прикладывая к губам козака свою нежную, душистую ладонь. — Эх ты, гадкий, недобрый хлопец! Ну, посмотри ж мне в глаза, посмотри! Разве я похожа на ляховку, а? — и Елена, взявши Тимка обеими руками за голову, силою подняла ее и заглянула ему в глаза.

Тимко хотел было отвести их в сторону, но против воли остановил на панне. Она смотрела на него синими бархатными глазами, в которых выражались не то грусть, не то любовь, не то кокетливый задор — словом, что-то такое, что снова заставило Тимка покраснеть до ушей и потупить глаза.

— Вот видишь, покраснел, значит, дурное что-то думаешь...— пропела она каким-то печальным голосом.— Ну, скажи же мне хоть правду, за что и ты не любишь меня?

Голос ее звучал так искренно, что Тимко подумал невольно: «И в самом деле, за что же ее все не любят?— и, перебравши в голове несколько мыслей, он действительно задал и сам себе с недоумением тот же вопрос.— А и вправду, за что, что она сделала такого? Батька она

любит нежно; к ним ко всем ласкова и добра. Говорят все, что она ляшские обычаи заводит. А какие же? То, что она поздно встает? Так делать ей нечего. К чему же спозаранку вставать? То, что она одевается в дорогие сукни? Так отчего ж ей и не одеться, когда есть во что? А то, что баба и дивчата все говорят, будто она с ними и говорить не хочет, фыркает на всех и зовет их хлопами,— так это, может, и неправда... верно, все сплетни да брехня... Посмотреть на ее очи...» И Тимко поднял уже сам собою глаза и взглянул на панну смелее, а она словно только и ждала этого взгляда, ласковая, улыбающаяся, счастливая.

— Ну, вот, не сердишься уже! — вскрикнула она радостно, поймав его взгляд.— Видишь, я не подлая ляховка, я не злая панна, а такая же дивчына, как и все. Только ведь каждая дивчына хочет, чтоб ее любили, так и я хочу. Разве это грех? — Она приподняла брови, усмехнулась и, протянувши снова ладонь к губам Тимка, спросила игриво: — Поцелуешь?

Вместо ответа, козак прижался губами к ее нежной ладони.

— Ну, вот и спасибо, теперь я вижу, что ты меня любишь! — вскрикнула панна Елена и, приподнявшись на цыпочки, она ухватилась за плечи Тимка и звонко-звонко поцеловала его в самый лоб.

Козак снова вспыхнул, а панна продолжала, как бы не замечая его смущения, не отнимая рук с его плечей:

— Ну, вот я и рада, а то мне так скучно теперь: все одна да одна. Татко все с делами, совсем хмурый стал, а мне скучно, и никто не хочет заговорить со мной... Знаешь что, Тимоше,— вскрикнула она вдруг звонким, веселым голоском,— поедем сегодня со мною верхом в степь? Сегодня такой славный день. Оседлай мне моего коника и поедем быстро-быстро, знаешь, так, чтобы ветер в волосах свистел! Хорошо?

— Добре! — ответил козак.

— Ну, так после завтрака,— захлопала в ладоши панна.— А за то, что ты такой добрый и гарный хлопец, на тебе ручку. Ну ж, поцелуй! — притопнула она капризно ножкой.

Козак быстро прижался к ней губами и вышел из светлицы.

Как только дверь за ним захлопнулась, с лица панны в одно мгновение сбежало детское игривое выражение, брови ее сжались, губы сложились в презрительную гримасу. «Хлоп!» — прошептала она и направилась было в сад, но в дверях столкнулась с молоденькою девушкой с плутоватым хорошеньким личиком, одетою тоже в польский наряд.

— Ах, то ты, Зосю? А я уже думала, кто-нибудь из этих хлопов.

— Нет, ушли куда-то все с бабой, я и урвала минутку, да к вам, моя дорогая пани! Что, скучаете все?

— Да, скука! — провела Елена досадливо по лбу рукой.

— Заехали мы в эту трущобу, где одни дикие звери, не люди, далибуг. Терпим муки, и хоть бы прок какой с этого был, а то...

— Зося! Скучно это, все одно и то же,— потянулась и зевнула панна.

— Нет, не одно,— продолжала задорно покоевка.— Всюду сплетни пошли, смеются над нами...

— Цо? — топнула гневно Елена. — Ты мне таких сплетен не передавай.

— Молчу, панна. Я только... мне дивно, что пан сотник не зажимает ртов. Молчу, молчу,— заюлила она, заметив у Елены гневно сжатые брови.— А как было весело тогда на охоте, сколько пышного панства, сколько красавцев, какая роскошь! — тараторила Зося.— Я словно в раю очутилась после наших хлевов, именно как в раю!

— Да, там было весело,— подумала вслух Елена,— и после этой затворнической жизни приятно, если бы не смутил моей радости ужасный случай.

— Ах, сколько там рыцарства,— продолжала свое Зося, увиваясь за панной.— А лучше всех пан Чаплинский.

При этом имени Елена вздрогнула и отвернулась.

— А какой он пышный да важный,— восхищалась Зося,— сразу видно, что настоящий магнат, страшный богач и будет, говорят, чем-то знаменитым! А уж как он в панну влюблен, так и сказать не могу! — прибавила она, нагибаясь к самому уху паненки.

— Ну, полно врать! — остановила ее полусерьезно Елена.

— Ей-ей, як маму кохам, пусть меня накажет пресвятая дева, если он, бедняжка, не умирает от любви к панне! Плакал передо мной, волосы на себе рвал! «Если б, говорит, пани меня хоть выслушать захотела! Досталась, говорит, пану сотнику такая жемчужина. А что она ему? Он постоянно с козаками, да в военной справе. Разве ему такой красою владеть? Я бы, говорит, только б ножки ее целовал. Царицею ее сделал бы, рабом бы ее был!»

— Ну, годи, годи,— говорила Елена, слегка улыбаясь.

— Ах, пани! Если б пани имела хоть капельку сердца, она бы сжалилась над таким страданьем! А вот пан,— покоевка понизила голос до самого слабого шепота,— передал вельможной пани вот эту записку и умолял ответить хоть на словах; говорил, что будет ждать целый день.

С этими словами ловкая служанка сунула Елене в руки маленькое письмецо, сложенное в несколько раз и запечатанное большою гербовою печатью.

Елена хотела было оттолкнуть его, но вместо того, сама не зная как, крепко зажала в руке.

— Когда же пани ответ даст? — спросила лукаво Зося, но тут же прикусила язык, потому что за дверями послышались тяжелые шаги.

— Пан сотник! — вскрикнула подавленным голосом Зося и юркнула в сад.

Елена вспыхнула и быстро сунула скомканное письмецо за кунтуш.

В комнату вошел пан сотник. Лицо его, казалось, и постарело, и осунулось; оно было желтое и болезненное; под глазами его легли темные тени; вокруг губ и на лбу появились резкие морщины; глаза, угрюмо глядевшие из-под бровей, были красны. Одежда, надетая небрежно, показывала, что пан сотник не снимал ее несколько ночей.

Елена взглянула на Богдана, и он показался ей вдруг изумительно старым и некрасивым. Она оправила на себе кунтуш, ощупала на груди письмецо и, подошедши к нему с улыбкой, нежно проговорила:

— Добрый день, тату! Что это тато такой сердитый, даже не замечает своей дони?

— Я искал тебя.

— Наконец-то вспомнил,—вздохнула Елена,—чуть ли не неделя!

— Не до тебя было, зиронька,— проговорил уныло Богдан, целуя ее в лоб.

— Конечно, не до меня,— ответила пренебрежительно Елена,— для других для всех найдется время!

— Бог с тобой, для кого же, счастье мое?

— А хоть бы для первой попавшейся рвани! Знаю я много...

— Рвани? — отступил Богдан.— На бога, Елена! Это замученные, умирающие от голода люди...

— Бродяги! — передернула презрительно плечами Елена.— Кто же им велит бежать от своих господ? Вот помянешь мое слово, они тебя не доведут до добра!

Богдан взглянул на Елену с удивлением, пораженный скрытым раздражением, прозвучавшим в ее словах.

А Елена продолжала, теребя нервно свой шитый платок:

— Ты сам топчешь свою долю! К тебе так ласков и пан гетман, и пан староста, и вся шляхта братается с тобой, а ты как нарочно окружаешь себя всякою рванью, хлопством, быдлом... Да, да, не говори, я многое узнала теперь! — вскрикнула она нетерпеливо, не давая возражать Богдану.— Я не все знаю, но понимаю много! Вот когда на охоте сообщили о том, что сейм разбил все планы короля, и Оссолинского, и всех его приверженцев, а значит и твоих, я видела, как ты изменился в лице, как ты не спал целую ночь, как ходил темнее тучи, как скрывался все дни... Но я думала, что ты сильный и гордый человек, что ты бросишь свои затеи и сумеешь пристать к шляхте, которая тебя примет со всею душой... А ты! Ты снова окружил себя рванью! Я понимаю, в каждом панстве, в каждом магнатстве есть свои партии: если одна падает, то благоразумные люди примыкают к другой.

— Елена, не говори так, это вероломство, измена! — вскрикнул гневно Богдан, сжимая ее руку; но Елена продолжала дальше с вспыхнувшими щеками и недобрым огоньком, загоревшимся в глазах, вырывая свою руку из его рук.

— Кому? Тому, кто уничтожен? Или ты думаешь еще, что король и его партия будут бороться?

— Не знаю, вряд ли, если толки справедливы.

— Так зачем же ты медлишь? Я понимаю, что для короля нужны были и козаки, и хлопы, но теперь, когда его дело уже погибло, зачем ты якшаешься с ними и только порочишь себя?

— Потому что я стою за них! — ответил гордо Богдан.

— За них? За них? — повторила еще раз Елена, как бы не понимая сказанных ей слов.— Но какое же тебе дело? Тебя ведь не утесняет никто?

— Это мой народ, Елена!

— Совсем не твой. Твоих людей на хуторе не трогал никто.

— Дитя мое,— обнял Богдан Елену ласково рукой,— ты не понимаешь, что говоришь! Да, настало время сказать тебе многое, что я таил от тебя в душе своей. Я сказал тебе: это мой народ, и помни, Елена, что это не пустое слово. Народ это мой, потому что мы с ним одной крови, одной веры, одной доли! Каждая обида ему — есть обида мне! Каждый рубец на его теле ложится рубцом на сердце мое.

— Так ты хочешь быть заодно с толпой бунтующих хлопов? — отстранилась от Богдана Елена, обдавая его холодным, презрительным взглядом.

— Я хочу спасти мой порабощенный народ, обуздать своевольную шляхту и утвердить мир и покой в нашей земле.

— Ха-ха-ха! — усмехнулась Елена надменным смешком.— А если шляхта обуздает тебя и разгонит батожьем твоих оборванцев-друзей?

— Об этом я и хотел тебя спросить, дитя мое,— продолжал Богдан, снова обнимая ее и притягивая к себе,— ты одна у меня отрада... В моей тревожной, бурной жизни одна ты светишь мне, как звезда в бурную ночь. Скажи мне, жизнь моя, счастье мое, если фортуна отвернется от нас, если Богдану придется бежать и скрываться в татарских либо московских степях, скажи, последуешь ли ты всюду за мною? Будешь ли ты меня любить так и в горе, как любила в славе и чести?

— Я люблю только сильных,— произнесла медленно Елена, отстраняясь от Богдана и смеривая его надменным взглядом.

VII

Долго стоял Богдан, ошеломленный ответом Елены. И надменный тон, и презрительный уход, не дождавшись даже от него слова,— все это встало перед ним такою чудовищною новостью, что он просто оторопел и стоял неподвижно у двери, в которую скрылась Елена.

Что ж это? Лицемерие ли все было до сих пор с ее стороны, а теперь только оказалась правда? И в такой резкой, в такой грубой форме? Раздражение начинало овладевать Богданом; внутреннее волнение росло, кипятило кровь, стучало в виски и ложилось в грудь каким-то тяжелым баластом. Он вышел в сад и, блуждая машинально по тропинкам, очутился на берегу Тясмина, под склоненными ветвями ив. Свежий ветерок и болтливый лепет игравшей по камням реки утишили несколько жар, разгоревшийся в его груди, и дали другое направление мыслям.

«Что ж я так строг к ней? Она ведь и родилась, и воспиталась среди самой знатной шляхты; их думки и привязанности всосались ей в кровь! Да и в самом деле, народ ведь этот не родной ей, и откуда может она знать его страдания?» — оживлялся Богдан, подыскивая бессознательно оправдания для Елены и чувствуя, что, при обелении ее, у него самого сползает с сердца черный мрак и проскальзывает туда робкий луч. Он сам, сам, конечно, во всем виноват! Она, кроме Варшавы и этого хутора, и не видала ничего, а он до сих пор не познакомил ее с положением края. Знай она все, она никогда не отнеслась бы так холодно к чужому страданию своею ангельскою душой. И подкупающие, лживые уверения чувства брали верх над его умом. Да разве может скрываться за такими дивными глазами холодная душа? Чистое, невинное дитя! Конечно, ей скучно здесь на хуторе: все сторонятся ее, а он сам, убитый бездольем, какую радость может дать веселому, живому ребенку? Она сказала, что любит только сильных... Да разве это рабская подкупность души? Это тоже сила и благородная гордость!

— О моя гордая королева, ты не разлюбишь меня, потому что силы моей никто не согнет! — воскликнул Богдан и, совершенно успокоенный, с сияющими глазами и счастливою улыбкой, отправился в будынок. Бог-

дан постучался в дверь горенки, но дверь была заперта,— или королева сердилась, или ее вовсе не было дома.

Богдан сошел с лестницы, несколько смущенный, и направился к овину. По случаю моросившего дождя молотьба на току прекратилась. Богдан обошел скирды и стоги, заглянул в клуню, и снова его сердце защемила тупая тоска.

«Тешился, растил, и все это, быть может, прахом пойдет... если то правда...» Вот уже целую неделю ходит он, напрягает мозги, но думки разлетелись куда-то, как будто все провалились, замерли... Так перед страшною грозой прячется в тайники зверь... Хоть бы луч откуда в эту беспросветную тьму!.. Но нет... нет его! Тучи не тучи, а однообразная серая пелена сгущается, темнеет и налегает свинцом...

Вдруг до Богдана долетели окрики: его ищут всюду; какой-то гонец или пан прискакал из Каменца.

Богдан встрепенулся, перекрестился и пошел...

Темная осенняя ночь спустилась над субботовским двором. День, такой теплый и тихий с утра, совершенно изменился к вечеру. Стало холодно. Ветер подул и зашуршал уныло в полузасохших листьях. К ночи зарядил дождь. В погруженном в тьму и сон хуторе стало совершенно тихо и безлюдно. И дом, и постройки, и ток — все потерялось и потонуло во тьме. Все спит, даже собаки, забившиеся под коморы, притаились неподвижно. Только капли дождя, падая на сухую почву, производят скучный, однообразный шум. В верхней горенке пробивается из-за закрытой ставни узкая струйка света. На пуховой постели, полураспустив свои тяжелые косы, сидит Елена. Зося, стоя на коленях, разувает свою красавицу панну, не смея произнести ни одного слова, так как панна не в духе. В комнате царит молчание, прерываемое только слабым монотонным шумом, долетающим со двора.

— Что это шумит? — спросила наконец Елена досадливым, нетерпеливым голосом, забрасывая косы за спину.

— Дождь, дорогая моя панно,— как зарядил, так,

верно, уже будет идти до утра... Ох! Что-то будет здесь осенью! Чистая яма! — вздохнула Зося.

— Пожалуй, и могила! — усмехнулась едко Елена.

— Так, так, моя панно дорогая! Остаться здесь жить еще дольше — лучше умереть! — подхватила Зося, не понимая слов Елены.

— Да, лучше умереть!—повторила Елена с каким-то особенным выражением и, обратившись к Зосе, приказала сухо и отрывисто: — Гаси свечу и оставь меня.

— А ответ на письмо будет? — спросила несмело Зося.

— Завтра. Посмотрю еще.

Послушная и ловкая покоевка встала, загасила свечу, притворила двери и удалилась неслышно из светлицы. В комнате стало совершенно тихо и темно. Елена укрылась шелковым одеялом, но неприятная холодная сырость не давала ей согреться и заставляла нервно вздрагивать ее нежное тело. Глаза ее пристально глядели в темноту, словно хотели что-то разглядеть в этой бесформенной тьме. Дождь шумел за окном, как будто плакал покорно, безропотно и уныло.

Елена поднялась на кровати и, набросивши на плечи одеяло, охватила колени руками.

Итак, она сделала роковой промах. Она, Елена, такая умная и ловкая, попалась в ловушку, как глупый зверек. Не за короля стоял Богдан, не для него собирал он и уговаривал хлопов... нет, нет! Для них он принял сторону короля, чтобы поднять бунт и стать самому во главе. Хлопский батько, схизмат, и она, Елена, рядом с ним. Бежать вместе в московские степи или к татарам? «Ха-ха!» — даже вздрогнула Елена. Для этого лишь она оставила Варшаву и пышный дом коронного канцлера, и благородную шляхетскую жизнь?.. «Ха-ха-ха!» Много выиграла она и завоевала себе роскошь и почет! Вот почему и не торопится он с женитьбой. Мнение этих хамов ему дороже ее чести. Конечно, да и к чему теперь уже торопиться? Губы Елены искривились... Положим, он закохан в нее, беззаветно предан... Да, она чувствует свою силу, и много раз ведь уступал ей Богдан; но в изгнании из его сердца хлопов — она чувствует глубоко, что все ее чары разобьются, разлетятся вдребезги, как удары прибоя о каменную скалу. Да если бы и так, если бы даже он и поддался ей? Ему не вырвать из этой

тины корней; сколько жал поднялось бы на него за измену, сколько доносов полетело бы в Варшаву и в сейм! И что же впереди? Позорная казнь, а ей — тюрьма, или жалкая роль покоевки при панском дворе, или еще того хуже. Нет, нет!.. Пока есть время, надо подумать о спасении; то, что говорилось на охоте,— не слух, не сплетня, а ведь каждый наступающий день может принести еще горшую весть.

Елена ощупала под подушкой маленькое письмецо.

Пресвятая дева несмотря на измену не оставляет ее! Не здесь ли спасенье? Зося говорит правду. Чаплинский — правая рука старосты... а дальше, кто знает? Умному и ловкому шляхтичу дорога открыта везде! Что он обезумел от любви, это она заметила и сама. Правда, в нем нет той доблести и силы, какая есть в Богдане, зато он все отдаст за Елену и выше нее у него ничего не будет на земле.

И Елене вспомнились опять слова письма: «Королева, богиня моя,— целовать твои ножки, быть твоим рабом и послужком — вот счастье, выше которого я ничего не желаю».

«А Богдану этого мало,— усмехнулась она в темноте,— каждый рубец на теле его хлопов ложится на сердце ему, а обида моя, небось, рубцом не ляжет?!»

— «Вельможной паней, царицей сделаю я тебя, уберу в шелк и бархат, осыплю самоцветами»,— повторила она шепотом слова письма.

Ах, правда ли только? И Богдан когда-то говорил такие же жгучие речи и обещал все, а теперь предлагает ей бежать к татарам или в московские степи!

«Ты наш прекраснейший диамант,— вспоминала она дальше письмо, — и тебе надо дать оправу, достойную тебя!» Так, так, ей надо ее, ей надо блеска, силы и власти! Но Богдан?.. Ведь он ей был дорог... она так на него надеялась... она принесла такую жертву... а теперь... Конечно, не ее вина; но как быть, на что решиться?

Елена завернулась в одеяло и опустилась на мягкие подушки. «Спасаться надо скорее, потому что топор уже поднят над головой. Но... Богдан?»

Елена закрыла глаза, и перед ней словно выросли в темноте две фигуры: одна статная и красивая, с смелым, уверенным лицом, а другая — надменная и кичливая,

с слишком широким станом, оловянными, выпуклыми глазами, которые, казалось, так и впивались в нее.

— Ах, Богдан! — произнесла вслух Елена. — Богдан! — прошептала она еще раз совсем тихо и смежила глаза. И мысли, и мечты, и картины долго еще беспорядочною вереницей сменяли друг друга в ее усталой головке; но, наконец, молодость взяла свое и Елена уснула тревожным, прерывистым сном.

В светлице Богдана тоже темно, как в могиле; даже лампадка не озаряла своим кротким сиянием лика пречистой девы. Некому опорядить ее, зажечь... То, было, Ганна заботилась, а теперь темно здесь и сыро, как в подвале тюрьмы...

Давно уже уехал таинственный гость, давно уже подкралась мрачная, осенняя ночь, а Богдан сидит неподвижно на лаве, тяжело опустившись на руки головой.

Итак, все погибло... Гонец подтвердил все сведения, услышанные Богданом на той злополучной охоте: король разоблачен, уничтожен... они преданы. Погибло все, чем он жил сам, чем поддерживал весь народ! Какими глазами взглянуть ему теперь на все товарыство? Не скажут ли ему: «Богдан Хмельницкий, наш батько, и предатель, и лжец!» А, да что значит его позор! Пускай бы он висел над ним до веку; но ведь это смерть всего края... Да и что присоветовать? Бессильное, бесплодное восстание?.. Без поддержки короля и его приверженцев, без их участия — что значит оно?! Не то ли будет, что было при Гуне, при Острянице, при Тарасе и Павлюке? Новые казни, позор и униженье!.. А если еще король, униженный и обессиленный, не только отречется от своих планов, но и выдаст своих пособников головой? А что тогда? Богдан стремительно встал и бурно зашагал по светлице. Тогда шляхетской разнузданности и насилиям не будет границ! Все занемеет в рабстве, его собственные дети станут рабами панов... О, лучше видеть их мертвыми, чем видеть их униженье, их позор! А если еще обвинят его в измене, тогда что? Ужасная, постыдная смерть! Расстаться с Еленой... ее покинуть сиротой... А?! Богдан провел рукою по лбу и ощутил на нем крупные капли холодного пота. Окончить жизнь так глупо, так позорно, чтобы все усилия, все труды, все лицемерие, которое он сознательно принял на себя, погибло даром, не вырвавши для родного края ни воли, ни

жизни! Богдан тяжело опустился на скамью и сжал свою воспаленную голову руками, опершись локтями на колени.

Долго сидел он неподвижно, в каком-то немом оцепенении, слушая только, как жалобно бились в стекла капли холодного дождя. «Оплакивай, поливай слезами свою бедную землю,— прошептал он тихо,— потому что не подняться уж ей никогда!» И словно другой кто проговорил в груди его чуждым, безжалостным голосом: «Смерть! Смерть!» Повторил за ним и Богдан вслух:

— Смерть!

Слово прозвучало холодно, неприятно, и вдруг по всему его телу пробежал лихорадочный, смертельный озноб.

Сколько раз в жизни стоял перед ним этот мрачный вопрос, почему же теперь он так страшно холодит его душу и замораживает кровь?

Он, козак, смотрел всегда на жизнь равнодушно, как на шутку, на жарт, отчего же теперь ему стало жаль ее? Что притягивает его к ней?

— Елена! — прошептал он вдруг тихо и, утомленный, измученный, опустился головой на дубовый стол, стоявший у лав. Да, Елена, солнце, богиня, королева, счастье живое, горячее, жгучее счастье, блеснувшее ему только раз в жизни на закате дней! Ох, какою кипучею, безумною страстью зажгла она ему сердце! И бросить ее? Да помилует нас бог! Что это за мысли ползут в его голову! Богдан порывисто распахнул свой кунтуш, но думы, сперва мягкие и нежные, как вечерние облака, теперь сливались, свивались и мчались, не слушая его рассудка, каким-то огненным вихрем вперед.

Почему ему нельзя думать о счастье? Жизнь ведь дается только раз навсегда! Он ведь такой же человек, как и другие. Зачем же эта бесцельная жертва? Да и в самом деле, что даст его смерть родному краю? Ничего, ничего! Бороться при таких условиях безумно, дать только повод к поголовному истреблению. Не лучше ли уйти от пекла в московские степи либо к Тугай-бею,— он побратым,— испытать хоть год тихого счастья вдали от тревог и волнений. А если ей эта далекая глушь будет хуже могилы? Разве примириться со шляхтой, быть полезным народу хоть малым?

Мысли Богдана оборвались; какая-то смутная слабость

наполнила все его существо; он прислонился к стене и полузакрыл глаза; образ Елены, обольстительный и нежный, словно вырос перед ним из окружающей темноты. Он чувствовал на шее своей ее гибкие, теплые руки, ее нежный шепот как бы раздавался в его ушах, она шептала ему что-то невнятное, необъяснимое, и сердце Богдана порывисто билось, сладостная истома разливалась по всему телу, разум и воля немели под жгучим наплывом какой-то необоримой силы.

— Уйти, забыть все, против судьбы не пойдешь! — вырывался у него едва слышный шепот и замирал в тишине.

Вдруг словно яркая молния ворвалась в толпу его неясных мечтаний. Богдан вздрогнул и поднялся.

«Как? Уйти для низкой утехи и знать, что в это же время здесь распинают, сажают на колья твоих братьев? Ведать, что топчут волю и веру, за которую уже пролили столько крови твои деды и отцы, знать это и жить и не задушить себя собственными руками?»

Богдан стремительно приподнял окно: ему не хватало воздуха, он разорвал ворот своей сорочки. Холодный, сырой воздух охватил его, но он ничего не заметил.

Итак, сдаться на волю судьбы, покорно сложить головы под секиры? Забыть им все те казни и муки, которые они изобретают для нас? Нет, нет! Забыть этот ужасный звон цепей, который остался у него навеки в ушах? Забыть те головы, что катились тогда так безмолвно с плахи, останавливая на нем свой умирающий взор? Нет, нет; сто, тысячу раз нет! Уж если погибать, так лечь всем в одной братской могиле! А если уж погибать всем, так хоть упиться всласть местью, да так упиться, чтобы захлебнуться в их черной крови!

— Месть! — крикнул он хриплым тоном.— Месть — вот единая за наши муки награда! Налететь на них мечом и пожаром, пусть заплатят за каждую козацкую душу десятком, сотней ляшских тел, а там хоть и смерть! Мертвые срама не имут!

Богдан заходил в волнении по комнате и остановился перед открытым сєревшим уже окном. Сердце его энергично билось, грудь горела, в окно врывался ему в упор резкий холодный ветер.

Но как узнать, как разведать настроение короля и намерения сейма? Ждать дольше немыслимо, невыноси-

мо! Послать кого? Там не доверят тайны неизвестному. Самому поехать? И не отпустят, и поставят в улику. Этот волк степной Чаплинский натравит всех. Горит он на него завистью и за хутор, и за Елену, да только все это напрасно: она любит Богдана искренно и чисто, как непорочное дитя. Беззаветною жертвой доказала она свою любовь. И он никогда не забудет этого, никогда, никогда...

Богдан широко вдохнул в себя свежий воздух и снова заходил энергично по светлице.

«Да, может же, еще и погибло не все? Может, еще есть возможность, надежда? Может, король еще не оставил своих намерений? — мелькали у него все чаще и чаще светлые мысли.— Ведь и гонец говорил что-то об Оссолинском. Собирается, кажись, ехать сюда? О, если только король не совсем упал духом, тогда еще поборемся, повоюем и добудем себе счастье!»

Сердце Богдана билось все энергичнее и бодрее.

— Поборемся и повоюем! И ты, моя гордая королева, увидишь, что сильного полюбила; увидишь, что перед храбростью моего родного народа бледнеет мишурная доблесть шляхетных панов. Только силы, силы дай, господи,— заговорил он порывисто и страстно, останавливаясь перед образом Христа, едва выделявшимся из мрака, при слабом рассвете бледного дня.— Отрини от сердца моего всякую скверну, да не вниду во искушение: человек бо есмь!.. Ты греховным создал меня, но избави мя от греха моего... дай мне силу и волю. О господи, сил! — сжал он до боли руки, падая на колени.— Нет ничего невозможного для тебя! Ты дал Давиду силу встать и пойти на Голиафа. Ты пред народом своим разверз Чермное море и спас его от египетского пленения. Ты в безводной пустыне посылал ему пищу и воду, не оставь же и нас, обездоленных и забитых, защити, укрепи и помилуй!

Уже слабый свет забрезжил в окнах, когда усталый пан сотник повалился на свое жесткое ложе.

VIII

Утро настало ясное и тихое, снова выплыло солнце, и с чистого, словно омытого неба исчезли все тучи, омрачавшие его лазурь.

Елена проснулась довольно поздно; проснулась, пробужденная ярким лучом солнца, упавшим ей прямо в глаза.

Она потянулась в своей мягкой постели, еще не отрешившись от сладкого сна; но, вспомнив вдруг, что с нею случилось вчера что-то смутное, неприятное, сразу открыла глаза. Яркий свет уже наполнял комнату. Елена потянулась еще раз и забросила руки за голову. Что же это с ней было вчера? Ах, да!..

Прежде всего ей пришел в голову Тимко, и при этой мысли по лицу ее промелькнула довольная улыбка. Дикий, горячий... А если пробудить его, может, пожалуй, и сжечь. Только груб козак. Губы Елены презрительно сжались, затем мысли ее перешли на Богдана. Но сегодня все уже представлялось ей не в таком мрачном виде. Вчера она так вспылила, что не пустила его и в горенку, а сегодня? Что ж? Если он решительно откажется от шляхты, значит, и от нее, значит, развяжет ей руки сам! Она думала, что он добивается власти и силы, а он стоит за хлопов! За хлопов...

— Пан хлопский,— повторила она с презрением,— так пусть и ищет для себя хлопку!

И перед Еленой встала снова та дивно роскошная охота, тенистый спуск к озеру, легонький туман, подымающийся из сыроватых прогалин, озаренное розовым мерцанием озеро, прохладный воздух, переполненный ароматом прелого листа, тихий, убаюкивающий шаг коня, и рядом с нею пан подстароста на дорогом коне, в роскошной одежде, с кречетом на пальце. И снова припомнились ей его речи. «Богиня, королева, самоцветами бы осыпал тебя!» — повторила она мысленно. Подстароста, затем староста, а там и до польного гетмана недалеко... Да, она любит только сильных и властных! И Елена быстро поднялась на своей постели.

— Зося! — крикнула она громко и весело, спуская розовые, точеные ножки на цветной ковер.

Дверь отворилась, и в комнату вошла служанка.

— Что, уже поздно? — спросила Елена, сладко потягиваясь и отбрасывая свои тяжелые косы назад.

— О так, любая панно! Пан сотник не велел будить панну к сниданку.

— А! — усмехнулась Елена.— Где же он?

— Уехал на целый день. Я слыхала, как он говорил

Тимку, что, может, не вернется и к ночи и не велел ему выезжать со двора.

— Сторожит?

— Ну, уж этот и сторожить-то сможет разве конюшню! — поджала губки служанка.— А вот, панно, прилетал ко мне опять гонец от вельможного пана подстаросты,— заговорила она пониженным голосом, и лицо ее приняло плутоватое выражение,— просил ответа; но я сказала, что панна спит и нельзя их будить, а что пан сотник уехал на целые сутки, да, может, не вернется и к ночи назад.

— Зося! — вскрикнула Елена, грозя ей шаловливо пальчиком,— ты хитрый чертенок!

— Что ж, панно, я думала, что, может, пану подстаросте есть какое дело до пана сотника, так чтобы он не приехал даром, когда пана сотника дома нет.

— Ой-ой! — рассмеялась Елена и, быстро поднявшись на ноги, скомандовала: — Ну, одеваться скорей!

Когда костюм был уже почти готов и ловкая покоевка набросила ей на плечи синий оксамитный кунтуш, Елена обратилась к ней с вопросом:

— Что ж, Зося,— хуже я стала, чем была?

— Прекраснее, во сто крат прекраснее! — вскрикнула Зося на этот раз вполне искренно, отступая в восторге перед красотой своей госпожи.

— Так, значит, наше не пропало еще! — заметила уверенно Елена и гордо забросила свою прелестную головку назад.

К полудню к подъезду субботовского дома лихо подскакали три всадника на дорогих конях. Два из них летели впереди, третий же скакал на некотором почтительном расстоянии сзади.

Осадивши своих горячих коней, они бросили поводья на руки третьего и соскочили с седел.

— Вот это, пане зяте, и есть самый Субботов,— заметил старший из них, тучный блондин, со светлыми, торчащими усами, обращаясь к своему более молодому спутнику, который был повыше и постройнее его,— осмотри все повнимательнее...

— Одначе,— изумился младший, подымаясь на ступеньки,— пан тесть говорил мне, что это хутор, а это настоящий фольварок, бес его побери!

— То-то ж и есть! Да то ли еще увидишь в будынке!

А хлеба-то, хлеба, смотри, полный ток! А в конюшнях каких только нет коней! И все это у подлого хлопа и вдобавок еще бунтаря и схизмата!

— Сто тысяч дяблов! — вскрикнул собеседник.— Клянусь святейшим папой, это слишком хорошая награда, чтобы заставить бунтовать всех хлопов.

— Об этом я уже сообщил пану старосте, но тс-с... сюда идет Елена, красавица,—увидишь... И ведь экий же, пся крев, сумел достать и обольстить такую богиню, которая могла бы быть украшением и королевского двора.

Собеседники замолчали, потому что в сенях действительно показалась Елена. Хотя лицо ее было совершенно покойно и приветливо, но сильное волнение, охватившее ее при виде въезжающих панов, не оставляло ее до сих пор и заставило даже замедлить немного свой выход.

— Падаю к ногам панским,— склонился Чаплинский при виде ее и опустил шапку почти до самой земли.

— Благословляю случай, который завел пышное панство в нашу убогую господу,— ответила Елена.

— Не случай, нет,— воскликнул с жаром Чаплинский,— а необоримое, горячее желанье! Но надеюсь, что и пан сват мой дома, так как, собственно, у меня есть к нему дело от пана старосты.

— К сожалению, пана сотника нет дома; но думаю, что вельможное панство не лишит нас чести поднести хоть по келеху меда, без которого мы не отпускаем никого.

— Если панна нам рада...

— Я всегда рада.

Пан Чаплинский взял белоснежную руку Елены в свою большую, жирную руку и проговорил негромко, пристально заглядывая Елене в глаза:

— Всег-да?

— Всегда,— ответила та еще тише, краснея под взглядом подстаросты.

— О, в таком случае,— вскрикнул шумно Чаплинский, медленно прижимая к губам белую ручку Елены,— мы позволим себе надоесть пышной крале! Осмелюсь репрезентовать ясной панне и зятя моего, пана Комаровского [8]: молод, красив и вдов... томится от тоски, и я сказал ему, что если он не сложит ее у панских ног, то ему остается лишь попрощаться с белым светом.

— Буду рада спасти от смерти,— улыбнулась приветливо Елена и попросила знаменитых гостей до господы.

Вельможное панство расположилось на Богдановой половине, куда Елена велела подать в ожидании обеда оковиту, всякие соления, мед и наливки. После первых приветствий и расспросов разговор, естественно, перешел на известия о последнем сейме и о распоряжении разыскать приверженцев заговора.

— Так, так,— закручивал Чаплинский свои подстриженные усы,— теперь мы, конечно, узнаем всех истинных врагов нашей воли; доподлинно известно, что король и Оссолинский имели своих приверженцев и пособников среди значных козаков; открыть их имена не так-то будет трудно.

— Неужели? — побледнела Елена, но постаралась придать своему голосу самый равнодушный вид,— нужно ведь доказать их преступность против ойчизны.

— Достаточно, моя панна кохана, одного подозрения.

— Такая кривда в панском суде? Что ж, пан думает, сделают с заподозренными? — прищурила она свои глаза, но смущение ее не укрылось от Чаплинского.

— А что ж, моя пышная панно,— ответил игриво Чаплинский,— главным отрубят головы, а меньших, которые не так нам важны, объявят банитами,— отымут у них все имущество, выгонят из Речи Посполитой,— словом, объявят вне всяких законов.

— Но ведь это ужасно! — вскрикнула Елена, закрывая лицо руками.

— Что ж, вольность Речи Посполитой дороже мертвых артикулов статута и горсти каких-то хлопских бунтарей,— ответил важно Чаплинский и тут же переменил сразу тон.— Боже мой, мы засмутили криминалами нашу королеву! Прости, прости, ясная зоре, и не скрывай от нас своего дивного лица!.. Но, право, я должен сознаться, что такого дивного оружия, какое я вижу здесь, у пана свата моего, редко где случится увидать! — переменил он круто разговор.

— Совершенно верно! — вскрикнул Комаровский, рассматривавший во все время разговора дорогие сабли и мушкеты, висевшие по стенам.— Поищи-ка, пане, в другом месте такую вещь! — снимал он со стен то турецкие золоченые сабли, усыпанные дорогими камнями,

то мушкеты с серебряными насечками, то старинную гаковницу.

— Ге-ге! Это еще что,—махнул рукою Чаплинский,— цяцьки! А ты посмотри, какие левады да сады развел пан сват мой, как заселил эти пустоши подданством, на что... хе-хе-хе!.. не имел никакого права... Ты поди-ка, пойди!

— С позволения панского,— поклонился Комаровский Елене.

Елена хотела было остановить его, но Чаплинский предупредил ее.

— Иди, иди смело, пан: сват мой любит показывать гостям свой хутор и свои сады.

Комаровский вышел; дверь за ним тихо затворилась; в комнате осталось только двое — Елена и Чаплинский.

Елена посмотрела на него, и вдруг ей сделалось так жутко, что она хотела сорваться и убежать; но было уже поздно: Чаплинский крепко держал обе ее ручки в своей руке.

Несколько мгновений в комнате не прерывалось молчание. Елена чувствовала только, как подстароста сжимает ей руку сначала тихо, а потом все горячей и горячей.

И от этого пожатия, и от возмутившегося в ней чувства кровь прилила к ее щекам. Елена попробовала настойчивее освободить руки.

— Пане,— произнесла она веско,— пусти: я не люблю... не привыкла...

— Ах, не могу! — воскликнул напыщенно Чаплинский, но выпустил одну только руку.— Ужели я так противен панне?

— Я этого не говорю, но желаю видеть в пане рыцаря.

— Пшепрашам, на спасенье души, пшепрашам! — заговорил Чаплинский молящим тоном.— Если б панна знала, какой здесь ад, какой пекельный огонь!

— Так отодвинься, пане, немного; я не хочу сгореть! — улыбнулась она лукаво.

— Ах, мой ангел небесный, мой диамант! — начал было он восторженно, но захлебнулся: его дряблую, истрепанную излишествами натуру теперь действительно жег нестерпимый огонь. И дивная красота Елены, и новизна препятствий, и трудность борьбы — все это воспламеняло его кровь до напряжения бешеной страсти.

— Панна получила мое письмо? — спросил он наконец после долгой паузы.

— Получила; но кто дал пану право писать такие письма? — спросила в свою очередь Елена с некоторым оттенком лукавства.

— Бог! — воскликнул Чаплинский.— Если он вдохнул в мою грудь такую бурю страсти, так это вина не моя, я тут бессилен!

— Ну, если бог...— начала было панна и замолчала.

— И что же, что думает панна? Неужели на мои страстные моленья у ней не отыщется в ответ ни единого слова любви? — заговорил негромко Чаплинский, овладевая снова обеими ее руками и придвигаясь к ней так близко, что Елена почувствовала его горячее дыхание у себя на щеке. Она молчала, но не отымала рук.

Чаплинский придвинулся еще ближе.

— Если бы я знал языки всех народов, и то бы я не смог высказать пышной панне ту безумную страсть, которая от одного твоего взгляда охватила мое сердце. Казни меня, но выслушай! С первого раза, когда я увидел тебя, ты уже владела всем моим существом. Ни днем, ни ночью не могу я забыть тебя, вся ты передо мной, живая, пышная! Жить и не иметь тебя — не могу! — говорил он хриплым от прилива страсти голосом, сжимая руки Елены горячей и сильней.— Своей красы и силы ты и не знаешь еще! Тебе надо роскошь и поклонение, а ты поселилась в этом хлеву. Что пан сотник? Да если бы мне хоть половину его счастья, рабом бы твоим, холопом стал! Воля твоя была бы для меня законом! Каждый твой пальчик был бы священным для меня!

— Оставь, пане! — поднялась с места взволнованная Елена.— Мне нельзя того слушать, у меня шляхетское сердце... оставь... не говори.

Но Чаплинский уже не владел собою.

— Как нельзя? Кто мог запретить?! Быть может, пан сотник?! О, пся крев, бунтары! — сжал он кулаки.— Я все знаю, он оскорбитель... Знаю и люблю тебя страстно, безумно, дико...— шептал он, бросаясь перед Еленой на пол, обнимая ее колени, прижимаясь к ним головой.

— Пан забывается,— отстранилась Елена; щеки ее вспыхнули от волнения, поднимавшего ей высоко грудь; вся ее фигура замерла в позе горделивого величия,— я

не рабыня, я благородного шляхтича дочь... и терпеть панской зневаги не желаю!

— Королева моя! — не вставал с колен Чаплинский и старался поймать ее руку,— я раб, я твой подножек! Пойми ты,— задыхался он от прилива чувства,— песня Богдана спета, об этом я приехал оповестить тебя... Его участие в заговоре открыто... голова его предназначена каре, имущество будет отобрано, а ты, наш пышный, роскошный цветок, где же ты останешься? На произвол судьбы?

Елена слушала его, дрожала от угроз, но не теряла рассудка, а быстро соображала, что сила, действительно, была теперь на стороне подстаросты. При том же вид молящего ее любви почетного шляхтича приятно щекотал ее самолюбие и кружил голову легким опьянением.

— Так с оставленной позволительно все? — подняла она с некоторым презрением голову.

— Да если б ты мне сказала одно слово,— вскрикнул с жаром подстароста,— за счастье, за честь почел бы обвенчаться с тобой... сейчас, без колебаний!.. Все, что имею, сложил бы у твоих ног! Сам со всеми своими рабами пошел бы в рабство к тебе!

— Разве и вправду пан подстароста так любит меня? — спросила лукаво Елена, вполне овладевая собой.

— Умираю, умираю от любви! — вскрикнул он, падая снова перед ней на колени и прижимая ее крошечные ножки к своим губам.

— Оставь, оставь, пане! — попробовала было отстраниться Елена.

— Не властен! Сил нет!

— Пан говорил, что как раб будет чинить мою волю? — произнесла она полустрого.

— Слушаю, слушаю! — поднялся с трудом Чаплинский, садясь рядом с нею и отирая красное, вспотевшее лицо.

Несколько минут он молчал, тяжело отдуваясь.

— Что же, на мои страстные мольбы будет ли какой ответ от жестокой панны? — потянулся он снова к ее руке.

Елена смущенно молчала; по затрудненному дыханию, по дрожи, пробегавшей по ее телу, видно было, что она переживала в эту минуту мучительную борьбу.

— Нет! Отплатить неблагодарностью... по доброй воле... низко, низко!..

— Ну, а если б все так случилось, что панна помимо воли попала бы в мои руки? — произнес многозначительно Чаплинский.

Елена замолчала и побледнела. В поднявшейся в ее голове буре ясно стояла одна мысль: Богдан в своих безумных желаниях не отступится ни перед чем. Следовательно, ей остается выбор: или разделить изгнание с Богданом, или быть старостиной, польною гетманшей. Но если и этот? Нет, нет! Он весь в ее руках. Да, наконец ей пора выплыть в открытое море, а там она уже найдет корабль по себе!

— Что ж, панна?— повторил свой вопрос Чаплинский.

— Я фаталистка *,— ответила загадочно Елена.

Между тем пан Комаровский, выйдя из дому и не встретив никого, направился во двор. Он осмотрел конюшни и скотские загоны, побывал и на току, завернул и к водяным млынам.

— Ого-го-го! — приговаривал он сам себе, при каждом новом богатстве, открываемом им в усадьбе пана писаря, и при этом бескровное лицо его принимало самое алчное, плотоядное выражение.

Возвращаясь с мельниц, он заметил, что в одном месте с плотины можно было легко проникнуть в сад, перескочив лишь через узкий и мелкий рукав Тясмина. Он перепрыгнул его сам и очутился возле пасеки в саду. Это последнее обстоятельство привело его почему-то в прекрасное расположение духа.

— Досконале! — заметил он вслух и пошел по саду.

В воздухе было тепло и тихо. Пахло грибами. Под ногами его меланхолически шуршал толстый слой пожелтевших листьев, сбитых ветром с дерев. Элегическая, мирная обстановка навеяла тихое раздумье даже на деревянную натуру пана Комаровского. Не зная ни расположения, ни величины сада, он пошел прямо наудачу и очутился вскоре в совершенно уединенном месте. Вдруг до слуха его донеслась какая-то тихая песня. Пан Комаровский прислушался,— пел, очевидно, молодой женский голос. Он прислушался еще раз и пошел по направлению песни. Вскоре звуки стали доноситься до него все

---

* Ф а т а л и с т — людина, що вірить у неминучість долі (фатуму).

явственнее и явственнее, и наконец, развернувши кусты жимолости и рябины, он очутился на небольшой полянке, вдоль которой шел плетень, граничивший с чистою степью. На плетне, обернувшись вполоборота к степи, сидела Оксана. Черная коса ее свешивалась ниже пояса, босая, загоревшая ножка, словно вылитая из темной бронзы, опиралась о плетень; корсетки на ней не было, и под складками тонкой рубахи слегка обрисовывались грациозные формы ее молодой фигуры. Лицо ее было задумчиво и грустно. Устремив глаза в далекий, синеющий горизонт, она пела как-то тихо и печально:

Ой якби ж я, молодая, та крилечка мала,
То я б свою Україну кругом облітала!

Пан Комаровский остановился, пораженный таким неожиданным зрелищем. «Что за чертовщина! — воскликнул он сам про себя.— Да, кажись, этот знаменитый пан сотник лучше турецкого султана живет,— окружил себя такими красавицами и роскошует.— Несколько времени стоял он так неподвижно, не отрывая от Оксаны восхищенных глаз.— Но кто б она могла быть? Может, дочь?.. По одежде не видно, чтоб она принадлежала к числу дворовых дивчат...» И, решившись разузнать все поподробнее, пан Комаровский откашлялся, сбросил с головы шапку и произнес громко:

— Кто бы ты ни была: прелестная ли русалка, или лесная дриада [9], или пышная панна, укравшая красоту свою у бессмертной богини,— все равно позволь мне, восхищенному, приветствовать тебя! — и пан Комаровский низко склонился.

— Ой! — вскрикнула Оксана, спрыгивая с плетня, но, увидев незнакомого шляхтича в роскошной одежде и встретившись своим испуганным взглядом с каким-то странным, неприятным взглядом его светлых глаз, она быстро повернулась и, не давши пану Комаровскому никакого ответа на его витиеватую речь, поспешно скрылась в кустах.

Комаровский бросился было за ней в погоню, но, не зная расположения сада, он принужден был вскоре остановиться.

— Этакий ведь дикий чертенок!.. Показалась и скрылась как молния! — ворчал он про себя, возвращаясь в

будынок...— А ведь хороша же, черт побери! Огонь... Молния!.. Опалит... сожжет!.. Как бы узнать, однако, кто она и откуда? — недоумевал он. — Может, она совсем и не здешняя, а из хуторянских дивчат? Только нет, у тех и руки, и ноги грубые, а эта вот словно вылита, словно выточена! — Пан Комаровский сплюнул на сторону.— Вот это кусочек так кусочек, можно и не жевавши проглотить! — мечтал он, стараясь возобновить перед собою снова образ Оксаны, мелькнувший перед ним так неожиданно.

Войдя в сени будынка, он услыхал где-то недалеко два молодых женских голоса, из которых один,— он узнал его сразу,— был голосом дивной степной красавицы, появившейся так неожиданно перед ним.

В ожидании обеда Комаровский отправился разыскать покоевку Елены Зосю, о которой он слыхал уже не раз. Сунувши ей в руки пару червонцев и ущипнув за полную щечку, пан Комаровский получил все желаемые сведения и узнал, что Оксана не дочь пана сотника, а принятая им сирота.

«Тем лучше»,— решил про себя Комаровский и сунул Зосе в руку еще один золотой.

К обеду вышла вся семья; в числе их Комаровский заметил сразу и свою степную красавицу. Она была одета теперь в красный жупан и такие же сапожки.

За обедом ему не удалось перекинуться с нею ни словом. Но, несмотря на видимое смущение девушки, он не спускал с нее глаз, забывая даже опоражнивать кубки, усердно подливаемые ему.

Оксана сидела все время словно на раскаленных угольях. Пристальный, непонятный ей взгляд шляхтича и смущал ее, и наводил какой-то непонятный страх на ее душу.

— Ишь, вылупился как на бедную дивчыну! — ворчала даже баба, наблюдавшая за подаванием обеда.— Сорому у этого наглого панства ни на грош!

Наконец томительный обед кончился. Но как ни искал Комаровский свою незнакомую красавицу, она скрылась куда-то так, что он при всем желании не мог ее найти.

Вечером, когда уже совсем стемнело и солнце скрылось за дальними синевшими горами, отягченные вином и яствами гости возвращались рысцой к Чигирину.

— Ну, что, как нашел? — спрашивал самодовольно Чаплинский.

— Красавица, краля! — воскликнул с жаром Комаровский.

— И этакую-то королеву хаму держать!

— Пся крев! — поддержал с досадой и Комаровский.— Хлопское быдло!

— А косы-то — золотые, словно тебе спелое жито! — смаковал Чаплинский, зажмуривая глаза.

— Как вороново крыло! — перебил Комаровский.

— В уме ли ты, пане зяте? — уставился на него Чаплинский.

— Да ты, пане тесте, не хватил ли через край? — загорячился Комаровский.— Что мне в твоих блондинках? Надоели! Да и мало ли их между наших панн? А тут: косы черные, глаза как звезды, кожа смуглая, а румянец так и горит на щеках! Огонь, а не девушка!

— Да ты это о ком? — даже привскочил в седле Чаплинский.

— О ней же, о воспитаннице пана сотника.

— Бьюсь об заклад на сто коней, что ты рехнулся ума! — вскрикнул Чаплинский.— Елена...

— Кой бес там Елена! — вскрикнул в свою очередь и Комаровский.— Оксана зовут ее, Оксана!

— А! — протянул Чаплинский.— Значит, там есть и другая, а я и не знал... ну да и сотник!

Несколько минут всадники ехали молча. Наконец Чаплинский обратился к Комаровскому.

— Ну, что ж, пане зяте, не раздумал ли ты относительно моего предложения?

— Рассади мне голову первый татарин, если я теперь забуду его! — вскрикнул с жаром Комаровский.— Только чур, пане тесте, добыча пополам!

— Добре! — согласился Чаплинский.

Всадники перебили руки и подняли коней в галоп.

IX

Пронеслась страшная весть по Украйне, вспыхнули на сторожевых вышках южной крымской границы огни [10] и побежали от одной до другой, направляясь к зеленому Бугу и деду Днепру. Народ с ужасом смотрел на эти

зловещие зарева и с криком «татаре! татаре!» прятался по болотам, лесам и оврагам. Более смелые бежали на Запорожье к своим собратьям, ушедшим от панской неволи,— лугарям, скрывавшимся в тенистых лугах низовьев Днепра, степовикам, находившим убежище в байраках безбрежных южных степей, и гайдамакам, промышляющим свободною добычей.

Хутора и целые поселки пустели; экономы и дозорцы первые улепетывали в укрепленные замки, оставляя хлопов на произвол судьбы; хлопы угоняли скот и уносили свой скарб в боры и леса, где они поблизу находились, уводили в дебри и жен, и детей, и старцев, а где лесов не было, все бросали и уходили в безумном страхе, куда глаза глядят,— иногда прямо в руки врага. В не опустевших еще селениях стоял гвалт и плач матерей и крики детей, а в опустевших мычал лишь оставшийся в хлевах скот да выли привязанные собаки.

Стоном и тугою неслась татарская беда по русской земле, кровавыми лужами и пожарищами прокладывала себе пути, широкими кладбищами и мертвыми руинами оставляла по себе память...

Долетела страшная весть про татар и до Чигирина. С каждым днем начали появляться в замке толпы экономов из дальних старостинских маетностей; они рассказывали небылицы про свою безумную храбрость и отчаянную защиту, про бесчисленные толпища татар и про ужасы разгромов...

Чаплинский, слушая эти рассказы, бледнел, а особенно клеврет его Ясинский не мог решительно удержаться от дрожи, уверяя, что его трясет ярость и злоба на дерзость «собак».

Сам же староста чигиринский Конецпольский призадумался крепкою думой: конечно, ему можно было послать рейстровых козаков для отражения набега, но хотелось и самому послужить Марсу и заполучить чужими руками военную славу, а желательно это было тем более, что он втайне мечтал после смерти отца стать самому гетманом.

Несмотря на настояния Чаплинского, Конецпольский отказался дать знать коронному гетману Потоцкому о набеге загона татар [11], решившись сам справиться с врагом.

Но кому поручить войска? Кого назначить атаманом?

Под чьей рукой безопасно самому выступать предводителем? Конецпольский перебрал в уме всех сотников, полковников и старшин и остановился на Богдане Хмельницком. «Да, он единственный; и доблестью, и опытностью, и умом он превосходит всех... Что ни говори, Чаплинский, а это талантливейший и храбрейший воин».

И староста послал гонца за Хмельницким.

А в уединенной беседке Чаплинского шел между ним и Ясинским такой разговор:

— Я серьезно говорю,— убеждал подстароста,— что если этот старый волк опознал пана, то он действительно сведет счеты, и теперь уже речь идет не о мести, а о спасении панской шкуры; я себя отстраняю. Мне пана жаль, я знаю этого козацкого дьявола, от его рук не уйдет ни одна намеченная жертва.

— Я не дремлю,— ответил дрожащим голосом побледневший Ясинский,— этот хам всем опасен, клянусь пресвятою девой! Удивляюсь, почему его не возьмут хоть в тюрьму?

— Нет явных улик,— вздохнул Чаплинский,— а наш староста преисполнен рыцарского духа даже к быдлу,— пожал он плечами.— Но не о том речь; этот зверь теперь днем и ночью будет искать панской погибели: шпионов, потатчиков и друзей у него, бестии, на каждом шагу, и, кто знает, может быть, мой слуга, что пану подает кунтуш, будет его убийцей?

— Знаю, знаю, чувствую на себе и день и ночь когти этого дьявола,— проговорил Ясинский, нервно вздрагивая и оглядываясь на запертую дверь.

— И пан будет добровольно нести такую муку, такую пытку, когда... теперь... в походе...

— Об этом я уже подумал,— перебил его Ясинский, и хотя в беседке не было никого, кроме самих собеседников, он наклонился к уху Чаплинского и начал шептать ему что-то тихо и торопливо.

— Так это досконально? — потер себе Чаплинский руками объемистый, стянутый поясом живот.— Значит, и пан будет в походе?

— Я бы полагал, як маму кохам,— начал робко Ясинский,— если, конечно, вельможный пан с этим соглашается, мне бы, ввиду этого обстоятельства, не следовало быть в походе; буду находиться за глазами. Зна-

чит, что ни сбрешет пойманный даже збойца, пойдет за наглую клевету, и никто ему не поверит!

— Пожалуй,— задумался Чаплинский.

— К тому же,— более оживленно продолжал клеврет,— я здесь необходим для вельможного пана. Меня просил егомосць Комаровский помочь в важной справе.

— А...— протянул подстароста,— тогда конечно.

Богдан, возвратившись из Чигирина, торопливо стал собираться к походу; он надел под серый жупан кольчугу, а внутри шапки приладил небольшой, но крепкий шлем — мисюрку.

Как старый боевой конь, зачуя призывную трубу, храпит, поводит кругом налитыми кровью глазами и рвется вперед, выбивая землю копытом, так и Богдана оживил сразу этот призыв, разбудил боевую страсть, вдохнул молодую энергию. Назначение его, хотя и временным атаманом над целым полком, тоже льстило его самолюбию. Бодрый, помолодевший, он осматривал свое оружие и выбирал из складов надежное для сына Тимка; его решился он взять с собою, чтобы тот понюхал пороху и познакомился, что есть за штука на свете татарин. Кроме Тимка, он брал еще с собою Ганджу, Чортопхая, Гниду и человек пять из надежнейших хуторян. Своей сотне и другим в Чигиринском полку он дал наказ приготовить к походу харч и оружие и немедленно отправляться в Чигирин, где и назначен был сборный пункт.

Все домашние и дворня, несмотря на обычность этих походов и на уверенность, что батько атаман насолит этим косоглазым чертям, на этот раз были почему-то встревожены и совершали поручение молчаливо, затаив в груди вырывавшиеся вздохи.

— Ну что, Тимко, полюбуйся, какую я тебе отобрал зброю,— говорил самодовольно Богдан, показывая своему старшему сыну разложенное оружие.— Вот эта сабля отцовская еще, клинок настоящий дамасский...* служила она твоему деду и батьку верой и правдой,— обнял он нежно второго сына Андрея, раскрасневшегося от

* Дамасский — з дамасської, особливої якості сталі, яку виробляли араби.

волнения, с горящими, как угли, глазами.— Возьми же, мой любый,— протянул он саблю Тимку,— эту нашу родовую святыню, береги ее как зеницу ока, и пусть она тебя, за лаской божьей, хранит от напасти.

Тимко склонился, как склонялся головой под евангелие, и бережно, с чувством благоговения, принял на свои руки этот драгоценный подарок; но Андрийко не удержался: он бросился и поцеловал клинок этой заветной кривули.

— Дытыно моя! — растрогался Богдан и прижал Андрийка к своей широкой груди. — Вот правдивое козацкое сердце, в таком малом еще, а как встрепенулось! Орля́ мое! — поцеловал он в обе щеки хлопца еще раз.

А тот, весь разгоревшийся от отцовской ласки, улыбающийся, сияющий, с счастливыми слезинками на очах, припал к батьковскому плечу и осыпал его поцелуями.

— А вот тебе, Тимко, и рушница,— потрясал уже Богдан семипядною фузеей,— важный немецкий мушкет.— На прицел верна, и летками бьет, и пулей: если угодит, так никакие латы не выдержат... найдет и под ними лядскую либо татарскую душу и пошлет ее к куцым... Ты за нею только гляди, чтобы не ржавела!

— Как за дытыною смотреть буду,— ответил с чувством Тимко, взвешивая на руке полупудовую рушницу.

— Ну, и гаразд,— улыбнулся батько,— а вот тебе и пистоли настоящие турецкие: сам вывез, когда был в полону́. Только ты, сынку, на эти пукалки очень-то не полагайся, верный тебе мой совет! Изменчивы они что бабы: то порох отсырел, то пуля не дошла, то кремень выскочил... Эх, нет ничего вернее, как добрый булат! Тот уж не выдаст! Так вот к кривуле, что за сестру тебе будет, получи еще брата,— и Богдан передал ему длинный, вроде ятагана, кинжал,— вот на этих родичей положиться уж можно, да еще на коня; он первый друг козаку. Сам лучше не доешь и не допей, а чтоб конь был накормлен: он тебя вывезет из болот, из трущоб, он тебя вынесет из всякой беды.

— Да я, тату, за своего Гнедка перервусь! — вскрикнул удало Тимко.— Спасибо, батьку, за все! Продли вам век господь! Поблагословите ж меня!

Он склонил голову и с глубоким почтением поцеловал отцовскую руку.

— Сынку, дитя мое дорогое,— встал торжественно Богдан и положил на его склоненную голову руки,— да хранит тебя господь от лиха, да кроет тебя ризою царица небесная от всяких бед и напастей! Теперь ты получил оружие и стал уже с этой минуты настоящим козаком-лыцарем. Носи же его честно, со славой, как носили твои деды; не опозорь его и единым пятном, ни ради корысти, ни ради благ суетных, ни ради соблазнов, а обнажай лишь за нашу правую веру, за наш заграбленный край да за наш истерзанный люд! — обнял он его и поцеловал три раза накрест.

— Аминь! — проговорил вошедший в светлицу незаметно дед.— Тут тебе, голубь мой, и «Вирую», и «Отче наш». Одно слово — козаком будь! — обнял он его трогательно.

— Прими и от меня эту ладанку,— высунулась из-за деда сморщенная, согнутая бабуся; она тихо всхлипывала, и слезы сочились по ее извилистым и глубоким морщинам.— То святоч от Варвары-великомученицы; она охранит тебя, соколе мой, дытыно моя! — и бабуся дрожащими руками надела ему на шею ладанку на голубой ленточке.

Растроганный Тимко обнимал и бабу, и деда и все отворачивался, чтобы скрыть постыдную для козака слезу.

— Э, да тут все собрались, мои любые! — заговорил оживленно Богдан.— Только не плачьте, бабусю,— козака не след провожать слезами в поход... Еще, даст бог, вернемся, славы привезем, и ему дадим хоть трохи ее понюхать.

— Ох, чует моя душа, что меня больше уж вам не видать, — качала головой безутешно старуха, — чую смертную тоску, стара я стала... да и горе придавило, не снести его.

Андрийко подбежал к ней и начал ласкаться.

— Да что вы, бабусю,— отозвался Богдан,— кругом это горе, как море, а умирает не старый, а часовый.

— Так, так,— подтвердил и дед,— скрипучее дерево переживает и молодое. Мы тут с вами, бабусю, господаревать будем, а коли что, так и биться, боронить господарское добро!

— И я буду боронить! — крикнул завзято Андрийко.

У Богдана сжалось почему-то до боли сердце, но он

с усилием перемог это неприятное ощущение и весело воскликнул:

— Да! Тебе, сынку, да вам, диду и бабо, поручаю я свою семью и свой хутор! Смотрите, чтоб всех застал здоровыми, покойными и добро целым... а за нас не журитесь, а богу молитесь!

— Будем доглядать, храни вас господь! — отозвался лысый дед, покачивая своею длинною желтовато-белою бородой.

— Не бойся, тату, все доглядим,— бойко и смело отозвался Андрийко,— голову всякому размозжу!—сжал он энергично свой кулачок.— Я, тато,— схватил за руку Богдана Андрийко,— ни татарина, ни черта не побоюсь... вот хоть сейчас возьми!

— Подрасти еще, любый мой, да разуму наберись,— поцеловал Богдан его в голову,— а твое от тебя не уйдет, будешь славным козаком; только так козакуй, чтоб народ тебя помнил да чтоб про тебя песни сложил. Ну, однако, пора! Побеги, Андрийко, крикни Гандже, чтоб кони седлал, а я еще пойду со своими проститься.— И Богдан поспешно ушел на женскую половину.

Там застал он только Катрусю да Оленку; старшая дочка чесала сестре своей голову.

— Ну, почеломкаемся, мои дони любые, и ты, Катре, и ты, Оленко,— прижимал он их поочередно к груди.— Храни вас матерь божия!

— Таточко, ты едешь? — прижалась к нему Катря.— Не покидай нас, и без тебя страшно, и за тебя страшно.

— Не можно, моя квиточко, служба,— искал кого-то глазами Богдан.— Не плачь же, я скоро вернусь.

— Ох, тату, тату, я так тебя люблю! — бросилась уже с рыданиями к нему Катря на шею.

— Успокойся, моя рыбонько, — торопливо отстранил ее Богдан.— Не тревожься... А где ж Юрась и Елена?

— В гайку, верно, а може, и в пасеке,— заявила Оленка.

Богдан поспешно направился в гай, но ни в нем, ни в пасеке, несмотря на самые тщательные поиски, Елены он не нашел; он уже возвращался домой, опечаленный, что не пришлось ему и попрощаться с голубкой, и взглянул еще раз на гай, на сад, на Тясмин... И эта мягкая, чарующая картина показалась ему в новых, неотразимо

привлекательных красках, она грела его душу какою-то трогательною лаской, от нее он не мог оторвать глаз.

Вдруг у самого поворота к будынку, в укромном уголке гая, он заметил Елену.

— А я бегаю везде, ищу свою зироньку,— направился он к ней порывисто.

— Мы здесь с Юрасем все время,— улыбнулась как-то испуганно Елена,— он и заснул под мою сказочку...

Юрась действительно лежал, уткнувшись в ее колени, и спал безмятежно.

— Уезжаю ведь я,— запнулся Богдан.

— Ах,— как-то испуганно взглянула на него Елена и побледнела,— зачем так скоро? Не надо! — проговорила она как-то порывисто; потом провела рукой по лицу, вздохнула глубоко и добавила спокойнее: — Ведь это в поход, на страшный риск?

— К этим страхам, моя горлинко, мы привыкли. Вся наша жизнь идет под непрерывным риском за каждый ее день. Может быть, он и делает нас выносливыми и сильными, но не эти опасности, на которые идешь с открытыми глазами, страшны: такие только тешат сердце козачье да греют нашу удаль, а вот опасности из-за угла, от лобзаний Иуды [12], от черной неблагодарности, такие-то пострашнее.

Елена побледнела пуще снега и вдруг почувствовала, что в ее грудь вонзилась стрела; она щемила ее и затрудняла дыхание.

«Ведь он спас мне жизнь!» — молнией прожгла ее мысль и залила все лицо яркою краской стыда.

— Ой матко свента! — вырвалось невольно из ее груди, и она упала на шею к Богдану.

— Не тревожься, зозулечко моя, радость моя, счастье мое! — обнимал ее Богдан, целуя и в голову, и в плечи.— Не согнемся перед бедою... Вот и теперь Конецпольский поручил атамановать в походе никому другому, как мне... Значит, считает меня сильным. И есть у меня этой силы довольно,— расправился он во весь рост и ударил себя рукой в богатырскую грудь,— не сломят ее прихлебатели, ничтожные духом!.. Лишь бы ты одна, счастье мое, любила меня! — прижал он ее горячо к своей груди.— Одна ты у меня и радость, и утеха,— ласкал он ее горячей и страстней,— без тебя мне не в

радость ни жизнь, ни слава! Никого не боюсь я... Слышишь, Елена? Одной тебя... тебя одной боюсь!..

— Тато, тато! — шептала она, вздрагивая как-то порывисто и пряча еще глубже свое пылающее лицо на его груди.

— Вот и на днях ты так больно ударила в мое сердце, Елена,— продолжал Богдан, целуя ее нежно и ласково в золотистую головку.— Дитя, я не виню тебя... я знаю, что виноват сам: я мало думал о тебе, щадя твое молоденькое сердце... я не посвящаю тебя в те кровавые тайны, которые окружают меня. Но я верю, верю, Елена, счастье мое, что те жестокие слова, которые сорвались тогда у тебя... шли не от твоего сердца. Они были навеяны тебе кем-нибудь из моих изменчивых друзей. Но, Елена, не верь им, не верь их уверениям и восторгам. В тебе они видят только забаву, только красавицу панну, которая волнует им кровь, а я...— Богдан остановился на мгновенье и заговорил снова голосом и серьезным, и глубоко нежным: — Ты знаешь, жены своей я не любил... да ее уж давно и не было у меня. Ни один женский образ не закрадывался до сих пор в мое сердце. Все оно было полно ужасов смерти и ударов судьбы. Тебя я полюбил в первый и в последний раз. В таком сердце, как мое, дважды не просыпается кохання. Люблю тебя не для минутной забавы, люблю тебя всем сердцем, всею душой, солнце ты, радость моя!

Богдан прижал ее к себе горячо, до боли, и хотел было поцеловать в глаза, но Елена судорожно уцепилась за шею руками, и сдерживаемое рыдание вырвалось у ней из груди.

— Ты плачешь? Плачешь? Счастье мое, пташечка моя, ангел мой ясноглазый! — говорил растроганно Богдан, покрывая ее головку жаркими поцелуями.— Теперь я вижу, что тебе жаль твоего татка, теперь я вижу, что ты любишь меня! Ах, если б ты знала, какою радостью наполняешь ты мое сердце! Задохнуться, умереть можно от счастья! — вскрикнул он, прижимая ее к себе.— Что мне все вороги, когда я верю тебе, Елена?.. Ты говорила, что любишь только сильных; в этом ты не ошиблась, верь мне! И мы будем с тобою счастливы, потому что твое счастье — вся жизнь для меня!

Он припал долгим, долгим поцелуем к ее заплаканному лицу и затем заговорил торопливо:

— Ну, прощай, прощай, моя королева, моя радость, не тревожься, не думай... Будь весела и покойна,— перекрестил он ее.— Береги моих деток.— И, обнявши ее еще раз, он решительно повернулся и направился скорыми шагами на дворище, где уже давно его ждали.

— На бога! Постой... Мне надо... Я должна... Ой! — рванулась было к нему Елена, но Богдан не слыхал ее возгласов. От быстрого ее движения Юрась упал на землю; она растерянно бросилась к нему, и когда Богдан совершенно скрылся, прошептала: — Что ж, судьба! Что будет, то будет!

Все уже были на конях. Богдан вскочил на своего Белаша, и тот попятился и захрапел, почуяв на спине удвоенную тяжесть.

— Ну, оставайтесь счастливо! — снял шапку Богдан и перекрестился.

Спутники его тоже обнажили чубатые головы.

— Храни тебя и всех вас господь! — перекрестил их издали дед.

В это время Андрийко подбежал к отцу и, ухватясь за стремя, прижался головкой к ноге.

— Тато, тато! Поцелуй меня еще раз! — произнес он порывисто, и что-то заклокотало в его голосе.

Богдан нагнулся с седла и поцеловал его в голову, а потом, окинувши еще раз все прощальным взором, крикнул как-то резко: «Гайда!» — и понесся галопом со двора в Чигирин.

X

По просеке между лесами Цыбулевым и Нерубаем едут длинным, стройным ключом козаки; червонные, выпускные верхушки высоких их шапок алеют словно мак в огороде, а длинные копья с сверкающими наконечниками кажутся иглами какого-то чудовищного дикобраза. Лошади, преимущественно гнедые, плавно колеблются крупами, жупаны синеют, красные точки качаются, а стальные иглы то подымаются ровно, то наклоняются бегучею волной. За козаками тянется на дорогих конях закованная в медь и сталь пышная надворная дружина*.

* Надворная дружина — приватне військо магната.

Впереди едет на чистокровном румаке молодой Конецпольский; на нем серебряные латы, такой же с загнутым золотым гребнем шлем... Солнце лучится в них ослепительно, сверкает на дорогом оружии, усаженном самоцветами, и кажется, что впереди движется целый сноп мигающего света. По левую руку пана старосты качается на крепком коне увесистый пан Чаплинский; он залит весь в металл и обвешан оружием; тяжесть эта ему не под силу, и он отдувается постоянно. По правую руку едет в скромном дорожном жупане на Белаше пан Хмельницкий; осанка его величава, взгляд самоуверен, на лице играет энергия; на правой руке висит у него пернач — знак полковничьего достоинства. За атаманом хорунжий везет укрепленное в стремени знамя; оно распущено, и ветер ласково треплет ярко-малиновый шелк; по сторонам его бунчуковые товарищи держат длиннохвостые бунчуки... В первом ряду козацкой батавы, на правом фланге, выступает бодро Тимко на своем Гнедке, а налево едет из надворной команды угрюмый Дачевский.

Жутко на душе у Чаплинского; что-то скребет и ползет по спине холодною змеей, а лицо горит, и расширенные глаза перебегают от одного дерева к другому, всматриваются в темную глубь... и кажется ему, что оттуда выглядывают косые рожи с ятаганами в зубах.

— Нас Хмельницкий ведет страшно рискованно,— не выдерживает и подъезжает к Конецпольскому подстароста,— на каждом шагу можно ожидать татарской засады в лесу, а мы растянулись чуть ли не на полмили... без передовиков... едем словно на полеванье; нас перережут как кур...

— Пан чересчур уж тревожится,— отвечает с оттенком презрения староста,— наш атаман — опытный воин...

— Но можно ли ему вполне доверять?

— Пане, это мое дело! Наконец, я доводца в походе! — бросает надменно староста, и Чаплинский, побагровевший, как бурак, отъезжает, сопит и мечет вокруг злобно-пугливые взгляды.

Время идет; лесная глушь становится еще мрачнее; тихо; слышен мерный топот копыт, да иногда доносится издали крик пугача... Конецпольский, выдержав паузу, обращается с своей стороны к Хмельницкому, приняв совершенно небрежный равнодушный тон; его тоже ин-

тересует отсутствие авангарда и полная беззащитность отряда от нападений из леса.

— Ясновельможный пане,— ответил ему с полным достоинством Богдан,— татары сами боятся лесов и никогда по ним не рыщут, они держатся только раздольных степей. Независимо от этого у нас есть не только надежный авангард, но и с обоих сторон отряда пробираются по трущобам и дебрям мои лазутчики-плазуны... Раздающиеся по временам крики пугача и совы — это наши сигналы.

— Досконально! — воскликнул вполне удовлетворенный староста.— Хитро и остроумно! Я не ошибся в военной предусмотрительности и доблести пана и вполне убежден, что он оправдает их.

— Весь к защите края и к панским услугам,— снял Богдан шапку и, сделав ею почтительный жест, насунул ее еще ниже на брови.

К вечеру только начал редеть лес, открывая иногда широкие закрытые поляны...

— Не отдохнуть ли нам здесь? — обратился Конецпольский к Богдану.— Место укромное, люди отдохнут, кони подпасутся, да и нам полежать и закусить не мешает. Разбило на коне — страх!

— Как егомосци воля,— улыбнулся слегка Богдан,— только засиживаться нельзя, с татарами главное — быстрота и натиск...

— На бога, вельможный пане,— взмолился к пану старосте Чаплинский,— отдых! Сил нет... изнурены... в горле пересохло... вся наша надворная команда едва держится в седлах!..

— Я прикажу, за позволеньем панским,— нагнулся почтительно в сторону Конецпольского Богдан,— остановить здесь полк, призову сюда и моих разведчиков... тут рукою подать до опушки.

— Отлично,— кивнул головой староста.

— Только, мой пане коханый,— не отставал Чаплинский,— подночуем здесь: утром как-то виднее, бодрее.

— Смерть-то встретить днем, да глаз к глазу не бардзо...* — подтрунил Конецпольский и сейчас же, соскочив с коня на руки своих гайдуков, снял латы.

Богдан, отдав приказания, углубился немного направо

---

* Не бардзо — не дуже.

в лес, а Тимко налево. Раздались близехонько неприятные и резкие крики филина и совы; на эти крики послышались издали как бы ответные завывания пугача.

Вскоре на поляну вышли двое бродяг по виду.

— А Ганджа, братцы, где? — спросил их Богдан.— Ты ж, Чертопхай, был при нем?

— Вперед ускакал оглядеть степь...— обирал тот репейники и другие колючие и ползучие растения, облепившие и изорвавшие его одежду.— Он уже раз был на разведках и видел недалеко за лесом кучки татар; они тоже рыскали, чтобы вынюхать что-нибудь.

— Гаразд! — одобрил атаман.— Ступайте к обозу, выпейте по кухлику, да снова на свои чаты. Тимко,— кликнул он потом своего сына,— возьми с собой Ярему, да Гниду, да еще человек пять и отправляйся на опушку подозорить!

— Добре, батьку,— ответил бодро Тимко, счастливый данным ему поручением.

— Если встретишь порядочную купку татар, дай знать, а если собак пять-шесть, то попробуй подкрасться и заарканить кого-нибудь, а если пустятся наутек, то не гонись: татарина в степи и куцый черт не поймает.

— Добре, батьку атамане! — поклонился Тимко и ушел.

Козаки еще до наступления ночи зажгли в глубине леса костры; кашевары принялись варить кулиш; стреноженные кони были пущены на поляну; в два круга вокруг табора расставлены были вартовые.

Из пышного старостинского обоза принесены были ковры и подушки; отряд кухарей и гайдуков засуетился над вельможнопанскою вечерей, и вскоре на коврах появились дымящиеся и холодные блюда роскошнейших снедей, обставленных целыми батареями пузатых и длинношеих фляг и бутылок.

К магнатской вечере, кроме начальников надворной команды, был приглашен из козаков один лишь Богдан. Чаплинский все время упорно молчал и только согревал себя старым медом да подливал усердно венгерское одному из бунчуковых товарищей третьей хоругви, некоему Дачевскому.

Не успело еще панство повечерять, как раздался в просеке стук копыт, и в освещенном кругу появился Ганджа, держа поперек седла связанного татарина.

— «Языка», батьку, добыл! — проговорил он весело, соскакивая с коня и стягивая татарина; последнего била лихорадка, косые глаза его постоянно мигали и бегали, как у струнченного * волка; лицо от бледности было серо.

— Где ты его поймал? — спросил Богдан.

— Аж под Моворицей,— улыбнулся Ганджа до ушей, выставив свои широкие белые зубы. — Ее-то собаки сожгли, так я на зарево и поехал. Смотрю, двое голомозых на поле шашлыки жарят, я подполз и накинул вот на этого пса аркан, а другой удрал.

— А где твоя, татарва, главный стан? — спросил атаман у пленника по-татарски.

— Ой аллах! Не знаю,— растерялся татарин.

— Слушай, во имя Магомета, говори правду,— насупил брови Богдан,— не то попробуешь горячих углей или соли на вырезанных в твоей спине пасмах.

Татарин трясся и не мог говорить.

— Гей! — крикнул Богдан.— Принести сюда жару и позвать шевца Максима!

Татарин повалился в ноги и стал болтать чепуху.

— Нас много... на полдень... клянусь бородой пророка! Мы четыре раза делились, больше не знаю. О эфенди **, мурза ***, пощади!

— Слушай, собака, — крикнул Богдан, — ты покажешь нам, куда твоя малая батава пошла; солжешь — всю шкуру сдеру и живого посолю. Возьми его,— обратился он к Гандже,— он твой бранец и при малейшем обмане нарезать из его шкуры ремней!

— Добре, батьку,— захохотал Ганджа,— не утечет! А насчет голомозых чертей, так я одну тропу их выследил: они, сжегши Моворицу, бросились обратно по направлению к Оджамне. Теперь если бы выследить другое рамено ихнего поганского отряда, так можно б добраться и до перехрестя.

— Пошлем отряды направо и налево от твоей тропы. Ну, спасибо! Ступай подвечеряй!

Конецпольский страшно был заинтересован допросом; но, не зная, с одной стороны, татарского языка и

---

* Струнченный — зв'язаний.

** Эфенди — вищий урядовий чиновник.

*** Мурза — князь.

не понимая отрывочных фраз Ганджи, с другой, он обратился к Хмельницкому за разъяснениями.

— Видите ли, ясновельможный пане,— почтительно начал Богдан,— татаре, когда выходят загоном в набег, то, выбравши крепкое место, отабориваются; тут в ихнем стане все добро, обоз, кибитки с женами и детьми. Укрепившись, они разделяются на четыре отряда и разъезжаются в противоположные стороны крестом; потом на известном расстоянии каждый отряд делится вновь на четыре части и разъезжается накрест, потом и эти отрядики делятся. При таком способе загон в короткое время разносится вихрем по намеченному к грабежам краю и нападает на беззащитных селян, неся с собою смерть, насилие и грабеж, а когда против них выступит отряд, то они разлетаются во все стороны и по намеченным ими тропам сбегаются к своему стану. Если по сведениям окажется, что преследующий их отряд невелик, то татары тогда выступают против него всеми силами, окружают и истребляют; если же, наоборот, отряд окажется сильным, то они сами торопятся удрать в свои улусы и сараи с добычею.

— Да, я теперь понимаю,— пригубил венгерского пан староста,— нужно быть очень опытным, чтоб ловить этих степовых чертей.

— Стоит только, вельможный пане, открыть две тропы, тогда по ним можно добраться и до клубочка. Я думаю, если егомосць одобрит, через час выступить, чтобы к рассвету быть в Оджамне. Татарин ведь что ветер!

— Згода! — согласился Конецпольский и налил Хмельницкому ковш меду.

Через час все было на коне. Чаплинского едва могли растолкать, так как он для храбрости хватил через меру литовского меду.

Еще было далеко до рассвета, когда полк подходил уже к Моворице. Тлеющие груды углей и догорающее пожарище служили путеводным светочем. В бывшем поселке не оказалось никого из татар; лежали лишь по улицам изуродованные, обгорелые трупы русских людей, по большей части старики и младенцы...

Богдан снарядил два отряда и отправил один направо, а другой налево и наказал, чтоб они, разъехавшись далеко в противоположные стороны, съезжались бы по-

том, описывая большую дугу и ища следов другой татарской батавы. Эта, что сожгла Моворицу, возвратилась назад, как показывали ясно при влажной погоде следы; значит, если найдут другую тропу, то при пересечении их и будет находиться главный татарский лагерь.

Еще было раннее утро, когда прилетели Ганджа и Тимко с радостною вестью, что нашли другую тропу, что батава, довольно порядочная, отправилась на Ингулевку и назад не возвращалась. Богдан полетел сам проверить показание разведчиков и, возвратясь, доложил Конецпольскому, что стан татарский находится за день пути отсюда, при слиянии речки Ингула и Оджамны, за Клинцами,— он в этом ручается своею головой.

— Советую вашей милости,— продолжал Богдан,— немедленно двинуть все силы и окружить это собачье кубло; там их подавим, как клопов, отнимем добычу и пленных. Теперь это сделать будет легко, так как половина татарвы вразброде, а место я хорошо знаю.

Чаплинский попробовал было и тут возразить, что нападение на главный табор рискованно, так как силы врага неизвестны. Да и где еще он? А лучше накрыть отряд, что отправился к Ингулевке... Но Конецпольский отверг это предложение, а Хмельницкий лишь улыбнулся надменно.

К вечеру стройные лавы козаков пробирались осторожно между двумя параллельными речками. Густые заросли берегов Оджамны во многих местах сходились близко с крутизнами и скалами Ингула, укрывая главные силы козаков от наблюдений беспечного врага. Богдан, подвигаясь вперед лощиною, разослал с флангов разъезды, которые на большом пространстве филировали окрестность и, завидя где-либо движущуюся черную точку, гнались за ней, отрезывали от табора и угоняли в степь или ловили на арканы.

Туман, сгустившийся к вечеру, еще больше способствовал козакам.

Не доезжая до самого узкого прохода между стеснившимися речками, Богдан остановил войска и, выехав с паном старостою на пригорок, указал ему татарский табор. За версту вся широкая дельта, в углу слияния реки, была заставлена кибитками; между ними пылали

во многих местах костры и темнели какие-то волнующиеся массы.

— Вот они, как я и докладывал егомосци,— указал Богдан перначем,— они все в западне, и ясновельможный пан увидит сейчас, как мы их накроем и раздавим в этой мышеловке.

— Спасибо, спасибо! — воскликнул в азарте пан староста.— Я сгораю нетерпением видеть этот разгром!

Богдан разбил свой полк на четыре отряда: один послал в обход за реку Ингул открыть по неприятелю огонь с тыла; два отряда расположил по обеим сторонам продолговатой лощины; они должны были броситься вплавь через реки и ударить на врага с флангов, когда он, ошеломленный атакой, бросится к узкому проходу, а сам Богдан с своею сотней поместился в этом проходе, чтобы ударить на врага с фронта и довершить стремительным натиском поражение. Рядом с Богданом поместился и Конецпольский с своею отборною нарядною дружиной. Опытный взгляд талантливого полководца следил с гордою уверенностью за правильными движениями своих войск и предвкушал наслаждение победы; Конецпольский волновался тоже новизною тревожных и жгучих ощущений... один только Чаплинский тоскливо дрожал и перешептывался со своими клевретами.

Стало еще темней. Окрестности начали тонуть в темноте, издали доносился какой-то глухой шум, между которым вырезывались резкие выкрики муэдзинов.

Вдруг вдали за рекой засверкали и забегали огоньки; через некоторое мгновенье долетел возрастающий треск батального огня. За ним поднялся неимоверный крик и гвалт, словно застонало разъяренное море; это шумное смятение прорезывалось еще визгливым скрипом колес.

Вот всколыхнулись волны на обеих реках; плеск воды, конский храп и победные клики раздались с двух сторон, и какие-то тяжелые массы упали на мятущуюся в ужасе и сбившуюся в кучу толпу...

— Аллах, аллах! — раздался общий крик, и теснимая с трех сторон орда бросилась без сопротивления к проходу, ища спасения в бегстве.

— Гайда! — крикнул теперь зычно Богдан.— Кроши их на капусту! — И понесся бурею навстречу врагу. Но

в это мгновенье страшный удар келепом * по затылку ошеломил его [13]. Все закружилось в голове Богдана, слилось в одну черную точку и исчезло... Он пошатнулся на седле, схватился за луку седла и упал на руки подскочивших козаков.

— Зрада! Атаман убит! — разнеслось по рядам сотни, и она, все забыв, окружила тревожно своего дорогого и многолюбимого батька...

XI

После нескольких дождливых дней погода вновь установилась; выглянуло солнце и так ласково, так тепло грело Субботов, что даже Шмулины дети выбежали из корчмы поиграть на улице; выбежали они, одетые по летнему положению: в специальных штанишках, завязывавшихся у шеи, с дырками, вместо карманов, куда просовывались руки, и с огромною прорехой сзади, откуда моталось, в виде безобразного хвоста, грязное белье. Мать их, Ривка, сидя на ганку, сматывала пряжу в клубки и с трогательным упоением следила за своими «ой вумными» и изящными детками.

По случаю будней, в корчме было мало народа; все почти ближайшие и дальние хуторяне отправились в поле, пользуясь таким днем, то подсеять поздней озимины, то на зябь поорать, то бакшу убрать окончательно.

На лавке в корчме сидело только два наших старых знакомых: любитель меховых курточек во все времена года Кожушок и с бельмом Пучеглазый. Им было нечего делать в поле, да и попался еще интересный товарищ, с которым приятно было и поговорить по душе, и выпить; этот третий на вид был еще молодых лет, но изведшийся от болезни. Одежда его напоминала отрепья нищего старца.

Перед собеседниками стоял добрый штоф оковитой и лежало нарезанное кусками сало. Шмуль, подавши такое трефное угощение, сам удалился, чтобы даже не смотреть на него, и в конурке считал свои капиталы. Кроме этой группы, сидел еще в дальнем углу какой-то

---

* Келеп — обушок на довгому руків'ї.

мизерный человечек, по-видимому, прохожий; он скромно ел себе черный как земля хлеб и лук.

— Ну что, как, брате, рука? — обратился к больному Кожушок, подливая ему в кухлик горилки.

— Да ничего; спасибо богу и вам, добрые люди, и вашей знахарке, еще плечом трохи подкидаю, как ляхи в краковяке, да размахнуться добре рукою нельзя, а все же при случае можно ткнуть корчмарю кулаком в губы...

— Ха-ха! — заерзал на месте Пучеглазый,— так ты, брат, скоро их будешь и за пейсы трясти!

— Го-го!, Правда!.. А ляха не грех и зубами за горло, на то же ты и Вовгура!

— А что ты думаешь? — улыбнулся больной.— Коли так добре пойдет, то и впрямь...

— Знахарка у нас добрая,— заметил, набивая люльку, Кожушок,— можно сказать — важная знахарка.

— Змииха? — вскинул бельмом Пучеглазый, отправляя в рот кусок сала.

— Эж! — начал рубить огонь Кожушок.

— Уж как ли, мои други, не важная? — отпил оковитой Вовгура и потянулся тоже за салом.— Коли я уже надумал было совсем пропадать, рука колода колодой, хоть отруби ее. Ну, а что козак без руки, да еще без правой? Тпфу!.. А до того еще трясця трясет. Погнался я за каким-то чертякою из яремовского пекла, размахнулся дубиною, а он и упади мертвым раньше со страху, я за дубиною раза два окрутнулся, да и угодил как-то на нее плечом. Треснула кость, рука другим концом совсем из гнезда выскочила и повисла. Ну, бабуся каким-то зельем да отшептываньем сейчас же это трясця прогнала, а потом распарила добре плечо, привязала до столба руку и давай тянуть, возжей тянет за руку, а коленом прет в плечо. Прет, прет, да как встряхнет, аж кость затрещит, ну, и вскочила таки в свое место. Ловкая знахарка! Теперь уже скоро и саблей буду орудовать.

— Само собою,— сплюнул Кожушок,— ну, отдохнешь еще у нас, пока не станешь этой рукой бить наотмашь.

— И то уже дармового хлеба заел,— вздохнул Вовгура,— пора и честь знать, да пора и до лесу, и в степь, час за дело браться, час до батька атамана... Где-то он теперь? Лихо, ведь, братцы, не стоит, а расползается.

— Да у нас ничего себе,— встряхнул спиной Пучеглазый.

— Разве у вас целый свет застрял? — встрепенулся Вовгура, сверкнув огненным взглядом.— А что творится в Жаботине, в Смелой, в Глинске, да и во всем старостве? А за Днепром этот антихрист Ярема разве не выжег дотла, не истребил до грудного младенца Жовны, Чигрин-Дуброву, Ляленцы и Погребище?.. Разве по всей его Вишневеччине не ругаются над нашей верой святой? Разве не стоит стон, не раздается плач от края до края? Так неужели этот вопль не тревожит вас в вашем гнезде? Или вы думаете, что он до вас не дойдет? Дойдет неминуче! — голос у больного сразу окреп и звучал благородным и скорбным раздражением.

— Это верно! — заскреб себе пятерней затылок бельмоокий.

— Ох-ох-ох! Прости, господи, наши согрешения и яви свою божескую милость! — неожиданно произнес взволнованным голосом евший до сих пор молча прохожий.

— Вот оно у кого вырвалась правда! — обернулся быстро Вовгура.

Кожушок и Пучеглазый тоже изумленно переглянулись между собою и засуетились.

— А откуда, добродий? Подседай, пане-брате, к гурту!

— Спасибо, братцы,— подошел несмело прохожий.

— Подкрепляйся, земляче, чем бог послал,— налил один оковитой, а другой придвинул сало.

— А что, и у вас, видно, невесело? — спросил больной; глаза у него горели, точно угли, взволнованное лицо покрывалось румянцем и оживлялось кипучею энергией.

— Господи! Да такого пекла, какое в Брацлавщине у нас завелось, так и на том свете немае! — махнул прохожий рукою.— Были мы вольными — подманули нас паны и запрягли в ярма... Стали мы их быдлом; потом насели на нас еще больше экономы да пидпанки, а теперь нас отдали с головою в руки корчмарей и издевается же над нами невира! И земли, и худобу, и хату, и церковь — все поотбирали, и за все еще плати: и за службу божу, и за то, что по дороге идешь, и за то, что печь затопил, и за то, что голодная дытына коленце молодого тростника себе вырвет в болоте... Ей-богу! А не

то бьют до смерти, вешают нашего брата, и нема нам ни суда, ни защиты!

— Что же вы их не перевешаете? — ударил Вовгура по столу кулаком.

— Пробовали,— опустил глаза прохожий,— еще хуже выходило.

— Так, так,— отозвался Кожушок.— Вон и у нас за паршивого Абрумку сколько сел дарма пропало!

— Не дарма! — привстал больной. Грудь его вздымалась, глаза искрились, сжатые кулаки искали врага.— Еще за эти села попадет и панам! Ох, ударит час, и с этого клятого падла сдерем шкуры себе на онучи, хоть и поганые с падла онучи, да зато — гоноровые!

— Эх, коли б то так! — вздохнул Кожушок.

— Силы-то у них больше! — заметил прохожий.

— А сила солому ломит! — покрутил головой Пучеглазый.

— Сила? — стремительно двинулся к другому концу стола Вовгура, придерживая левою рукой правую, чтобы она не качнулась слишком,— вот, поглядите,— он захватил из стоявших там мисок с зерном в одну руку полную горсть жита, а в другую — щепотку пшеницы,— ну, вот жито, а вот пшеница... Если я сверх жита высыплю эту пшеницу, то распознать ее можно?

— Атож! — отозвался Кожушок.

— Гаразд! А ну, найди мне теперь эту пшеницу, где она делась? — и больной встряхнул горстью и, раскрывши ее, показал зерно заинтересованным слушателям.— Одно жито!

— Ну, и ловко! — захохотал Пучеглазый, толкнувши локтем Кожушка; даже мрачный прохожий одобрительно улыбнулся.

— Только дружно да разом взяться за колья, так ихнего и следа не останется! — шепотом закончил Вовгура.

В это время послышался на дворе необычайно тревожный крик Ривки: «Шмуль, Шмуль! Ким-а-гер! Скорей, шнелер!»

За мгновение перед этим прилетел из Чигирина к ней на коне родич и сообщил страшную весть. Прибежал Шмуль, услыхал эту весть и затрясся... На гвалт родителей подбежали дети и подняли с своей стороны вой... Между воплями, взвизгами и целыми потоками еврей-

ской речи слышались только: «Ой вей мир, мамеле, тателе! Ферфал, ферфал!»

— Слышите, братцы, завыли! — всполошился Кожушок.— Уж не беда ли?

— Може, повесили ихнего родича,— подмигнул Пучеглазый.

— На погибель им! — мрачно заметил больной.

— А ты куда собрался?

— В Диброву... к знахарке,— и он, мотнув головою, вышел.

— Что мы делаем, вей мир? — заметалась Ривка.— Хоть поховать.

— Ой-ой-ой, ферфал! — вошел, шатаясь, в корчму Шмуль.— Люди добрые, идите! Я не могу, ферфал! Ведь я для вас все на свете... я как батько.

— Го-го-го-го! — расхохотался от души Пучеглазый.

Другие покачали лишь головами.

С раннего утра на рундуке крылечка, выходящего в сад, сидела Елена и вышивала какую-то мережку; Оксана сидела ниже ступенькой. Много за эти три дня, после отъезда Богдана, передумала, перетревожилась наша красавица, много она пережгла сил в душевной борьбе. Богдана ей почему-то вновь было разительно жаль,— влекли к нему его благородные порывы, его геройская доблесть, а с другой стороны манила ее неотразимо жажда власти, ореол блеска и роскоши. Под конец она до того измучилась в этой борьбе, что ей уже лучше было отдаться на волю судьбы, чем думать о ней, напрягать истомленные силы...

— Да, не думать, не думать ни о чем,— шептала она,— не то не пережить этой пытки! — И Елена кинулась к детям: с старшими бралась за хозяйство, с Андрийком говорила нежно, тепло, Юрку рассказывала сказки, к няне ласкалась, у Оксаны вышиванью училась; и все это с нервною стремительностию, с болезненным возбуждением. Но прошел день, другой — ничего чрезвычайного не случилось, и ее нервы начали не то что успокаиваться, а раздражаться еще новою досадой, что болтовня и хвастливые обещания этого нового обожателя оказались лишь пустоцветом и напрасно наполнили ее сердце тревогой.

Вошла Катря с Оленкой.

— Сегодня, сестричко, у дида собирают баштан, так хотелось бы поехать, день славный.

— Это возле пасеки? — спросила Елена.

— Нет, не у нашего дида,— подбежала оживленная Оленка,— а у Софрона, за Тясмином, под дубиною... там так славно... насобираем опенок. Поедем!

— Поезжайте, поезжайте, мои любые... С кем же?

— Да с Софроном же,— перебила вновь Катрю Оленка,— его подвода за брамою ждет.

— Воловая? — протянула Елена.— Ну, и поезжайте.

— И я поеду, и мне хочется,— ухватился за Катрю Юрко.

— Что ж, возьми и его... день действительно теплый,— поцеловала Елена Юрка.

— А ты не поедешь? — ласкалась Катря.— Конечно, не на волах... а в повозе... или верхом бы с Андрием...

— О! И вправду было бы хорошо! — встрепенулась игриво Елена, но сейчас же замялась.— Нет, неудобно всем кинуть господу... Да и, признаться,— добавила она интимно, полушепотом Катре,— не мило мне ничто, пока не вернулся наш тато... все думки о нем... не сходила бы с этого места: отсюда видна вон за млынами гребля, а по ней ему ехать...

Оксана взглянула на нее подозрительно и подумала: «Ишь, как поет!»

— Ох, бедный, родненький таточко! — вырвалось грустно у Катри, и она, бросившись на шею Олены, прошептала: — И ты, голубочка!.. Ну, так едемте, детки,— подхватила она Юрка,— а то дид Софрон будет сердиться...

— Поеду и я, Катрусю,— встала было Оксана.

— И тебе хочется, моя любко? — смешалась Катря,— только как же панну оставить одну?

— Натурально, мне одной здесь неудобно,— сухо заметила Елена,— да и что это за гулянье в будни? Нужно работать...

Оксана закусила язык и села.

— Ну, так гайда ж, гайда! — закружилась Оленка, и все выбежали с шумом на дворище.

Оксана хотела было взглянуть, как дети усядутся на возу, но у ней словно оборвалось что, и она, как подкошенная, села снова на свое место; ей сделалось вдруг

невыразимо грустно... «Ох, Олекса!» — что-то простонало внутри, и она опустила печально голову.

«А детки таки меня любят,— думала между тем Елена,— особенно этот Юрась, и я к нему привыкла, такой хилый, мизерный — жалко!» — и ее незаметно окрыло подкравшееся без спросу раздумье; она погрузилась в него, как в сладкую дрему, и затихла, замолкла, облокотясь спиной о перила и откинувши назад голову.

Время незаметно шло.

— А что, панно господарко наша? — подошел в это время дед.— Хе, да они и не чуют! Задумались чи поснули?

— Ах, дид! — вздрогнула панна, а Оксана даже встала почтительно.

— Та дид же, моя господыне! — улыбнулся старик и повел бородой.— Пришел посоветоваться насчет пчел, муха уже стала крепко сидеть. Того и гляди, что холода потянут, то лучше б затепло перенести колоды в зимник, в мшанник.

— А, диду, как знаете,— улыбнулась лицемерно Елена,— не вам до нас, а нам до вас ходить за разумом.

— Э, панно,— захихикал дед,— много ласки, много нам чести, спасибо! Так вот ключа мне нужно да с фонарем кого. «Ишь, как она хитра!» — покачивал недоверчиво он белою как лунь головой.

— Ключи у няни. Сбегай, Оксана, и помоги диду.

Оксана встала было, но дед удержал ее:

— Сиди себе, дытынко! — погладил он ее по голове.— Бабу-то я найду и сам... Ого, такой дид и чтоб не нашел бабы, хоть бы баба взлезла на дерево. Мы еще и поженихаемся, по-запорожски! — подкрутил он сивый ус.— Ого-го! Так я пойду,— всходил он тяжело по ступенькам крыльца, улыбаясь и воркоча: «А хитрая же она да ловкая!»

— А, диду мой любый! — раздался в соседней светлице голос Андрийка,— и я с вами пойду...

— Еще лучше, соколику,— ответил старческий голос,— с лыцарем и нам больше почету.

— Смейтесь! А я таки лыцарем буду.

Голоса удалялись и наконец замолкли.

У Елены почему-то повеселело на сердце; она высвободила запутавшуюся в сподницe ногу и хотела было побежать вслед за ними, да заметила, что сполз

черевичек, и попросила Оксану его поправить; потом встала, потянулась сладко, повела вокруг сада томным взглядом. Вдруг она затрепетала вся и остолбенела; со стороны мельницы подымался черными клубами дым.

— Оксано, взгляни, что там такое? — вскрикнула она наконец.

— Ой! — вскочила та и всплеснула руками.— Горит млын!

Действительно, черные клубящиеся массы уже начинали мигать зловещим красноватым блеском.

От плотины долетал странный шум, похожий на топот несущегося табуна.

— Ой, татары! — кинулась к двери Оксана, вопя неистово.

Елена было вскрикнула, но дыханье оборвалось, и она упала.

В таком положении нашла ее прибежавшая Зося.

— Панно! Что с вами? — тормошила она ее.

— Ой, татары! — пришла наконец в себя и заметалась Елена.

— Не татары, клянусь! — лукаво улыбалась Зося, стараясь увлечь панну поскорее в покои, потому что со стороны сада неслись грозные клики.

— Ай, это смерть! — в ужасе рванулась Елена.

— На бога, панно! Поспешим в горенку, нам не угрожает опасность. На бога, скорее,— здесь будет драка! — и она таки потянула ошеломленную ужасом панну наверх.

Когда они проходили через сквозные сени, то заметили там целую толпу сбежавшихся женщин; они молча ломали руки и с расширенными безумно глазами прислушивались к возрастающему гвалту. Оксана запирала на засов двери; баба крестилась и шептала беззвучно:

— Так, так и при Наливайке, и при Трясиле было... Стук, свист, огонь и дым. Везде липкие, красные лужи. Кругом стоны. Так, так! Замыкались, прятались... Храни нас, божья матерь!

XII

На дворище стояло страшное смятение. Немногие из дворовой челяди — два конюха, чабан, бондарь, воротарь да коваль Макуха — скучились среди двора, не зная, что

делать, растерянно смотря друг на друга; парубки выскакивали из кошар; молодицы выбегали из пекарень и хат на дворище, хотя бледные, с искаженными лицами, но с мрачным огнем в глазах и сжатыми гневно бровями; дети бросались с плачем на ток и зарывались в скирды; подростки прятались под коморой и высматривали оттуда волчонками... Топот, крик и дикие взвизги приближались каким-то бешеным ураганом... Собаки с завывающим лаем рвались за браму.

Выскочил из погреба Андрийко; вслед за ним торопливо вылез встревоженный дед; он взглянул на зловещее зарево, прислушался к несущимся гикам и крикнул, потрясая старческими, высохшими кулаками:

— Ляхи клятые! Наезд!

Потом бросился к оторопевшим челядникам:

— Что же вы, братцы, стоите? Запирай браму! Заставляй все проходы! — раздалась его команда и разбудила сразу пришибленную энергию у толпы: все вздрогнули, приободрились и бросились исполнять приказания атамана, за которого молча признали все деда.

Прибежали из хутора Кожушок, Пучеглазый, несколько пожилых, либо хворых селян и несколько вышедших в поле баб да молодиц с детьми.

— А другие где? — спросил торопливо дед у Кожушка.

— На поле все, их оповестят...

— Поздно будет,— встряхнул бородою дед.

— Пожалуй,— вырывал Кожушок колки из плетня и передавал их другим.

— Диду! — крикнул Андрийка.— Что ж с колками, я дам оружие.

— Уйди в хату! Чего ты здесь? — гримнул было на него дед.

— Нет, я от врага прятаться не стану! — вскрикнул хлопец, потрясая своим кулачком. — Гей, за мной,— обратился он к дворне,— забирайте батьковские пищали, гаковницы и сабли!

— Вот так сокол! — раздались восторженные крики, и все бросились вслед за хлопчиком с огненными глазами и светлыми кудрями, отливавшими золотистым каштаном.

— Половине остаться здесь, возле брамы! — остановил толпу жестом дед.— Вынесут сюда зброю.

— А вы, парубоцтво? — отделилась от молодиц ключница Марта,— чего стоите там? Гайда за мною до коморы, забирайте секиры и косы, да и мы, сестры, какая что может... Чего им, псам, в зубы смотреть?

Парубки и молодицы бросились за Мартой в комору.

В светлицу же Богдана вбежали только бондарь, Кожушок, чабан да Макуха.

— Разбирайте, разбирайте все! — снимал в азарте Андрийко сабли и кинжалы, стягивал тяжелые гаковницы, но, не могши удержать их тяжести, валился вместе с ними...— Эх, силы еще у меня нет! — вскакивал он, почесывая ушибленное место.— А то б я им! Снимайте сами гаковницы, мушкеты, а я вам из скрыни достану припасы,— и он торопливо начал вытаскивать и передавать Кожушку полные рога пороху и мешочки пуль.

Коваль, перебравши поспешно оружие, ухватил наконец себе по руке пудовую машугу * и, потрясши ею в воздухе, выбежал во двор.

Когда все выскочили с оружием и вынесли его товарищам, то неприятель уже ломился в браму.

— Гей, отворяйте, шельмы! — вопил кто-то за брамой пронзительно.— Иначе не пощажу и щенят! Камня на камне не оставлю!

— Не отворим! Берите каждый крок силой! — взмахивал саблею дед.— Разбойники, грабители, наймыты пекла!

Он был неузнаваем: костлявая грудь его от сильного возбуждения конвульсивно вздымалась, ноги тряслись, серебристые волосы развевались по ветру. Но во всей его одушевленной фигуре, в его старческом напряжении было столько трогательного величия, что эта горсть защитников проникалась от него безумною отвагой.

Застонала, затрещала брама под ударами келепов и машуг; только ворота у нее из доброго дуба и окованы железом гаразд; вздрагивают они, но сдерживают ломящуюся толпу, а ворожья толпа чернеет уже тучей за брамой, окружает распахнувшимися крыльями весь частокол, грозно волнуется над ним стальною щетиной.

— Диду, диду! Мне хоть что-нибудь в руки,— метался Андрийко; он весь дрожал от охватившего его вол-

* Машуга — довбня.

нения; но не страх, а неукротимая удаль трепетала в нем.— Не могу я этой секирой орудовать.

Дед молча обнял его и дал ему в руки длинный, полузакругленный кинжал.

— Слушайте, молодицы и парубоцтво! — выкрикивал хрипло дед.— Цепью станьте вокруг частокола и бейте, кто посунется через него, чем попало; вот уже начинают пали шатать, а мы будем боронить браму. Нас горсть против этой стаи волков; но не уступим мы даром и пяди земли! Коли дытына не жалеет своего молодого жыття, так чего ж нам про него и думать? Умрем все, умрем славною, честною смертью! Да глядите только, чтоб дорого заплатила зверота за наши души козачьи!

— Все умрем! — ответила мрачно группа у брамы.

— Не бойся, диду, не продешевим! — откликнулись парубки.

В одном месте через раздвинутую между палями щель раздалось несколько выстрелов; но пули, жалобно завывши, пронеслись мимо, одна только попала в грудь хлопчику у коморы, и он, взглянув кругом с недоумением, ничком припал к земле. Остальные хлопцы шарахнулись от него врассыпную.

Андрийко в каком-то исступленном чаду бегал вокруг частокола и, заметив где-либо на нем руки, сзывал туда парубков для защиты... Сверкал в воздухе топор — и отрубленная рука катилась во двор или грузно падало туловище с раздробленным черепом. А где мог достать, Андрийко рубил своим ятаганчиком сам; кровь брызгала, у него сжималось сердечко, но ярость на врага перемогала это ощущение и увлекала его.

Осаждавшие зажгли еще несколько хат на хуторе. Удушливый дым разостлался с двух сторон мрачным саваном по небу и заклубился над двором.

В одном месте подвалили хворосту и зажгли частокол; в другом завалили бревнами несколько паль и начали палить в открывшуюся брешь!..

Один парубок присел, схватившись за ногу, другой повалился, кто-то застонал в группе у брамы... Молодица, бежавшая с топором к бреши, вдруг закружилась, уронивши его... несколько пуль попало в будынок, и в Богдановой светлице жалобно зазвенели окна.

Макуха бросился к бреши и вовремя: там уже

ломились ляхи... Парубки и молодицы с растрепанными волосами встречали их секирами; но последние только тупились об медные латы и кольчуги, а длинные мечи рассатанелого врага разили этих почти безоружных защитников; они падали, скользили в собственной крови, но не отступали. Прибежал коваль и махнул своею пудовою машугой. С лязгом ударила она в стальную грудь стоявшего впереди гусара... вогнулась сталь и затрещала косматая грудь... Шляхтич со стоном опрокинулся навзничь. Но не успел он грохнуть о землю, как у другого шляхтича слетел с головы шлем, и брызнувший мозг обдал окружающих горячими каплями, а вот уже и третий, повернувшийся было тылом, грохнул со сломанным хребтом и свалил еще двух...

— Бей их, собак! — рычал свирепо коваль, размахивая своею машугой, как геркулес палицей, и крушила она направо и налево оторопевших и отступавших уже врагов.— Смелей, хлопцы! Подайте им чоху! — ободрял он парубков, и парубки рвались вперед с вилами да секирами...

А разбитая половина ворот уже шаталась и рухнула наконец от натиска. В отверстие показался сноп нагнутых копий.

— Смелей! — крикнул дед, и грянул врагу в упор дружный залп из гаковниц... Копья пошатнулись, упали, на них полегли первые ряды, загородив проход; задним пришлось лезть через трупы.

— А ну их, на копья сади, как снопы! — распалялся Пучеглазый, и все ринулись с яростью на лезших в ворота.

Отчаянно защищались субботовцы, но страшный перевес в численности врагов приближал уже роковую развязку. Падали нападающие со стоном и проклятиями, но падали и защитники: ряды их заметно редели...

Андрийко, возбужденный до исступления, с налитыми кровью, сверкающими глазами, бросался без памяти от одной опасности к другой.

Спустившиеся, нависшие тучи дыма закрыли над Субботовым солнечный свет, а отблески бушевавшего кругом пламени окрашивали их темною кровью и отражались ярко в лужах ползущей крови.

Вдруг со всех четырех сторон Богданового тока вспыхнули яркие снопы пламени. Пламя с треском и

гоготом обвило жгучими объятиями круглые стоги и длинные скирды и поднялось высоким огненным столбом над стодолой.

— Дети, дети в скирдах! — раздался отчаянный вопль матерей, и, обезумев от ужаса, они бросились в беспощадный огонь.

Дед стоял посреди двора, словно мраморная статуя, озаренная заревом; восторженными глазами обводил он защитников и шептал в приливе горделивой радости:

— Славно! Пышно! Добре умирают детки, грех слово сказать!

Но когда вспыхнул ток и враги появились сзади, он задрожал, поднял руки к кровавому небу и закричал в исступлении:

— Где ж твоя правда, боже? Где же твой суд?

Взвизгнула сзади сабля, и дед, с раскроенною головой, с распростертыми руками, рухнул без слов в лужу братской крови, и огненные брызги ее поднялись к небу.

. .

А Елена, дотащившись с помощью Зоси до своей горенки, повалилась на кровать в страшных истерических рыданиях. Зося попробовала было успокаивать ее, но, услышав грозный шум во дворе, отскочила и в ужасе прижалась к стене. Окна выходили в сад и через них нельзя было видеть того, что происходило во дворе. Зося прислушивалась... Ей становилось жутко; страх начинал пронимать и ее. Внизу в будынке стояла мертвая тишина; за будынком кричали, кажись, хлопы, а дальше ревела подступавшая буря. В комнате становилось все темней и темней, окна начинали вспыхивать заревом. Вдруг внизу раздался сильный треск. Что-то ударило в нижние двери, в окно и в их стену. Елена закаменела на кровати.

Между тем на рундуке раздались тяжелые шаги нескольких человек; Комаровский с Ясинским и еще несколькими шляхтичами и слугами давно уже проскользнули с плотины в сад, но путались долго по дорожкам в гайку, пока не вышли к будынку. Завидя его, они стремительно бросились на рундук к двери, но нашли ее запертой. Тогда дружным напором они высадили ее, разбросали баррикаду и очутились в больших сенях.

Здесь они нашли сбившихся в углу, как овец, обезумевших от страха женщин, больных, дряхлых старух и

подростков-дивчат. Бледные, с окаменевшими от ужаса лицами, иные ждали безучастно удара судьбы, другие ломали руки, третьи падали на колени с мольбой. Оксана стояла в глубине у дверей. На бледном как полотно лице ее особенно выразительно чернели расширенные глаза.

Комаровский вскочил и окинул всех коршуньим взглядом.

— Вон она! — указал он на Оксану.— Не смей никто коснуться и пальцем, а остальных вали: баб по башке, а дивчат — на утеху!

Он ринулся вперед, свалил одну старуху кулаком, раскроив другой, хворой женщине, эфесом сабли голову.

Оксана проскользнула назад и начала отодвигать засов.

Ясинский же, расчищая кинжалом дорогу, схватил двух подростков, родных сестер, полудетей еще; они бросились было ему в ноги, но, потеряв сознание, упали замертво. Он поднял их и передал слуге со строгим наказом: «Смотри, для меня», а сам бросился за Комаровским.

Сени наполнились раздирающими душу криками, стонами и предсмертным хрипеньем.

Не успела еще Оксана отодвинуть тяжелого засова, как ее настиг Комаровский. Он протянул уже было руки, чтобы схватить свою жертву, как вдруг ее заступила няня. Белые волосы падали прядями из-под черного платка на ее желтое, морщинистое лицо; голова старухи тряслась, глаза сверкали гневом; расставивши руки, она шамкала беззубым ртом:

— Не рушь! Не займай! Душегуб, людоед! Будь ты проклят, проклят со всеми потомками навеки!

Комаровский попятился было от неожиданности назад, но потом с удвоенным остервенением бросился на беззащитную старуху. Он схватил ее одною рукою за горло, а другой нанес ей эфесом сабли сильный удар в темя. Из пробоины хлынула темная кровь и окрасила пряди белых волос.

Как мешок рухнула старуха у ног своего победителя, а Оксана успела между тем отсунуть засов и распахнуть дверь. В сени ворвался зловещий багровый свет и крики торжествующего врага.

— Рятуйте! Кто в бога верует! — крикнула безумно Оксана, вырвавшись в двери, но Комаровский удержал ее за рукав сорочки.

Услыхав вопль знакомого ему голоса, Андрийко бросился опрометью к крыльцу.

Когда внизу раздались крики и стоны умирающих, Елена вскочила с кровати и, как безумная, бросилась к дверям.

— На бога, панно, там смерть, здесь могут не найти! — уцепилась в нее Зося.

Елена смотрела на нее исступленными глазами, ничего не понимая, что делается кругом. Но когда вспыхнул весь ток и в окнах замигало страшное пламя, она порывисто бросилась к двери, крикнув безумно: «Горим! Будынок в огне!»

Перепуганная Зося бросилась за ней, стараясь выбраться поскорее на простор.

Елена остановилась на последней ступеньке и отбросилась назад: у ног ее лежал с раздробленным черепом труп няни, дальше в светлице кто-то корчился в агонии, в дверях Комаровский,— она не узнала его, теряя сознание от страху,— держал на руках бившуюся Оксану. Красный, зловещий свет падал потоками на эту картину, обливал всю Елену, стоял адом в глазах...

В это время Андрийко подбежал к Комаровскому.

— Не тронь Оксаны, разбойник, подлец! — крикнул, не помня себя, хлопец и бросился с кинжалом на шляхтича.

— Прочь, щенок! — толкнул его ногою тот в грудь, и хлопец ударился головой о перила крыльца, кинжал выпал у него из рук, но сам он удержался за перила и не упал.

Схватясь левою рукой за грудь, он силился еще защищать Оксану и двинулся, шатаясь, к Комаровскому. Струйка крови пробилась у него из-под волос к самой брови; он махал правою рукой, которою снова поднял кинжал, и кричал натуженным голоском:

— Гей! Сюда! На помощь! Рятуйте!

Но некому было придти: свирепыми волнами залили двор и окружили последних защитников враги.

В это время на крыльце появился Ясинский; завязав Оксане платком рот, он помог Комаровскому передать ее на руки слугам.

— Ляхи проклятые, трусы, собаки! — вопил со слезами Андрийко в нервном припадке и кусал себе руки от бешенства, порываясь вперед.— Без батька вы напали на горсточку! Батько вам, псам, содрал бы всем шкуры! И сдерет! Сдерет!

— Уйми псю крев! — крикнул взбешенный Комаровский Ясинскому и бросился сам на крик Зоси к Елене, лежавшей безжизненно у нее на руках.

— Вот я с тебя, змееныш, сдеру шкуру, так сдеру,— нагнулся к хлопцу Ясинский с злорадным, дьявольским смехом.

Андрийко размахнулся и влепил ему звонкую пощечину детскою рукой.

— Канчуком! — заорал рассатаневший гоноровый шляхтич, и четыре гайдука схватили раненого ребенка и растянули его на воздухе.

Началась вопиющая зверская расправа.

Но Андрийко закусил до крови свою руку и не издавал ни единого стона, ни единого звука.

— А что? Кто сдерет шкуру? — издевался Ясинский, любуясь, как с окровавленной спины хлопца срывалось алыми кусками нежное тело.

— Бейте до смерти это хлопское отродье, эту гадюку! — покрикивал он с пеной у рта на палачей.— Молчишь, змееныш? Погоди, закричишь ты у меня, не своим голосом закричишь! Гей, соли сюда!

— Да, кажись, подох уже,— отозвался один из гайдуков,— не ворочается, пся крев, не дрожит больше.

— Не верю. Прикинулся, щенок, полей его горилкой! Пусть чувствует, шельма, что умирает!

Полили хлопца горилкой; покропили еще канчуками сплошную зияющую рану, но тело уже не вздрагивало, и голова безвладно склонялась...

Расправа продолжалась еще несколько минут; наконец Ясинскому надоело возиться с трупом, и его бросили у крыльца.

Личико истерзанного хлопца откинулось на ступеньку; кольца шелковистых волос свесились на окровавленный лоб и рассыпались по ступени; закрытые глаза, казалось, успокоились во сне; только между сжатых бровей легла глубокая складка и застывшие черты бледного красивого личика отражали еще следы вытерпенных мучений.

Двор наполнился «благородною» шляхтой. Пышные уборы, блестящие латы и шлемы, сверкающее оружие отражало пламя свирепеющего пожара, и все казалось залитым кровью.

У брамы билось уже только четыре человека с налезавшею со всех сторон массой врагов. За молниями сверкавших над их головами кривуль не видно было взмахов козацких сабель. Вот упал навзничь конюх... вот другой поскользнулся... Еще только Кожушок да Пучеглазый отбивают и наносят удары; но вот и они склонились друг к другу и рухнули оба в товариских объятиях.

Один лишь коваль все еще размахивал своею машугой и клал нападающих как снопы. Его сила и безумная отвага поразили даже врагов: предлагали ему сдаться, даровали даже жизнь, но коваль был глух к этой ласке.

Наконец товарищ хоругви скомандовал своим расступиться и дал по нем залп; коваль вздрогнул и рухнул на землю, убивши своим телом при падении еще одного врага.

Двор наконец опустел. Все бросились в будынок, в подвалы, в корчму на грабеж.

Над безмолвными трупами гоготало бушующее пламя, снопы искор пронизывали с треском клубившиеся багровые тучи, и краснело мрачное небо, безучастное к людскому страданию.

XIII

Елена открыла глаза, провела рукой по лбу и приподнялась. Словно какая-то темная завеса застилала ей все в голове. Зачем она встала? Что хотела припомнить? Что такое так смутно тяготит ее в глубине души? Она взглянула вокруг себя и замерла в изумлении. Это была не ее субботовская кровать, нет! Над головой ее подымался высокий балдахин, и штофные, голубые занавеси спускались вокруг кровати массивными складками, покрывая ее словно палаткой и пропуская вовнутрь нежный, голубоватый свет. Елена быстро отдернула занавес, и вдруг словно яркая молния сверкнула у ней перед глазами... Елена закрыла глаза рукой и упала в изнеможении на кровать.

Перед ней с изумительною яркостью встали картины пережитого ужаса... Ураган пламени, топот коней, крики отчаянья, стоны, лязг стали, выстрелы, кровь, и дальше она ничего не помнит. Затем она очнулась еще раз, в карете или рыдване,— этого она не могла угадать, так как на голову ей был наброшен черный платок, ее держали крепко чьи-то жестокие и сильные руки. Ужас охватил ее, и она снова потеряла сознание...

Несколько минут Елена пролежала неподвижно, обессиленная снова ужасным воспоминанием. Но что же это случилось с нею? Где она теперь? Что ожидает ее? Не татары ли?.. Или...

Елена энергично поднялась и быстро отдернула шелковый полог. Комната была полна яркого света. Пестрые ковры покрывали весь пол ее; стены были завешены такими же коврами и кусками шелковых материй; штофная мебель наполняла всю комнату; прямо против Елены было вделано в стене большое венецианское зеркало в серебряной раме. Елена увидела собственное отражение и тут только заметила, что на ней была та же одежда, которую она надела в Субботове в тот несчастный день. Но сколько времени прошло с тех пор? День?.. два?.. три?.. Не знает она, не сообразит ничего.

Елена спустила с кровати свои маленькие ножки и вышла за балдахин. Проходя, она заметила, что подле ее кровати лежал на табурете роскошный кунтуш с откидными рукавами, нитка крупного жемчуга и пара вышитых золотом черевичек.

Елена подошла к окну; из него виднелся сад, но никаких признаков жизни не было заметно в нем. Она прислушалась: кругом ни слова, ни звука. Елене сделалось жутко.

— Эй люди, люди! Кто там? Кто там? — вскрикнула она громко.

Через несколько минут послышался тихий, едва уловимый шум; дверь отворилась, и в комнату вошел почтенный и тучный пан пробощ в своем черном одеянии.

— Пан пробощ? Его превелебие? — отступила даже пораженная Елена.

— Привет тебе, возлюбленное чадо! — заговорил ксендз торжественным тоном, сладко улыбаясь Елене своим жирным бритым лицом, приближаясь к ней мяг-

кими, неслышными шагами.— Святая праведная римско-католическая церковь прощает тебе по благости своей заблуждение твое и снова принимает тебя в свое лоно.

Какое-то смутное волнение охватило Елену: и торжественный вид пана пробоща, и его успокоительные, мягкие манеры, и знакомая речь — все это навеяло на нее старое, много раз пережитое чувство. Ей стало стыдно чего-то, сердце ее забилось тревожно...

— Пан пробощ! — двинулась она к нему робко, склонив со смирением голову.

— Да, пан пробощ, служитель святого алтаря, который ты так равнодушно променяла на дикого схизматского попа. Но святая церковь знает одно только прощение. Блудный сын, явившийся под родной кров, дороже трех праведников для нас. От лица святейшего папы благословляю тебя, дитя мое,— положил он торжественно свои пухлые руки на ее голову,— и снова принимаю в лоно нашей святой церкви.

Слова пробоща произвели на Елену большое впечатление; они пробудили в ней уснувшее было религиозно-католическое чувство. Она растрогалась и, прижавшись губами к пухлой руке пана пробоща, прошептала тихо:

— От души... от сердца благодарю!

— Вот видишь ли, дитя мое,— продолжал так же мягко и вкрадчиво тучный ксендз, проводя медленно рукою по голове и по роскошным плечам Елены,— раскаяние вызывает уж слезы на твои глаза, и они свидетельствуют мне больше слов о твоей глубокой печали. Так, дьявол, вошедший в образ обольстителя, сумел совратить тебя с пути истинного: но теперь под могучим покровом римской церкви ты будешь ограждена от сетей его.

— Но, ваша велебность,— заговорила Елена, часто запинаясь,— не можете ли вы сказать мне, где я, что случилось со мной, отчего я не вижу никого?.. Кто посмел поступить со мной так, как с хлопкой?

— Ты находишься, дитя мое, у шляхтича, у благородного и именитого шляхтича; его послал господь, чтобы вырвать тебя из когтей дьявола, в которые ты попала по молодости и по неопытности своей.

— Ваша велебность говорит «из когтей дьявола»... но этот схизмат был моим спасителем, и обмануть его так...

Елена хотела было вскочить, но ксендз остановил ее ласковым, однако настойчивым движением руки:

— Тс-с!.. Дитя мое, успокойся, не отвращай от себя в запальчивости благодеющую руку и помни одно мудрое правило, которое преподал нам господь,— проговорил он, уже вставая,— без воли божьей ни один волос не упадет с нашей головы, а потому будь покорна воле его и не противься ничему. Теперь я ухожу. Если ты пожелаешь увидеть кого-либо из прислуг, то дерни вот за этот шнурок.

И, возложивши еще раз свои полные руки на голову Елены, пан пробощ прижался к ней своими пухлыми губами и плавно вышел из комнаты.

Несколько минут Елена стояла неподвижно, не отрывая глаз от двери, за которою скрылся пан пробощ. «Без воли божьей ни один волос не упадет с головы человека; надо кориться ей». Нет, покориться она никому не хочет, а хочет все делать так, как хочется ей самой! — и Елена гневно сжала брови и прошлась по комнате. Шаги ее тонули неслышно в мягких коврах.— Конечно, этой комнаты нельзя сравнить с тою светелкой, которая была отведена ей у Богдана!.. Здесь пышность, роскошь, да, но против воли ее.— Она досадливо топнула и остановилась.— А что там теперь в Субботове? Груды развалин, обгорелые обломки».

Елена передернула плечами.

«Где же будет теперь бедный Богдан со своею семьей?.. Верно, где-нибудь на хуторе, в хате. Очевидно, что он не находится уже под охраною законов, иначе кто бы мог позволить себе такое насилие? Да,— Елена снова прошлась по комнате и остановилась,— сомнения нет, что она находится у Чаплинского. Но где же он сам? Почему послал за ней таких незнакомых и зверских людей? Позвать кого-либо и расспросить...»

Елена дернула шелковый шнурок.

«О, если бы Зося была с ней, она бы все и разведала, и разнюхала, и знала бы обо всем лучше самих господ!..»

Не успела Елена окончить своей мысли, как двери распахнулись, и, к полному ее изумлению, в комнату вбежала именно Зося, веселая, сияющая, разодетая, с новыми сережками в ушах.

— Зося! — отступила Елена с изумлением,— ты каким образом здесь?

— Я, я, пани дорогая! Да как же посмела бы я вас бросить? Я с вами повсюду до смерти! И никто, и ничто не испугает меня!

— Так ты по своей воле?

— А как же, как же? — целовала покоевка руки Елены.— Я как увидела, что панну несут и бросают в карету, так сейчас же бросилась за вами и на козла к фурману — прыг!

— Спасибо, Зося. Но скажи мне, на бога, где мы? Куда нас увезли? Зачем? Кто?

— Вельможный пан Чаплинский,— нагнулась Зося к самому уху Елены и затем заговорила поспешно, оживляясь все больше и больше.— Ох, панна дорогая, что здесь за пышнота, за роскошь!.. Деньги так и льются, как вода сквозь решето. Где там у Оссолинских! Там все считалось, а здесь — бери, ешь, пей, сколько хочешь, чего хочешь. А что за люди! День всего провела, а словно помолодела: шляхетные, эдукованные, вельможные. И все говорят, что пан подстароста скоро старостой будет. О матка боска Ченстоховска, как нам отблагодарить тебя за то, что ты спасла нас? Ведь панна не знает,— переменила она тон и заговорила сразу таинственным, угрожающим голосом,— что пан сотник наш изменил в походе,— я слышала это от милиции *, которая вернулась сегодня утром,— и чуть не предал было всех в руки татар, и за это его будут казнить... Так, так, як бога кохам!.. А всю семью прогонят вон!

Елена нахмурила брови, но в душе она не могла не поверить отчасти сообщениям служанки: отчаяние могло довести Богдана и до такого поступка.

— Пусть панна сама расспросит вельможного пана подстаросту; все кругом говорят.

— А где ж сам пан подстароста?

— Он только утром вернулся со своим отрядом из похода и отправился отдохнуть и переодеться, чтобы явиться к панне. Но видела ли панна этот роскошный костюм, что приготовлен здесь для нее?

И так как Елена сосредоточенно молчала, глядя куда-то в сторону, Зося принялась сама приводить в порядок костюм своей госпожи.

Она расчесала ее волосы, принесла душистой воды

---

* М и л и ц и я — надвірне панське військо.

умыть лицо и руки, переменила жупан на расшитый золотом кунтуш с откидными рукавами, сшитый на польский манер, опутала жемчугами шею и надела новые черевички. Елена слушала рассеянно ее болтовню, занятая какими-то тайными думами и соображениями.

— Ну, кто скажет теперь, что панна не первая краля в Короне и в Литве? — вскрикнула Зося, оканчивая туалет Елены.— Когда пан подстароста увидит панну, право, он умрет от любви!

За дверью послышался легкий стук.

Сердце екнуло у Елены, и кровь залила лицо. Она взмахнула несколько раз платком, чтобы освежить его, и выпила глоток воды, стоявшей на серебряном подносе.

Взглянувши лукаво на свою госпожу, Зося торопливо выбежала за дверь. Через минуту она распахнула ее и произнесла торжественно:

— Егомосць пан Чаплинский!

По тону покоевки трудно было угадать, спрашивает ли пан позволения войти, или только возвещает о своем приходе.

Елена кивнула головою; ей удалось уже овладеть собой. Она встретила Чаплинского гордым, холодным взглядом.

— Королева моя, богиня моя! — воскликнул подстароста, останавливаясь у входа.— Неужели мое появление так неприятно тебе? А я спешил смыть с себя скорее пыль битвы и, оставивши храм Марса, замереть у престола Киприды! [14]

— Но пан ошибся и попал вместо храма Киприды в храм Немезиды! — заметила Елена гневным тоном, бросая на Чаплинского вызывающий взгляд.

— О, и умереть от рук такой прелестной Немезиды лучшее счастье для меня!

Елена прищурила глаза и улыбнулась. Подбритый, пышно разодетый и приукрашенный пан подстароста казался теперь и представительнее, и моложе.

— Кто дал право пану поступить со мной так позорно, как с пленницей, как с хлопкой? Перепугать меня на смерть? — заговорила она взволнованным голосом.

— Любовь, одна любовь, мое божество! Любовь, которая довела меня до безумия, из-за которой я забыл весь мир и самого себя,— говорил Чаплинский, приближаясь к Елене,— а кроме нее, и желание спасти тебя,

панна, от неминуемой гибели. Ты не знаешь, верно, что Хмельницкий объявлен теперь вне закона, а потому и он, и семья его не защищены от чьего бы то ни было нападения.

— И пан первый воспользовался этим правом? — перебила его с иронией Елена.

— Для тебя, моя богиня, для тебя,— продолжал он с жаром.— Разве мог я оставить тебя, моя божественная красавица, на произвол судьбы в таком доме, над которым уже повиснул топор? Я знал, что ты не согласишься ни за что оставить дом своею волей, я знал, что ты ничему не поверишь; но когда я увидел еще измену Хмельницкого, я послал гонцов с просьбою к зятю, чтобы он спас тебя и уговорил оставить этот дом. Если же они оскорбили тебя неуменьем и грубостью, скажи, на бога, богиня моя, разве я в том виновен?.. Но и не будучи виновным, молю тебя — ласки, ласки за мою безграничную любовь, которая сжигает меня! — Пан подстароста схватил было руки Елены, но она отдернула их.— Да не мучь же меня, не мучь, моя пышная панна! — вскрикнул Чаплинский, падая перед ней на колени и обнимая ее ноги.— Не мучь меня, потому что не могу я больше выдержать этой муки!

— Пан думает и вправду, что я пленница,— отступила от него Елена, смеривая его презрительным взглядом.

— На милость неба, на спасенье души! — полз за нею Чаплинский, ловя ее колени.— Чем я дал повод? Что не могу сдержать порывов сердца, что вошел в панский покой?

— В мой покой дверь через алтарь! — подняла голову Елена.

Глаза ее вспыхнули, лицо загорелось. Она была действительно обаятельно хороша в эту минуту.

— О счастье, радость! — припал Чаплинский к ногам Елены, обнимая их и целуя; лицо его покрылось густою краской, на лбу выступил пот.— Пан пробощ здесь,— вырывалось у него порывисто среди поцелуев и тяжелого дыханья, — завтра же обвенчаемся с тобою... алмазами, золотом осыплю тебя с ног до головы! Что схочешь — все сделаю... только не отталкивай меня!

Елена молчала. Что ж это?.. Конец?.. Конец?.. Ноги

ее подкосились, она ухватилась за спинку стула и опустилась в какой-то истоме.

Дрожащими, непослушными руками сорвал подстароста черевички с ее ног и, прижавшись к ним, покрыл их поцелуями...

XIV

Наступил вечер, холодный, осенний, ветреный.

Красное, словно огненный шар, солнце спускалось к закату, освещая кровавым светом разорванные серые облака, покрывавшие весь небосклон. На обгорелых руинах, на деревьях, на темнеющих далях — всюду лежал кровавый огненный отблеск. Над субботовскою усадьбой подымался к нему черный удушливый дым. Среди груды чернеющих бревен, обгорелых стропил да чудовищных куч серого пепла подымался иногда слабый огонек и, лизнувши обуглившиеся обломки, снова скрывался в черной массе руин. Изломанный частокол, выбитые ворота свидетельствовали об отчаянном сопротивлении, оказанном здесь осажденными. За частоколом, во рву и по двору валялись то там, то сям, то целыми кучами окровавленные трупы, с помертвелыми лицами и застывшими глазами, обращенными к огненным небесам. Оружие, одежда, домашняя утварь, бочонки, разбитые фляжки, а кое-где и дорогие кубки были разбросаны в страшном беспорядке по всему двору. Среди всей этой опустошенной усадьбы подымался только один будынок, уцелевший каким-то чудом от общего пожара; он казался совсем черным на фоне кровавого неба; выбитые окна его страшно смотрели на общее разорение, словно глазные впадины обглоданного черепа. На изрубленном крыльце лежал неподвижно молодой мальчик, весь исполосанный кровавыми рубцами. Почти посредине двора валялся труп старика с широко разброшенными руками и окровавленною чуприной, приставшею ко лбу. Деревья с обгорелыми, почерневшими ветвями словно простирали их к грозному небу, моля о возмездии.

Страшная тишина царила над мертвою усадьбой; слышалось только слабое шипенье догорающих развалин, да где-то в закоулке выл голодный пес.

Зловещий вид неба навевал на душу какой-то суеверный ужас и тяготил ее смутным предчувствием. Из обгорелого гая выползли осторожно, вздрагивая и оглядываясь ежеминутно, какие-то полуголые, исхудавшие, изнуренные человеческие тени и разбрелись по двору...

— Стой, есть, есть паляница, да еще и фляжка медку,— прошептал чей-то хриплый голос, и по разломанным ступеням крыльца спустилась из будынка женщина, худая, как скелет, в отрепанной юбке и такой же рубахе, едва прикрывавшей ее худые плечи. Волосы ее были растрепаны и сбиты в одну кучу, как войлок. На худом черном лице горели лихорадочным огнем глубоко запавшие глаза. Спустившись осторожно по ступеням, она подошла к такой же оборванной мужской фигуре, которая сидела на земле, около будынка.

— Вот на, выпей, силы прибудет,— приложила она фляжку к его губам,— что ж ты не пьешь? Вот увидишь, как поможет.

— В горло не идет! — произнес с трудом больной, отталкивая бутылку.— Невмоготу... Как подумаю, что это мы берем с трупа нашего батька...

— Эх, перевелся ты, Верныгора, на бабу! — вздохнула женская фигура.— Да ты же сотника знаешь. Разве он бы пожалел нам что?

— Так-то так, Варька, да как подумаю, что с его тяжкого горя нам корысть...

— Уж какая там корысть,— перебила горько женщина,— только и того, что сегодня да завтра проживем, а дальше ведь кто знает?.. Без сотника кто приютит нас? Когда бы нога твоя скорее зажила, можно бы было податься всем в степные хутора.

— Э, когда б зажила, за работу бы принялись, а то такие калеки и нашему атаману не нужны!

— Дай срок, бог не без милости, а козак не без доли.

Среди разбросанных трупов копошились три таких же человеческих существа.

— Что ты? Разве я зверь? — говорил в ужасе один.

— Подыхать хочешь? — рычал в ответ другой с дикими, безумными глазами.

— Да, может, еще найдем хоть крохи харчей... вон собака воет.

— Все подобрали, все! Пса не поймаешь!.. А ты жди,

пока не околе...— и лицо говорившего покрылось смертельною бледностью; он запнулся на полуслове и, схватившись обеими руками за живот, повалился на землю.

— Грех ведь, грех, христианская душа! — стонал первый, придерживаясь рукою за грудь.

Упавший выпрямился и бросился с остервенением на товарища.

— Бери! — прохрипел он, впиваясь в его плечи,— или я тебе горло перегрызу!

— Грызи,— закрыл больной дрожащими руками свою шею,— а на такой грех я не пойду!

— Дьявол, сатана! Ведь это лях! Лях! Не хочешь? Ну, так я и сам отволоку его до огня; сдыхайте, чертовы бабы! — в припадке безумного бешенства он вцепился руками в ногу трупа и протащил его несколько шагов по земле; но тяжелые усилия оказались не под силу его тощему телу: он запнулся и повалился на землю.— Да помогите же, помогите вы, ироды, аспиды! — простонал он с отчаянием, утирая бессильные слезы, проступившие из глаз.

В это время третий, молча и мрачно следивший за всею этою сценой, вдруг вскрикнул радостно:

— Конь!

Все оглянулись: в проломанную брешь частокола виднелся круп лошади и две торчащие задние ноги.

Бешеный схватил топор и потащился, спотыкаясь и падая, к бреши.

— Стой, стой! Вон Варька что-то в будынке нашла... Назад! — оживился третий.

— Хлеб, хлеб! — задрожал первый, подымаясь с трудом, и, запахнув свои лохмотья, направился, волоча ноги, к хромому. Но исступленный, казалось, не слышал этих возгласов...

Разломавши на части паляницу, Варька жадно ела большую краюху, отдавши такой же кусок Верныгоре. Выпитый мед вызвал яркий румянец на ее щеки; глаза горели возбужденно. Белые зубы откусывали огромные куски хлеба и поедали их с изумительною быстротой. Прижавшись к прызьбе, она сидела на корточках и напоминала собою ощетинившуюся волчицу. При виде приближающихся товарищей Варька инстинктивно прижала к себе оставшуюся краюху и проговорила, не отрываясь от еды:

— В будынке осталось кое-что, можно будет и одежду, и оружие отыскать. Да пошарьте еще в коморе.

Не дожидаясь дальнейших рассуждений, две полуголые тени бросились в будынок.

Вскоре они появились на крыльце с хлебом и рыбою в руках; у первого оказалась еще и бутылка. Несколько времени среди мертвой тишины слышалось только жадное щелканье челюстей и звук пережевываемой пищи.

Вдруг вдалеке послышался частый и быстрый топот.

— Скачут! — крикнула Варька.

— Скачут, скачут! — закричал с каким-то паническим ужасом первый.

— Бежим, это они приезжают дограбить будынок! — сорвался второй, глядя растерянно кругом.

— Стойте! — остановила всех Варька.— Забрать надо и того, что возле коня. За мною, они еще далеко, поспеем!

Ее решительный тон произвел впечатление; товарищи бросились к нему: окровавленный, с куском конины в руке, он лежал в бессознательном состоянии. С помощью Варьки подняли его товарищи и понесли; но, проходя по двору, они сильно толкнули убитого деда. К изумлению всех, у старика вырвался слабый стон, веки его приподнялись и упали снова.

— Братики, живой! — закричал Верныгора.— Подымем, может, отходим, они назнущаются над ним!..

— Бес с ним! Самим бежать! — крикнул второй.

Но Варька поддержала Верныгору. Деда подняли на руки и скрылись поспешно за будынком.

Между тем топот становился все слышнее и слышнее. По частым ударам можно было судить, что кони мчались с ужасающею быстротою. Облако пыли, окружавшее всадников, росло все больше и больше; теперь можно уже было различить их: впереди всех мчался как вихрь сам сотник. Добрый конь его, казалось, весь распластался в воздухе, но, несмотря на это, сотник беспрерывно вонзал ему со всей силы шпоры в бока. Лицо Богдана было ужасающе бледно; глаза дико горели, из-под сдвинувшейся шапки выбилась разметанная чуприна. Припавши к шеям своих коней, спутники не отставали от него. Вот они доскакали до усадьбы. Добрый конь Богдана взвился в воздухе, перелетел через полу-

развалившийся частокол и как вкопанный остановился посреди двора.

Дикий, нечеловеческий крик вырвался из груди Богдана и замер в мертвой тишине.

Молча столпились все товарищи возле своего батька, не смея прервать ни словом, ни звуком его немого отчаянья.

Словно окаменелый стоял неподвижно Богдан, только глаза его, обезумевшие, исступленные, не отрывались от развалин родного гнезда. Так протянулось несколько бесконечных, подавляющих минут... Вдруг взгляд его упал на трупы, покрывавшие двор.

— Поляки! Наезд! — крикнул он диким голосом и бросился на крыльцо. Козаки соскочили с коней и окружили его.

На крыльце Богдан наткнулся на исполосованный труп мальчика. Дрожащими, холодеющими руками приподнял он ребенка и отшатнулся в ужасе.

— Андрийко?! — вырвался у него раздирающий душу крик, и Богдан припал к окровавленному трупику.

— Дытына моя!.. Сынашу мой... замученный, убитый! — прижимал он к себе маленькое тельце ребенка. Голос сотника рвался.— Дитя мое... дитя мое... надежда, слава моя!..— повторял он, прижимая к себе все крепче и крепче ребенка, словно хотел своей безумною лаской возвратить ему жизнь.

Козаки стояли кругом безмолвно и серьезно, понурив свои чубатые головы.

Наступило страшное молчание. Слышно было только, как из груди пана сотника вырывалось тяжелое, неразрешимое рыданье.

Вдруг он весь вздрогнул... рванулся вперед и прижался головой к груди ребенка раз... еще... другой.

— Братья! — вскрикнул он каким-то задыхающимся голосом, поворачивая к козакам свое обезумевшее, искаженное лицо.— Еще тукает... тукает... Горилки, на бога... скорей!..

В одно мгновенье появилась фляжка водки.

Слабеющими, непослушными руками раскрыл он с усилием сцепившиеся зубы ребенка; бутылка дрожала в его руке, он влил в рот ребенка несколько глотков. Козаки бросились растирать водкой окоченевшие члены мальчика.

Через несколько минут мучительного, напряженного ожидания из груди его вырвался тихий, едва слышный стон.

Богдан замер. Веки ребенка поднялись; безжизненный, мутный взор скользнул по окружающим и остановился на Богдане... И вдруг все лицо мальчика озарилось каким-то ярким потухающим жизненным огнем...

— Батьку! — вскрикнул он судорожно, хватаясь за шею отца руками.

— Дитя мое, радость моя! — припал к нему Богдан, но рыданья прервали его слова.

Седой козак отвернулся в сторону. Тимко потупился.

Несколько минут отец и сын молча прижимались друг к другу... Дрожащею рукой отирал ребенок слезы, катившиеся из глаз отца.

— Тату,— заговорил, наконец, Андрийко слабым, прерывающимся голоском, закрывая ежеминутно глаза,— не плачь... Я — как козак... Они били меня... Я не крикнул ни разу... Я закусил руку зубами... Они велели соли... горилки... Ох!..— простонал он болезненно и слабо, закатывая глаза.— Я не крикнул... Я — как козак...— он остановился и затем заговорил еще медленнее и тише, вздыхая все реже и реже.— Их было триста... нас пятьдесят. Все сожгли... убили бабу... деда... Елену взяли... Оксану...— Андрийко остановился и вздохнул вдруг глубоко и сильно.— Мы все легли, батьку...— Мальчик с последним усилием сжал шею отца руками. Дыхание его становилось все реже и тише.— Тату...— прошептал он опять, едва приподымая веки,— наклонись ко мне... я не вижу...

Все молчали, затаив дыхание.

— Любый мой, хороший мой, — заговорил ребенок нежным, ласковым голоском, прижимаясь к склоненному над ним лицу отца,— мой любый... мой... я как ко...— голова его сделала какое-то странное движение, тело вздрогнуло и вытянулось.

— Водки! — вскрикнул с отчаяньем Богдан.

Опрокинули фляжку над полуоткрытым ртом ребенка; наполнивши рот, водка начала медленно стекать тоненькою струйкой по его холодеющей щеке.

— Умер...— прошептал Богдан с невыразимым страданьем, вглядываясь с отчаяньем в помертвелое уже личико ребенка.

Все замерли. Ни один звук не нарушал могильной тишины.

Солнце упало за горизонт. Тьма уже окутывала окрестность и фигуру Богдана с вытянувшимся ребенком на руках. На потемневшем, холодном небе горели огненными пятнами разорванные облака, словно зловещие начертания грозной божьей руки.

— Умер! — повторил Богдан с каким-то безумным ужасом, окидывая всех исступленным взглядом

Все молчали.

— Месть же им, господи, месть без пощады! — закричал нечеловеческим голосом Богдан, подымая к зловещему небу мертвого ребенка.

— Месть! — крикнули дико козаки, обнажая сабли.

— Месть! — откликнулись в темноте разъяренные голоса, и из-за будынка выскочила толпа страшных, истерзанных беглецов...

Долго рвалась и металась Оксана, долго она надсаживала свою грудь задавленным криком, но никто не пришел к ней на помощь: железные руки, словно клещи, впились в ее тело, платок зажал рот, затруднял дыхание и не давал вырваться звуку, да, впрочем, он и без того затерялся бы в адском гвалте и шуме, гоготавшем вокруг. Оксана выбилась из сил и впала не в обморок, а в какое-то безвладное забытье.

Ей смутно чудится, что пекельный огонь и жар ослабели, что стоны и крики улеглись, кроме одного слабого, который летит за ней неотвязно, ей становится тяжелей и тяжелее дышать, что-то давит, налегает камнем на грудь. «Уж не смерть ли? — мерещится в ее онемевшем мозгу.— Ах, какое бы это было счастье!» Вот и ничего уж не слышно, какая-то муть и мгла, мгновения летят бесследно, бессознательно, время исчезло.

Вдруг сильный толчок. Оксана вздрогнула, очнулась, она как-то неудобно лежит, точно связанная, тело ее качается, подпрыгивает, и каждый толчок вонзается с страшною болью в ее ожившее сердце; кругом тихо, безмолвно, только лишь гонится за ней глухой топот.

— А что? Как бранка? — раздался голос вблизи Оксаны.

— Ничего, пане, лежит смирно,— ответил хрипло ей в самое ухо другой,— почитай, спит.

— Да ты смотри, не задохлась ли? Сними платок! — затревожился мягкий голос.

Платок снят. Оксана жадно пьет грудью струи свежего воздуха, они вливают жизнь в ее одеревенелые члены, проясняют мозг от бесформенной тьмы. Она смотрит и сознает, что мчится в объятиях какого-то гиганта на лошади, что холодный ветер свистит ей в лицо, что кругом пустыня, а по темному небу ползут безобразными кучами еще более темные тучи.

— Вези на хутор, к бабе Ропухе,— прозвучал опять над ней тот же мягкий голос,— а я, проводивши повоз со двора, тотчас буду. Только смотри, осторожней вези, и чтобы там досмотрели, допыльновали.

— Не беспокойся, пане,— прохрипело у нее в ухе,— бранка уже зевает, а ежели что, так будь покоен.

Топот разделяется. Оксана колышется на седле, она уже сознательно чует свою погибель; ужас заглядывает ей в очи, пронизывает все ее существо.

— Олекса! Где ты? — вырывается у ней слабый стон и теряется в тьме безучастной ночи...

«Нет, лучше смерть, чем потеря тебя, лучше пытки, терзания, а если позор?.. Нет, умереть!» — сверкнуло молнией в голове Оксаны, и она, освободив незаметно правую руку, начала искать у своего палача за поясом какого-либо оружия: «Вот, кажись, кинжал... да, он, он!» Но как одною рукою его вынуть? Долго силится она завладеть им воровски, но напрасно: кинжал плотно сидит; наконец она решилась: выпрямилась на седле и рванула за рукоятку клинок, рванула и не вытянула всего из ножен, а попытку ее заметил палач...

— Э, так ты шельма! — заревел он грозно.— Ну, теперь у меня не поворухнешься и не пикнешь! — и он сжал ее руки и грудь в таких каменных объятиях, из которых не вырывается на волю никто.

К счастию для Оксаны, мучения эти длились недолго: показался какой-то лесок; конь, умерив бег, пошел рысью, а потом и шагом по узкой, неровной тропе, змеившейся между частых стволов высоких деревьев. Вот и частокол, и брама... Конь остановился; всадник соскочил с седла, держа на одной руке, как ребенка, Оксану, и постучался в ворота.

XV

За воротами послышался отчаянный лай и зазвенели, запрыгали железные цепи.

— Кто там? — прошамкал наконец за брамой старческий голос.

— Отворяй скорей, ведьма! — рыкнул ей приезжий, толкнув энергически ногой в браму.— Добычу привез от вельможного пана.

— Полуночники клятые! — долетела на это воркотня бабы, но ключи звякнули, засов заскрипел, и ворота распахнулись с жалобным визгом.

— На, получай! — передал гайдук старухе Оксану.— Только берегись — змееныш кусается.

— Так мы ее в вежовку,— прошипело злобно согнутое лохматое существо. Качавшийся в руке ее фонарь освещал красноватым светом завернутое в намитку сморщенное лицо; на нем выделялся лишь загнутый, как у совы, нос, да горели углями устремленные на Оксану глаза. Несколько мутных лучей, вырвавшихся из фонаря, выделили из окружавшего мрака неуклюжую, нахмурившуюся хату, которая, очевидно, и должна была стать для Оксаны тюрьмой.

Оксану ввели в низенькую, небольшую комнату, скорее конуру; единственное небольшое оконце в ней было переплетено накрест железом; толстая дубовая дверь засовывалась крепким засовом. В комнате стояли только стол, скамья, да в углу была брошена охапка соломы и накрыта грязным рядном; на нем лежал какой-то узел вместо подушки...

Старуха зажгла стоявший на столе каганец, поставила кухоль воды и положила краюху хлеба.

— Сиди тут смирно, быдлысько! — бросила она на трепетавшую, что горлинка, бранку хищный, злорадостный взгляд,— сиди либо дрыхни вот в том углу, пока не дождешься своей доли,— захихикала она отвратительно,— только чтоб у меня без пакостей, бо если что-либо,— зашипела она гадюкой,— то я тебе свяжу руки и ноги. Тут ведь кричи, сколько хочешь, а окромя волков, никто тебя не почует! — и баба захлопнула тяжелую дверь и засунула ее засовом.

Оксана хотела было броситься к ногам этой злобной старухи, молить о пощаде, но, встретив ее неумолимый,

нечеловеческий взгляд, закаменела на месте,— так она и осталась в этом застывшем движении. Тупое отчаяние овладевало ею. Что ей предстоит? Какая страшная доля? Какие ужасы? Судя по началу, вероятно, пытка, да, пытка, но для чего? Для потехи или разве чтоб выведать, где зарыл сотник свои богатства?

«Верно, верно! — осветила мысль ее сразу, и эта догадка принесла некоторое облегчение, пленница ждала чего-то еще более безобразного, а смерть — это спасение, вызволение! — Только вот бедный Олекса... Ему тяжело будет, его сердце обольется кровью, он любит, кохает меня, а я? Я бы для него и за него вытерпела все муки, как ни хитры поляки на них, лишь бы увидеть его один еще раз. Где ты, где ты, мой сокол? Долетит ли до тебя стон мой? Чуешь ли ты сердцем, куда кинули Оксану твою? Ох, вскрикнешь ты, прилетишь, да будет уж поздно...» У нее пробежала дрожь по спине, тело заныло от страшной режущей боли, голова закружилась, и Оксана, шатаясь, едва доплелась до соломы и почти упала на нее. Расправивши руки и ноги, она почувствовала какое-то успокоение физическому страданию, но вместе с тем и смертельную истому: не двинулась бы с места, не пошевельнула б пальцем, а заснула б, застыла навеки.

Лежит пластом Оксана, каганец ей кажется уже потухающей звездочкой, ужасы — черными хмарами, тюрьма — пещерой; усталая мысль лениво рисует перед ней тревожные представления. Сна нет, но какое-то притупленное бессилие. Время медленно и мрачно ползет.

Вдруг ей почудился среди глухой тишины топот, далекий, но ясный, приближающийся...

«А, уже? — вздрогнула она, и холод ледяными иглами впился в ее сердце.— Ну что ж? Пытки так пытки... Господи, силы дай!.. А если? — вдруг словно гальванический ток встряхнул ее организм, и она, раскрыв широко глаза, приподнялась на локтях.— Кто же поручится, что одни только пытки? А если и позор?.. Да, позор... Вон он несется... сейчас, сию минуту... и не уйти от него, не защититься... ни оружия — ничего в руках! — Пленница порывисто села и обвела безумными глазами коморку.— Ничего нет... ни полена, ни куска веревки, ни крючка!.. Ай, стучат уже... Что же делать, что же делать? — заметалась она, ломаючи руки.— Одно спасение — смерть... но где она?.. А!.. Каганец? — вдруг уставилась она на

мутное, мерцавшее пламя.— Зарыться в солому и поджечь ее... Прости, Олексо!»

Оксана с безумною улыбкой бросилась к каганцу... Но в это мгновение заскрипел засов и на пороге двери показался статный шляхтич, освещенный канделябром из пяти восковых свечей. Старуха, державшая канделябр, поставила его на стол, а сама отошла в угол. Оксана взглянула и узнала этого шляхтича, что жег ее глазами в Субботове; она задрожала вся, вскрикнула и уронила каганец на пол.

— Что же это значит? — топнул гневно ногою на старуху шляхтич.— Из ума ты выжила, старая карга, что ли? Так я тебе, ведьма, и последний вышиблю! Как ты смела запереть панну в эту собачью конуру, перепугать насмерть бедное дитятко?

Старуха только тряслась и молча разводила руками, а встретив знаменательный взгляд своего повелителя, мгновенно шмыгнула за дверь.

— Простите, моя ясочка, этой дуре,— подошел почтительно шляхтич к онемевшей от страха Оксане и взял ее нежно за руку.

Оксана неподвижно стояла, устремив на него черные, расширенные глаза: какое-то пугливое, детское недоумение застыло в них и отразилось на алых губках полуоткрытого рта; черные, шелковистые волосы падали кольцами ей на лоб, сбегали волнами по плечам, эффектно обрамляя бледное, нервно вздрагивающее личико.

«Ах, как хороша! — смотрел с умилением Комаровский на свою жертву.— Дитя еще, но сколько прелести в этих дивных чертах, сколько зноя таится в глазах, сколько страсти в этих не налитых еще вполне формах!.. Привлечь только, приласкать, приучить и разбудить эту страсть... Тогда можно сгореть в ее бурных и жгучих порывах... И какое блаженство, какой рай!.. Да, потерпеть, выждать... Что насилие? Слезы, вопли, мольбы, какое же в них наслаждение? Нет, тысячу раз нет! О, я добьюсь от этой степной красотки любви!» — мелькали у него мысли, вызывая восторженную улыбку на его пылавшем лице и маслянистую поволоку в глазах.

— Не тревожься, моя пташка, здесь никто тебе зла не причинит,— повел он ласково по ее головке рукой.

Оксана взглянула более сознательно ему в глаза и как стояла, так и повалилась в ноги.

— Пощади, ясный пане! Не знущайся! Я сирота. Пусти меня или лучше сразу убей! Ой боженьку мой! — рыдала она и ломала руки у его ног.

— Встань, встань, мое дитятко,— растрогался даже пан Комаровский, поднимая Оксану и целуя ее пылко в кудри и в лоб,— не плачь, не тревожься! Здесь ты как у Христа за пазухой, слово гонору! Я тебя спас от смерти, укрыл только от врагов, а опасность пройдет, и ты, вольная ласточка, полетишь, куда хочешь.

— Пане ясновельможный, на бога! Пусти меня! Что я пану учинила? Я никому не мыслила зла. Ой матинко, матинко! — снова заметалась, зарыдала Оксана, не вникая в слова Комаровского и не понимая их.

— Да успокойся же, дивчынко! — хотел он было снова осыпать ласками расстроенную Оксану; но она отшатнулась, съежилась и начала лихорадочно, нервно трястись.— Уйдем поскорее отсюда, из этой собачьей тюрьмы, один вид ее может навести ужас. Пойдем,— протянул он ей руку,— доверься мне, клянусь маткой найсвентшей, что пальцем никто не коснется тебя, слова кривого не скажет. Ведь пойми ты, Богдан друг мой, давний приятель. Я узнал, что на него готовится нападение, и с несколькими товарищами бросился предупредить, спасти его семью.

Оксана смотрела на него изумленными до безумия глазами.

— Ведь враги напали с брамы,— продолжал, путаясь, Комаровский,— начали жечь, а я прокрался через сад, чтоб спасти, друзья мои...

— Ай, стали резать! — отступила Оксана в ужасе.— И пан убил няню! — вскрикнула она, закрыв руками глаза.— Ох, няня моя, мама моя! — снова заголосила она тихо, но еще тоскливей и жальче.

Комаровский смешался и замолчал; досада начала раздражать его; но он все-таки перемог себя и начал снова как бы тоном раскаяния.

— Что ж, в битве не разбирают. Я ищу семью моего друга. Каждое мгновение дорого, ворог уже ломится, а мне какое-то бабье заступает дорогу... Ну, пойдем же, ты после все узнаешь и еще будешь благодарить меня.

Оксана понимала смутно, что ей говорил шляхтич; она видела только, что он не накидывается, а как будто даже заступается за нее; совершенно изнеможенная от

нравственных и физических потрясений, она пошла за ним машинально.

Миновали они темные, длинные сени и очутились в какой-то светелке. Оксана, полупришибленная,— и то вспыхнула и встрепенулась от поразившей ее неожиданности: светелка показалась ей после собачьей конуры раем; тут было уютно, светло и нарядно. Каминок горел. На столе стояли всякие сласти. Точно наяву волшебная сказка.

— Вот тебе, моя дорогая, и гнездышко; здесь все к твоим услугам. Только несколько дней ты останешься безвыходно в нем для своей безопасности, пока беда не минет. Верь мне, пусть подо мною расступится пекло, коли слова мои кривы: большего участия к тебе, большей отцовской любви ты нигде не найдешь. Будь ты умницей для себя и для других: мы всех спасем, кто тебе люб,— улыбнулся он лукаво.— Ты веришь мне и будешь послушной?

— Ох! — вздохнула Оксана и прошептала, вздрагивая плечами, словно дитя, угомонившееся от плача:— Мне здесь одной страшно.

— Да вот я хотел перевезть сюда и детей Богдана, да не нашел.

— Они за Тясмином были,— подняла смелее глаза Оксана и потом вдруг всполошилась, что открыла их убежище.

— А то я и ночью полечу за ними! — вскрикнул Комаровский и добавил вкрадчиво: — Ну, что же, успокоилась, веришь мне?

— Только, ясный пане,— ответила она после долгой паузы не допускавшим сомнения тоном,— если кто меня захочет обидеть, я наложу на себя руки.

— Никто, никто, клянусь! Какие у тебя мысли! — затревожился Комаровский и, кликнув старуху, обратился к ней грозно: — Если ты, старая шельма, или кто-нибудь не догодите панне или обидите... тысяча дяблов!.. словом ее, то я конями разорву вас на куски!

Старая ведьма только кланялась подобострастно.

— Ну, ты, мое детко, устала,— поцеловал Комаровский в головку Оксану.— Прощай пока, моя яскулечко, и знай, что ты у друзей. Успокойся же, и да хранит тебя Остробрамская панна [15], а я полечу еще спасать других.

И Комаровский торжественно вышел.

В старом отцовском кабинете за роскошным с башнями и хитрыми украшениями столом сидел молодой староста; перед ним в почтительной позе стоял сотник Хмельницкий. Он страшно изменился за последние дни: пожелтевшее, как после долгого недуга, лицо похудело и осунулось; под глазами легли темные тени; легкие, едва заметные прежде морщинки теперь врезались в тело, а между сдвинутых бровей легла глубокая борозда; в нависшей чуприне, в опущенных низко усах засеребрилась заметная седина, в глазах загорелся мрачный огонь...

— Я слыхал о панском несчастии,— сухо говорил Конецпольский, ковыряя заостренным перышком в зубах,— но самолично помочь пану я не могу. Справы о земельной собственности ведаются в городских и земских судах, куда и я советую обратиться... А что касается криминала, то в карных делах я над вольною шляхтой не властен,— для этого существуют высшие государственные учреждения.

— Но, ясновельможный пане, такое вопиющее насилие, такой грабеж и разбой творится в старостве егомосци! — возражал сотник взволнованным голосом.— К кому же мне и обратиться, как не к хозяину, как не к главному своему начальнику? Земли мне подарены ясновельможным панским родителем и его предшественником, теперь же все староство под верховной егомосци рукой, сам обидчик, грабитель — панский помощник, поплечник, соратники разбоя — панские слуги...

— Пшепрашам пана,— прервал его староста, покручивая с раздражением ус,— во-первых, если действительно Субботов составляет нерушимую властность сотника, то хутор уже eo ipso * не принадлежит к староству, а потому и защищать свое право должен сам властитель, во-вторых, наезд сделал не мой поплечник Чаплинский, а совершенно приватное лицо, пан Комаровский.

— Но ведь, ясновельможный пане, Комаровский — зять Чаплинского, он действовал по воле своего тестя, доказательством тому — вся команда набрана была из надворной шляхты и слуг пана Чаплинского. Моя воспитанница Елена похищена и отвезена этим зятем к нему же...

---

* Тим самим *(лат.)*.

— Ну, это не доказательства: охочекомонных и подкупают, и нанимают часто для шляхетских потех, а что касается панны,— улыбнулся насмешливо и цинично пан староста,— то, быть может, она сама пожелала погостить у Чаплинского?

— Подобное предположение для нее оскорбительно. Елена не давала повода,— побагровел Богдан от едкой обиды и машинально схватился за грудь.

— Пан очень взволнован,— прищурился Конецпольский,— это понятно; но судья должен быть холоден как лед и недоверчив; он обязан выслушать et altera pars...*

— Неужели же мои раны, моя пролитая кровь за ойчизну, мои оказанные ей услуги, моя верность ее чести и благу заслужили лишь публичное оплевание моих священнейших прав? — воскликнул Хмельницкий с такою болью поруганного чувства, с таким порывом подавляющего достоинства, что Конецпольский смешался и почувствовал некоторую неловкость...

— Видишь ли, пане,— прошелся он быстро по кабинету, побарабанил пальцем в окно и потом, овладевши собой, снова уселся в кресле.— Видишь ли,— начал он более мягким тоном,— пан ищет не официальной, а личной моей защиты, моего участия... и я согласен, что оно в этом деле принесло бы существенную пользу... Но имеет ли пан на это право? Правда, отец мой дал пану во владение субботовские земли... во владение, но не в вечность... Я мог бы укрепить их за паном; но мне известно, что отец мой в последнее время жалел об этом даре... Ergo ** — мое укрепление было бы вопреки его воле, а она для меня священна...

— Это недоразумение, ясновельможный пан староста,— возмутился Богдан,— клянусь небом, клянусь прахом моего замученного сына,— и в звуке его голоса дрогнули слезы,— что высокочтимый, ясновельможный пан гетман в последнее мое свидание с ним,— а этому не будет и года,— обнял меня и поблагодарил за усердие...

— Очень буду рад, если это окажется недоразумением,— сказал искренно Конецпольский,— если панская верность Речи Посполитой не заподозрена им... Отец

---

* ...й іншу сторону... *(Лат.)*
** Отже *(лат.)*.

мой еще жив...[16] Но вот случай в последнем походе бросает на пана черную тень: в самый важный момент атаки панская сотня смешалась, набросилась на моего хорунжего Дачевского, растерзала его и пропустила безнаказанно главные силы врагов...

— Боже! Тебя призываю в свидетели! — воскликнул Богдан, пораженный таким чудовищным обвинением.— Меня же этот благородный шляхтич замыслил убить — и я же за это ответственен! Он изменнически, шельмовски нанес мне смертельный удар келепом в голову и в какой момент? Когда моя голова нужна была для тысячи родных жизней, для защиты страны! Разве это не гнусное преступление, не предательство? А меня подозревают в измене! Только рука всемогущего да крепкий мой шлем отстранили неминуемую смерть... Если воины, свидетели этого вероломства, возмутились и расправились с злодеем своим рукопашным судом, то чем же я виновен? Ведь я бездыханным трупом лежал на земле!

— Но покушение покойного Дачевского не проверено,— продолжал как-то не совсем уверенно Конецпольский, сознавая в глубине души, что Богдан был прав, и повторяя лишь по инерции доводы, подысканные клеветой,— свидетели же сами преступны, а потому показания их ничтожны.

— Неужели пан староста может заподозрить меня во лжи? — выпрямился Богдан и сверкнул грозно очами; голос его возвысился от порыва благородного негодования, рука опустилась невольно на эфес сабли.— Моя жизнь не дала повода на такое оскорбление чести! Вот свидетель правоты моих слов! — приподнял Богдан подбритую чуприну и обнажил ужасный вспухший кровоподтек с багровым струпом в середине.

Пан староста даже отшатнулся в кресле.

— Этот свидетель красноречив,— заговорил он взволнованным голосом, протягивая Хмельницкому руку.— Прости, пане, за мое сомнение. Это мне служит новым доказательством, что нельзя на словах одной стороны утверждать истины. Я серьезно буду доволен, если пан оправдает себя везде, и поддержу, поддержу!..

Хмельницкий молча поклонился; в возмущенной груди его не улеглось еще волнение, а высоко подымало его грудь бурными волнами. Лицо его то бледнело, то вспыхивало, глаза сверкали мятежно.

— Я донес о событии коронному гетману Потоцкому,— продолжал как-то не совсем спокойно Конецпольский,— и донес, как вижу, односторонне. Да, да, все это печально: у пана много врагов. Во всяком случае, за отнятие и разорение хутора советую обратиться в суд, подать позов на обидчика, быть может, и суд на основании документов отстоит панское право, в крайнем же случае, если я получу от отца подтверждение, то пан будет защищен мною помимо судов. Что же касается криминала, оскорблений, то у пана, кроме сейма, есть и гоноровый шляхетский суд.

— Благодарю за совет, ясновельможный пане,— испробую все мытарства, но от гонорового суда могут уклониться.

— Пан воин,— заметил веско подстароста,— но увидим... А где же приютил свою семью пан сотник? — добавил он участливо, подымаясь с кресла.

— Припрятал пока у верного приятеля.

— Помогай бог, и во всем желаю пану успеха! — протянул снова руку Конецпольский.— Я буду весьма рад, если пан победит своих врагов и принесет свои доблести на пользу ойчизны.

— Клянусь, что я исполню свой долг! — поклонился Хмельницкий и вышел гордо из кабинета.

XVI

Богдан послал Чаплинскому вызов [17] и с страстным нетерпением ожидал ответа в корчме; с ним был и старший сын его Тимко. Молодого юнака кипятила до бешенства разгоревшаяся ярость к этому разбойнику-душегубцу за грабеж, за разорение родного гнезда, за его обиды отцу и за Елену. Последнее имя почему-то вонзилось иглой в его сердце.

Наконец есаул Рябец привез от пана подстаросты презрительно-гордый ответ, что благородный шляхтич может скрестить клинок только с таким же шляхтичем, а никогда не унизится до состязания с простым казаком. Он может бить хлопов, но не биться с ними.

Заскрежетал зубами Хмельницкий и ударил ножом, которым резал хлеб, в берестяный стол; забежал в него нож по самую рукоятку и жалобно зазвенел.

— Застонет так эта шляхта, и не побрезгают бить ее хлопы! — закричал Богдан и начал порывисто ходить по светлице, придумывая, как бы отомстить этому извергу, этому литовскому псу за все униженье, за все обиды.

Тимко молча следил за мрачным огнем, разгоравшимся в глазах его батька, и, словно угадывая его мысль, энергично воскликнул:

— Пойдем зараз, батьку, выпустим этому псу тельбухи (внутренности) и сожжем сатанинское кубло!

— Постой, постой, сынку,— поцеловал его Богдан,— дай срок, дотерпим до последней капли, а потом уж потешимся.

Отказ Чаплинского от поединка, сверх ожидания, не встретил сочувствия в Конецпольском, а вследствие этого и в окружающей шляхте. Вместо рассчитанных насмешек над глупым хлопом Хмельницким подстароста сам попал под их стрелы, и они начали язвить его с каждым днем больше и больше. Наконец, посоветовавшись с Ясинским, он решился.

На пятый день Богдан получил неожиданно от пана Чаплинского согласие на поединок и просьбу прислать к нему благородных свидетелей для заключения условий. Хмельницкий обрадовался и послал немедленно в замок двух уродзоных шляхтичей, своих приятелей. Поединок на саблях был назначен на завтра у опушки Мотроновского леса, на Лысыне, за Чертовой греблей.

Богдан хотел было скрыть от сына гоноровый суд, но внутренняя тоскливая тревога подсказала правду Тимку: он начал трогательно просить отца взять и его с собою.

— Не годится, сынку,— покачал тот головой,— не лыцарский обычай: на честный поединок я не имею права никого брать, кроме взаимно одобренных свидетелей.

— Так я хоть провожу тебя с Ганджой,— настаивал Тимко,— хоть до Чертовой гребли.

— Нет, до Чертовой гребли далеко,— колебался Богдан,— это почти к самому месту... а вот до руины корчмы, пожалуй!..

— Ну, хоть и так,— обнял Тимко отца и вышел, взволнованный, оповестить Ганджу. Хотя Тимко и был уверен в батьковской силе и в искусстве его владеть мечом, но какое-то жуткое чувство, словно злое предсказание, защемило ему сердце.

На рассвете кони были уже готовы, и Богдан хотел было отправиться в путь в одном лишь легком жупане.

— Что ты делаешь, батьку?—запротестовал Тимко,— кроме сабли ничего не берешь и кольчуги даже не надеваешь?

— На лыцарском поединке, сыну,— улыбнулся Богдан,— не только что кольчуги, а и жупана накинуть нельзя: нужно обнажиться по пояс и, кроме сабли, никакого оружия не иметь, а иначе будет шельмовство.

— Да, на поединке, при свидетелях, но пока доедешь до места, батьку, нужно беречься... Вспомни, батьку, охоту, Дачевского... лучше вооружись до места как след.

— Пожалуй,— подумал Богдан,— твой хоть и молодой разум, а может пригодиться и старому.

И Богдан надел под жупан кольчугу, а под шапку шлем.

Выехали только втроем, так как свидетели отправились другою дорогой.

У корчмы Богдан обнял Тимка и Ганджу и, перекрестясь, поскакал легким галопом бодро и смело к Чертовой гребле.

«Почему Чаплинский сначала отказался от поединка, а после согласился? — занимал его теперь вопрос.— Тут не без штуки!» — раздумывал сотник и так углубился в решение этой дилеммы, что не заметил даже, как очутился на гребле... Вдруг, словно дьяволы из-под земли, выскочили на него два всадника из-за верб и, не успел опомниться Богдан, как изменничья сабля полоснула его вдоль спины. Удар был так силен, что сабля, встретив неодолимое препятствие в кольчуге, звякнула и разлетелась на два куска. Стальные кольца кольчуги только согнулись и впились в тело.

Покачнулся от боли Богдан и, обнажив саблю, бросился на предательского врага.

Уронивший саблю выхватил келеп, а товарищ его уже скрестил с Богданом клинок. Однако в искусстве фехтованья он оказался слаб, двумя ловкими взмахами выбил у него Богдан саблю из рук и нанес молниеносный удар. Сабля попала в плечо и почти отделила правую руку от туловища. Вскрикнул противник и рухнул на землю с коня. Второй же, разбивший сразу свою саблю, не пожелал второй раз испробовать своих сил и, увлекаемый поспешно конем, скрылся в соседней чаще.

Изумленный даже такою скорою победой, Богдан только что хотел было спрятать саблю в ножны, как услыхал новый дикий крик. С другого конца гребли неслись на него с обнаженными саблями еще двое.

Богдан не потерял присутствия духа. Рассчитав вмиг, что ему выгоднее сразиться с злодеями на узкой гребле, обеспечивая себе тыл, он бросился с яростью сам на врагов.

— Руби хлопа! Бей! — раздались крики нападающих, и над головой Богдана сверкнули клинки.

За оврагом раздался чей-то хохот. Богдан узнал сразу этот хрипучий голос.

— Шельмец, трус! — крикнул он и отпарировал клинком первые удары напавших.

Но эти бойцы оказались поискуснее первых и посильнее в руках. Удары их сыпались градом, сабли скрещивались и разлетались молниями врозь, с лязгом ударялись клинки друг о друга, искры сыпались кругом. Кони храпели с налитыми кровью глазами и выбивали копытами землю.

Богдан защищался отчаянно, стараясь удержать позицию. Но враг, хотя и медленно, теснил его назад.

Лицо Хмельницкого горело страшным напряжением, глаза искрились, щеки вспыхивали, грудь подымалась высоко и тяжело; он впивался глазами в сверкающие клинки, стараясь не пропустить ни единого удара, но парировать удары, направляемые с двух сторон, было чрезвычайно трудно. Уже у одного врага рукав окрасился кровью, у другого она брызнула из раскроенного лба; но эти легкие раны только удвоили лютость злодеев, и они, озверенные, осатанелые, стали напирать с удвоенным бешенством на противника.

Богдан с ужасом почувствовал, что рука его начинает ослабевать.

Белаш приседал даже на задние ноги, а все-таки пятился. Уже близок край гребли, чернеет обрыв. Не отводя глаз от змеившихся над ним лезвий, Богдан почувствовал, однако, инстинктивно весь ужас своего положения: еще два-три шага назад — и он сорвется с конем в глубокий овраг. Призвав все свое мужество, он решился на отчаянное средство и, вонзив Белашу в бока шпоры, ринулся на теснивших его врагов. Движе-

ние это было так неожиданно, так стремительно, что конь одного бойца, поднявшись на дыбы, отпрянул в сторону, попал на крутой откос гребли и, не удержавшись на нем, с шумом рухнулся в пропасть, унося с собой и своего седока. Возле другого бойца Богдан очутился сразу так близко, что уже нельзя было действовать саблей. В одно мгновенье обхватил он руками своего недруга и сжал его в железных объятиях. Затрещала грудь у врага, побагровело лицо, вывалился синий язык, и свалился он с седла под копыта загрызшихся коней.

В это время грянул из-за оврага выстрел и раздался удаляющийся топот; пуля свистнула над ухом Богдана и пронеслась мимо.

Шум сабель, крики и выстрел долетели и до свидетелей, дожидавшихся рыцарей за опушкой, и до Тимка с Ганджой у корчмы. Все бросились к месту происшествия и застали Богдана уже одного на гребле. Он стоял без шлема, свалившегося во время рукопашной борьбы с гайдуком. Жупан его был изрезан во многих местах и висел на руках окровавленными лоскутьями, пояс разорван; грудь подымалась часто, воздух с шумом вырывался из раздувающихся ноздрей; по бледному лицу струился ручьями пот. Одни только глаза горели победным огнем.

— Что такое случилось? — спросили подбежавшие свидетели и Богдановы, и Чаплинского.

— Засада!.. Злодейство! — ответил презрительно Богдан.

— Батьку, на бога, ты ранен? — подскочил к отцу с ужасом Тимко.

— Ничего, сыну, царапины! — ответил бодро Богдан.— Засаду, мерзавцы, устроили! Лыцари, благородная шляхта! Но нет! — потряс он грозно окровавленною саблей.— Маю шаблю в руци, ще не вмерла козацкая маты!..

Стояла поздняя осень. Быстро надвигались непроглядные сумерки. Мелкий, холодный дождь, зарядивший с самого утра, не останавливался ни на минуту, заволакивая смутною туманною сеткой и серое небо, и черную, размокшую землю.

Однако, несмотря на эту нестерпимую погоду, по большой дороге, ведущей к субботовскому хутору, скакал торопливо молодой козак. Черная керея, покрывавшая его, казалась кожаною от дождя, промочившего ее насквозь; с шапки сбегали мутные струйки воды; одежду и коня покрывали комки липкой грязи; но козак не замечал ничего; он то и дело подымался в стременах, ободряя своего коня и словом, и свистом, несколько раз даже взмахивал нагайкой. Из-под низко надвинутой шапки трудно было рассмотреть его лицо, видно было только, как он кусал в досаде и нетерпении свой молодой, еще недавно выбившийся ус. Казалось, с каждым шагом коня возрастало и его нетерпение.

— Дьяволы! Ироды! Псы! Неверные! — вырывались у него иногда бешеные проклятия, и при этом молодой всадник сжимал еще крепче шпорами своего усталого коня.— Да что ж это ничего не видать? — шептал он отрывисто, приподымаясь в седле и вглядываясь зоркими глазами в туманную даль. Но частый дождь заволакивал, словно ситом, весь горизонт, сливая все предметы в одну серую полутьму. Вот показались в балках и хаты самого субботовского хутора, вот за ними смутно виднеются и приселки. Чужой глаз не разглядел бы, но ему ведь все известно здесь, каждый горбок, каждая гилка знакома... Почему же до сих пор не видно ни высоких скирд, ни вежи над воротами пана писаря? Они ведь всегда были видны еще далеко от этого места... Козак припал к шее коня и помчался еще скорей. Вот вербы, которыми обсажен шлях к двору. У-у, какие они мрачные!.. Как зловеще вытягиваются их голые ветви из-под холодного тумана, словно руки мертвых из-под белого савана!.. Но вот и частокол... Что это?.. Что это? Громкий возглас вырвался из груди козака и замер.

Вот конь его остановился у выбитых ворот, вот он въехал во двор... Кругом было тихо и безлюдно... мертво...

Дождь размыл уже горы пепла, покрывавшие ток, в кучи черной грязи, соседние крестьяне и евреи растаскали уцелевшие бревна, стропила, крышу с будынка, частокол, ворота... Перед молодым козаком одиноко подымался среди грязной, вытоптанной площади только остов будынка с выбитыми окнами и дверьми. Молча стоял козак среди опустошенного двора.

— Так все это правда, правда! — вырывалось у него

отрывисто, в то время, как глаза не могли оторваться от могильных развалин такого радушного, такого шумного прежде гнезда.

Несколько минут протянулось в полном оцепенении. Вдруг лицо козака покрылось густою краской.

— Да будьте ж вы прокляты, злодеи,— вырвалось у него грозное проклятие,— будьте вы прокляты до последнего дня! Будем прокляты мы, если не вымотаем вам кишек, если не выпустим вам всю вашу черную кровь!

И мысли молодого козака понеслись с ужасающею быстротой. Где же семья батька Богдана? Где он сам? Ведь не может быть, чтоб злодеи решились? А кто знает? Кто может знать? По слухам говорят, что увезли кого-то... Кого ж, кого? Где Оксана, где она? Что с ней? У кого узнать? У кого расспросить? Где? На хуторе,—они должны же знать что-нибудь. Козак вскочил на коня и поскакал по направлению к балке. Но и в хуторе стояло такое же запустение и та же безлюдная тишина. Жалкие пожитки крестьян валялись кое-где по дворам, брошенные грабителями. Слышался жалобный вой собаки, мычала тоскливо тощая корова, дергая старую солому со стрехи.

Молодой козак проскакал весь хутор,— всюду стояла тишина и руина.

— Ироды, ироды! — шептал он глухо и отрывисто, глядя на жалкие остатки веселого когда-то селения, и слезы бессильного негодования подымались в его молодой душе.

«Что же теперь делать? Куда броситься?» — остановился он в конце села в отчаянии, в неизвестности, охваченный серым, промозглым туманом. Вдруг он весь встрепенулся, сделал энергичное движение и, поднявши сразу коня на галоп, дико крикнул: «Гайда!» — и скрылся в сгущающейся темноте.

В большом субботовском шинке хитроумного Шмуля было и тихо, и мрачно. Двери и окна, задвинутые тяжелыми железными засовами, не пропускали извне никакого света. За сдвинутыми в сторону лавками и столами не сидело ни одной души, слабый свет каганца едва освещал закоптелую и закуренную комнату; ни пляшки, ни бочонка не красовалось на прилавке.

Хозяин шинка, сам хитроумный Шмуль, сидел у стола и закусывал чесноком с черным хлебом, подсунутым им в глиняной миске старательной Ривкой. Впрочем и

любимое кушанье, казалось, не приносило Шмулю никакого удовольствия. Лицо его было бледно и устало, жидкие, курчавые волосы прилипли к вспотевшему лбу; лапсердак валялся тут же, брошенный на лаву; ноги Шмуля, обутые в пантофли, были далеко вытянуты вперед, и вся его тощая фигура выражала полное отчаяние и усталость. Ривка сидела подле, не нарушая печального молчания своего супруга. Слышно было только, как барабанили заунывно мелкие капли дождя по окну.

— Ой вей! — потряс пейсами Шмуль.— Ой фе! Как я утомился, ледве-ледве доехал с Чигирина.

— Ну, что ж там, Шмулю-сердце, слышал ты?

— Гевулт, гевулт, Ривуню! — вздохнул Шмуль и свесил устало голову на грудь.— Такой уже гевулт, что годи нам и жить на свете! — он вздохнул и продолжал плачевно: — Вже нашему пану писарю не видеть своего Субботова, как мне своего вуха!

— Ой, что ты говоришь, Шмулик мой любый? Зачем же это так? — всплеснула руками Ривка, роняя чулок.— Пан писарь такой разумный да мудрый, а чтоб у него кто выдрал из-под носа его маеток, который ему остался еще за отца!

— Ой, це-це, Ривуня моя люба,— вздохнул Шмуль и поднял кверху брови.— Не поможут вже пану писарю ни голова, и ни руки, и ни что-нибудь! Потому что пан староста вже в него не верит и подарил Субботово пану подстаросте Чаплинскому... Говорил мне все это Лейзар, а ты знаешь, Ривуню, какая в него голова!

Ривка замолчала перед таким авторитетом, а Шмуль продолжал дальше, ссовывая свою ермолку на затылок:

— Выходит, что у пана писаря нету бумаги, и не то что бумаги, а то, что она не записана в книги, а без книг, моя любуню, ничего не сделаешь, нет!

Несколько минут в шинке продолжалось молчание, прерываемое только робким и однообразным стуком капель об окна. Шмуль печально покачивал головой, повторяя время от времени: «Ничего невозможно, нет».

— Ой Шмулик мой золотой! — поправила Ривка свой платок и просунула под него спицу из чулка.— Если пан Чаплинский забрал себе хутор, так он опять населит его; пьет он, наверное, не меньше, чем пан писарь.

— Ох, Ривуню, золотое мое ябко! — вздохнул глубоко Шмуль и сплюнул в сторону.— Пан Чаплинский — не пан Хмельницкий. Пан Хмельницкий, да помогут ему Соломон и Давид в его справах, давал нам и грунт, и хату, и всякие додатки, а когда брал что из шинку, чистыми деньгами платил. А пан Чаплинский, ой Ривуню, дитя мое, нехорошая об нем слава в Чигирине! Пить-то он любит, да никогда не платит за то, что пьет! А селян он так обдерет... ой-ой!.. что не за что будет им выпить и пляшки оковитой... Да как не будет у него денег, сейчас будет до Шмуля идти, а не будет у Шмуля, сейчас велит повесить его за ноги на хате.

— Ой вей! — вскрикнула Ривка, обнимая за плечи своего супруга.— И зачем ты, Шмулик, такое страшное против ночи говоришь? Так лучше ж нам уехать отсюда. И так страшно одним сидеть, а тогда... Ой вей мир! * — завопила она.

— Думал я вже об этом, Ривуню, думал и советовался с Лейзаром. Только жалко мне, любко, Субботова, да и пана писаря, ой вей, как жаль!

Ривка только что хотела было возразить что-то Шмулю, как в дверь раздались сильные и частые удары... Шмуль побледнел и окаменел на месте; глаза Ривки расширились до невозможности, дыханье захватило в груди. Супруги молча глядели друг на друга, обезумевшие, оцепеневшие.

Стуки повторились снова и еще настойчивее.

— Пропали! — прошептал хрипло Шмуль, опуская бессильно руки.

— Ой мамеле,— заметалась Ривка, ударяя себя в грудь кулаком,— ой дети мои, ой диаманты мои! Будем скорей убегать!

Слова ее оборвались, потому что стук в двери повторился опять и с такою силой, что засов заскрипел, а вслед за тем раздался громкий возглас:

— Да отворяйте ж, страхополохи! Никто вас грабить не будет! Свои!

Шмуль приподнялся и прислушался.

— Это козак, Ривуню,— прошептал Шмуль, приподымаясь с лавки и подходя к окну. Он отодвинул осторожно засов и приложился глазом к зеленому стеклу.

---

* Ой вей мир! — Ой горе мені! *(Євр.)*

— Один,— прошептал он, обращаясь к Ривке, — я буду отворять.

— Ой Шмуль, Шмуль, что ты делаешь? — закричала было Ривка, но засов упал, дверь распахнулась, и на пороге показался высокий статный козак в длинной черной керее.

— Морозенко! Олекса! — вскрикнули разом Шмуль и Ривка, отступая с изумлением назад.

XVII

Шмуль поспешно задвинул двери и заговорил жалобным тоном, мотая из стороны в сторону головой:

— Ой вей мир, любый пане, когда б вы знали, что тут случилось без вас! Цс-цс-цс...— причмокнул он губами,— такое горе, такое несчастье, ох-ох!..

— Знаю,— перебил его коротко Морозенко,— видел. Я прискакал расспросить вас, быть может, вы знаете, что случилось? Убили кого? Замучили? Где батько Богдан? Что сталось с семьей? — говорил он отрывисто, превозмогая с трудом непослушную дрожь и спазмы, душившие горло.

— Ой вей, вей! — закивали головами и Шмуль, и Ривка.— Но пусть пан сядет, да отдохнет с дороги, да выпьет оковитой, потому что он и на себя не похож, а мы вже расскажем пану все, как было... все...

— Коня оправь,— произнес отрывисто Морозенко, опускаясь на лавку и сбрасывая шапку с головы. Его красивое, смуглое лицо с черными бровями и черными глазами, чуть-чуть приподнятыми в углах, было теперь страшно бледно и от горя, и от усталости, и от волнения... Глаза горели мрачным огнем. Он почти залпом опорожнил кварту, поднесенную ему Шмулем, и произнес отрывисто:

— Говори!

Шмуль начал свой рассказ, прерывая его частыми вздохами и причитаниями. Он рассказал Олексе подробно о том, как Лейзар прислал к нему гонца из Чигирина, как они начали прятать свои пожитки и прятаться в лес, как на Субботов наскакало триста всадников, как все отчаянно боронились. Когда же рассказ его коснулся смерти Андрия, Шмуль несколько раз втянул в себя воз-

дух носом и еще жалобнее закивал головой: «Славное дитя было, ой вей! и пан писарь его так любил!»

— Дьяволы... дытыну! — вскрикнул Морозенко, вскакивая со скамьи и сжимая саблю рукой.

— И что им дитя, когда они и стариков не пожаловали? — пожал плечами Шмуль и перешел к смерти дида и бабы и разорению хуторян.

— Да где же батько Богдан, где вся семья его? — перебил Морозенко.

— Ой вей, вей! — продолжал Шмуль, смотря с сожалением на Морозенка.— Нет уже теперь у пана писаря и угла, нет ему уже где и голову приклонить. И хутор, и млыны, и все забрал Чаплинский, и староста отдал ему, потому что у пана писаря бумаги не нашлось. Ходил он судиться по судам, и там ему ничего не сделали, а еще смеялись и говорили разные нехорошие жарты. Ой, ой! И что с ними поделать можно? А пан писарь,— говорил мне Лейзар,— закричал им, собакам,— и Шмуль боязливо оглянулся,— что он своего добудет, и когда они ничего не хотят сделать, так он поедет и в сейм, и к самому королю! И вот вже с тыждень, как пан писарь ускакал в Варшаву из Чигирина.

— А где ж семья его?

— Никто не знает, шановный пане, запрятал ее куда-то пан писарь, чтоб опять не ограбил и не назнущался кто. Вот уже месяц, как спрятал.

— Месяц?! Что ж, все живы, здоровы? — впился Олекса в Шмуля глазами, чувствуя, что сердце замирает у него в груди.

— Хвала богу, все: и панка Катерина, и панка Олена, и Юрась, и Тимко, вот только панну Елену да Оксану увезли грабижныки с собой.

— Оксану, Оксану?! — вскочил Морозенко, опрокидывая скамью.— И ты это знаешь наверно?..

— Чтоб я детей своих больше не видел!

Но Морозенко уже не слушал ничего.

— Коня! — закричал он дико, хватаясь за саблю рукою.— Коня!

— Ой вей! — завопил жалобно Шмуль.— Ну, и что ж пан задумал делать?

— Теперечки ночь, ничего не видно, как можно ехать? — встревожилась и Ривка.

— Оксана, ты сказал, Оксана?.. Ты ж знаешь сам...

— Ой-ой, шаде, ферфал! — покачал жид с сочувствием своими длинными пейсами.— Только что ж теперь пан сделает? Ой-ой, где вже там пану Олексе с подстаростой тягаться?

— Убью, зарежу! Месяц, целый месяц! — кричал в исступлении Олекса, хватаясь за голову.

— И где там можно козаку пана подстаросту убить?— повторял недоверчиво Шмуль.— Но если вже пан Олекса так хочет зараз до Чигирина ехать, так я вже пану совет дам. Я ж еще пана вот таким маленьким знал,— опустил он руку почти до самой земли,— а Шмуль хоть и жид, а имеет сердце,— и Шмуль втянул со свистом воздух и затем заговорил торопливо, делая беспрестанное движение растопыренною правою рукой и прищуривая левый глаз, в то время как Олекса нетерпеливо шагал из угла в угол, задевая столы и лавки, сжимая до боли свои кулаки.

— Если пан хочет выкрасть дивчыну, пусть едет до Лейзара, я пану до него записку дам, он вже пану все сделает.

Через несколько минут работник подвел к дверям корчмы коня Олексы, с которого не снимали и седла. Шмуль и Ривка вышли на порог. Каганец, который Ривка держала над головой, прикрывая его рукой от ветра, освещал небольшое пространство: лошадь, подведенную работником, грязь и лужи, блестевшие на свете, а дальше все терялось в густой, черной темноте.

Морозенко быстро вскочил на коня и собрал в руку поводья.

— Ну, дай же боже, дай боже! — поклонились разом и Шмуль, и Ривка.

Олекса снял шапку и сунул было Шмулю серебряную монету, но Шмуль с обидою оттолкнул ее.

— Пс! — оттопырил он руки.— За чего пан обижает нас? Пусть пан Олекса оставит себе свои гроши. Мы з своих не берем! А пану они знадобятся теперь ой-ой еще как! Дал бы только бог!

— Спасибо, не забуду! — крикнул Морозенко, тронутый неожиданным сочувствием, и сжал острогами коня; животное встрепенулось и поднялось в крупную рысь.

Через несколько минут он совершенно скрылся в темноте. Долго стоял на пороге Шмуль, прислушиваясь к удаляющемуся шлепанью конских копыт. Наконец

холод заставил его вздрогнуть,— жид печально замотал головою и, причмокнувши несколько раз с сожалением губами, задумчиво направился в свою опустевшую корчму.

А Морозенко мчался, как безумный, под тьмой и холодным дождем. Конь спотыкался, попадал в лужи, но Олекса все подгонял его да подгонял. Бессильное, ужасное отчаянье разрывало его сердце. «Что делать, что предпринять, на что решиться? Если бы хоть батько Богдан был здесь, а то сам... Что делать, как вырвать ее из рук этого хищника? Как спасти? А здесь каждый час, каждое мгновенье... Месяц, целый месяц, а он не знал, что может случиться за месяц! Быть может, теперь, в эту самую минуту...» И проклятья, и слезы, и вопли отчаяния бурно рвались из души Морозенко, да он и не удерживал их. Черная ночь жадно поглощала отчаянные возгласы козака, мчавшегося под ее сырою пеленой.

Было уже совсем поздно, когда измученный и усталый Олекса добрался наконец до Чигирина. Въездные городские ворота были заперты, в мытнице уже не светились огни. Долго пришлось ему кричать, стучать и даже стрелять из пистолета, пока на крики его появились из мытницы заспанные вартовые и отперли ему ворота. Заплативши мостовое, Морозенко поскакал по спящим спутанным и узким улицам Чигирина и, наконец, остановился перед известной корчмой Лейзара.

Несмотря на позднее время, над широким проездом, разделявшим корчму на две части, болтался тусклый масляный фонарь. Однако и здесь Морозенку пришлось довольно долго покричать и постучать эфесом сабли в ворота, пока у маленькой форточки, проделанной в них, не раздалось шлепанье пантофель и щелканье тяжелого ключа. Форточка приотворилась, и в образовавшееся отверстие просунулась мудрая голова Лейзара, украшенная высокою меховою шапкой с наушниками.

Узнавши от Морозенко, что он ищет ночлега и прислан к нему нарочито от Шмуля субботовского, Лейзар гостеприимно распахнул ворота и впустил Морозенка в широкий проезд.

— Гей, Онысько, герш ду?! * — закричал он громко, запирая за Морозенком ворота.

---

* ...герш ду?! — чи чуєш ти?! *(Євр.)*

На крик его появился заспанный рабочий, который и принял от Морозенка коня; самого же Морозенка Лейзар пригласил следовать за собою в корчму.

Огромная комната с гигантским очагом, изображавшая вместе и кухню, и салон, была теперь совершенно пуста, а потому, поставивши каганец на прилавок, Лейзар приступил прямо к делу.

— У пана козака есть какое-нибудь дело до меня? — спросил он вкрадчиво, устремляя на взволнованное лицо Олексы пронзительный взор.

— Такое дело,— заговорил прерывающимся глухим голосом Олекса,— что если ты мне, Лейзар, поможешь, ничего не пожалею, что захочешь, дам! Наймытом к тебе навеки наймусь!

— Ой, ой! — вскрикнул живо Лейзар.— Что ж там такого?

— А вот что, Лейзар,— протянул ему Морозенко письмо от Шмуля.— Помоги мне, Лейзар; говорят, что у тебя разумная голова... помоги, и ты об этом не пожалеешь!

Лейзар прочел письмо раз, другой. Морозенко пристально следил за его лицом, но не мог уловить на нем никакого определенного выражения. Наконец, Лейзар сложил письмо и заговорил тихим, но серьезным голосом:

— Трудное твое дело, пан козак, ой какое трудное! Если пан подстароста украл девушку для потехи, то он тебе ее волей не отдаст... не отдаст,— покачал он головой,— а силой нельзя и думать отнять. Надо придумать чего-нибудь хитрого да мудрого. Впрочем, ты еще не журысь... Господь помог и ослепленному Самсону погубить всех филистимлян [18], может быть, он захочет помочь и нам.— Лейзар потер свой лоб и задумался.— Прежде всего нам надо узнать, куда он ее заховал,— произнес он после долгой паузы,— так, так! — и, обратившись к Морозенку, Лейзар прибавил уже более живо: — Ты, пане козак, ложись теперь спать: все равно вночи ничего не сделаешь, а Лейзар вже будет думать, как и чего.

Морозенку ничего не оставалось, как согласиться на предложение Лейзара, и он беспрекословно последовал за ним по крутой лестнице на сеновал.

Несмотря на страшное горе и тревогу, терзавшие его

душу, усталость взяла свое, и, растянувшись на свежем сене, Олекса моментально погрузился в крепкий, здоровый сон.

Проснулся он довольно поздно и сразу же вскочил, словно от электрического толчка. Весь ужас его положения предстал моментально перед ним. Олекса поднялся в одно мгновение, оправил одежду и спустился во двор. На дворе движение уже было в полном разгаре. Подойдя к колодцу, Морозенко умылся студеною водой, завернул в конюшню взглянуть на своего коня, и, увидевши, что он почищен и в яслях ему насыпано довольно корма, он вошел в корчму.

Народу в корчме было мало, только в стороне закусывали за отдельным столом два каких-то невзрачных поселянина. Лейзара тоже не оказалось, вместо него восседала за прилавком его огромная супруга, обвешанная множеством золотых украшений. В очаге трещали дрова, и на большой сковороде жарилась, аппетитно потрескивая, яичница.

При виде Морозенка Лейзариха вышла из-за прилавка и, подойдя к нему, сообщила тихо, что Лейзар ушел по делу и просил пана козака не выходить из дома до его возвращения.

В ожидании Лейзара Морозенко уселся за отдельный столик и начал с аппетитом утолять свой голод яичницей и таранью, которые ему предложила гостеприимно Лейзариха. В комнате было тихо, а потому некоторые из фраз поселян долетали поневоле до Морозенка.

— И не нашел? — говорил один голос тихо.

— Где уже ее, голубку, найти! — отвечал другой еще тише.— Наложила уже, верно, на себя руки или повесилась на окравке (пояске).

— А може, натешились псы да и сами спихнули в озеро, чтобы даром не держать! Много ведь их томится... не одна твоя дочка... у нас в селе всех лучших дивчат загнали.

Голоса понизились до шепота.

— Церковь жиду в аренду отдал,— услыхал Олекса снова.

— Ох, кабы нашлась какая умная голова,— отвечал другой,— сейчас бы перековал рало на кривулю, пустил бы нищими жену и деток, все равно им и так пропа-

дать, а сам бы пошел за волю, знал бы по крайности, за что б голову сложил!

Поселяне встали, расплатились и вышли.

Морозенко тоже поднялся и вышел машинально за ними. Кровь стучала в его голове, волнение, казалось, готово было разорвать его сердце. Так не один он терпит это горе, эту зневагу! Отовсюду, со всех концов Украйны, слышатся эти вопли, эти стоны! Да разве же они не люди? За что они должны эту муку терпеть? Или нет у них крепких рук, или мало добрых мушкетов? Когда уже селянин, поседевший, сгорбившийся за ралом, говорит такие речи, что ж должны думать они, запорожские козаки?

Волнуемый и терзаемый такими мыслями, направился Морозенко в вышний город к роскошному будынку пана подстаросты, обнесенному высоким палисадом. Собственно, определенного намерения он не имел никакого, но чувство бездеятельности было не под силу ему; притом же он хотел хоть быть поближе к родному, дорогому существу, хотя подать ему каким-либо образом весточку, что любимый, коханый близко, что он горит желаньем спасти ее, что он готов положить за нее всю свою жизнь. Да и надежда разведать что-либо у слуг старостинских не оставляла его.

Подойдя к будынку, Морозенко увидел, что проникнуть в него было не так то легко, как казалось сначала. Высокий частокол окружал его со всех сторон, и пробраться во двор не было никакой возможности; да если бы это и удалось ему, то не повело бы ни к чему, так как двор был переполнен народом, а у входа в ворота стояли вартовые. Но, несмотря на всю невозможность пробраться в дом, Морозенко не мог заставить себя удалиться оттуда: то ему казалось, что он слышит подавленный стон Оксаны, то ему мерещилось в высоких окнах будынка ее обезумевшее от ужаса лицо.

Шатаясь все время вокруг двора, он обратил наконец на себя внимание вартовых.

— Эй ты, добрый человек,— окликнул его наконец один из них, польский жолнер с сытым и полным лицом,— не ищешь ли ты здесь того, чего никогда не имел?

Товарищ его разразился громким смехом и добавил:

— Так, так, это, кажись, из тех птахов, что любят в чужом саду вишни клевать.

— Врешь ты, песья морда,— вскрикнул запальчиво Морозенко,— это вы любите чужими руками жар загребать да на чужом добре свои туши откармливать.

— Го-го-го! Да это шпак, да еще и ученый, — проговорил первый,— знакомую песню поет! Надо бы его поймать — да в клеточку; наш пан любит на них в клеточках глядеть!

И неизвестно, чем окончилась бы эта перебранка, если бы, на счастье Морозенка, не появилась из-за угла скорченная фигура Лейзара, который и потащил его почти силой домой.

— Ой вей, на бога! Что пан козак себе в голову заклал? — шептал он торопливо, поспешно уводя Морозенка и оглядываясь со страхом назад.— Погубит всю справу... и девушка так даром пропадет! Я ж пану говорил, чтобы он не выходил из дому, да еще в такой жупан... Чтоб пан подстароста велел изхватить его и засадить в подвал, и тогда энде... ферфал! * Цс! цс! — причмокивал он губами и качал укоризненно головой.— А вот вечером придет ко мне в корчму один из слуг пана подстаросты, мы узнаем тогда, куда он запрятал дивчыну... только чтобы тихо, чтобы пан не кричал, не шумел и не выходил бы из корчмы ни на шаг!..

XVIII

До вечера томился Морозенко, забившись на сеновал Лейзара, куда тот доставил ему и пищу. Казалось, мучительному дню не будет конца. Но наконец настал и вечер. Лейзар взобрался на сеновал и вызвал Морозенка,— пусть пан только сядет в угол, пьет себе потихоньку мед и не кричит, кто что бы там ни говорил...

Беспрекословно спустился Олекса в харчевню и уселся за указанным ему местом. В комнате не было ни одной души. Вскоре, однако, у дверей послышался тихий стук.

Лейзар поспешно отворил ее и впустил человека средних лет, в костюме надворной милиции, с опухшим лицом и красным носом, обличавшим в нем верного служителя Бахуса.

---

* ...энде... ферфал! — кінець... пропало! *(Євр.)*

Впустивши его, Лейзар закрыл старательно двери и окна и пригласил вошедшего к столу.

— На того не смотрите,— шепнул он жолнеру, заметив, что он поглядывает на Морозенка,— то наш, совсем наш, дарма что на нем козацкий жупан, да и служит он больше бочке, чем коронному гетману.

— Го-го! — рассмеялся новоприбывший.— Это, значит, из нашего полка! Одначе показывай, что там у тебя?

— Зараз, зараз, ясноосвецоный пане,— заторопился Лейзар,— прошу сначала отведать вот этого медка,— подмигнул он многозначительно жолнеру, пододвигая кувшин и оловянный стакан.

— Ого-го, Лейзар! А откуда у тебя такой медок, га? — устремил шляхтич на Лейзара изумленные глаза и налил себе второй стакан.

— Из субботовского льна,— хихикнул хитро Лейзар,— оттуда и те штуки, что я пану говорил. Панство не все забрало с собой, ну, люди добрые позбирали и продали мне.

— Ну, ну, показывай скорей!

— Ой! ой! Какие ж там добрые вещи были,— закивал головой Лейзар.— Когда б не пан, никому бы я не продал за такие гроши такую вещь!

— Да, надо сказать правду, наш пан подстароста ласый шматок заполучил!

— Ой-ой! Еще и какой ласый! — зажмурил глаза Лейзар и, вытянувши из-под прилавка дорогую саблю и два пистолета, поднес их жолнеру.— И чтобы такое добро за два червонца? — поворачивал он саблю перед светом то той, то этой стороной.— А слышал пан, что пан сотник поехал жаловаться на пана подстаросту в Варшаву на сейм?

— Го-го! Черта лысого он там поймает, как и в здешних судах поймал! Субботова ему уже не увидеть, как мне воды не пить.

— Хе-хе,— усмехнулся Лейзар,— да он, говорят, не так за Субботов, как за тех двух девушек, что пан подстароста себе взял.

Морозенко приподнялся и весь замер в ожидании.

— Каких двух? — изумился жолнер.— Одну шляхтянку взяли, да она сама с радостью кинула сотника и обвенчалась с подстаростой, как и следовало быть.

— Вот оно что! А чего вже люди не набрешут? —

протянул Лейзар.— Говорили вже, будто взял и другую, красавицу Оксану.

— Оксану? — повторил жолнер.— Это, может, черномазенькая, курчавая?

— Так, так, курчавая,— кивнул головой Лейзар.

— Эге, была и такая... и боронилась же, шельма, как дикая кошка! — усмехнулся жолнер.— Подстароста должен был бы ее нам за труды отдать, а он уступил ее зятю своему Комаровскому... вот тот и возится теперь с ней, как кот с салом, в Райгородке.

Громкий, яростный крик прервал его слова, и, опрокидывая по дороге столы и лавки, бросился Морозенко, как безумный, вон из корчмы...

На улице Лешней в Варшаве стоял пышный палац. Принадлежал он ясновельможному великому коронному гетману и краковскому каштеляну Станиславу на Конецполье — Конецпольскому. Недавно еще высокие окна палаца сверкали огнями; в роскошных покоях и залах раздавались звуки музыки и веселья; вся варшавская знать толпилась в них, блистая нарядами. Морем лились на пирах старые меды и драгоценные вина; жизнь здесь била ключом,— и все это по причине слетевшего к великому гетману, на закате дней, божка Гименея с шаловливым Эротом [19]. Но почтенный старец не выдержал наконец шуток этого лицемерного бога и свалился нежданно-негаданно в постель... И вот теперь в палаце царят сумрак и унылая тишина.

В пустых залах уселась больничная скука, и ее не нарушают уже ни бойкий говор, ни легкомысленный смех, ни кокетливый шепот красоток; приедет кто-либо навестить больного, пройдет тихо, печально по опустевшим покоям и еще тише, печальнее возвратится назад; проскользнут мрачными тенями безмолвные слуги, пройдут чопорно, важно знахари, доктора, и снова там замрет все, застынет, как на кладбище.

В пышной приемной великого гетмана собралось много знати, между которой были и знакомые нам лица, съехавшиеся на экстраординарный сейм. Всякому хотелось получить аудиенцию у магната, заявить ему свое соболезнование. Паны гетманской партии с глубокою скорбью шептались в углах и о внезапной болезни чти-

мого ими вождя и о последствиях, если, не дай бог, они останутся одни, без защиты; панство враждебного лагеря лицемерно вздыхало и радовалось в душе возможной кончине сумасброда. На всех лицах играло, впрочем, нервное беспокойство и напряженный интерес узнать поскорее и досконально, чем кончится совет приглашенных к страдальцу иноземных врачей. На каждое лицо, выходившее из внутренних апартаментов, набрасывалось знакомое панство и, заполучив сведения, передавало их шепотом остальной компании. Сведения, очевидно, были неутешительны, так как заставляли публику ниже склонять головы и искренно или притворно вздыхать.

В стороне от нарядной толпы, в скромной козацкой одежде полкового писаря стоял незаметно Богдан. Внезапная болезнь старого гетмана поразила его печалью. Он знал, что почтенный магнат составлял главную опору королевской партии, имевшей задачу обновить строй государства, опираясь на козаков, и что с падением этой опоры слабая королевская партия, разбитая уже на сейме, не в состоянии будет дальше бороться и сдастся на капитуляцию, пожертвовавши интересами козаков; кроме того, в старом Конецпольском Богдан видел и для своих дел, и для себя лично единственную защиту. В этой догорающей за дубовыми дверями и тяжелыми занавесами жизни догорали, как казалось Богдану, надежды и его, и его народа. Оттого-то так мучительно отражалась на лице пана писаря неизвестность исхода болезни и все мучительней жег его сердце вопрос, примет ли козака умирающий гетман, выслушает ли жалобы о вопиющих насилиях и над добром его, и над его семьею, или он, писарь, уже опоздал, и щербатая доля насмеется над обиженным?

Богдан мрачно смотрел на резные дубовые двери и, скрывая внутреннюю тревогу, кусал в раздражении длинный свой ус. Во всяком случае он решился добиться свиданья, до которого не хотел выступать с жалобой в сейме: он оставлял этот пресловутый сейм на последний уже и малонадежный ресурс.

Распахнулись боковые двери, и из длинного внутреннего коридора вышли, одетые в черные бархатные камзолы с белыми большими жабо, в такие же трусики и штиблеты, съехавшиеся из далеких стран к больному врачи. Они двигались чопорно, торжественно, склонив

головы, украшенные серебристыми с волной париками.

Робко к ним подошел пан подчаший великого гетмана и, осведомившись о результатах совещания, с убитым видом отошел к группе знакомых панов. Пронесся по зале шепот, что спасения нет, и всколыхнул этот шепот ожидавшую здесь безмолвно толпу, словно оживил большинство и развязал языки. Послышался сначала возбужденный говор, перешедший потом в наглый, насмешливый тон.

— Да, хитрил целый век наш пан гетман, водил других, а теперь надул и самого себя,— поднял свой голос тощий и длинный шляхтич.

— Хотелось, пане Яблоновский, ему прожить мафусаиловский век [20],— подхватил низенький и плотный пан Цыбулевич, приехавший в Варшаву на сейм.— Хотелось всех нас, благомыслящих, перехоронить, а самому поверховодить вместе с перевертнями да изменниками над благородною шляхтой и сломить Речь Посполиту, да, видно, пан Езус и матка найсвентша хранят нашу золотую свободу. Перехватил, кажись, почтенный старец жизненного эликсиру и вот расплачивается теперь за то жизнью.

— Не жизненного эликсиру, пане, а любовного,— поправил третий.— Для мессы богине Венере не хватило огня.

Раздался циничный, малосдержанный смех.

— Во всяком случае,— послышался в другой группе голос,— мы должны поблагодарить юную пани гетманову, что развязала нам руки.

— Мне кажется, что нам пора и по домам,— заключил дородный князь Заславский,— неудобно ведь, панове, затруднять в последние минуты страдальца, по крайней мере я удаляюсь... До зобаченя!..— поклонился он важно и с саркастическою улыбкой направился к дверям.

— А что ж? И впрямь! Чего нам торчать здесь? — двинулись за ним другие паны.

— А если выздоровеет? — нерешительно еще топталась на месте более захудалая шляхта.

— Какое там выздоровеет? — раздражался низкорослый пан Цыбулевич.— Кто в лапах у черта, тот и убирайся в ад! — и вышел из залы.

За ним двинулись несмело несколько шляхетных па-

нов, а более робкие все-таки остались в полуопустевшей зале.

К Богдану подошел теперь давний знакомый его, полковник Радзиевский, не заметивший прежде за толпившеюся шляхтой войскового писаря.

— Какими судьбами? — протянул он Богдану дружески руки.— Пан Богдан здесь, а я и не заметил,— такая тревога, печальная, тяжелая минута! Меня отвлекла эта лицемерная, снявшая так грубо маску толпа, а пан стоял в дальнем углу... Но я рад, очень рад,— пожимал он искренно руки Богдану, обрадовавшемуся тоже встрече с таким сердечным и близким по думкам с ним паном.

— Такая дорогая встреча сулит и мне надежду,— не вынимал руки пан писарь, смотря радостно в глаза Радзиевскому,— брату родному, кажется, так не обрадовался бы, как шановному пану...

— Спасибо, спасибо! А что же, как пан поживает, как дела?

— Ограблен, оплеван! — вздохнул Богдан и отвернулся лицом в сторону.

— Слыхал, слыхал, — вздохнул сочувственно Радзиевский,— это они разбойничать начали после этого дьявольского сейма, на котором разнузданность своеволия, остервенение слепого эгоизма потоптали нужды ойчизны, унизили ее перед соседями, обессилили вконец!

— Эх, пане мой любый,— махнул рукою Богдан,— да разве у них за нее сердце болит? Провались она — не поведут усом, лишь бы в погребах было полно, да гнулись столы от потрав, да было бы над кем издеваться!

— Правда, правда! И они разрушат государство, разрушат! — бросил он свирепый взгляд в сторону небольшой группы, шептавшейся смущенно в противоположном углу.

— А наияснейший король неужели опустил совсем руки? Неужели у него оказалось так мало друзей?

— Духом-то он по-прежнему бодр,— наклонился Радзиевский почти к уху Богдана,— да крылья у наияснейшей мосци обрезаны... Пан разве не слыхал?

— Слыхал, слыхал... у нас об этом все панство злорадно трубит....

— То-то! Ну, а насчет друзей, так пан знает, что их

было очень и очень немного, а вот погибает один из сильнейших... Должно быть, гнев божий висит над нашей страной, как над Содомом и Гоморрой! [21]

— Неужели нет никакой надежды? — спросил дрожащим голосом потрясенный Богдан.

— Почти,— качнул головой Радзиевский и развел руками,— впрочем, если переживет лихорадку... она его возбуждает до бреда... А пан ждет аудиенции у великого гетмана?

— Да, но если он так плох... Я надеялся, что его гетманская мосць заступится, ведь это же поруганье над его даром... Но, видно, нет и мне на земле защиты.

— Нет, он еще, во всяком случае, протянет... Гетман при полной памяти... Князь Оссолинский там у него... Пан был у князя?

— Был, обещал мне свиданье у гетмана и у яснейшего короля.

— Да, я именно об этом хотел сказать пану: король хотя немного может помочь, но он теперь еще больше нуждается в козаках и в доводце; тоже ведь и у него лежит последняя надежда на вас; он верит вам.

— И не ошибется! — сверкнул глазами Богдан и невольно ухватился рукой за эфес сабли.

В это время раздался за входными дверями особенный характерный звонок. Все вздрогнули, замолкли и обернулись благоговейно к дверям: в зал торжественно вошла церковная процессия. Впереди шел со звонком в черной рясе аконит, за ним следовали мальчики-крилошане, одетые в белые закрыстя, украшенные такими же кружевами и крестами из прошв; они несли черные свечи в руках; за ними шел в белом облачении капеллан со святыми дарами, а замыкали шествие два церковных прислужника в черных рясках; один нес в руках на высоком древке крест с раскрашенною фигурой распятого Христа, а другой нес на таком же древке насаженный фонарь.

Все присутствовавшие в зале, при виде святых даров, упали на колени, а иные и ниц. Процессия последовала во внутренние покои и произвела на всех присутствующих подавляющее впечатление.

Вскоре из коридора вошел в приемную и князь Оссолинский. В его движениях не было уже прежней уверенности; осунувшаяся фигура казалась несколько

сгорбленной; на полинявшем и постаревшем лице лежала печать усталости и уныния; глаза как-то робко смотрели из-под нависших ресниц.

Он подошел к Богдану и Радзиевскому, молча пожал им руки и, глубоко вздохнув, произнес растроганным голосом:

— Да, фатальная вещь! Осиротеть нам приходится!

На этом и упал разговор. Всем было тяжело; но, кроме того, у каждого было и свое личное горе, и оно-то заставило собеседников углубиться в себя и замолчать. Безмолвие царило и в зале. Доносилось издали какое-то печальное чтение, звучал за ним похоронный напев, и сдержанные рыдания вырывались иногда неудержимою волной. Но вот и эти отголоски безутешного горя наконец стихли.

Капеллан с крилошанами снова прошел безмолвно и торжественно-мрачно через зал; снова преклонило пред ним панство колени, и снова затворилась за ним беззвучно дверь.

Козачок, проскользнув из коридора, подошел на цыпочках к великому канцлеру и сообщил ему что-то секретно. Оссолинский немедленно вышел за ним в боковую дверь, а спустя несколько минут показался у нее снова и поманил Богдана к себе.

— Великий гетман соизволил разрешить пану войсковому писарю посетить его, — сказал он несколько официально, добавивши потом шепотом: — Вторая дверь по коридору налево, где гайдуки на варте... Только осторожнее: он страшно возбуждается... а доктора требуют спокойствия... Пусть пан воспользуется. Сердечно желаю успеха.

— Жизнь моя к услугам его княжьей милости,— прижал к сердцу руку Богдан и, оправившись, приблизился с трепетом к таинственной двери.

XIX

В обширном покое, где лежал умирающий, было почти темно, или так показалось со свету Богдану. Тяжелые занавеси на окнах были спущены до полу; дневной свет едва проникал через плотную шелковую ткань; в углу, на аналое, перед киотами образов, мерцала в

стеклянном сосуде лампадка; слабый голубоватый свет ее бледными полосами ложился на мягком ковре, отражался на громоздкой, из красного дерева, инкрустированной мебели, блестел на складках отдернутого золотистого полога, освещенного изнутри мягким розовым светом, и дрожал искрами на изразцах большого камина. В душном, спертом воздухе этого покоя пахло уксусом и тонким благовонием ладана и дорогой смирны.

Богдан остановился нерешительно у дверей и стал присматриваться к слабо освещенным углам. В одном из них он заметил неподвижную фигуру дряхлой величавой магнатки; строгое, суровое лицо ее было обращено к пологу; в остром взгляде ее тусклых очей светилась ненависть и злоба. Другое, молодое, существо почти лежало у ее ног, прижавшись головою к магнатским коленям; шелковистые волосы сбегали с них капризною волной; длинная коса лежала змеей на ковре; по судорожному вздрагиванию почти девственных плеч видно было, что юная пышная пани глушила свои рыдания в бархатной сукне старухи. Из-за полога доносилось учащенное дыхание и едва слышные стоны.

Богдану сделалось жутко. Он почувствовал в душном сумраке, в мертвом безмолвии веяние смерти; он даже олицетворил ее в этой неподвижной старухе, устремившей на полог холодный, беспощадный свой взгляд.

Богдан переступил с ноги на ногу и глубоко вздохнул, желая обнаружить свое присутствие.

Молодая пани вздрогнула и подняла головку с колен; старуха перевела свои леденящие глаза на Богдана, потом встала с высокого кресла и, взявши под руку молодую заплаканную пани, медленно вышла с ней в боковую, секретную дверь.

За пологом оборвался стон, и глухой сдавленный голос окликнул Богдана: «Кто там?»

— Я, ясновельможный гетман и батько наш, я, войсковой писарь, с панской ласки, Богдан Хмельницкий.

— А! Подойди сюда... ближе...— послышалось из-за полога.— Мне громко нельзя говорить.

Богдан подошел на цыпочках к приподнятым краям полога и окаменел. На высоком позолоченном ложе тонуло в пуховых перинах, под волнистыми складками

белого атласного одеяла, исхудалое тело; на кружевных подушках неподвижно покоилась белая как лунь голова. Желтое, сморщенное лицо без парика и без прикрас до того было изменено, что Богдан не узнал в нем прежних черт; на щеках выступал пятнами лихорадочный румянец; ушедшие глубоко в орбиты глаза сверкали диким огнем; одна рука тряслась на груди у страдальца, а другая свешивалась с кровати, конвульсивно дергая одеяло... У изголовья перед распятием из слоновой кости висела небольшая лампадка; бледно-розовый отблеск ее ложился мягкими тонами на лицо гетмана, придавая ему оживление, и смешивался эффектными переливами с волнами голубого света...

Богдану припомнился образ недавно виденного им гетмана, — бодрый, улыбающийся, с жизнерадостным взглядом, и вот он обратился во что! Под этими шелками и парчой лихорадочно трепетало теперь былое величие и гроза... На этом пуху догорала перед Богданом и его защита, и надежда его братьев. Потрясенный удручающим зрелищем и нахлынувшею скорбью, Богдан опустился перед гетманом своим на колено и почтительно, почти набожно, поцеловал лежавшую на перине холодную руку.

— Я очень рад, что тебя, пане, вижу,— не изменяя позы, вскинул гетман на Богдана глаза,— ты хорошо сделал, что приехал... Видишь, умираю...— порывистым шепотом призносил гетман слова, едьа шевеля посиневшими губами.

— Храни, боже,— сжал руки Богдан,— его милосердию нет меры, его всемогуществу нет границ... Не лишит же он целый край своей ласки... Не осиротит же он нас вконец...— и у Богдана от волнения оборвался голос.

— Спасибо! — оживился, тронутый искренностью сочувствия, гетман.— У вас верные, золотые сердца, не хотят понять только этого. Несчастная Речь Посполита!.. Слепцы отметывают и губят надежнейший оплот, расшатывают могущество кровной ойчизны... Да, да! Подготовляют ей могилу...

Больной сдерживал свою речь с видимым напряжением и цедил слово по слову, но это напряжение поднимало ему порывисто грудь и затрудняло дыхание.

Богдан стоял неподвижно, опустивши печально чуба-

тую голову, и вслушивался в каждое слово гетмана, падавшее неизгладимым тавром на его чуткое сердце.

— Я слышал,— продолжал после долгой паузы гетман,— тебя обидели... я возмущен... Сын мой допустил это... Еще молод... Вероятно, наговор какой-либо... недоразумение... он бы не решился пренебречь моею волей... Но он будет здесь... Я его жду...

— Ясновельможный староста наш не знает еще о страшном несчастьи,— заметил Богдан.

— Я послал гонцов, а то и напишу через пана...

— Вот этот распятый бог наградит вашу ясновельможную милость,— смигнул Богдан невольно слезу, набежавшую на ресницы.

— Да, пред его милосердием скоро предстану и я, многогрешный,— поднял гетман кверху глаза и затих в безмолвной молитве.

Богдан не смел прервать благоговейного молчания, а может быть, и сам в эту минуту молился: много было у него на душе горя, и сердечная боль сливалась в неясную, бесформенную мольбу.

— Тебе все возвратит... этот наглец Чаплинский... все! — прервал наконец молчание гетман, бросивши на Богдана отуманенный, страдальческий взгляд.

— Кроме сына,— вздохнул порывисто Богдан и сжал рукоятку сабли.

— Да, я и забыл... пролита детская кровь... Но бог отмстит... Он воздаст! — поднял гетман указательный палец.— Не мсти ты, не омрачай своей доблести! — заволновался он и начал учащеннее дышать.— Месть, как огонь... если не затушить его в искре, он разбушуется в неукротимое пламя... Злоба и месть питают друг друга... Вырастет слепое ожесточение, а оно,— да хранит нас найсвентшая панна,—утративши цель и причину, может разлиться кровавою рекой на неповинных.

Больной поднял дрожащую руку и ухватился судорожно за грудь; потом повел глазами и мимикой указал на стоявшее в хрустальном кубке успокоительное питье. Богдан подал его и поддержал рукой трясущуюся голову гетмана, пока тот медленно пил глоток за глотком.

Прошло еще несколько минут; больной лежал с закрытыми глазами, трясясь всем телом и схватываясь руками за грудь. Богдан печально смотрел на своего

бывшего повелителя, и в сердце у него гнездилось тревожное чувство.

— Да,— словно проснулся и вздрогнул от пробуждения гетман,— я хотел сказать, нужно поторопиться,— масло уже догорает в светильнике,— он даже повернулся к Богдану лицом и устремил на него воспаленный пронзительный взгляд, словно желая прочесть сокровенное в тайниках его сердца.— Ты сила в Украйне, на ней покоятся надежды других, обойденных и обиженных... Я знаю, зазнавшаяся шляхта в эгоизме безумия не поймет задач и нужд государства... не поймет, не пойдет на уступки. Король, несчастный, бессилен, истинных друзей ойчизны немного, с одной стороны животная хищность, а с другой — чувство самосохранения и обиды, могут придти — о Езус-Мария! — в ужасное столкновение...

Гетман говорил возбужденно, хотя и прерывисто, чаще и чаще дыша; внутренний жар подымался в нем и мутил мозг до галюцинаций, до бреда; голос его даже окреп и звучал каким-то пророчеством.

— Я уже стою одною ногой в могиле, в глазах тускнеет, искрится, я вижу то, что недоступно сверкающим жизнью очам... Вон текут мутные реки крови, лужи, озера, по колени в них бродят, волнуется красное пламя, змеей бежит, заволакивается горизонт смрадными тучами... Слышишь стоны и раздирающие крики? Дети, дети кричат! Смотри, смотри! — ухватился он за руку Богдана,— озверевшие братья уничтожают друг друга, падают города, сметаются с лица земли села и труды человека! Ад, ад!.. Среди этого ада, разрушающего мою дорогую ойчизну, я вижу тебя на челе... тебя, неукротимого в гневе, беспощадного в мести.

Богдан дрожал от внутреннего озноба, потрясенный пророческою картиной: этот зловещий бред умирающего пронизывал ледяными иглами его сердце, подымал кверху чуприну.

А умирающий возбуждался все больше и больше, потерявши сознание; так губительно действовала на его организм напряженная речь до экстаза. Он отпил еще несколько глотков поданного Богданом питья и, не переводя духу, словно опасаясь за утраченное мгновение, торопливо продолжал, не обращая внимания на усиливавшуюся одышку; в приливе последних, вспыхнувших сил он приподнял даже голову и облокотился на руку.

— Да, ты станешь на челе, другого нет, иначе быть не может, ураган неизбежен... Силы небесные, ослабьте его порывы!.. Я для тебя все сделаю, что для человека возможно, возвращу... Подай мне бумагу и перо. Никто не дерзнет нарушить моей последней воли... Только постой! — остановил он жестом Богдана.— Договорю сначала, что камнем лежит на душе. Время дорого, жизни жаль, уходит, улетает! Много потрачено было на тщету, на мерзости сил, а вот теперь бы они пригодились... Меня жжет огонь, жажда отдать их моей славной, великой ойчизне, да отдавать уже нечего. Нечего, нечего, догорело! А она, моя возлюбленная мать, так нуждается, бедная, несчастная мать! Бросили ее на произвол ее родные дети!.. Прости, мой дорогой край, и я перед тобой во многом и многом преступен! — Он тяжело, со свистом вздохнул несколько раз и поник головой.

У Богдана стоял в глазах дрожащий туман; окружающие предметы лучились в нем колеблющимися очертаниями. Сердце ныло нестерпимою болью; к горлу подымалось что-то горячею волной.

Умирающий съежился конвульсивно и обратился снова к Богдану:

— Да, если ты станешь на челе этого бурного потока, направь его на защиту короля и закона, на укрепление расшатанных основ нашей великой державы, а не на сокрушение их. Помни, что это наша общая мать, наше единое прибежище от чуждых напастников; ведь они не только разрушат нашу свободу, но посягнут и на бытие наше... Если светодержец предвечный не удержит десницею своей возрастающей злобы и она разыграется в пекло, то направь ее на виновных, но пощади невинных, а наипаче не посягни рукой на славную Речь Посполиту... Помни,— хрипло выкрикивал он, уставившись на Богдана искаженным лицом,— если она, расшатанная сыновьями и пасынками, рухнет, то погребет под своими развалинами и вас.... О, отведи, распятый за грехи наши пан Езус, от несчастного края такую ужасную долю!..

Умирающий схватился обеими руками за вздрагивавшую грудь, ему не хватало воздуха... Страшные усилия вдохнуть хоть струю его заставили больного даже привстать с постели. Выпучивши глаза, он схватился одною рукой за руку Богдана, а другою за плечо его

и безумным шепотом, с кровавою пеной у рта, произнес заплетающимся уже языком:

— Поклянись... поклянись перед этим распятием, что ты не поднимешь меча, сдержишь ярость злобы и мести!.. Поклянись хотя в том, что не поднимешь руки на свою мать, не пойдешь на разорение и разрушение великой и славной ойчизны... Поклянись! — вскрикнул он как-то неестественно и, вытянувшись, опрокинулся навзничь.

Послышалось слабое клокотанье в горле, и вытянутое тело, вздрогнувши раз, занемело.

В покое воцарилось безмолвие смерти [22].

Богдан, пораженный, как громом, стоял и не чувствовал, как по его щекам струились капля за каплей поднявшиеся из наболевшего сердца горькие слезы.

Посольская изба (палата), где собирался в Варшаве вальный сейм, находилась в здании королевского дворца, на правом крыле, и глядела с нагорного берега Вислы через муры с бойницы в мутные волны реки. Зал был специально приспособлен к сеймовым заседаниям и мог свободно вместить внизу до четырехсот душ публики и столько же, если не больше, на хорах. Высокий, длинный, освещенный с одной стороны рядом узких стрельчатых окон, над которыми выглядывали с хор еще овальные, словно кошачьи глаза; с колоннадой у стен, поддерживавшей обширные галереи, со сводчатым плафоном, он представлял не совсем выдержанный готический стиль и был отделан лепными барельефами и фигурами, с пестрою раскраской и позолотой, во вкусе ренессанс. У противоположной к двум входным дверям стены, снабженной тоже двумя дверьми, соединяющими зал с внутренними апартаментами, возвышалась невысокая эстрада; с средины ее спускались в зал четыре мраморные ступени. Бронзовая вызолоченная балюстрада ограждала это возвышение и спускалась вдоль ступеней, заканчиваясь внизу двумя вызолоченными щитами. На окнах и дверях спускались до полу тяжелые штофные занавеси, поддерживаемые старопольскими и старолитовскими гербами; колонны были украшены отбитыми знаменами, бунчуками и другими трофеями государственной славы; в простенках между окон красовались

гербы всех провинций великой и могущественной державы; на противоположной же стене висели в золотых рамах портреты королей, польских и литовских. Эстрада была сплошь устлана роскошным турецким ковром; между двух дверей возвышался пышный трон, украшенный балдахином из темно-малинового бархата, перевитого золотыми и серебряными шнурками, с такими же кистями; драпировки поддерживались с двух сторон польским (одноглавый орел) и литовским (всадник—погонь) гербами, а вверху их стягивал личный герб короля — сноп под золотою короной. С обеих сторон мраморных ступеней стояло в зале по четыре кресла, обращенных спинками к балюстраде. На этих креслах, словно у подножья трона, восседали четыре пары государственных министров. Посредине впереди их стояло еще, между щитами, особняком, кресло сеймового маршалка. Против этих мест широким полукругом размещены были кресла сенаторов, обращенные сиденьями к трону, а за ними возвышались амфитеатром скамьи представителей шляхты, послов, избранных и снабженных инструкциями на предварительных сеймиках. На хорах же размещалась посторонняя публика, зрители, свидетели сеймовых дебатов — arbitri.

Было уже не рано; но от ползущих по небу грязно-серых туч стоял сумрак; холодный осенний дождь моросил в высокие, с частыми переплетами окна, наполняя избу тоскливым, однообразным шумом.

Зал был совершенно пуст, только у четырех дверей стояли драбанты *, по два при каждой, да сеймовой писарь чинил за столиком, приставленным у колонн, свои перья и раскладывал бумаги. Но вот верхние галереи начали наполняться публикой, спешившей занять лучшие места; спор за них и гул от возрастающего гомона оживили и спавший в безмолвии зал.

Распахнулась наконец дверь, и вошел первым в посольскую избу избранный сеймовым маршалком Сапега, сопровождаемый двумя возными **. Украшенный почтенною сединою и еще более почтенным брюшком, опоясанный широким златокованым поясом, в пышном, расшитом золотом кунтуше, он важно прошелся по

---

* Драбанти — особиста королівська варта.

** Возный — урядовець при суді, судовий свідок і виконавець.

зале и от скуки или для напоминания о своей власти ударил жезлом своим в щит и уселся на своем месте. На хорах говор и шум сразу притихли, и публика понадвинулась к балюстрадам. Вслед за маршалком стала появляться в избе и благородная титулованная шляхта. Послы занимали скамьи, ясновельможные и сиятельные сенаторы пробирались надменно и чопорно в полукруг своих кресел. Двери распахивались чаще и чаще, впуская новых уполномоченных лиц; шум и несдержанный говор росли.

Вот вошел торжественно в епископской мантии бывший капелланом у Конецпольского, а ныне холмский бискуп Лещинский [23]. Все поднялись со своих мест в зале и почтительно склонили свои головы.

XX

Превелебный бискуп медленно подвигался вперед, благословляя обеими руками пасомых, и, наконец, занял шестое от левой руки кресло. К нему сейчас же подошел под благословение пан маршалок.

— Печальные у нас, ваша превелебность, новости,— заговорил лицемерно Сапега.

— Да, ясный княже,— вздохнул театрально бискуп,— vanitas vanitatum et omnia vanitas...* не весте ни дня, ни часа... Завтра вынос тела великого гетмана и летия...

— Покойный собрат увлекся чересчур соблазнами жизни, да и как-то,— замялся Сапега,— изменился под старость в своих убеждениях, начал держать руку врагов.

— De mortuis aut bene, aut nihil...**— опустил бискуп печально глаза.

— Так, превелебный отче... А не слыхал ли его блаженная мосць, кого назначил король на место небожчика Станислава?

— Без сомнения, старого польного гетмана Николая Потоцкого.

— Я так и думал, он уже давно подлизывается к

* Суєта сует і всіляка суєта... *(Лат.)*
** Про мертвих або добре, або нічого... *(Лат. прислів'я).*

королю, потворствует его затеям, чтобы заполучить яснейшую ласку для себя и для сына[24],— заметил желчно Сапега.

— Не тревожься, княже, я пана Николу хорошо знаю. Может быть, для своих целей он и заигрывал с королем, но, получивши великую булаву, запоет песню иную. Ведь Потоцкий ненавистник и козачества, и схизматов.

В другой группе говорил авторитетно полковник Чарнецкий, сверкая злобно своими зелеными зеньками.

— У меня, пане добродзею, просто: чуть только что пся крев, сейчас ее на кол или на виселицу, и падла ихнего не велю хоронить, а разбросаю по полям: отличное удобрение!

— Ха-ха! До правды! — восторгался пан Цыбулевич.— А я, проше пана, держусь другой системы: истреблять быдло жалко — рабочая сила, так я пускаю в ход канчуки и лозы, а то еще лучше: отдал всех крепаков с землями в аренду жидам,— плати, жиде, и баста, а там как хочешь,— пори их, обдирай, вешай.

— Да ведь, пане добродзею, если самому умыть руки, то эти проклятые схизматские гадюки жида укокошат; уж сколько было примеров.

— А пусть, проше пана, и укокошат,— распускал понемногу пояс пан Цыбулевич, так как ему везде и всегда было жарко,— жаль мне жида, что ли? Было бы болото, а черти найдутся! Я еще из каждого такого случая интерес сличный имею,— сейчас суд, и все у меня виноваты. Конфисковал имущество, проше пана, и у хлопа, и у попа, и у жида, да и квит.

— Остроумно, пане добродзею!

В иных местах шел бойкий разговор и спор о лошадях, о собаках, о женщинах. Длинный и тощий шляхтич хвалился, что он изобрел такую мальвазию, какой нет ни у кого на свете, что он ею пристыдил и отцов бернардинов[25].

— Что это так мало собралось панства сегодня? — спрашивал на второй скамье Радзиевский у добродушного шляхтича Яблоновского, коронного мечника, известного в Брацлавщине бонвивана *. — Ведь самые важные вопросы на очереди: о государственных доходах,

* Бонвиван — гультяй.

об уплате жалованья служащим в Короне и войскам, о поземельных владениях, а послы и не являются.

— Пане полковнику! — защищал послов Яблоновский.— Да в такую погоду добрый хозяин и собаки не выпустит, теперь в самый раз только тянуть венгржинку возле каминка или добрый старый литовский мед. Эх, какой мед, пане коханый, у Радзивилла, а то и у Сангушки!

— Да ведь нельзя же, пане, так относиться к нуждам ойчизны! — заволновался пан Радзиевский.— Ведь сейм — высшее законодательное собрание, а законодатели сидят за медами и боятся дождя!

— А то и разъехались по домам многие, знаю.

— Еще лучше! Что же это за люди? Как же государство может существовать при таких порядках?

— Пане, да на что нам эти заботы? — развел руками Яблоновский.— Речь Посполита, как говорят, безладьем стоит и своим беспорядком славна! Ее хранят пречистая панна и молитвы святейшего отца! А нам что? Беречь свою золотую свободу и свои интересы. Я для того только и сижу здесь, чтоб не допустить благородной шляхте убытков. Дайте мне свентый покуй *, и баста! Жизнь одна, а что милее всего? Доброе товарыство, волокитство, танцы, женщины, вино и полеванье! Съедутся ко мне гости — смех, шутки. Принесут нам из погреба старой венгржинки, сядем мы у камина, заиграют нам в дуды, на столе хлеб, доброе сало, дичина, рыба,— вот наше утешенье, вот наш венец, и плевать мы готовы на королей!

Радзиевский взглянул на своего собеседника и, ничего не ответив, перешел на другую скамью.

А Яблоновский, не обративши на это внимания, показывал уже новому соседу на хоры и сообщал интимно:

— Ах, пане лacкáвый, взгляни вон на ту красотку — восторг, очарованье! Вот скарб, так скарб! Драгоценный перл, и все на меня смотрит, глаз не отводит, о Езус-Мария!

Сосед рассеянно взглянул было на хоры, но в это время ударил сеймовой маршалок в щит, и раздавшийся по зале звук серебра сразу отвлек внимание соседа и

---

* Свентый покуй — святий спокій, мир.

усмирил гомон всей публики: говор притих и напоминал теперь гуденье пчел в улье.

Стоявшая в различных концах залы титулованная и уполномоченная шляхта, разодетая в бархат, атлас, златоглав и парчу, бряцая дорогим оружием, заняла свои места и уселась. Скамьи наполовину наполнились послами; кресла в полукруге, кроме первого справа от трона, заняли сенаторы, епископы, воеводы и каштеляны; в последнем кресле уселся каштелян краковский.

Распахнулись на эстраде двери, и в левую начали попарно входить государственные министры: два великих канцлера — коронный Юрий Оссолинский и литовский Альбрехт Радзивилл — вышли первыми и заняли у подножия эстрады первые же от ступеней кресла, за ними вышли великие коронные гетманы — новый Николай Потоцкий и литовский Людвиг Радзивилл, затем уже по очереди вышли и заняли свои министерские кресла два великих подскарбия и два великих маршалка.

Ударил снова два раза в щит сеймовой маршалок, и в правых дверях на эстраде показалась стройная фигура гнезнинского архиепископа Матфея Лубенского, примаса * королевства, заменявшего во время междуцарствия особу короля. Он облачен был в едвабную мантию нежно-фиолетового цвета, прикрытую дорогими белыми кружевами, спускавшимися длинным воротником на грудь и на плечи; на этих кружевах сверкал крупными бриллиантами большой крест на толстой золотой цепи; на голове у примаса надет был особый род скуфьи, напоминающей формой своей древнюю первосвященническую шапочку; шлейф его мантии несли четыре крилошанина, одетые в белоснежные одежды.

При появлении примаса в зале раздался массовый шорох; вся публика почтительно встала и склонила головы. Его яснопревелебная мосць благословил с эстрады торжественно всех и, поддерживаемый под руки государственными канцлерами, сошел величаво по ступеням в зал и занял свое первое кресло.

Ударил сеймовой маршалок еще три раза в щит, и вслед за тем появился наконец в правых дверях и король польский Владислав IV. Он был одет в национальный

---

* Примас — перший, найстарший.

пышный костюм; на несколько обрюзгшем лице его видна была усталость и тупая приниженность; только глаза его, не утратившие огня, сверкали иногда затаенною злобой.

Вся публика и на хорах, и в зале приветствовала своего короля дружным криком: «Vivat!», «Нех жые!» Король поклонился на три стороны и уселся на трон; за ним стал королевский почт, так называемые дворяне. С трона уже его наияснейшая милость объявил заседание сейма открытым.

В зале и на хорах все смолкло. Встал великий государственный канцлер Юрий Оссолинский и объявил, что на сегодняшнее заседание назначены к слушанию следующие дела: суплика * киевского митрополита Петра Могилы о невозвращении униатскими монастырями и церквами захваченного у храмов греческого закона имущества, а также и о правильном распределении между ними маетностей; суплика козацкой старшины о недопущении в пределах козацких и запорожских владений постоев и выдеркафов [26], а равно и о недопущении в этих старожитных владениях земельных захватов ни для приватных лиц, ни для староств; затем рассмотрение вопроса об увеличении и о правильном поступлении государственных доходов.

Оссолинский не успел сесть на свое место, как по зале пронесся сдержанный ропот, словно раскат отдаленного грома.

Маршалок пригласил через возного в зал заседания посла из Киева Сильвестра Коссова [27].

Вошел в монашеской черной одежде не старый еще чернец; темно-каштановая борода его начинала лишь серебриться, из-под клобука смело смотрели искристые, выразительные глаза, на благородном лице лежал несомненный отпечаток ума. Неторопливо, с достоинством, прошел киевский посол между скамьями и остановился у эстрады, отвесив низкий поклон королю, сенаторам и всем ясновельможным послам.

Поднялся Сапега и заявил официальным тоном, торжественно:

— Посол его ясновельможности киевского митрополита Петра Могилы, изложи перед его королевскою

---

* Суплика — скарга, прохання.

милостью и благороднейшим законодательным собранием свои жалобы и суплики!

— Наияснейший король, наиласкавейший пан наш, и вы, ясноосвецоные сенаторы, и вы, ясновельможные послы! — поклонился на три стороны Коссов.— Много горя и кривд претерпела бедная Русь за панунанья приснопамятного отца его королевской милости Жигимонта,— да простит мне на слове король,— много слез она пролила лишь за то, что осталась верна послушанию своим исконным патриархам, что не впала от прелести мирския в соблазн. Великое слово «уния», поднятое во имя высокой, миротворной любви, во имя единения уравновешенных в правах братьев, во имя света и истины, обратилось в темную силу деспотии, облаченную в нетерпимость и злобу, вооруженную насилием и грозой!

В зале поднялся гул бури и затих.

— Не в обиду светлейшему собранью говорю я,— возвышал между тем голос именитый чернец,— но я улавливаю в глубинах оскорбленной души смиренно слова и молю господа сил, чтобы он открыл ваши благородные сердца для восприятия правды. Не только утесненные и гонимые братья признали в этой пресловутой унии не родную мать, а злобствующую мачеху, но и святой костел в ней ошибся и взглянул на нее лишь как на переходную ступень.

— Veritas *,— прервал Коссова епископ Лещинский,— истина покоится у стоп святейшего папы.

Вслед за фразой епископа раздался в зале налетевшим прибоем шум, в котором послышались злобные возгласы: «Опять схизматы? Опять хлопская вера? Пора с ней покончить!»

Маршалок ударил в щит; король встал и заметил собранию:

— Достоинство великой державы затемняется этими криками нетерпимости. Представители свободы должны чтить свободное слово и бороться с ним равным оружием.

Пристыженные послы замолчали, но во взорах их не улеглась ненависть, а заиграла мрачным огнем.

— Высокородные вершители наших судеб,— заговорил снова Коссов,— вы изрекли сейчас на нас, верных,

* Правда *(лат.)*.

унизительное и оскорбительное слово хулы, и этим словом наделила нас братски уния, но оставим ее ласку, а припомним себе, яснейшие можновладцы, ее деяния: наш знаменитый древнейший народ русский, утвержденный в своих исконных правах их милостью польско-литовскими королями, жил в мире и единении со своими собратьями и оказал много услуг общей нашей отчизне, дорогой Речи Посполитой; но царю царей угодно было испытать крепость нашего духа, и он, как во дни египетских бедствий, отвратил десницу свою от нас и допустил пекельнику *, прикрывшемуся ризою божественной любви, воцариться в окаменевших сердцах, и наступила вместо света тьма, вместо истины бедоносная кривда! Бенефиции ** на киевскую митрополию, епархии *** и архимандрии **** начали раздаваться не нашим пастырям, а людям сторонним, враждебным нам униатам; мещане, состоявшие в послушании константинопольского патриарха, устранялись от магистрата и лишались права вступать в ремесленные цехи; православные церкви отдавались насильно униатам, имущества церковные, земли и маетности монастырей греческого исповедания отбирались гвалтом, невинные люди томились в смрадных темницах и несли свои неподкупные сердца на страдания; достойная уважения русская шляхта устранялась от общественных должностей... Латино-униатские власти, усматривая в православных школах рассадники для питания схизмы, урезывали их права и привилеи, низводили до ничтожного значения и уничтожали вконец... Отняв у нас благолепные храмы, утеснители запрещали нам молиться триипостасному богу даже в палатках, а у детей наших отнимали возможность просветлять знанием свои души, обрекая их або на пекельную тьму, або на отраву сердец в иезуитских коллегиях... и мы могли тогда с псалмопевцем громко взывать: «Уничижены ныне мы более всех живущих на лоне земли; мы не имеем ни князя, ни вождя, ни пророка, ни всесожжения, ни жертв, которыми бы могли умилостивить тебя, боже... Только сокрушенным и смиренным сердцем возносим к тебе мы мольбы: услыши в небесах наши стоны, увиждь

* Пекельник — житель пекла, чорт.
** Бенефиции — церковні маєтності.
*** Епархия — церковна округа.
**** Архимандрия — маєтність монастиря.

наши рыдания!» — Коссов вздохнул глубоко и смолк на минуту; по зале пронесся тихий шепот, подобный шелесту леса, когда на него налетит дыхание ветра, но что означал он — проснувшееся ли сочувствие к словам чернеца или сдержанный порыв набегающей бури,— трудно было решить.

— Да, были уничтожены, ходили в египетской тьме, ожидая вотще сияния солнца правды,— продолжал митрополичий посол,— и испытующий бог, источник неизреченного милосердия, обратил на нас всевидящее око и повелел блистательному светилу восстать; в лице твоем, пресветлый и наияснейший король, взошло это солнце; оно осветило возлюбленных детей, отверженных пасынков светом и согрело наши сердца. У подножия трона твоего *мы сложили тогда свои раны,* моля об исцелении их... Подвигнутый богом, ты подъял на доброе дело и сердца благороднейшей шляхты: высокие соправители рассмотрели под твоим ласковым взглядом наши скарги и просьбы и признали их законными, закрепив pacta conventa [28], выданным нам *дипломом,* и тогда воскликнули все мы в избытке братской любви, от полноты умиротворенных сердец: «Сей день, его же сотвори господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!»

От верхних галерей до сенаторских кресел пронесся снова в зале едва сдерживаемый недовольный шепот и улегся. Речь Коссова производила впечатление и волновала различными чувствами всю толпу.

— Возвеселился каждый из нас под смоковницею своей,— говорил взволнованным голосом Коссов,— раздался радостный благовест в Русской земле, и воскурились в храмах божиих фимиамы. С умиленными сердцами в благодарных слезах повергլись мы пред престолом всевышнего, и тогда зрела в наших душах святая, великая уния братской любви, о которой молилась и молится наша церковь, а посрамленный пекельник со своею злобой и завистью должен был бежать в преисподния... Но судьбы божии неисповедимы! С мрачных бездн поднялись снова черные тучи и закрыли от нас наияснейшего защитника, наше солнце. Сорвались с цепей сатанинские силы и начали снова сеять в сердцах наших братьев злобу и ненависть... Вооружившись наущениями латинов и гвалтом, братья подняли снова на наши святыни дерзновенную руку, потоптали pacta conventa и повергли весь

край в плач и стенание; если прежде был к нам не ласков закон, то теперь стало лютым к нам беззаконие! Можновладные паны смеются над pacta conventa и нарушают все наши права: отдали вместе со своими маетностями и наши церкви в аренду, а презренный иудей своими нечистыми руками прикоснулся к святая святых и издевается над паствою сына великого христианского бога! Подъяремное стадо господне приравнено угнетателями ко псам; дети растут без святого крещения, отроки — без науки, юнцы и юницы вступают в брак без молитвы, старцы умирают без сакраменту *, тела усопших зарываются без погребения... Окровавленная, истерзанная, униженная Русь простирает к тебе, помазанник божий, и к сиятельным и ясновельможным соправителям свои руки в цепях и молит последнею мольбой о сострадании к ней... Благороднейшие владыки, послы и князи! Преклоните сердца ваши к этому воплю вдовицы, да не свершится сказанное пророком: «И слезы их обратишася в камни и стрелы, а стенанья — в огонь...»

Коссов смолк. Занемела и посольская изба, подавленная впечатлением речи. Глубоко растроганный король не мог скрыть своего смущения. Два-три сенатора и посла из православных утирали украдкой глаза...

XXI

Поднялся со своего кресла епископ Лещинский:

— Напрасно ты, велебный отче и мнише **, упоминал здесь о старых непогамованных спорах. Поднятые на конвакационном сейме претензии и вами, и вашими братчиками, темными, непросвещенными людьми, вторгающимися дерзновенно в религийные вопросы и в дела иерархии,— были по всем пунктам разбиты, как известно всей правоверной благороднейшей шляхте, епископом Рутским [29]; он доказал досконально и кривду ваших схизматических отличий, и неосновательность ваших домогательств, и ложь ваших основ, на которых вы опи-

---

* Сакрамент — причастя.

** Мнише — клична форма від слова «мніх», тобто монах, чернець.

рали фальшивые права... На что лучше, ваш бывший единомышленник, одаренный богом, Мелетий Смотрицкий [30], написавший сначала, в горячности молодого духа, свой «Плач», и тот, пришедши в мужественный разум, отшатнулся от вас, будучи не в силах побороть вашей закоренелости, и перешел в благочестивую унию... Если на конвакационном сейме вследствие вашего опора вынуждены были дать обещание некоторых уступок, то из этого еще не следует, чтоб святой костел и благородное рыцарство унизились до исполнения этого обещания и до удовлетворения возмутительных ваших требований... и, кроме сего, церковь выше государства...

— Не уступать, ничего не уступать схизматам! — сказал кто-то громко в одном конце залы.

— Скорей костьми ляжем! — подхватил и пан Яблоновский, бросивши умильный взгляд на ближайшую галерею.

Ударил маршалок в щиты. Все опять смолкли, но слабые отголоски ропота вырывались еще то там, то сям.

— Все ваши настоящие жалобы,— продолжал епископ,— тоже преувеличены. Вы передаете про какие-то насилия, черпая сведения из баек, россказней хлопов, а о своих насилиях умалчиваете. Кто умертвил почтенного Кунцевича? [31] Кто утопил в Днепре униатских мучеников-ксендзов? Кто разорил кляштор под Винницей? Наконец, и ваш яснопревелебный владыка Могила не гнушается наездов и разбоев [32]. И прежний митрополит Исаия Копинский изгнан им гвалтом, и униатский собор св. Софии отнят оружием [33], и отбираются наши имущества mano armato *, и насаждаются бесправно коллегии и школы. Какие же это слезы проливает ваша схизматская церковь? Лукавые, злобные слезы, облекаемые еще в угрозу!..

В зале поднялся страшный шум.

— Никаких потачек схизматам! — кричал, бряцая саблей, Чарнецкий.— А ни пяди! Эта хлопская вера должна быть уничтожена! Какие еще претензии? Слышите, панове? Его величество слишком с быдлом уступчиво... и какое их право? Земля ведь, ясновельможные рыцари, наша; значит, и все, что на ней построено — церковь ли, хлев ли,— все наше... а с своей властности

---

* Збройною рукою (*лат.*).

я имею право брать доходы, как знаю. Если там надоест им какой жидок, так заплати ему, а не лезь беспокоить вздором ясновельможных послов!

— Пан полковник говорит правду! — вопил Цыбулевич, побагровевши от натуги как бурак.

— Огнем и мечем их! — стучал креслом князь Вишневецкий.

— Прошу слова! — поднял руку пан Радзиевский.

— И я прошу слова, яснейший маршалок! — приподнялся Кисель.

— Слова, слова! — раздалось в конце залы.

— К чему? Какое там слово? Ясно все! Отказать! — раздавались со всех сторон голоса и сливались в какой-то порывистый, беспорядочный гул.

Маршалок давно уже звонил в свои щиты, но за шумом они были мало слышны; наконец он так забарабанил в них, что весь зал наполнился оглушительным звяком и заставил расходившееся рыцарство присмиреть.

— Наияснейший король наш и сиятельные рыцари! — поклонился Кисель и поправил на себе оружие.

— Кто, кто говорит? — толкал пан Яблоновский своего соседа.

— Брацлавский воевода.

— Схизмат, кажется?

— Схизмат, схизмат! Не понимаю, как его допустили сюда, — ерзал сосед по скамье, передавая свои замечания направо и налево.

— Шановнейшие и блистательные послы! — обвел глазами Кисель все собрание. — Одному бею, окруженному верными рабами и твердынями, в которых хранились его несметные богатства, приснился знаменательный сон: стоит будто он, бей, на крыше главной башни и видит, что с востока и запада подступают к его твердыне враги; устрашенный грозною толпою и блеском оружия, бей призывает своих верных рабов и говорит им: «Обступают мою твердыню враги, но стены ее крепки и вы многочисленны, взываю к вашей доблести и храбрости: защитите господина своего и его богатства, и я награжу вас». Засмеялись на это рабы, а дозорца их, седовласый старец, ему ответил: «Напрасно взываешь ты к нашей доблести — нет ее у рабов; неволя убила в нас все благородные чувства; она стремилась

насилием обратить нас в подъяремных волов, а какая же корысть волам защищать держащего ярмо и бич утеснителя? Они, при первой возможности, бросят его и уйдут от плугов».— «Но ведь это преступно,— возопил господин,— бог вас накажет за такую измену!»—«Какой у нас бог? — возразил ему на то старец. — Ты нас заставил молиться своему богу, благословляющему неволю, а неволя для всякого горше смерти, так и не рассчитывай, господине, на наши сердца!» — «Нам выгоднее даже убить тебя и поделить между собой твои сокровища!» — закричали рабы, приступив к господину своему, и, несмотря на мольбы, вонзили ему в грудь холодную сталь. Проснулся измученный бей и на другой день отпустил всех рабов своих на свободу, а чтобы стада его и пажити не остались без рук, то он бывших рабов сделал участниками в доходах своих обширных владений, дозволив всякому поклоняться по своей совести богу. И удвоились его доходы от свободной, неподъяремной работы, и воцарилось в его владениях счастье, и приковались любовью к нему сердца. Тогда воскликнул насадивший добро в земле своей бей: «Благодарю тебя, боже, за ниспосланный сон! Теперь мне не нужно ни муров, ни твердынь, ибо я из сердец моих подданных создал несокрушимую заслону»... И бей спокойно стал спать не за железом дверей, а в намете, среди благословляющих его дни поселян... Братие, сиятельные столбы отчизны! Воззрите на этого бея и создайте из преданных сердец силу и славу для великой нашей державы! Меня назвали здесь схизматом. Да, я, панове, схизмат, я не изменил вере моих отцов, но я люблю мою Польшу, мою дорогую отчизну, больше, чем вы! За ее беды болит мое сердце, для ее блага я отдам последнюю кровь!

Взволнованный воевода отер набежавшие слезы и прервал на мгновение речь. В зале царило молчание, но в нем чуялось скорее что-то недоброе.

— Да,— снова начал Кисель,— все эти народные волнения, и слезы, и стоны — тоже знаменательные сны, ниспосылаемые нам провидением. Взойдите на башни свои и оглянитесь: кругом нашу отчизну обступают враги: с севера напирают на нас, за наше гостеприимство, пруссы и шведы, с востока сторожит нас усиливающаяся Москва, с запада подрываются немцы, а с юга терзают

наш край поганые татары и турки. Опомнимся, благородные рыцари, усмирим в сердцах наших злобу, насажденную сынами Лойолы[34], разломаем железо неволи, и пусть всякий в свободной Речи Посполитой свободно славит милосердного бога, пусть на знамени нашем будут начертаны слова: «Правда и воля», и тогда с таким лозунгом нам не будут страшны никакие враги, а, напротив, мы понесем его на науку целому свету!

— Хорошо сказано! Молодец пан воевода! — раздались одиноко три-четыре одобрительных голоса в зале, но вся посольская изба заволновалась негодующим гомоном.

— В воеводской байке,— поднялся с места князь Вишневецкий, сверкнув на Киселя высокомерным ненавистным взглядом,— этот бей чистый дурак: держал рабов и не удержал благородных рыцарей для защиты своих владений! Раб всегда подл и неверен; он и создан богом лишь для канчуков, для работы. Какой же галган * может ждать от него доблестных подвигов? Для них только и существует шляхетское сословие, а не быдло!

— Кроме сего,— добавил епископ Лещинский,— сказано: «Рабы, господиям своим повинуйтеся».

— Сказано также,— поднялся с места высокий и худощавый, с добрыми близорукими голубыми глазами, известный ученый пан Остророг,— сказано также,— повторил он: «Господие, любите рабов своих, ибо и они созданы, как и вы, по образу божию и по подобию». Что же касается возражения князя, то я отвечу на это: правда, бею нужно было держать и наемных рыцарей для своей защиты и для смирения рабов, но нужно и то помнить, что в рабских владениях рабы составляют самый многочисленный класс,— иначе нечего будет есть ни рыцарям, ни панам,— и в годины бедствий и нападения внешних врагов, они, рабы, решают судьбу державы; припомните, княже, Рим! [35]

— О, sancta mater! ** — воздел руки горе блаженнейший примас.

— Диссидентские *** рассуждения! — бросил презри-

---

* Галган — негідник.

** Свята матір! *(Лат.)*

*** Дисидентами називали некатоликів (православних, протестантів і т. п.).

тельно Остророгу Иеремия.— Во-первых, медь и сталь рыцарей сразит тысячи этого безоружного быдла!

— Долой диссидентов! — раздалось с галереи.

— Не нужно примирения с ними! — подхватили в задних рядах.

— Схизматы и диссиденты — это наши страшные язвы! — взвизгнул даже Чарнецкий. — Если их трудно лечить, то поступить с ними по писанию: «Лучше бо есть, да погибнет един от членов твоих, а не все тело!»

— Святая истина! — вздохнул епископ Лещинский.

— Fiat in secula seculorum! * — поддержал его примас.

— Не надо уступок! Не позволим! — раздались смелее со всех сторон голоса.

— Долой схизматов и диссидентов! — махал рукой Яблоновский.

— Долой, к дяблам их! — уже заревела в ответ толпа и в зале, и на галереях.

Король встал, но разгоревшиеся дикою страстью послы не обращали на него внимания.

— Слово его крулевской мосци! Слово его величества наияснейшего короля! — вопил и бил в щиты пан маршалок, пока удалось ему осилить мятежные крики толпы.

— Благородное и высокочтимое рыцарство! — начал король дрожащим, взволнованным голосом.— Бог христианский есть бог любви и всепрощения, призывающий к себе всех труждающихся и обремененных. Как же мы дерзнем назвать себя сынами и служителями этой любви, если руки наши будут обагрены кровью насилия, если не любовь будет руководить нами, а ненависть? Но, кроме сего, мы властию, данною свободным выборам свободной державы и освященною господом богом, заручeнные согласием именитой шляхты, мы утвердили pacta conventa; в них ясно указаны и права диссидентов, и права лиц греческого исповедания. Нарушение этих прав есть нарушение достоинства великой державы и оскорбительное отношение к моей воле державной, а равно и к вашей законодательной.

---

* На віки вічні! *(Лат.)*

Пронесся по зале неодобрительный шепот, но большинство было несколько смущено.

— Святая наша католическая церковь, — заметил после долгой паузы королю примас,— и действует именно во имя этой божественной любви, во имя спасения душ заблудшего стада овец... Она желает направить их на путь истины...

— Лишением человеческих прав? Огнем и железом? — спросил раздраженно король.

— Хотя бы и наказаниями... Нельзя же обвинять родителей, если они наказуют неразумных детей, желая утвердить их на стезях правды. Ведь в этом случае руководить родителями будет, очевидно, любовь, а не ненависть.

— Великую истину изрек блаженнейший отец наш архибискуп,— встал с кресла Радзивилл, брат министра,— но, кроме сего, человеческие законы не вечны; для того и существуют наши сеймы, чтоб их рассматривать, умалять, уничтожать или вновь восстановлять по усмотрению сейма.

— Наияснейший король слишком мягок,— заметил кто-то ехидно.

— Да и при том еще нужно проверить,— резко заметил Иеремия,— и претензии, и дикие требования!

— Разделяю мнение князя,— наклонил в его сторону голову примас.

Огорченный и оскорбленный насмешками, король едва сидел на своем кресле. По его бледному лицу пробегали молниями болезненные впечатления; на щеках то вспыхивали, то потухали багровые пятна; глаза то сверкали благородным негодованием, то наполнялись горькою слезой.

Государственный канцлер Оссолинский подошел к нему и, перекинувшись несколькими словами, объявил собранию:

— Наияснейший король полагает, что для выяснения и оценки требований митрополита киевского Петра Могилы, а равно и для разбора его скарг, нужно учредить особую комиссию.

— Комиссию, комиссию! — обрадовались послы, что могут сбыть с рук этот назойливый и ненавистный вопрос.

— Згода, згода! — загудели со всех сторон.

— Только из верных лиц! — раздался в поднявшемся шуме резкий выкрик Чарнецкого.

— Его величество обсудит беспристрастно их выбор, — пояснил канцлер и объявил перерыв заседания.

XXII

После небольшого промежутка времени заседание сейма возобновилось. Без всяких почти пререканий утверждена была комиссия, и сеймовый маршалок через возного пригласил в залу уполномоченного козаками старшину.

Вошли в посольскую избу и остановились перед эстрадой полковник Ильяш Караимович, типичный армянин,— смуглый брюнет с орлиным носом и хитрыми, бегающими глазами; сотник Нестеренко—добродушнейшая и несколько мешковатая фигура и войсковой писарь Богдан Хмельницкий [36]; все они были одеты в парадную форменную одежду рейстровых козаков с клейнодами занимаемых должностей: полковник с перначем, писарь с чернильницею, сотник с китицей. Вслед за козаками вошел в зал и подстароста чигиринский Чаплинский; он, поздоровавшись со знакомыми послами, поместился на задней скамье.

Одно уже появление козаков вызвало у сиятельной и ясновельможной шляхты злобный шепот, перешедший на галереях в бранные даже приветствия. Маршалок ударил в щиты и предложил козакам изложить перед королем и блистательным сеймом свои жалобы.

Выступил на шаг вперед полковник Ильяш и, отвесив королю, сенаторам и послам по низкому поклону, начал свою речь слащаво-униженным тоном:

— Ваше величество, наимилостивейший и наияснейший король, благороднейшие, сиятельные сенаторы, ясновельможные послы и высокопревелебнейший во Христе отец наш! Еще блаженной памяти великие князья литовские утвердили за русскими свободными сословиями, на отбывание войсковой справы, русские земли. Потом, когда Литва слилась с Польшей в одну Корону, то в акте о том сказано, что Русь соединяется с Польшей, как равная с равной, как свободная со свободной...

— Что это вздумал пан читать нам историю, что ли? — прервал его надменно князь Вишневецкий.

— Пусть пан изложит лишь суть своих скарг,— добавил Сапега.

— Однако же, ваши княжьи мосци,— отозвался Радзиевский,— неудобно прерывать речь уполномоченных...

— Без наставлений, пане,— повернулся нервно Иеремия.

— Да и надоели нам эти байки,— заметил резко Чарнецкий,— пора по домам!

По скамьям пробежал негодующий гомон.

— Продолжай, пане,— ударил в щиты маршалок.

Сконфуженный Ильяш стоял, раскрасневшись, и теребил свои усы, да утирал выступивший на лбу пот.

— Ой не ждать добра! — шепнул Нестеренко Богдану, переминаясь с ноги на ногу.

Тот повел плечом и взглянул с затаенною злобой и на это блистательное собрание королят-можновладцев, и на самого Ильяша, что таким неудачным началом подал повод к пререканиям.

— Мы, нижайшие подножки его королевской милости и верные слуги Речи Посполитой,— начал снова Ильяш,— имели привилегии и права от королей польских, блаженной памяти Жигмунта-Августа, Стефана Батория и наияснейшего небижчика, отца его королевской милости, Жигмунта III [37], по которым владели своими грунтами вольно, занимали их, отписывали, продавали, и никто в наши права земельные не вступал и не ломал их, ибо мы, как рыцари и члены великой отчизны....

— Добрые члены! — засмеялся Цыбулевич.

— Такие же, как волосы и ногти,— добавил Чарнецкий,— что их нужно обрезывать.

— Хорошо сказано! — одобрил Яблоновский.

В зале раздался сдержанный хохот.

Богдан стоял видимо спокойный, но в душе у него кипело негодование... «Они и говорить не дают... издеваются... так на них ли надеяться? Эх, не жить, значит, нам на нашей родной земле!» — мелькали у него тоскливые мысли и волновали отравленную желчью кровь.

— Но мы проливали кровь...— возмутился насмеш-

кой Ильяш и поднял даже голос,— мы защищаем отчизну грудью от неверных татар...

— Защищаете? — прервал его вспыльчиво князь Вишневецкий.— И ты смеешь, пане-козаче, пред благородным рыцарством говорить такую ложь? Вы накликаете беды на нашу отчизну... это так! Своими разбоями раздражаете наших мирных соседей, и они из-за вас мстят набегами, а то грозят и войною, может быть, и желательной для некоторых высокопоставленных из личных расчетов, но во всяком случае убыточною и гибельною для страны.

— Правда, правда! — раздались голоса в зале.— Нас этой войной хотели взять в дыбы!

Король побледнел... Он начал тяжело дышать и в нервном раздражении тер свои руки. Оссолинский взглянул на Потоцкого, но тот опустил глаза.

— Да чью они проливали кровь? — возмутился и Криштоф Радзивилл.— Нашу, по большей части нашу! Вспомни, козаче, Яна Подкову, Косинского, Наливайка, Лободу, Сулиму, Павлюка, Тараса Трясилу, Остряницу и Гуню! [38] Разве это были не бунтари-шельмы, поднимавшие оружие против своей же отчизны? Они понесли достойную кару, но пролили свою кровь за измену!

— Измена и вероломство,— добавил епископ Лещинский,— сидят в их схизматской крови; у них только и помыслов, чтобы оторваться от великой и славной католической державы и предаться московским царям; с ними они ведут постоянно сношения и тайную переписку...

«Да, другого спасенья нет!» — подумал Богдан и заволновался.

— Изменники! Быдло! — послышались в глубине галереи отрывочные фразы.

— Не изменники мы, благородное рыцарство,— заговорил вдруг неожиданно Богдан; он не мог стерпеть незаслуженного оскорбления и загорелся благородным гневом,— не изменники мы, а вернейшие слуги наияснейшего короля, батька нашого и матери Речи Посполитой; ни против его священнейшей особы, ни против дорогой нашей общей отчизны никто из русских людей не поднимал оружия. Если же и находились меж славным козачеством буйные головы, каким невтерпеж было сносить утиски, кривды, обиды, если они дерзали оружием защищать свои поруганные права, то это случалось в

минуты отчаяния, да и при щыром убеждении, что права их нарушал не милостивейший король и не закон, а произвол лиц, не чтущих ни верховной власти, ни закона. Не изменники мы,— возвысил голос Богдан, желая покрыть поднявшийся в различных местах шум,— а верные слуги богу, закону и Короне; во многих битвах доказали мы, что умеем хранить честь меча и класть головы за отчизну!

Богдан смолк; но и поднявшиеся было крики тоже утихли: очевидно, его пламенное слово произвело, хотя на время, некоторое впечатление.

— Закон и воля всеславного сейма ненарушимы,— отозвался после небольшой паузы примас королевства,— а посему действительно могущество их так велико, что не допускает раздражения, а требует спокойного, беспристрастного, но вместе с тем и беспощадного, во имя высшего блага, решения. В чем же заключаются козачьи скарги и просьбы?

— Но кратко, без витийств! — взглянул маршалок на Ильяша.

Полковник снова смутился и, помявшись на месте, взглянул было на Богдана, словно прося, чтобы тот его выручил, но Богдан, погруженный в самого себя, этого не заметил.

— Ваше королевское величество и ясноосвецоное панство,— начал в третий раз полковник,— за вины немногих мы были многократно караемы все; наконец на Масловом Ставу нам объявили приговор, почти смертный. Заплакали мы и смиренно покорились своей участи. Прошло несколько лет тяжелого угнетения. Мы молча корились своей доле и исполняли веления наших владык. Наконец его королевская милость, видя наше усердие и смиренье, по неизреченному милосердию, смягчил нашу кару. Но поставленные старшие не только не внимают новой королевской милости, а удручают еще различными поборами прежнюю долю; они допустили у нас обременительные постои, а наигорше всего — староства начали приписывать к себе наши пустопорожние войсковые земли, а наезжающие в наши края, на дарованные королевщины, вельможные паны стали отнимать у нас даже населенные участки, производя гвалт и грабеж. Так мы вот, от имени всего козачества и запорожского войска, бьем челом тебе, наияснейший король, и

вам, милостивые, сиятельные рыцари, и молим слезно оградить как наши земли и имущества от разграблений, так и наши семьи от постоя, а равно молим возвратить нам наши прежние исконные права [39]. Мы же за вас и за нашу отчизну головы с радостью положим!

Кончил Ильяш и облегченно вздохнул, но не успел он еще вытереть лба и поправить чуприны, как поднялся с кресла князь Вишневецкий и заявил резким, презрительным голосом:

— Все это ложь! Все это врут козаки! Пустопорожние земли составляют власность государства и идут или на образование и пополнение староств, или на королевщины, которыми могут наделяться лишь лица шляхетского звания. Это, конечно, всему благородному рыцарству известно, да, полагаю, что и им, козачью, не должно быть новостью. Постои необходимы, иначе коронному войску пришлось бы валяться в грязи, в снегу, под небом. Что же касается гвалтов и разбоев, то я этому не верю... это новая ложь! Наезды — рыцарская потеха, но благородный шляхтич не унизится производить их над бесправными, над подножками! — выкрикнул Иеремия и сел.

— Ложь! Все ложь! — раздались в зале злобные восклицания.

— Гнать их! — кто-то крикнул на галерее измененным голосом.

— Satis! Довольно! — заорал Яблоновский и послал воздушный поцелуй наверх какой-то красотке.

— Что заселенные земли отнимаются разбойничьим способом, с гвалтом, поджогом, пролитием неповинной христианской крови,— заговорил Хмельницкий приподнятым тоном,— тому, ясное рыцарство, доказательством могу служить я! — поднял он с достоинством голову.— Я разорен, ограблен, опозорен подстаростой чигиринским без всякой вины, без всякого повода... за мою лишь, должно полагать, долголетнюю верную службу его величеству и отчизне.— Глаза у Богдана загорались негодованием, волнение подымало ему высоко грудь.— Бью челом тебе, наияснейший, наимилостивейший король, бью челом и вам, сиятельные паны сенаторы, и вам, славные рыцари, ясновельможные послы, прошу ласки, выслушать мои скорбные жалобы и восстановить своим высоким судом попранные права мои, поруганную правду.

У Богдана оборвался голос; в гру́ди у него что-то жгло и огнем разбегалось по жилам; в глазах стояли и расходились красные круги. Он склонил свою чубатую голову и ждал.

— Говори, мы слушаем тебя, войсковой писарь,— отозвался мягко король.

— Вашему величеству известно, что урочище при реке Тясмине подарено было за заслуги покойному моему отцу еще блаженной памяти зайшлым старостою чигиринским Даниловичем; потом дар этот подтвержден был мне вновь представившимся его милостью коронным гетманом и старостою чигиринским, ясновельможным паном Конецпольским; кроме сего, ваше величество, милостивейший король мой, изволили подарить мне все земли за Тясмином, на каковых была выстроена мною при реке мельница; на все это имеются и письменные доказательства, пакты,— вынул Богдан из кармана пачки бумаг.— Все эти земли находятся в нашем бесспорном владении более пятидесяти лет, так что даже они должны составлять мою неотъемлемую собственность. За полстолетия эти пустопорожние степи заселены подсусидками, обстроены, обработаны моею працею — трудом, моим по́том и моим коштом. И вот без всякого повода подстароста чигиринский, Данило Чаплинский, уполномачивает зятя своего, Комаровского, сделать на мои маетности и на мою семью наезд, и то когда? Когда я нахожусь в походе против татар, когда мы с старшим сыном Тимком несем свои головы на защиту отчизны!..

Богдан остановился, возраставшее волнение затрудняло ему речь. На побледневшем лице его агатом чернели глаза и лучились мрачным огнем; на ресницах дрожали сверкающие капли; по нервному вздрагиванию личных мускулов можно было судить, с какою болью и оторвались от сердца.

— Да, в отсутствие мое на одних беззащитных женщин и детей,— продолжал прерывистым, дрожащим голосом писарь,— напал Комаровский вооруженной рукой; он собрал для этого славного похода сотню благородной шляхты и две сотни подстаростинских слуг, сжег мельницу, весь ток, все мои хозяйские постройки и большую часть сельских хат, умертвил доблестно до сорока душ христиан, увез насильно жену мою к Чаплинскому, где она и теперь находится, похитил воспитанницу мою, еще

подростка, и, наконец,— захлебнулся почти Богдан,— зверски истерзал... убил... мое дитя родное... моего сына Андрея... мою...— закрыл он рукою глаза, но эта прорвавшаяся слабость была коротка: через мгновенье смотрел уже Богдан на собранье сухим, огненным взглядом. Потом он вручил сеймовому маршалку изложенную письменно свою жалобу и документы на землю. Маршалок передал сначала на рассмотрение бумаги эти королю, а потом сенаторам и спросил у Богдана, здесь ли находится ответчик?

— Здесь, ясновельможный пане,— отозвался с задних рядов Чаплинский и, в свою очередь, подошел к эстраде.

На заявление Криштофа Радзивилла, что благородные сенаторы с удовольствием ждут, чтобы шляхетский пан опроверг скарги этого козака, Чаплинский спокойно отвечал следующее:

— Прежде всего, пышное и сиятельное рыцарство, урочище Субботов составляет неотъемлемую часть земель Чигиринского староства. Новому старосте, сыну покойного гетмана, не было никакого дела до пожизненных распоряжений своих предшественников, и он, убедясь в зловредных для Речи Посполитой и для нашей свободы замыслах предстоящего здесь жалобщика Хмельницкого, не хотел продлить ему дара на субботовские земли и приказал Комаровскому присоединить их к старостинским владениям. Но так как челядь и поселяне хутора встретили распоряжения Комаровского вооруженным бунтом, то с ними и поступлено было, как с бунтовщиками, как везде с таковыми и следует поступать. Теперь это урочище подарено паном старостою... мне, вследствие чего я готов уплатить Хмельницкому за коней и за скот пятьдесят флоринов, а за прочие убытки он долголетними доходами вознагражден сторицею... Сына его Андрея за страшную брань и угрозы всему шляхетскому сословию зять мой велел действительно пану Ясинскому высечь, но змееныш бросился на него с кинжалом и нанес пощечину... Полагаю, высокопышное панство, что такого оскорбления от щенка никто бы из нас не стерпел, во всяком случае я тут не при чем. Что же касается воспитанницы и жены,— улыбнулся нахально Чаплинский,— то первая — простая хлопка, и если она воспитывалась козаком, то, конечно, для славы Эрота... Но ведь, кажется,

оплоту нашей ойчизны не предоставлено право держать рабынь,— подчеркивал язвительно свои слова пан Чаплинский, вызывая широкие улыбки на всех лицах и сенаторов, и послов,— то кто-то из полноправных рыцарей исправил это нарушение... Вторая же из сотницкого питомника красоток была ему не жена, а просто concubina *, и хотя пан сотник, для вящего порабощения дочери исконных польских магнатов, заставил беззащитную и поруганную панну отшатнуться от католической веры и принять схизму, но горлинка вырвалась из когтей коршуна и бросилась на грудь ко мне; так жаловаться на это можно лишь богине Венере, что она не по козачьему хотенью настроила струны сердца красавицы... Я с нею теперь и обвенчан по католическому обряду... Любопытно мне, на основании каких прав требует к себе козак свободную шляхетскую дочь, законную жену уродзоного пана?

Игривое настроение вельможного панства, вызванное речью Чаплинского, превратилось под конец ее в малосдержанный хохот.

— А я пана сотника одобряю,— потирал от удовольствия свои руки сосед Цыбулевича, разжиревший, почтенного возраста шляхтич,— гарем — это прелестная вещь, только за ним нужно зорче следить...

— В гаремах пан сотник изощрился еще во время турецкого плена,— засмеялся Цыбулевич.

— Да, там можно было на себе испытать и другие тонкости Востока, — захихикал, точно заскрипел, пан Чарнецкий.

В зале прокатился хохот и перелетел на галереи. Сенаторы заколыхались с достоинством в своих креслах. Епископы опустили глаза.

Маршалок, зажимая из приличия себе рот, ударил в щиты.

Побледневший, как полотно, Хмельницкий стоял камнем, пронизывая вызывающим взглядом это злорадствующее насилиям собрание, это сонмище законодателей, хохочущих и над своим законом, и над правами человека; в руке Богдана скрипела от сильного сжатия рукоятка сабли; в душе его зрела страшная мысль, исполненная злобы и мести.

---

* Коханка *(лат.)*.

— Но, панове,— поднялся князь Заславский,— жалоба пана писаря серьезна, и к ней нужно отнестись серьезно, а не шутя: факт этот не отрицается и противною стороной, значит, насилие, разорение, грабеж, кровопролитие совершены, а возражения пана Чаплинского пока голословны и не доказаны...

— Разделяю вполне мнение почтенного князя,— возвысил голос и Остророг.

Смех и двусмысленные остроты притихли. Чаплинский, взглянувши надменно в сторону этих защитников быдла, передал свои бумаги тоже в руки маршалка.

XXIII

Сенаторы начали пересматривать документы и передавать их вместе со своими мнениями друг другу.

Наконец поднялся с кресла Криштоф Радзивилл и объявил торжественно резолюцию:

— «Из представленных обеими сторонами документов видно, что урочище Субботов действительно принадлежит к старостинским землям, и хотя оно двумя старостами было даваемо в дар роду Хмельницких, но само собою разумеется, что этот дар был лишь предоставленным правом пожизненного владения, иначе эти записи были бы занесены в земские книги; но самое главное — паны старосты сами получают староства лишь в пожизненное владение и не имеют права, без согласия сейма,— возвысил Радзивилл голос,— отчуждать старостинских земель, а посему новый староста имел полное право отобрать их. Сопротивление же его воле было возмутительным бунтом, который справедливо погашен огнем и железом. За смерть сына пан писарь должен жаловаться в трибунал и не на пана Чаплинского, а на пана Ясинского, если сможет еще доказать вину его неопровержимо. Вознаграждение в сумме пятидесяти флоринов за убытки утверждается. А что же касается красоток, а особенно полужены, то сенат советует пану сотнику выбрать себе другую». Мало ли этого товара на свете?

Оглушительный взрыв хохота покрыл слова князя. Крики: «Згода, згода! Виват!» — загремели со всех сторон.

— Не жалей, пане, о прежней вероломной красави-

це,— покатывался на скамье Яблоновский,— что переменила тебя на другого: старое ведь приедается.

На галерее даже заржал кто-то от удовольствия.

У Богдана налились кровью глаза. Все едкие, жгучие чувства: и оскорбление, и ревность, и бешенство, и жажда мести — слились в его груди в какой-то адский огонь, который пепелил ему сердце, жег мозг. Богданом овладевало бешенство, исступление; ему казалось, что вся эта зала залита кровью, что в ней барахтаются и гогочут чудовища, исчадия ада, ехидны с жалами скорпионов. «О, истребить их, утопить в этой крови, задавить хохот!» — проносилось ураганом в его мозгу и сметало все мысли, все ощущения в один звук, в один стон: «Месть, месть до смерти!»

— Слова, слова! Ясновельможное панство! — резко крикнул пан Радзиевский и усмирил своим зычным голосом разнузданное гоготанье.— Высокочтимый сенат забыл в своей резолюции о подаренных его величеством землях, не принадлежавших никогда к староству и sine causa * к ним причисленных. Мне кажется, что этот пример именно подтверждает жалобы козаков о захвате их земель и частными личностями, и старостами. Потом челядь, запирающую ворота своего пана, и прячущихся баб вряд ли можно назвать вооруженным повстаньем.

— Так, так, ясновельможный пан,— не выдержал и заговорил Нестеренко,— ей-богу, правда; все наши козачьи предковские земли грабят... Жалуемся своим старшим — и нет рады... Наш пресветлый, наияснейший король дал нам новые привилеи-льготы, а им до них и дела нет!

— О каких это новых привилеях заговорил козак? — вскрикнул пронзительно Вишневецкий.— Я не помню, панове, чтоб мы давали какие-либо привилеи тому сословию, которого и существование признано всеми вредным.

— Не давали! Никто не давал! Это они лгут! — раздались со всех сторон возгласы.

— Чтоб я дал им какие-либо льготы, да убей меня, Перун! — ударил себя в грудь Цыбулевич.

— Гром и молния! — бряцнул саблей Чарнецкий.

---

* Без підстави (*лат.*).

— Слова, пышне панство, слова! — встал Остророг и замахал рукой.— Быть не может, чтобы козаки осмелились перед лицом сейма говорить комплетную ложь. Относительно привилей нам могут сообщить великие коронные канцлеры... особенно литовский, так как у него на руках хранятся государственные печати.

— Верно, верно! Князь Альбрехт должен знать... Пусть ответит! — загалдели кругом.

— Я, панове, своей печати ни большой, ни малой,— ответил Радзивилл,— ни к каким привилеям не прикладывал, а слыхал от моего товарища, что его милость король дал какие-то частные облегчения... или обещания, вероятно, на ходатайство за них в будущем,— цедил и подчеркивал он слова.

— Его королевское величество,— пояснил Оссолинский,— на основании права раздачи земельных участков дал за своею печатью личные льготы.

— Ну, это прямое нарушение наших прав, это узурпация его королевским величеством власти! — встал князь Вишневецкий.— Нанимаются чужеземные войска, вербуются свои, выдаются за личной королевской печатью приповедные листы, ведутся сношения с иностранными державами, подготовляется губительная война, и все это помимо нашей воли, помимо даже нашего ведения, с полным нарушением конституции и прав Речи Посполитой... Теперь еще нам преподносится новый подарок — раздаются без нашего хотя бы совета земли королевщины лицам не шляхетского происхождения, утверждаются личною, а не государственною печатью новые сословные права... Одним словом, ваше королевское величество и благороднейшие послы, во всем этом видно не только желание, но и прямое действие, factum, клонящееся к уничтожению республики и к воцарению деспотии...

По скамьям пронесся угрожающий ропот.

Король вздрогнул и сделал конвульсивное движение, словно почувствовал в своем сердце смертельное жало. На посиневшем лице его отразилась ужасная боль и нестерпимые страдания; он силился приподняться со своего трона, но ноги подкашивались, и он снова садился.

— Если его наияснейшая милость,— заметил с едкою усмешкой князь Любомирский,— желает самолично вер-

шить в государстве дело, то пусть сам и соизволит изыскивать средства для уплаты жалованья войскам и своему штату, да и вообще на все государственные расходы, а мы, панове, ни из своих дидочных владений, ни из старостинских на чуждые и враждебные нам прихоти не дадим ни гроша и будем себе спокойно сидеть в своих палацах, весело бавить час да следить за находчивостью и изобретательностью Короны.

В зале поднялся шум. В разных концах ее заговорили все разом:

— Отлично сказано! — одобрил кто-то.

— Виват князю! — донеслось с галереи.

— Совершенная правда! — заключил Цыбулевич.— Нам и сейчас по домам пора. Чего тут сидеть? Без нас начали, пусть без нас и кончают!

— По домам! — загудело панство, и многие начали было уже выходить, но, заметя, что король бледный, взволнованный, хватаясь то за одну, то за другую ручку трона, привстал, наконец, и сделал жест рукою, остановились. К королю торопливо подошли оба канцлера; остальные министры приподнялись с мест. Маршалок ударил в щиты, и в зале сразу смолк шум, замер до гробового молчания...

— Вельможное панство! — начал король, задыхаясь, произнося с трудом и порывисто слова; в его напряженном голосе слышалось какое-то клокотанье.— Вступая на престол, я клялся всевышнему богу посвятить всю жизнь на счастье и благо дорогой моей ойчизны, на умиротворение ее внутреннего разлада, на укрепление ее внешней силы, на утверждение величия ее среди грозных соседей... и да карает меня сердцевидец, если я в чем изменил своей клятве! Все соседние державы организуют, усиливают войска... Турция стремится к порабощению всего христианского мира, громит Кандию, Венецию, угрожает нам, требует от нас дани и подчинения... а в нашей великой Речи Посполитой нет войск, нет арматы. Надворные команды благородного рыцарства составляют раздробленные части, не слитые в одно целое. Кварцяные войска ничтожны. Посполитое рушенье не дисциплинировано и не обучено... Мы потому и хлопотали за войска, чтобы отстоять достоинство вверенной мне богом державы, но если... представители ее... согласились лучше... платить позорную дань, терпеть униже-

ния от неверных, то я... в том не повинен! — говорил король, возбуждаясь с каждым мгновеньем больше и больше.— Во имя правды, мы дали права и другим вероисповеданиям, чтобы водворить у нас внутренний мир и равноправие, которые только и дают мощь государству, но если представители одного вероисповедания желают поднять домашний ад и буйство, насилия, злобы, то я... в том не повинен! — ухватился он судорожно рукою за горло и передохнул громко несколько раз.— Поднимавшиеся прежде козачьи бунты и то частные, возникавшие, по большей части, из нарушения новыми владельцами их прав или из религиозных притеснений, усмирялись нами кроваво, и виновники их несли жестокие казни... да, кроме сего, и права козачества каждый раз умалялись... Но долголетнее смирение их и покорность должны быть по справедливости поощрены, и мы признали за благо возвратить козакам некоторые права, за что они головы положили бы за нашу отчизну. Я знаю этих воинов. Я бился вместе с благородным рыцарством и с этими львами,— указал король на козаков,— да, львами,— почти вскрикнул он,— я об руку с ними шел, я видел, как они под Хотином и под Смоленском лезли в самый огонь, в самое пекло и грудью своей проламывали стены врагов. Но если именитые послы желают из своих верных слуг сделать непримиримых тайных врагов, то я в том не повинен,— вынул король дрожащими руками платок и приложил его несколько раз к бледному, покрытому холодным потом лицу.— Все предыдущие распоряжения наши,— начал он после паузы снова,— производились на основании предоставленного конституциею королю права совершать мероприятия и до сейма, если того неотложно требуют нужды государства. Но вот только в чем разлад мой с соправителями: для меня нужды моей бедной ойчизны дороже жизни, а для славного рыцарства, видимо, дороже всего развитие своеволия. Вот в этой неподкупной любви не к себе, не к своей власти, а к благу и величию страны, в этой любви я виновен и в том перед пышным рыцарством каюсь,— ломал пальцы король; по лицу его молниями пробегали конвульсивные движения, глаза горели благородным огнем, ресницы мигали.— Я отказался от наследственной шведской короны, желая послужить кровной моему сердцу стране... но при таком разладе служить ей было

трудно, а теперь стало совсем невозможно!.. Значение королевской власти... доведено вами... до ничтожества... но и этого мало: вы оскорбляете священнейшую особу короля, избранного всем государством, освященного самим богом... оскорбляете прямо в глаза. Такого поругания Корона не имеет нигде, и это поругание есть смертный приговор государства самому себе!—зарыдал вдруг король, зашатался и, поддерживаемый двумя канцлерами, вышел во внутренние покои.

Было мгновенье, когда Богдан рефлективно, без соображений, чуть было не бросился с саблей на этих оскорбителей короля, но его удержала какая-то бессознательная сила. Теперь же он стоял, оцепенелый, с сжатыми кулаками... В его душе совершался переворот... Он чувствовал, что перед этими поруганиями над религией, над народом, над благороднейшим королем его личные боли бледнеют; он ощущал, что из-за них встают другие, более грозные, более жгучие.

В зале царило мертвое, гробовое молчание.

— Это, это... панове,— встал возбужденный и растроганный Остророг,— это ляжет позорным пятном на страницы истории, и не вытравить вам этого пятна во веки веков!

Подавленные сильным впечатлением, послы склонили еще ниже свои головы, и никто не осмелился возразить Остророгу...

XXIV

Взволнованный, оскорбленный, возмущенный до бешенства, до безумной ярости, пришел Богдан в свой покоек, занимаемый им на Краковском предместье, в заезжем дворе под вывеской «Золотой гусь». Провожавшие из Чигирина его козаки, глазевшие, с люльками в зубах, из широкого заезда на снующую мимо толпу, завидев своего батька писаря таким встревоженным и сердитым, расступились молча, и никто не решился даже спросить у него, что сталось? Богдан тоже не промолвил им слова, а, насупивши шапку больше на глаза, прошел мимо, бормоча какие-то проклятия и угрозы.

— Насолили, должно быть, ляхи! — заметил седова-

тый уже козак Кныш и, выпустивши клубы из носа, сплюнул в сторону через губу.

— Эж,— мотнули шапками и другие два козака, усаживаясь на полу по-турецки.

Хозяин двора, еврей, встретивши в сенях своего постояльца, даже отшатнулся в испуге, прошептав: «Ой вей, цур ему, какой страшный!» А когда сердитый гость хлопнул дверью так, что она чуть не разлетелась в щепки, то жид вздрогнул, и с головы его слетела ермолка, а потом, оправившись, подскочил все-таки и начал подслушивать, кого и за что этот козак проклинает.

А Богдан, не обращая ни на что внимания, ходил крупными, твердыми шагами по своему покою, то дергая себя за ус, то ударяя кулаком в грудь, то потрясая саблей...

Как раненый лев со стоном и рыканием мечется в клетке и в бессильной ярости грызет железные прутья и свою рану, так, с искаженным от боли лицом, стонал с хрипом в горле Хмельницкий, словно жалуясь, что не может разрушить одним взмахом руки этого пышного города, построенного кровопийцами.

— Проклятые, сатанинские выходцы, исчадия ада! — вырывались у него беспорядочно возгласы вместе с пеной у рта, с передышками,— смеетесь, издеваетесь надо мной, как над псом? За жену, за мученическую смерть сына... не защита, не сострадание... а смех! Омерзительный, сатанинский... он стоит в ушах, жжет мне кровь, отдается адскою болью, и это на горе, на горе вам, изверги! Для вас ничего нет святого, ничто вам не дорого, кроме своего брюха! Ну, добре, добре! Доберемся мы и до брюха. У, с какою радостью вымотал бы я всем вам кишки, — скрежетал зубами Богдан,— разбойники, губители отчизны, предатели! Коли даже короля оскорбляют, так чего же нам ждать? Ничего, ни крохи! Они топчут ногами закон, смеются. Ну, посмеемся и мы. Посмеемся! — ударил Богдан кулаком по столу; ножки у стола подломились, и звякнули окна.

— Ой, на бога! Что вельможному пану нужно? — вбежал к нему растерянный, побледневший хозяин.

— Горилки! Оковитой, да доброй, чтоб жгла! — двинулся к нему пылающий гневом Богдан.

— Зараз, вельможный пане,— выбежал жид и через

несколько минут возвратился с большою флягой и оловянным ковшом.

— Сличная *, как огонь, ласковый пане,— поставил он все это на другой столик и начал прилаживать поломанную ножку.

— Брось! Вон! — топнул ногою Богдан.

Жид мгновенно юркнул за дверь.

Богдан налил полный ковш оковитой и выпил его одним духом. Потом, отерши и расправивши рукою усы, налил еще другой и тоже осушил его до дна.

— Не берет, чертово зелье! — присел он и вздрогнул всем телом.— Бр! Или жид воду подал, или ничем не зальешь этой боли, что огнем горит в груди, змеей извивается вокруг сердца. Все пойдем, все встанем... А! Господи! Помоги! — поднял он к небу глаза и судорожно сжал руки. — Торгуют ведь именем твоим! Жгут и льют кровь твоих верных детей! Милосердный, сглянься! — поник вдруг головою Богдан и притих.

Выпитые им два ковша оковитой производили, видимо, благодетельное воздействие: он почувствовал, как сердце его начало ровнее и энергичнее биться, как дыхание стало свободнее и поднялась бодрость духа.

Пароксизм ярости, вспыхнувший у Богдана в посольской избе и бушевавший всю дорогу, начал, видимо, утихать и давать место определенному решению, зародившемуся в душе его давно, при разгроме Гуни, при зареве пожаров Потоцкого и Вишневецкого, при лужах родной крови; решение это возрастало смутно при ужасах насилий, следовавших за приговором на Масловом Ставу, и созрело ясно на этом сейме. Мысли Богдана приняли более спокойное течение, и он мог уже анализировать события, подводить итоги, делать выводы.

«Ни закона, ни правды у них нет,— думал Богдан,— нет даже власти, которая бы удержала хоть какой-либо порядок, царит только разгул, своеволие и бесправье. На одной стороне горсть угнетателей, присвоивших себе державные права, а на другой стороне бесчисленные массы угнетаемых, лишенных этим разбойничьим рыцарством прав, превращенных в их быдло. О, если все поднимутся, то и следа не останется этих хищников! Не только весь русский люд, но и их польская принижен-

---

* Сличная — добра.

ная голота возьмет в руки ножи. Я видел этих несчастных мазуров, живут горше нашего... Да, и следа не останется! И это будет за благо, потому что разжиревшая, облопавшаяся нашей крови шляхта приносит всему государству одно только зло и влечет всех к погибели... Что насаждается ею? Разбои, зверство, распутство да безумная роскошь! Она даже о целости и чести своей Речи Посполитой не думает, вместо ограждения своего отечества от нападения басурманов — они, эти благородные рыцари, откупаются деньгами, позором, лишь бы избежать затрат и благородного риска... Куда девалась их доблесть? Пропилась на распутных пирах, разлетелась на домашних разбоях. Это не те уже витязи, которых знал я в прежних бессмертных битвах, а клочья, пропитанные венгржиной да злобой; стоит только поднесть трут — и они вспыхнут и развеются ветром»,— улыбнулся злорадно Богдан и начал набивать тютюном свою люльку. Он с ожесточением затянулся едким, удушливым дымом и начал снова ходить по покою, но теперь походка его была спокойной и ровной, и голова работала усердно над разраставшейся мыслью, сердце наполнялось решимостью, отвагой, надеждой.

— Да суди меня бог,— остановился он и поднял правую руку,— если я думаю мстить за свои лишь обиды; они побледнели перед всеми другими, перед оскорблениями, наносимыми вере, моим униженным братьям, несчастному королю... О, за эти обиды я подниму меч и положу свою голову!..

В это мгновенье отворилась дверь, и на пороге ее появился неожиданно полковник Радзиевский. Богдан был и обрадован, и поражен его приходом.

— Я к вельможному пану от имени короля,— разрешил сразу недоразумение Радзиевский.

— От его наияснейшей королевской милости? — переспросил еще более изумленный Богдан.

— Да, пане,— сжал ему крепко руку полковник,— от него, егомосць желает пана писаря видеть!

— Какое счастье! — воскликнул Богдан.— И голова, и сердце к услугам его наияснейшей милости. Разопьем же хоть корец доброго меду, хозяин мой найдет вмиг старого; я так рад дорогому гостю.

— Неудобно, после выберем минуту, а теперь король ждет. Он сильно расстроен после этого милого сейма.

Такого чудного сердца и такой светлой головы не щадят и не понимают.

— Гром небесный на них! — опоясывался Богдан широкою турецкою шалью.— На оскорбителей помазанника — сам бог! А у батька нашего наисветлейшего есть много слуг верных; одно мановенье — и все мы за него костьми ляжем.

— Спасибо, от его королевского имени спасибо! — пожал снова Радзиевский руку Богдана.— Такая преданность доставит больному и разбитому духом большое утешение. Но поспешим.

Радзиевский пришел к Богдану пешком в каком-то плаще, закрывавшем почти все лицо его, и пешком же из предосторожности они отправились во дворец.

Король принял Богдана не в большом парадном кабинете, где происходили всегда официальные аудиенции, а в маленьком, находившемся возле спальни его величества. Небольшая уютная комната с высоким камином, в котором пылал веселый огонь, была убрана в восточном вкусе: низкими диванами, подушками, коврами, шелком. Король полулежал на оттоманке, облокотясь на подушку и склонив на руку голову. По тяжелому, неровному дыханию, по судорожным подергиваньям его обрюзглого лица, по мрачному огню его глаз было заметно, что он страдал, что потрясенные чувства не улеглись еще и раздражали тайный недуг.

Богдан вошел с трепетом в эту обитель и, преклонив колено перед священною особой своего владыки, с благоговением прикоснулся губами к протянутой ему ласково руке.

— Я рад тебя видеть, пан писарь,— отозвался с живою искренностью король.— Вот смотри, лежа принимаю; проклятая болезнь подтачивает силы... Отпустит — и снова бодр и крепок по-прежнему духом, а малейшее что — уже и валит она с ног.

— Да хранит господь драгоценные дни нашего батька монарха,— сказал с глубоким чувством Богдан, пораженный болезненным видом короля, которого он любил всею душой, которого и козаки высоко чтили,— мы все, как один, молимся вседержителю о здравии королевского величества, молимся если не в храмах, которые у нас отняли, то в халупах и хатах, под покровом лесов и под открытым небом!

— Это ужасное насилие... позорнейшее и преступнейшее,— сжал брови король.— Я употреблю все зависящие от меня средства,— улыбнулся он саркастическою, горькою улыбкой,— чтобы повлиять на комиссию и уравновесить хоть сколько-нибудь права совести моих подданных... Я всю жизнь боролся за веротерпимость; но иезуиты, пригретые моим покойным родителем, пустили здесь глубокие корни и подожгли расцветавший уже было рай... Мне пришлось бороться с окрепшим и распространившимся злом... Они сумели овладеть умами и сердцами нашего дворянства, поощряя дурные наклонности и низменные страсти, разжигая фанатическую ненависть и презрение к другим вероисповеданиям. Говорят, что фанатизм есть спутник пламенной веры... Я никогда не разделял этого мнения. По-моему, фанатизм есть порождение безумия деспотического: не смей иначе думать, как я, не смей иначе верить, как я, не смей иначе молиться... Меня за мою толеранцию * чуть ли не отлучили от церкви, как еретика, но я... я готов бы был принять и баницию **, лишь бы мне дали силу водворить религиозный мир в моей дорогой мне стране... Но вот уже близок закат мой... а я, несмотря на все мои искренние и горячие стремления, не только не успел ничего в этом братском примирении, но, к величайшему горю моему, вижу, что непримиримая злоба растет и растет... Против нее готов я бороться до самой смерти... но сил у меня нет...

— Воздвигни только господь твою наисветлейшую милость, а мы,— ударил себя рукою в грудь войсковой писарь,— за единое королевское слово все костьми ляжем... Верь, наимилостивейший державец, что мы, козаки и все русское население, покорные рабы твои и преданнейшие дети...

— Спасибо, спасибо! — произнес растроганным голосом король.— Видишь, пан, как я стал слаб,— смахнул он набежавшую на ресницу слезу,— не тот уже, что бился когда-то рядом с тобою... но да хранит вас всех бог! Козаков я всегда любил и на их верность лишь полагаюсь... Что бы там клевета и ненависть ни плели, но поколебать моей привязанности и веры им не удастся...

* Толеранция — віротерпимість.
** Баниция — вигнання з рідного краю.

Я всегда был и буду за вас; только, как видишь ты... мои желания бессильны...

— Повели только, государь,— воодушевленно, пророчески возвысил голос Богдан,— и твои священные желания облекутся в несокрушимую сталь.

— О мои верные слуги, орлы мои! — приподнялся и сел на оттоманке, возбужденный словами Богдана, король; его глаза вспыхнули прежнею отвагой, на бледных щеках появился слабый румянец.— Для венценосца нет большего счастья в мире, как услышать теплое слово искренней преданности... Мария [40],— обратился он по-французски к вошедшей в кабинет пышной красавице с темными, пронзительными глазами и светло-пепельными, грациозно взбитыми кудрями, к своей молодой королеве, — вот они, верные дети мои, сыны богатейших степей... Я не сирота еще, и господь ко мне милостив...

— Боже, как я благодарна им, как я рада за его королевскую милость, моего дорогого супруга...— ответила королева, обращаясь не то к королю, не то к Богдану,— да вознаградит их святое небо!

— Жизнь наша и все наше счастье у ног их королевских величеств,— ответил Богдан по-французски, отвесив низкий поклон.

— О благороднейший воин,— вскинула глаза изумленно на предполагаемого варвара королева,— вы вместили в себе дивное сочетание доблести и высоких чувств! — она протянула милостиво свою руку, к которой с благоговением прикоснулся козак, и подошла с обворожительною улыбкой к королю.

— Да, моя вечерняя звезда,— бросил на нее сияющий радостью взгляд Владислав,— еще, быть может, наши мечты не погасли... Но все бог! Без его святой воли ни единый не падет волос... Эх, если бы мне к этим орлам да еще прежних шляхетских львов... Задрожала бы Порта, и Черное море склонило бы свою волну к твоим ножкам... Ты их не знаешь, моя повелительница, мой кумир, а они, эти уснувшие рыцари, действительно храбры и исполнены доблести... Я и теперь не потерял еще веры в их доблесть; они расслабли от безумной неги и роскоши, они погрязли в тине разврата и пьянства, но они еще пока не умерли совсем, и если грянет над страной божий гром, то он сможет разбу-

дить их... Я потому и убежден глубоко, что гроза нужна не только для сокрушения неверных, но и для возрождения лучших сил.

— Уж кто-кто, а я совершенно разделяю твои взгляды,— вздохнула глубоко королева и закрыла свои очи сетью темных ресниц, чтобы скрыть налетевшее горе.

Владислав торопливо, украдкой пожал ей руку и обратился снова по-польски к пану писарю.

— Передай от меня всем козакам и единоверцам твоим мое королевское сердечное спасибо за их верность и преданность. Я им верю и на них полагаюсь, буду хлопотать за их благополучие, насколько смогу, но сам видишь, что многого обещать не в силах. Во времена потемнения государственного разума, во времена упадка силы закона всяк о себе должен больше заботиться и сам себя больше отстаивать,— говорил он желчно, подчеркивая слова и загадочно улыбаясь.— Вот и твои жалобы я слышал... Они справедливы, и ты оскорблен жестоко... Но наш закон мирволит лишь шляхетским сословиям, а от других требует целой сети формальностей. Но ведь заметь, козак: у тебя отняли все не силой закона, а насилием вооруженной руки, так и нужно бороться равным оружием: вы ведь воины и носите при боку сабли... если у Чаплинского нашлось несколько десятков сорвиголов, так у тебя найдутся приятелей тысячи.

— Найдутся, наияснейший король мой,— воскликнул восторженно Богдан.— Блажен тот день, когда я услышал это великое слово, оживляющее нас, мертвых, ободряющее наши надежды... но не для моих обид оно... нет! Я их бросил под ноги, я их забыл перед священным лицом монарха! Твои, государь мой, обиды, поругания над достоинством державы, издевательства над порабощенным народом — вот что вонзилось тысячами отравленных жал в мою грудь, и эта отрава разольется по жилам моих собратьев... и вскрикнем мы все, как один: «За короля, за нашего батька!»

— Ах, как это трогает мое сердце, как вдохновляет меня! — поднялся король, опираясь на руку своей супруги.— Но помни, мой рыцарь, что выше короля — благо отчизны; я для него отдал всю жизнь, хотя и бесплодно... так постойте за отчизну и вы... Вверяю твоей преданности и чести себя и ее! — протянул король руки.

— Клянусь господним судом, трупом замученного сына и счастьем моей родины! — упал перед ним Богдан на колени и поцеловал полу его одежды.

— Да хранит же тебя и всех вас милосердный бог! — положил король на голову писаря руки и, взволнованный, растроганный, вышел с королевой из кабинета.

XXV

Торопился Богдан, когда ехал в Варшаву, выбирал кратчайшие и глухие дороги, объезжал местечки и села и, угнетенный тяжелыми думами, почти не обращал внимания на мелькавшие перед ним картины народного быта. Теперь же, возвращаясь из Варшавы, он ехал медленно, не спеша, и не глухими дорогами, а многолюдными, останавливаясь в селах, местечках и городах. Сам Богдан был неузнаваем: желчности, раздражения и тупой мрачности не было и следа; напротив, в глазах его играла отвага и радость, голова поднята была гордо и властно, на смуглом лице горела краска энергии. Спутники его, козаки, глядя на своего батька, тоже повеселели и, заломив набекрень шапки да откинув за плечи киреи, сидели так легко и непринужденно в седлах, словно они возвращались с какой-нибудь веселой пирушки, а не с длинного и утомительного пути. Если Богдан заезжал в укрепленные городки на день и на два, находя благовидный предлог побывать и в замке у коменданта, и на валах, и на баштах, то козаки посматривали друг на друга и, покачивая глубокомысленно головами, приговаривали: «Господь его святый знае, а щось батько думае-гадае!» Когда же наших путников приняли под серебристый покров волынские родные леса, то козаки до того повеселели, что затянули даже песню:

Гей, хто в лісі, озовися,
Да викрешем огню,
Да запалим люльку —
Не журися!

Вступивши на русские земли, Богдан не направился прямо в Киев, а стал колесить по Волынщине, заглядывая в хутора и села, присматриваясь ко всему окружаю-

щему, роняя то там, то сям огненное крылатое слово... Едет, например, он по полю, побелевшему от инея, и видит на нем копны хлеба, брошенные, размоченные дождями, разбитые осенними бурями,— ну, и остановит проезжающего селянина:

— Чей это хлеб?

— А чей же, как не наш, вельможный пане? — ответит ему тот, снявши шапку.

— Отчего же вы его не убрали с поля? Лишний, что ли?

— Какое, пане! Полову едим... а убирать часу нема,— все за панскою работой: то жали, то пахали, а теперь навоз возим...

— Чего ж вы не толкнете своего пана головою в навоз? Эх, вольные люди! Сами протягивают шею в ярмо! Пухнут с голоду, а свой святой хлеб гноят... За это вас и карает господь... Ведь пан на село один, а вас сколько? — надвинет Богдан шапку на очи и проедет поскорее эту ниву.

А то, пробираясь тропинками к кринице, видит он, что маленькая девочка набрала ведро воды и прячется с ним за кустом. Подошел к ней Богдан, а девочка — в слезы, да в ноги ему: «Ой, помилуйте, пожалуйте, больше не буду!»

— Да что ты, дытыно, бог с тобою? Чего плачешь? Чего испугалась? — приласкает ее Богдан.

— Мама недужая... не встает,— всхлипывает успокоенная девочка,— лихорадка печет ее, пить хочет... А жид не позволяет даром брать с криницы воды... А у меня грошей нет...

— На вот талер, понеси своей маме... да скажи батьку, что король велел земли поотнимать у панов...

А раз на опушке леса наткнулся он на такую сцену: жид, вероятно местный посессор, поймал молодицу с охапкой валежника и, остервенившись, свалил ее ударом кулака и начал топтать ногами, а когда на вопли несчастной прибежал ее муж и стал заступаться, просить, то жид и ему залепил оплеуху... Закипело у Богдана в сердце, помутилось в глазах, и он, забывши осторожность, налетел и крикнул:

— Что ж ты, выродок, позволяешь топтать ногами жену? На дерево его, на прохолоду!

Достаточно было одного окрика: через минуту посессор болтался на дереве, а очумелый мужик стоял в оцепенении, сознавая висевший над ним за это деяние ужас.

— Молодец! Так их и надо! — ободрил его Богдан.— Коли тебе здесь не укрыться, то беги на Запорожье, там всех небаб принимают, а жену пристрой в Золотареве, что за Тясмином, близ Днепра... у хорунжего Золотаренка, скажи, что Хмель прислал... Вот и на дорогу тебе,— ткнул он ему в руку дукат — и был таков.

После такого случая только к вечеру уже решится Богдан заехать в какое-либо село, миль за десять, и скромно остановится у корчмы, пошлет по хатам Кныша, поискать якобы провизии, а сам подсядет в корчме к землякам и, угощая их оковитой да медом, заведет такие разговоры:

— А что у вас, люди добрые, хорошо тут, верно, живется, не так как у нас?

— Смеешься ты, видно, пане козаче,— отвернется с обидой и тяжелым вздохом истощенный трудом собеседник,— да у нас тут так издеваются над народом ляхи да посессоры, такое завели пекло, что дышать нечем, последние времена приходят...

— Скажи пожалуйста! — покачает головою, словно удивленный, Богдан.

— Ох, пане,— вмешается в разговор и другой селянин,— не знаем уже, где и защиты искать, куда прятаться. Летом еще могут укрыть хоть леса, да байраки, да густые камыши-лозы, а зимою — хоть в прорубь! Куда ни посунешься—когти посессоров да лядский канчук!..— И, оглянувшись робко кругом, начнет он передавать шепотом печальную и длинную повесть о возмутительных насилиях и зверствах, которые творятся здесь над ними: земли-де все отобрали, воды отняли, имущество ограбили... гонят на панщину ежедневно, да на какую — каторжную, без отдыха, без пощады... порют нам шкуры, вешают, топят... Живые люди все в струпьях, не выходят из ран...

— Эге! Так у вас тоже не сладко...— вздохнет Богдан.— И куда ни поедешь, всюду один стон, один крик... Не молимся мы, верно, богу... забыты им...

— Да где же молиться, коли нет и церкви? — качал печально головой один из собеседников.— Сначала дра-

ли с нас за службы божии, за отправы, а потом и совсем отобрали...

— За то-то, я думаю, братцы, и гнев господень на нас, что мы отдали в руки врагов и поганцев его святыни, не постояли за них грудью до последнего издыхания,— возвысит укорительно голос Богдан и сверкнет глазами.

— Да как же было стоять,— возразят взволнованные селяне,— коли на их стороне сила: и мушкеты, и копья, и сабли... а у нас голые руки, да и те измученные в непосильном труде?

— Клади живот свой и жизнь за милосердного бога, за служителей его, за его храмы, и он воздаст тебе сторицею... А кто головы своей жалеет за бога, а подставляет ее клятой невире ли, пану, то от того и творец отвращает лик свой и попускает на поругание и позор в руки нечестивых.

— Ох-ох-ох! Грешные мы! — вздохнут все и опустят безнадежно нечесаные патлатые головы.

— Да ведь пойми, пан рыцарь,— после долгой тяжелой минуты молчания отзовется кто-либо робко, подыскивая веские оправдания,— нас горсточка, жменька... Ну, кто и отважился было, так с них живых посдирали шкуры, а над семьями надругались.

— Знущаются над нашими семьями одинаково,— подойдет иногда к собеседникам еще селянин из более мрачных и озлобленных,— молчим ли мы и гнем под кий спины, или загомоним робко — одна честь! Вон на той неделе приехали к эконому какие-то гости; ну, известно,— жрали, лопали, пили, а потом для их угощения согнал пан дивчат во двор, почитай, детей... А молодая вдова Кульбабыха таки не дала на поруганье своей красавицы дочки: видит, что никто ее криков не слушает, а самой отстоять сил нет, так она схватила нож в руку, крикнула: «Прости меня, боже!» — и вонзила тот нож в сердце своей дочери, а сама бросилась сторч головой в колодезь...

— А-а!! — застонал, зарычал Богдан и выпил залпом кухоль горилки.— Вот, значит, слабое божье творенье, баба, а сумела отстоять честь своей дочери и себя спасти от мучений: кто не боится смерти, того все боятся... Ведь вот ты говоришь, что нас горсточка, а я говорю: кривишь, брат, душой! Это их, наших мучителей, гор-

сточка, то так, а нас, ихнего быдла,— усмехнулся он ядовито,— как песку на берегах Днепра, и если бы все за себя так стали, как эта вдова Кульбабыха,— пером над ней земля,— так и знаку не осталось бы от лиходеев... И за себя ли самих велит долг постоять? За веру, за правду святую, за богом данный нам край! Да за такое святое дело смерть — радость, счастье! Души таких борцов ангелы-херувимы встречают и несут на своем лоне до бога!

— Правда, правда! Святое дело! За него простится много грехов! — воодушевятся слушатели, и огонь отваги заиграет в их мрачных очах.

— Да и то, братцы,— вставит мрачный,— один ведь конец — помирать, так уж лучше помереть за бога и за родной край.

— Эх, коли б голова нам! — вздохнет старший.— Погибли Наливайки, Тарасы и Гуни! А коли б кликнул кто клич...

— Ты думаешь, земляче, на него бы откликнулись?— прищурит пытливо очи Богдан.

— Все, как один! — даже вскрикнут неосторожно собеседники и испугают своим криком изумленного корчмаря.

— А есть у вас за селом где укромное место? — понизит уже голос Богдан.

— А пан рыцарь куда едет? — спросит в свою очередь кто-либо старший.

Осторожный Богдан непременно укажет противоположное направление и получит ответ, что на том шляху, за гайком, есть буерак.

Вот в сумерки подъедет Хмельницкий к этому буераку, расставит, на всякий случай, козаков вартовыми и спустится к ожидающим его поселянам.

— Слава богу! — поклонятся они ему низко, обнажив свои головы, и ждут с выражением трепета и надежды, что скажет козачий старшо́й, какую спасительную раду подаст им?

А Богдан, привитавши их от себя, от далеких земляков, и от козачества, и от Запорожья, расскажет, что везде придавило люд одно лишь горе и что горе это исходит от польских панов и ксендзов, которые задались отнять у нас все, обратить русский люд в быдло и уничтожить, выкоренить, чтоб и памяти о нас не осталось.

— Так, так, выкоренить хотят...— загудут селяне, и в их сдвинутых бровях и опущенных вниз глазах сверкнет злобное выражение.

— То-то, братцы,— поднимет голос Богдан,— а давно ли и вы, и мы все были вольными, молились при звоне колоколов в своих церквах, владели без обид своими землями, не знали ни нехриста, ни пана? Чего же мы поддались? Того, братцы, что меж нами не было единства! Шляхта вся один за другого, оттого-то она и взяла верх в Речи Посполитой, даже помыкает наияснейшим королем, не то что... Ведь король, друзи мои, за нас; он видит все кривды и готов щырым сердцем помочь, так ему паны вяжут руки,— гонят его милость со свету.

— Проклятые! Каторжные! — послышится глухо в толпе.— Всех бы передавить!

— Да неужто за нас, несчастных, король? — спросит кто-либо недоверчиво из более развитых и солидных.— Ведь он же поляк и католик?

— Хоть и католик,— ответит Богдан,— а бьется всю жизнь, чтобы никто не затрагивал русской веры, чтобы прав наших никто не нарушал,— клянусь вам всемогущим богом. Я сам был у него, искал защиты. Меня ведь тоже ограбил пан шляхтич до нитки: все сжег, земли отнял, жену увез, детей вырезал, меня приказал посадить на кол, только чудо спасло. Оттого-то я знаю и чувствую ваше, братцы, горе, потому что сам его на своей шкуре вынес. Уж коли меня, значного козака и старшину, известного всей Речи Посполитой и королю, так обездолил подстароста, так что же он сделает с вами? Вот мне и сказал король со слезами, что он через панов не может помочь, а чтобы мы сами себя ратували.

— О!? — поднимут радостно головы поселяне и загорятся отвагою и надеждой.— Да коли так, то мы их в лоск! Когда бы только кто голос поднял.

— Вот это дело! Вы вольные люди, козаки... Лучше погибнуть, а не оставаться в неволе: лежачего ведь и куры клюют... Вот вы вспомнили, что нет больше ни Наливайки, ни Гуни, а через кого они погибли? Через вас! Не пошли ведь на помощь селяне, ну, их вражья сила и одолела!.. А вы-то теперь, напробовавшись панского меду, пошли бы на помощь, если б кто нашелся?

— Все, как один! Вся округа! — единодушно, пары-

висто вскрикнет толпа, грозя кулаками.— Все пойдем, костьми ляжем!

— Ну, спасибо, братцы, от всей земли русской спасибо! — радостно воскликнет Богдан.— Задумал я, тот самый Хмель, что бил не раз турок и под Каменцом, и на море, и в Синопе, да Кафе, что шарпал молдаван и венгерцев, задумал я, братцы, великое дело: поднять меч на утеснителей и гонителей наших — на панов, ксендзов — и освободить родной народ от неволи... На это святое дело, на защиту бога и правды я отдам и голову, и сердце! Козачество со мною пойдет, а вот если и ограбленный люд поднимется в помощь...

— Батько наш! Избавитель! — заволнуется уже растроганная, потрясенная вестью толпа, протягивая к нему руки, бросая вверх шапки.— Только клич кликни, все умрем за тебя и за веру!

— Братья, друзи мои! — обнимал некоторых ближайших Богдан.— Слушайте же моей рады: сидите пока смирно да тихо, чтоб вражьи ляхи не пронюхали нашего уговора, готовьтесь и передавайте осторожно другим, чтоб тоже готовились и бога не забывали, а когда я заварю уже пиво и хмелем его заправлю, то чтобы тогда на зов мой с каждого хутора прибыло в лагерь по два оружных козака, с каждого села по четыре, а с каждого местечка по десяти!

— Будут, будут, батько! Храни только тебя, нам на счастье, господь! Продли тебе веку! — радостно и восторженно прощаются со своим новым спасителем рыцарем поселяне.

Бросит Богдан искру в подготовленный уже врагами русской народности горючий материал, соберет нужные сведения и исчезнет, бросившись в сторону. Потом через десяток миль заедет снова в село, а то и в местечко, повыспросит, поразведает про настроение умов, про беды мещан и чернорабочего люда, заронит им в сердце надежду на близкое избавление, оживит их энергию, разбудит отвагу и улетит метеором, оставив по себе светлое воспоминание.

Летит Богдан по задумчивой лесистой Волыни, а стоустая молва клубком катится, растет и опережает его. Минет он иногда какой-либо хутор или село, а уж в перелеске или овраге ждут его с хлебом и солью выборные от поселян, встречают, приветствуют, как вож-

дя, кланяются земно и со слезами повергают перед ним свои жалобы, свои беды... Ободрит их Богдан, посоветует прятать ножи за халяву и, пообещав скорое избавление, крикнет: «Жив бог — жива душа!» — да и заметет след. А если проведает, что поблизу где батюшка, то непременно заедет: в теплой беседе с ним отогреет свою душу, поможет деньгами несчастному, гонимому что зверю, попу, откроет ему свои заветные думы, испросит благословения на святое великое дело и, поручив себя его молитвам, отправится с новым запасом веры и сил в дальнейшее странствование.

Поднялся глухой гомон меж серым народом, дошел он и до панов, и почуяли они в нем что-то недоброе; разослали они на разведки дозорцев, но те лишь обдирали поселян, а толку не добились. Тогда бросились дозорцы от корчмы до корчмы и пронюхали, что разъезжает какой-то полковник козачий по селам и о чем-то с людом балакает. Бросятся паны искать бунтарей, а их и след простыл.

Богдан рассудил, впрочем, поскорее выбраться из Волыни и перелетел на своих выносливых конях в веселые приволья пышной красавицы Подолии.

XXVI

Подъезжая к речке Горыне, Богдан вспомнил про завещанный Грабиною клад и захотел доведаться, а если бог поможет найти, то и распорядиться им по воле покойного честно: половину взять для святого дела,— потому что деньги теперь ой как нужны,— а половину сберечь для дочки Грабины, Марыльки... «Для Марыльки, для Елены,— закусил он до крови губу,— для моей любой, коханой, насильно похищенной...» Он в первый раз по отъезде из Варшавы ясно вспомнил ее и снова почувствовал в сердце жгучую боль.

— За всех и за нее! — вскрикнул он свирепо и начал рыться в своем гамане.

К счастью, заметка Грабины, несмотря на годы скитаний, не выронилась, уцелела. В ней обозначена была ясно и точно пещера на реке Горыне, за хутором Вовче Багно, по левой руке от ветвистого дуба на восемьдесят локтей, а в самой пещере еще подробнее описано

было место клада. Богдан направился на Горынь; но долго ему пришлось искать хутора, сгоревшего дотла; такая же незадача была и с дубом: лесок срубили, и трудно было по торчавшим и выкорчеванным пням определить место, где был разлогий дуб. Богдан повел розыски наугад и нашел полуобвалившуюся пещеру, но после долгих усилий и исследований выкопал-таки, к великой радости, два бочонка золотых червонных, два бочонка битых талеров и множество драгоценных женских вещиц. Разместивши эти сокровища на спинах крепких лошадей, Богдан направился от Горыни к Днестру, желая проехать через Подолию.

Подымаясь с горы на гору, спускаясь в глубокие ущелья, где по камням и по рыни (крупный песок) сверкали серебристою чешуей болтливые и резвые речонки-ручьи, разраставшиеся под дождями в бурные, бешеные потоки, Богдан стал замечать, что конь его, верный Белаш, начал прихрамывать и терять силу.

— Эх, товарищ мой любый, друг мой сердечный,— потрепал его по шее Богдан,— состарились мы с тобой, нет уже прежней удали и неутомимой силы! Послужил ты мне верой и правдой, выносил на своей могучей спине, вызволял не раз из всякой напасти, а теперь просишься уже на отдых, а я вот все тебя таскаю да таскаю. Правду говорят, что «хто больше везе, на того и клажа».

— А так, так,— усмехнулся Кныш,— а ведь конь этот у вельможного пана под седлом, почитай, лет семь!

— Девятый уже пошел.

— Э, пора на смену другого...

— Жалко этого... много с ним прожито и горя и радости... люблю я его...

Белаш, словно благодаря своего господаря рыцаря, повернулся к нему головой и тихо, любовно заржал.

— Ишь, скотина,— мотнул шапкой Кныш,— а ведь понимает человека, ей-богу! Ну что ж, на хороший корм его, а другого, молодого, под седло... Отдохнет этот и тоже подчас еще послужит...

— Да я и сам так думаю...

— А вот в Ярмолинцах бывают добрые ярмарки... Кажись, вот в это самое время туда приводят и наши козаки, и татаре добрых коней.

— Это верно: там и встретиться можно кое с кем,

и пороху подсыпать... туда и рушай! — скомандовал Богдан, и все за ним двинулись крупной рысью.

Ярмолинцы приютились в долине, залегшей между небольших гор и расходившейся вилами на два рукава. На главной площади их, на самом видном месте, красовался и господствовал над всеми постройками каменный костел готической архитектуры с двумя стрельчатыми башенками на переднем фасаде, в которых висели колокола; он слепил глаза белизною своих украшенных фигурами стен и словно кичился ярко-красною крышей. На излучине долины, из-за пригорка, покрытого посеребренным слегка садом, краснели тоже, между стрелами тополей, крыша панского палаца и шпиц другого небольшого костела; у подножья их лежал блестящим зеркалом пруд. Перед этими грандиозными сооружениями мещанские и селянские хаты с потемневшими соломенными крышами казались жалкими лачугами, и они, стыдливо прячась за садиками, разбегались испуганно по долине. Только корчмы и жидовские дома с крыницами, ничем не прикрытые, с облупленными боками, торчали бесстыже по площади и смотрели нагло дырявыми крышами на костел...

Когда путники наши подъехали к спуску с горы, то их сразу поразила широкая картина раскинувшейся у ног их ярмарки. Вся, в обыкновенное время пустынная, площадь была теперь покрыта шатрами, балаганами, ятками, между которыми кишмя кишел народ; сплошная толпа двигалась колеблющимися, пестрыми волнами. У костела стояли вереницей панские экипажи, запряженные дорогими конями; хлопанье кучерских бичей смешивалось с перемежающимся звоном небольшого костельного колокола. Вдали, в правом рукаве долины, стояли лавами возы с разною кладжей; у возов лежали на привязи волы, коровы, козы, а дальше толпились отарами овцы; в левом же рукаве помещалась конная ярмарка: всадники то подъезжали к табунам, то мчались стрелой вдоль пруда. Над этим морем голов стоял то возрастающий, то стихающий гомон, напоминавший гул разыгравшегося прибоя.

Богдан остановился на краю горы и осматривал зорким глазом лежавшее у его ног местечко. Скрывавшееся целый месяц за свинцовыми тучами солнце проглянуло теперь в пробитую лучами прореху и осветило яр-

кими тонами и пышные костелы, и палацы, и убогие лачуги, и пеструю толпу, и дальние подвижные пятна, и верхушки гор, слегка присыпанные первым, девственным снегом.

— А что это значит, хлопцы,— обратился Богдан к своим спутникам,— такое большое местечко, а я своей русской церкви не вижу?

Все начали всматриваться, приставив руки к глазам.

— А вон где она была,— указал рукой Кныш.

Богдан взглянул по направлению руки и увидел действительно на одном из пригорков кучу угля и обгорелых бревен; за черной кучей стояла невдалеке уцелевшая каким-то чудом от пожара звоница; крест едва держался на ее пирамидальной, вздырявленной крыше; в пролетах между четырьмя покосившимися колонками не было видно колоколов... Над этим мертвым местом кружилось лишь воронье.

Богдан снял шапку и набожно перекрестился; то же сделали и его товарищи.

— Ну, хлопцы,— обратился он к козакам,— я с Кнышем отправлюсь на конную, а на ночь заеду к пану отцу, коли жив еще... Вы же — врассыпную между народом, только звоните с оглядкой: здесь много панских ушей...

— Мы им пока за ухо, коли нельзя в ухо,— заметил один козак, рассмеявшись; оправивши одежду и зброю, они спустились с горы и потонули в гудевшей толпе.

Богдан попал в какой-то водоворот, из которого почти не мог выбраться; с трудом пробирался он шаг за шагом вперед, желая объехать базар и направиться прямо к пруду, но встречная волна оттесняла его к яткам... Среди бесформенного гула и выкрикиваний крамарей и погоничей до него донеслись звуки бандуры; голос певца показался ему знакомым, и Богдан стал протискиваться ближе. Вокруг кобзаря краснели что мак верхушки черных и серых смушковых шапок, между которыми то там, то сям пестрели ленты, стрички и хустки ярких цветов, украшавшие грациозные головки дивчат...

Внутри тесного кольца слушателей сидел по-турецки большого роста и крепкого сложения слепой бард, калека с искривленными ногами, на деревяшках; он, выкрикивая печально рулады, выразительно пел-выговаривал слова какой-то новой думы:

Ой бачить бог, що його віра свята загибає,
Та до Юрка з високого неба волає:
«Годі тобі, Юрку, конем басувати, з змієм ваговати,
Біжи-но краще хрещений мій люд рятувати,
Бо де ж мої церкви, де клейноди, де дзвони?
На святих місцях лиш крюки та ворони!»
Як покрикне ж Юрко: «Гей ви, нещасливі?
Годі вам орати не свої, а ворожі ниви,
Нащо вам чересла, лемеші і рала —
Може б, з них послуга святому богові стала?»

Немою, неподвижною стеной стояли козаки и дивчата; тяжелый массовый вздох выделился стоном среди общего шума и зажег у козаков свирепою отвагой глаза, а у дивчат вызвал слезы. Богдан пробрался к слепцу и бросил в его деревянную мисочку дукат.

По звону ли металла, или по другим неизвестным приметам, но слепец угадал золото и, обведши незрячими очима толпу, прошамкал:

— Ого! И магнаты нас слушают!

— Магнаты без хаты...— ответил Богдан. «Нечай! — промелькнуло у него в голове.— Ей-богу, он!»

— А! Орел приборканный, — буркнул старец,— короткое крыло, а долгие надии...

— Слетятся орлята, то отрастут и крылья.

— Помогай, боже! Давно не слышно было клекоту.

— Послышишь... А что, старче божий,— переменил Богдан тему,— не ведомо ли тебе, батюшка здешний жив или помер?

— Хвала богу! Отец Иван приютился у бывшего ктитаря Гака, что под горой... в яру хата гонтою крыта.

— Спасибо! Я не чаю отъезжать до ночи.

— Гаразд! Коли бог дал...— выговорил кобзарь последнее как-то в нос и усмехнулся в седую, подозрительно белую бороду.

Пробираясь к пруду мимо панской усадьбы, Богдан поражен был стонами и воплями, доносившимися к нему из-за высокого мура. Он спросил ехавшего по дороге деда:

— Что это у вас там творится?

— А что ж? Бьют нашего брата,— ответил тот равнодушно.

— А вы же что? Молча подставляете спины?

— Заговоришь, коли у жида и эконома надворная команда... И без того ходишь в крови.

— Так лучше захлебнуться в ней разом, чем сносить муки изо дня в день!

— Та оно, известно, один конец,— покачал дед головою.

— То-то! Коли нам один, так и им, катам, тоже! — сверкнул свирепо глазами Богдан в сторону палаца.— Раз мать породила, раз и умирать... раз, а не десять! — крикнул он и пришпорил Белаша через греблю к табунам коней.

Только что врезался Богдан в их косяк, как ему попался навстречу знакомый запорожец — Лобода; он уже успел поседеть; усы и чуприна его отливали на солнце серебром, а шрамы багровели татуировкой.

— А, слыхом слыхать, видом видать! — приветал он радостно Богдана.

— Здорово, брате! Сколько лет, сколько зим!

Приятели обнялись и поцеловались трижды.

— Эге! Да и тебя, пане Богдане, присыпать стал мороз,— качал головою Лобода,— я-то побелел, а тебе бы, кажись, рано.

— Заверюхи были большие, ну и присыпало.

— Так, так, у нас,— сосал Лобода люльку, втягивая в себя дым,— слух прошел, будто Хмелю подломили приятели паны тычину, и он упал, вянет.

— Брешут: не завял Хмель, а вместо тычины повьется по тынам сельским... Гляди, чтобы паны не заплутались в нем до упаду.

— Добрая думка! — закрылся теперь запорожец целым облаком выпущенного дыма.— А что, може, что новое есть?

— Есть, и такое, что все вы подскочите. Приеду — все расскажу. Как только ваши пчелы?

— Да ничего — гуду́т, роятся, матки только доброй нет.

— Лишь бы роились,— подчеркнул Богдан и начал присматриваться по сторонам.

— Кого ищешь? — вынул изо рта люльку Лобода и начал выбивать золу.

— Коня,— одним взмахом головы сдвинул Богдан набекрень шапку,— да доброго, моему под стать.

— Коли доброго хочешь коня раздобыть, то вон туда, на самый конец, поезжай, где расташовались

татаре: там у одного мурзенка добрые кони, дорогой породы, чтоб мне черту не плюнуть в глаза!

Запорожец-друзяка провел Богдана к этому мурзенку; удивлению последнего не было границ.

— Алла илляха! * — протянул тот радостно и приветливо руки.— Пророк мне послал такую счастливую встречу! Побратым отца моего, утеха его сердца.

— Керым? Луч ясного месяца, сын моего первого друга Тугая, быстрокрылый сокол! Вот радость так радость! — ответил Богдан по-татарски и заключил его в свои широкие объятия.

Керым пригласил его в свой намет и начал угощать и шашлыком, и пилавом, и кониной, и халвой, и шербетом. За чихирем да кумысом разговорились они о былом: Керым рассказал про отца, что он получил от хана бейство, но что у них в семье большое горе: после покойной матери самая любимая ханым отца умерла, так что он до сих пор как громовая туча; что Тугай не раз вспоминал своего побратыма и сетует, что славный джигит, кречет степной, не навестил его ни в счастьи, ни в горе.

— Буду, непременно буду,— проговорил тронутый лаской Богдан,— у кого же мне поискать тепла и порады, как не у светлого солнца? — и Богдан рассказал Керыму про свое безысходное горе, про свою кровавую обиду.

Слушая его, возмущался впечатлительный и юный душою Керым и клялся бородою пророка, что отец поможет своему побратыму отомстить панам за их кривды.

Только вечером отпустил он Богдана, наделивши таким конем, какой занял бы первое место и в конюшне блистательного падишаха. Сын чистокровной арабской матки и татарского скакуна, вскормленный пышною степью, выхоленный любовною рукой, серебристо-белый, с черною лишь звездочкой на лбу и черными огненными глазами, он блистал красотой своих форм, грацией движений и молодою силой. Керым долго не хотел брать денег за красавца, а дарил его своему бывшему учителю рыцарских герцов, но Богдан вручил таки ему сто дукатов и, попрощавшись сердечно, поспешил со своею до-

* Мій боже! (Татарський і турецький бойовий клич).

рогою добычей к условленному пункту сборища — к ктитарю бывшей церкви Гаку.

Когда Богдан нашел хату Гака, прилепившуюся к горе за выступом скалы и закрытую еще довольно густым садиком, то солнце уже было на закате и алело заревом, обещая на утро добрый мороз. Местечко лежало несколько ниже и тонуло в холодной мгле; только костелы и панский палац, озаренные прощальными лучами, казались выкрашенными в яркую кровь.

Богдан нашел на дворище двух своих козаков, сообщивших уже, конечно, о нем господарю, так как ктитарь на первый стук копыт выбежал на крыльцо и, низко кланяясь, приветствовал Богдана как высокого, именитого гостя.

— Челом тебе, ясновельможный пане полковнику; великая честь мне и моей хате, что ты не побрезгал и завернул к нам, убогим.

— Спасибо, щырое спасибо!—поклонился низко Богдан.— Только не насмехайся, пан ктитарь, какие мы ясновельможные? Такие же бесправные харпаки, как и вы, как и весь русский люд: позволили паны пробедовать день, живота не лишили, и за то им в ноги, а не позволили, ну й болтайся на колу или крутись на веревке!

— Ох, правда, правда! На вас только, рыцарей, и надия.

— Надия на бога... А панотец тут, дома?

— Тут, тут... Прошу покорно вашу милость до господы...

XXVII

Богдан вошел в довольно просторную светлицу и, кинувши быстрый взгляд, заметил, что преображенный Нечай сидел уже на лаве с запорожцем и еще двумя почтенными стариками, а на средине хаты стоял хорошего роста и крепкого сложения мужчина, в простом, нагольном кожухе и смазных чеботах. Трудно было сразу решить, к какому сословию принадлежал он: темная, с легкою проседью борода исключала в нем козака или мещанина, так как последние брили бороды, позволяя себе, и то в редких случаях, запускать их только в

глубокой старости; выразительное и непреклонное до суровости лицо не могло принадлежать забитому селянину; наконец, нищенская одежда не давала возможности признать в нем пана или священника.

Богдан остановился и взглянул вопросительно на хозяина.

— Благословен грядый во имя господне,— вывел его из недоумения незнакомец, поднявши для благословения руку.

— Батюшка, панотец,— смешался Богдан и подошел торопливо к руке.

— Да, изгнанный пастырь придушенной отары, служитель отнятого псами престола, но не смиряющийся перед ворогом, а дерзающий на него паки и паки *.

— О, если бы такие думки в сердце ограбленных и оплеванных,— воскликнул Богдан,— тогда бы стон на нашей земле превратился в торжествующую песнь!

— И превратится, и воссияют храмы господни, и попы облекутся в светлые ризы! Вставайте-бо, реку, острите ножи, точите сабли, за правое дело — сам бог!

— Велебный отче! Велико твое слово; трепещут сердца наши отвагой, но душа изнывает убожеством... Нам ли, грешным?

— Все мы грешны и убоги перед господом,— сдвинул черные, широкие, почти сросшиеся брови отец Иван, и лицо его приняло мрачное, угрожающее выражение,— но убожеством оправдывать свою боязнь — грех, перед богом грех! Живота ли своего жалеть нам, когда весь народ в ранах, храмы в запустении, святые алтари осквернены? Вставайте, кажу вам, святите ножи! Вставайте и вы, слабые женщины, и дети, и старцы! Мужайтесь духом, веруйте, бо горе вам, маловерные, глаголет господь!

— Да будет все по глаголу твоему,— наклонил голову Богдан,— а животов своих мы не пожалеем! Благослови же сугубо ** меня и всех нас, панотче!

Нечай, запорожец, два старца, несколько козаков и почетные мещане стояли уже вокруг Богдана перед батюшкой. Отец Иван вынул из-за пазухи кипарисный

---

* Паки — знову, ще *(старослов.)*.
** Сугубо — подвійно; тут: повторно, вдруге.

крест, висевший у него на шее на простой бечевке, и осенил им собравшихся:

— Благословение господне на вас всегда, ныне, и присно, и во веки веков.

— Аминь! — ответили дружно предстоящие и подошли к святому кресту.

— Ну, здоров будь, друже, — распростер к Богдану руки Нечай,— от тебя не сховаешься, такое уже острое око!

— Да трудно и не признать Нечая,— обнял его Богдан,— таких ведь велетнев на Украйне, пожалуй, и не подберешь пары!

— Э! Куда нам! Тебе, брате, челом! Давно не виделись... У нас ходили поганые толки, а вот, хвала богу, ты бодрее и сильнее духом, чем прежде, значит, «прыйшов час — закыс квас, а добре пыво — заграло на дыво!»

— Лишь бы только выстоялось...— задумался на минуту Богдан.— Ну что ты, друже, за все это время делал?

— Звонил на бандуре по ярмаркам и базарам, да не один, а подобрал себе и товарищей, искрестили мы много родной край: сухой порох везде, только ждет искры...

— А вот с божьей помощью выкрешем: кремень у нас свой, паны вытесали, а огниво я доброе раздобыл...

— Эх, важно! — потер руки Нечай.

— А что, Богуна не видал? Я его после похорон жены моей потерял из виду.

— Видел, видел! Темный как туча, а глаза как у волка горят, рыскает, разносит огонь между козачеством, а то иногда с голотою устраивает потехи панам либо фигли жидам...

— Сокол! Ураган! Когда б только до поры, до времени не попался....

— Надежные крылья! — заметил уверенно Нечай и оглянулся, заслышав звон фляжек.

— Ну, теперь, милости просим, закусите, чем бог послал,— пригласил к столу своих гостей ктитарь; жена его тихомолком уже поставила на стол две дымящиеся миски, одну с гречневыми рваными галушечками в грибной юшке, а другую полную вареников постных, с капустою, да флягу большую горилки, и жбан мартовского

пива; теперь она стояла у стола и припрашивала, да усаживала гостей, сметая рукой с лав и ослончиков пыль.

Хозяин налил всем по доброй чарке оковитой, батюшка пригладил бороду, волосы, поправил косу и, взявши в десницу стаканчик, сказал:

— На славу предвечного бога! Да исчезнут с лица земли все угнетатели веры и поработители труждающихся и обремененных!

— На погибель врагам! — крикнули все и осушили налитые чарки.

Когда голод был утолен и радушные хозяева налили всем гостям в большие глиняные кружки черного пенистого пива, Богдан начал рассказывать жадным слушателям эпопею своих несчастий, обманутых надежд, обид и осмеяний.

— Не ропщи, брате,— заметил батюшка, когда затих печально Богдан, растравивший рассказом свои раны,— бо ни единый волос не спадет с головы без воли отца нашего небесного... Скорбно нам терпеть беды, а в них, быть может, кроется зерно благополучия: кто может познать промысл божий? Пути его неисповедимы. Коли б над тобой не стряслась напасть, ты не поднял бы восстанья: в самой каре господней есть милость. Вот меня ночью, в лютый мороз, выкинули с семьею из хаты, выкинули нас без одежды и заперли в свином хлеве. Ну, я кое-как выдержал, а жена и дети схватили горячку и умерли.— Он говорил ровным, недрогнувшим голосом, словно все у него занемело и было недоступным для боли, только черные брови его сдвигались и глаза становились мрачней.— Отняли у меня и храм божий, и остался я, как многострадательный Иов [41], без крова, сир и убог... Но я не роптал, а гартовал сердце в горниле. Добрые люди приютили меня, нищего, прикрытого рубищем,— бросил он взгляд на свою нищенскую одежу.

— Любый панотче,— отозвался как-то сконфуженно и робко ктитарь, мигая глазами и сметая рукой крошки хлеба,— и я, и прихожане с великой радостью бы и всякие одеяния... вашей милости...

— Господи, да мы бы не знаю что,— ударил кулаком себя в грудь мещанин-старец,— так батюшка...

— Не восхотел жертвы! — перебил его отец Иван,

и еще мрачнее, темнее стали его глаза, а лицо приняло даже злобное выражение.— Да отсохни у меня рука, занемей язык, коли я дам когда заработать мерзкому арендарю, коли допущу гандлювать именем господа моего, святым обрядом нашей благочестивой веры!—Он дергал, словно рвал, свою бороду и сжимал в кулаки мощные длани.— Я не прощаю осквернителям и поругателям алтаря,— сам Христос, сын бога живого, выгнал из храма вервием торгашей... И мы повинны следовать примеру его! Бог видит мое сердце: не за себя, за него пылает оно гневом, и горе им, гонителям веры,— горе латынянам, горе унитам, горе угнетателям, погибель, гнев божий на них! — втянул он с шумом воздух в богатырскую грудь.— Горе, кажу, и вам, что боитесь подняться на защиту своего бога! Они хотели сложиться, последние гроши свои несли, чтобы купить мне ризы и заплатить за одправу жиду! Но нет, нет,— ударил он кулаком по столу,— я запретил это моим прихожанам! Не будет открывать жид нечестивыми руками дверей храма, не будет продавать слова божия! Да не имеем мы и права на слово божие, когда допустили врагов в скинию завета... Пусть умирают без крещения дети, пусть сходятся люди, как волки, без благословения бога, пусть не очищает нас святое причащение... Горе нам, мы сами заслужили господень гнев. Я, изгнанный пастырь, служитель алтаря, блукаю, как волк-сироманец, молюсь лишь тайно, чтобы господь поднял свой народ на святое дело! Я сам тогда препояшуся мечом! И клянуся, что не одену до тех пор священной одежды, пока не увижу во славе и силе церковь свою! Израиль, когда отняли у него храм, разбил тимпаны и кимвалы * и не стал, в угоду поработителям своим, петь песен священных, так и мы... Так я учу свою паству. Але мы не сядем на реках Вавилонских стенати и плакати, а лучше умрем и плотской своей смертью попрем смерть нашего духа!— С каждым словом голос батюшки креп, лицо принимало вдохновенное выражение грозной отваги.

— Умрем! — провел по глазам рукою Нечай.— Эх, и батюшка ж родной, козачий поп-рыцарь! Да вот за

* Тимпаны и кимвалы — староєврейські музичні інструменти: тимпан — півкуля, обтягнена шкірою, уживаний і тепер в оркестрах (литаври), кімвал — інструмент, подібний до мідних тарілок.

такое святое слово, будь я вражий сын, коли не пошел бы сейчас трощить головы и свою подставлять под обух!

— Именно,— воскликнул и запорожец,— каждое слово панотца что молот: так и бьет по сердцу, так и выбивает на нем неизгладимые тавра!

— Верно, верно! — подтвердили и остальные глубоко тронутые слушатели.

Богдан молчал; но волнение охватывало его могучею волной и наполняло сердце каким-то новым, широким восторгом: он чувствовал, что выхованные горем слова этого мученика попа разжигают в его груди тихий огонь в бушующее пламя, но пламя это не пепелит его отваги, а закаляет ее в несокрушимую сталь.

— Спасибо вам, дети,— сказал твердо батюшка,— я знаю вас, вы знаете меня; придет час — и каждому воздастся по делам его, а час близок! Близок, близок, говорю вам...— помолчал он, словно в безмолвной молитве, вскинувши на мгновенье глаза к небу, потом вдруг потемнел и, сжавши широкие брови, продолжал мрачно: — Они, эти псы, а не служители веры, увидя, что с аренды храма не выходит гешефта, задумали осквернить его и обратить в хлев, но... не удалось им торжество и поругание,— взглянул он в пространство свирепо и запнулся,— господь не допустил и обратил в пепел свою святыню...

Все были взволнованны и потрясены признаниями любимого батюшки и мрачно молчали.

— Отче святый и велебный,— встал Богдан величаво, словно помолодевший и окрыленный новою силой,— твое страдное сердце за тебя и за всех, твоя непреклонная вера, твой подвиг вдохнули мне бодрость и окрылили мою смутную душу отвагой!.. Да, я задумал поднять мой меч за потоптанную в грязь нашу веру, за ограбленных и униженных братьев, за нашу русскую землю! Туга налегла на ее широкую грудь; в кандалах, в крови наша кормилица-мать, ее песни превратились в стоны, ее улыбка исказилась в предсмертную судорогу... Да, мы за нее и за нашу веру ляжем все до единого! Надеюсь на милосердного бога, что он вдохнет в сердца рыцарей и подъяремного люда отвагу и что все мы повстанем за святое дело на брань!

— Благословен бог, глаголивый во устах твоих, брат! — поднял вверх крест панотец.— Да препояшет же он тебя и всех огненными мечами и да укрепит на горе врагам и на месть! — осенил он крестом всех и обнял Богдана.

— Атаман наш! Батько! Спаситель! — подходили к Хмельницкому растроганные козаки и мещане.

В это время вбежала в светлицу перепуганная жена ктитаря и сообщила встревоженным голосом: «Батюшка! Метла на небе!»

Все вскочили со своих мест и устремились на дворище; там уже стояла толпа и смотрела безмолвно вверх, пораженная суеверным страхом: действительно, на западном склоне темного, усеянного звездами неба сверкала кровавым блеском новая крупная звезда с хвостом, изогнутым наподобие сабли. Комета, очевидно, появилась давно [42], но за тучами, облегавшими небо, не была раньше видна.

Как окаменелые, занемели все в ужасе при виде грозного небесного знака.

— Смотрите, смотрите, маловерные! — вскрикнул вдохновенно батюшка, простирая к знаменью руки,— се господь глаголет к вам грозно с высоты небес. Терпение его уже истощилось, праведный гнев созрел и над вами висит! Горе вам, коли вы в малодушии станете и теперь противиться его воле, что начертана огненным знаком! Повстаньте же, очиститесь постом и молитвой и поднимите указуемый меч на защиту святых храмов и воли! Настал-бо слушный час, настал час суда и отомщения, настал час освобождения!

Объятые ужасом, потрясенные словом, все упали на колени, не отрывая глаз от кровавой зловещей звезды...

Стояла уже полная зима, когда Богдан добрался наконец до Киева. По широкой просеке леса, тянувшегося далеко за городом, быстро приближалась группа всадников к знаменитым Ярославовым валам [43]. Гулко отдавался звук конских копыт в тихом, словно очарованном лесу. Лошади шли бодрым галопом. Козаки, заломив набекрень шапки и подавшись на седлах вперед, словно спешили на герц,— такою удалью светились

у них глаза; веселая песня, казалось, готова была сорваться с их уст, только сосредоточенное молчание атамана заставляло их молчать. Он ехал впереди всех; из-под низко надвинутой шапки видны были только сжатые брови да сумрачно горящие глаза; губы его были крепко сомкнуты, и глубокие морщины, незаметные прежде, теперь резко выступали и вокруг глаз, и возле рта.

Лес начинал редеть; приподнявшись в стременах, можно было уже заметить золоченые купола святой Софии, мелькавшие иногда из-за вершин дерев.

— Гей-гей, хлопцы, — очнулся наконец Богдан, — поддай жару! Как на мой взгляд, так уже и Золотые ворота недалеко!

— А так, так, батьку, за леском площина, а там уже и валы, и эти самые ворота! — отозвались козаки.

— То-то, а мы словно сметану везем! Ну ж, живее! — скомандовал Богдан.

Лошадей пришпорили, и частый стук копыт о замерзлую дорогу наполнил весь лес.

Вскоре густой бор перешел в низкорослый кустарник, и через несколько минут всадники выехали на широкую снежную поляну.

Дорога то опускалась, то подымалась по волнистым холмам. Поднявшись на один из них, Богдан увидел прямо против себя в отдалении высокие валы, тянувшиеся широким полукругом. Вид их был так красив и величествен, что Богдан невольно придержал своего коня. Устланные густым ковром снега, они казались еще величественнее и грознее, чем были в самом деле. Глубокий ров тянулся вокруг них, высокая золоченая каменная арка с небольшою церковью, построенной на вершине ее, подымалась посередине. Мост подъемный был спущен, ворота отперты, а подле них со стороны поля видна была кучка привязанных лошадей. Из-за высоких валов ярко блестели на солнце купола святой Софии.

Богдан сбросил шапку и, набожно перекрестившись, поклонился и правой, и левой стороне; примеру его последовали и остальные козаки.

В морозном воздухе было тихо и спокойно. Богдан не отрывал своего взгляда от Ярославовых валов.

— Эх, панове братья! — вырвалось наконец у него.— Было ведь когда-то и у нас свое сильное княжество, крепко держало оно русскую землю, храбро отбивалось от татар и других ворогов... Было, да сплыло!..— вздохнул он глубоко, жаркий румянец покрыл его лицо.— И развеялись мы теперь, словно разметанное бурею стадо, без вожака и без пастыря. Ну, да ведь «не на те козак пье, що е, а на те, що буде!» — крикнул он уже бодро и, тронувши коня стременами, быстро полетел вперед.

Через четверть часа они остановились у самых Золотых ворот. Это был, собственно, гигантский свод, сложенный из громадных кирпичей и необтесанных камней, залитых цементом; позолота в некоторых местах совершенно вытерлась, в других еще блестела ярко. В средине свода устроены были тяжелые ворота, а над ними подымалась в виде башни маленькая церковь. У ворот подле разложенного костра грелась польная мейская * стража. Ответивши на вопросы ее, Богдан и его спутники въехали под мрачные своды Золотых ворот.

— Вот работа так работа, панове,— заметил он козакам, внимательно осматривая и ворота, и ров, и валы.— Когда будовалось, а и теперь поищи-ка таких фортеций — и не сыщешь нигде! Пушка не возьмет — куда! Да, когда-то эти окопы, да храброе войско, да добрый военный запас,— оживлялся он все больше и больше, любуясь укреплениями,— год, два выдержали б осаду и не сморгнули бы! Так ли я говорю?

— Так, так! — ответили весело козаки, заражаясь его оживлением.

— То-то! Да мало ли у нас на Украйне таких твердынь,— вздохнул Богдан, уже садясь на коня,— только толку мало, когда все они не в наших, а в лядских руках!

От Золотых ворот шла широкая улица, упиравшаяся прямо в ограду святой Софии. Направо и налево тянулись по ней низенькие домики; над входами многих из них болтались соломенные вехи, означавшие, что в этих гостеприимных обителях можно выпить и меду, и пива, и оковитой, да и поговорить с каким-либо знаьым и

---

* Мейская — міська.

дельным человеком. Остановившись у первого более нарядного из них, Богдан соскочил с коня и обратился к своим спутникам:

— Ну, панове, здесь можно пока что и отдохнуть с дороги, и выпить чарчину-другую, да и расспросить кстати, что и как в городе.

XXVIII

Козаки не заставили повторять приглашения и, привязавши своих лошадей к железным кольцам, вбитым в столб, стоявший у входа, поспешили войти в шинок. В комнате находилось несколько почетных посетителей. Богдан сел за особый стол и приказал подать себе и своим спутникам кое-чего для зубов и для горла. Появление его обратило на себя всеобщее внимание. Горожане начали о чем-то тихо шушукаться, поглядывая в его сторону, и накоиец более старший из них подошел к Богдану и, поклонившись, обратился почтительно к нему:

— Не славного ли сотника чигиринского видим мы перед собой?

— Если того, о ком спрашивает пан, звали Богданом Хмельницким, то он действительно имеет удовольствие видеть пана.

— Так, так, он самый, он самый! — воскликнул радостно старик, и все его седое добродушное лицо осветилось теплою улыбкой.— Ну, дозволь же, пане сотнику, обнять тебя и сказать, что мы уже давно тебя поджидаем! — и они дружески почеломкались.

— Да откуда пан знает меня? — изумился Богдан.— Вот сколько ни ломаю головы, а не могу припомнить, где встречался с паном?

— Откуда знаю?—усмехнулся добродушно старик.— А видишь ли, перед грозой всегда ветер дует и хмары гонит, вот они и принесли нам вести о тебе... Все мы знаем, — произнес он многозначительно, — и душою болеем...

— Да кто же будет сам пан? — воскликнул уже окончательно изумленный Богдан.

— Иван Балыка, цехмейстер * кушниров и братчик нашего славного Богоявленского братства.

Богдан горячо обнял еще раз старика и произнес с чувством:

— Господь посылает нам испытания, он же шлет и утешения.

— Так, так,— кивнул несколько раз головою Балыка,— в нем все утешение, в нем... Одначе, как я вижу, пан сотник едет в Нижний город [44], мы будем спутниками,— туда еду и я!

— Спасибо за ласку; право, мне начинает фортунить,— поднялся шумно Богдан.— Давно уже я в Киеве был, еще когда приходилось памятную чашу школьную пити! [45] Пан цехмейстер расскажет, что здесь творится и как поживают панове горожане киевские.

— Ну, голос-то у нашей песни везде один! — вздохнул глубоко цехмейстер.— Слышал уже ее, я думаю, пан сотник в каждом местечке, в каждом городке... Надежда в бозе, в нем одном,— прошептал он едва слышно и прибавил громко,— ну, а если показать что пану,— с дорогою душой, потому что родился здесь, жил, да и умирать собираюсь нигде иное, как здесь!

Путники расплатились и вышли из шинка. Отвязавши лошадей, они вскочили в седла и двинулись тихо вдоль по улице, ведущей к святой Софии. Цехмейстер ехал рядом с Богданом, немного впереди остальных.

— Так-то так, пане сотнику,— говорил он негромко, покачивая своей седой головой,— кто чем может, кто чем может... Да!.. Где нам поднять оружие? Не удержится оно в наших руках. Видишь,— протянул он ему жилистую, беспрерывно дрожавшую руку,— и нитку едва донесет до иголки... Тяжелая наша работа... Не воядкая потеха... Не даром шеи и спины гнет до самой земли...— Цехмейстер замолчал и пожевал губами.

— Кто говорит! — воскликнул Богдан.— Не одною саблей можно оказать помощь.

— Так, так! — оживился цехмейстер.— И ты не думай, пане сотнику, чтобы мы только за работою своею гнулись да на горе наше общее не взирали! Нет, боремся, боремся до останку. Вот, знаешь сам, братство заве-

---

* Цехмейстер — старшина цеху, тобто об'єднання міських ремісників за фаховою ознакою (кушніри, кравці, ковалі і т. д.).

ли [46], теперь уже и школы у нас, и коллегии, и эллинословенские, и латино-польские [47], и друкарская справа, все, слава богу, на моих глазах, вот хоть отхожу к богу, а сердце радуется, удалось нам, серым и темным, с пышно-славными латынянами побороться!

— А как же, как же, слыхал! — поддержал Богдан.— И детей своих думаю в ваши коллегии отдать. Горе наше в темноте нашей, нам надо стать вровне с ляхами,— нет, выше их!..

— Так, так! — улыбнулся широко цехмейстер и старческими глазами, и всеми морщинами своего темного лица.— А как зачинали, горе-то, горе какое было! — Он замолчал и глянул куда-то вдаль своими потухшими глазами, словно хотел вызвать из синеющей дали образы пережитых годов... Так прошло несколько минут в полном молчании; Богдан не хотел прерывать воспоминаний цехмейстера вопросом, ожидая, что он заговорит снова; лошади, забытые своими господами, стали, не зная, куда повернуть: направо или налево вдоль Софийского мура... Наконец цехмейстер заговорил снова; он заговорил тихим, беззвучным голосом, не отрывая от тусклой дали своих неподвижно остановившихся глаз.

— Да... горе-то, горе какое было,— повторил он снова,— злохитрый, древний враг держал нас в тенетах своих... Долго пребывали мы в мрачной лености и суете мирской, а он на тот час уводил детей наших к источнику своему... Что ж было делать? — вздохнул он.— Не имели мы ни пастырей разумных и верных, ни школ, ни коллегий,— поневоле приходилось отдавать детей к иезуитам, не оставаться ж им было без слова божия, как диким степовикам! А они, пьюще от «прелестного» источника западной схизмы, уклонялись ко мрачно-темным латынянам... И все это мы видели глазами своими, и ничего не могли сделать, ибо и наши пастыри обманывали нас и приставали к унии... Ох, тяжкое было время, пане сотнику, тяжкое,— вздохнул глубоко цехмейстер,— умирать теперь легче, чем было жить тогда!

Богдан не перебивал старика. Он знал это, но знал ли старик, что все их успехи, приобретенные такими страшными и непрестанными усилиями, были теперь на краю гибели, гибели, зависящей от одного шального, своевольного слова?

А цехмейстер продолжал, оживляясь по мере своих слов:

— Но господь сглянулся на нас, ибо воздастся каждому за смирение его. Своими слабыми, нетвердыми руками зачали мы братство под благословением патриарха. Мало было нас, а теперь посмотри, сколько в «Упис» наш вписалось рукою и душою: и зацных *, и добре оселых людей. Почитай, вся киевская земля! А особо с тех пор, как вписался старшим братчиком и фундатором нашим превелебный владыка Петр Могила [48], стали у нас и школы, и коллегии не хуже латынских, а друкарское дело и того лучше. Так и окрепли мы на силах. А когда еще вписался в наш «Упис» и его милость покойный гетман Сагайдачный со всем запорожским войском, тогда стали мы и унии, и латынянам добрые опрессии ** давать! — Старик улыбался, бледные глаза его оживились, щеки вспыхнули.— Ха-ха! Недаром же и жалуется на нас и вопит митрополит унитский, что пока стоит братство, не может здесь утвердиться уния! Только теперь не сломать уже нас латынянам,— нет, нет! И не в одном Киеве, сам знаешь, а всюду растут братства: и во Львове, и в Каменце, и в Луцке, и в Вильно...[49] Всюду растут они, и без помощи «вельможных и зацных оборонцев» крепнет наша русская земля... А кто помогал нам? Кто защищал нас? Не было у нас, слабых и темных, ни гармат, ни ружей, ни перьев борзописных, ни в прелести бесовской изученных злохитрых языков,— было у нас одно только братолюбство, вера и смирение — и господь стал посреди нас!

Старик оборвал свою речь; видно было, что волнение, охватившее его, мешало ему говорить. Руки его дрожали еще сильнее, но сгорбленная спина выпрямилась, и оживившиеся глаза бодро смотрели вперед.

Богдан слушал старика и чувствовал, что под влиянием его слов подымаются и в его душе и сила, и гордость народная, и вера в будущее своей страны... И в самом деле, если им, удрученным утисками и выдеркафами, выросшим в душных лавках, за тесными стойками, никогда не видевших ни вольной воли, ни

---

* Зацных — поважних, шановних.

** Опрессия — скрутне становище; давати опресії — ставити в скрутне становище.

козацкой удали, если им удалось отстоять свою веру от укрепленной властью и оружием панским унии и католической схизмы, то неужели же нам, сросшимся с военной бурею, не оборонить от бессильных ляхов своей воли? Нет, нет! — вырывалось бурно в душе его.— Нет! Мы еще поборемся и повоюем, и господь станет посреди нас! — повторил он слова старика, и, словно в ответ на его мысли, старик прошептал снова уже усталым голосом:

— Все в нем... В нем одном... И в воле его!..

Спутники тронули коней и поравнялись со святою Софией. Вновь реставрированный храм сверкал теперь своими белыми стенами и золочеными куполами; исправленная и заделанная каменная стена окружала его; башня над въездными воротами с кованым подъемным мостом смотрела теперь уверенно и грозно; вокруг стены шел глубокий ров, а из узких амбразур ее выглядывали кое-где жерла гармат. Храм имел спокойный вид хорошо укрепленной крепости.

Спутники остановились и, сошедши с коней, набожно поклонились дорогой святыне.

— Теперь уже наша, наша! — пояснил, широко улыбаясь, Балыка.— А ведь до него, до владыки нашего, униты сидели и здесь.

— Помню, помню, — подхватил Богдан,— когда я еще в школу ходил, свиньи здесь гуляли, заходя в самый божий храм.

— Так, так, а все он, наш доброчинец, заслона наша! — произнес с чувством старик и обратился живо к Богдану: — А пан сотник не видел владыки ни разу?

— Нет, не видал, но слышал много о нем.

— Хе-хе! Если бы говорить о нем, не стало бы и слов! — воскликнул уже совсем живо цехмейстер.— Истинно, что господь послал нам его на радость и утешение. Им все и живем... Всю жизнь трудится он на нас. Своим коштом посылает спудеев в чужие земли наставляться слову и учению божию; книжки в оборону веры друкует, школы фундует, церкви наши от волков унитских отымает. Истинно, истинно како глаголет пророк: «Во дни беззаконных укрепи правоверие!»

Тем временем спутники минули уже Софию и ехали по широкой дороге, направлявшейся от ее ограды к развалинам Десятинной церкви [50]. Направо от них тянулись

высокие земляные валы, кое-где развалившиеся, но еще грозные, за ними спускались глубокие обрывы, покрытые густым лесом; перед ними подымались стены Михайловского златоверхого монастыря. Кругом все было пустынно и тихо; но, казалось, тень мертвой славы еще витала среди этих безыменных развалин.

— Эх, был же и город когда-то...— вскрикнул наконец Богдан, сдвигая порывистым движением шапку на затылок,— себе на славу, ворогам на грозу!

— Да, говорят зналые люди,— поддержал цехмейстер,— сильный был город, не то что теперь! Тогда нечего было и ляхов нам бояться.

— Да еще говорю, и теперь, если бы кто захотел поправить все эти фортеци, твердыня вышла бы такая, что вражьим ляхам поломать бы об нее зубы!

— А если бы нашлась такая сильная рука, мы бы и ворота ей отворили,— произнес многозначительно цехмейстер.

Богдан пронзительно взглянул на него, тронул своего коня, и они быстро помчались вперед...

У развалин Десятинной церкви спутники уплатили в мытницу следуемое с них мыто и спустились с обрывистого и крутого спуска. Здесь они проехали городскую браму и въехали наконец в Нижний город — Подол.

В городе было тесно и шумно; высокие домики с остроконечными крышами теснились один подле другого; по узким и кривым улочкам сновал народ; путники должны были придержать своих лошадей.

Появление их возбуждало всеобщее любопытство и удивление. Проходящие горожане почтительно сбрасывали перед цехмейстером шапки и, поглядывая в сторону Богдана, многозначительно перешептывались. Из-за форточек высоких ворот то и дело высовывались белые головы горожанок, завернутые в длинные намитки, а в мелких стеклышках окон появлялись любопытные глазки молоденьких дивчат, сидящих с гаптованьем или с кужелями в руках. Наконец путники выбрались на широкую площадь.

Слева над ней возвышалась высокая гора, с вершины которой грозно смотрел вышний замок, обнесенный зубчатою стеной; справа тянулась длинная каменная стена, высокие, золоченые купола виднелись из-за нее, а над входом высилась остроконечная колокольня.

— Это вот и есть наше Богоявленское братство,— указал Балыка на обнесенные стеною здания,— и новый храм, и коллегии, и монастырь, и шпиталь. А теперь попрошу тебя, пане сотнику, со всем козацтвом своим заехать ко мне на хлеб радостный да у меня, коли ласка твоя, и отабориться, так сказать. Благодарение богу, есть всего вдоволь: и хата добрая, и вечеря сытная, и стайня каменная для коней...

— Спасибо, спасибо за щырую ласку,— поклонился Богдан,— а только надо мне неотложно отыскать лавку Петра Крамаря,— говаривал Богун, что здесь где-то, подле ратуши.

— Петра Крамаря?! — воскликнул старик. — Ну что же, это дело, а все же я жду панство если не на обед, то на вечерю. Ну, еще увидимся... Петра Крамаря! — улыбался он.— Ну это добре, добре... Да вот его самая и лавка, там, за ратушей, вон в том ряду,— указал он рукою по тому направлению, где за ратушей тянулся через площадь длинный ряд лавок.— Ну, а теперь прощай, пане сотнику, увидимся еще! Бувай здоров и помни все, о чем я говорил.

— Бувай здоров, пане цехмейстре,— обнял его Богдан.— А за слово справедливое и разумное спасибо, будем помнить, оно скоро пригодится.

Спутники распрощались. Цехмейстер направился к Житнему торгу, а Богдан—по указанному направлению.

Остановившись у длинного каменного здания, он передал своего коня козакам и вошел в лавку, над которой развевался кусок красного сукна. В лавке было темновато, так что Богдан не сразу рассмотрел обитателей ее. Подле прилавка стояло несколько степенных покупательниц. В глубине же Богдан заметил почтенного купца в длинной одежде, подпоясанной широким кожаным кушаком. Темно-желтое, словно пергаментное лицо его было покрыто резкими морщинами, черные как смоль брови с пробивающимися кое-где сединами сходились над переносицей резким взмахом, желтокарие глаза смотрели из-под них остро, пронзительно, орлиный, заостренный нос дополнял фанатическое выражение этого лица.

— А что, пане Крамарю,— подошел к нему Богдан,— много ли есть шкарлату? Высокая ли цена?

При первых словах Богдана Крамарь вздрогнул и

впился в него глазами, затем, не говоря ни слова, он распахнул перед Богданом низенькую дверь и, введши его в небольшую комнату, сплошь заваленную нераспечатанными тюками товаров, вскрикнул подавленным, неверным тоном:

— Пан сотник Хмельницкий, тебя ли привел к нам господь?

— Он самый,— протянул ему руку Богдан.— Много слышал я о тебе от нашего славного Богуна; говорил он мне, что ты помогаешь здесь козакам и делом, и душою, что ты собираешь здесь из окрестных сел ограбленных и коштом своим справляешь на Запорожье.

— И правду он сказал; клянусь моею правою верой,— перебил его порывисто Крамарь,— все, что имею, все достатки мои, все отдам, лишь бы ширилась сила козацкая, и верю, что господь не возьмет меня, пока не увидят очи мои, как восстанет он в гневе и ярости сынов своих!

— Я знал это, затем и пришел к тебе,— произнес твердо Богдан, и взгляд его столкнулся с вспыхнувшим взглядом Крамаря.— Много слышал я о Киевском братстве и приехал сюда, чтобы прилучиться к нему душой и телом и искать у братьев братской помощи, потому что истинно говорю вам: «Настало время и час приспе».

— Да будет благословен тот день, когда ты прибыл к нам,— воскликнул горячо Крамарь, склоняясь перед Богданом,— как засохшая земля дождя, так ждали мы тебя всею душой!..

XXIX

Уже вечерело, когда Богдан вышел в сопровождении своего нового знакомца на широкую ратушную площадь. Купцы уже запирали лавки тяжелыми засовами; на крышах остроконечных домов зажигались тусклые масляные фонари; движение утихало, но любопытные горожанки еще сидели на скамеечках у своих ворот и сочувственно покачивали своими головами, передавая друг другу горячие новости дня. В воздухе чувствовался легонький морозец, звезды на небе ярко загорались; снег поскрипывал под сапогами прохожих. Обойдя высокое и сумрачное здание ратуши, Богдан и Крамарь подошли

к стене Братского монастыря [51]. По деревянным ступеням подымались уже многие горожане. Все шли тихо и степенно, без шума и разговоров. Богдан заметил снова с изумлением, что все встречающие их с почтением обнажали головы перед новым его спутником.

Пройдя под сводами колокольни, они вышли на широкий двор, посреди которого подымался великолепный новый храм с пятью золочеными куполами; направо и налево тянулись длинные здания.

— Все своим коштом,— пояснил ему Крамарь, указывая на храм,— помог еще московский царь [52], спасибо ему, а то все сами.

Повернувши налево, они вошли в узкий коридор со сводчатым потолком. Через несколько шагов он расширился и образовал просторные сени; направо и налево вели две низенькие темные двери, у каждой из них стояло по два горожанина.

— Братчику! — обратился к одному из них Крамарь.— Отведи нового брата в збройную светлицу; ты должен, пане сотнику, оставить в ней все свое оружие, да не внидет кто на нашу братскую беседу с оружием в руках.

Сказав это, Крамарь указал братчику на Богдана и сам прошел в правую дверь. Богдан последовал за своим проводником. В небольшой комнате, в которую вошли они, было уже несколько горожан; каждый из них снимал свое оружие и, положивши его, выходил из нее. Тишина и сдержанность, с какою двигались и говорили все эти люди, снова поразили Богдана. Последовавши их примеру, он снял все свое оружие и вышел вслед за ними в сени. Стоявший у дверей горожанин распахнул перед ним низенькую дверь, и Богдан вошел в большую комнату с таким же сводчатым низким потолком. В комнате было светло. Перед Богданом сразу мелькнуло множество народа, большой стол с зажженными на нем канделябрами, шесть почтенных горожан, сидевших подле него... Хотя от сильного освещения он не мог рассмотреть их сразу, все-таки ему показалось, что два лица из них были ему знакомы. Открывши снова глаза, он с изумлением заметил, что на председательских местах за столом сидели оба его новые знакомца. Ярко освещенные восковыми свечами лица их были серьезны и сосредоточенны. Казалось, они вполне дополняли друг

друга. Тогда как лицо Балыки со своими выцветшими, старческими глазами глядело до чрезвычайности ласково и добродушно, лицо Крамаря, с его вечно сжатыми бровями, глядело энергично и сурово, а вспыхивающие глаза свидетельствовали о постоянной мысли его, вечно жгущей фанатическим огнем. По правую сторону их сидело еще по два горожанина. Теперь Богдан мог рассмотреть и огромную комнату с тщательно закрытыми окнами, похожую на монастырскую трапезную. Уставленная длинными лавками, она была полна народа. Перед Богданом открылся целый ряд немолодых, морщинистых лиц, измученных и утомленных, но с выражением какого-то тихого и теплого света в глазах. Они сидели один подле другого близко и тесно, вплоть до конца комнаты, который уже терялся в полумраке. Когда Богдан вошел, два братчика, стоявшие у дверей, вошли также за ним и, задвинувши в дверях тяжелый засов, заняли свои места.

В комнате было тихо и торжественно, словно в церкви. Богдан почувствовал, как в сердце его шевельнулось что-то теплое и радостное, близкое и родное ко всем собравшимся здесь людям.

— Милые панове братчики наши! — начал громко Балыка, подымаясь со своего места и опираясь руками на стол.— Радостною вестью открою я сегодняшнюю сходку нашу: слышали вы, верно, не раз о пане войсковом, писаре чигиринском Богдане Хмельницком, о тех тяжких працах, которые носил он не раз для родной земли, и о той тяжкой кривде, которую понес он от сейма и от вельможных панов. Господь привел его к нам. Господь, благословивший наше скромное братство, желает усилить оное мощною рукой.

В комнате послышалось движение. Все лица оживились, все головы закивали, наклоняясь друг к другу, шепча радостные живые слова. Казалось, что весенний ветерок зашелестел в осенних, еще не упавших листьях, неся им, уже отжившим, весть о свете, о солнце, о новой жизни, новой весне.

— Но прежде, чем принять тебя в милые братья свои,— поднялся с места Крамарь, и снова умолкло все собрание,— мы спросим тебя, пане сотнику, по доброй ли воле и охоте желаешь ты вписаться до нашего «Упису» братского, яко глаголет нам апостол: «Едино в любви

будете вкоренены и основаны», и горе тому человеку, им же соблазн приходит!

Крамарь опустился, и взоры всех присутствующих обратились на Богдана.

— Милые и шановные панове братчики, мещане, горожане и рыцари киевские,— начал он взволнованным голосом произносить установленную формулу ответа,— взявши ведомость о преславном и милейшем братстве вашем Киевском, а маючи истинную и неотменную волю свою, прошу вас, не откажите мне в принятии в братья ваши, так как прибегаю к вам всем щырым сердцем своим и клянусь пребывать единым от братий сих, не отступаючи от братства до самого последнего часа моего, не сопротивляться во всех повинностях его, но с врагами его бороться всем телом и душой.

Словно легкий шелест, пробежал тихий, одобрительный шепот по всем рядам.

— Панове братчики наши,— поднялся снова Крамарь,— хотя все мы знаем и шануем пана писаря, как лучшего рыцаря войска Запорожского, но да не отступим ни для кого от раз установленных нами правил артикулов: итак, кто из вас, братчики милые, имеет сказать что не к доброй славе пана писаря, говорите от чистого сердца, да не примем в братство наше ни Анания, ни Иуды, ни Фомы! [53]

Все молчали, но по лицам горожан Богдан ясно увидел, что все они глядят на него с любовью и умилением и что только строгое правило сдерживает их порыв и мешает ему вылиться в восторженных восклицаниях.

— Итак, панове, никто из вас не скажет о шановном рыцаре ни единого черного слова, тогда не скажем и мы,— произнес радостно и торжественно Балыка.— Принимаем же тебя, пане писаре, все, как один, единым сердцем, единою волею! — поклонился он в сторону Богдана.

Богдан хотел было заговорить, но в это время поднялся пан Крамарь.

— Постой, пане писарю,— остановил он его.— Прежде чем ты произнесешь перед нами братскую клятву,— сказал он строго,— ты должен узнать докладно устав наш и все артикулы его, так как за измену им мы караем отступников вечным от нас отлучением.

— Слушаю и прилучаюсь к ним всем сердцем и душою,— ответил Богдан.

— Брат вытрикуш *,— обратился Балыка к одному из горожан, сидевших по правой стороне.— Принеси сюда из скарбницы нашей скрыньку братерскую.

Тихо и бесшумно поднялись два горожанина и отворили низенькую дверь, находившуюся за столом, вошли в маленькую келийку и с трудом вынесли оттуда кованый железом сундучок, который и поставили перед старшими братчиками. Пан Крамарь снял с своей шеи длинный железный ключ и передал его Балыке. Балыка отпер им хитрый замок и вынул желтую пергаментную бумагу с огромною восковою печатью, висевшею на шелковом шнурке, и, передавши ее своему соседу направо, произнес:

— Брат вытрикуш, читай устав наш братский, утвержденный патриархом Феофаном, чтобы ведомо было всем и каждому, в чем клянемся мы друг другу и на чем стоим.

Брат вытрикуш встал и развернул длинный лист. Старшие братчики опустились. Один Богдан стоял посреди комнаты. Все занемело кругом.

— Во имя отца, и сына, и святого духа,—начал громко и внятно брат вытрикуш.— Послание к коринфянам, глава VI. «Вы-бо есте церкви бога жива, яко же рече бог: аз вселюся в них, и похожду, и буду им бог, и тии будут ми людие»,— глаголет господь вседержитель.

Предмова ко всем благоверным всякого возраста и сана православным людям. Возлюбленная, возлюбим друг друга, яко любы от бога есть, и всяк, любяй от бога, рожден есть и разумеет бога, а не любяй — не позна бога. Иде же аще любовь оставится, все вкупе расторгнутся, без нее-бо не едино дарование состоится. Не именем-бо и крещением христианство наше совершается, но братолюбием, зане и глаголет нам господь: «Идеже есте два или трие во имя мое, ту есмь посреди вас» [54].

В большой светлице было так тихо, словно наполнявшие ее люди замерли и онемели. Голос брата вытри-

---

* Вытрикушами назывались двое из братьев, избранные для надзора за порядком и благолепием в церкви; они ходили с кружкою, раздавали братчикам свечи, прятали святые книги, сосуды, одежды и пр. *(Примітка автора).*

куша звучал ясно и сильно в глубокой тишине, и, слушая эти теплые слова, Богдан вспоминал невольно роскошные и разнузданные сеймовые собрания, полные кичливости, эгоизма и презрения. О, как не похожи они были на эту тихую и любовную братскую беседу! Правда, перед блеском и пышностью сеймового зала большая светлица, со старательно запертыми окнами и дверьми, казалась угрюмой и мрачной; правда, не звучали здесь гордые, полные надменности орации и споры панства, а слышалось только тихое, простое слово, полное смирения и любви; правда, и согнутые темные фигуры горожан казались бы и жалкими, и смешными перед залитыми золотом и каменьями пышно-вельможными панами, но в этом собрании темных, гонимых людей чувствовалось что-то такое трогательное и сильное, что переполняло всю наболевшую душу Богдана теплою и радостною волной. Он чувствовал, что все эти теряющиеся там во мраке лица, изнуренные томительною жизнью и непосильною борьбой, близки ему, что все они истинные братья, что все они борются вместе за одно дело, великое и святое, как и эти простые глубокие слова... Там пышные цветы вянут и упадают с усыхающих ветвей могучего дерева, а здесь, в неизвестной глубине, темные и невзрачные корни ведут упорную непрестанную работу, высылая на поверхность земли молодые побеги, полные новой жизни и силы... И вместе с этим сознанием новая радостная уверенность наполняла его существо, и мысли о гнусной измене Елены, и жажда мести, и злоба уплывали куда-то далеко-далеко, а глаза застилал тихий, теплый туман...

Между тем брат вытрикуш читал дальше:

— «Возглаголем же сия первое утешение о скорбях и напастях наших: радуйтеся, яко же и Спас рече: «Блаженни изгнанные правды ради, яко тех есть царствие небесное! Ниже малодушествуйте, яко ныне вам вне града молитвы деяти, но веселитеся, зане и Христос вне града распят бысть и спасение содея!»

Богдан взглянул кругом: утешение, звучавшее в этих словах, оживляло всех братьев, как небесная роса оживляет никнущие к земле, умирающие цветы. Выцветшие глаза Балыки глядели вперед с каким-то умилением и надеждой, а седая голова его тихо покачивалась, словно снова переживала все эти долгие, тягостные дни.

Прочтя вступление, брат вытрикуш перешел к артикулам. Он прочел о порядке принятия в братство, о порядке избрания старших братчиков и других должностных лиц, об обязанностях их, которые должны быть строго хранимы для того, чтобы «чрез нестаранне и оспалость йх знищенная и опустошенная церква божия не терпила». О том, как должны держать себя братья на сходках «порожных и непотребных розмов не мовыты, а тильки радыты о церкви божий и о выкованню своего духовного и чтоб наука всякая христианским детям была». О том, как братчики должны хранить в глубокой тайне содержания братских бесед. Об обязанностях их заботиться и призревать бедных и бездомных, коим негде голову преклонить, об устройстве для них братских обедов и подаянии им денежной помощи. Об обязанности их общей заботиться, о церкви божией и пастырях ее, охранять и беречь ее как зеницу ока. Дальше говорилось об отношениях братьев между собой, о том, что они должны любить друг друга не только поверховно, но всем сердцем и душой, не ставя себя один выше другого.

Далее всем вменялись любовь, смирение, верность и милосердие: «Чтобы все братия милосердия были зерцалом и прикладом всему христианству побожных учеников».

— «Глаголет-бо священное писание,— заключил торжественно брат вытрикуш,— да просветится свет ваш перед человеки, да, видевше ваша добрая дела, прославят отца вашего, иже есть на небесех».

— Теперь, брате, ты слышал наши артикулы,— обратился к Богдану Крамарь,— отвечай же нам по чистой и нелицеприятной совести: согласен ли ты покоряться им во всем? «Яко лучше есть не обещатися, нежели, обещавшися, не исполнити».

— Саблей моей клянусь исполнить все свято и непорушно! — вскрикнул горячо Богдан.

— Добре, — заключил брат Крамарь, — клянися ж нам в том не саблею, а святым крестом! — и, вынувши из братской скрыньки темный серебряный крест простой и грубой работы, поднял его с благоговением над головой. Перед Богданом поставили небольшой аналой, на котором лежало евангелие, сверх него положили обветшавшую грамоту; подле аналоя стали с двух сторон

братья вытрикуши с высокими зелеными свечами в руках. Все встали; Богдан поднял два пальца.

— Во имя отца, и сына, и святого духа,— начал он громко и уверенно,— я, раб божий, Зиновий-Богдан [55], приступаю до сего святого церковного братства и обещаюсь богу, в троице единому, и всему братству всею душою моею, чистым же и целым умыслом моим, быти в братстве сем, не отступаючи до последнего часа моего...

Дальше шел целый ряд страшных клятв, в случае измены брату. «Да буду и по смерти не разрешен, яко преступник закона божия, от нее же спаси и сохрани мя, Христе боже!» — окончил Богдан.

— Аминь! — заключил торжественно Крамарь.— Отныне ты брат наш и телом, и душою...[56] Не ищи же в беде ни у кого защиты, токмо у братьев своих, и верь, что они положат за тебя и душу свою! — и Крамарь порывисто заключил Богдана в свои объятия.

— Витаю тебя всем сердцем, брат мой,— подошел к Богдану Балыка, и Богдан увидел, как старческие глаза его блестели тихою радостью,— всем сердцем, всем сердцем,— повторял он, обнимая Богдана,— да единомыслием исповемы.

— Братчики милые,— обратился Крамарь к собранию,— витайте же и вы нового брата.

Давно жданное слово словно сбросило оковы со всего собрания. Шумная толпа окружила Богдана. Горячие руки пожимали его руку, принимали в объятия; добрые постаревшие и молодые лица, воодушевленные пробудившеюся энергией, радостно заглядывали ему в глаза. «Будь здоров, брате, милый, ласковый брате!» — слышал он отовсюду и, куда ни оборачивался, всюду видел радостные, оживленные глаза.

XXX

Долго продолжалась дружественная братская беседа; наконец брат Крамарь ударил молотком.

— Постойте, панове-братья,— обратился он ко всем,— нашему новому брату надлежит исполнить еще одну повинность, о которой знаете вы все. Брате Богдане, при вступлении в наше братство каждый брат офирует до

братской скрыньки двенадцать грошей, кто же хочет дать больше — может, только с доброй воли своей.

Богдан вынул из пояса толстый сверточок и высыпал на стол двенадцать червонцев.

— Благодарим тебя от всего братства,— поклонились разом старшие братья.— Брат вытрикуш,— обратился Крамарь к своему соседу,— подай новому брату «Упис» и каламарь (чернильницу).

Перед Богданом положили на столе «Упис». Богдан перевернул толстые пожелтевшие листья и подписал под длинным рядом подписей крупным витиеватым почерком: «Прилучылемся до милого братства Богоявленского киевского рукою и душою. Богдан Хмельницкий, писар его милости войска королевского, рука власна».

— Хвала, хвала, хвала! — зашумели кругом голоса.

— Панове-братья,— обратился Богдан к Крамарю и Балыке, когда поднявшийся шум немного умолк,— дозволите ль молвить мне слово?

— Говори, говори! — возгласили разом и Крамарь, и Балыка.

— Ласковые пане-братья: мещане, горожане и рыцари киевские,— поклонился Богдан всему собранию,— от всей души моей благодарю вас за честь, что выбрали меня в братья свои. Воистину настал-бо час, когда только в братстве своем можем искать мы защиты. Нет у нас больше ни прав, ни законов, охраняющих поселян и горожан в каждой стране: единый-бо оборонец наш, король, поруган и унижен сеймом и лишен всяких прав. Все вы знаете о том страшном злодеянии, которое потерпел я, да разве я один? Все это ожидает каждого из нас! Утесняют вас выдеркафами и налогами. Это еще золотые времена: скоро отберут у вас и крамницы ваши, скасуют и цехи. Мало! Удалось вам с помощью козаков посвятить на святые епископии после долголетнего пленения превелебного митрополита и епископов [57], и утишилась уния в нашей стороне, но теперь уже не то! Король, говорю вам, уничтожен, и под покровительством ксендзов и унитов ширится уния и охватывает наш край. Вы не знаете того, что творится там... за вашими городскими стенами,— арендаторы забирают церкви божьи в аренду, обращают в скотские загоны; священнослужители сами жгут их, чтобы не отдавать в поругание... И единую

силу нашу, войско козацкое, стараются теперь уничтожить паны... Нигде, братья, нигде не найдем мы помощи едино друг от друга! Так будем ли мы розниться, козаки от горожан и горожане от козаков? Не единой ли мы, братья, матери дети, не за одно ли дело святое стоим?

В комнате послышался едва сдерживаемый шум.

— Когда не станет на Украйне козаков,— продолжал Богдан,— тогда погибнет последняя сила, которая еще сдерживает панов, и заглохнет тогда уже навеки и вера наша, и имя наше, и вся наша украинская земля. Скажите же мне одно слово, братья: если настанут те горькие часы, когда женам и детям придется бросать дом свой и искать пристанища у медведей и волков, не откажете ли вы тогда в своей помощи братьям или оставите их гибнуть один за другим за свой обездоленный край?

И вдруг все ожило в мрачном зале. Горячий порыв заставил всех забыть строгие артикулы устава. Казалось, сильный вихрь ворвался на широкую степь и закрутил, заметал сухой, посеревший ковыль. Строгие степенные горожане вскакивали на лавы, махали Богдану шапками, выкрикивали горячие, прочувствованные слова.

— Поможем! Все отдадим! Ворота откроем! Едино тело, един дух, едины есмы! — раздавались отовсюду воодушевленные возгласы.

Когда утихли наконец шумные порывы восторга, брат Крамарь напомнил всем, что пора идти в церковь отслужить благодарственный молебен по случаю принятия нового брата.

— Сам превелебный владыка будет служить сегодня,— пояснил он Богдану,— я известил его о прибытии твоем.

Братчики начали выходить из собрания парами, чинно, один за другим.

Взволнованный и растроганный вступил Богдан в обширный братский храм. Таинственный, тихий сумрак наполнял его... У наместных образов теплились свечи и лампады, но остальная часть храма тонула под высокими сводами в густом полумраке. Братчики остановились перед царскими вратами. Богдан оглянулся кругом: сквозь узкие окна купола смотрело синее звездное небо, и страшный небесный знак, теперь еще увеличившийся,

горел на нем зловещим огнем... Вытрикуши роздали всем братьям высокие зеленые свечи, а Богдану еще большую, тяжелую свечу, разукрашенную венчиками и цветами... Свечи зажглись одна от другой, и свет наполнил полуосвещенный храм. Послышался звук запираемой двери... Кто-то робко кашлянул, кто-то вздохнул, и все замерло в немом ожидании... Голубая шелковая занавесь царских врат тихо всколыхнулась и отдернулась; из-за резных, золоченых врат показалась внутренность алтаря, наполненная легким голубым полумраком; свечи на престоле горели высоким треугольником, а у иконы богоявления, занимавшей всю заднюю стену, колебалась на серебряной цепи красная лампада, словно капля сверкающей крови... У престола, спиной к церкви, стоял наипревелебнейший владыка Петр Могила, митрополит киевский. Богдан увидел только высокую сильную фигуру в белом парчовом облачении и серебряной митре на голове.

— Слава святей и единосущней троице! — раздался громкий и властный голос.

— Аминь,— прозвучало тихо с хор. Служение началось.

Ни единый звук, ни единый шорох не нарушал святости служения... Освещенные восковыми свечами лица горожан были строги и серьезны... Тихо, вполголоса раздавалось с хор простое, но за душу берущее пение, и только голос митрополита звучал в этой смиренной тишине громко, повелительно и властно. Давно неведомое умиление спустилось на Богдана... Как теплые волны ласкают и успокаивают измученное тело, так умиротворяло оно больную душу его... И обиды, и оскорбленья, и пережитое горе как бы исчезали из памяти... Перед ним стояло ясно только что пережитое братское собрание. «Едино тело, един дух, едины есмы»,— повторял он сам себе, и это сознание наполняло его душу чувством нового братского единения. Хотя он еще не видел лица митрополита, но уже одна сильная осанка его и голос, звучавший так уверенно и властно, невольно влекли к себе его сердце. Способствовала ли тому громкая молва и слава, которая окружала имя Могилы, или действительно его величавая наружность так очаровывала человека, только Богдан ждал с нетерпением, когда владыка оборотит к молящим лицо свое. Служение близи-

лось к концу. Митрополит повернулся наконец от алтаря и появился в царских вратах. Драгоценные камни в серебряной митре его ярко горели и словно осеняли его венцом сверкающих лучей. Лицо его было темного, почти оливкового цвета, длинная черная как смоль борода спускалась на грудь, густые брови сходились над сильно очерченным орлиным носом, огромные черные глаза глядели смело, каким-то огненным, проницающим насквозь взглядом. Вся фигура, всё лицо его дышали той силой, умом и энергией, которые так властно приковывают к воле своей все сердца. Владыка остановил на Богдане свой пристальный взгляд, и глаза их встретились. Богдан почувствовал, как этот огненный взгляд вонзился в него и словно насквозь прохватил его сердце.

Но вот окончилась служба.

В дверях алтаря показался владыка уже не в блестящем облачении, а в монашеской одежде, только на черном клобуке его над самым лбом ярко горел бриллиантовый крест. Все стали подходить попарно под благословение. Вытрикуши гасили одну за другою свечи и лампады у образов. Братчики безмолвно выходили из церкви. Густой мрак охватывал своды, колонны, хоры и купола. Только на престоле еще горел высокий треугольник свечей, разливая кругом тихий, лучистый свет. Церковь пустела. Богдан хотел было выйти вслед за другими, но в это время к нему подошел брат вытрикуш.

— Брате,— проговорил он,— святейший владыка хочет видеть тебя и ждет в алтаре.

Богдан последовал за ним. Тихо скрипнула северная дверь иконостаса, и они вступили в алтарь. Какое-то благоговейное и трепетное чувство охватило Богдана. В алтаре не было уже никого, кроме владыки. Он сидел в глубине на высоком митрополичьем троне. Черная мантия падала вокруг него тяжелыми, мрачными складками. Лицо его было серьезно и строго, а черные глаза, казавшиеся еще большими от темной тени, падавшей на них, глядели вдумчиво, сурово, почти печально.

Богдан низко поклонился и остановился у дверей.

— Брат вытрикуш,— произнес митрополит,— запри церковь и оставь нас, мы выйдем через мой вход.

Молча поклонился вытрикуш и вышел из алтаря.

Шаги его глухо прозвучали по железным плитам

пола и умолкли. Через несколько минут раздался звук запираемого засова, и все стихло. Сердце у Богдана екнуло. Владыка не отводил от него своего глубокого, строгого взгляда. Казалось, он испытывал и изучал его.

— Пан писарь войска Запорожского Богдан Хмельницкий? — спросил он наконец по-латыни.

— Так, ваша яснопревелебность, это он имеет счастье говорить с вами,— ответил по-латыни же Богдан.

— Приветствую тебя, как нового брата!

— Благодарю господа, что он сподобил меня чести этой,— склонил голову Богдан.

— Я слышал много о тебе, пане писаре.

— Но славе этой обязан я, к несчастью, ваша яснопревелебность, не доблести моей, а тому тяжкому горю, которое так нагло посетило меня.

Могила внимательно взглянул на Богдана: разговор, который колебался до сих пор, словно чаши весов, начинал устанавливаться.

— Не будь излишне скромен, брат мой; твое горе еще больше привязало к тебе сердца козаков, которыми ты владел и доселе, а владеть сердцами свободными может только тот, кто достоин такой власти.

— Служу всем сердцем отчизне и вере.

— И бог гонимых возвеличит тебя! — произнес твердо митрополит.

В алтаре наступило молчание. Высокий треугольник свечей разливал вокруг престола лучистый свет.

Сквозь резные врата видна была церковь, полная мрака и тишины. Вся строгая фигура митрополита тонула в полумраке, только бриллиантовый крест на черном клобуке его горел дрожащим огнем. Богдан почувствовал, как сердце его забилось горячо и сильно.

— Я слышал и знаю уже все о решениях сейма,— заговорил после долгого молчания Могила,— знаю и о решении знаменитой комиссии,— усмехнулся он,— которое привез мне мой посол; вместо облегчений, они, вдобавок ко всем утискам, запретили снова людям греческой веры занимать должностные места и таким образом хотят снова повергнуть нашу веру только в темную массу народа. Слышал я и о том тяжком оскорблении, которое получил ты, пане писаре, на свою законную жалобу, но скажи мне одно: неужели не было и у тебя, такого славного, храброго рыцаря, известного по всей

Украйне, другого средства для защиты, как обратиться к этим лживым и преступным схизматам?

— Клянусь, оно было и есть у меня не только для защиты, но и для расправы,— вскрикнул Богдан, разгораясь при одном воспоминании о сейме,— но, наипревелебный владыка, это была последняя попытка узнать, есть для нас хоть какое-нибудь право в этой нашей и чужой земле! Я верил и верю в короля, доброчинца и оборонца нашего. Я ехал с последней надеждой на него. Но что мог он мне сделать? Когда, униженный и оскорбленный, бросился я из сейма, он призвал меня к себе. «Ты видишь сам,— проговорил он с печалью,— лишенный власти, не в силах я скрепить свои законы, когда сейм решит ваши права: вы воины, и есть у вас и сабли, и рушницы!»

— Так,— сжал владыка свои черные брови и произнес суровым голосом,— правду он сказал: нет в этой стране другого права, кроме железа и огня! В последний раз я обращался к сейму, отныне буду защищаться уж сам. За время торжества унии вельможи отторгли от обитателей наших множество земель и деревень, и церкви божии оттого лежали в запустении, не имея ни благолепия, ни скудного содержания для служителей алтаря... Мои предшественники искали у судов защиты — и суды смеялись над ними. Но я... да не осудит меня за это господь,— поднял он к небу свои огненные глаза,— когда благословил Маккавеев на защиту храма предков своих [58], я больше не ищу ни у кого защиты! Господь поставил меня стражем дома своего, и я стерегу его и охраню,— стукнул он с силою золоченым посохом,— от всех врагов! Когда на стадо нападают волки, не словом ограждает пастырь свою паству, но жезлом... Жезл у меня, и пока он в этой руке, не напасть хищным волкам на стадо господа моего! Есть в нашей обители много иноков юных, много сабель и гармат... Чего не отдают нам по праву, то мы возьмем силой! — заключил гневно владыка, и темные глаза его вспыхнули снова жгучим огнем.

— Наипревелебный владыка, святое слово твое,— воскликнул горячо Богдан,— и мы докажем его! Ты знаешь сам,— заговорил он с горячечным воодушевлением,— что после восстания Гуни козацкие бунты срывались уже не раз, не раз грозили они все новыми и но-

выми бедствиями отчизне, и только я, я один удерживал их от бунта с опасностью жизни своей. Сколько раз позор и проклятье козачества висели надо мною, сколько раз жизнь моя бывала в их руках, но я жертвовал всем, я все забывал, лишь бы сдержать их от последней вспышки, которая могла бы окончиться бедой для бедной отчизны, для панов и для нас... Король обещал нам вернуть все наши привилеи, и мы ждали... Но это была последняя капля терпения, она переполнила чашу и льется, льется через край... Клянусь тебе, превелебнейший владыка, когда на жалобу мою, на воззвание отца к отмщению за убитого сына, я услышал лишь отовсюду смех и глумленье — небо разорвалось, земля зашаталась под ногами у меня,— и разум, и воля — все угасло, осталась одна только жажда мщения, мщения до смерти, до конца! — Богдан задыхался.— И я дал себе, владыка, страшную клятву: я поклялся прахом моего замученного сына, последним вздохом его — отмстить им за все: за народ, за себя и за веру, отмстить так беспощадно, как только умеют мстить козаки! — выкрикнул резко Богдан и умолкнул. Дыхание вырывалось у него с шумом, на лбу выступили холодные капли пота. Владыка глядел на него серьезно и строго, почти печально... Под высокими сводами витала торжественная и мрачная тишина.

— Стой! — проговорил владыка, простирая над Богданом свою темную руку, а глаза его сверкнули грозным огнем.— Горе тому, кто для своей гордыни соблазнит единого от малых сих! Господь меня поставил пастырем над вами, и я охраняю стадо мое. Отвечай мне, как твоему отцу: не за свою ли только гордыню, не за свою ли обиду подымаешь ты и бунтуешь народ? Не таи ни единого слова,— поднялся владыка,— здесь с нами бог. Он слушает и читает в душе твоей.

Какой-то священный трепет пробежал по всему телу Богдана. Владыка стоял перед ним величественный и строгий. Какой-то необычайный свет горел в его глазах; в своей поднятой руке он высоко держал золоченый крест. В храме было тихо; иконы глядели со стен алтаря сурово и строго. И вдруг Богдану послышался в куполе какой-то невнятный шорох, словно веянье невидимых крыл.

— Владыка,— воскликнул он, падая перед ним на колени,— как перед господом великим, я не укрою от тебя ни единого движения души!

Могила опустил на его голову свою руку, и Богдан заговорил прерывающимся, взволнованным голосом:

— Во всем я грешен, грешен, владыко, человек-бо есмь. Ты, превелебный владыка, богом избран на сан высокий, ты богом и огражден. Душе твоей, отрешенной от жизни, неведомы все те соблазны, которые опутывают нас в трудной жизни мирской. А мы... а я...— Богдан запнулся, как бы не имея сил говорить дальше.— Владыка,— вырвалось у него наконец с невыносимою болью,— тяжелый грех ношу я в сердце...

Богдан умолкнул и опустил голову.

XXXI

Богдан помолчал и продолжал лихорадочно-торопливо:

— Покуда я не знал... ее... ее... Елены,— произнес он наконец с трудом мучительное слово,— вся жизнь и вся душа моя принадлежали только родине. Но с тех пор, как я увидел ее,— все говорю перед тобою, как перед господом на страшном суде,— я потерял волю, силу и разум. Елена заняла в душе моей первое место. Я сам обманывал себя, я оттягивал нарочито уже назревшее дело, чтобы не оставлять ее... Мало! Когда я узнал о решении сейма, в душе моей впервые проснулась ужасная мысль: не восстать, нет, а бежать вместе с нею, покинуть отчизну, народ мой, веру, все, все, лишь бы не расставаться со счастьем, доставшимся мне на закате дней. О превелебный владыка, ты этого чувства не знаешь! Суди меня, но по милости — прости! Когда я увидел свое пепелище, когда труп сына лежал на руках моих,— продолжал с какою-то яростною болью Богдан,— что, думаешь ты, больше всего убило меня? Я терзался о том, что другой обнимает теперь ее стройное тело, целует ее дивные очи, ее роскошные уста; все закипало во мне, зверем лютым, дияволом становился я и забывал все кругом... Да, тебе говорю истину: на сейм я ехал с одной мыслью: все, все поставить на карту, загубить тысячи жизней, только отмстить им и возвратить ее себе! — Богдан остановился, чтобы перевести дыхание.— Но возвращался я другим,— произнес он медленно тихим, упавшим голосом.— Когда передо мной

предстали воочию все муки и страдания моего народа, когда сейм отнесся с таким презрением и насмешкой к козацкой просьбе и к страданиям моим, вся кровь закипела во мне; но не за себя, бог видит, отче, а за всю мою отчизну, которую они потоптали в лице моем. И я поклялся себе,— произнес он задыхающимся шепотом,— прахом моего замученного сына, отдать отчизне теперь все силы, всю душу мою! Душа моя готова, владыка, угасли в ней все страсти, одна святая месть пылает здесь за родину, за веру, за бедный мой народ!

Богдан замолчал, лицо его было измучено и бледно; на лбу выступил холодный пот, но глаза горели чистым и светлым огнем.

Владыка сложил руки на голове Богдана и, поднявши глаза к небу, тихо зашептал слова молитвы, а затем произнес вслух вдумчиво и строго:

— Властью, данною мне господом богом, отпускаю тебе, сын мой, все прегрешения твои!

Богдан припал к руке владыки. Несколько минут длилось строгое, торжественное молчание.

Наконец Богдан поднялся и с глубоким вздохом провел рукою по лбу. Владыка опустился на свое кресло. Казалось, он думал о чем-то сосредоточенно и глубоко.

— Месть — разрушение,— произнес он наконец вдумчиво,— на чашах правосудия лежит теперь судьба народа... Что думаешь ты создать? Говори предо мною все, как перед братом, твоя страна стала родиной моей!

Богдан молчал; казалось, только что пережитое волнение захватывало еще его дыхание и не давало ему говорить.

— Мы обуздаем панство,— произнес он, тяжело дыша,— подчиним его королю, и он нам вернет все наши привилеи...

— Так, но король смертен, а новый король может быть еще преступнее и лживее сейма и, за всеобщим согласием, поработит весь народ и утвердит унию на всей нашей земле. Запомни слово мое,— произнес владыка медленно и выразительно, устремляя на Богдана свои черные, горящие глаза.— Отчим не станет пасынкам вместо отца.

— Но если умер отец и дети остались одни без за-

щиты,— произнес Богдан каким-то неверным голосом,— где взять им другого отца?

— Пока дети малы и беспомощны, им нужна опека; когда же они настолько возмужают, что смогут сами управлять своею судьбой, они покидают суровый дом отчима и начинают новую жизнь.

— Как... превелебный владыка, ты думаешь, что мы...— вскрикнул порывисто Богдан, впиваясь в него глазами,— что мы можем? Мы! Нет, нет...— схватился он руками за голову,— такое дело... голова кружится... дух захватывает... там сила... войско...

— Здесь правда и бог! — перебил его сурово и сильно Могила и поднялся во весь рост.

Богдан умолкнул.

— Ты помнишь ли то время,— заговорил Могила после долгой паузы,— когда потоптанная церковь наша лежала при последнем вздохе, без пастырей и без владыки, без храмов божьих и божьих слуг? Была минута смерти. Ты помнишь ли, как триста священников явились перед славным козацким войском и, упавши перед ним на колени, умоляли их со слезами спасти от поруганья святую веру и божий крест? И господь явил свое чудо. Вот в этом самом храме, оцепивши его войсками, закрывши все окна, пригасивши свечи, удалось нам посвятить святителей и восстановить митрополию свою. Без пения, без торжества, в полусвете, словно тати и воры, совершали мы святое богослужение, а из смерти вышла новая жизнь!

Могила стоял гордо перед Богданом, опираясь на золоченый посох; в своей черной мантии он казался величественным и мрачным, словно низложенный король.

— Но, восстановивши церковь,— продолжал он с гордою усмешкой,— мы не надеялись на ласку короля: мы старались утвердить ее так, чтобы ничья сила не пошатнула ее больше. Когда преставился преосвященный Иов, братия избрала меня на митрополичий трон...[59] То было бурное и тяжелое время... Земля ваша — не родина моя: ты знаешь сам, я воеводич молдавский, но с юных лет поселился здесь. Родина ваша стала моею... Я полюбил ее за ее страдания и печаль... С юных лет видел я кругом унижение народа и веры — и защитить ее от нападенья латынян стало жизнью моей. Господь

меня поставил пастырем над вами, и стадо мое стало мне родным.

Голос Петра Могилы звучал величественно и сильно, а глаза горели властным, победным огнем.

— Когда свершилось мое избрание в полночный час, у алтаря дал я себе клятву снять с православных позор и поношение латынян. И господь мой принял ее и послал мне на помощь бесплотные силы свои. Пятнадцать лет стою я на страже... И вот из пепла вспыхнул новый огонь: растут повсюду братства, обители встают из развалин... Книжное слово облетает всю нашу отчизну и, как благовест в церковь, зовет отступников и схизматов в отцами оставленный храм!

Слова вырывались из уст его с таким огнем и воодушевлением, что Богдан чувствовал, как они зажигают пламенными искрами и его бушующую грудь.

— Мои коллеги питают новое духовное войско,— продолжал Могила,— оно уже выходит светлыми рядами и окружает церковь необоримою стеной. Каждый день возвращает нам новых отступников, и я верю, что бог утвердит мое дело,— поднял он к небу глаза,— «не к тому аз себе живу, но живет во мне Христос!» — Могила остановился на мгновенье и продолжал снова.— Они отказали моей суплике на сейме, но теперь нам не страшны больше ни гнев, ни милость короля: крепко утвердил я свою церковь, умру, но она не умрет со мною! Но пока ваше право будет зависеть от прихотей сейма, ничего не будет верного в этой стране. Запомни слово мое: отчим не будет вам отцом... Ты — рыцарь! О, если б господь вложил мне в руку не пастырский посох, а воинский меч!..

— Он здесь, владыка! — воскликнул Богдан, хватаясь рукою за ножны сабли.— Он уже обнажился для защиты родины, и воли, и веры своей!

Наступило торжественное молчание.

— Так,— произнес строго и сурово Могила.— Бог отмщенья вложил его в сильные руки. Я знаю, ты можешь много... больше, быть может, чем чувствуешь сам... Дух божий почил на тебе... Вот и теперь твоя слава уже бежит перед тобою, тысячи уст повторяют с восторгом имя твое; словом своим ты будишь убитую волю, из пастухов и пахарей делаешь воинов-козаков! Ты избран богом! Тебе вручаю я и судьбу моей паствы,

и освобождение церкви... Иди без страха, ты знаешь власть мою, все встанут вместе с тобою. Я подыму за тобой все братства, все духовенство, священники в церквах станут взывать к поселянам и освящать ножи [60], все города откроют ворота тебе... Иди же твердо и смело, не останавливайся на полдороге, чтобы снова не скатиться вниз! Но горе тому,— простер он над Богданом свою руку, и темные глаза его сверкнули зловещим огнем,— горе тому, кто для своей гордыни соблазнит единого от малых сих! Горе тебе, если в победе своей ты забудешь народ и веру... Клянись мне перед этим животворящим, чудесным крестом,— поднял он высоко золотой крест,— клянись у престола всевидящего бога, что всю твою власть и победы ты положишь за них и для них!

Вспыхнувшая лампада осветила ярким пламенем высокую фигуру Могилы; он стоял неподвижно, словно каменное изваянье, с крестом в поднятой руке; лицо его было вдохновенно и строго, глаза горели из-под черных бровей каким-то жгучим огнем... Сквозь замерзшее окно грозно глядела с неба зловещая звезда с огненным хвостом.

— Клянусь! — вскрикнул Богдан, падая на колени.— Клянусь спасением души своей, клянусь последним вздохом моего сына! И если изменю я клятве этой, ты, господи, всевидящий и всемогущий, покрой вековечным позором имя мое!

— Дерзай,— произнес торжественно митрополит, простирая над головою Богдана руки,— и легионы господни ринутся в битву вместе с тобой!

Невдалеке от старого города Киева, прямо через лесок, расположился на горе небольшой городок Печеры, состоявший собственно из двух монастырей: Печерского, со всеми его обширными постройками, усадьбами, садами, типографиями, и Вознесенского женского монастыря, в который уходили от мира женщины православного вероисповедания из более знатных шляхетских и козацких родов.

С самого раннего утра в монастыре Вознесенья была суматоха и шло лихорадочное движение. Молодые послушницы и служки торопливо сновали по двору; сквозь открытые настежь двери церкви видно было, как чи-

стили серебряные паникадилы * и оправы икон, расстилали по ступеням дорогие ковры. Из труб монастырской трапезной валил клубами дым, из кухни слышались стуки ножей и посуды, в окна виднелись широкие своды печей, пылавших жарким огнем; у окон на огромных досках бабы-богомолки и послушницы лепили бесконечную массу пирогов. Монастырь готовился к особому торжеству: на сегодня назначено было посвящение в монахини молоденькой белицы ** из знатного козацкого рода.

К службе ожидалось много знаменитых рыцарей. Литургию и чин пострижения должен был совершать ясновелебнейший митрополит и игумен Печерской обители Петр Могила.

В темном углу церкви, возле свечного ящика, две черницы в длинных черных мантиях и черных покрывалах, спускавшихся от клобука до самого пола, пересчитывали медные деньги и тихо шептались между собой. Несмотря на смиренные одежды, высохшие, желтые лица монахинь с заострившимися носами и багрово-синими мешками у глаз имели какое-то злое, сухое выражение и напоминали хищных птиц. Трудно было отличить от тихого стука меди звук их голосов, сухой и безжизненный.

— Такую молодую — и в монашки,— шептала одна из них, отсчитывая горку больших медяков.— Не знаю, что это на мать игуменью нашло. Виданное ли это дело! Вон сестра Анаиса уже десять лет послушание несет, а еще до сих пор в чин монашеский не посвящена.

— Соблазн, один соблазн...— покачала головою другая и добавила, смиренно вздохнувши: — Брат, говорят, большой вклад положил... Ну, вот, а мать игуменья-то на деньги больно падка.

— Да кто ее брат-то?

— Из старшин козацких, слыхала, Золотаренком зовут.

— То-то и есть... потому ей и келья особая, и всякая воля... никакого ведь послушания не несла.

— Ну, на это, сестра Праскева,— возразила вто-

* Паникадило — церковна люстра із свічниками.
** Белица — жінка, що готується стати черницею.

рая,— ничего не скажешь, к церкви она очень прилежна и на всякое приказание угодлива.

— Угодлива, угодлива,— прошипела первая,— делать делает, а лицо гордое, словно, подумаешь, княгиня какая,— ни тебе улыбнется, ни двери растворит, ни побеседует.

— Да, это уж так... И с чего это она в такой молодости жизнь мирскую возненавидела? Не добьешься от нее ничего — стена стеной.

— Возненавидела! — нагнулась первая монахиня ко второй и злобно прошипела: — Верно, грех какой-нибудь случился, вот и пришлось за монастырскую стену уйти... Подрясник ведь все прикроет. Знаю я их, сестра Мокрина,— стукнула посохом злая старуха,— всех знаю... Жить-то им, жить больно хочется... Да!

А молодая инокиня, о которой шли такие едкие толки, сидела запершись в своей келье. Бледненькая послушница в черной шапочке и таком же подрясничке, приставленная к ней матерью игуменьей, стояла в коридоре у дверей кельи и о чем-то говорила с таким же молодым, как и она, существом. Глаза ее были красны, нос и губы распухли.

— Жалко, так жалко,— говорила она своей собеседнице, беспрестанно всхлипывая и утирая рукавом слезы, бежавшие по пухлым щекам,— что и сказать не могу... Ведь она как ангел божий, истинно, как ангел.

— А с чего бы это ей, голубка, монашеский чин принимать?

— Ой сердце мое, видно, горе большое! Как приставили меня к ней на послушание, так она сначала все плакала, плакала и убивалась, боже, как! По ночам, бывало, вставала, перед иконами на колени падала... Иногда я и утром ее на полу без памяти находила. А теперь вот как сказали, что скоро постригать будут, успокоилась: тихая такая да задумчивая стала. Скажешь что, она и не отзовется, только глаза ее смотрят куда-то мимо, пристально-пристально, словно видят что-то или припоминают что...

— Да неужели у ней никого из родичей нет? — изумилась собеседница с лукавым, любопытным личиком, к которому совершенно не подходила ни ряска, ни черная шапочка.

— Брат есть; приезжал, давно только, важный такой козак. Долго они промеж себя говорили. Просил он ее, молил; только слышу, она говорит ему, и таково тихо, таково ласково, словно чаечка скиглит: «Брате мой, коханый мой, любый мой, не бери ты меня отсюда... Дай мир моей бедной душе!» Так он и уехал.

Собеседницы замолчали.

— А как подумаю, что вот через час, через два,— продолжала первая,— обрежут ее косы черные да клобук наденут... все равно что живой похоронят, так мне жалко станет, словно вот сердце в груди разрывается!

Девушка снова поднесла руку к глазам.

Где-то послышался легкий шорох.

— Кажется, зовет, — встрепенулась послушница, — прощай, побегу! — кивнула она собеседнице.

— Слушай, Прися, а знаешь, сам владыко будет служить! — крикнула ей вдогонку вторая, но та уже не слыхала ее восклицания.

В комнате, куда вбежала послушница, было полутемно. Она была мала и низка: сводчатый потолок делал ее похожей на склеп,— белые занавески закрывали окна совсем, и сквозь них проникал слабый матовый свет.

У больших старинных образов теплилась лампадка; в углу белела постель; на жесткой деревянной кровати у стола, опустивши на колени руки, сидела молодая белица. Черная ряса облекала суровыми, холодными складками ее стройную худощавую фигуру, темная коса спускалась по плечам; лицо ее было бледно и серьезно. Черные брови впивались тонкими линиями в высокий и чистый лоб и придавали лицу какое-то строгое выражение; большие серые глаза, оттененные стрельчатыми ресницами, были устремлены на темные образа; они глядели не со слезами, не с мольбой, нет, взгляд их был тихий, примиренный и полный любви.

Что-то необычайно трогательное и мирное чуялось во всей фигуре, во всем образе молодой белицы... В своей черной одежде, с лицом печальным и строгим, она напоминала ангела смерти, но не сурового и карающего, а полного тихой скорби и ласки, слетающего на ложе больных... Она не заметила вошедшей послушницы.

— Панна звала меня? — спросила та робко, останавливаясь в дверях.

Девушка вздрогнула и перевела на нее глаза.

— Нет, Прися,— проговорила она тихо,— мне ничего не надо, оставь меня.

Послушница вышла и затворила за собою дверь. В келье снова стало тихо и безмолвно....

XXXII

Белица провела рукой по лбу: через час-два — на нее наденут черную мантию, и тот мир, та жизнь, что разливается там, за монастырской стеной, умрут для нее навсегда. И что же? Нет в ее сердце ни трепета, ни сожаления... С тихою, покойною душой принимает она монашеский сан. А прошлое, недавнее кажется таким давним, непонятным....

Белица наклонила голову.

Субботов... Богдан... Марылька...

Перед глазами ее поплыли одна за другою знакомые картины; но бледные щеки ее не покрылись румянцем. Тихие вечера, проводимые в былое время в Субботове, еще при жизни старой пании... Глубокая любовь к родине, пробужденная в ней Богданом, и первое чувство к нему, чистое и святое, так ярко вспыхнувшее в ней... А затем приезд Марыльки... ее заигрывание, ее капризный и дерзкий тон с Богданом,— с Богданом, которого она, Ганна, считала недосягаемым героем, святым, призванным богом для освобождения страны! Увлеченье Богдана Марылькою... Безумная любовь к ней, охватившая его... любовь, когда жена его еще не испустила последнего вздоха... О, какая страшная буря поднялась тогда в ее душе, какие страшные, нечеловеческие муки пережила она, Ганна, видя, как он, так высоко вознесенный ею, падает под грязным соблазном женской красоты, забывая и родину, и все свои заветы... О, как ненавидела она тогда эту коварную ляховку, что отымала у них их единую надежду, что посягала так дерзко на ее святыню, на которую она, Ганна, только молиться могла! И под влиянием этих мучений чистое и святое чувство Ганны к Богдану темнело и омрачалось, обращаясь в какой-то жгучий огонь... Еще здесь, когда она приехала сюда, какими горькими рыданиями и стонами оглашались эти холодные своды... Но время шло...

И ревность, и злоба, поднятые в сердце ее, стихали под влиянием мирной святыни, которая веяла здесь над нею кругом. Улеглись и злоба, и ненависть, и страсти... Господь услышал ее и послал своего тихого ангела к ней. Что же, пусть любит Богдан Марыльку... Это ревность, навеянная дияволом, пробуждала в ней такие мрачные мысли... Разве может забыть он свой бедный край?.. О нет! Да и так ли в самом деле гадка и испорчена Марылька... Нет, она не могла тогда судить справедливо, да и можно ли осуждать такого юного ребенка, брошенного на произвол судьбы? Красота так редко уживается со скромностью, и может ли научить любви и снисхожденью шляхетский двор?! Марылька полюбит Богдана искренно и нежно. Разве можно быть человеком и не полюбить его! А полюбивши его, она полюбит и наш бедный край... Богдан научит ее любить его... лишь бы он был счастлив... Белица подавила тихий вздох. «Да дарует милосердный господь всем людям и радости, и счастье...»

Нет в ее душе больше ни ревности, ни злобы: все смиряет, все исцеляет кроткий Христос!.. Голова ее опустилась на грудь... Темная тень от ресниц упала на бледное лицо. Двух только жаль, тех двух, что искренно любили ее: брата и Богуна. Где он теперь! О, если б знал, какая страшная наступает для нее минута,— примчался бы с края света сюда! А может — и жив ли? Добрый, отважный и честный! Нет, он козак, козак с головы до ног... Судьба его родины заставит его забыть свое горе, и подымется он еще сильнее и отважнее, чем был до сих пор! Брат только... вырвать у него из семьи сестру, все равно что вырвать последнюю радость...— Белица горько улыбнулась: «Что же делать, родной мой! В жизни мы с тобою мало узнали счастья. Одни родятся для того, чтобы быть счастливыми, другие для того, чтобы уступать свое счастье другим... Ты забыл для своего дела и свои радости, и свою жизнь... Ты — тот же воин Христов... Только ты борешься за него саблею, а я, как могу,— смиренною душой...»

Вдруг мертвую тишину кельи нарушил печальный и протяжный звук колокола, донесшийся издалека. Белица вздрогнула; бледное лицо ее застыло в каком-то мучительном ужасе... Несколько минут она сидела неподвижно, как каменная, словно прислушиваясь к зами-

рающему звуку печального удара, еще трепетавшему в воздухе. Наконец она поднялась, опираясь о стул руками.

— Кончено,— произнесла белица тихо и провела по сухим глазам рукой,— кончено! Через несколько минут на нее наденут монашеский клобук. Прощай, жизнь, прощай, радость, прощай, никогда неизведанное счастье! Душа моя готова, господи! Войди же в нее с силою и крепостию твоей!..— Белица опустилась перед образами на колени и склонила голову.

Вот раздался снова погребальный звук колокола, еще и еще один, все чаще и чаще. Неподвижно стояла у икон молодая белица. Что думала, что чувствовала она в эти мгновенья? Ждала ли она с трепетом священным роковой минуты, или в тихой душе ее пробуждался смутно и неясно ропот молодой жизни, так бесповоротно убиваемой здесь?

Тихий стук заставил ее очнуться; белица поднялась с колен и отворила низенькую дверь. В келью вошел горбатый старичок в схимнической * одежде.

— Дитя мое,— произнес он, благословляя ее,— народ уже стекается в храм; скоро начнется божественное служение; близится час, в который ты должна будешь произнести у алтаря страшные клятвы и обеты. Подумай... еще есть время... ты так молода... Знаю я, что молодое горе тает от первого солнца, как весенний снег.

— Святой отец,— произнесла тихо белица, опускаясь перед стариком на колени,— я много думала и страдала, и душа моя готова...

Старик ласково опустил ей на голову руку:

— Испытай еще раз свое сердце, дитя мое,— проговорил он слабым голосом.— Близится для тебя великая минута: испытай же его, чтобы не предстать перед господом с омраченным гневом и страстями лицом.

Девушка склонила голову; несколько минут она словно собиралась с мыслями... Но вот она снова подняла ее и взглянула в лицо старика своими светлыми, лучистыми глазами.

— Нет, отче мой,— произнесла она тихо, но твердо,— в душе моей нет больше ни гнева, ни страстей.

---

* Схимник — чернець, який дав обітницю найсуворішого життя.

— Не чувствуешь ли ты чего особого на совести? Не желаешь ли ты передать мне что-либо? Говори, дитя мое, все, не бойся, господь всепрощающ и кроток.

— Святой отец мой, да! — произнесла белица с болью.— В этом грехе я каялась не раз и перед тобой, и пред лицом господа бога. Молитвою и слезами молила я царицу небесную избавить меня от мучений его; я просила господа вселить в мое сердце кротость, смирение и любовь. И он, милосердый, нигде не оставлявший меня, услышал мою молитву и в этот раз... Готова душа моя... Не удерживай же, отче, меня!

— Но чувствуешь ли ты в себе достаточно силы, бедное дитя мое, подумала ли ты о том, что монашеский подвиг мучителен и тяжел?

— Отец мой, все знаю я... Я хочу заслужить прощение и оставление грехов...

Старик ласково провел рукою по ее голове.

— Не чувствуешь ли ты хоть малейшего сожаления о жизни? О дитя мое! Молодое сердце — как юное дерево, пригнутое к самой земле, оно снова подымается вверх. Заслужить прощение ты сможешь и в жизни! Если хоть самое малое сомнение или сожаление шевелится теперь в душе твоей — остановись! Есть еще время... Господь не требует жертв, но веры лишь и любви!

Мучительное, болезненное страдание пробежало по лицу белицы.

— Отец мой,— прошептала она, устремляя на него полные слез глаза.— Мне нечего ждать от жизни, одно мне утешение — в боге. Не отталкивай же меня!

— Да будет так! — произнес с чувством старик, скрещивая руки на ее голове.— Без воли его не упадет-бо ни единый волос с головы...

Между тем по дороге, ведущей через лес, отделявший город Подол от Печер, быстро скакали два всадника.

Они то и дело пришпоривали своих коней; по их озабоченным, взволнованным лицам видно было, что они торопились по какому-то спешному и тревожному делу.

— Какое счастие, брате, что мы встретились с тобою сегодня,— говорил, задыхаясь от быстрой езды, старший из них, по одежде писарь Запорожского войска.— Если бы завтра, было бы уже поздно!

— Я боюсь, что и так мы опоздаем к служению, Богдане,— ответил собеседник, одетый также в козацкую одежду, с лицом сосредоточенным и серьезным и с легкою сединой, пробивавшейся уже в темных волосах.— Служение в монастыре начинается рано, а здесь до Печер еще добрых четыре версты.

— Какое! — махнул рукою первый, нервно подергивая повод и сжимая острогами коня.— Вот спустимся с этой горы, а там через овраг и Пустынно-Николаевский монастырь,— оттуда уже и рукою подать.

Спутник его молча пришпорил лошадь. Несколько минут слышались только частые удары копыт о замерзшую землю.

— А хоть бы и поспели, мало надежды у меня,— произнес козак, глядя угрюмо в сторону.— Как я просил ее, для меня она все равно что вот половина сердца!.. Э, да что там! — махнул он рукою и понурил голову.

— Стой, брате, меня послушает. Бог не без милости,— ободрил товарища Богдан, то и дело приподымаясь в стремянах и припуская коню повода.— Есть у меня ее слово... тоже обет... Теперь настало время, и я верю, что она его не сломает.

— Дай бог,—произнес серьезно товарищ.—Нас с нею только двое, Богдан [61].

Разговор прервался. Кони между тем взобрались на лесистую гору и поскакали уже по ровной дороге. Направо тянулись обрывы, покрытые все тем же лесом, налево блеснули из-за деревьев кресты и купол Никольского монастыря.

Вдруг в воздухе прозвучал явственно протяжный удар колокола. Путники вздрогнули и молча переглянулись: по лицу второго пробежала какая-то мучительная судорога.

— Вот и монастырь,— указал Богдан на показавшиеся между деревьев стены и башни, желая ободрить своего товарища,— теперь до Печер полгона...

Но спутник не ответил ничего; на его темном, угрюмом лице вспыхивал теперь пятнами румянец; глаза с нетерпением впивались в даль, стараясь разглядеть среди стволов деревьев очертания печерских стен. Лошади словно понимали состояние своих господ: они неслись теперь во весь опор, обгоняя по дороге горожан в грубых

деревянных санях, козаков и богомольцев, поспешавших в Печеры. Лес начинал редеть... Вот наконец показались и стены печерские, из-за них ослепительно блеснули купола Печерского и Вознесенского монастырей. Миновавши браму, всадники поскакали по широкой и прямой улице и остановились у въездных ворот Вознесенского монастыря... Прямо против них находилась и лаврская брама. Народ толпился у нее массами, ежеминутно заглядывая вовнутрь монастыря.

— Слава богу!—воскликнул Богдан, осаживая взмыленного коня и бросая поводья на руки подскакавшего козака,— служение еще не началось: ждут владыку.

Спутник его ничего не ответил. Несмотря на угрюмую и суровую наружность козака, он казался настолько взволнованным, что решительно не мог говорить. Молча соскочил он с коня и вошел вместе с Богданом в монастырский двор.

Во дворе было уж шумно и людно. Толпы богомольцев стремились в открытые двери храма; монахини шли строгими рядами, опустивши головы и закрывши лица черными покрывалами, с длинными четками в руках; только молоденькие послушницы, с бледненькими личиками, украдкой выглядывали на прохожих из-под своих аксамитных шапочек. Торопливо прошли козаки среди богомольцев и остановились у маленькой кельи с завешенными окнами...

В келье старичок священник, скрестив руки на темноволосой голове девушки и поднявши к иконе глаза, шептал молитвы старческим, разбитым голосом. В келье было так тихо, что пролети муха, слышен был бы удар ее крыл. Голова молодой девушки пряталась в складках рясы старика; бледные губы ее тихо шевелились, и если б он мог услыхать то беззвучное слово, которое шептали они,— то услышал бы: «Прощайте, прощайте... прощайте навсегда!»

Наконец старик окончил свои молитвы и, произнесши вслух: «И ныне, и присно, и во веки веков», хотел уже благословить белицу, как вдруг сильный нетерпеливый удар в двери заставил его оборваться на полуслове.

Белица вздрогнула и поднялась во весь рост. Какой-то смертельный холод пробежал по всему ее телу с ног до головы; с лица ее сбежали последние кровинки, расширенные глаза устремились с тревогой на дверь.

«Пришли,— пронеслось в голове ясно и отчетливо.— Конец!»

Стук повторился.

— Мужайся, мужайся, дитя мое,— произнес дрогнувшим голосом схимник, поднося ей крест с распятием.

Белица взглянула на распятие; казалось, вид его пробудил в ней оцепеневшие было силы; она прижалась своими бескровными губами к холодному металлу креста и, не будучи в состоянии произнести слова, кивнула головою священнику, указывая на дверь.

Засов упал. Дверь распахнулась. На пороге кельи остановились два козака. Белица взглянула на них широко раскрывшимися глазами. Протяжный, мучительный крик огласил вдруг молчаливые своды кельи. В глазах послушницы потемнело, и, чтобы не упасть на пол, она должна была ухватиться руками за стену.

— Ганна! — вскрикнул в свою очередь Богдан при виде бледной, как полотно, монахини и отступил назад.

Несколько мгновений в келье стояло страшное, глухое молчание. Спутник Богдана остановился поодаль, молча, не спуская с белицы своих потемневших глаз. Священник с изумлением смотрел то на одного, то на другого, не понимая, что произошло, что случилось здесь.

— Брате,— прошептала наконец Ганна, глядя с укором на сурового козака.— Зачем... в такую минуту?.. Я просила... тяжело...

Богдан подошел к Ганне.

— Ганна, дитя мое, что ты задумала сделать с собой? — заговорил он, сжимая ей обе руки и заглядывая нежно в глаза.

Ганна подняла голову, и вдруг глаза их встретились.

— Дядьку! — вскрикнула она порывисто, с ужасом вырывая из его рук свои.— Вы... вы седы!..

— Так, голубко,— произнес Богдан с горькою улыбкой, проводя рукой по своим темным волосам, в которых теперь резко блестели густые серебряные нити.— Горе, говорят, только рака красит, а человека кроет снегом.

— Горе... горе, дядьку? — прошептала Ганна, чувствуя, что слова замирают у ней в горле.

— Так, горе: все сожгли, все отняли у меня.

— Татаре?! — вскрикнула в ужасе Ганна.

— Свои,— улыбнулся горько Богдан,— вельможная шляхта; татаре милосерднее... Убили деда, бабу... Елену

увезли, Оксану, а Андрия, дитя мое родное, истерзали на смерть!

Мучительный стон вырвался из груди Ганны:

— Андрийко... любый мой!..— Голос ее оборвался; она закрыла лицо руками и прислонилась головою к стене.

Несколько минут все молчали в келье, слышно было только, как глубокое порывистое рыданье подымало грудь белицы; из-под сомкнутых, тонких пальцев ее струились слезы, падая крупными каплями на черное сукно. Наконец Ганна отняла руки от лица.

— Дядьку, любый мой,— проговорила она едва слышно, горячо прижимая его руку к своим губам,— бог посетил, он же и успокоит... Я буду молиться за дитя... за вас... за всех.

— Друг мой, голубка моя! — притянул ее к себе Богдан, тронутый до глубины сердца ее молчаливым сочувствием, и крепко поцеловал ее в лоб. Ганна сильно вздрогнула и отшатнулась, но Богдан не заметил этого.— Молиться... да, все мы должны молиться, но время тихой молитвы прошло,— продолжал он, не выпуская ее рук,— потому что скоро уж негде будет вам и молиться: отберут ваши храмы, разрушат алтари, отнимут священные сосуды для панских пиров... Ты многого не знаешь, закрывшись от бедного терзаемого люда этой холодной стеной. Тут, конечно, отрадный да тихий покой и любая утеха в молитве, а там,— указал он энергичным жестом в сторону,— выйди взгляни: там стон стоит и разлилась по всей родной земле туга! Я искрестил Украйну; я видел везде чудовищные зверства; в глаза враги смеются над нашими правами, над нашей верой и терзают народ! Перед его великим горем все наши муки и боли так ничтожны, что тонут бесследно в море людских слез...— Богдан остановился на мгновенье.

XXXIII

Ганна слушала Богдана с преобразившимся лицом; на ее бледных щеках то вспыхивал, то угасал лихорадочный румянец, расширенные глаза темнели, грудь порывисто поднималась. Снова звучал подле нее знакомый голос и пробуждал забытое волнение; благородные чер-

ты дорогого лица дышали снова геройским воодушевлением; очи его, пылавшие теперь каким-то прежним внутренним огнем, смотрели ей прямо в глаза. Глухой укор подымался смутно в душе Ганны, неотвязные, сладкие воспоминания вонзались иглами в ее сердце, а гнев и оскорбленная гордость возмущали ее внутренний мир. Старичок схимник все еще смотрел с недоумением на сцену, происходившую перед его глазами. Спутник Богдана не отрывал глаз от оживляющейся Ганны.

— Так, Ганно, не время теперь прятаться от несчастных для молитвы,— произнес твердо Богдан,— ты должна молиться вместе со всеми нами и помочь нам и мне.

Подавленный стон замер на устах Ганны; она выдернула свои руки из рук Богдана и с мучительным жестом отчаянья отшатнулась назад.

— Да, помочь,— поднял Богдан голос,— настало время действовать. Перед святым отцом говорю я и скажу теперь перед всем светом: настало время действовать и вырвать из рук бессмысленных мучителей свою веру, свой край!

— Дядьку! Спаситель наш! Кумир мой! — чуть не вскрикнула Ганна, но послышалось только первое слово. «Ах, дожила...— мелькали в голове ее, как искры в дыму пороха, огненные мысли: — вот он передо мною снова, сильный и славный, забывший все ради великого дела, с мечом в руке за родину, за веру... Борец божий! Спаситель! А я... я! Не могу забыть себя и в такую минуту, давши обет, грехом бужу сердце!» Ганна с ужасом отшатнулась и протянула вперед руки, словно хотела защититься от чего-то властного, неотразимого.— Сжальтесь,— прошептала она едва слышно упавшим голосом,— оставьте, не смущайте моей бедной души!..

— Нет, нет, Ганно, это не ты говоришь со мной,— продолжал горячо Богдан,— разве могла бы ты прежде думать о душе своей, когда кругом подымается ад и летят к небу тысячи невинных замученных душ? Когда умирала жена моя, ты, Ганно, дала ей слово присмотреть сирот... Ты оставила нас: ты сказала мне, что Елена заменит тебя. Но вместе с тем ты дала мне слово всегда вернуться назад, когда появится нужда в тебе. По твоему слову приехал я, Ганно. Елены нет больше... Я еду на Сечь... Кто знает, что готовит нам дальше судьба? Во всяком случае сироты останутся беззащитны... Чаплин-

ский уже раз разорил мое гнездо... Кто помешает ему теперь, когда он видел меня осмеянным и униженным в сейме, докончить свое кровавое дело и убить всех остальных детей?

— О боже... боже мой... боже мой! — всплеснула Ганна руками и с мучительною болью прижала их к груди.— Ох, я не прежняя Ганна! В моей душе нет больше ни силы, ни жизни... Я посвятила ее богу!..

— Ты господу и послужишь в людях его! — вскрикнул Богдан, овладевая ее рукой.— Не за своих только сирот прошу я, для них бы одних я не стал тревожить тебя... Но по всей Украйне стонут теперь сироты... Для них зову тебя, Ганно: иди и послужи!

— Ганно, сестра моя, будь прежней Ганной! Ведь ты козачка! Золотаренка сестра! — вскрикнул наконец и спутник Богдана, сжимая другую руку Ганны в своей крепкой руке.

— О господи, боже... прости мне... не оставляй меня! — заговорила она прерывающимся голосом, захлебываясь слезами.— Я дала перед богом обет... сейчас придут за мною... и изменить... отречься... Горит мое сердце за всех вас, но с старым грехом вернуться в мир... проснуться душой для страданий... Я столько вынесла! Вы ведь не знаете... Ох, боже мой, боже мой! — вскрикнула она, закрывая лицо руками.— Не могу я! Простите меня... не могу!

— Если в душе твоей, Ганно, и есть такое тяжкое горе,— заговорил ласково Богдан, обнимая ее за шею рукой,— то скажи, кто из нас не несет его теперь? Поверь мне, легче уйти в монастырь или просто разбить себе голову, чем с тяжелым горем в душе жить среди людей! Но если бы всякий из нас думал так же, как ты, кто б остался тогда защищать этот бедный край?!

Ганна молчала. По лицу ее видно было, что в душе ее происходила страшная борьба.

— Грех... сором...— заговорила она наконец, обрываясь на каждом слове, и вдруг вскрикнула с новой вспышкой энергии:— Нет, поздно, поздно! Оставьте меня!

И вдруг совершенно неожиданно для всех старичок схимник, что стоял до сих пор скромно в углу, следя молчаливо за сценой, происходившей перед ним, вдруг заговорил уверенно и сильно, выступая перед Ганной.

— Дитя мое, не знаю я, кто такой для тебя этот

рыцарь, но речь его проникает мне в сердце; он говорит о нашей вере, о крае, о том, что он готов встать за него... Такие слова господь не вкладывает в нечестивые уста. Он говорит, что ты можешь помочь им, твой брат желает того же... Не знаю, быть может, я уже не понимаю ничего... Я бедный, убогий инок, быть может, игуменья и владыка останутся недовольны мною, но властью, данною мне свыше, я, духовник твой, разрешаю тебя от данного тобою обета и благословляю снова вернуться в мир. Ибо сказал нам сам Христос: «Больше тоя любви никто же имати может, аще кто и душу свою положит за друзи своя!»

Несколько минут в келье царило глубокое молчание, слышно было только, как дышала Ганна порывисто и глубоко.

— Что ж, Ганна? — произнес наконец Богдан, сжимая холодную, дрожащую руку девушки.

— Сестра, неужели ты и теперь откажешь нам? — спросил каким-то дрогнувшим, неверным голосом Золотаренко, заглядывая ей в лицо.

Руки девушки задрожали еще сильнее.

Ганна колебалась.

— Опять, значит, на муки, на терзанья, на смерть!..— прошептала она каким-то рвущимся, неуверенным голосом.

— Нет, Ганно,— вскрикнули разом Богдан и Золотаренко, с сияющими энергией лицами, сжимая ей руки,— не на терзанья и муки, а на славную и честную борьбу!

Дни тянулись за днями, ночи за ночами, а Оксана все еще томилась у Комаровского. Впрочем, на свое положение она не могла бы ни в чем пожаловаться: Комаровский обставил ее — как только мог, сладости и самые отборные кушанья не сходили со стола ее комнаты; бабе приказано было исполнять малейшие капризы и прихоти Оксаны.

С раннего утра приходила баба к ней услужить и справиться, что готовить.

— Мне все равно,— ответит тоскливо Оксана.

— Что-то не весела ты, моя пышная панна,— покачает головой баба, стараясь придать своему совиному

лицу нежно-трогательное выражение,— и есть не ешь? Готовлю я худо, чи что?

— Нет, гаразд... даже очень.

— Так что же? Болит что?

— Тут болит,— покажет Оксана на сердце и отвернется.

— Ишь, тоскует все... Почекай, придут и светлые дни.

— Когда же? Тюрьма ведь здесь. Что мне в сладкой еде, в дорогих сукнях, уборах, коли голоса человеческого не слышу, коли не вижу любых моих?.. Ноет во мне каждая жилка, истомилась душа!

— Бедная моя, болезная, — искривится уродливая старуха,— ты тоске-то, журьбе не поддавайся, она ведь точит, что шашель. Ясный пан оттого тебя взаперти держит, что боится татар, да и своего брата-шляхтича. Теперь такие лихие времена, захватить могут.

— Я б задавила себя скорее! — всплеснет руками Оксана.

— А им-то что? — захихикает хрипло баба.— Покровитель твой тебя бережет пуще глаза, души в тебе, красоточке, не чует.

— Боюсь я его! — вскинет испуганными глазами Оксана.

— Вот это уж дарма так дарма. Ведь он с тобой обходится, как с принцессой... Сколько раз мне доставалось через панну. Не такой он человек: он почтительный, богобоязный. Своя дочечка умерла, больше не дал бог детей, ну, он и жалеет тебя, как свою дытыну.

— Чересчур угождает уж,— вспыхнет зорькою Оксана.

— Эх, панна моя нерассудливая! Да коли б он имел что дурное на мысли, стал бы он так возжаться? Ведь у них, у магнатов, с нашей сестрой разговор короток. Нет, наш пан и добрый, и любит тебя... Это не то что Чаплинский, будь ему пусто! И мое дитя замордовал, клятый! Вот тому-то не попадайся в руки, а наш ласковый да хороший.

Оксана с ужасом слушала рассказы бабы, и на душе у нее росла мучительная тревога. Как ни старалась эта приставленная дозорца, а не могла ни сказками, ни побасенками развеселить своей пленницы, да и последняя не доверяла старухе.

Закоханый пан Комаровский навещал почти ежедневно Оксану и привозил ей непременно какой-нибудь

гостинец; Оксана уклонялась от них, пугалась, но он почти силой надевал на нее то кораллы, то самоцветные серьги, то жемчуга. Он даже гулял с нею по двору, а выпускать одну отказался, уверяя, что теперь опасно и козаку показаться одному в степи.

На все вопросы Оксаны относительно Богдана, семьи его, Комаровский отделывался самыми общими ответами, которые ей не объясняли ничего; когда же она пробовала расспросить о чем-нибудь бабу, то та заявляла, что уже 30 лет не выходит из этого хутора, не видит и не слышит ничего.

В своем одиночном заключении томилась Оксана, несмотря на окружавшее ее довольство, несмотря на все успокоения Комаровского, томилась и тосковала по близким, дорогим ей лицам до такой степени, что временами ей хотелось лишить себя жизни, и только надежда на то, что Олекса должен же узнать когда-нибудь о постигшем их несчастии, а узнавши, приехать непременно сюда и взять ее от Комаровского, удерживала ее от этого шага.

Так тянулось беспросветное время... Уже пожелтевшие листья, свернувшись, попадали с дерев; уже и первые заморозки стали покрывать по утрам холодною сединой землю и лес, а Оксана все не получала никаких известий ни о Морозенке, ни о Богдане, ни о его семье. Целыми днями просиживала она у окна своей светлички, глядя, как холодный ветер раскачивает стрельчатые вершины огромных елей, обступивших дикий хуторок со всех сторон. Иногда ей приходили в голову ужасные мысли, что Морозенко умер, убит... мало ли что могло с ним случиться, что дядька Богдана постигла та же участь,— и от этой ужасной мысли сердце сжималось у бедной девушки, и смертельный холод пробегал по ней с ног до головы. Брошенная с самого детства, она привязалась к Олексе какою-то всепоглощающею любовью: для нее он был и отцом, и другом, и защитником, и коханцем; с детства привыкла она находить у него утешение и ласку, кроме него, она никого не знала в жизни: всю силу своего хорошего, нетронутого сердца она вложила в это чувство, и жизнь без Морозенка представлялась для нее невыносимою пыткой. Сколько раз молила она Комаровского отпустить ее... она бы сумела пройти пешком хоть до самой Сечи, отыскала бы и там

Морозенка, обвилась бы вокруг его ног крепко, крепко и сказала бы ему, что не может без него больше жить! Но на все ее мольбы Комаровский отвечал упорным отказом, уверяя ее, что, как только вернется друг его Богдан, он сейчас же отпустит ее с ним; но одну — ни за что. Так мелькали дни за днями в слезах, в ожидании, и Оксана уже теряла им счет.

Раз только ночью случилось какое-то странное событие, которое так и осталось для нее неразрешенным. Она проснулась от страшных криков, ударов и выстрелов. Испуганная, вскочила она, бросилась звать бабу — никто не отвечал; тогда она хотела было выскочить в сени, но двери оказались запертыми; Оксана начала стучать в них с отчаянием — никто не приходил. Впрочем, выстрелы и крики продолжались недолго; вскоре они умолкли, и воцарилась кругом полная тишина. До утра не спала Оксана: ей казалось, что в массе диких криков она слышала козацкие голоса. «Это Олекса, Олекса! — билось мучительно сердце молодой девушки.— Это он приехал сюда, чтобы вырвать меня!» И она снова принималась биться, как безумная, в двери и, уставши, падала в изнеможении на пол. Но зачем бы он затевал нападение? Разве не мог он явиться прямо к доброму пану, поблагодарить его и принять ее, Оксану, из его рук? Все мешалось в голове несчастного ребенка: то ей слышались какие-то предсмертные стоны, то ей казалось, что дорогой голос шепчет ей на ухо коханые, родные слова.

— Олексо, Олексо мой, где ты теперь? Зачем ты оставил, забыл меня? — повторяла, захлебываясь слезами, девушка.

XXXIV

Утром к Оксане вошел Комаровский с перевязанною рукой и сообщил, что на хутор нападала ночью шайка татар и что ему едва удалось отбиться от них и защитить ее. Увидя заплаканное лицо Оксаны, он подошел к ней и, обвивши ее мягкий стан рукою, прижался губами к плечу. Оксана вздрогнула от этой ласки, как от огня, и вырвалась из рук Комаровского.

«Волчонок, змееныш! — чуть не сорвалось у него с

языка. — Как ни корми, ни ласкай, а все в лес смотрит!»

От сдержанности и страшного напряжения воли страсть у Комаровского к этой девочке разгоралась в бушующее пламя; но, несмотря на все его усилия, несмотря на высказываемую им отеческую любовь, замаскированную в чувство преданности, уважения и нежности,— сердце бедной Оксаны оставалось безответным. Эта непобедимая холодность начинала уже раздражать Комаровского и оскорблять чувство панской гордости; но он все еще мечтал одолеть ее лаской, хотя эта комедия начинала уже его утомлять.

Сначала она боялась Комаровского, как врага, потом он кротким своим обращением поставил ее в недоумение, но далее чрезмерная, упорная заботливость о ней начинала пробуждать даже в чистой, детской душе Оксаны какое-то глухое и страшное подозрение. Она не спала по ночам, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому движению... То она молилась, заливаясь слезами, то вскакивала с леденеющим сердцем, ожидая в страхе чего-то ужасного, и, как безумная, бросалась к окну... Единственным утешением были для нее большие яркие звезды, которые глядели сквозь маленькие окна; они словно шептали ей: «Не бойся, бедное, брошенное дитя! Отец наш, который управляет всем миром, не забывает и единого от малых сих!»

Был глухой зимний вечер. Густой пушистый снег завалил почти до крыш весь дикий хуторок, который, словно в насмешку за его угрюмую и мрачную наружность, прозвали Райгородком. Мохнатые ели с отяжелевшими под массой снега ветвями стояли кругом неподвижною стеной; ни звука, ни крика не было слышно кругом; ни одна человеческая фигура не показывалась на занесенном снегом дворе, но окна будынка светились красноватым огоньком, бросая яркий отблеск на белый снег. В жарко натопленной светлице сидели у стола за доброй кружкой меда пан Комаровский с своим тестем, паном Чаплинским. Угощение дополняли прекрасный белый хлеб, жареная рыба и окорок дикого кабана. Лица собеседников были красны, пояса распущены, жупаны распахнуты, беседа велась приятная и интересная для обоих.

— И славно пан отделал его? — допрашивал Кома-

ровский с интересом своего тучного собеседника, подливая и ему, и себе меду.

— Хо-хо-хо! — всколыхнулся Чаплинский. — Говорю тебе, зятю, от смеху покатывался весь сейм! Я им говорю: «Ваши ясновельможности, да разве я виноват в том, что красотка нашла во мне больше прелести и утехи, чем в пане писаре? Насильно ее я не брал, своей охотой пошла!» Тут поднялся, брат, такой грохот, что мог оглушить хоть чьи уши.

Пан Чаплинский снова покатился со смеха.

— Но если б ты видел, пане коханый, в ту минуту пресловутого писаря,— продолжал с задышкой Чаплинский.— Хо-хо! Зеленый стоял, как глина; ни слова, примолк, притих; где девались и цветистые речи, словно ему кто обрезал язык, только глазища такие чертовские состроил, что меня, даже стоя там, в сейме, мороз пробирал по спине. Пусть встречаются с ним теперь все черти из пекла, побей меня Перун, если я этого хочу хоть во сне!

— Ну, не поищу и я встречи с этою собакой,— развалился Комаровский и закрутил свой ус,— да вообще надо будет как-нибудь избавиться от него тихим способом, а то ведь так распускается это быдло, что доброму шляхтичу и проехать к приятелю опасно! Ну, а как там насчет их порешили, пан, верно, слышал?

— А как же! Это быдло явилось с какою-то супликой на сейм. Но, слава богу, панство наше еще не потеряло головы, и как ни распинался король со своими клевретами, но князь Иеремия, а за ним и остальная шляхта так отбрили их, что им ничего не оставалось, как выйти со стыдом из сейма. Получили они, вместо ожидаемых льгот, кусок редьки с хреном, с тем и отправились домой.

— Го-го! — загоготал Комаровский.— Вот это так дело; когда б еще панство получше прикрутило их, а то шатается всюду эта наглая рвань; сидишь на своей земле, словно во вражьей сторонке.

— Да, мне передавал Пешта... Он верный наш слуга, и что только прослышит, сейчас передает мне,— вытер бархатным вылетом усы и нос Чаплинский,— так вот он говорил, что меж этой рванью идет муть... Собираются, шепчутся... и заправилом все этот шельмец писарь!

— Ишь, бестия! Сгладить его нужно, и квит! — мах-

нул по шее рукой Комаровский.— А что они затевают что-то, то верно... Да, вот какая дерзость!.. Когда пан тесть поехал в Варшаву, случилась тут со мною одна прескверная сказка, которая, клянусь всем ведьмовским отродьем, окончилась бы кепско, если бы не моя храбрость! — Комаровский расправил свои желтоватые усы и, отпивши стакан меду, отбросился на деревянную спинку стула.— Представь себе, пане коханый, что у моей красоточки оказался какой-то жених,— об этом я уже узнал после,— конечно, он из тех же запорожских гультипак. Впрочем, он проживал и у Хмельницкого, там, верно, и познакомился с моею кралечкой. Так вот, уж не знаю, каким образом пронюхал он, что кукушечка сидит в моем гнездышке. И что же бы ты думал, мой пане дрогий? — стукнул Комаровский стаканом по столу.— Тысяча бесов им с хвостом! Собирает эта пся крев кучу такой же рвани, как и сам, и с оружием в руках нападает глухой ночью на хуторок.

— Дяблы! — вскрикнул Чаплинский. — На колья всех!

— Да это разве бывает в какой другой стране, кроме как у нас? — продолжал Комаровский.— И, клянусь святейшим папой, если б не мой частокол да не моя храбрость, мне бы славно досталось от них. Но, к счастию, у меня оказалось на тот раз душ десять стражи, да, кроме того, натравили мы на них и моих добрых псов: я их держу нарочито впроголодь... Не вынесла натиска шайка и бросилась наутек; но сам этот черномазый, дрался, как бешеный, руку мне прострелил; у него выбили оружие, тогда он бросился, как зверь, рвать всех зубами и руками; но на него напали сзади, связали руки, и как он ни метался, как ни рычал, а бросили в тюрьму.

Комаровский весь побагровел и продолжал после минутной передышки:

— Хотел я тогда сразу покончить с этою бестией, да решил подождать тебя, как ты благословишь: он и до сих пор сидит там, прикованный к стене.

— Ха-ха! Стоило ли ждать, пане мой коханый? Вешай его, сажай на кол хоть завтра; чем меньше этих разбойников, тем лучше! Ого! После этого сейма я уже знаю, как мне поступать!

— Спасибо, — сжал его руку Комаровский и обмахнул платком раскрасневшееся вспотевшее лицо.

— Ну, а как сама птичка? — хихикнул Чаплинский.
— Совсем волчонок!—развел руками Комаровский.— И приступу к ней нет!..
— Да неужели ты не пробовал смягчить своей красотки какими-либо дарами?
— Не такая! Этим ее не возьмешь.
— Ой ли? — усмехнулся нагло Чаплинский.— А золото, говорят, греет больше поцелуев... А то пригрозил бы хорошо, смягчилась бы.
— Не такая, говорю, не испугаешь. Вся — огонь, порох! Чуть что, готова и руки на себя наложить.
— Ге-ге,— вскрикнул Чаплинский,— да ты, как я вижу, врезался как следует быть! То-то, я думаю, чего это тебя не видно в Чигирине? Тесть уже три недели дома, а зять не думает и навестить... Ха-ха!..
— Да нет же,— поморщился Комаровский,— говорю коханому пану, что болен был.
— От кохання! Вот это так штука! Ха-ха-ха! Эрот, видно, преследует тебя... А любопытно было бы взглянуть на красотку! Я, признаться, когда бывал у Хмельницкого, не замечал ее. Да и трудно было бы заметить, когда Елена была там...
— Ну, это ты уж не прогневайся, пане,— возразил Комаровский,— а что Оксана прелестнее пани Елены, то скажет всяк!
— Цо-о? Сто тысяч дяблов! — стукнул по столу кружкой Чаплинский.— Если б не любовь, которая не только ослепила тебя, но отняла и весь твой розум, я бы показал тебе, как сравнивать жену уродзоного шляхтича с смазливою хлопкой.
— А я стою на своем! — стукнул также кулаком Комаровский с такою силой, что стакан перевернулся и темная струя меду полилась по столу, заливая скатерть и ковер на полу.— И утверждаю, что и пан согласится со мной, если увидит ее.
— Посмотрим! — поднялся шумно с места Чаплинский.
— Бьюсь об заклад! — вскочил и Комаровский, протягивая ему руку.— На пару арабских коней, что стоят у меня в конюшне!
— Идет! — ударил его по руке Чаплинский.
— Что ставит пан?
— Три хлопки и два смычка гончих собак.

— Згода!

— Веди же показывай свою хлопскую Венеру! — крикнул разгоряченно Чаплинский.

— Не лучше ль завтра? Боюсь, может, спит...

— Тем лучше.

И, опрокидывая на своем пути столы и стулья, Чаплинский направился к выходу. Комаровский взял со стола тяжелый шандал и последовал впереди своего тестя, который уже не совсем крепко стоял на ногах. Пройдя несколько довольно узких и темных переходов, они остановились у низкой деревянной двери, через которую пробивалась узенькая полоска света.

Комаровский постучал, но ответа не последовало; слышно было только, как тяжело сопел и отдувался Чаплинский, разгоряченный вином и спором.

— Оксана, отвори! — крикнул Комаровский.

Послышался какой-то робкий шорох, и все замолкло.

— Хо-хо! — усмехнулся Чаплинский. — Как вижу, красотка-то не очень благосклонно принимает тебя!

— Оксана, отвори! Слышишь? — потряс раздраженный Комаровский дверь... Но в комнате все оставалось тихо.— Отвори! — заревел он, покрываясь багровым румянцем от волос до шеи, и, не дожидаясь уже ответа, налег со всею силой плечом на деревянную дверь. Дверь протяжно застонала и вздрогнула. Комаровский налег сильнее, еще и еще... крючок щелкнул, с шумом распахнулась дверь, и приятели очутились в светлице Оксаны.

Разбуженная криками и стуком в дверь, Оксана вскочила с постели как безумная; когда же она услыхала пьяные крики Комаровского и смех другого, знакомого и отвратительного голоса, ее охватил безумный, безотчетный ужас. Одна здесь, в глуши, в руках этих извергов! До сих пор Комаровский обращался с нею ласково и нежно, но теперь, под влиянием вина, кто знает, что пришло ему в голову? Зачем он стучит в двери? Зачем? О боже, боже... Неужели? Нет! Она не дастся живой; но у ней нет оружия: ни ножа, ни сабли... ничего... все равно: убьет себя, задушит. «О господи, спаси меня!» — заломила она с отчаянием руки, следя обезумевшими глазами за дверью, которая вся вздрагивала под сильными ударами Комаровского. Но вот раздался страшный треск, крючок соскочил...

«Олексо, прощай!» — успело только промелькнуть в голове Оксаны; она вскрикнула и, вытянув словно для защиты руки, прислонилась к стене. Она стояла во весь рост. Черные густые волны рассыпались в беспорядке вьющимися прядями до самых колен. Лицо ее было бледно, как мрамор, рот полуоткрыт, и только огромные черные глаза, словно два громадных сверкающих агата, смотрели с каким-то диким ужасом на вошедших шатающихся панов. Бедная дивчына преобразилась: ужас и страшное решение придали ее наружности что-то такое величественное, трагическое и сильное, что подействовало даже и на Чаплинского. Несколько секунд длилось обоюдное молчание.

— Отчего ты не отворяла дверей? — спросил Комаровский, с трудом преодолевая волнение, охватившее его при виде девушки.

— На бога!.. Оставьте... уйдите!..— прошептала прерывающимся голосом Оксана, закрывая лицо руками.— Что я вам сделала?

— Да чего ж ты боишься, дурашечка? — продолжал Комаровский, не отрывая глаз от дивной фигуры девушки.— Мы только хотели навестить тебя. Вот пришел пан Чаплинский, приятель Богдана, ты, верно, помнишь его; он может тебе рассказать кое-что о твоем пане.

При первых словах о Чаплинском Оксана вздрогнула, взглянула из-под сомкнутых пальцев и вскрикнула; сердце ее похолодело: перед нею у дверей стоял тучный багровый шляхтич, с распахнутым жупаном, с выпуклыми зеленоватыми глазами... Она узнала его. Да, это тот отвратительный шляхтич, которого так ненавидела Ганна, который вязался к ним, а потом перешептывался и уговаривался с Еленой, когда дядька не было дома, он не друг дядька, он предатель, розбойник, его появление приносило одно зло, и баба говорит...

— Ворон, ворон! — вскрикнула в ужасе Оксана.— Оставьте, оставьте меня! — прижалась она еще ближе к стене.— Я задушу себя!

— Да кто же здесь ворон? Хо-хо! — заговорил заплетающимся языком Чаплинский.— Мне сдается, красотка, что здесь два сокола, да еще каких! И к чему тебе душить себя? — направился он к ней, покачиваясь.— Мы ведь тебе зла не желаем...

— Не подходи! — вскрикнула дико Оксана и, схва-

тивши в руки деревянный стул, подняла его над головой.— Убью!

— Ого,— даже попятился назад озадаченный Чаплинский,— мы с перцем... Так можно тебе, того, и ручки связать.

— Довольно!—произнес вдруг резко Комаровский.— Видел, и довольно! Не бойся, Оксана, мы ничего не сделаем тебе; если ты не хочешь, то мы и уйдем...

— Зачем уходить? — возразил с гадкою улыбкой Чаплинский.— Дивчына сначала только того... побрыкается, а потом будет ласковее...

Но Комаровский перебил его раздраженно:

— Оставь, пане тесте, идем; дивчына моя, я не хочу ей делать зла. Вспомни то, о чем я тебе говорил.

Чаплинский злобно взглянул на Комаровского, затем на бледную дикую красавицу, которая все еще держала с угрожающим жестом в руке стул, и вдруг в глазах его мелькнула какая-то налетевшая мысль, по лицу пробежала ехидная улыбка...

— Твоя правда, пане зяте... идем, не то встревожим красавицу; утром она будет добрее.

Паны вышли и притворили за собою дверь.

— Ты прав, любый зять мой,— обратился Чаплинский к Комаровскому, когда они опять очутились в покинутой ими светлице.— Да, прав, сдаюсь: с таким огнем нельзя поступать напрямик,— того и гляди или тебя убьет, или себя укокошит, а красотку жаль...

— Да я тебе говорил раньше! А как она замахнулась на тебя стулом? Видел ли ты что-либо подобное среди наших панн? Богиня богиней! — вскрикнул он восторженно.

— Еще бы! Дай медом залить переполох! Если б я не увернулся, она бы с одного размаха расшибла мне башку! Да, ты с нею погоди, погоди еще малость...

Комаровский ничего не ответил и только, наливши себе полный стакан меду, залпом осушил его и провел рукою по мокрому лбу.

— Вижу, пане зяте, не на шутку ты врезался,— продолжал дальше Чаплинский,— до правды и есть во что.

— Все бы отдал,— произнес хриплым голосом Комаровский.

— Да, да... так что же или, лучше, кто же мешает тебе? Ба! — ударил себя вдруг по лбу Чаплинский.—

Ведь ты говорил о каком-то женихе? Быть может, это она из козацкой верности,— усмехнулся он,— упорствует перед тобой? Как, говорил ты, звали его?

— Морозенком.

— Морозенко, Морозенко...— произнес несколько раз Чаплинский, как бы стараясь вспомнить что-то.— Да, да, вспомнил! Видал я его у Хмельницкого... Ты того... постарайся с ним поскорее покончить, а то не оберешься хлопот, тогда и красавица станет сговорчивее... Советую завтра же... Ну, а теперь доброй ночи, зятю, пора дать отдых и зубам, и утробе; слышишь, вот уже прокричали вторые петухи.

И пан Чаплинский с громким вздохом опустился на широкую лавку, застланную ковром, на которой в беспорядке валялись турецкие подушки, и, перевернувшись несколько раз, с громким сопением и кряхтением погрузился в тяжелый сон.

XXXV

Дверь за панами захлопнулась, а Оксана все еще стояла у стены, как окаменелая, прислушиваясь к замирающим панским шагам. Но вот они стихли, и хутор погрузился снова в могильную тишину. Оксана опустилась на постель.

Волнение, испуг и стыд смешались в ней, превратясь в лихорадочный озноб, потрясавший ее нежное миниатюрное тело; все оно вздрагивало от мучительных судорог, зубы стучали, сердце сжималось, словно в железных тисках, горло душили спазмы, и вдруг громкое, разрывающее сердце рыдание вырвалось из груди бедной дивчыны. Одна, одна в этой ужасной трущобе! Что ее ожидает дальше? Ох, боже, боже мой! Зачем они приходили сюда ночью? Этот Чаплинский... Зачем он здесь? Что он имеет с Комаровским? О боже, здесь что-то страшное... «Спаси меня, господи, господи, или убей меня!» — Оксана сжала голову руками и заметалась в подушках, стараясь заглушить рыдания. До сих пор она помнит на себе взгляд Чаплинского. Ух! От одного взгляда сердце переворачивается в ней. «Олекса, Олекса! Зачем ты оставляешь меня здесь на такую ганебу? Или ты уже не любишь больше меня?»

И снова громкие безутешные рыдания потрясали все тело бедной девушки; но никто не приходил к ней: кругом было темно и тихо, только большие хлопья снега залепливали стекла да замерзшие ели шептали что-то страшное и мрачное, тихо покачивая своими отягченными снегом вершинами.

До утра прорыдала бедная дивчына и только на рассвете заснула тяжелым, болезненным сном. Утром к ней пришла баба и сообщила, что пан Комаровский, узнавши, что Оксана еще спит, не велел будить ее и уехал со своим тестем, паном Чаплинским, в Чигирин, откуда обещался быть к вечеру.

Но вечером прискакал гонец и сообщил, что пан Комаровский неожиданно уехал по делу на три дня. Оксана вздохнула облегченно: три дня она находилась в безопасности, а дальше что? Дальше... в голове ее созрело окончательное решение: попробовать бежать, если же это не удастся, покончить с собой. «Бог простит,— решила бедная дивчына, сжимая сурово свои черные брови.— Простит и Олекса. Лучше смерть, чем позор».

Прошел день. На другое утро вошла в светлицу к Оксане баба. Оксана, взглянувши на улыбающуюся отвратительную старуху, далась диву. Лицо бабы было смущено, глаза бегали как-то неуверенно, притворно ласковая улыбка кривила синие губы.

— Бедное ты мое дитятко,— заговорила она нараспев, присаживаясь у изголовья девушки и проводя рукою по ее волосам.— Вот ты все не веришь мне, а я для тебя много бы сделала... Жаль мне тебя, как родную дочь...

Оксана приподнялась на локте и с ужасом уставилась на старуху.

— Да, жаль... не знаешь ты, зачем тебя привез сюда пан, — продолжала также жалобно старуха, — до сих пор он возился с тобою, жалел тебя, ожидая, что ты его сама полюбишь, а теперь — конец!

— Бабусю! — вскрикнула с ужасом Оксана, сжимая до боли руки старухи.— Спасите меня!

— Да, спасите... Вот если я тебя спасу, то пан с меня живьем шкуру сдерет, а она хоть и поношенная, да другой уже себе не справлю... Пришлось бы бежать вместе с тобой, а чем я заработаю теперь хлеб? Только пан из милости держит меня.

— Бабуся, голубушка, у меня есть жених,— заговорила лихорадочно, возбужденно Оксана, целуя жилистые, отвратительные руки старухи,— он для вас все, все, что можно... Да нет, стойте! — бросилась она к скрыньке, что стояла у ней на столе, и, вытащив оттуда дрожащими руками нити жемчугов, гранаты, кораллы и дорогие серьги, высыпала все это на колени старухе.— Только спасите, спасите меня!

При виде драгоценностей глаза старухи вспыхнули, как у дикой кошки, но она, казалось, еще колебалась.

— Ох-ох,— проговорила она, рассматривая каждую нитку,— ведь за эти цяцьки, девонька моя, гроши дадут, да, гроши... Дурней мало на свете, да еще и продавать их придется из-под полы!

— Спасите, спасите! — повторяла со слезами Оксана, падая перед ней на колени.— Жених мой все сделает для вас... Я буду вам наймычкой до конца дней!

— Ну, нечего делать с тобой,— согласилась наконец старуха, бережно связывая в узел все драгоценности,— ступай за мной, только чур никому ни слова, ни звука, чтоб никто и не заметил: не то пропадет и твоя, и моя голова.

Дрожащими, непослушными руками набросила на себя Оксана байбарак и последовала за старухой.

В полутемной конуре, в которой помещалась старуха, сидела какая-то закутанная в керею фигура. Старуха тщательно притворила за собою двери. Оксана дрожала до такой степени, что должна была ухватиться руками за стол, чтобы не упасть.

— Узнаешь меня, Оксана? — произнес незнакомец, подымаясь с места и сбрасывая керею.

— Пешта? — едва смогла произнести Оксана.

— Да, Пешта,— продолжал козак,— да еще с доброю вестью от Морозенка... Что ты на это скажешь, а?

Но Оксана ничего не могла сказать. Она судорожно открыла несколько раз рот, как будто спазмы сжали ей горло, и пошатнулась назад.

— Гай-гай! А еще козачка! — покачал головой Пешта.— Дай, бабо, ей воды да усади на скамью, а то она еще от радости и совсем упадет, что я тогда привезу козаку?

Оксана отпила несколько глотков воды и прошептала прерывающимся голосом:

— Дальше, дядьку... дальше!

— То-то же, ты меня смирно слушай, не жартуй... Ты уже, конечно, нарекала на Морозенка за то, что он не летит тебя рятовать, а он уже был тут, да опалил себе крылышки и попал в тюрьму.

— Жив, жив?—вскрикнула безумно Оксана, срываясь с места.

— Атож, кой бы бес прислал меня в эту трущобу? С мертвяками я дел иметь не люблю.

— Господи, матерь божия! — вскрикнула судорожно Оксана и залилась горячими радостными слезами.

— Ну, слушай же дальше,— продолжал Пешта.— Так вот коханец твой попал в тюрьму; теперь с божьей помощью он выбрался из нее, да, наученный добре, сам уже не полез, а пригласил товарищей; послал вот и меня к тебе пересказать, что если ты еще до сих пор не забыла его и не польстилась на панские ласки, то сегодня, ровно в полночь, он будет ждать тебя в лесу, чтобы вместе бежать в Запорожье. Вот же тебе напильничек,— передал он ей инструмент и веревку.— Подпилишь решетку на своем окне и спустишься по веревке вниз, сторож будет спать, а я тебе перекину через частокол против твоего окна другую веревку, перелезешь и спустишься в ров, а за рвом я буду тебя поджидать с конем и доставлю к Морозенку. Поняла?

— Дядьку, бог благословит вас! — вскрикнула обезумевшая от радости Оксана, целуя руки козака.

— Ну, ну, не благодари заранее; посмотрим еще, как нам удастся! Запомнила ли ты все, что я сказал?

— Все, все, не забуду ни слова.

— Вылазь же из окна после первых петухов за вторыми; я крикну тебе из-за стены совой.

— А собаки? — заметила угрюмо старуха, которая все время мрачно следила за происходившею перед ее глазами сценой.

— Ну, ты, ведьма, собакам гостинец поднеси, есть ведь у тебя всякие. Поднеси такого, чтоб замолкли, понимаешь? — покосился на старуху желтыми белками Пешта.— Да вот тебе и задаток,— передал он ей тяжелый кошелек,— остальное вечером.

Старуха раскрыла кошелек.

— Осмотреть еще,—проговорила она злобно.—Знаем мы вас. Наложит каменцов, а потом и след простыл.

— Небойсь, жгутся,— улыбнулся насмешливо Пешта и добавил угрожающим тоном: — Смотри же, если обманешь, не сидеть твоей голове между плеч.

— А мне же как? Оставаться — что в петлю лезть?

— Да говорю же толком, за нами поедешь в ступе... Эх ты, непонятливая, а еще и с метлой!

Казалось, короткому зимнему дню не будет конца. Целый день провела Оксана в каком-то безумии. Она и плакала от радости, и томилась, и давала горячие обеты. Временами ей казалось, что сердце разорвется у нее в груди, что она сойдет с ума. И снежный зимний день казался ей маем и угрюмые сосны — вишневым садком. Но вот настал наконец вечер. Солнце не проглядывало весь день, а к вечеру насунули свинцовые тучи, стало темно.

Старуха принесла зажженный каганец и прошипела злобно:

— Смотри же, осторожно, чтоб не заметил никто, не то я и сама придушу тебя.

Но Оксана только улыбалась. Она не могла говорить; радостные слезы прерывали ее речь. Вот затворилась дверь за старухой, и Оксана принялась за свою работу. С какою легкостью и осторожностью действовала она напильником! Ей казалось, что каждый ее мускул получил теперь тройную силу, а тело стало легче голубиного пера.

За окном начали шуметь ели; что-то завыло. Сторож застучал в деревянную доску... Прошло еще несколько томительного времени. Прокричал первый петух. Оксана вздрогнула и перекрестилась несколько раз. Решетка была уже перепилена, веревка привязана к окну. Еще час длинный... ползущий... ужасный. Второй петух, а вот и протяжный крик совы... Оксана поднялась. Глаза ее глядели решительно и смело, движения сделались уверенны и легки. Быстро вскочила она на окно и, ловко цепляясь, опустилась по веревке вниз... Земля... да, снежная земля под ногою! Теперь через стену, а там уж свобода, счастье, покой! Осторожными шагами, пригибаясь к земле, почти поползла она по направлению к стене. Кругом темно... По лесу носится какой-то странный шум, над головой кружатся белые хлопья... жгучий, холодный ветер залетает то справа, то слева и визжит, словно хочет указать вартовым на нее, на беглянку.

Оксана дрожит. Вот и стена... Но где же веревка? Веревка, веревка! Веревки нет! Задыхаясь от волнения, поползла Оксана вдоль стены. Затем воротилась назад... Холодный пот выступил у нее на лбу. Веревки не было нигде! Что же это, обман, измена? — чуть было не вскрикнула Оксана и вдруг натолкнулась на камень, привязанный к веревке. Не теряя ни одной минуты, начала она подыматься на высокую стену; оцепеневшие руки с трудом слушались ее, для удобства она сбросила сапоги, но мороз сковывал движение ног. Несколько раз ссовывалась она назад, но с отчаянием, со слезами хваталась снова за веревку, цеплялась зубами, ногтями и подымалась вверх; она оцарапала себе руки и ноги, но, наконец, таки добралась до вершины стены. Передохнувши всего одно мгновение, Оксана начала спускаться в глубокий ров, который тянулся сейчас за частоколом. По ту сторону за стволами елей она заметила двух лошадей, и это придало ей еще больше энергии. Но слезать оказалось труднее, чем влезть; охвативши крепко веревку руками и спустивши ноги со стены, Оксана вполне почувствовала это. Она взглянула вниз и зажмурила от страха глаза: под нею чернела какая-то темная бездна, казавшаяся еще более глубокой от сгустившейся тьмы; но делать было нечего. Призвавши на помощь господа, Оксана начала спускаться. Намерзшая веревка скользила из ее рук. Вдруг за стеной раздался окрик часового, другой и третий. Оксана вздрогнула и выпустила веревку из рук... В глубине оврага раздался шум от падения какого-то тяжелого тела, заглушенный толщей снега; затем еще один протяжный крик часового, другой, третий — и все смолкло кругом.

— Убилась? — прошептал над Оксаной Пешта, приподымая ее с земли; глаза девушки были закрыты.— Ну, будет бесова штука, если еще расшиблась или сломала что-нибудь,— проворчал он сердито и потряс девушку за плечи.

— Убилась, что ли? — повторил он громче.

Оксана открыла глаза и, увидевши перед собою лицо Пешты, моментально очнулась. Пешта повторил свой вопрос.

— Нет,— ответила она слабым голосом,— только ушиблась.

— Счастье твое, что насыпало здесь снегу аршина

на два,— проворчал Пешта,— не то бы добрый вареник доставил я Морозенку вместо тебя. А ты встань еще, осмотрись, не сломала ли чего?

Оксана поднялась с его помощью и ощупала свое тело.

— Нет, дядьку,— ответила она уже более бодрым голосом,— только ссадины.

— Ну, это ничего, до свадьбы заживет,— хихикнул Пешта.— Только ловко же ты, дивчыно, прыгаешь, верно, часто бегала из окна... А теперь за мною... да проворней, чтобы не успели захватить.

С помощью Пешты вскарабкалась Оксана на крутой берег обрыва и вскочила на оседланную лошадь.

— Скакать можешь? — спросил коротко Пешта.

— Скачите, не отстану,— прошептала Оксана, чуть не задыхаясь от биения сердца в груди.

— А меня же, панове, бросаете? — раздался вдруг из-за ели шипящий голос старухи.

— Ач, бесово помело! Как из земли выскочила! — отшатнулся даже конем Пешта.— Свят, свят с нами!

— Да что ты лаешься? А козацкое слово?

— Ступай за нами... на помеле... там в сани возьмем, а тут от тебя и кони храпут.

— Ах ты, зраднык! — крикнула баба.— Вот я вартовых всполошу зараз... Гей! Пыльнуй! — взвизгнула было она, но ветер завыл еще больше и заглушил ее визг.

— Только пискни,— поднял пистолет Пешта,— и твой смердючий мозг разлетится бесам на потеху; не дури: что с воза упало, то пропало! Оседлай ступу и догоняй нас. А ты, Оксана, гайда за мной!

Лошади понеслись.

— Погибель на вас! Проклятые, каторжные! Чтоб вы утра не дождали, чтоб вас нечистая сила...— гналась за ними, бредя по снегу, баба; но завирюха заметала ее проклятия.

Вскоре Пешта свернул с прямой дороги и двинулся в чащу, ежеминутно колеся и сворачивая, чтобы запутать следы; впрочем, разыгравшаяся метель заносила их сразу волнами снега. Сучья елей цеплялись за волосы Оксаны, царапали лицо, железные стремена жгли ее босые ноги; но она не замечала ничего.

Исколесив так около часу по лесу, они натолкнулись

наконец на группу всадников, которые, очевидно, поджидали их здесь.

— Наконец-то, — проговорил досадливо один из них.— Чуть не замерзли.

— Трудно было,— ответил Пешта, тяжело отдуваясь от быстрой езды,— проведите панну к саням, а сами скачите опять сюда назад, и двинемся в степь, чтобы спутать погоню: они подумают, что мы наткнулись на сани и, испугавшись, бросились опрометью в степь.

Всадник наклонил голову и, привязавши длинный повод к лошади Оксаны, двинулся вперед; с боку ее поскакал другой, впереди и позади по одному. Оксана очутилась под конвоем. Ей сделалось жутко... Зачем такая предосторожность? Разве она убежит от Олексы? Но нет, это сделано, вероятно, для того, чтобы защитить ее от нападения. Зачем он сам не встретил ее здесь? Сердце Оксаны болезненно сжалось.

Лес становился все мрачнее, в лицо жгуче бил мелкий сухой снег. Закутанные в черные кереи, мрачные фигуры молчаливо покачивались в седлах; где-то захохотал филин. Оксане стало страшно. Она оглянулась: всадники ехали подле нее так близко, что касались стременами ее ног.

— А где же Олекса? — спросила робко Оксана, обращаясь к тому, который показался ей старшим.

— Вот скоро увидишь. Поджидает в санях,— ответил тот, и Оксане почуялось, что в голосе его прозвучала насмешка.

Какой-то свист или стон по лесу... Лес все гуще... Молчаливо покачиваются черные фигуры, фыркают кони испуганно.

Но вот поредели сосны. Сквозь их стволы виднеется полянка. Темнеет что-то. Это сани. Сердце у Оксаны екнуло и замерло.

— Олекса! — вскрикнула она, порываясь с коня.

— Поспеешь! — усмехнулся ей всадник, и, пришпорив коней, они выехали на поляну.

В санях сидела какая-то фигура, завернутая, как и ее спутники, в длинный плащ с капюшоном на голове.

«Зачем он прячет свое лицо?» — промелькнуло молнией в голове Оксаны; но соображать было некогда.

Подскакавши к саням, старшой ловко спрыгнул с коня и, схвативши Оксану, посадил ее в сани. Застоявшиеся лошади дернули, и сани полетели...

Плащ распахнулся... Оксану охватили сильные руки; хищное усатое лицо приблизилось к ее лицу.

— Чаплинский! — вскрикнула нечеловеческим криком Оксана, стараясь рвануться; но сильные руки крепко охватили ее.

— Да, Чаплинский,— прошептал над ее ухом с наглым смехом хриплый голос,— а сумеет обнять не хуже козака!..

XXXVI

Первое время после своего водворения в Чигирине Ганна еще долго не могла привыкнуть к шумной мирской жизни; она словно отвыкла от людей и ежедневных хлопот, но сами хлопоты эти, которых ей выпало теперь немало на долю, помогли ей отрешиться вскоре от той строгой сосредоточенности и молчаливости, что наложила на нее монастырская жизнь. Кроме того, ее до глубины души тронула радостная встреча детей. Охвативши шею Ганны, Катря и Оленка долго плакали тихими слезами у нее на груди, нежно прижимаясь, словно хотели рассказать этими безмолвными слезами, сколько горя вынесли за это время их молодые, детские души. Оторвавшись наконец от девочек, Ганна обняла Юрка, давно цеплявшегося уже за ее байбарак, поздоровалась с Тимком, который, несмотря на свою дикость, почеломкался с нею, вспыхнувши весь от радости, и оглянулась кругом. Ничего не сказала она, но тихий вздох вырвался из груди всех присутствующих. Двух лиц не хватало здесь для полного счастья — Оксаны и маленького Андрийка. Слезы выступили на глазах у Ганны и у молоденьких дивчат. С тех пор это стало горем, о котором и она, и они думали каждый день, но помочь ему не было никакой возможности... Так и зажила Ганна опять в старом гнезде, втянувшись в свои дела и обязанности; казалось, она никогда и не уходила отсюда; от пережитого горя осталось только легкое облачко тихой печали, не сходившее теперь с лица ее и среди самых веселых минут.

Часто вспоминала она с девочками пережитые ужасные дни. Особенно жаль ей было Оксану; она привязалась к ней, как к родной сестре. Когда Ганна вспоминала о судьбе, какая должна была постигнуть бедного ребенка, ужас охватывал ее всю; но поднять вопрос об освобождении Оксаны было теперь и невозможно, и напрасно. Одно удивляло ее, как это Морозенко не явился до сих пор сюда, чтобы хоть попытаться спасти свою маленькую Оксану, которую он так сильно любил. Это недоумение, впрочем, скоро рассеялось. Однажды к Богдану явился совершенно неожиданный и забытый гость,— гость этот оказался Шмулем. Увидевши Богдана, он бросился к нему с такой неподдельной радостью, что даже изумил всех присутствующих.

— Ой гот, гот! * Тателе, мамеле,— закричал он, задыхаясь от радости, звонко потягивая носом, и бросился целовать руки Богдану,— пан писарь живый! Ой, ой! Живый и здоровый!

— А тебе-то что, или обрадовался? — усмехнулся Богдан, смотря на комичную фигуру жида.

— Что с того? Что с того? — повторил нараспев Шмуль, приподымая брови и утирая от волнения пальцами нос.— Пан писарь думает, что у Шмуля только пар, а у Шмуля есть сердце. О! — ткнул он себя пальцем в грудь.— И еще как тукает, ой-ой-ой!..

— Ну, а что же оно там тукает? — продолжал улыбаться Богдан.

— А то оно тукает, что не хочет больше без пана писаря жить! Пан писарь покинул Субботов, и Шмуль из Субботова; пан писарь в Чигирин, и Шмуль в Чигирин; пан писарь на Сечь, и Шмуль на Сечь; пан писарь на войну, и Шмуль на войну — вот что! — вскрикнул, мотнувши пейсами, жид.

— Го-го! Да как же ты расхрабрился Шмуль, будет еще из тебя запорожский козак! — рассмеялся Богдан, а за ним и все остальные.— А почему же ты покинул Субботов?

— Вей мир, вей мир! — замотал уныло головою Шмуль.— Что за гешефт без пана писаря? Знаю я вельможных панов, будут брать все наборг (в долг) да наборг, а когда жид скажет хоть слово за гроши, то жида

* Ой боже, боже! (*Євр.*).

за пейсы, на дуб — и ферфал! Пхе! — сплюнул он на сторону.— Буду я вже лучше за паном писарем жить!

— Потому, что с пана писаря кровь можно тянуть?

— Ой вей! — вздохнул жалобно Шмуль и оттопырил пальцы.— Бо всем надо жить; всех бог на жизнь сотворил!

Последний аргумент оказался столь вразумительным, что Богдан позволил Шмулю поставить новый шинок на той земле, что он купил в Чигирине. Среди многих новостей Шмуль сообщил между прочим и о Морозенко, о том, как он уговаривал его не ехать, зная, что из этого ничего не выйдет; но молодой рыцарь все-таки поскакал в глупую ночь в Чигирин да с той поры так и пропал.

Известие это как громом поразило и Богдана, и Ганну, и всю семью; с давних пор все привыкли считать Морозенка за сына Богданова, и честный, самоотверженный, добрый хлопец вполне заслужил всеобщую любовь.

— Погиб,— решили все,— без всякого сомнения!

Даже суровый Золотаренко произнес с грустью:

— Жаль больно, жаль хлопца: золотой был бы козак!

Но предаваться грусти и сетованьям не было теперь возможности: надвигались такие важные события, которые поглощали всякую личную жизнь; кроме того, надо было устраиваться в новом жилье, и устраиваться не как-нибудь. Богдан купил великолепную усадьбу, которую еще и подстроил, и приукрасил по своему желанию. Чигиринские обыватели только дивились тому, откуда у разоренного пана писаря берется столько денег, но он бросал их такую массу, что, казалось, в карманах его находился неиссякаемый родник! Вскоре, благодаря неутомимым заботам Ганны и двух молоденьких дивчат, дом пана сотника принял такой зажиточный и красивый вид, которому позавидовал бы и любой из вельможных панов. Часто, входя в светлицу, Богдан заставал всю семью свою за мирною работой, теснящуюся вокруг Ганны. Молча любовался пан писарь этой мирной картиной, и тихий вздох вырывался из его груди.

— Что с вами, дядьку,— подойдет к нему, бывало, Ганна,— о чем зажурылись? Злое дело рассеяло нас, а вот милосердный бог дал, и собрались все.

— Эх, Ганно,— ответит, отвернувшись в сторону, пан

писарь,— склеенное не бывает целым,— и выйдет из покоя вон.

Ежедневно ходил Богдан с Ганной по своему дворищу осматривать последние работы, что торопливо оканчивались, несмотря на зимнюю пору. Кругом них все кипело жизнью, и вдруг, среди горячих хлопот, советов и приказаний, Богдан умолкал на полуслове и с грустью устремлял свой взор на суетящихся кругом рабочих.

— Что с вами, дядьку? — спрашивала его участливо Ганна, стараясь заглянуть ему в глаза.— Господь отнял ваше старое гнездо, а он же дал вам еще лучшее.

— Эх, порадонька ты моя тихая,— отвечал печально Богдан, проводя рукою по ее темноволосой голове,— мне уже больше гнезд не вить... не для меня оно!

И эта отцовская ласка наполняла сердце Ганны неизъяснимой радостью. Больше она ничего и не хотела: так бы и до смерти. Но вскоре пришлось расстаться с тихой и мирной жизнью.

Окончивши устройство и украшение своего дома, Богдан зажил так широко и открыто, что слава о его хлебосольстве прогремела далеко кругом. Ежедневно в доме его стали собираться и шляхтичи, и козаки. Богдан угощал всех на славу. Мед и вино лились неиссякаемым потоком, а веселое, шутливое настроение любезного хозяина окончательно очаровывало гостей. Мало-помалу у Богдана стала бывать вся чигиринская шляхта. Некоторые из панов пробовали было сначала утешать пана писаря, но последний оказал сам такое изумительное забвение своим обидам, что вскоре шляхта почувствовала себя совершенно свободно в доме оскорбленного и униженного козака.

— Эх, пане писарю, пане писарю,— говаривал, бывало, заплетающимся языком кто-либо из дородных панов.— Ну, стоило ли тебе огорчаться из-за какого-то хуторка и одной девушки?

— Да лягни меня конь в самое око,— восклицал со смехом Богдан,— если я жалею о том! Привык было сначала к девушке, оно и было досадно! А как съездил я в Варшаву, так вижу теперь, что товар этот недорогой; можно за два червонца полкопы купить. Да и о хуторе жалел я, потому что не знал городской жизни, а теперь с такими друзьями,— обнимал он хмелеющих соседей,— да давай мне назад Субботов — сам не пойду!

Да есть ли еще тут время сожалеть о чем-нибудь в жизни? «Жице наше крутке — выпиеми вудки!» — заключал он ухарским возгласом.

— Жице наше недлуге, выпиеми по другий! — подхватывал с громким ржанием другой.

И красные, вспотевшие лица лезли целоваться к пану писарю. Стаканы звенели, и вино лилось да лилось.

Когда же после этих шумных пирушек Ганна входила в светлицу, она заставала Богдана одного, сидевшего у залитого вином стола, с головой, опущенной на руки, с мрачным и гневным лицом. Он поднимался ей навстречу и, окидывая следы пиршества презрительным взглядом, говорил злобным торжествующим взглядом: «Ничего, ничего, моя голубка, потерпим еще немного, больше терпели. Поднесем им такого меду, от которого у всей Польши закружится голова!»

Несколько раз приглашал Богдан на пирушку к себе кума своего Барабаша; но хитрый, трусливый старик, зная о происшествии с Богданом, сторонился его, боясь, как бы знакомство с паном писарем не скомпрометировало его во мнении вельможных панов; узнав же о том, что у Богдана пирует ежедневно почти вся чигиринская шляхта, он рискнул наконец проведать кума. Приехал и нашел, что от прежнего Богдана не осталось и следа. Его встретил нараспашку веселый и беспечный гуляка, друг и приятель шляхты и всех панов.

— Так-то лучше, хе-хе-хе! Лучше! — потрепал довольный Барабаш Богдана по плечу.— Я рад, куме, что ты образумился, право, рад. И спокойнее, и сытнее. Знаешь, как люди говорят: «На чьем возу едешь, того и песню пой».

— А то что же! — громко рассмеялся Богдан, наливая и себе, и Барабашу полные стаканы.— Постарел я, пане полковнику, а к старости и разум приходит. Ну, выпьем же! — крикнул он громко и развязно, чокаясь стаканом с кумом.

Пан полковник вернулся домой только на рассвете, сытый, хмельной и веселый до такой степени, что даже сердитая пани полковница пригрозилась на него. С той поры и трусливый Барабаш, который, по скупости своей, а главное, и по скупости пани полковницы, любил выпить и поесть на чужой счет, стал завсегдатаем у Богдана.

Так летели, словно в угаре, день за днем. Близился праздник святого Николая [62]. Однажды вечером Богдан вошел в комнатку Ганны и, тщательно затворивши за собою дверь, обратился к ней серьезным, деловым тоном:

— Слушай, Ганно, я привык говорить с тобой как с другом: близится роковой день. На Николая я хочу дать обед и послал гонцов за всеми старшинами, какие теперь есть на Украйне; получил весть и от Богуна, что он к Николаю спешит. Мне надо достать привилеи [63]. Они у Барабаша. Надо налить вином эту прогнившую бочку до самых краев. Не жалей денег; трать сколько хочешь, лишь бы все вышло и сытно, и пьяно. Да помни, надо созвать как можно больше нищих, бандуристов и калек.

— Не помешали б они, дядьку; от них дела не скроешь.

— Того мне и нужно,— они разнесут по всей Украйне, что Богдан украл у Барабаша привилеи и ускакал с ними на Сечь!

— О дядьку! — только могла вскрикнуть Ганна и с загоревшимся восторгом и воодушевлением лицом припала к его руке.

Весть о том, что пан сотник чигиринский готовит на Николая освящение своего нового дома и знатный пир, с быстротою молнии облетела все окрестности. Множество нищих, калек и бандуристов потянулись к Чигирину.

Уже за два дня до святого Николая в доме Богдана начали приготовляться к великому торжеству. Зима стояла теплая и тихая, а потому обеденные столы для нищих решили поставить в клунях, коморах и сараях. Целыми днями пекли, варили и жарили. Шмуль, которому было поручено заготовить для нищих пива и меду, летал всюду с такою поспешностью, что длинные фалды его лапсердака развевались, словно крылья летучей мыши. Наконец настал давно жданный день.

Рано утром вошел Богдан к Ганне и, поцеловавши ее в голову, произнес с глубоким чувством:

— Ну, Ганно, молись теперь богу: господь любит тебя.

— Дядьку! — подняла на него Ганна глаза, что горели непреклонною верой.— Господь вас выбрал, он не оставит вас.

— Не говори так, дитя мое, не искушай сердца! — провел рукою по лбу Богдан.

— Вас, дядьку, вас, — продолжала настойчиво и воодушевленно Ганна,— я верю, я знаю — вас!

— Но если и так,— вздохнул глубоко Богдан,— молись, дитя мое, у тебя чистое сердце; молись, чтобы он очистил меня своим священным огнем...

— О дядьку,— перебила его восторженно Ганна,— он охранит, он даст вам все! Верьте и надейтесь на него!

— Мой ангел тихий,—прижал ее крепко к груди Богдан,— ты одна утоляешь и муки, и тревоги сердца...

Ганна вспыхнула и порывистым движеньем вырвалась из его объятий.

XXXVII

Стук, раздавшийся в это время в дверь, отвлек внимание Богдана и заставил его оглянуться. Вошел Золотаренко. Он торопливо поздоровался с Ганной и, не заметив ее взволнованного лица, обратился к Богдану:

— Будут все те, которых с тобой мы наметили.

— Ну, слава богу! — вздохнул облегченно Богдан.— А Барабаш? Узнал ты?

— Знаю, вчера уже не вечерял, чтобы больше было места на писарев обед.

— Отлично, мы его нальем до краев, как бочку! Одно вот только... когда б Богун,— прошелся по комнате Богдан,— мы бы с ним сейчас на Запорожье; у него ведь там и друзей, и побратымов чуть ли не три куреня!

— Поспеет,— произнес уверенно Золотаренко,— вчера мне говорили, что видели его уже в Трахтемирове.

— Ну, так все... Жаль только, что Чарноты да Кривоноса нет. Да те пристанут всегда,— улыбнулся уверенно Богдан,— а Нечай, вражий сын, уже с неделю у меня в коморе сидит.

— Одного только я боюсь,— произнес с беспокойством Золотаренко,— как бы твои паны-ляхи не налезли, а то помешают всему!

— Не тревожься: об этом я подумал,— кивнул уверенно головою Богдан,— сегодня ведь освящение дома, а значит, и все наше духовенство будет. Не бойсь, панство этого не любит! А если бы кто из них и забрел, то мы его живо накатим.

— Ладно,— согласился Золотаренко.

В это время раздался несмелый стук в двери.

— Кто там? — спросил недовольным голосом Богдан.

— Какой-то дед, а с ним мужик и баба,— послышался голос козачка,— говорят, что очень им нужно видеть пана писаря.

— Кой бес там еще врвался на мою голову? Скажи — не до них! — крикнул сердито Богдан.

— Говорил,— отвечал голос,— не слушают. Кажут, что важная потреба.

— Ну, так веди их, вражьих сынов, сюда! — произнес раздраженно Богдан и, дернув себя сердито за ус, прошелся по комнате.

— Кому б это я еще понадобился? — потер он себя рукою по лбу.

— Что-нибудь важное,— заметил серьезно Золотаренко.

Через несколько минут раздались тяжелые шаги, и в дверях появились три странные фигуры: белый как снег старик, опиравшийся на руку высокой, худой и мускулистой молодыци с красивым, но суровым и жестким лицом, напоминавшим скорее козака, чем бабу, и мужик, опиравшийся на толстую суковатую палку.

— Дед?! — вскрикнули разом все присутствующие, отступая в ужасе назад.— С того ли вы света, или с этого?!

— С того, с того, детки, родные мои,— заговорил радостно старик, заключая Богдана в свои объятия.— Видишь, бог было взял, а потом и назад отпустил,—шамкал дед, улыбаясь, целуя Богдана и отирая слезы грубыми рукавами свиты.— Да ты постой, постой, сыну, дай посмотреть на тебя, какой ты стал! Ну, ничего, ничего... сокол соколом,— гладил он Богдана и по голове, и по щекам.— Что ж, приймешь опять старого? Правда, плохо оборонил твою господу... в другой раз не попадусь!

— Что вы, что вы, диду? — вскрикнул Богдан, прижимая к сердцу старика.— Да для меня вас видеть такая радость, такая утеха! Да и где же вам жизнь кончать, как не у меня?

— Так, так... я и сам так думаю: или у тебя, сыну, или на поле,— отер несколько раз глаза дед и повернулся к Ганне, что уже стояла за ним и с сияющим лицом бросилась целовать старческие, сморщенные руки.

— Голубка моя, слышал уже я дорогою, что ты

здесь,— целовал он ее и в лоб, и в голову, и в глаза,— слава богу, слава господу милосердному... Значит, все, что бог дал, вернулось...

— Да что это вы меня, диду, не витаете? — спросил радостно и Золотаренко.— Или уже и не признаете?

— Таких-то и не признаешь! Да если б я теперь мог, детки, вот всех бы вас, кажется, передушил! — вскрикнул, сияя от счастья, старик.— Говорят, что на том свете лучше бывает, а вот попадись я опять на зубы ляху, когда на этом не веселее! — Старик обнял Золотаренка.— Да ты тише, тише, брате,— крикнул он ему, когда Золотаренко охватил его своими сильными руками,— помни, что дед не тот стал; кабы не эти вот люди, так уже кто его знает, где бы я и гулял теперь?

— А как же вы, люди добрые, отходили нашего деда? — обратился Богдан к молодыце и ее спутнику и вдруг вскрикнул с изумлением.— Господи, да никак это Варька и Верныгора?!

— Ну, уж теперь не Верныгора, а Вернысолома; только ее все время и ворочал,— усмехнулся горько козак, посматривая на свою палку.

— Да идите вы сюда, поцелую я вас,— раскрыл широко свои объятия Богдан.— Рассказывайте толком, где и как перебирались вы с того света сюда?

После первых приветствий заговорил Верныгора.

— Да что там говорить, и слушать не стоит! Как это приютил ты нас, приносила нам баба-старуха пищу... прошло дня три хорошо. Только смотрим, не пришла она раз, забыла ли, или помешал ей кто, или захворала — не знаю, только не пришла она, не пришла и на другой день. Голод, а выйти боимся. На третий день слышим шум, гам, крики: «Наезд!» Хотели было броситься помогать твоим защищаться, да некому было, все такая ведь каличь собралась! Одна была только Варька, так она сторожила нас. Прошло, так думаю, с полдня, из лесу приползло еще двое голодных на смерть. Слышим — тихо все стало. Прождали мы до вечера — тихо, и есть никто не несет. Ну, думаю, значит, не весело дело окончилось, а тут есть, знаешь, так хочется, что готов бы, кажется, сам себе руку изгрызть, вот мы и вылезли ползком, а там ты уже сам видел. Сначала кой-как еще перебивались, то корову перепуганную поймаешь, то мешок пшеницы отыщешь. Вот и

деда подобрали. Ничего, голова крепкая, вылечилась, а потом еще и нам советы давала. Только долго так нельзя было пробиваться: раз, что есть уже нечего было, а другое то, что Чаплинский на хутор дозорцев своих прислал, чуть-чуть они было нас не слопали! Кто поднялся на ноги, на Сечь ушел, а мы,— как уже так бог дал,— перебрались в степь в один зимовник *. А там как услышали, что ты сюда вернулся да заварил кашу, то уже кто как мог,— кто на ногах, а кто на карачках,— доплелись таки до Чигирина.

— Ай да друзи, ай да молодцы! — вскрикнул весело Богдан, хлопая козака по плечу.— Как раз в самое время и поспели. Ну, а что твой муж, Варька? — обратился он к женщине с суровым, мужским лицом.

— Умер,— ответила она коротко и мрачно.

— Что ж ты теперь?

— Пришла просить тебя, чтобы взял меня с собою.

— Нет, этого нельзя, теперь я еду на Запорожье. Оставайся у меня, Варька; ты оборонишь вместе с Ганной гнездо мое, покуда мы вернемся с Сечи, а тогда уже, бог даст, сольемся в одну реку.

Варька сурово посмотрела на Ганну; глаза последней глядели на нее с немым, но задушевным сочувствием. При виде этого грустного и глубокого взгляда, что-то женское шевельнулось в ее огрубевшей уже душе, она помолчала с минуту и затем произнесла отрывисто:

— Ладно!

— Ну, вот теперь и слава богу! — вскрикнул облегченно Богдан.— Теперь я буду совершенно спокоен за мое гнездо: Варька, да Ганна, да еще дед, так лучших воинов мне и не надо! Одначе, идемте, панове! Покажу я вам свою новую оселю, дед. Да еще дети не знают, надо и их порадовать!

Компания вся двинулась в нижнюю большую светлицу. Встреча детей с дедом была поистине трогательна: и старый, и малый плакали от радости.

— Одного только нет,— прошептал дед, утирая глаза и гладя всех по головам.— Эх, Богдан, когда б ты видел, как он боронился. Очи горят, саблей машет, летает от одного к другому, так сам и рвется в огонь... Козацкая душа! И хотя б тебе в одном глазу страх! Обступи-

* Зимовник — хутір у степу.

ли нас кругом, а он, малютка наш, кричит: «Не сдадимся, все ляжем!» Смотрят на него старые и набираются веры да храбрости. Как ангел божий летал среди нас... Эх! — махнул дед рукою и отер жестким рукавом глаза.— Был козачок-вогнычок (огонек), да потух...— голос деда осекся.

Все как-то грустно потупились кругом.

Между тем, несмотря на раннюю пору, на двор уже прибывал толпами народ. Он размещался и подле кухонь, и в сараях. День был теплый и светлый, словно весенний.

Закусивши хорошенько, Богдан сказал несколько слов деду, Верныгоре и Варьке и вышел вместе с ними и с Золотаренком во двор. Скоро вокруг деда и его товарищей собрались кучки народа; все о чем-то таинственно шептались, кивали головами с восторгом и изумлением и торопливо сообщали что-то другим.

Ганна же вместе с дивчатками и прислужницами начала приготовлять в большой светлице стол для приглашенных старшин. Она делала все как-то лихорадочно и торопливо. Руки ее дрожали от волнения, а в голове вертелся неотвязно один и тот же вопрос: «Удастся или нет, удастся или нет?»

Все уже было готово; столы накрыты и установлены дорогой посудой. Уже и вина, и наливки, и меды, и запеканки были принесены из погребов, уже и в пекарнях покончили работы, а Ганна все еще ходила с нетерпением от одного стола к другому, то поправляя скатерть, то передвигая кубки, стараясь чем-нибудь отвлечь себя от томящего ее ожидания.

Вдруг в комнату влетел стремглав Юрко и, крикнувши: «Ганно, Богун, Богун приехал!» — метнулся дальше. Вслед за криком ребенка дверь порывисто распахнулась, и в комнату вошел статный и мужественный красавец козак лет тридцати.

— Богун! — вскрикнула радостно Ганна, и по лицу ее разлился бледный румянец.

— Он, он, Ганно! — ответил с восторгом вошедший и, перекрестившись на образа, быстро подошел к девушке: — Ганно, сестра наша, опять ты с нами! — поцеловал он ее крепко в лицо.— Я знал, что ты вернешься, что ты не запрешь себя в холодных стенах, когда здесь начинается новая жизнь!

— Да, да...— заговорила, вспыхнувши, Ганна,— сегодняшний день...

— Знаю,— перебил ее Богун,— ох, душа моя горит, Ганна! Когда получил я от Богдана весть — земли не услышал под собою! Как на крыльях летел я сюда... А все кругом поднимается, шевелится,— говорил он оживленным, радостным голосом,— еще не знают что, а подымают голову, настораживаются и слушают, как конь по ветру, откуда шум летит!

— Господь нас услышал...

— Так, так! — продолжал воодушевленно Богун.— Но если бы ты видела все то, что мне пришлось видеть за это время, Ганна! Если б был камень, а не человек, то и он утопился бы в слезах! Ну, да что! Теперь все уж минуло! Мы уж их больше на посмешище ляхам не оставим! А как подумаю, Ганна, что настанет,— сердце вот так и рвется из груди!

— Брате мой, друже мой! — вскрикнула Ганна, не отрывая радостно сияющих глаз от воодушевленного, энергичного лица козака.

— Да, друг,— взял ее крепко за руку Богун,— помни, Ганна, друг верный и незрадлывый! Теперь настанут страшные времена; но ты имеешь здесь руку, которая защитит тебя от всего.

— Да вот он, вот он сам! — раздался в это время громкий возглас, и в комнату вошли, запыхавшись, Богдан, Золотаренко, Нечай и другие старшины.

— Батьку! — вскрикнул Богун, раскрывая свои широкие объятия.

Несколько минут в комнате слышался только звук крепких козацких челомканий и не менее крепких радостных слов.

— Ишь ты, вражий сын,— улыбался во весь рот Нечай, похлопывая Богуна по плечу своею широкою, мохнатою рукой.—Даром, что трепался по дождям да по ветрам, как и я, а смотрите — какой красавец.

— А, и Ганджа тут? — радостно обнял Богун подошедшего к нему черного как смоль козака с длинною чуприной и широко прорезанным ртом.

— «Без Грыця и вода не святыться», брате! — широко осклабился тот, показывая ряд блестящих, белых зубов.

XXXVIII

После первых приветствий, шуток и расспросов Богдан притворил двери и обратился ко всем серьезным и деловым тоном:

— Ну, панове, теперь мы все в сборе. Все вы знаете, зачем я вас созвал сегодня: день этот для нас важнее всех будущих дней. Если нам удастся выманить у старого хитреца эти привилеи, успех будет за нами. Этими привилеями мы подымем все поспольство, всю чернь, а главное, привлечем ими на свою сторону и татар. Поэтому прошу вас, друзи, будьте насторожé: никто не пророни шального слова. Старого лиса трудно будет обмануть. Не пейте много, смотрите за мной, что я буду делать и говорить; подбрехайте мне, да ловко.

— Гаразд, батьку,— кивнул своею мохнатою головой Нечай.— Брехать — не цепом махать.

— Только не передавать кутье меду! — заметил Золотаренко.

— Смотрите ж,— продолжал Богдан.— Что бы я ни говорил, не возражать мне ни слова. Я в большой звон, а вы в малые. А если господь нам поможет вырвать привилеи из рук лиса, ты, Богун, ты, Ганджа, и сын мой, Тимко, сегодня же ночью со мною на Сечь.

— Ладно,— согласились все.

— А если,— спросил Нечай,— этот старый лантух их уничтожил?

— Это и мне сердце морозит,—сжал брови Богдан,— впрочем, не такой он, их на всякий случай припрячет... чтоб и вашим, и нашим.

— Дай бог! — мотнул головой Нечай.

— Так, так! Дай, боже, и поможи! — перекрестился Богдан.— Одначе за мною, панове; я вижу, Барабаш приехал; Кречовский [64] с ним... А вот и батюшки с дьячками.

Освящение дома произошло с полным великолепием. Служили два священника с причтом и хором, который если и пел не с полным уменьем, зато с чувством и умиленьем.

После служения радушный хозяин пригласил всех на «хлеб радостный». В сараях, где разместили нищих, калек и бандуристов, потчевали всех водкой и пивом дед, Варька, Верныгора и Золотаренко. Слышались всюду

какие-то таинственные тосты и пожелания. Оживление за столами росло все больше и больше.

А в парадной светлице, за роскошно убранными и уставленными всевозможными яствами столами пан писарь вместе с Ганной, Катрей и Оленой витали дорогих гостей, особенно же пана полковника, который сидел на самом почетном месте; несколько дивчат и козачков с блюдами, кувшинами и фляжками стояли осторонь, ожидая только приказаний хозяина.

— Ну, панове,— произнес Богдан, наливая первую чарку Барабашу,— прежде чем начинать наш пир, выпьем за здоровье его милости короля, панов сенаторов и всего вельможного панства!

— Vivat, vivat! — подхватили кругом старшины.

— Пусть господарюют себе на утеху, а нам на счастье!

— И мятежникам на страх и на горе! — гаркнул во все горло Нечай, ударяя со всей силы широкою ладонью по столу.

— Слава! Слава! — подхватили опять старшины.

— Приятно слышать, — наклонился Барабаш к Хмельницкому,— приятно слышать такие речи... а я думал... поговаривали, знаешь... о Нечае, что он из тех головорезов, которые не хотят видеть своей пользы.

— Э, куме,— усмехнулся Богдан и долил кубок Барабаша,— мундштуком всякого коня обуздаешь, пойдет, как шелковый.

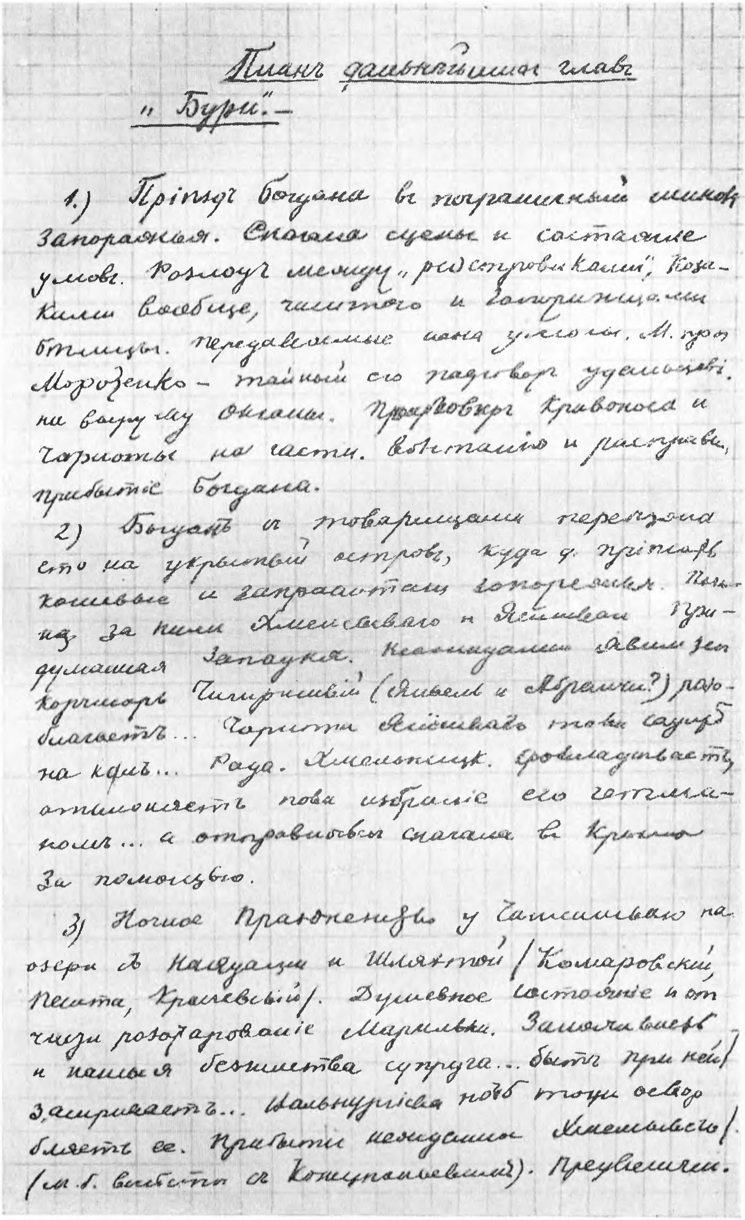
— Так, так, а без него, смотри, и простой конь с седла сбросит,— всколыхнулся Барабаш и осушил кубок.— Добрый мед у тебя, куме, добрый... даже истома по ногам пошла.

— Так пей же, пей, куме! Сделай честь моей убогой хате,— поклонился низко Богдан и крикнул громко: — Гей, Ганно, дочки, припрашивайте пана полковника!

Ганна встала со своего места и, взявши в руки серебряный поднос, поставила на него высокий кувшин с тонким горлышком и подошла к Барабашу; за нею последовали робко и Оленка, и Катря.

— Прошу покорно! — поклонилась она низко перед Барабашем.

Барабаш взглянул на нее,— со своими вспыхнувшими щеками и длинными, опущенными ресницами, она была изумительно хороша в эту минуту.



Планъ дальнѣйшихъ главъ
„Бури."—

1.) Прiѣздъ Богдана въ пограничный шинокъ Запорожскій. Сначала сцены и состояніе умовъ. Розмовы между „рейстровиками", Козаками вообще, чигиринского и [illegible] [illegible]. Передаваемые пана [illegible]. М. про Морозенко — тайный его разговоръ [illegible]. [illegible] Кривоноса и Чарноты на части. [illegible] и рассказы, прибытіе Богдана.

2) Богданъ с товарищами переезжаетъ на укрытый островъ, куда [illegible] и запорожцы. [illegible] За ними Хмельницкого и [illegible] думающая Запорожья. [illegible] корчмарь Чигиринскій (Янкель и Абрамки?) разоблачаетъ... Чарноты [illegible] на кругъ... Рада. Хмельницкій. [illegible], отклоняетъ пока избраніе его гетманомъ... а отправиться сначала въ Крымъ за помощью.

3) Ночное Празднованье у Чаплинского на озерѣ съ [illegible] и Шляхтой / Комаровскій, Пешта, Краевскій /. Душевное состояніе и отчаяние разочарование Марыльки. [illegible] и [illegible] безумства супруга... быть при ней / [illegible]... [illegible] [illegible] [illegible]. Прибытіе [illegible] Хмельницкого / (м. б. вмѣстѣ съ [illegible]). Предвѣщеніе.

План окремих розділів до роману «Буря». *Фотокопія автографа.*

— Ну, вот и не пил бы, да нельзя отказаться! — вскрикнул Барабаш и подмигнул Богдану.— А у тебя, куме, рассада! Ей-богу, рассада, цветник! Да и стоило ли хлопотать о той, куме, когда здесь такая курипочка, красунечка осталась? Ишь щечки как горят! — протянул он к Ганне руку, но Ганна вспыхнула и отдернула голову назад.— Пугливая еще... хе-хе-хе,— затрясся всем тучным туловищем Барабаш,— сноровил ты, пане куме, ей-ей, сноровил!

— Ты им прости,— кивнул Богдан Ганне головою, чтоб отошла,— не умеют они как следует по твоей чести почтить тебя. Хозяйки настоящей нету, а эти молодые...

— Что молодые, то ничего, хе-хе-хе... хорошо,— всколыхнулся снова своим тучным животом, подвязанным широчайшим поясом, Барабаш, — люблю таких кругленьких, пухленьких,— выводил он в воздухе пальцами,— хе-хе-хе... беленьких, знаешь, куме, беленьких... Да и ты не от того... Ишь, бездельник! — погрозил он ему пальцем.— И где он таких берет? Что б с кумом поделиться!..

— А пани полковница? — подморгнул бровью Хмельницкий.

— Э, не вспоминай, куме, не вспоминай,— замотал головою развеселившийся Барабаш и, нагнувшись к уху Хмельницкого, шепнул: — А то и охоту от еды отобьешь!

— Те-те-те! — вскрикнул весело Богдан.— А мы это все до вина да до меда, а о еде и забыли. Вот, куме, грибки, вот огурчики, вот капуста, вот и лапша шляхетская... для них готовится... а вот тарань, смотри, словно пух, а жирная, так и просвечивается, как янтарь,— придвигал он к Барабашу одну за другою миски и тарелки с горами закусок.

— Спасибо, спасибо,— причмокивал губами старик, осматривая нежными глазами аппетитные блюда.

— А вот и рыбка, тащите ее сюда, хлопцы! — крикнул Богдан двум козачкам, державшим на блюде огромного осетра.— Важная рыбка, куме, такого осетра вытащили хлопцы, что, говорят, еще покойного короля знавал... ушел от панов, а козакам в руки попал.

— Хе-хе-хе! Так сюда его, сюда, старого дурня, чтоб не попадался,— потянулся Барабаш к огромной рыбе, что лежала, словно бревно, на блюде.— А я, правду

сказать, куме, еще, того, и не закусывал, так у меня в животе, как в Буджацкой степи, пусто!

— Напакуем! — тряхнул головою Богдан, накладывая на тарелку полковника огромные куски.

— И нальем,— заметил с улыбкой его сосед с левой стороны, с шляхетским лицом и умными, но совершенно непроницаемыми глазами, полковник Кречовский,— потому что рыба, говорят, плавать любит.

— М-м-м!..— замотал головою Барабаш, не будучи в состоянии произнести слова, вследствие туго набитого рта, показывая Кречовскому, чтобы тот не наливал ему стакана; но последний не обратил должного внимания на ворчание Барабаша.

За рыбой подали великолепные борщи с сушеными карасями, а к ним разные каши; за борщами следовали пироги: были здесь и пироги с грибами, и с капустой, и с рисом, и с гречневой кашкой, и с осетриной, и с картофелем. За пирогами потянулись товченики из щуки, потравки, коропа с подливою, бигосы из вьюнов, за ними вареники с капустой, за варениками дымящиеся галушечки, распространившие ароматный запах грибов, и кваша... Барабаш ел с какою-то волчьей жадностью, он набивал себе до того рот, что его выбритые, побагровевшие щеки широко раздувались, а не умещавшиеся куски выпадали изо рта обратно на тарелку. Нагнувши низко над ней голову и широко раздвинувши локти, он только мычал какие-то одобрительные восклицания. В то же время опустошаемые с необычайною быстротой блюда исчезали и заменялись все новыми и новыми. Богдан и остальные соседи Барабаша беспрерывно подливали ему вина и меда, так что уже к середине обеда глаза полковника совершенно посоловели, а язык ворочался как-то изумительно неловко и лениво. Несмотря на то, что все старшины и ели, и пили исправно, глаза их следили за Барабашем и Богданом с каким-то лихорадочным волнением. Иногда кто-нибудь обронял короткое слово или бросал многозначительный взгляд на соседа. Но среди этих сдержанных слов и затаенных взглядов чувствовалось общее горячее волнение, которое мучительно охватывало всех этих закаленных и мужественных людей. Один только Пешта не принимал участия в общем возбуждении. Поместившись между Ганджой и Носом, он сидел как-то пригнувшись, незаметно бросая

повсюду свои волчьи взгляды и бдительно прислушиваясь ко всему тому, что говорилось кругом. Впрочем, и было к чему: среди полковников и старшин завязывался весьма любопытный разговор.

— Так, так,— говорил громко полковник Нос, человек лет сорока пяти, с длинным, худым, смуглым лицом и тонкими черными усами, спускавшимися вниз,— было их много, а еще и теперь есть не мало тех дурней, что кричат среди голоты о бунтах, да о бунтах, да о каких-то своих правах. А до чего доводят бунты? Видели уж мы их довольно! Пусть теперь там бунтует кто хочет, а я и сам зарекаюсь, и детям своим закажу. Ляхов нам не осилить, а если будем сидеть тихо да смирно, то перепадет и нам кое-что... а то всем — волю! Ишь, что выдумали,— и у бога не всем равный почет... И звезды не все равные.

— Ина слава солнцу, ина слава месяцу, а ина и звездам,— вставил серьезно один из седых старшин.

— Верно,— завопил Нечай,— верно, бес меня побери! Как всем волю дать, то никто мне не захочет и жита намолотить!

— Рабы, своим господием повинуйтесь! — заметил Кречовский.

Пешта вздрогнул и повернул свои волчьи желтоватые белки в его сторону. Хотя Кречовский говорил слова эти вполне серьезно, но под усами его бродила едва приметная улыбочка. Однако, несмотря на все усилия, нельзя было бы определить, к кому и к чему она относилась — к глупому ли и трусливому Барабашу, все еще недоверчиво посматривавшему кругом, или к благонамеренным речам козаков.

— Ну, этого никак не раскусишь! А что Нечай врет, то верно, да и остальные прикинулись овцами, а в волчьих шкурах,— буркнул про себя с досадою Пешта и перевел свои глаза на Богдана.

Красивое, энергичное лицо последнего имело теперь какое-то решительное выражение; глаза его зорко следили за всеми сидевшими за столом; казалось, это полководец осматривает опытным взглядом поле сражения, предугадывая заранее победу. Но Барабаш еще не сдавался. Несмотря на то, что челюсти его продолжали беспрерывно работать, он внимательно прислушивался к раздающимся кругом разговорам, подымая иногда от

тарелки свое жирное, лоснящееся лицо с отвислыми щеками и мясистым носом, и тогда хитрые, заплывшие глазки его бросали пристальный взгляд на говорившего.

— Опять что до веры,— продолжал снова Нос, поглаживая усы,— оно конечно горько, что отымают наши церкви и запрещают совершать богослужение, да что делать? Не лезть же, как бешеным, на огонь, можно лаской да просьбой у ксендза, да у пана, а и то — бог ведь один! Прочитай про себя молитву... Господь же сказал, что в многоглаголании нет спасения...

— Ох-ох-ох! — вздохнул смиренно Нечай; но вздох у него вырвался из груди — словно из доброго кузнецкого меха.— Все от бога, а с богом не биться.

— Что ж, лучше терпеть,— усмехнулся едва заметно Кречовский,— а за терпенье бог даст спасенье.

— Разумное твое слово,— заключил Хмельницкий,— смирение — самоугодная богу добродетель.

— Шут их разберет, кто кого дурит? — промычал про себя Пешта.

— Приятно, отменно,— покачнулся к Хмельницкому Барабаш,— смирение, послушание, но не монашеский чин... Скороминку люблю...

— Так, так, куме,— наполнил снова его кубок Богдан,— при смирении и пища, и прочее оное не вредительно.

— Хе-хе! Куме, любый мой! — потянулся и поцеловал он Хмельницкого.

— Ну, будьте ж здоровы! — чокнулся тот кубком.— За нашу вечную приязнь!

— Спасибо... Я тебя... и-и, господи... Только не сразу, куме: так и упиться недолго.

— Пустое! — тряхнул головою Богдан.— А хоть и упиться, то найдется у нас и перинка, и белая подушечка... Зато ж наливочка — сами губы слипаются.

— Хе-хе-хе! Доведешь ты меня, куме, до греха!

— Таких грехов хоть сто тысяч — все принимаю на свою душу...

— Ну, смотри ж! — погрозил ему пальцем Барабаш и приложился губами к кубку. Он тянул наливку долго, мелкими, жадными глоточками. — Добрая,— заключил он наконец, опуская кубок на стол и отирая лицо, вспотевшее и красное, шитым платочком.

— А коли добрая, то повторить, ибо всему доброму

надо учиться, а repetitio,— налил Богдан снова кубок Барабаша,— est mater studiorum! *

— Ой куме, куме! — слегка покачнулся Барабаш, но осушил кубок и на этот раз.

— Вот же, кажись, верно,— продолжал Нос,— и малому ребенку рассказать, так поймет, а им в головы не втолчешь! И через этих баламутов лютует на нас панство, постоянно урезывает нам права.

— А как же, как же,— послышались кругом возгласы,— и земли отбирают, и уменьшают реестры, все через запорожских гуляк.

— Что, теперь, не бойсь, и они разобрали, где смак,— нагнулся опять к Хмельницкому Барабаш, и Богдана опять обдало спиртным духом,— а прежде не то пели, да и ты, куме, того, признайся, прежде...— Барабаш сделал какой-то мудреный жест пальцами и улыбнулся хитрою улыбкой; посоловевшие и совсем замаслившиеся глаза его глядели нежно на Хмельницкого,— да, того... прежде... да...— повторил он снова, вертя пальцами, словно не находил слов для выражения своей мысли,— да, того... разумом за порогами витал... а сколько раз говаривал я тебе: эй, куме Богдане, куме Богдане,— покачивался уже слегка Барабаш,—чем нам своим белым телом мошек да комарей в камышах годувать, лучше будем с ляхами, мостивыми панами, мед да горилочку кружлять.

— Ге-ге, куме,— усмехнулся, тряхнув головою, Богдан,— что там старое вспоминать! Смолоду, говорят, и петух плохо поет!

— То-то, а вот через эти, так сказать, гм... да,— остановился снова Барабаш,— да, через эти шальные мысли, вот уж на что, кажись, я?.. Малый ребенок обо мне ничего не скажет, воды не замучу, а и то косятся ляхи, ей-богу, до сих пор совсем веры не ймут!

— Да что же с ними, с этими гультяями (повесами), церемониться? — раздался сердитый возглас одного из старшин.— Урезать этим птахам крылья! Не терпеть же нам из-за них! Всяк про себя дбает... Коли б не они, нам, старшине, может бы, и шляхетство дали...

— Во, во, именно! — покачнулся Барабаш, но Хмельницкий поддержал его, ласково обнявши рукой.

* Повторення — мати навчання! *(Лат.)*

— Урезать! Урезать! — крикнули голоса. — Разметать это кодло разбойничье, чтоб неоткуда было брать огня!

— Да что там с ними еще раздобарывать?— гаркнул во все горло Нечай.— Правду говорит князь Ярема: вырезать всех, да и баста!

Богдан вскинул на него испуганные глаза, в которых блеснула выразительно мысль: «Эк хватил, брат! Еще все испортишь!»

Брови Кречовского многозначительно приподнялись.

— Ну вырезать не вырезать, — заметил серьезно Богдан,— а попритянуть вожжи не мешает, да...

Барабаш, впрочем, покачивался в блаженной полудреме, не замечая этой игры.

XXXIX

Между тем Богун и Ганна, сидя в конце стола, следили с лихорадочным, мучительным вниманием за происходившими сценами.

— Одно мне не по сердцу,— говорил негромко Богун, наклоняясь к Ганне и сжимая свои черные брови,— не верю я Пеште, а он тут,— взглянул он в сторону Пешты, который сидел все также молча, не принимая участия в общем разговоре, и только бросал по сторонам угрюмые взгляды.

— И дядько не лежит к нему сердцем,— ответила Ганна,— но что было делать? Нет в нем верного ничего, а обойти приглашением, пожалуй, разгневается,— завистлив он очень,— и передастся ляхам.

— Так, так,— закусил свой ус Богун и бросил быстрый взгляд в сторону Барабаша, который теперь уже совершенно раскис, размякнул и смотрел какими-то масляными глазками на прислуживающих дивчат, словно жирный кот на птичек.— Не могу его видеть,— прошептал Богун глухим голосом, наклоняясь к Ганне,— так вот и подмывает раздавить голову этой гадине! Когда я увидел, что он протянул к тебе руку... нет,— отбросил козак резким движением голову назад,— не могу так кривить душой, как они!

— Ты думаешь, это легко дядьку? — подняла на него глаза Ганна.— Для блага нашего...

— Знаю, знаю,— перебил ее горячо Богун,— у него золотое сердце, разумная голова и ловкий язык! А я со своим ничего не поделаю! Козацкий! Рубит только с плеча, да и баста! Но ты скажи мне,— оборвал он сразу свою речь,— я слышал о том горе, которое постигло его,— как он теперь?

— Забыл, все забыл!—произнесла с воодушевлением Ганна.— Ты посмотри на него, вон как светится седина, а морщины? Не легко они ложатся, но все забыл он теперь для счастья нашей бедной родины. Да и кто бы мог, брате, думать в такое время о своем горе?

— Правда твоя, Ганно,— поднял энергично голос Богун, устремляя на нее свои черные, горящие воодушевлением глаза,—стыд тому, кто в такую минуту сможет подумать о себе!

В это время громкий голос Богдана, прозвучавший с каким-то особым выражением, заставил всех замолчать и насторожиться.

— Так, свате, так,— говорил он, все подливая Барабашу меду,— а волнуется народ и козацтво все через слухи о тех привилеях, которые выдал тебе король. И надо же было разболтать об этом в народе! Только гуторят теперь бесовы дети, будто ты их припрятал нарочито для того, чтобы самому ими воспользоваться.

— Вздор, куме, ей-богу, вздор! — покачнулся Барабаш.— Ну, и на что мне эти королевские цяцьки? Да они имеют столько же весу, как прошлогодний снег! Слыхал ведь...

— Правда-то правда,— согласился Богдан,— да народ волнуется из-за них... А когда доберется... ой-ой-ой! Не знаю, и как это ты не боишься только держать их, куме?..

— Фью-фью! — свистнул Барабаш.

— Уничтожил их? — вскрикнул побледневший Богдан.

Все так и застыли на местах.

Барабаш отрицательно качнул головой.

— Припрятал, стало быть?

— Хе-хе-хе! — расплылся Барабаш в какую-то глуповатую, довольную улыбку, и пьяные глаза его взглянули хитро на Богдана.— Ты думаешь, что я их так на виду и держу? Эх, не такой я простой, куме... как могу на первый раз сдаться... да...— покачивался Барабаш

и обводил все собрание пьяными, но еще плутоватыми глазами.— Меж жинчиными плахтами,— нагнулся он к самому уху Хмельницкого,— в скрыньке лежат... жинка так и возит с собою...

— Ха-ха-ха! — покатился со смеха Хмельницкий, и лицо его покрылось яркою краской, а в глазах сверкнул торжествующий огонь.— Не может быть, куме! Прости меня, а я не верю, чтоб можно было... Ха-ха-ха! Меж жинчиными плахтами, говоришь?

— Ей-богу... чтоб я не дождал святого праздника,— говорил заплетающимся языком Барабаш, ударяя себя кулаком в грудь.— Оно, видишь... оно безопаснее... туда, думаю, не всякий полезет... Меж тем и думка такая: а что, как кривая козаков вывезет...— говорил он, уже не стесняясь ничьим присутствием,— тогда мы и вытянем из подспуда привилеи... и объявим... вот и нам перепадет... хе-хе-хе...— всколыхнулся он и едва не опрокинулся,— хе-хе-хе... перепадет на зубок!

— А отчего же пани полковникова не сделала мне чести? Засиделась в Черкассах?

— Какое? — вскинулся Барабаш.— Клятая баба... меня одного не пускала, но бог сжалился... заболела... Так я ее у Строкатого... у свата... на хуторе и кинул...

— У Строкатого, в Лыпцах?

— Гм... гм!..— мотнул Барабаш головою.

— Ай да кум, ай да старшой! — закричал Богдан, подымаясь с места.— За здоровье его да за его мудрую голову, дай, боже, чтобы у нас побольше таких было...

— Слава, слава, слава! — закричали кругом шумные голоса.

Началось всеобщее целование. Нос и Нечай поддерживали Барабаша; но, несмотря на это, он едва стоял на ногах и сильно покачивался вперед. Теперь он уже совершенно растрогался. Глаза его слезились, язык едва ворочался во рту.

— Спасибо, спасибо... детки... батьки!..— говорил он, утирая глаза и целуясь со всеми...— Дай, боже, вам... и того... и сего... и всякого... А тебе, Богдане... уж так ты меня развеселил, потому один я на свете несчастный... А полковница иссушила меня, панове... А ты, Богдане... давай побратаемся... потому один я... ей-богу ж, один как палец! — уже совсем захныкал Барабаш.

— Добро! — согласился Богдан.— Только ты преж-

де, куме, сядь, а я тебе для побратанья такой венгржинки поднесу, какой ты у гетмана не пробовал! Эй, Катря и Оленка, сюда! — скомандовал он дивчатам, которые уже тут и стояли. Краснея и робея, подошли они к отцу. У одной в руке была пузатая фляжка, вся седая от моха, у другой на подносе две солидные чары.

— У-у! — потянулся к дивчатам Барабаш.— Цыпляточки... курип... курип... кур-рипочки... малюсенькие... беленькие... пухленькие, ух! — потянулся он и ущипнул Оленку за подбородок.— Люблю таких... пухляточек...

— Да ты пей, пей, куме,— поднес ему чарку Богдан.

Барабаш опрокинул ее в рот и зажмурил от блаженства глаза.

— Ну, утешил ты меня, куме,— залепетал он, склонясь головой на плечо Богдана,— утешил. Проси теперь, что хочешь,— все дам... Дивчатки... курипочки... цыпляточки... берите у меня все... я один... все равно пропадет... берите и саблю... и пистоли... и все, все, что хотите...

— Ну, это на что им! — усмехнулся Богдан.— А вот, если твоя милость, перстенечек да хусточку на память им дай, чтобы помнили твою ласку...

— Нате, а тебе, Богдане, вот эту печатку... на спо́гад,— снял он кольцо, печатку и хустку.

— Спасибо, друже и куме! — обнял его Богдан.

— А кури-по-чкам... сам я надену и за это их по-це-це-лую... старому можно... ей-богу... не оскоромлю... ух! Пух-ленькие...— потянулся он было к дивчатам, но покачнулся и непременно бы свалился под стол, если бы Нос не поддержал его.— Кур-рипочки... цяцяные... знаешь, куме, пух-ленькие... кругленькие...— лепетал он уже с полузакрытыми глазами, стараясь вывести пальцами какие-то круглые очертания и опускаясь головою на стол.

Но Богдан уже не слышал его пьяного бормотанья. Зажавши в руке кольцо, печатку и хустку полковника, он быстро выскочил в сени.

— Тимко! — крикнул он, задыхаясь от волнения.

— Тут, батьку,— отвечал молодой козак, который уже поджидал с нетерпением отца.

— Оседлан конь?

— Готов.

— Лети стрелой к полковнице на хутор... в Лыпци, до Строкатого... Вот хустка, печатка и кольцо Барабаша... Скажи ей, что полковник велел выдать тебе те

привилеи, которые он получил от короля и запрятал между ее плахт в скрыньку... Скажи, что их нужно передать сейчас же пану старосте... а то козаки сделают наезд...

— Ладно, батьку!

Смелое лицо молодого хлопца горело решимостью.

— Не забудь ничего.

— Все помню.

— Лети ж, не жалей коня: помни, от этого зависит все дело.

— Вчас буду назад!

Хлопец вышел из сеней, и через несколько секунд до Богдана долетел звук крупного конского топота. Богдан выглянул в двери и увидел, как Тимко промчался мимо дома во весь карьер. «Ну, с богом»,— произнес он мысленно и возвратился в большую светлицу. В комнате уже темнело, но никто не думал зажигать свечей. Все столпились в величайшем волнении посреди светлицы. Барабаш уже лежал совершенно пьяный, склонившись головою на стол, иногда только из его полуоткрытого рта вырывалось какое-то неопределенное и бессмысленное мычанье.

— Кого послал? — окружили Богдана старшины.

— Тимко уже полетел.

— Ладно,— произнес Нечай,— а эту рухлядь,— указал он на Барабаша,— помогите мне кто выволочить, чтоб не мешала тут.

— Идет! — согласился Нос.

— Ну, и выпасся ж на наших спинах,— крякнул Нечай, подымая Барабаша за плечи, тогда как Нос взял его за ноги,— словно кабан откормленный!

— М-м! — промычал Барабаш, приподнимая веки, и, взглянув тусклыми, пьяными глазами на Нечая, пробормотал бессвязно: — Пухленькие... знаешь, куме... пух-пух-х-х...

Выволокши огромное тело Барабаша, Нечай и Нос вернулись в светлицу. Зимние сумерки быстро надвигались. Никто не садился больше за стол; в полутьме он выдвигался какою-то безобразною грудою с опрокинутыми скамейками и лавами, и кругами меду и вина.

— Седлать коней! — распоряжался Богдан отрывистым, напряженным тоном.— Ты, брат Богун, да Ган-

джа, да сын мой Тимко со мной на Запорожье... сейчас же, не теряя времени, чтобы не успели нас слопать паны... Тебе, Ганно, поручаю дом мой... охрани его... с тобою будут Варька и дед. Вы, братья,— обратился он к старшинам,— ждите наших известий... сидите тихо и смирно... валите все грехи на меня... не подавайте никакого подозрения до тех пор, пока мы не встретимся с вами лицом к лицу.

— Ладно, батьку! — отвечали кругом взволнованные, напряженные голоса.

— Ты, Пешта,— обратился Богдан... но ответа не последовало.

— Да где же он? Где Пешта?

Все старшины осмотрелись кругом; Пешты не было.

— За обедом сидел; я сам следил за ним все время,— заметил с тревогой Богун.

— Ушел? Когда?

Все молча переглянулись; никто этого не заметил.

Лицо Богдана потемнело.

— Недобрый знак... — произнес он глухо, проводя тревожно рукою по голове,— когда б только Тимко благополучно вернулся...

Никто не ответил ни слова. Кругом разлилось какое-то сдержанное зловещее молчание...

Прошло с полчаса; в комнате уже потемнело настолько, что лица всех присутствующих казались какими-то бесформенными пятнами, но об освещении не вспоминал никто. Все прислушивались с каким-то мучительным напряжением... Ничтожный шорох казался бы грохотом в этой тишине, но кругом было тихо.

— О боже, боже, боже! — шептала Ганна, сжимая до боли руки.— Ты не допустишь, не допустишь, нет!

Прошло еще томительных, ползущих полчаса.

На небе уже выступили звезды; огромная огненная комета смотрела зловещим оком прямо в окно.

В большой светлице, наполненной людьми, не слышно было ни слова, ни звука; казалось, каждый боялся дыханьем своим нарушить безмолвную тишину. Становилось жутко.

Проползла еще одна тяжелая минута, другая.

Вдруг Богдан встрепенулся, поднялся нерешительно с места, простоял с секунду — и бросился из комнаты.

— Что, что там? — раздался чей-то голос.

— Тише! — крикнул нетерпеливо Нечай и припал ухом к окну.

Издали донесся слабый топот. Ближе, ближе, явственнее. Вот уже ясно слышен топот летящей стремглав лошади.

Еще... еще...

Дверь порывисто распахнулась, и на пороге показался Богдан. В руке он держал высоко над головою толстый пергаментный лист, перевитый лентой.

— Добыл! Есть, братья, есть! — крикнул он прерывающимся, захватывающим дыханье голосом.— Это наш стяг к свободе! — поднял он высоко свиток.

— Бог за нас! — перекрестились умиленно старшины.

— А мы за него, братья! — произнес он торжественным тоном, опуская на стол бумагу.— Теперь же поклянемся перед господом всевышним, перед этим страшным мечом его,— указал он на горящую комету,— что никто из нас не отступит от раз начатого дела и не выдаст ни словом, ни делом братьев!

— Клянемся! — перебили его дружные голоса.

— Что забудем на сей раз все свои хатние чвары [65] (домашние междоусобия), забудем жен, матерей и детей и не скривим душой перед братьями ни для какого земного блага!

— Клянемся! — перебили его опять дружные голоса.

— Поклянемся же и в том, — продолжал Богдан с одушевлением, и голос его задрожал, как натянутая струна,— что не пожалеем ни крови, ни мук, ни жизни своей и что не отступим до тех пор, пока не останется ни единого из нас!

— Клянемся господом всевышним и страшной карой его! — раздался горячий, захватывающий душу возглас, и десять обнаженных сабель опустилось со звоном на стол.

XL

В просторной и роскошной светлице пана подстаросты чигиринского горели яркие огни. За столом, уставленным кушаньями и напитками, сидел сам пан Чаплинский; рядом с ним, отбросивши небрежно свою прелестную головку на спинку стула, сидела красивая, надменная

пани Марылька, подстаростина чигиринская. Роскошные, бархатные рукава ее кунтуша спускались до самого пола; в руках она вертела рассеянно и досадно нить красивых кораллов; на прелестном, изящном лице ее лежал отпечаток скуки и недовольства. Тонкие губы ее были сжаты в какую-то пренебрежительную улыбку; стрельчатые ресницы ее были опущены и закрывали синие глаза; иногда, впрочем, из-под них мелькал быстрый как молния взгляд, который с каким-то легким презрением останавливался на тучной фигуре пана подстаросты и снова уходил в свою синюю неведомую глубину.

— Что нового? — спросила Марылька, не разжимая губ.

— Ничего, моя богиня! — поднес к своим губам ее руку Чаплинский.

— Я слышу этот ответ от пана чуть ли не десять раз на день. Никого... ни души... какая-то пустыня.

— Что ж делать? — пожал плечами со вздохом Чаплинский.— Наша Украйна — не то что Варшава. Откуда здесь взять панов? Козаки кругом!

— Однако же есть здесь и Остророги, и Заславские, и Корецкие, да, наконец, сам коронный гетман!

— Богиня моя, помилуй! — сжал ее руки Чаплинский и притиснул их к своей груди.— Ведь к ним ехать надо! А с тех пор, как этот волк поселился опять в Чигирине, кругом так и пошаливает быдло.

— Но если пан так боится быдла, то ему опасно выходить и на скотный двор.

Щеки Марыльки вспыхнули, ресницы вздрогнули, и в лицо смущенного пана подстаросты впился холодный, презрительный взгляд.

— Не за себя, моя крулева, брунь, боже! — вспыхнул в свою очередь, как бурак, пан подстароста и оттопырил свои щетинистые усы.— Да клянусь белоснежной ручкой моей богини, я их нагайкой разгоню! Го-го-го! — вскинул он хвастливо голову.— Они от моего имени трясутся как осиновый лист! И доказательством этого может служить моей повелительнице то, что кругом шевелится хлопство, а в моем старостве ни гугу! Тихо как в могиле! Пусть не забывает пани,— заговорил он мягким и внушительным тоном, овладевая снова рукою Марыльки,— что я беспокоюсь не за себя, а за мою королеву, за мою прекраснейшую жемчужину,— поцеловал он ее

руку повыше локтя.— Ведь этот дьявол Хмельницкий здесь. Ко мне-то он теперь не подступится,— так я его отделал на сейме! Но если он узнает, что вместе со мною едет и моя пани,— развел руками Чаплинский,— тогда он ничего не пожалеет и может отважиться на самое рискованное дело. Все это быдло за него горой стоит, и хотя для того, чтобы овладеть моей жемчужиной, ему придется переступить через мой труп,— а это, думаю, не легко будет сделать,— шумно отдулся Чаплинский,— но моя смерть все-таки не спасет пани, а если бы этому псу удалось только тобой овладеть, могу себе представить, до чего бы дошла его хлопская ярость и месть!

Марылька закусила губу и отвернулась.

В комнате наступило молчание.

Чаплинский осушил свой кубок и, бросивши на отвернувшуюся Марыльку взгляд, в котором смешались и боязнь, и досада, предался своим размышлениям.

Жгучий образ козачки не выходил из его головы; то ему казалось, что он мчится с нею по снежной долине, снег летит комками из-под копыт разгорячившихся лошадей, она бьется в руках его, рвется с отчаяньем попавшейся в силок птички, а он видит ее пылающие, как уголь, глаза... А снег летит, летит кругом белою непроглядной пеленою.

Несмотря на то, что Марылька и повенчалась с Чаплинским, ее холодное и полупрезрительное отношение к мужу не изменилось ни на одну йоту. Добиться у своей жены нежности составляло для пана подстаросты большое затруднение, тем более что, истасканный, наглый и трусливый, он совершенно терялся в присутствии своей жены: одного холодного взгляда красавицы было достаточно, чтобы приковать его к месту. Вскоре для пана подстаросты стало совершенно очевидным, что Марылька относится к нему более чем равнодушно; впрочем, для извращенной души его открытие это не составляло ничего важного; он стал только еще жаднее оберегать свою красавицу. Однако вечная холодность красавицы, в связи с ее капризным и требовательным характером, действовали самым угнетающим образом на привыкшего себя ни в чем не сдерживать подстаросту. Оксану он увидел как раз в это время, и желание овладеть ею во что бы то ни стало охватило пана подстаросту с какою-то все-

пожирающею силой. И вот она уже у него в руках... Весь вечер стремился пан подстароста вырваться из своего пышного будынка к Оксане, которую он спрятал в укромном местечке, но каждый раз, как он собирался передать Марыльке вымышленный рассказ для предполагавшегося отъезда, он встречал ее презрительный взгляд, и решимость его падала, а на лице выступала глуповатая, смущенная улыбка.

Что думала пани подстаростина чигиринская, трудно было решить. Судя по раздраженному выражению лица, можно было заключить, что думы ее были невеселого содержания.

Так прошло несколько минут. Наконец Марылька медленно повернула голову.

— А мне передавала Зося,— процедила она сквозь зубы,— что Хмельницкий денно и нощно задает пиры.

— Заискивает у шляхты, думает предупредить нашу бдительность и обмануть нас. Но это ему не удастся, черт побери! — стукнул грозно рукой пан подстароста.

Марылька пристально взглянула на багровое и тучное лицо его; воинственная и грозная осанка, вместо внушительности, придавала ему крайне комичный характер. По лицу ее промелькнула насмешливая улыбка.

— Мне кажется,— проговорила она медленно,— что я мало выиграла, переменив хутор на город: попала только из деревянной клетки в каменную.

— Мадонна моя! — упал перед нею шумно на колени Чаплинский.— Не мучь меня! Ты видишь, я раб твой, твой подножек! Приказывай, что хочешь, все явится перед тобой! Но не жалуйся на скуку: неужели тебе мало моей любви? Неужели она не греет тебя?

— Любовь имела я и у Богдана! — гордо ответила Марылька, отстраняясь от Чаплинского.

— Потерпи, моя крулева, потерпи еще немного! — завопил Чаплинский, стараясь поцеловать ее руку.— Ты знаешь, что пана старосты нет... все теперь на моих руках... дай мне только усмирить это быдло, а тогда мы заживем на славу. Пан коронный гетман недалеко... польный — тоже [66]; они стягивают сюда все войска. Коронный гетман обожает вино и женщин... пойдут пиры... охоты... Дай только нам покончить с Марсом, и тогда мы воскурим фимиам и Бахусу, и Венере!

Марылька скользнула по его лицу небрежным взглядом.

— Когда же начнется этот давно обетованный рай?

— Дай только покончить с этими хлопотами! Вот видишь, моя божественная краса,— замялся и запыхтел Чаплинский,— эта жестокая необходимость гонит меня даже от твоих божественных ног.

Углы рта Марыльки слегка приподнялись.

— Опять? — уронила она с легкою насмешкой.

Чаплинский беспокойно заерзал на месте.

— Поймали там мятежных хлопов... надо самому допросить... ну, придется пустить в дело железо и огонь.

— Когда же пан будет назад?

— Не раньше как дня через два, моя королева; далеко ехать.

— И пан не боится мятежного быдла? — улыбнулась насмешливо Марылька.

— Один я не страшусь и ада! — воскликнул напыщенно Чаплинский, склоняясь над рукою Марыльки и внутренне радуясь, что ему удалось так скоро вырваться к Оксане.— Но за мою королевскую жемчужину я бледнею и перед дворовым псом. Но что же, неужели даже на прощанье моя богиня не подарит меня хоть единым поцелуем? — взглянул он ей в глаза своими маслеными светлыми глазами.

Марылька нагнулась и дотронулась губами до его лба.

Чаплинский охватил ее за талию руками, как вдруг в дверь раздался сильный стук.

— Какой там бес? — крикнул сердито пан подстароста, с трудом подымаясь с колен и обмахивая платком покрасневшее лицо.

Дверь отворилась, и на пороге появился Пешта.

— Что там еще? Ни минуты покоя! — проворчал раздраженно подстароста, внутренне негодуя на Пешту, что помешал ему отправиться сейчас же к Оксане; но уже по лицу его Чаплинский увидел, что козак пришел неспроста.— Рассказывай! — произнес он уже спокойнее, опускаясь на стул.— Только не медли: я тороплюсь.

— Важные новости, пане подстароста; я только что с обеда Хмельницкого.

— Ну?

— Он выкрал у Барабаша привилеи для того, чтобы возмутить татар против Польши, собрал всех старшин,

и они поклялись, как одна душа, поднять такое восстание, чтобы не оставить в живых ни пана, ни посессора.

Марылька поднялась с места и побледнела, как статуя.

— Собаки! — заревел Чаплинский, схватываясь безумно с места, и все лицо его вплоть до бычачьей шеи покрылось сине-багровою краской.— Жолнеров! Арестовать их всех!

— Если они только еще в Чигирине,— заметил Пешта.— Богдан, Богун, Ганджа и другие должны уехать этой же ночью на Сечь.

— На коней! — рявкнул, задыхаясь от злобы, Чаплинский и бросился было опрометью вон, но у дверей он остановился.— На коней... Это-то хорошо, но кто поведет отряд? — и пан подстароста беспокойно заворочал глазами. Богдан, Богун и Ганджа! Это ведь такая тройка, с которой не захотел бы встречаться и сам черт. А особенно ему, подстаросте, такая встреча не предвещает ничего веселого. Черт побери! Однако и утерять такой случай — поймать вожаков и открыть заговор... «Ведь это пахнет не шуточной наградой... но и собственная шкура?..— Несколько секунд пан подстароста стоял в немом раздумье.— Нет, побей меня нечистая сила, если я поеду за ними! — воскликнул он наконец мысленно.— Ясинского пошлю...» И с этим решением пан подстароста вышел поспешно на крыльцо.

На крыльце его ждала самая нежелательная и неожиданная встреча. Не успел он отдать приказанья жолнерам, как перед ним выросла из темноты высокая и широкая фигура Комаровского. Лицо его было так бледно и страшно, что, несмотря на всю свою наглость, Чаплинский остановился перед зятем как вкопанный.

— Фу-ты, нечистая сила! — проворчал он себе под нос.— Словно выходец с того света... Вот высыпал сатана всех своих детей из мешка на мою несчастную голову!

— Ушла,— произнес Комаровский, не слушая ворчанья Чаплинского, каким-то глухим, не своим голосом, едва шевеля белыми, бескровными губами.

— Кто? Куда ушла?! — изумился притворно Чаплинский, но страшный вид Комаровского заставил его невольно попятиться назад.

— Оксаны нет, нет, нет нигде! — повторил тем же тоном Комаровский и вдруг дико вскрикнул, сжимая до

боли руку Чаплинского.— Кто взял ее, скажи мне, кто взял? Ты знаешь? Скажи, убью, задушу, по кускам разорву!

— А почем я знаю? Тут не до того! — крикнул небрежно Чаплинский и попробовал было вырвать свою руку, но так как Комаровский держал ее словно в железных тисках, не сводя с него своего страшного, остановившегося взгляда, то он прибавил: — Ну, а кто ж бы мог? Женишка ж ведь ты казнил уже?

— Нет и его! — произнес каким-то ужасным, холодным голосом Комаровский.— Я не успел казнить его, не знаю, дьявол ли сам помог убежать ему, только цепи остались раскованными, а сторожа убитыми наповал...

В темноте Комаровский не заметил, как по лицу Чаплинского промелькнула хитрая и довольная улыбка.

Подстароста шумно потянул носом воздух; казалось, в голове его быстро созревал какой-то блестящий план.

— А! — вскрикнул он уверенно.— Так их уже нет в Чигирине, значит, птичка улетела вместе с ястребами!

— Кто? Куда? — перебил его яростно Комаровский.

— Да ты подожди, не таращь на меня своих буркал! Взбеленился, что ли? — крикнул уже уверенно Чаплинский.— Может, дело твое еще не пропало совсем. Слушай, этой ночью бежали из Чигирина Богдан, Богун и другие старшины на Сечь для бунта; известно, на кого горят у них зубы. Красотку украл никто, как женишок, больше ведь никто не знал, где припрятана она. Давно ли ушел твой молодчик? Не более трех дней! Кто спас его? Никто другой, как Богдан со своею шайкой. Известно всем, что Морозенко этот был приемышем его. А так как после бегства влюбленным птичкам, само собою, небезопасно было оставаться в Чигирине, то volens nolens * они должны пристать к той же шайке и скачут теперь уже где-нибудь за Чигирином. Хлоп, верно, бросится вместе с ними на Сечь, а красотку перепрячет на время в каком-нибудь зимовнике...

Слушая Чаплинского, Комаровский, казалось, начинал приходить в себя; лицо его покрылось огненною краской.

— Куда бежали? — крикнул он дико, как только окончил Чаплинский.

---

* Хоч-не-хоч *(лат.)*.

— Не знаем еще сами, сейчас велел собраться жолнерам. Так и быть, если хочешь, могу тебе уступить по приязни свое место на челе,— заговорил весело Чаплинский, благословляя про себя сообразительность, которая помогла ему на этот раз так удачно выпутаться из опасного положения.— Ты поспеши накрыть сейчас же беглецов, а я брошусь немедленно к коронному гетману, чтобы получить приказ; казнить Хмельницкого мы сами не можем, а гетман не замедлит дать свое согласие. Тогда всем бедам настанет конец.

— Коня мне! — крикнул вместо ответа Комаровский.

Через час вооруженный с ног до головы отряд из пятидесяти человек, с Комаровским во главе, выезжал из Чигирина по направлению к диким степям; такой же отряд с паном подстаростой двинулся единовременно по противоположному направлению к Черкассам, к коронному гетману Николаю Потоцкому.

Когда последний жолнер отряда Комаровского скрылся из глаз Чаплинского, пан подстароста облегченно вздохнул и произнес про себя с самодовольною улыбкой:

— Поистине если бы где-либо находился храм сатаны, я счел бы себя обязанным принести ему жертву за то, что он помог мне сегодня отделаться так ловко от взбесившегося влюбленного быка.

XLI

На другой день, вечером, Чаплинский достиг города Черкасс, где стоял со своими войсками пан коронный гетман. Правда, такое быстрое передвижение верхом зимой, по неуезженной дороге, да еще с опасностью встретиться где-нибудь с шайкой быдла,— представляло много неприятностей дородному пану подстаросте; но желание отделаться поскорее от страшного и грозного врага безостановочно подгоняло его.

Во временном помещении пана коронного гетмана, убранном со всевозможною роскошью, шел обычный вечерний пир, отличавшийся на этот раз большею пышностью по случаю того, что к коронному гетману прибыл на пир и молодой чигиринский староста.

Траурные одежды, при которых истасканное и

истощенное преждевременно лицо юноши казалось еще желтее и бесцветнее, не мешали ему совершать обильные возлияния Бахусу. Рядом с ним восседал сам коронный гетман. За последние годы жидкие волосы и бородка его поседели еще больше, серая морщинистая кожа осунулась на лице складками, тонкие синие губы завалились, но зеленые круглые и выпуклые, как у птицы, глаза глядели с тою же наглостью и хищною злобой. Весь он напоминал собой какой-то труп, наряженный в драгоценные одежды.

Кругом стола, развалившись в самых непринужденных позах, помещались съехавшиеся на пир вельможные паны и офицеры кварцяного войска. Стол был уставлен массой яств и напитков, поданных в дорогой серебряной посуде, которою гетман желал щегольнуть перед собравшимся панством.

Огромные лужи опрокинутого вина и меда покрывали всю скатерть бесформенными, расплывшимися пятнами. Множество свечей освещало и громадный беспорядочный стол, и разнузданную компанию, поместившуюся вокруг него... Одежда всех присутствующих находилась в крайнем беспорядке... На красных возбужденных лицах блестели крупные капли пота; в глазах горело какое-то грязное и циничное выражение: очевидно, разговор носил весьма свободный характер. Один только светловолосый юноша с задумчивым, скромным лицом и голубыми мечтательными глазами, казалось, не принимал никакого участия в разговоре: глаза его задумчиво глядели вперед; на вопросы он отвечал с рассеянною, виноватою улыбкой. То был молодой сын коронного гетмана, которого в насмешку за его скромность и увлекающийся всем возвышенным характер офицеры прозвали «молодою паненкой».

Взрыв разнузданного хохота оглашал роскошную светлицу, когда Чаплинский вошел в нее.

— Кто там? — спросил резко коронный гетман, прищуривая свои выпуклые глаза и стараясь взглянуть через головы сидящих за столом.

— Пан подстароста чигиринский,— ответил кто-то из гостей.

— Чаплинский? — изумился Конецпольский.— А что там, пане? Пожалуй сюда!

— Привет мой славнейшему гетману и ясновельмож-

ному рыцарству,— поклонился Чаплинский,— надеюсь, что мой доклад не будет настолько ужасен, чтобы прервать шляхетское веселье...

— Будь гостем, пане,— приветствовал его милостиво, хотя и свысока, коронный гетман,— отогрей горло медом и сообщи, какое дело привело тебя к нам; потому что, хотя нас не может испугать никакая новость, но все же думаю: что-либо маловажное не оторвало б тебя, пане, от молодой жены, приобретенной с таким трудом.

Дружный смех поддержал остроту пана гетмана. Чаплинский поторопился изобразить на своем лице самую счастливую улыбку; затем он опустился на предложенный ему стул, расправил кичливо свои усы, осушил сразу два кубка и начал свой доклад, отбрасываясь небрежно на спинку стула:

— Конечно, дело самой малой важности, и если бы только я не был таким строгим и требовательным как к своим подчиненным, так и к самому себе, то стоило бы мне остаться только лишний день в Чигирине, а затем прибыть на пир к панству с мешком поганых голов этого быдла, и всему делу был бы конец!

Чаплинский обвел собрание торжествующим взглядом и, видя, что все взоры устремлены с любопытством на него, продолжал с еще большею важностью:

— Дело в том, что этот бунтарь, хлоп и бездельник Хмельницкий свил себе гнездышко у меня под боком в Чигирине. Я оставил его на свободе, словно усыпленный его хитростью, а сам думаю себе: пусть птичка полетает на свободе,— увижу, с кем сносится да о чем чиликает, а тогда уж всю стаю сеткой и накрою. Надо сказать панству, что у меня в Чигирине всюду глаза и уши: мышь не пробежит! Да! Клянусь святым Патриком, так! Так вот этот бездельник начал исподволь свои делишки, а я молчу, и совсем даже глаза зажмурил, поджидаю, что то будет? Ну, вчера собрал он у себя всех старшин этой рвани; выкрали у полковника Барабаша те привилеи, что выдал им тайным образом наш достославный король, и, поклявшись страшною клятвой выпустить всем вельможным панам кишки и не оставить в Польше камня на камне, собаки эти бросились тою же ночью на Сечь!

— Быдло, пся крев! — крикнул яростно Потоцкий, опрокидывая свой кубок.— Я говорил, что их надо было

тогда еще уничтожить всех до единого на Масловом Ставу!

— Как мог отец мой доверять такому предателю? — вскрикнул, в свою очередь, юный Конецпольский.

— Хмельницкий хитер, как лис, а покойный гетман был милостив и доверчив, а вследствие этого и благоволил к этой мятежной рвани,— заметил скромно Чаплинский.

— Но не таков я! — вспыхнул юный староста.

— Да не во гнев тебе, ясноосвецоный княже,— заметил раздраженно Потоцкий,— покойный отец твой принадлежал к той партии, которая потакает этим безумным и дерзким планам короля. Они больше всего бунтуют козачество, они подымают его против нас, законных их господ. На сейме, небойсь, плакал этот мечтатель о деспотии, говорил, что мы расшатываем государство! — шипел, зеленея от злости, Потоцкий.— А кто расшатывает государство, как не он? Для своих гнусных целей он подымает рабов на господ. Он унижает власть, а не мы.

Все словно обезумели в светлице. С грохотом покатились отодвигаемые стулья, кубки полетели со стола. Крики, проклятия и брань наполнили невообразимым ревом всю комнату.

— Измена, измена! — кричал исступленно Чарнецкий, сверкая своими зелеными глазами.— Покушение на нашу золотую свободу! Вот когда открывается истина, а на сейме говорили, что все это ложь!

— Измена, измена! — кричали за ним и другие.— Нас хотят обратить в рабов, отдать подлым холопам!

— Ему уж давно хочется самодержавной власти! — надрывался, багровея от злобы, жирный пан Опацкий.

— В чем состояли эти привилеи, известно пану? — перебил всех, кусая от бешенства губы, Потоцкий.

— То была грамота короля, предписывавшая козакам броситься на татар и в море для того, чтобы силою вовлечь Турцию в войну, и, кроме того, в ней представлялись этому быдлу особые права и королевские милости.

— Сто тысяч дяблов! — даже подпрыгнул на своем месте Потоцкий.— И эти собаки осмелились?

— Они бросились с ними на Сечь; оттуда Хмельницкий думает направиться в Крым, а тогда...

— Погоню за ними! — затопал в ярости ногами Потоцкий, срываясь с места.

— Она уже послана.

— Всех переловить!

— Завтра же они будут в моей тюрьме!

— На колья! Четвертовать! — захлебывался от бешенства Потоцкий, и белая пена выступала на его тонких губах.

— За этим я и приехал: Хмельницкий — писарь войсковый.

— Тем лучше,— перебил его молодой Конецпольский.

— На кол его,— яростно завопил Потоцкий,— чтобы всем был пример в глазах!.. А мы приедем и учиним им такую расправу, что вылетит у них из головы мятеж!

Яростные крики панства огласили всю комнату.

— Я просил бы вашу ясновельможность дать мне письменный приказ, потому что, зная пристрастие короля к этому гнусному бунтарю и изменнику, я боюсь, как бы моя скорая расправа не была поставлена мне в вину.

— Завтра же получишь приказ. Я отвечаю!—вскрикнул резко Потоцкий.

— Все будет, как желает пан гетман! — поклонился подобострастно Чаплинский.

На следующий день под вечер Чаплинский, снабженный приказами гетмана и старосты о немедленной казни Хмельницкого и его сообщников, отправился с самыми радужными мечтами в Чигирин.

В Чигирине его уже поджидал Комаровский.

— Что доброго? — спросил Чаплинский, входя в свою светлицу, в которой уже метался с каким-то глухим ревом Комаровский. С своими налитыми кровью, остановившимися глазами и широким лбом он действительно напоминал взбесившегося быка.

— Что доброго? — повторил свой вопрос Чаплинский.

— Ничего,— остановился перед ним с диким лицом Комаровский,— нет ее нигде.

— Ну, а Хмельницкий?

— Хмельницкого поймали... на ярмарке... коней покупал... а остальные разлетелись, я хотел броситься за ними в степь... мало людей... у них всюду сообщники...

— Ге, теперь не тревожься, друже,— вскрикнул весело Чаплинский, вытаскивая сложенные бумаги,— теперь мы попытаем молодчика огнем и железом, выболтает он нам немало новостей, а тогда ты и отправишься по следам беглецов в степь... Гетман и староста приедут сюда чинить суд и расправу. Не бойся, теперь и мышь из степи не убежит!

В тот же день вечерком, отдохнувши и подкрепившись с утомительной дороги вечерей, пан подстароста отправился со своим зятем по направлению к селению Бужину, куда был доставлен под сильною стражей Хмельницкий [67]. Хотя в душе подстаросты и закипала все время бессильная досада на роковое стечение обстоятельств, мешавшее ему до сих пор наведаться к Оксане, соблазнительный образ которой не выходил у него из головы, но возможность здесь, сейчас же натешиться и надругаться над своим беззащитным врагом так сильно опьяняла его, что вытесняла даже на этот раз и образ дивчыны.

— Теперь-то мы ему, голубчику, все припомним,— повторял он время от времени, обращаясь к Комаровскому и потирая от удовольствия руки,— все припомним, все!..

Но Комаровский, казалось, не слышал и не понимал ничего... Он сидел рядом с ним в санях мрачный и дикий. Вид его внушал невольный ужас. В этих остановившихся голубых глазах появилось теперь какое-то тупое, животное выражение... Казалось, еще одно мгновение — и он ринется, очертя голову, на свою жертву.

И вид обезумевшего от злобы и ревности зятя щекотал как-то особенно остро извращенные чувства Чаплинского.

«Дурак, дурак! — посмеивался он про себя, поглядывая украдкой на своего соседа.— Го-го, если бы ты знал, кто украл твою красотку! Воображаю, с каким бы ты ревом кинулся на меня! Хе-хе! Но теперь сиди спокойно и жди, покуда я с ласки своей отправлю тебя в снежную степь отыскивать тень своей возлюбленной. Авось какой-нибудь снежный сугроб охладит пыл твоих страстей. То-то ж, сиди, дурень, спокойно и помни, что в жизни мало одной бычачьей силы, надо еще иметь и разумную голову, черт побери!»

Чаплинский самодовольно расправил свои торчащие усы и шумно отдулся. Действительно, все для него складывалось так удачно, что он начинал верить в особенное расположение к себе всех святых.

«Казнить это подлое быдло за услугу отчизне не маловажная награда. Быть может, староство! А почему бы и нет? Влюбленного быка отправить в степи... а самому, покончивши с делами, к Оксане, теперь уже никто не помешает».

Еще розовые отблески солнца не потухли на снежных крышах, когда Чаплинский и Комаровский достигли Бужина, находившегося невдалеке от Чигирина. Они направились прямо к дому эконома, в котором был заключен под грозною стражей Хмельницкий. Уже издали они заметили у хаты большое скопление народа; и люди, и жолнеры о чем-то горячо толковали, кричали и бранились; среди них волновался больше всех Кречовский.

— Что? Что там случилось? — крикнул Чаплинский, выскакивая из саней и бросаясь в толпу.

У распахнутых настежь дверей дома стоял бледный, растерянный Кречовский.

— Несчастье, пане подстароста... Здесь уже ничья вина...— говорил он взволнованным голосом, указывая на распахнутые двери,— свидетелями все эти люди, что мы обставили его стражей со всех сторон, но сами черти помогают этому дьявольскому роду. Хмельницкий ушел, и стража вся разбежалась...

На другой день рано прибыли в Бужино сам коронный гетман, Конецпольский, Барабаш, Чарнецкий и множество панов, чтобы присутствовать при казни бунтаря и изменника, который так долго умел обманывать всех окружающих.

Расположившись в лучшей просторной избе, гетман, Конецпольский и остальное панство, прибывшее на это любопытное зрелище, поджидали с нетерпением Чаплинского и Кречовского, которые почему-то медлили и заставляли себя ждать.

— Я говорю панству, это такой дьявол, от которого давно пора бы было избавиться для блага всей отчизны, если бы только не особая милость к нему короля,— сту-

чал раздраженно по столу пальцами Потоцкий.— Но теперь, когда мы его попытаем да отберем у него из рук эти знаменитые привилеи,— кривил он в ехидную улыбку свои тонкие губы,— тогда-то послушаем, что скажет нам на это открытие сейм!

— Сообщников у него много... быть может, он передал их кому-нибудь? — заметил с сомнением Конецпольский.

— О-о! Обшарим их! Вывернем всех с потрохами! — ярился все больше и больше Потоцкий.— Благодаря бога, мне приходилось бить их чаще, чем псарю собак! Не уйдет от меня ни один щенок! Однако отчего же не ведут его? — вскрикнул он резко, быстро поворачиваясь на стуле.— Где это пан подстароста? Почему заставляет нас ждать?

Среди слуг обнаружилось какое-то робкое замешательство.

— Где Чаплинский, говорю вам? — ударил по столу рукой Потоцкий и вскочил со стула.— Позвать сейчас сюда! Я ждать не привык!

Через несколько минут в комнату вошли Чаплинский и Кречовский. На Чаплинском не было лица; Кречовский выступал спокойнее.

— Теперь я вижу, что пан подстароста имел действительно слишком много дела с хлопами,— заговорил Потоцкий едким и злобным тоном, забрасывая голову назад,— если позволяет себе заставлять нас так долго ждать!

Чаплинский вспыхнул и произнес почтительным, заискивающим тоном, отвешивая низкий поклон:

— Тысячу раз прошу ясновельможное панство простить меня... но...— запнулся он, словно ему сжала судорога горло,— но... но... здесь вышла такая ужасная, непредвиденная неожиданность.

— Что? — взвизгнул Потоцкий, наскакивая на него.

— Хмельницкий убежал! — выпалил с отчаяньем Чаплинский, отступая невольно к дверям.

Если бы в это время бомба разорвалась среди комнаты, она не произвела бы такого эффекта, как эти слова Чаплинского.

XLII

— Хмельницкий бежал?! — вскрикнули все разом, срываясь с места.

Чаплинский молчал.

— А, так вы мне ответите за него головою! — заревел Потоцкий.

— Но, ваша ясновельможность! На бога! Чем я виноват? — возопил Чаплинский.— Не я ли сам прискакал к вам сообщить о поимке пса и его тайных планах? Вчера, прискакавши сюда, чтобы сделать ему первый допрос, я узнал вдруг эту страшную новость. Ведь меня самого, ей-богу, всю ночь напролет лихорадка трясла. Бездельник может спрятаться где угодно. О господи, мы и теперь не в безопасности! У него столько сообщников, сколько в лесу листьев, да еще, уверяю вашу ясновельможность, тому может быть множество свидетелей, что ему помогает сам дьявол! О господи! Я и теперь трясусь, как осиновый лист, а при моей комплекции это угрожает мне смертью. Уж если кому достанется от этого пса, то никому иному, как мне!

— Отчизны это не касается! — перебил его, топая ногами, Потоцкий.— Кто стерег пленника?

— Я, ясновельможный гетман,— поклонился Кречовский и выступил спокойно вперед.

— А, так это пан выпустил пса, разбойника, изменника! Теперь мне все понятно. Недаром же пан придерживается православной схизмы. Вы... вы все изменники, предатели! — кричал он, и задыхался, и брызгал пеной.— Но за эту измену вы ответите мне как изменники отчизны, да, как изменники!

Крикам гетмана вторили крики и проклятия панов. В избе поднялись такой ад и сумбур, что трудно было расслышать слова.

— Прошу вашу ясновельможность выслушать меня,— заговорил Кречовский, переждав первый натиск Потоцкого.— Но если панство не верит мне, я попрошу спросить пана старшого, Барабаша, пусть скажет за меня сам, замечен ли я когда в каких-либо сношениях с мятежниками и в склонности к ним? Если я и русской восточной веры, то все же я шляхтич польский, а не низкий хам; если я и служу в войске реестровом, то и его милость пан Барабаш служит там же, да и множество

других верных и преданных отчизне старшин. Наконец, если я и был на пиру у Хмельницкого, то там же был и пан Барабаш, и Пешта, и последний только предвосхитил мое намерение. Да, наконец, если бы я выпустил Хмельницкого, то неужели б и я не ушел с ним, а остался бы здесь, чтобы подвергаться вполне справедливому гневу вашей ясновельможности?

— Так, так,— поднял наконец голос и Барабаш, сконфуженный и растерянный после случившегося с ним происшествия,— полковник Кречовский—верный рыцарь и в бунтах не был замечен ни разу.

— Но если так,— продолжал уже несколько смягченным тоном Потоцкий, окидывая Кречовского полупрезрительным взглядом,— неужели у вас не достало ни сил, ни уменья, чтобы уберечь связанного козака?

— Все, что только находится в человеческой власти, было сделано, ваша ясновельможность. На пленнике были кандалы; полсотни реестровых окружало хату; но в этом краю все кишит мятежом и изменой. Я не могу ручаться даже за своих собственных людей; стража разбежалась.

— Хорошо,— перебил его Потоцкий,— виновника мы отыщем; но отобрали ли вы у него хоть эти привилеи?

— К несчастью, мы не посмели этого сделать до приезда вашей ясновельможности.

— Предатели! Безумцы! Что вы наделали?! — схватил себя за жидкие волосы Потоцкий.

Кругом все замолчали. Не стало слышно ни криков, ни проклятий, ни хвастливых речей. Наступило какое-то зловещее, гнетущее затишье.

— Если пес увезет эти привилеи к хану, то наделает нам немало хлопот,— заметил первый Чарнецкий.

— Надо угасить огонь, пока он не возгорелся,— покачал Барабаш своею седою головой.— У Хмельницкого тысячи приятелей. Он хитер и умен, как сам дьявол. О, это уже я испытал, к несчастью, на самом себе! Если ему только удастся пробраться на Запорожье... о, тогда он взбудоражит и поднимет их всех, как ветер придорожную пыль!

— Присоединяюсь к мнению пана полковника,— поклонился смиренно Кречовский.— Я знаю их и вижу, что кругом затевается что-то недоброе.

— Но мы их всех успокоим! — крикнул резко и над-

менно Потоцкий.— Погоню за ними! Я их вытащу из этого проклятого гнезда! Пане подстароста! — повернулся он вдруг круто к Чаплинскому, который стоял растерянный, испуганный, ожидая ежеминутного появления Хмельницкого.— Пан возьмет с собою пятьсот моих жолнеров из коронных хоругвей и отправится в Сечь, с условием привезти мне собаку живым или мертвым. На сборы два дня!

Лицо Чаплинского покрылось сначала бураковым румянцем, а вслед за тем побледнело, как полотно.

— Но, ваша ясновельможность,— заговорил он жалобно и несмело,— подобное путешествие... при моем возрасте... в такую погоду... Притом Хмельницкий... Пан гетман знает, что Хмельницкий более всех зол на меня...

— Поэтому я и выбрал пана. Надеюсь, что ему будет более всех приятно поймать хлопа и укоротить ему и руки, и язык!

— О, всеконечно! — вскрикнул шумно Чаплинский.— Но как останется без меня староство... в такое тревожное время?.. Не лучше ль...

— Как ваш прямой начальник, я повелеваю вам немедленно исполнить приказ пана гетмана! — вспыхнул Конецпольский.

— Слушаю и с величайшею радостью готовлюсь исполнить панское повеление,— попробовал было отделаться еще раз Чаплинский,— но я просил бы вельможное панство обратить внимание на следующее обстоятельство: весь гнев Хмельницкого возгорелся из-за моей жены. Если в мое отсутствие мятежная шайка ворвется в город, несчастная женщина...

— Это еще что за наглость? — даже побагровел Потоцкий.— Тут дело идет о государственной опасности, а мы будем беречь украденную красавицу?

— Простите, я, конечно... Но жена всякому человеку...

— Да пан, видно, просто боится этого хлопа? — прервал его презрительно гетман.

— О, брунь, боже! — вспыхнул Чаплинский.— Он бегает от меня, как мышь от кота.

И, поклонившись всем присутствующим, Чаплинский произнес с важностью:

— Все будет так, как желает вельможное панство.

Уже подстароста отъехал версты три от Бужина, а бессильное бешенство все еще не оставляло его.

«Ехать на Сечь в самую пасть к этому разъяренному зверю, благодарю за милость, вельможные паны! — бормотал он про себя, тяжело отдуваясь.— Да я бы позволил наплевать себе в рожу самой последней жидовке, если бы пожелал стать похожим на бабочку, летящую в огонь! Сто тысяч чертей вам в глотку! Если вы не жалеете меня, то и мне нечего беспокоиться о вас, хотя бы вас всех на одной осине Хмель перевешал! В Сечь — и пятьсот жолнеров! Гм... недурно! Да их там, этих бешеных разбойников, припадет по сто на душу! Пусть едут себе дураки, охотники до геройских побед, а мне мое собственное сало дороже всех лавровых венков! — горячился он все больше.— И это все за усердную службу? Только не так я глуп, чтобы удалось вам меня на аркане гонять! Только вспомнить тот взгляд, каким он меня провожал в сейме... бр... даже сейчас мороз по спине идет,— вздрогнул Чаплинский и чуть не вскрикнул громко, услышав за собою какой-то страшный шум.— Два дня на сборы,—ну, через два дня я буду уже далеко!»

Однако шум, испугавший пана подстаросту, не прекратился.

— Что там? — спросил Чаплинский кучера, замирая на месте.

— Три всадника гонятся за нами.

— Гони, гони, что есть духу! — побледнел, как полотно, Чаплинский.

Лошади подхватили, и сани понеслись стремглав по снежной равнине. От быстрой езды Чаплинского толкало и бросало из стороны в сторону, но он ничего не чувствовал, ухватившись за стенки саней; он только кричал обезумевшим голосом: «Гони! Гони! Гони!»

Между тем лошади, промчавшись таким бешеным карьером версты три, начали видимо ослабевать, а шум и крик сзади все продолжались; очевидно, всадники не отставали от них.

— Пане подстароста,— обернулся кучер,— вон машет руками, чтобы мы остановились...

— Гони, гони! Не обманет, ирод! — прохрипел Чаплинский, выпячивая от страха свои выпуклые глаза.

Лошади помчались снова... Однако теперь уже и подстароста видел, что такая бешеная скачка не может долго продолжаться. Они часто спотыкались и тяжело

храпели, а крики всадника становились все явственнее и громче. Очевидно, расстояние уменьшалось.

— Pater noster! * — забормотал подстароста белеющими губами.— Засада, засада! Это он дает знать своей шайке; что-то они теперь со мной сделают?.. Sanctus...** sanctum... san... san...— но пан подстароста никак уже не мог вспомнить дальше слов молитвы. Казалось, все знания вылетели у него в одно мгновенье из головы, одно только стояло ясно: Хмельницкий — и смерть!..

Вдруг громкий возглас: «Тесть, тесть!» — долетел до его слуха. Чаплинский вздрогнул и прислушался.

— Тесть, тесть, остановись! — кричал охрипший, задыхающийся голос.

«Не обманывает ли дьявол?» — подумал про себя Чаплинский и нерешительно обернулся назад. Не в далеком расстоянии мчался за ним во весь карьер Комаровский в сопровождении двух слуг.

— Фу-ты, чтоб тебе попасть в самое пекло,— выругался сердито Чаплинский, облегченно вздыхая, — вырвался еще этот бык на мою голову! Что теперь делать с ним?

Лошади остановились. Комаровский подскакал к саням.

— Очумел ты, что ли, тесть? — заговорил он с трудом, задыхаясь от быстрой езды.— Кричу им, машу руками, а они еще скорей летят, сломя голову, словно за ними татарский загон по пятам спешит.

— Ни от кого мы не бежали, а тороплюсь я в Чигирин, — заметил степенно Чаплинский. — Ты слышал, верно, какой отдал мне гетман приказ?

— Затем я и догонял тебя! Возьми меня с собою... там уже удастся накрыть его.

«Фу-ты, дьявольщина, час от часу не легче, — вскрикнул про себя Чаплинский,— вдобавок ко всему придется еще прятаться от этого бешеного быка!»

— Хорошо,— произнес он вслух,— собери только побольше своих челядинцев, дела будет много...

— Когда выступаешь?

— Завтра к вечеру.

---

* Отче наш! *(Лат.)*

** Святий *(лат.)*.

— Я буду к этой поре в Чигирине.

Путники распрощались и поехали по противоположным направлениям.

— Что? Что случилось? — спросила с театральной тревогой и изумлением Марылька, когда растерянный и взбудораженный пан подстароста ввалился в свою светлицу.

— А то, моя богиня, что нам надо сейчас же паковаться и завтра чуть свет выезжать из Чигирина.

— Зачем? Куда? Почему?

— Зачем? Затем, чтоб избавиться от приезда Хмеля, — грузно опустился на стул Чаплинский.— Куда? Куда возможно подальше от этого места, и, наконец, потому, что при встрече с нами пан Хмель непременно пожелает содрать и с меня, и с вас, моя пышная крулево, кожу себе на сапоги!

— Хотя слова пана и грубы, как свиная щетина,— вспыхнула Марылька,— но все же я не вижу из них, в чем дело.

— В том дело, моя пани, что Хмель бежал!

— Бежал?! — вскрикнула с плохо скрытою радостью Марылька и отступила.

— Да, бежал, а вместе с ним и все его сообщники; и эти проклятые привилеи, которые еще наделают нам бед!

Марылька молчала. Она стояла перед Чаплинским с каким-то странным, загадочным выражением лица; не то гордая, не то торжествующая улыбка приподымала углы ее тонко очерченного рта. Казалось, страшное известие доставляло ей какую-то непонятную радость.

— Его, этого разбойника, хотели было казнить,— я писал тебе,— а вот... вдруг... Гетман и староста, все войско в тревоге,— продолжал Чаплинский.

— Разве он так страшен? — произнесла медленно Марылька.

— Хам, хлоп! — пожал надменно плечами Чаплинский.— Конечно, он попадет не сегодня-завтра к нам на кол; за ним уже послали погоню. Но здесь он пользуется большею силой, чем любой король в своей земле. Все это быдло предано ему; по одному его слову встанут все!

Слабый, подавленный вздох вырвался из груди Марыльки, и все лицо ее покрылось вдруг горячим румянцем.

— Но разве так они опасны? — поспешила она спросить.

— Конечно, нет! Сволочь, которую нужно разогнать плетьми! Но так как ими кишит вся округа, то, клянусь всеми чертями, я не ищу с ними встречи и предпочитаю уйти из этой бойни, чтоб они не сделали бигоса из моих потрохов!

— Пан труслив, как баба! — произнесла презрительно Марылька, бросая на Чаплинского гадливый взгляд.

Чаплинский побагровел.

— Заботливость о моей королеве пани принимает за трусость. Хорошо! Но если бы я был трусом, я бежал бы сам, а не вез с собой и пани, из-за которой и загорелся сыр-бор.

— Пан думает, что Хмельницкий поднял все восстание из-за меня? — спросила каким-то странным голосом Марылька.

— А то ж из-за кого же? Быть может, из-за этих хлопов? Го-го! Сидел же он до сих пор, как гриб, и не помышлял о мятежах, а как только пани покинула его, так вся кровь и закипела в этом диком волке. О, теперь я знаю, он готов обратить в руину всю Польшу, погубить сотни, тысячи людей, лишь бы добиться своего и силой взять пани назад!

Марылька молчала. Высокая грудь ее подымалась часто и порывисто; прелестная головка была гордо закинута назад; глаза горели каким-то странным светом; жаркий румянец вспыхивал на щеках.

— Из-за меня... всю Польшу,— повторила она медленно, словно упиваясь едким блаженством этих слов.

— То-то ж и дело! — продолжал Чаплинский, не замечая ее состояния.— Что бы мне было, если бы меня и поймал Хмельницкий? Я не изменял ему. Я только взял пани с ее собственной воли, о чем досконально известно и ему... Впрочем,— окинул он Марыльку насмешливым взглядом,— если пани думает, что этот седой кава́лер в бычачьей шкуре встретит ее и теперь любезно, то...

Теперь уже Марылька вспыхнула до корня волос.

— Уж лучше кава́лер в бычачьей коже, чем в заячьей!—перебила она его резко.— По крайности, с ним бы не приходилось бегать от хлопов, как зайцу от гончих собак!

Чаплинский готовился ответить ей что-то, когда дверь распахнулась и в комнату вбежал бледный как полотно Ясинский.

— Что, что такое? — всполошился Чаплинский, схватываясь растерянно с места.

— Беда, пане... кругом творится что-то неладное... Из Зеленого Байрака ушли куда-то все люди... Веселый Кут тоже опустел... кругом что-то шепчут... при приближении пана разбегаются... Я боюсь, что старый лис не бросился в Сечь, а припрятался где-нибудь здесь.

Марылька побледнела и ухватилась рукою за стол.

— Сто тысяч дьяволов рогами им в зубы! — вскрикнул Чаплинский, хватаясь за волосы.— Ну, край, где каждую секунду можешь ожидать, что подлое хлопство сварит из тебя себе на потеху щи! И ко всему еще прячься от этого сорвавшегося с узды жеребца! Надеюсь, что теперь моя королева не станет спорить против моих слов,— обратился он к Марыльке,— и поторопится отдать приказание слугам, чтоб паковали возы.

Марылька бросила на Чаплинского полный гадливости и презрения взгляд и молча вышла из комнаты.

— Неужели же пан бросит меня здесь? — припал к ногам Чаплинского Ясинский.— Клянусь всеми святыми, я готов бежать за паном хоть в болото, только бы не встретиться с этим псом!

— Тише,— заговорил торопливо Чаплинский, поглядывая на дверь,— ты знаешь, где я припрятал Оксану?

— Знаю.

— Я дам тебе лист со своею печатью, скачи к бабе... Забирай девушку... только смотри, свяжи ее... змееныш кусается больно... да в крытые сани... и голову завяжи, чтоб не было слышно крика... бери с собою хоть десять слуг... выезжай сейчас же... только окольным путем... Комаровский взбеленился... надо прятаться от него; за Киевом съедемся; только, чтоб Марылька, знаешь... и покоевка у ней глазастая...

— Знаю, знаю! — замотал головою Ясинский.

— Лети ж, торопись скорее, выезжай на рассвете... Смотри, чтоб никто не заметил. Едем в Литву!

— Служу до смерти вельможному пану! — охватил ноги Чаплинского Ясинский и, быстро поднявшись, скрылся в дверях.

XLIII

На берегу Днепра, на пограничной черте запорожских владений, приблизительно где ныне находится город Екатеринослав [68], приютилась в овраге корчма.

Незатейливое здание, с круглым, крытым двором и высокою въездною брамой, напоминало огромную черепаху, застрявшую в тесном овраге, между каменных глыб и высоких яворов и тополей. Как самое дворище, так и внутренние помещения были здесь попросторнее, чем в обыкновенных дорожных корчмах, даже на бойких местах; кроме общей, довольно обширной светлицы, где стояли бочки с напитками и все прочие принадлежности шинка, имелось еще здесь и несколько отдельных покоев. Такие корчмы ютились по границе земель вольного Запорожского войска от Днестра и до Днепра; их содержали преимущественно женщины-шинкарки, имена которых попадали иногда даже в народные думы и песни. Степовые шинкарки держали непременно и прислугу женскую, каковую доставляла им безбрежная степь. Летом эти вольные как степи красавицы почти все расходились по хуторам на полевые работы, к осени же, за исключением немногих, остававшихся в зимовниках, большинство их прибывало возрастающею волной к пограничным корчмам, где эти гостьи находили и приют, и веселую, бесшабашную жизнь, а отчасти и заработок. Такие корчмы любило посещать запорожское рыцарство; в них, после долгого монашеского поста, разнуздывалась вольно пьяная удаль, распоясывались пояса и чересы и швырялись скопленные добычей за целое лето богатства на вино, на азартную игру, на красоток.

Насколько были строги в запорожской общине законы во время похода или в черте самого Запорожья, настолько за чертою его запорожский козак был от них совершенно свободен: женщина, под страхом смертной казни, не имела права переходить границы Сечевых владений; связь с нею козака где-либо на Запорожье подвергала счастливого любовника смертоносным киям; такую же жестокую расплату влекла за собой и чарка выпитой горилки в военное время... Оттого-то козак, проголодавшись за лето, и спешил к зиме в свои пограничные корчмы, где и предавался бешеному, а часто и дикому разгулу; оттого-то в этих корчмах с утра и до

поздней ночи играла шпарко музыка, звенели бандуры и кобзы, цокали подковки, раздавались широкие песни и дрожал воздух от веселого хохота; оттого-то хозяйки-шинкарки богатели страшно и набивали коморы свои панским, еврейским и татарским добром, оттого-то и слетались сюда со всех концов Украйны красотки дивчата, не признававшие общественных пут, а любившие волю, как птицы.

Собирались сюда иной раз целыми кошами запорожцы и проводили по корчмам всю зиму. Тут даже зачастую решались на шинкових радах вопросы первостатейной важности и большие дела. Такие скопища завзятых весельчаков притягивали и из Украйны рейстровых козаков и голоту; первые спешили сюда пображничать и поиграть с славным рыцарством, а вторые стекались в надежде на даровую чарку оковитой, на ложку кулешу, а то и на участие в каком-либо добытном предприятии. Шинкарки хотя и обходились грубо с голотою, но гнать ее из-под теплого навеса не гнали, боясь мести и пользуясь иногда их услугами.

Было начало декабря. Стояла между тем теплая, почти весенняя погода. Выпавший в ноябре снег совершенно растаял; легкие утренние морозы и теплые, сухие дни почти осушили намокшую землю. Мало того, несколько дней назад разразилась над Днепром даже гроза; целую ночь вспыхивало со всех концов небо ослепительным белым огнем, и грохотали удары грома. Народ, смущенный необычайным явлением, крестился, зажигал по хатам и землянкам страстные свечи и шептал в суеверном ужасе, что это все не к добру, что и метла на небе, и гроза зимой вещуют великое горе и что быть страшным бедам, а то и концу света.

Впрочем, гроза миновала, и светлый день рассеял призраки ночи. Теперь солнце ярко светило и врывалось в открытую браму и в дырья на крыше светлыми косыми столбцами, ложась на дворище пестрыми пятнами и освещая его до темных углов. У стен дворища к яслям привязано было много оседланных и с распущенными подпругами коней; все они по большей части принадлежали к породе бахматов и имели сильно развитую грудь и крепкие ноги; в углах навеса стояли повозки с приподнятыми оглоблями и сани, а посредине, вокруг столба с множеством колец, разместились живописными груп-

пами козаки: некоторые из них сидели по-турецки на кучках сена, другие ютились на повозках, свесивши ноги, иные возились возле лошадей, но большинство лежало вповалку на разбросанной соломе, то облокотившись на локти, с люльками в зубах, то распластавшись навзничь и разметавши чуприны, храпело гомерическим храпом с присвистами и даже с трубными звуками.

По плохой одежде, представлявшей странную смесь и польских кунтушей, и козацких жупанов, и жидовских кацавеек, и мужицких кожухов, свит и женских кожушанок, корсеток и татарских халатов, и черкесских бурок, по смелым заплатам и рискованным лохмотьям в гостях сразу можно было признать голоту, бежавшую от панских канчуков и от арендаторских когтей под гостеприимные кровли запорожских шинков, к братчикам под защиту. Теперь эти беглецы предавались, после изнурительных работ, широкому отдыху и безделью, терпеливо ожидая даровых угощений от богатых гуляк; один, впрочем, штопал и зашивал прорехи и дырья в своем фантастическом костюме, а другой, почти нагой, что-то усерднейше шил.

Среди голоты сидел у столба и седоусый козак, с двумя почетными шрамами на лице, с закрученною ухарски за ухо чуприной, и настраивал бандуру; он все поплевывал на колышки и ругательски их ругал, что не держат струн:

— А, чтоб вас тля поточила, чтоб вы потрухли, ведьме вас в дырявые зубы, либо что,— пригонял козак слово к слову,— а вашему майстру чтоб и руки, и ноги покорчило! Не держат, проклятые, да и что хочь!

Соседи сочувственно относились к этой ругани, вставляя и свои словечки.

Из растворенных настежь дверей большой светлицы то и дело выбегали дивчата, шныряли между голотою, смело переступая через ноги и через головы лежавших, то в погреб и лех за напитками, то в комору за съестным, то в амбар за овсом да ячменем. На пороге дверей у светлицы сидело два знатных козака, захмелевших порядочно. В открытую браму виднелись причал и широкое зеркало Днепра, что сверкал своими стальными, холодными волнами, но говор их был заглушен диким шумом, стоявшим в светлице и на дворище. Из шинка неслись звуки музыки, нестройные хоры песен и топот

каблуков да звон подков, перемешанные с выкриками, взвизгами и женским разнузданным хохотом; на дворище пели песни и перебранивались от скуки; на перевозе кто-то кричал...

В шинке, рассевшись на лавах и склонивши на столы отягченные головы, рейстровое знатное козачество, в лудaных * жупанах и распущенных шелковых поясах, не обращая внимания на бешеный гопак двух запорожцев, на целые тучи взбитой ими на глиняном полу пыли, несмотря на веселые звуки «козака», тянуло хором заунывную песню:

Ой не шуми листом, зелена діброва:
Голова козача щось-то нездорова,
Клониться од думи, плачуть карі очі,
Що і сна не знали аж чотири ночі!

Старый козак на дворище наконец наладил бандуру и, ударив шпарко по струнам, подхватил сильным грудным голосом:

Гей, татаре голомозі
Розляглися на дорозі;
Ось узую тільки ноги —
Прожену вас, псів, з дороги!

Подсевшая невдалеке к красавцу козаку, блондину с синими большими глазами, черноокая Химка, не расслышавши мелодии, затянула совершенно другую, бойкую песню:

Ой був, та нема,
Та поїхав до млина...

Молодой козак пробовал зажать ей рукой рот.

— Да цыть, Химо, не мешай; не та ведь песня.

Но Хима расхохоталась и еще визгливее стала выкрикивать:

Ой був, та нема,
Поїхав на річку,—
Коли б його чорти взяли,
Поставила б свічку!

Не выдержали наконец такой какофонии козаки, вышедшие из душного шинку на прохладу.

— Да цыц, ты! Замолчи, ободранный бубен! —

---

* Лудан — блискуча матерія, іноді розшита золотом.

крикнул один из них подороднее, с откормленным брюшком и двойным подбородком, с черною как смоль чуприной, лежавшей на подбритой макушке грибком,— слушайте лучше, как добрые козаки поют.

— Кто это? — спросил у соседа бандурист, не отрывая глаз от ладов.

— Сулима, бывший полковник козачий, — ответил тот,— а теперь на хуторе сел под Переяславом, богачом дело... отпасывает (откармливает) себе брюхо подсоседками.

— Гм-гм! — промычал старый и ударил еще энергичнее по струнам.

— Да цыц же, тебе говорят!—снова крикнул Сулима.

— Начхал я на твои слова,— огрызнулся молодой блондин и снова начал что-то нашептывать Химке.

— А и правда,— поднял голову лежавший до сих пор неподвижно атлет с серебристым оселедцем, откинувшимся змеей, и разрубленным пополам носом,— что вы нам за указ, пузаны, что надели жупаны? А брысь! Мы сами вольные козаки!

— Верно,— мотнул головой и бандурист,— вы что хотите горланьте, а ты пой свое, вы, что хотите, а ты им впоперек! — и, сорвавши громкий, удалой аккорд на бандуре, подгикнул:

Ну, постойте ж вы, татары,
Ось надену шаровары...

— Да что, братцы,— тряхнул молодой красавец козак своею волнистою чуприной,— правду Небаба говорит, что впоперек, у каждого глотка своя, ну, и воля своя; моя, стало быть, глотка, ну, я и горлань!

— Эх, горлань,— отвернулся с досадой Сулима,— да у кого теперь глотка своя? Теперь наши глотки у иезуитов да у польских магнатов в руках, а ты свою целиком заложил Насте-шинкарке.

— Что ты? — повернули некоторые головы с любопытством.

— А гляньте, сидит, как турецкий святой, да зевает ртом, не вольет ли кто туда горилки.

— А ты вот, разумная голова,— отозвался наш старый знакомый Кривонос,— вели-ка Насте залить ему глотку мокрухой, да и мне кстати скропи горло, потому что засуха в нем — не приведи, господи!

— Да и нам не грех! — промычали нерешительно другие.— Богатый ведь дидыч, поделиться бы след.

— Конечно! — одобрил и бандурист Небаба.

— Что, брат, зацепил? — толкнул локтем Сулиму его товарищ, — теперь не отчураешься, голота что пьявки...

Сулима только развел руками, а его товарищ пошел распорядиться в корчму.

А молодой козак нашептывал между тем Химке:

— Выйдешь ли, моя чернобровая, вечерком потешить сердце сечевика?

— Да вам же нельзя с нашею сестрой и разговаривать, не то что...— взглянула лукаво дивчына и засмеялась, отвернувшись стыдливо.

— То в Сечи, моя ягодка, а тут все можно,— и под звуки бандуры запел звонким обольстительным баритоном:

Ой я пишно уберуся,
Бо в садочку жде Маруся:
Обніму я тонкий стан —
Над панами стану пан!
Од дуба і до дуба —
Ти ж, квітка моя люба,
Нишком-тишком хоч на час
Приголуб же грішних нас!

— Ловко, ловко! — сплюнули даже некоторые козаки от удовольствия.— Эх, у Чарноты до скоромины много охоты!

XLIV

В это время появился у брамы молодой, статный козак, держа за повод взмыленного коня, и крикнул:

— Эй вы, бабье сословье! Встань которая да дай коню овса!

Химка вскочила и, вырвавшись от Чарноты, побежала сначала к хозяйке, а потом с ключами к амбару.

— Чи не Морозенко? — толкнул запорожец локтем товарища.— Мне так и кинулись в глаза его курчавые черные волосы да удалое лицо...

— Должно, взаправду он,— кивнул головою товарищ,— мне тоже как будто сдалось... Только если это он, то исхудал страшно, бедняга... должно быть, в Гетманщине не наши хлеба![69]

— Овва! А пойти бы разведать, он ли, да порасспросить как и что?

— Конечно, пойти,— потянулся товарищ.

— Так вставай же.

— Ты пойди сначала, а я послушаю, что ты расскажешь.

— Вот, лежень! — почесал запорожец затылок и пошел сам на разведки.

Приезжий козак действительно был никто иной как Морозенко.

Он передал Чарноте про зверства Чаплинского и Комаровского, про их насилия, про свое сердечное горе. Чарнота слушал его с теплым участием и подливал в ковш молодому товарищу оковитой; но хмель не брал козака,— горе было сильнее: у Морозенка только разгорались мрачно глаза да становилось порывистее дыхание. Вокруг нового гостя собралась порядочная кучка слушателей, возмущавшихся его рассказом.

— Жироеды! Дьяволы! Кишки б им повымотать, вот что! — раздавались и учащались все крики.

— Братцы мои! — взмолился к ним Морозенко.— Помогите мне, други верные, спасите христианскую душу, дайте с этим извергом посчитаться! Ведь сколько через него, литовского ката, слез льется, так его бы самого утопить было можно в этих слезах; нет семьи, какой бы он не причинил страшной туги, нет людыны, какой бы он не искалечил, не ограбил... Помогите же, родные! Не станете жалеть: добыча будет славная, добра у него награбленного хватит вволю на всех, да и, кроме этого дьявола, найдется там клятой шляхты не мало... Потрусить будет можно.

— А что же, братцы, помочь нужно товарищу,— отозвались некоторые.

— Помочь, помочь! — подхватили другие.— И поживиться след.

— Вот тебе рука моя! — протянул обе руки взволнованный Чарнота.— Головы своей буйной не пожалею, а выручу другу невесту и аспида посажу на кол!

— Друже мой! — бросился к нему на шею Морозенко.— Рабом твоим... собакою верною... и вам, мои братцы,— задыхался он и давился словами,— только, ради бога, скорее... Каждая минута дорога... каждое мгновение может принести непоправимое горе...

— Да что? Мы хоть зараз! — подхватили хмельные головы.

— Слушай, голубе,— положил юнаку на плечо руку Чарнота,— Кривонос-батько набирает тоже ватагу... надоело ему кормить себя жданками... заскучал. Так вот ты и свою справу прилучи к нему: ведь и у него в тамошних местах есть закадычный приятель...

— Ярема-собака? Так, так! — вспыхнул от радости Морозенко и снова обнял Чарноту.

— Перевозу! Гей! — донесся в это время крик издалека, вероятнее всего, с берега Днепра. Прошла минута-другая молчания; никто не откликнулся.—Пе-ре-во-зу!— раздалось снова громче прежнего и также бесследно пропало.

— Подождешь, успеешь! — поднял было кто-то из лежавших голову да и опустил ее безмятежно.

— Пе-ре-во-зу! Па-ро-му!—надсаживался между тем без передышки отчаянный голос.

Но большинство козаков и голоты лежало уже покотом; немногие только обнимались и братались, изливаясь друг перед другом в нежных чувствах и в неизменной дружбе. Сулима с Тетерею [70] тоже челомкались и сватали, кажется, детей своих... Назойливый крик раздражил наконец пана дидыча.

— Да растолкайте кто этих лежней,— крикнул он на голоту,— ведь ждут же там на берегу.

— А пан бы потрусил сам свое чрево,— откликнулся Кривонос,— ведь откормил его здорово в своих поместьях.

— Пан? Поместьях? — вспыхнул Сулима. — Нашел чем глаза колоть, дармоед: мы трудимся и на общественной службе, и на земле.

— Только не своими руками, а кабальными,— передвинул Кривонос люльку из одного угла рта в другой.

— Брешешь!.. Кабалы у нас не слыхать.

— Заводится,— поддержал бандурист,— все значные тянутся в шляхетство, а с шляхетством и шляхетские порядки ползут.

— Откармливаются на шляхетский лад,— добавил кто-то.

— А вам бы хотелось всю знать уничтожить,— загорячился Сулима,— а с черню разбоями жить?

— Придет слушный час, — отозвался невозмутимо Кривонос,— с черню и погуляем.

— Да вы, случается,— вмешался один рейстровик,— и наймытами у бусурман становитесь.

— А вы не наймыты коронные? Стакались с сеймом, понахватали маетностей, привилегий.

— Мы заслужили честно, а не ярмом! — кричали уже значные рейстровики и Сулима.

— Да в ярмо других пихаете! — послышался ропот голоты.

— Записать всех в лейстровые! — поднял властно Кривонос руку и покрыл гвалт своим зычным голосом.

— Записать, записать! — подхватили многие.

— Записывайте — беды не будет! — заметил Тетеря, не принимавший до сих пор участия в споре.

— Так бы то сейм вам и позволил! — натуживался перекричать всех рейстровик.

— Да кто же за вас, оборванцев, руку потянет? — покачнулся Сулима и ухватился обеими руками за плечо Тетери.

— Не бойсь! Найдется! Вот!! — выпрямился Кривонос и потряс своими могучими кулаками.

— Есть по соседству и белый царь! — махал шапкою какой-то голяк.— Земель у него сколько хошь... селись вольно... и веры никто не зацепит.

— Да наших немало и перешло туда,— отозвались другие,— говорят, что унии там и заводу нет.

— Ах вы, изменники! — побагровел даже от крику Сулима.

— Мы изменники? — двинулся стремительно Кривонос.

— То вы поляшенные перевертни! Предатели! Иуды! — схватывалась на ноги и вопила дико голота.

— К оружию! За сабли! — обнажили рейстровики оружие.

— На погибель! Бей их!! — орал уже неистово Кривонос.

Тетеря бросился между ними и, поднявши руки, начал молить:

— Стойте, братцы! На бога! Да что вы, кукольвану * облопались, что ли?

Из шинка выбежали на гвалт все. Перепуганная, бледная, как полотно, Настя начала метаться среди рейстровиков, запорожцев и голоты, умоляя всех поуняться, заклиная небом и пеклом: она знала по опыту, что такие схватки заканчивались вчастую кровавой расправой, а когда пьянели головы от пролитой крови, то доставалось и правым, и виноватым... Сносилась иногда до основания и корчма, да и все нажитое добро разносилось дымом по ветру.

— Ой рыцари! Голубчики, лебедики! Уймитесь, Христа ради,— ломала она руки, кидаясь от одного к другому.— Ой лелечки! Еще развалите мне корчму. Кривонос, орле! Ломаносерце, Рассадиголова! Да уважьте же хоть Настю Боровую [71]. Чарнота, соколе! Ты горяч, как огонь, но у тебя, знаю, доброе сердце... Почтенные козаки, славные запорожцы! К чему споры и ссоры? Не злобствуйте! Братчик ли, рейстровик ли, простой ли козак — все ведь витязи, все ведь рыцари! Лучше выпьемте вместе да повеселимся!!

Схватившиеся было за сабли враги опустили руки и словно опешили; комический страх Насти и всполошенных прислужниц ее вызвал на свирепых лицах невольную улыбку и притушил сразу готовую уже вспыхнуть вражду.

— Ага,— заметил среди нерешительного затишья запорожец,— теперь как сладко запела!

— Я нацежу вам мигом и меду, и пива...— обрадовалась даже этому замечанию Настя.

— Давно бы так! — засунул в ножны Кривонос саблю.

— Ха-ха! Поджала хвост! — захохотал кто-то.

— Теперь-то она раскошелится! — подмигнул запорожец.

— А все-таки следовало бы проучить добре и панов, и подпанков,— настаивал бандурист.

— Полно, братцы, годи, мои други! — вмешался наконец Тетеря, с маленькими бегающими глазками и хитрой, слащавой улыбкой,— где разлад, там силы нет, а бессильного всякий повалит. Главная речь, чтоб жилось

* Кукольван — рослина, насінням якої отруюють рибу.

всем добре, а то равны ли все или нет — пустяковина, ведь не равны же на небе и звезды?

— Овва, куда махнул! — возразил бандурист.— То ж на небе, а то на земле.

— Да, через такую мудрацию вон что творится в Польше! — махнул энергически рукой Кривонос.— Содом и Гоморра!

— Вот этаких порядков,— подхватил бандурист,—и нашим значным хочется, они тоже хлопочут все о шляхетстве.

— Да ведь стойте, панове,— начал вкрадчивым голосом Тетеря,— нельзя же хату построить без столбов, без сох? Должен же быть и у нее основой венец? То-то! Вы пораскиньте-ка разумом, ведь вам его не занимать стать? Отчего в Польше и самоволье, и бесправье, и беззаконье,— оттого именно, что этого венца нет, головы не хватает. Все ведь паны, а на греблю и некому. Смотрите, чтоб не было того и у нас! Как нельзя всем быть панами, так нельзя всем быть и хлопами. Бог дал человеку и голову, и руки; одно для другого сотворено, одно без другого жить не может: не захочет голова для рук думать, так опухнет с голоду, а не захотят руки для головы работать, так сами без харчей усохнут.

— Хе-хе! Ловко пригнал,— осклабились многие.

— Кого ж ты нам в головы мостишь? — уставился на Тетерю Кривонос.— Не Барабаша ли?

— Дурня? Изменника? Обляшенного грабителя? — завопили кругом.

Тетеря только многозначительно улыбался.

— Да вот кошевой наш,— робко подсказал запорожец.

— Баба! Дырявое корыто! Кисет без тютюну! — посыпались отовсюду эпитеты.

Запорожец сконфузился. Все расхохотались.

— Так Богун! — выкрикнул второй запорожец.

По толпе пробежал одобрительный гомон.

— Богун, что и говорить,— поднял голос Тетеря,— отвага, козак-удалец, витязь!.. Только молод, не затвердел еще у него мозг, не перекипела кровь — все сгоряча да сослепу! А нам, друзья, нужен такой вожак, какой бы был умудрен опытом... нам нужно такого, чтобы одинаково добре владел и пером, и шаблюкой.

— Такой только и есть Богдан Хмельницкий,— крикнул неожиданно Чарнота.

— Именно он, никто иной,— поддержал Кривонос.

— Верно,— рявкнул бандурист,— ляхи его боятся как огня!

— Так, так! — загудели козаки.

Тетеря сконфузился и прикусил язык. В глазах его злобно сверкнула досада; очевидно, пущенная им стрела попала в нежеланную цель.

— Не все ляхи,— попробовал он возразить,— с Яремой-то Хмель не поборется.

— Не довелось,— прохрипел Кривонос,— а с этой собакой посчитаюсь и я!

— Да, Богдан бил не раз и татар, и турок! — загорячился Чарнота.

— Батько и Потоцкого бил! — вставил Морозенко.— Я сам хлопцем еще при том был... под Старицей.

— Помню, верно! — поддержал бандурист.

— А кто за нас вечно хлопочет? — отозвался и Сулима.— Все он да он.

— Обещаниями да жданками кормит,— улыбнулся ехидно Тетеря.

Все опустили головы. Тетеря, видимо, попал в больное место: еще после смертного приговора на Масловом Ставу Богдан поддержал было упавший дух козаков уверениями, что король этому приговору противник, что он за козаков, что скоро все изменится к лучшему, лишь бы они до поры, до времени не бунтовали против Речи Посполитой да турок тревожили... И вот состоялся морской поход; но и после него все осталось по-прежнему. Потом опять привез Богдан из Варшавы целую копу радужных обещаний, которые и разошлись бесследно, как расходится радуга на вечернем небе... Далее Богдан ездил за границу и, вернувшись, одарил козаков широкими надеждами, несбывшимися тоже. Наконец, и года нет, как он сообщил о полученных будто бы новых правах; но сталось, как говорит пословица: «Казав пан — кожух дам, та й слово его тепле», и изверились наконец все в этих обещаниях: иные считали, что ими высшая власть только дурит козаков, а другие полагали, что высшая власть и не дает их вовсе, а Богдан сам лишь выдумывает, чтобы туманить головы и сдерживать

козаков от решительных мероприятий... Оттого-то и теперь все, услышав о новой поездке Богдана в Варшаву, скептически опустили головы и безотрадно вздохнули.

XLV

Тетеря, заметив, что его последняя фраза о Богдане произвела на слушателей сильное впечатление, еще добавил, выждав паузу:

— А что Богдан поехал в Варшаву, так это хлопотать о своих хуторах да о шляхетстве.

— Не может быть! Не верю! — горячо возразил Чарнота.

— Нет, это так! — отозвался запорожец.— Я с Морозенком там был... все говорят, что он поехал в Варшаву тягаться с Чаплинским за хутора и за жинку, что тот отнял.

— Чаплинский изверг! Собака! Сатана! — не выдержал крикнуть и Морозенко.— Таких аспидов раскатать нужно, чтоб и земля не держала!

— Ого! — удивились одни.

— На то и выходит! — протянули уныло другие.

— Перевелось козачество! — вздохнули тяжело третьи.

— Коли и Богдан стоит только за свою шкуру, так погибель одна! — качнул головой Кривонос.

— Ложись и помирай! — рванул по струнам бандурист, и они, словно взвизгнувши, застонали печально.

— Нет, други,— возвысил тогда голос Тетеря,— не згинуло козачество, не умерла еще наша слава!.. Лишь бы голова... а то натворим еще мы столько дел, что весь свет руками всплеснет! А где нам, братья милые, искать головы, как не на Запорожье? Вокруг себя... именно,— только оглядеться — и готово! Кто потолковее... поумнее... Н-да, на то только и есть наше братство, чтоб хранить родину; без него слопают Украйну соседи... русского и следа не останется... так нам, значит, и нужно перво-наперво про Запорожье печалиться.

— Что так, то так! — промолвил Чарнота.

— Как с книги! — встряхнул головой Кривонос.

Кругом послышался возбужденный одобрительный гул.

— Что и толковать, голова не клочьем набита,— заметил и бандурист.

— Так вот, друзья, о себе-то нам и надо радеть,— смелее и увереннее продолжал Тетеря,— а чем нам подкрепить себя? Добычей! А как добычу добыть? Войною, походом, набегом... Ведь без войны мы оборвались, обнищали...

— Да он, ей-богу, говорит дело! — просиял Кривонос и поднял задорно голову.

— Правда, правда! Хвала! — крикнул Морозенко.

— Молодец! Рыцарь! — воодушевился Чарнота.

— Слава! Слава! Вот голова так голова! — уже загалдели кругом.

Толпа заволновалась. Эти мешковатые, апатические фигуры, с пришибленным тупым выражением лиц, преобразились сразу, словно по мановению волшебной руки, в каких-то пылких атлетов, готовых ринуться, очертя голову, в самое пекло: лица их оживились энергией и отвагой, в глазах заблистал благородный огонь, в движениях сказалась ловкость и сила.

Значные козаки, зная запальчивость своих собратьев и безумную страсть их ко всякому отчаянному предприятию, смутились несколько этим настроением, так как оно могло повредить их интересам, и начали сбивать толпу на другое.

— Оно бы хорошо,— стал возражать Сулима,— да ведь мир у нас со всеми соседями... татар зацепать не след, а своих и подавно.

— Кто же это своих будет трогать? — уставился Кривонос на Сулиму.— Только пан, может быть, и ляхов считает своими?

— Конечно! Как же! — отозвались Морозенко и Чарнота.— Этих католиков за родных братьев, верно, считает!

— Стойте,— поднял руку Тетеря, чтоб остановить возраставший ропот,— да для чего бусурманы на свете?

— Чтоб бить и добру учить! — заорали в одном углу, а в другом засмеялись.

— Да ведь и Богдан передавал, чтоб воздержались пока,— попробовал было еще опереться на его авторитет Сулима.

— Передавал, передавал! — подхватили и другие значные.

— Эх, что там передавал! — раздражительно крикнул Кривонос.— Наслушались уже, будет!

— Позвольте речь держать! — вскарабкался было на бочку Тетеря.

Но Кривонос перебил его:

— Не нужно! Разумнее не скажешь! В поход так в поход!

— В поход! — уже заревели кругом.— Веди нас в поход!

Тетеря побагровел от восторга.

— На неверу, на турка! — поднял он высоко шапку.

— Нет, не на турка! — завопил, потрясая кулаками, Кривонос.— Что, братцы, турок? Нам от него мало обиды; сидит себе за морем да чихирь пьет... А вот свои собаки хуже невер, вот как этот иуда — Ярема!.. Что он там творит, так чуб догоры лезет!.. Вот этого волка заструнчить — святое дело! Да и поживиться-то будет чем.

— На Ярему! На ляхов! — завопили неистово Морозенко и Чарнота.

Многие отозвались сочувственно на этот крик. Но в другом конце крикнули:

— На бусурман! На неверу!

Значительная часть публики поддержала и этих.

Тетеря, испугавшись, чтоб не выскользнуло из его рук главенство, попробовал оттянуть решение этого вопроса до более удобной минуты.

— Панове! Товарищи! Братья! — закричал он, натуживаясь до хрипоты, и замахал руками, желая осадить поднявшийся шум.— Куда идти — мы решим потом,— напрягал он голос и багровел от натуги,— довольно и того, что решили: в поход! А перед походом ведь нужно выпить... Так вот и выпьем за счастье. Я угощаю всех!

— Вот дело так дело! Ловко! Голова! — загалдели все единодушно и начали швырять шапки вверх.

— Гей, Настя,— обратился Тетеря к стоявшей тут же и все еще дрожавшей от страха шинкарке,— тащи сюда и оковитой, и меду, и пива, чтобы по горло было! За все я плачу!

— Ох, расходился, сокол мой ясный! — обрадовалась она наконец такому счастливому исходу.— Только чтоб уже без свары.

— Не будет больше, не бойся... Сабля помирила.

А вот если взойдет моя звезда,— обнял он ее и наклонился к самому уху,— так тогда вспомнит гетман Тетеря Настю Боровую.

— О? Дай тебе боже!—поцеловала его звонко Настя.

— Тс! — зажал он ей рот.— Тащи-ка все, что есть у тебя.

Но повторять приказание было не нужно: дивчата уже по первому слову Тетери начали сносить сюда все хмельное и все съестное. Началось великое, широкое пированье. Зазвенели ковши, полилась рекой оковитая, потекли черною смолой меды, запенилось пиво... Зарумянились лица, развязались языки, и потянулись к объятиям руки. Поднялся шум, гам, перемешанный с выкриками, возгласами, пересыпанный хохотом... Осушались ковши за успех предприятия, за веру, за благочестие, на погибель врагов, и за разумную голову — за Тетерю, а в некоторых кучках кричали даже:

— За нового кошевого!

Взволнованный и разгоряченный Тетеря только обнимался со всеми и пил за всех.

— Эй, гулять так гулять! — кричал он.—Чтоб и небу было душно! Музыку сюда! Плясать давай, чтоб и корчма развалилась.

— Плясать так плясать! — подхватили одни.

— Песен! — крикнули другие.— Жарь, бандура!

Рассыпались аккорды, зарокотали басы, зазвенели приструнки, и разлилась удалая песня:

Ой бре, море, бре!
Хвиля гра, реве —
Злотом одбиває,
Чаєчку гойдає...
    Гей, напруж весло,
    Хвилю бий на скло;
    Ген байдак синіє —
    Серце молодіє!
Мріється й чалма,
Ех, вогню чортма...
Люлька гасне в роті —
Видно, буть роботі!

— Эх, козаки мои родные, орлы мои славные,— распалилась Настя,— давайте-ка и я вам песню спою!

— Валяй, валяй! — подбодрили ее весело все.

И Настя запела звонким, сочным голосом, запела,

заговорила, и каждый звук ее песни задрожал зноем страсти, огнем лобзаний и ласк:

Спать мені не хочеться,
І сон мене не бере,
Що нікому пригорнути
Молодую мене,—
Нехай мене той голубить,
А хто вірно мене любить,
Нехай мене той ласкає,
Хто кохання в серці має...

Ох, ох, ох, ох!
Хто кохання в серці має!

И все подхватили дружно:

Ох, ох, ох, ох!
Хто кохання в серці має!

С каждым новым куплетом наддавала Настя больше и больше огня, с каждым куплетом воспламенялись больше и больше слушатели, наконец, не выдержал какой-то козак и начал душить Настю в объятиях.

— Зверь-девка! Зверь! — приговаривал он шепотом. А другие еще подзадоривали.— Так ее, шельму! Так анафему!..

Настя только кричала и отбивалась.

— Гей, до танцев! Подковками! Жарь, музыка! — скомандовал кто-то.

Бандура зазвонила громко, козаки подхватили:

Коли б таки або сяк, або так,
Коли б таки запорозький козак...

А дивчата пели:

Коли б таки молодий, молодий,
Хоч по хаті б поводив, поводив!

Настя же, вырвавшись из объятий, додала еще:

Страх мені не хочеться
З старим дідом морочиться!..—

и закружилась, зацокала подковками.

Все понеслось за ней в бешеном танце; вздрагивали могучие плечи, сгибались и стройные и грузные станы, подбоченивались руки, вскидывались ноги, извивались

змеями чуприны, разлетались чубы; и молодые, и старые головы, разгоряченные вином и задористою песней, в каком-то диком опьянении предавались безумному веселью, забывая все на свете, не помня даже самих себя, не сознавая, что через минуту может налететь лихо — и занемеет перед ним разгул, и превратится безмятежный хохот в тяжелый болезненный стон, в вопли... Но тем человек и счастлив, что не знает, не ведает грядущей минуты...

XLVI

Бешеный танец захватывал то одну, то другую пару и наконец увлек почти всех... Закружились, заметались чубатые головы, опьяненные бесшабашным, диким весельем, и среди гиков да криков не заметили нового посетителя, остановившегося у столба и залюбовавшегося картиной широкого низового разгула. Вошедший гость был статен, красив и дышал молодою удалью; щегольской и богатый костюм его был мокрехонек; с темно-синих бархатных шаровар, с бахромы шалевого пояса, с золотом расшитых вылетов сбегала ручьями вода.

Наконец Чарнота, несясь присядкой, наткнулся на стоявшего приезжего и покатился кубарем.

— Какой там черт на дороге стоит? Повылезли буркалы, что ли?

— Дарма что упал! Почеши спину, да и валяй сызнова! — подбодрил упавшего витязь.

Взглянул козак на советчика, как обожженный схватился на ноги и кинулся к нему с распростертыми объятиями.

— Богун! Побратыме любый!

— Он самый! — обнял его горячо гость.

— Богун! Богун прибыл к нам, братья! — замахал Чарнота рукой.

— Богун, Богун, братцы, Богун! — раздались в разных концах восторженные возгласы, и толпа, бросивши танцы, окружила прибывшего козака.

— И правда, он! Вот радость так радость! — потянулись к нему жилистые, железные руки и длинные, развевавшиеся усы.

— Здорово, Кнур! Всего доброго, Бугай! Как поживаешь, идол? — обнимал своих друзей, то по очереди, то разом двух-трех, Богун.

— Да откуда тебя принес сатана, голубе мой? — целовал его до засосу Сулима.

— Прямехонько из Днепра.

— Как из Днепра? — развел руками Сулима.

— У русалок в гостях был, что ли? — засмеялись запорожцы.

— Чуть-чуть было не попал к кралям на пир! — тряхнул витязь кудрявою чуприной.

— Да он взаправду как хлюща,— подбросил бандурист Богуну вверх вылеты и обдал холодными брызгами соседей.

— Глядите, братцы, да ведь он переплыл, верно, Днепр? — подошел к Богуну богатырь.

— Кривонос! Батько! — бросился к нему козак.— Вот счастье, что застал здесь наиславнейшее лыцарство!

— Дружище! Брат родной! — тряс его за плечи Кривонос.— Переплыл ведь, а?

— Да что же? Дождешься у вас паромщиков? Перепились и лежат, как кабаны! Насилу уже я их растолкал на этом берегу.

— Так, так! Чисто кабаны,— кивнул головой улыбающийся блаженно Сулима; пот струями катился по его лбу, щекам и усам, но он не обращал на него никакого внимания, не смахивал даже рукавом.

— Молодец, юнак! Настоящий завзятец! Шибайголова! Орел! — посыпались со всех сторон радостные, хвалебные эпитеты.

— Да, отчаянный... на штуки удалец! — со скрытою досадой подошел к Богуну и Тетеря.

— Вот с кем идти на турка! — крикнул козак по прозвищу Бабий.

— И к самому поведет — проведет! — подхватил Чарнота.

— Тобто к Яреме! — подчеркнул Кривонос.

— Орел не козак! Сокол наш ясный! И ведьму оседлает, не то что!.. Вот кого вождем взять, так, люди?! — загалдели кругом.

Тетеря прислушивался к этим возрастающим крикам и кусал себе губы. «Вот и верь этой безумной толпе, этой своевольной, капризной, дурноголовой дытыне,—

проносилось в его возбужденном мозгу.— Кто за минуту был ей божком, тот свален под лаву, а другой уже сидит на покути в красном углу! Ей нужно или новых игрушек, как ребенку, или крепкой узды».

— Да будет вам,— отбивался между тем Богун от бесконечных объятий,— и ребра поломаете, и задушите. Хоть бы «михайлика» одного-другого поднесли оковитой, а то все насухо... Погреться бы след...

— Верно! После купанья теперь это самое впору! — поддержал своего друга Чарнота.

— И не догадались! — почесали иные затылки.

— Гей, шинкарь! — крикнул Кривонос.

— Тащи сюда всякие напитки и пои! — распорядился Сулима.

— Тащи, тяни! Я плачу! — завопил и Тетеря.

Через минуту Настя уже стояла с кувшином и кубком перед Богуном.

— Вот лыцарь так лыцарь! Сечевикам всем краса! Такому удальцу поднесть ковш за счастье!

— Спасибо, черноглазая! — подморгнул бровью Богун и, крикнувши: — Будьте здоровы! За всех! — осушил сразу поданный ему ковш.

— Будь здоров и ты! Во веки славен! — поклонились одни.

— Пей, на здоровье, еще! Да веди нас в поход! — крикнули другие.

— В поход! В поход! Будь нашим атаманом! — завопили все, махая руками и подбрасывая шапки вверх.

— Дякую, братья! Много чести! Есть постарше меня, попочетнее! — кланялся во все стороны ошеломленный нежданным предложением Богун.

Тетеря позеленел от злости и попробовал было поудержать задор пьяных голов.

— Верно говорит лыцарь, хоть и молод, и на штуки лишь хват, а умнее выходит вас, братья... За что же обижать наше заслуженное, опытное в боях и походах лыцарство?

Но толпа уже не слушала Тетерю; новоприбывший гость, очевидно, был ее любимцем и сразу затмил выбивавшегося на чело честолюбца.

— Что его слушать! Веди нас, Богуне! Веди в поход! — присоединилась к общему гвалту даже и Настя с дивчатами.

— Да стойте, братцы! Куда вести? Куда? — пробовал перекричать всех Богун.

— На море! В Синоп! На погулянье! На Ярему! Потешиться! Раздобыть молодецким способом себе что! — выделялись среди страшного шума то там, то сям выкрики.

— Нет, братцы! Стойте! Слушайте! — перебил всех зычно Богун.— Слушайте!

Гвалт стих. Передние ряды понадвинулись к Богуну с возбужденным вниманием, в задних рядах бродило еще галдение, но и оно мало-помалу начало униматься.

— Нет, братцы мои родные! — продолжал серьезным тоном Богун, и в голосе его задрожало глубокое чувство.— Не те времена настали! Не до потех нам, не до лыцарского удальства! Нас зовет теперь Украйна-ненька, поруганная, потоптанная врагами... К сынам своим протягивает руки в кандалах мать и с воплями кличет их к себе на помощь, на защиту!

Долетело во все концы обширного двора слово Богуна и обожгло всех, дрогнули от боли сердца, опустились на грудь головы... и упала сразу среди этой возбужденной, разудалой за минуту толпы грозная тишина.

— Что сталось с ней? — сурово спросил бандурист.

— Разве там своих сил нет, если что и случилось? — заметил Тетеря и, объяснив общее молчание нерешительностью, добавил, желая воспользоваться мгновением: — Каждый про свою шкуру должен печалиться, у каждого свои раны.

— Братья! — ударил себя в грудь кулаком Богун и двинулся на них вперед, сверкнув на Тетерю острым, презрительным взглядом.— Да есть ли такой человек на свете, чтоб отречься смог от своей матери? Жид, татарин, последний поганец чтит ее, потому что она вспоила, вскормила его своею грудью... Да что поганец — зверь лютый, и тот свою мать защищает, а мы будем лишь думать про собственные шкуры, материнское тело отдадим на поругание лиходеям, врагам? Ведь она и без того уже наймычкой — рабой у панов да ксендзов, а теперь уж ударил для нее смертный час: гонят ее вон из своей родной хаты, истязают, как быдло, жгут ее кровное добро.

— Не может быть! — заволновались одни.

— Неслыханное дело! — крикнули другие, сдвинувши брови.

— Изверги! Псы! Лиходеи! — поднялись с угрозой сжатые кулаки.

— На погибель им! Все встанем, как один! Грудью заслоним свою мать от зверья! — завопили все.

— А за нас-то самих кто заступится? — пробовал тщетно Тетеря отклонить направление умов товарыства, затронув чуткую струну эгоизма.— Нам за себя след.

— Да? За свою шкуру? За свои карманы? — неистово крикнул возмущенный Богун.— А стонущая Русь вам нипочем? А на кровных братьев плевать? Через кого полегли Тарас Трясило, Гуня, Павлюк? Через своих! Не захотели вы из-за корысти, не захотели все разом повстать и раздавить врага да снять с своей шеи ярмо, а пустили бойцов за веру, за волю, за общее благо одних расправляться с изуверами... ну, и положили витязи-удальцы за родимый край свои головы, пали в неравной борьбе.

— Богом клянусь, что то правда! Горькая, кровавая правда! — ударил Кривонос шапкой о землю.

— Ох, еще какая! — застонал бандурист.

— Что же? — возразил Сулима.— Стояли мы тогда за Речь Посполитую... за свою державу...

— Да, за свою родную державу...— подхватил было Тетеря.

— За род-ну-ю?! — закричал вдруг, наступая на Тетерю, Богун и обнажил саблю.— Да как у тебя язык повернулся на такое слово? Мало вам, что ли, тех коршунов, что терзают наш край? Доконать желаете родину? И когда же? Когда палач ведет ее на последнюю смертную пытку?

— Да что там за беда? Какое новое лихо? — загремел бандурист густым басом.

— Расскажи скорей, голубе! — подошел Кривонос.

— Расскажи, поведай! — окружила Богуна тесным кругом разъяренная, взволнованная толпа.

— Не я, друзи мои, товарищи кровные, поведаю о том, а вот кто вам оповестит о предсмертном часе Украйны,— указал энергичной рукой Богун на открытую браму.

Все обернулись лицом к ней.

На пороге стоял с сыном своим Тимком писарь Чигиринского полка Зиновий-Богдан Хмельницкий.

Три года не был на Запорожье Богдан и не виделся с большинством своих старых товарищей. В зрелом возрасте при могучем здоровье в такой сравнительно небольшой срок почти не изменяется внешний вид человека; но упавшее на Богдана горе да сердечные тревоги и муки осилили его мощную натуру и положили на нем резкие, неизгладимые черты своей победы. Никто почти не узнал сразу Богдана; даже Кривонос, видевший его год назад, и тот отшатнулся, не веря своим глазам. Перед товарыством стоял не прежний цветущий здоровьем атлет, а начавший уже разрушаться старик: черные волосы и усы у Богдана пестрели теперь изморозью, а в иных местах отливали даже совсем серебром; на высоком благородном лбу лежали теперь глубокими бороздами морщины; взгляд черных огненных глаз потемнел и ушел в мрачную глубь; стройная фигура осунулась, гордая осанка исчезла.

— Бью нашему славному товарыству челом до земли от себя и от умирающей матери Украйны,— произнес взволнованным голосом бежавший от смертной казни заслуженный козак,— она теперь, как раненая смертельно чайка, бьется, задыхаясь в собственной крови.

— Хмель, Хмель тут! Богдан наш! Батько наш славный! — раздались теперь радостные приветствия со всех сторон.

— Да будь я католицким псом, коли узнал тебя, друже мой любый! — заключил Кривонос Богдана в свои могучие объятия.— Покарбовало, видать, тебя лихо и присыпало снегом!

— Не то присыпало, а и пригнуло к земле! — подошел, раскрывши широко руки, Чарнота.

— Будь здоров, батько! Привет тебе щырый! — понеслись отовсюду уже радостные возгласы.

Богдан молчал и только жестами отвечал на дружеские приветствия. По покрасневшим глазам и по тяжелым вздохам, вырывавшимся из его мощной груди, можно было судить, что необычайное волнение и порывы возрастающих чувств захватывали ему дыхание и не давали возможности говорить.

— Какое же там нежданное лихо? — спросил наконец бандурист.

— Что случилось, брате? — подошел и Сулима.

— В Гетманщине... неладно... ужасы...— начал было Богдан да и оборвался на слове.

— Да что неладно? Какая беда? Где смерть? — посыпались в возбужденной толпе вопросы.

— Шановное лыцарство! Почтенные вольные козаки и славные запорожцы, позвольте речь держать! — оправившись, поднял наконец голос Богдан.

— Держи, держи, батько! Мы рады тебя слушать! — подхватили запорожцы под руки Богдана и поставили на шаплике (перерезанная пополам бочка дном вверх).

— Товарищи, и други, и братья! — начал после паузы уже более уверенным тоном Богдан.— Наше горе не молодое, а старое, началось оно с тех пор, как одружилась с Польшей наша прежняя благодетельница Литва. Завладела эта Польша всем государством, стала могучей, да нерассудливой и жестокой, а особенно с того времени, когда иезуиты оплели своими путами все можновладное панство и окатоличили Литву... Они засеяли злобу и подожгли наше братское согласие, наш тихий рай. Эх, да что и говорить! Разве вам, мои друзи, неизвестно это старое горе, что болячками нам село на сердце и струпом даже не заросло, из-за которого уже полстолетия льется наша кровь, озерами стоит на родных полях и удобряет для врагов-напастников землю?..

— Знаем, знаем,— отозвались некоторые голоса глухо в толпе, и снова воцарилось кругом мрачное молчание, только чубатые головы опустились пониже.

XLVII

— Да, старое горе давит нас,— продолжал взволнованным голосом Богдан, обращаясь к обступившей его толпе,— горе, придавившее к сырой земле наших жен и детей, разлившееся стоном-тугою по всей святой Руси... Только, братцы, горе это чем старее, тем лютее, тем больнее терзает. Уж какое поругание было нам на Масловом Ставу, кажись, последний час наступал и нашему бытию, и нашим мукам... а вот надвинулись времена, перед которыми Маслов Став покажется раем...

— Господи! За что же? — перервал вдруг Богдана

какой-то старческий голос, и среди гробового молчания почудилось даже сдавленное рыдание.

— Испытует нас бог,— вздохнул как-то хрипло со стоном Богдан; голос его то дрожал, то возвышался порывисто до высокого, захватывающего напряжения.— Но мы будем святому закону верны... быть может, этими египетскими карами всеблагий подвизает нас на защиту его святынь...[72] Да, после Маслова Става была хоть надежда на короля... Он обещал... он стоял за нас, и я вас ободрял этой надеждой не раз... Во имя ее, во имя возможного для моей родины блага я умолял вас, заклинал всем дорогим быть терпеливыми и ждать исполнения этих обещаний... Но, как видите, я в том ошибся, тешил и себя, и вас, как видно, дурныцею... в чем перед вами и каюсь, в чем и прошу у товарыства прощенья,— поклонился Богдан на три стороны.

— Что ж? Ты, батьку, без обману... сам верил! — послышались тихие голоса.

— Без обману... Клянусь всемогущим богом,— поднял правую руку Богдан,— верил и в короле не обманулся... но он оказался среди панов лишь куклой бесправной... Его волю, его распоряжения нарушал сейм, и с того часу начался по всей Украйне ад, закипело смолою пекло! Жен и дочерей наших потянули за косы на потеху панам и подпанкам, братьев и сыновей стали сажать на кол... или истязать всяческим образом...— захлебнулся Богдан и прижал руку к глазам; только после большой паузы, вздохнувши глубоко несколько раз, он мог продолжать.— Козаков почти всех раскассировали, повернули в панских рабов, имущество их ограбили, а имения отдали арендарям, да что имения — церкви святые отдали нечестивым, и они загоняют в них свиней, а их жены из риз шьют себе спидницы...

— Ой матинко! — всплеснула Настя руками, а дивчата зарыдали навзрыд.

— Да вы разве передохли там все? — брякнул тогда Кривонос саблей и поднял бледное, искаженное злобой лицо, устремив свирепый взгляд на Богдана.— Чего вы им в зубы смотрели, бей вас нечистая сила! Или страх вас огорошил, как баб, или пощербились ваши кривули?

— Не пощербились наши кривули,— поднял голос Богдан,— но бедный народ помнит погромы и ждет общего клича... Что в одиночку он сделает против оружной

силы? А то и надеялся еще он на правосудие... Козаки... попы ездили жаловаться королю, сейму... Да вот я сам, значный козак, а ограблен и разорен Чаплинским. Он все у меня сжег, земли и хутора наездом заграбил... жену разбойнически увез для позору, а сына малого, надежду мою... растерзали на смерть канчуками... Создатель мой...— сжал Богдан руки,— что я вытерпел! — он поднял вверх глаза, чтобы не уронить перед товарыством слезы, но непослушная упала с ресницы, покатилась по смуглой щеке и повисла на серебристом усе. Богдан задрожал и побагровел даже от усилия, но перемог-таки вопль души.— Я бросился к старосте,— продолжал он, оправившись,— в земские суды искать поруганному праву защиты... Но власти признавали меня, как козака, бесправным, а его, аспида, как шляхтича, полноправным во всех насилиях и разбоях... Тогда я вызвал Чаплинского на суд чести, а он, иуда, устроил мне засаду. Ну, я и порешил просто убить моего заклятого врага, но внутренний голос подбил меня еще в последний раз попытать правду наших высших судов, и я вместе с уполномоченными от козачества и от митрополита Петра Могилы повез свои обиды в Варшаву.

— И что же? — не дал даже передохнуть Богдану дрожавший от гнева Кривонос.

— А то,— вытер Богдан рукавом пот, выступивший холодною росой на челе,— что по дороге я увидел везде по нашей родной земле столько горя, что перед ним побледнело мое, и я поклялся... поклялся в душе — не за себя, а за народ мстить...

— Святая клятва! — кивнул головой бандурист.

— Ну, а в Варшаве же что? Как сейм и король? — допытывался Кривонос, сжавши свои густые, косматые брови.

— Да что... сейм отринул все просьбы и жалобы козаков, отринул ходатайство нашего митрополита за веру, за церкви... а надо мной,— горько усмехнулся Богдан,— насмеялся, наглумился...

— А король? — воскликнул Чарнота.

— Король, оскорбленный, вышел со слезами из сейма. Он мне сказал: «Я вам дал права, привилеи, они у Барабаша... Отчего же вы их не защищаете?»

— А где же эти права? Где эти привилеи? Мы о них слышали, а не знаем, где они и что в них? — оживились

слушатели и зашумели, загудели, как всполошенные в улье пчелы.

— Права эти спрятал Барабаш меж плахтами у жены и хотел было скрыть их от народа, этот перевертень, изменник, но я их добыл,— штучным способом, а добыл... вот они! — вынул Богдан из-за пазухи свернутый пергамент с висящей печатью и потряс им над головой,— вот здесь, на этом папере, утверждены королем наши права на веру, на землю, на вольный строй.

— Вот это дело! — ударил рукой бандурист по бандуре, и она весело зазвенела.

— Молодец батька! Хвала! Слава ему! — вспыхнули оживленные крики.

— Ну, так и добре,— отозвался наконец молчавший все время Тетеря. Он с появлением Богдана понял, что его дело проиграно вконец, и не пробовал уже больше бороться против течения, а утешал лишь себя тем, что новые обстоятельства, быть может, откроют для него и новую лазейку.

— Эх, брате! — вздохнул Богдан.— Добре, да добро это только лишь на бумаге... Затем-то мне и прибавил наияснейший круль: «Бессилен-де я, как видишь сам, поддержать, укрепить свои наказы, а вы же сами воины и можете постоять за свои права; вам их топчут насилием, гвалтом, так и вы защищайтесь таким же способом, ведь есть же у вас рушницы и сабли».

— О, правда! — вспыхнул Богун.— Маем рушницы и сабли и клянусь господом богом, что дадим мы чертовскую им работу! Гей, козаки, товарищи, друзи,— крикнул он звонким голосом,— бросим под ноги все домашние расчеты и споры и ударим все дружно на лютого ворога, да ударим так, чтоб сам сатана задрожал в пекле!

— Так! Ударим все, как один! — загремела толпа, и оживленные лица вспыхнули у всех решимостью, а глаза засверкали отвагой.

— Я знал, что низовцы сразу протянут на доброе, святое, общее дело свою могучую руку,— выпрямился и словно вырос Богдан; голос его окреп и звучал теперь властно.— Я везде разослал вестунов, чтоб оповестили мученику-народу, что слушный час, час освобождения от египетского ига, настал, народ только и ждет этого клича... Ему один конец... Стон ведь и ужас стоят везде от ляшского ярма!

— В поход сейчас! — обнажил саблю Богун.

— В поход! Всем рушать! Веди нас! — заволновались все, забряцали оружием.

— Без помощи? — возразил Богдан.

— Ударим и разнесем! — поднял кулак Чарнота.

— И Москва, единоверная соседка, под боком,— вставил Бабий.

— Московское царство с Польшей мир заключило [73],— заметил Богдан,— и вряд ли его нарушит; а Крым на Польшу зол: она ему вот третий год дани не платит, так он за свое да с нами еще так ударит на ляхов, что любо... ведь татаре нас только и боятся... мы оберегаем добро нашего ворога, а коли мы их попросим на помощь... так они — «гаш-галды»... Там у меня есть и приятели, и побратым даже — перекопский паша Тугай-бей [74].

— Неладно только что-то...— почесали старики поседевшие уже чуприны.— Словно неловко: защищать идем веру с неверою.

— Не грех ли? — уставился глазами в землю бандурист и покачал задумчиво головой.

— И грех таки, и стыд подружить с бусурманом,— поднял горячо голос Тетеря, обрадовавшись, что поймался Богдан на плохом предложении.— Ведь его только впусти в родную землю, так он опоганит и церкви... и с нас сорвет польский гарач *.

— Что ты плетешь? — крикнул Богун на Тетерю.— Татарин хоть и нехрист, а слово держит почище католиков и поможет скрутить нам заклятого врага... Тут каждый лишний кулак за спасибо, а он что-то крутит да вертит хвостом.

— Да и церквей наших он не тронет,— вставил Кривонос.—А христиане твои их отдают арендарям на хлевы.

— Орудуй, орудуй нами, Богдан! — завопили все.

— Сегодня, братья мои любые, думаю в Сечь,— просветлел и ободрился Богдан,— а завтра и в Крым; там оборудую всем я справу, а тогда с богом...

— Слава! Слава Богдану! — замахали шапками козаки.

— А мы тем временем запасемся оружием и припасами,— заметил отрезвившийся сразу Сулима.

---

* **Гарач** — данина.

— Вот вам ключи! — выступила вперед вдруг Настя, разгоревшаяся, что мак, с сверкающими агатом глазами.— За веру, за волю все нажитое добро отдаю... Берите его, славное лыцарство, на поживок!

— Вот так Настя! Сестра козачья! Орлица! — загалдели кругом восторженные голоса, а Сулима с Чарнотой бросились ее обнимать.

— Мы тоже все, что есть у нас, отдаем на святое дело,— начали сбрасывать с себя и серьги, и кораллы дивчата.

— Ну, и шути с дивчатами! — загорелся Богун.— Да коли у нас такие завзятые сестры, так я готов и с голыми кулаками ударить на врага, ей-богу! Только скорей бы: чешутся руки!

— Орел! — обнял его растроганный Кривонос.— Вот и я таки дожил до пиру,— уж и напьюсь, уж и погуляю, и посчитаюсь кое с кем!

Начали обниматься козаки и с запорожцами, и с голотой, но это уже были не пьяные, дешевые объятия, а это было братанье на жизнь и на смерть, это было забвение и прощение всех взаимных обид и слитие душ во единый великий дух, окрылявшийся на спасение родины, на защиту веры, на бессмертную славу.

— Сроднимся все! Сольемся в одну реку и потопим врагов! — раздавались то там, то сям возгласы и разразились наконец общим единодушным криком: — К оружию, братья! До зброи! Веди нас, батько Богдане, всех на врагов. Ты наш атаман и вождь!

— Не сгинет Русь с таким батьком! — махал торбаном * Бабий.

— Нет ни у нас, ни на целом свете лучшего вождя, как наш Хмель! — надрывался Чарнота.

— Атаман! Атаман! — зашумели кругом разгоряченные головы, и поднялись шапки вверх.

— Что атаманом? — гаркнул Богун. — Гетманом пусть будет Богдан, гетманом и Запорожья, и всей Украйны.

— Да, звезды гаснут при солнце,— воскликнул вдруг и Тетеря, бросивши свою шапку под ноги Богдану,— кланяюсь нашему славному гетману, нашему атаману и вождю.

* Торбан — музичний струнний інструмент.

За шапкою Тетери полетели к ногам Богдана и шапки, и шлемы, и шлыки.

Смущенный стоял Богдан и молча кланялся во все стороны: неиспытанное волнение зажгло ему краской лицо; великое дело, вручаемое ему, подняло высоко его голову, необъятное чувство и страха за ответственность, и радости за доверие к нему, и воодушевления за благо народа наполнило грудь его священным трепетом и затруднило дыхание.

— Спасибо вам, товарищи, други верные, спасибо за честь и за славу,— наконец овладел он своим голосом,— но она чересчур велика, не по мне, есть постарше и подостойнее.

— Не ко времени теперь церемонии, друже,— протянул Богдану руку растроганный Кривонос,— сам знаешь, что ты только один можешь стать во главе такого великого дела, грех и позор даже подумать отказаться.

— Просим! Кланяемся! Богдану-гетману слава!

Не выдержал Богдан такого напряжения, охвативших его пламенем чувств, и заплакал; на его вдохновленном отвагой и надеждой лице играла радостная улыбка, глаза сверкали гордым счастьем, а между тем из них неудержимо срывалась слеза за слезой.

— Не отчаивался я, дети мои, братья...— распростирал он всем руки,— вся жизнь моя... вся душа... все думки за вас и за мою несчастную отчизну... только рано еще про гетманство думать, дайте срок... отшибем сначала врага... а потом уже всею землей... всем миром помыслим... Теперь же вождем вашим быть согласен и кланяюсь всем за эту великую честь низко...

— Богдану Хмелю, атаману нашему слава! — заревели все, окружив волновавшеюся стеной батька.

— О, задрожит теперь панская кривда в хоромах! — выхватил из ножен свою саблю Богун.

— Мы их, клятых, окрестим в их власной крови! — гаркнул Кривонос.

— На погибель им, кровопийцам! Смерть врагам! — засверкали в воздухе клинки сабель.

— Да, погибель всем напастникам и утеснителям нашим! — возвысил грозно голос Богдан.— Я чувствую, что в груди моей растет и крепнет богом данная сила.

Да, я подниму бунчук * за край мой родной, я кликну к ограбленным, униженным детям клич, и все живое повстанет за мной, поднимется, как роковой вал в бурю на море, и потопит в своем стремлении всех наших врагов. К оружию же, друзья мои! На жизнь и на смерть! — взмахнул энергично своею саблей и новый атаман.

— За веру, за край родной! — загремело громом кругом, и сотни рук протянулись к шаплику, подняли его с своим новым батьком-атаманом на плечи и понесли к лодкам, стоявшим у берега Днепра наготове.

XLVIII

Ровная, благодатная весна разлилась сразу во всей Украйне. Зацвели дикими цветами безбрежные степи. Зеленою, убегающею цепью раскинулись стародавние могилы. Закипела в степи новая, молодая жизнь. Раздались в высоком небе звонкие песни и крики невидимых для глаза птиц. Потянулись едва приметными треугольниками дикие гуси и журавли. В высокой траве деятельно захлопотали куропатки и перепела. Воздух стал полон живительного, опьяняющего благоухания свежих трав и диких цветов.

Стоял ясный и теплый весенний день. Медленно плыли по высокому небу легкие, белые облака. Веял теплый ветер и перебегал мелкими волнами по зеленому морю степи. По узкой дороге, вьющейся среди изумрудных, усеянных цветами равнин, подвигался неторопливою рысцой отряд польских гусар. Впереди отряда ехали три всадника; старший из них, сидевший на добром, широкогрудом коне, принадлежал, по одежде, к числу коронных гусар. Немолодое лицо его, с мохнатыми седыми бровями и такими же длинными усами, выглядывавшее из-под грозного гусарского шлема, казалось сразу суровым; но кто встречался со светлым взглядом его добрых голубых глаз, сразу же убеждался в его бесконечном добродушии. Собеседник старого гусара имел чрезвычайно благородное и разумное лицо; возраст его трудно

* Бунчук — довге держальце з металевим яблуком на кінці, з-під якого звішувався кінський хвіст; символ військової влади, уживаний гетьманом, запорозькими отаманами. Підняти бунчук — тут означає підняти повстання.

было определить: он был не слишком стар и не слишком молод, не слишком красив и не слишком дурен, словом, человек средних лет. Его спокойная, уверенная речь и такие же движения обличали человека, имевшего частые сношения с высокими особами. На нем была простая военная одежда; но великолепный конь всадника свидетельствовал без слов о том, что владелец его мог бы без труда нарядиться в самые роскошные ткани, если бы имел хоть какое-нибудь пристрастие к щегольству. Третий всадник принадлежал по всему своему внешнему виду к числу тех средних удобных людей, которых всегда имеют при себе значительные особы для придания своему появлению большего торжества.

— Но, пане ротмистр,— говорил средний всадник, обращаясь к седому гусару,— я, право, не понимаю, что побудило коронного гетмана принимать такие предосторожности? Я, конечно, весьма благодарен ему за то, что он доставил мне возможность иметь такого интересного и любезного спутника, но целая сотня гусар! На бога! Можно подумать, что нас конвоируют через неприятельский лагерь, тогда как население кругом совершенно спокойно, слишком даже спокойно, хочу я сказать.

— С последними словами пана полковника я могу согласиться вполне,— ответил ротмистр,— слишком спокойно, да, слишком спокойно для этого края, повторяю и я, и в этом заключается главная опасность. Я, собственно, сам не здешний,— родина моя великая Литва,— но вот уже больше как четыре года стою я здесь на кресах (на границе) и успел присмотреться к здешнему населению. Что ни говори, а они славные, храбрые люди. Пусть меня и считают все старым чудаком, но язык мой всегда говорит то, что чувствует сердце, а потому повторяю: если они и бунтуют, то, правду сказать, есть за что. Больно уж их утесняют паны. А ведь каждому, пане полковнику, хочется жить!

— Вполне разделяю ваши честные мысли,— произнес горячо собеседник,— король также придерживается их, и его крепко огорчают те грозные и жестокие меры, которые поднимает против козаков коронный гетман.

— Да, все это лишнее, лишнее,— покачал головой ротмистр.— Хотя, пожалуй, нельзя без строгости и обойтись. Впрочем, я думаю, все эти меры теперь уже не приведут ни к чему. Судя по спокойному, затаенному на-

строению всех жителей, я думаю — поздно уже! Замечал ли когда-нибудь пан полковник, как перед страшною бурей все замирает кругом? Так точно и здесь. Народ этот слишком силен и отважен, чтобы молчать из робости, из страха; если уж он притих, то, значит, замышляет какую-нибудь ужасную месть.

Казалось, последние слова ротмистра произвели самое благоприятное впечатление на полковника; лицо его оживилось, а глаза с интересом устремились на своего собеседника.

— Пан ротмистр знает что-нибудь определенное?

— Нет, кроме того, что известно теперь всякому, я ничего не знаю. Мое убеждение основано на сделанных мною наблюдениях. Да вот, кстати, мы приехали к деревне,— указал он на вынырнувший вдруг среди двух балок веселый хуторок, потонувший в садах, усыпанных теперь белым как молоко цветом.— Прошу пана полковника обратить внимание на все окружающее, и тогда сам пан убедится в правоте моих слов.

Обогнав свой отряд, спутники спустились с небольшого пригорка и съехали в деревеньку. На большой улице не было никого, словно все вымерло; даже собаки, так надоедающие всегда проезжающим, подевались на этот раз неизвестно куда; впрочем, издали доносился гул многих голосов.

— Смотрите,— шепнул ротмистр полковнику, направляя своего коня в сторону доносившегося шума.—А ведь это рабочий день.

Проскакав небольшую часть улицы, всадники повернули за угол, и глазам их представилось прелюбопытное зрелище. Толпа из двадцати-тридцати душ крестьян окружала отвратительного нищего. У нищего не было правой руки и левой ноги; один глаз был выколот, и вместо него зияла на лице какая-то страшная красная впадина; синие рубцы покрывали шелудивую голову; подле калеки валялись на земле костыли, а рядом с ним сидел небольшой белоголовый мальчик, очевидно, его поводырь. Изувеченный о чем-то горячо говорил крестьянам, размахивая единственною уцелевшею рукой; вспыхивающие то там, то сям грозные восклицания показывали, что речь его производила впечатление на окружающих.

— Высыпался,— говорю вам,— хмель из мешка! —

явственно донесся до всадника резкий голос нищего. Но больше им не удалось ничего услышать: появление всадников произвело какое-то магическое действие: в одно мгновенье не стало поселян; перескочив через плетни и перелазы, они словно провалились неизвестно куда. На месте остались только нищий, да мальчик, да какой-то смуглый поселянин, и старый дед.

Пан ротмистр и полковник подъехали к оставшейся группе.

— Отчего вы так разбежались все? — спросил приветливо полковник.— Мы вам, люди добрые, не думали делать зла.

Смуглый поселянин взглянул на него исподлобья и ответил коротко:

— Мы никуда не бежали.

— Ты остроумен, мой друг,—улыбнулся полковник на ответ крестьянина, глядевшего на него угрюмым, мрачным взглядом. — Я спрашиваю, где делись остальные?

— А кто их знает! — ответил опять также сурово крестьянин.

Полковник перевел свой взгляд на деда, думая получить от него какое-нибудь разъяснение этому непонятному бегству, но тот так отчаянно замотал головой, показывая на свои уши, что полковник понял сразу, что здесь уж он не вынудит никакого ответа.

— Странно мне только одно,— улыбнулся он умною и тонкою улыбкой,— коли ты так глух, старина, то к чему же тревожил ты свои старые кости?

— Старец божий,— вмешался поспешно в разговор нищий,— он у нас уже как малое дитя: хоть ничего и не слышит, а где народ, там и он, там ему веселее.

— А, вот оно что! Однако скажи, приятель, кто это тебя так искрошил всего? — невольно содрогнулся полковник, рассматривая ужасный обрубок человека, полулежавший перед ним на земле.

— Пан коронный гетман,— улыбнулся ужасающею улыбкой нищий,— это он нам памятку дал, чтобы мы ходили по свету да об его грозной силе людям свидетельствовали.

— Бессмысленная, отвратительная жестокость! — произнес про себя полковник и обратился снова к калеке.— Так не можешь ли хоть ты сказать мне, почему это

все разбежались, как овцы, при нашем появлении? Ведь у нас, кажись, нет волчьих клыков?

— День рабочий, у всякого своя работа, да тут еще и пан коронный гетман строго запретил всем собираться в кучи. Вот бедный люд, может, и подумал, что вы, не во гнев будь вашей милости, тоже из войска коронного гетмана, так и рассыпались, кто куда... всякому ведь своя шкура, хоть и плетьми латаная, дорого приходится... На что уж моя, без рукава и без колоши (половина брюк), а и то берегу. Оно, конечно, ослушиваться воли гетмана грех, да ведь кто не грешен? — юлил хитрый нищий.— Сидят они здесь в хуторе, словно в медвежьей норе, ничего не видят и не слышат, а человек божий, хоть и на одной ноге, а и там, и сям побывает, всяких разностей наслушается, а потом их людям и рассказывает. За что купил, за то и продает, а может, еще и милостыньку получит, потому что бедным людям занятно послушать его россказни...

— А о каком это хмеле, что высыпался из мешка, говорил ты? — перебил полковник хитрого нищего.

Как ни был тот изворотлив, но при этом вопросе единственный глаз его учащенно забегал по сторонам.

— Гм... это я про того, как его,— почесал он в затылке,— и не вспомнишь бесового сына! Вот с тех пор, как ударил пан эконом цепом по голове, всю память отшибло... Да, правду сказать, и смолоду доброй не было. Мать часто говорила: «Эй Хомо, Хомо, не хватает у тебя в голове одной клепки...» — частил нищий, придумывая, очевидно, ловкий изворот.— Так вот я ей, покойнице... Да вы это про того мужика, у которого хмель из мешка высыпался?.. Гм... глупый был мужик...— усмехнулся нищий.— Только что там вельможному пану мои побрехеньки слушать? Мелю им, что вздумается, да и сам не знаю, где начало, а где конец. Так вот...

— Пан полковник напрасно тратит время: здесь мы не добьемся ничего,— шепнул на ухо полковнику ротмистр,— да вот и наш отряд; советовал бы лучше продолжать путь.

— Пан ротмистр прав,— ответил задумчиво полковник и, тронувши коня шпорами, двинулся вперед.

— Милостыньку, милостыньку, пан ласкавый, пане добрый! — закричал нараспев нищий, протягивая свою руку.

Полковник обернулся и, бросив ему крупную серебряную монету, крикнул ласково: «За то, что ловко языком мелешь!»

Нищий повертел перед глазом монету и, злобно посмотревши вслед отъехавших панов, проворчал глухо:

— Ну, ну... не подденешь, знаем мы вас! Да что там? С паршивого козла хоть шерсти клок!!

— Пан полковник спрашивал, о каком это хмеле говорил нищий? — обратился к полковнику ротмистр, когда они выехали из деревни.

— Да, мне кажется, что в этих словах заключался какой-то особенный смысл.

— Совершенно верно. Хмелем они называют попросту Хмельницкого, писаря рейстрового войска, из-за которого, собственно, и заварилась вся эта каша. А то, что он говорит, будто хмель высыпался из мешка, пожалуй, может значить, что он уже выступил из Запорожья[75].

— Как, разве гетманы не имеют об этом точных известий? — быстро повернулся в седле полковник.

— Откуда? Здешнее населенис не выдаст его ни под какими пытками. Жолнеры наши боятся углубляться в степи... несколько отрядов было послано, но они до сих пор не вернулись...

— Но ведь это изумительное легкомыслие! — вскрикнул невольно полковник.— Следовательно, никто даже не знает ни сил Хмельницкого, ни его намерений?

— К нему относятся слишком легко... Правда, он отчасти запутывает всех своими письмами... Надо сказать пану полковнику, что это голова, каких мало.

— О да!.. Я знал его!.. Впрочем, я думаю, что все это может еще окончиться миром,— заключил полковник.— Хмельницкий — человек разумный, а с умным человеком сладить не трудно. Во всяком случае худой мир, как говорят старые люди, лучше доброй ссоры.

Ротмистр внимательно посмотрел на своего собеседника; казалось, он хотел прочесть на лице его, действительно ли тот верит в возможность какого бы то ни было мира при подобном положении дел или он только хочет замять щекотливый для его поручения разговор? Но полковник молчал, сосредоточенно рассматривая поводья своего коня. Замолчал и ротмистр. Молча поехали спутники крупною рысью.

Чем ближе подвигались они к Черкассам, тем насе-

леннее становилась местность; хутора и деревни попадались все чаще, но всюду крестьяне встречали и провожали отряд мрачными, затаенными взглядами. Направо и налево от дороги тянулись поля; однако большинство из них, несмотря на довольно позднее уже время, лежали невозделанными, покрытыми густою травой. Только изредка встречались дружные всходы ржи и овса. Это обстоятельство не ускользнуло от внимательного взгляда полковника.

— Странно,— произнес он,— как много здесь еще незасеянных полей! Мне кажется, они уже пропустили время.

— Они о нем и не думали,— ответил ротмистр.— Поля брошены, да, брошены,— повторил он, встречая недоумевающий взгляд полковника,— и на это следовало бы обратить внимание. А ведь были они нужны прежде. Где же их хозяева? Нет их. Народ толпами покидает этот край, и это, говорю я пану полковнику, неспроста!

— Все это грустно, так грустно,— покачал головой полковник,— что, боюсь, моя миссия окажется совершенно бесплодной, и я привезу королю только кровавую весть.

Опять наступило молчание.

Полковник ехал, склонив голову на грудь; казалось, какие-то тревожные думы охватили его. Ротмистр не решался беспокоить королевского посла и молча ехал рядом с ним. Лошади свернули с дороги и пошли узенькою тропинкой, вьющеюся среди высокой травы. Они шли вольным шагом, поматывая длинными гривами; удары их копыт терялись в густой зелени, и только рассекаемая грудью пожелтевшая прошлогодняя трава, подкрашенная снизу яркою, молодою зеленью, производила слабый шум. Но ветер относил в сторону и этот слабый шелест. Убаюканные мерным ходом лошадей, всадники плавно покачивались в седлах. Проехавши так верст пять и не встретивши ни одной живой души, путники заметили наконец вдалеке высокую фигуру с переброшенными через плечо мешком и бандурой. Бандурист шел большими, твердыми шагами, размахивая огромною суковатою палкой; рядом с ним шел также рослый крестьянин с отточенною косой в руках. Ветер, веявший с той стороны, донес к путникам несколько отрывочных, но странных фраз.

— А чего смотреть на лемеши и косы? — донесся дикий бас бандуриста.— Все равно вам больше земли не орать.

Ответ крестьянина, произнесенный тише, не долетел до путников.

— А хоть в Волчий Байрак, там уже собралась ватага,— раздался снова зычный голос бандуриста.

Опять наступила большая пауза; очевидно, крестьянин предлагал какие-то вопросы. Затем заговорил бандурист; но на этот раз он говорил невнятно и только под конец своей речи сильно взмахнул палкой и вскрикнул энергично:

— Наварим с хмелем такого пива, что будет пьянее литовских медов!

Не обменявшись ни словом, всадники пришпорили своих лошадей. Приближение их было сейчас же замечено; крестьянин оглянулся и, увидев вблизи двух всадников, а вдалеке отряд гусар, шепнул что-то бандуристу, на что тот только кивнул удало головой.

Вскоре всадники поравнялись с ними. Крестьянин обнажил голову, и подтолкнувши бандуриста, которого, несмотря на его слепые глаза, скорее можно было принять, благодаря гигантскому росту и косматой рыжей гриве, за отчаянного разбойника, произнес: «Кланяйся, дядя, кланяйся: вельможные паны!»

— Бог в помочь, люди добрые! — проговорил дед своим густым басом.

— А куда, старче божий, путь держишь? — бросил полковник серебряную монету.

— Да так, куда люди ведут! Спасибо твоей милости, ясновельможный пане, дай бог сто лет прожить в счастьи и здоровьи,— заговорил нараспев бандурист, пряча монету.

— Ну, при нынешних порядках, дай господи и два года спокойно протянуть, — усмехнулся полковник.— А вот ты, старче божий, по всем светам ходишь, не слыхал ли чего о Хмельницком? Говори все по чистой правде: мы ни тебе, ни ему не желаем худа, я его давний приятель.

Бандурист покачал печально головой.

— Ой пане, пане, прости меня, слепого дурня, что осмеливаюсь так разговаривать с тобой, а только жаль мне тебя, если, прости на слове, ты с таким разбойни-

ком, изменником, песьим сыном приязнь ведешь. Одурит он тебя, вражий сын, как и всех дурит, чтоб ему первою галушкой подавиться! Пан вельможный спрашивает, что я слышал о нем? Что ж я мог слышать? Слышу, что кругом проклинают его люди, а какой он из себя, не вижу, не дал бог, да и благодарение ему; не вижу теперь, по крайности, этого антихриста, которого господь наслал на нас в наказание за наши грехи!

— Не много ли ты валишь на него? — спросил насмешливо полковник.

— Что я могу, старый дурень, знать? А вот доживем, вспомянет мои слова вельможный пан и скажет тогда, что я еще мало говорил.

— Ну, добро, добро, старина! — улыбнулся полковник и, тронувши коня, проскакал вперед.

XLIX

— Пан видит,— обратился к Радзиевскому ротмистр, когда они отъехали настолько, что слова их не могли уже быть слышны пешеходам,— когда дело касается Хмельницкого, они становятся глухи и немы как стены; в них можно толкаться сколько угодно и не услышать никакого звука... Вот много ли проехали мы, а этот нищий, этот бандурист... и ведь их не два, не три, ими буквально кишит теперь вся Украйна! Да, весь этот край составляет одно сплошное тело, соединенное какими-то невидимыми, цепкими нитями. Поверит ли пан полковник? Они все знают. Известия распространяются у них с небывалою быстротой. Они знают не только все то, что делается в козацком лагере, но и все то, что предпринимается у нас.

Полковник слушал своего собеседника с живейшим интересом.

— Вот пан полковник удивлялся предосторожностям гетмана,— продолжал ротмистр,— а как предполагает пан, что бы вышло, если б он один на один или даже с несколькими слугами встретился в поле с этим бандуристом?.. О, у меня хоть и старые глаза, да зоркие! Покуда пан полковник говорил с ним, я рассмотрел его

руки: таких сильных рук не бывает у слепых неработающих людей. А голос? Заметил ли пан полковник, как твердо и громко звучал его голос?

— Пан ротмистр тысячу раз прав,— перебил его бодро полковник,— с каждым шагом я убеждаюсь в этом и сам. Но как думает пан ротмистр, в случае чего, боже упаси, если действительно начнется братоубийственная война, могут ли надеяться гетманы на победу?

Ротмистр помолчал; казалось, он взвешивал все обстоятельства, оттопырив свои седые усы.

— Да не подумает пан полковник,— произнес он наконец,— что мною руководит трусость,— в своей Литве я не раз сам на сам на медведя выходил,— но я люблю справедливость. На нашей стороне, конечно, артиллерия и организованные войска, но они изнеженны и плохо дисциплинированны, а козаки не боятся никаких лишений... Конечно, кто знает... Беллона [76] прихотлива... Но одно только из всего верно, что они храбрые и славные ребята и что с ними, при разумном полководце, можно далеко пойти.

Лицо полковника как-то просветлело.

— Спокойная справедливость пана и доказывает его силу,— произнес он с теплым чувством,— хвастливость идет об руку с трусостью!

Между тем отставший отряд догнал всадников.

— Теперь, если только это не утомительно,— обратился ротмистр к полковнику,— я попросил бы прибавить шагу; мы передохнем в Малой Знахаровке, а там уже и до Черкасс небольшой перегон.

Спутники пришпорили лошадей, и отряд понесся крупною рысью. Кругом расстилалось все то же зеленое море, под высоким куполом неба веял свежий, легкий ветерок, подымая гривы лошадей, освежая лица всадников. Почти из-под копыт лошадей взлетали жаворонки ракетами вверх, заливаясь веселыми трелями, или вырывались стаи чаек и с жалобными криками кружились над их головами. Все дышало жизнью и молодостью, и, в довершение всего, солнце обливало всю эту распростершуюся над ним гладь целыми потоками теплых лучей.

Но, несмотря на это, лица передних всадников были сосредоточенны и серьезны; казалось, каждый был занят всецело своими думами. Вся остальная часть пути прошла молчаливо. Ни одно постороннее явление не отвле-

кало больше их внимания, кругом тянулось все то же волнующееся зеленое море.

Так прошло часа полтора; солнце, перейдя зенит, начинало порядочно пригревать; лошади покрылись пеной...

— А вот и Малая Знахаровка,— указал ротмистр вдаль, где по склону реки сбегали к речонке садики и хаты,— это большое село; тут можно будет раздобыть корму и нам, и лошадям.

Уже подъезжая к селу, всадники послышали издали какой-то шум, крик и ржание лошадей. Когда же они въехали в деревню, то глазам их представилась следующая картина: у плетней хат стояли привязанные, оседланные лошади; двери и окна хат были распахнуты настежь, коронные жолнеры то и дело выбрасывали и вытаскивали из них всевозможную рухлядь, крестьянские пожитки, и бросали все это здесь же среди улицы, где уже лежали целые груды испорченной и изломанной крестьянской утвари. Молодой гусар с наглым лицом, вздернутыми усиками и нагайкой в руке кричал визгливым голосом, обращаясь к группе крестьян, которых держали за связанные руки жолнеры. Нагайка то и дело свистела в его руке.

— Пся крев, быдло, хлоп! — кричал он на пожилого селянина, стоявшего перед ним без шапки впереди всех.— Говори, песий сын, где спрятали оружие?

— Нет у нас никакого оружия, кроме кос и ножей,— отвечал коротко селянин, глядя спокойно в прыгавшие от бешенства глазенки шляхтича.

— Лжешь, пес! Показывай, где спрятал? — крикнул тот и замахнулся нагайкой. Нагайка свистнула в воздухе и упала на лицо поселянина... синий, кровяной подтек перекосил его от брови до подбородка... Крестьянин не крикнул; он только покачнулся и ухватился рукою за глаз.— Это теперь, быть может, развяжет тебе язык, собака? Говори, не то всех перепорю!

— Ищите,— ответил сдержанно селянин.

— Хам, ты смеешь так разговаривать со мной? — взвизгнул не своим голосом шляхтич; снова раздался в воздухе резкий свист, и нагайка впилась с размаха в лицо поселянина, кровь выступила на нем широкой багровой полосой.—Погодите, я вас всех научу говорить!— кричал он, подпрыгивая в седле.— Собаки подлые, будете вы знать меня! — Нагайка то и дело свистела в его

руке и опускалась со звонким лязгом на лица, на шеи, на спины поселян.— Несите сейчас оружие, или я вас всех перевешаю!

Окровавленное лицо поселянина не вздрогнуло, только глаза его взглянули на шляхтича зловеще и мрачно.

— Вешай хоть всех,— произнес он глухо,— а коли нет, так неоткуда и взять!

— Так вот вы как! — закричал бешено шляхтич.— Стойте ж, я вам устрою расправу! Жолнеры, веревок и кольев сюда!

— На бога, что они делают! — вскрикнул в это время полковник, пришпоривая со всех сил свою лошадь и бросаясь вперед. Ротмистр последовал за ним.

Молодой шляхтич заметил их приближение и подъехал к ним навстречу.

— А, пан ротмистр! — приветствовал он старика насмешливою улыбкой.

— Пан-товарищ,— произнес ротмистр внушительно, указывая на своего спутника,— полковник Радзиевский, посол его королевской милости.

Молодой шляхтич подобострастно поклонился; лицо его приняло сразу самое льстивое и заискивающее выражение.

— Считаю за величайшую честь для себя,— прижал он руку к груди.— Мне довелось так много слышать о пане... Быть может, пану что нужно... Мои люди, я сам к услугам.

Но полковник, казалось, не был расположен слушать комплименты этого розового юнца с наглым и злым лицом.

— На бога! Скажите, что это у вас здесь — бунт, мятеж? — перебил он его.

— О нет,— улыбнулся презрительно юноша,— этого мы не допустим! Коронный гетман велел отнять у них все оружие.

— Но пан кричал так, что я, право, подумал, будто он уже поймал каких-нибудь разбойников. Наконец эти удары, плети, веревки, колья! — говорил Радзиевский, не стараясь скрывать неудовольствия и отвращения, звучавших в его голосе.— К чему разорять их жалкие жилища и эту нищенскую утварь?

Молодой шляхтич весь вспыхнул от злости, но проговорил, принужденно улыбаясь:

— Ха-ха! Сейчас видно, что пан новичок в нашей местности, иначе бы это его так не удивляло. Разве можно с этой подлой рванью иначе говорить? Им не развяжешь до тех пор языка, пока не изломаешь на их хамских телах пучков десяти розог или плетей! Иной раз и веревку на шею накинешь, а он все молчит! Женщин — тех скорее можно заставить говорить: народ болтливый, особенно когда погрозишь им утопить их щенков!

Шляхтич говорил это с таким наглым спокойствием и самоуверенностью, что действительно можно было убедиться в том, что подобные явления представляются для него самыми заурядными происшествиями.

— Быдло, и больше ничего! Да к чему за примерами далеко ходить? Вот прошу покорно пана полковника взглянуть на эти универсалы,— указал он Радзиевскому на деревянные столбы, к которым были прибиты огромные, исписанные крупными буквами листы.

Радзиевский бросил на них беглый взгляд; они заключали в себе запрещение поселянам уходить на Низ[77]. Запрещение было изложено резким и грозным языком. «А если кто из вас посмеет ослушаться нашей воли,— кончалось оно,— то ответит нам за эту измену жизнью своей жены и детей».

— Что ж,— продолжал юноша,— написано, кажись, не нежно, подписано гетманскою рукой, а ведь известно из них самому малому ребенку, что пан гетман на ветер слов не кидает. И что же думает пан полковник, пугает их этот наказ? — шляхтич пожал презрительно плечами.— Ничуть! Их режут, вешают, сажают на кол, а они, знай, уходят да уходят! О, пан полковник их еще не знает! Это такой грубый и упрямый скот, которого и довбней не добьешь!

Полковник ничего не ответил.

— Я только замечу вам одно,— сухо проговорил он, не глядя на юношу,— король чрезвычайно огорчен жестокими мерами, которые предпринимают против населения гетманы. Я везу письма, в которых его величество просит покорно изменить образ действий.

— О, я вполне подчиняюсь воле гетмана,— вспыхнул опять шляхтич,— и если он мне скажет хоть слово, я не посмею ничего изменить в нем. Но, быть может, пану

послу нужно что-нибудь? Корм для лошадей или людей? — поспешил он переменить разговор.

Получивши утвердительный ответ, он поскакал вперед распорядиться всем.

— Развязать их! — скомандовал он коротко солдатам.— Я после! Да только смотреть в оба, чтобы никто не ушел из села!

Молча проехал Радзиевский мимо группы уже развязанных крестьян. Тихо было здесь: ни плача, ни стона... Какая-то худая молодая женщина обвязывала дрожащими руками мокрою тряпкой исполосанное кровавыми полосами лицо немолодого поселянина. Кто-то обтирал рукавом рубахи кровь. Какой-то старик прижимал руки к окровавленному вспухшему глазу. Дети молча прижимались к белым как мел матерям. Никто не двигался с места: все ждали... чего? Это они могли легко предугадать.

Радзиевский невольно отвернулся в сторону.

— Возможно ли, чтобы жизнь стольких человеческих существ отдавалась в руки какого-нибудь наглого, бессмысленного и жестокого юнца? О, это ужасно, ужасно, ужасно! — проговорил он про себя.— И кто знает, придет ли когда всему этому конец?

Через полчаса он, спутник его, ротмистр, и сам юный шляхтич уже сидели в просторной избе, в которой пан-товарищ приказал еще выбить для большей свежести окна. На столе стояла обильная деревенская закуска.

— Но, быть может, пан-товарищ знает что-нибудь более определенное о Хмельницком? — спрашивал Радзиевский шляхтича.

— К сожалению, нет! Беглые хлопы, которых нам удается ловить, приносят разные преувеличенные известия: иные говорят, что у него двадцать тысяч, другие увеличивают эту цифру до сорока. Верить этому, конечно, нельзя: ими руководит или страх, или желание запугать нас. Но сделать это не так легко, как предполагает глупое быдло! — подкрутил молодцевато свои тонкие усики пан-товарищ.— Где он находится с своей рванью, нам тоже пока неизвестно. Впрочем, пан коронный гетман принял уже все меры: он разослал ко всем ближайшим панам универсалы, приглашая их соединиться с собой, чтобы одним ударом раздавить наглое быдло!

— О, роковая поспешность! — вырвалось невольно у

пана полковника, и, опустивши голову на грудь, он произнес вполголоса: — Чем это кончится, чем это кончится наконец?

— А чем же,— вскрикнул задорно юный шляхтич,— тем же, чем кончались всегда бунты этих псов! Вчера прибыли в лагерь наш Кисель и Остророг, сегодня поджидаем князя Корецкого... Да не он ли это и есть? — встрепенулся шляхтич, прислушиваясь к звукам труб и литавр, раздававшимся на улице.— Они, клянусь, они!— вскрикнул он, вскакивая с места.

Собеседники встали и вышли на улицу.

Действительно, по ней подвигалось блестящее шествие. Впереди всего отряда ехали музыканты, разодетые в голубые шелковые кафтаны, расшитые серебром, с длинными завитыми серебряными трубами и такими же литаврами в руках. Их великолепные белые лошади гордо выступали в такт музыке по восемь в ряд. За музыкантами двигались знаменоносцы; на них были красные кафтаны, расшитые золотом, в руках они держали распущенные знамена; здесь были и штофные знамена с изображениями гербов князей Корецких, были и иностранные, отбитые ими в разных боях. В некотором отдалении за знаменоносцами покачивался на великолепном сером коне седой и обрюзглый пан Корецкий, его сопровождала блестящая свита из офицеров своей команды; безумная роскошь и блеск их нарядов буквально ослепляли глаза. За ними тянулся ряд оруженосцев с драгоценными щитами и значками. За ними уже следовала вдоль всей улицы и всей горы наряженная в самые яркие одежды милиция, вытянувшаяся длинною лентой по шесть лошадей в ряд. Шествие замыкал огромный обоз, состоявший из множества нагруженных до самого верха возов, на которых восседали слуги, конюхи и повара. Молча и мрачно глядели поселяне на блестящий отряд, провожая его затаенными недружелюбными взглядами.

Радзиевский взглянул в их сторону и содрогнулся: столько в этих угрюмых взглядах горело мрачной, глухой ненависти! А войска все шли да шли блестящим сверкающим потоком, звеня латами и шурша металлическими крыльями, дрожавшими из-за плечей.

— Господи! — произнес он тихо.— Не слишком ли уж поздно все?

Солнце склонялось к закату, когда отряд достиг наконец Черкасс.

— Пан полковник позволит мне провести его в отведенное ему помещение? — спросил ротмистр Радзиевского, когда они въехали в городок.

— С величайшей радостью,— пожал тот с чувством руку ротмистра,— но прежде я попрошу пана еще об одной услуге,— доложить коронному гетману, что я прошу у него немедленной аудиенции, так как теперь, я вижу, нужно уже считать время минутами, а не часами.

В пышном помещении пана коронного гетмана собрались по случаю прибытия чрезвычайного королевского посла все находившиеся в городе вельможи. Коронный и польный гетманы заседали рядом за отдельным столом. В противоположность ничтожному росту Потоцкого польный гетман Калиновский был чрезвычайно высок и худ, как сухая жердь; лицо его было темного, почти коричневого цвета, черты острые, продолговатая голова, седоватые волосы были коротко острижены, вся наружность его носила отпечаток беспрерывной, суровой воинской жизни.

Вокруг гетманов на расставленных полукругом креслах расположились остальные вельможи. Здесь находились Чарнецкий, Остророг, Кисель, Шемберг, Корецкий и множество других; не было только молодого Конецпольского. На самых последних стульях полукруга сидели Кречовский и Барабаш. Остальные, менее знатные офицеры и паны, наполняли в беспорядке всю комнату. Юноша с задумчивым лицом и голубыми глазами находился также тут.

Дежурный офицер ввел Радзиевского в залитый огнями зал.

— Его величество наияснейший король наш приветствует вельможное панство и шлет ему свои лучшие пожелания,— поклонился он легким и изящным поклоном.

— Благодарим от всего сердца его величество и просим передать ему, что воля его всегда была и будет священной для нас,— произнес важно Потоцкий.

— Его величество,—продолжал Радзиевский,—крайне огорчен происходящими в Украйне смутами, а еще более военными приготовлениями, о которых дошел слух до него. Он надеется, что все это можно уладить мирно, без пролития крови, и шлет пану коронному гетману и

всему вельможному панству свое письмо,— передал он Потоцкому большой пакет, украшенный тяжелою королевскою печатью, и другой, поменьше, с печатью коронного канцлера.

Потоцкий принял письма от Радзиевского и, передавши их своему секретарю, приказал читать. Секретарь сорвал королевскую печать и, развернувши большой пергаментный лист, начал читать письмо. Все приподнялись с почтением.

Письмо короля было переполнено огорчением по поводу неприязненных действий, возбужденных гетманами и панами против украинцев. «Мы уверены,— стояло в письме,— что собрание запорожцев в Сечи устроено с целью сделать нападение на татар». Он советовал гетманам предоставить козакам поплавать по морю, а если и есть где какие-либо вспышки, то просил нарядить следствие над козацкими комиссарами и теми панами, что раздражили народ.

Радзиевский обвел взглядом все собрание; паны сидели угрюмые и молчаливые; по их сумрачным лицам легко можно было заключить, какое впечатление производило на них послание короля.

— Гм! Чересчур откровенно! — процедил сквозь зубы Потоцкий.

— Подтверждается то, что предполагалось,— заметил злобно Чарнецкий.

Главным зачинщиком всех бедствий король называл Конецпольского, допустившего в своем старостве такой возмутительный поступок против доблестного пана писаря, который не раз доказывал свою искреннюю преданность отчизне.

Чтец окончил. В зале царило гробовое молчание.

— Еще одно? — спросил сухо Потоцкий.

— От его милости пана коронного канцлера,— ответил секретарь.

— Га! — ударил рукой по ручке кресла Чарнецкий.— Любопытно знать, что еще пропоет нам эта старая лисица!

— Читай! — скомандовал Потоцкий.

Письмо Оссолинского было переполнено все теми же увещеваниями. Неприязненный шум пробежал по комнате, лишь только чтец прочел первые строки: «Я вполне убежден,— кончал канцлер,— что вы пугаетесь призра-

ка: ополчение запорожцев на Днепре предпринимается с целью нападения на татар».

— Ха-ха! — вскрикнул громко Чарнецкий, не давая чтецу даже окончить письма.— Пану коронному канцлеру, что сидит в Варшаве, лучше известны намерения запорожцев, чем нам, которым всю жизнь приходится сторожить их здесь, над Днепром! Странно! Хотелось бы узнать, откуда он получает такие откровения?

— Известно откуда! Быть может, из самой Сечи! — пропыхтел пан Опацкий.

— Пан коронный канцлер — теплейший приятель этих негодяев,— заметил иронически молодой шляхтич из местных вельмож,— не он ли прикладывал печати к тем знаменитым привилеям?

— Лисица! Изменник! Надо еще вывести его поступки на чистую воду! — раздались среди панов гневные возгласы.

L

— Панове! — воскликнул Потоцкий; его крикливый голос звучал теперь от едва сдерживаемого гнева еще неприятнее и резче.— Хотя его королевское величество и оказывает какое-то непонятное и обидное для всех нас расположение к этому подлому и мятежному народу и к пресловутому «доблестному писарю»,— обратился он к Радзиевскому,— но я не могу уяснить себе, чего же собственно желает от нас король? Желает ли он, чтобы мы все отправились на Сечь просить милостивого прощения у «доблестного писаря» или чтобы, послушавшись уверений пана коронного канцлера, сидели здесь бездеятельно и ждали, покуда пан писарь не придет сюда со своею шайкой и не заберет нас всех, как баранов?

— Ловко придумано! Ха-ха! Это для того, чтобы мы не пугались призраков! — заколыхался в своем кресле пан Опацкий.

— Это оскорбление шляхетства! — раздались то здесь, то там возгласы среди панов.

— Его величество король не предполагал ничего подобного в своих словах: он просто думает, что опасения панства относительно козацкого движения преуве-

личены,— произнес спокойно и твердо Радзиевский.— В верности же и преданности Хмельницкого его величество имел сам много случаев убедиться, поэтому и уверен в том, что если Хмельницкий в минуту гнева и высказывал какие-либо предосудительные мысли, то они были вызваны исключительно раздражением против сейма, постановившего такое несправедливое решение в деле его с подстаростой Чаплинским.

— Да, да, — заметил Остророг, высокий и худой шляхтич с голубыми близорукими глазами и несмелыми, неловкими движениями, обличавшими в нем человека, редко бывавшего в обществе.— Жалоба пана Хмельницкого в сейме была совершенно справедлива, так сказать, вполне законна...

— Но сейм отвергнул ее! — перебил его раздраженно Чарнецкий.

— Сейм состоял из нас!

— Решения сейма священны и непоколебимы,— произнес гордо и самоуверенно Потоцкий,—они не изменяются нами и для уродзоных шляхтичей! Но если бы даже этот изменник заслуживал прощения, то не желает ли и его величество, чтобы мы теперь переменили решение сейма и дискредитировали для этого хлопа перед всей Польшей свою власть и свой закон?

— Что ж,— пропыхтел толстый пан Опацкий,— допустим даже, что этот писарь и потерпел несправедливость, это еще не давало ему права подымать мятежа. У него оставался рыцарский суд с Чаплинским!

— Да что там! Ну, будет! Довольно!.. Это позор для шляхетства! — перебили его шумные крики панства.— Позор! Ганеба! Не будет этого вовеки!

— Этого и не желает король,— продолжал также спокойно Радзиевский,— он только не понимает, зачем посылали за Хмельницким вооруженную погоню, зачем его приговорили к смертной казни?

— Погоню за ним мы с тем и посылали, чтобы вернуть его назад. Но ведь пан посол, верно, знает, чем кончилась эта экспедиция и многие ли из пятисот душ, посланных нами, вернулись назад[78]. Впрочем, не знаю,— говорил язвительно Потоцкий, покусывая свои тонкие губы, причем правая нога его беспрерывно вздрагивала,— быть может, по мнению его величества, и это должно быть отнесено к мирным действиям?

— Кто б захотел вернуться, имея над своею головой смертный приговор? Если бы ему было объявлено прощение, то, без сомнения, он вернулся б назад, и не было бы повода к этим смутам, которые затеваются теперь.

— Ха-ха-ха! — разразился Потоцкий дерзким насмешливым хохотом, отбрасывая голову назад.— Пусть пан посол простит мне, но, клянусь святейшим папой, это даже забавно. Изменник, предатель, иуда — и король желает, чтобы ему опубликовали прощение! Не понимаю, почему это наияснейший король так благоволит к этому изменнику, когда кругом есть столько верных слуг отчизны?

Глухой шум едва сдерживаемого гнева пробежал по зале.

— Быть может, наияснейший король связан с паном писарем какими-нибудь особыми узами благодарности,— продолжал язвительно Потоцкий,— но так как они, к несчастью, неизвестны нам, то мы и можем поступать только сообразно с своей честью и властью, вверенной нам отчизной, то есть охранять ее от предательства и измены!

— Верно, верно! Слава пану гетману! — забряцали кругом сабли.— Смерть предателям отчизны!

— Но, позволю себе заметить,— возвысил голос Радзиевский,— король не стал бы возражать против приговора пана коронного гетмана, если бы была доказана измена Хмельницкого. Обвинение же основывается на доносе одного лица, заведомого врага Хмельницкого. В письмах, которые прислал пан писарь к королю, он клянется...

— Ну, клятвам-то теперь, пане посол, доверять не следует! — шумно перебил Радзиевского Чарнецкий, поворачиваясь в своем кресле.— Когда и высокопоставленные особы не считают нужным соблюдать свои клятвы, то чего ж можно ожидать от презренного хлопа?

— Верно! Верно! — раздалось среди панов.

— И мы получили от Хмельницкого немало писем, но странно было бы доверять им, тем более, что относительно его измены,— подчеркнул Потоцкий,— у нас есть более осязательные доказательства, чем донос Пешты! Полковник Кречовский,— забросил он голову,— что можешь ты сказать на этот счет?

— К сожалению моему,— ответил, вставая, Кречов-

ский,— я должен признаться, что сам был на этом пиру, так как Хмельницкий был мне приятелем и кумом, но, несмотря на это, я не могу не сознаться в том, что бегство его на Запорожье было принято далеко не с мирными целями. Он уговаривал многих старшин следовать за собой, но я не согласился и предпочел лучше пойти ему навстречу.

К словам полковника Кречовского присоединился Барабаш.

— Хмельницкий хитер и умен, как бес,— заговорил он,— когда ему захочется обмануть, то он обманет не только короля, но и самого сатану! Примером его хитрости, к стыду моему, могу служить я сам! О, доверять ему нельзя ни в одном слове! Тем более что в том дерзком письме, которое он мне прислал из Запорожья, он и не думает скрывать своих намерений.

— Теперь, надеюсь, пан посол и сам видит,— произнес с едкою усмешкою Потоцкий,— что наши подозрения относительно измены Хмельницкого основаны не на одних пустых слухах. Но если бы он ушел сам, то пусть бы шел хоть к черту в болото, мы бы не стали тратить на этого хама ни одного жолнера! Все дело в том,— заговорил он еще медленнее и язвительнее, устремляя на Радзиевского свои оловянные глаза,— что доблестный писарь увез с собою и знаменитые привилеи, о которых мы слыхали так много на сейме.

— Пану гетману известно доподлинно их содержание? — вспыхнул Радзиевский.

— Да. И не только мне, но и всему почтенному лыцарству. В привилеях заключается приказание козакам сделать набег против татар для того, чтобы втянуть их в войну с нами. Ну, и как думает пан посол, если подобные бумаги попадут к хану, расположат ли они его к миролюбивым действиям против нас?

Радзиевский видимо смешался.

— Его величество никогда не выдавал подобных привилей, по всей вероятности это подложные бумаги, сочиненные самими козаками.

— Надеюсь,— возвысил крикливо голос Потоцкий,— что выдавшие их не станут отказываться от своих подписей; но если допустить даже, что бумаги эти подложны, то не все ли равно это татарам? Им нужен только предлог, чтобы броситься на нас!

— Еще бы! Еще бы! — раздались кругом восклицания.— К тому же у татар был неурожайный год.

— Его величество хочет, вероятно, вознаградить пана писаря за потерю Субботова всем нашим имуществом и жизнью наших жен и детей! — наклонился к Чарнецкому Опацкий.

Замечание было сделано так громко, что Радзиевский услыхал его. Лицо его вспыхнуло ярким румянцем; негодование отразилось на умном, открытом лице.

— Что касается этих несчастных привилей,— произнес он громко, покрывая все голоса,— то я нахожу суждение о них слишком преждевременным. Конечно, пока они не будут у нас в руках, то доносам, преступным предположениям и злостным измышлениям,— бросил он быстрый взгляд в сторону Опацкого,— предоставляется полный простор. Закон и справедливость покажут в свое время, кто здесь прав и кто виноват. Теперь же перед нами вопрос о всей нашей отчизне. Если пан коронный и польный гетман и вельможное панство допускает мысль, что этими привилеями козаки могут вовлечь татар в войну против нас, то зачем же они еще ухудшают положение дела, возбуждая и дома кровопролитную, братоубийственную войну? Зачем допускают эти жестокие меры против местного народонаселения, которые возбуждают и ожесточают народ?

— Об отчизне нам незачем напоминать,— заговорил резко Потоцкий, подымая надменно голову,— она наша родина, и мы ее не продадим ни из-за каких расчетов. Ввиду-то этого мы и употребляем жестокие, как выразился пан, меры против этого населения, чтоб удержать его от соединения с запорожцами.

— Однако, как мы видим, это мало помогает,— произнес Калиновский, смотря куда-то в сторону,— так как, несмотря на беспрерывные казни, толпы людей уходят на Низ.

Потоцкий бросил быстрый взгляд в его сторону и произнес еще настойчивее:

— Если бы еще не наша строгость, то все бы они давно уж ушли на Запорожье.

— Жестокость скоро принудит их всех к этому,— заметил опять в сторону Калиновский.

— Когда взбесившийся конь начинает чувствовать, что узда ослабевает в руках всадника, он совсем выбра-

сывает его из седла. Это, я думаю, известно каждому хлопцу! — бросил Потоцкий пренебрежительный взгляд в сторону Калиновского.

Калиновский вспыхнул и хотел было что-то возразить, но в это время поднялся с места Остророг.

— Однако все же я думаю, я предполагаю, то есть я даже уверен в этом,— заговорил он смущенно,— что более мягкие меры с местным населением не повели бы к плохим результатам; можно наказать, так сказать, виновных, преступивших, нарушивших закон, но зачем же показывать свою силу над беззащитными людьми?

— А потому, черт возьми их всех,— бряцнул саблей Чарнецкий,— потому, что они покажут иначе свою силу над нами, а повесься я сам на своих собственных кишках, если я хочу служить материалом для них!

— Они бросают наши именья, и мы должны за это обращаться с ними мягко! — кричали паны.— Такого еще не слышали ни деды, ни отцы наши!

— Ни один хозяин, пане посол, не станет даром мучить свой рабочий скот,— заметил гордо князь Корецкий,— но если он заартачится, то всякий дает ему столько кнутов, сколько требуется для его усмирения. И мне кажется, что в мое хозяйство не к чему мешаться другим.

— Забывай, пане княже, о скоте: ты же видишь, что хотят нас заставить совсем распустить хлопов,—покрылся багровым румянцем Опацкий, ерзая нетерпеливо в своем кресле,— придется скоро самим впрягаться в плуг и утешаться римскою басней о Цинцинате [79].

— Это оскорбление! Нас равняют с быдлом! Мы не допустим! — зазвенели саблями офицеры.

— Панове! — Остророг хотел возразить что-то, но яростные возгласы панства, вспыхнувшие при этом с новою силой, заглушили его слова. Несколько секунд простоял он в нерешительности и, наконец, обведши все собрание своими прищуренными глазами, махнул рукой и опустился, сгорбившись, на свой стул.

— Панове, прошу слова, панове! — заговорил Кисель, слушавший до сих пор все пререкания с поникшею на грудь головой.— Во имя святой справедливости, панове! Прошу вас, выслушайте меня!

После нескольких его возгласов собрание наконец угомонилось.

— Кто это говорит? — наклонился князь Корецкий к своему соседу.

— Пан воевода киевский Адам Кисель.

— А, схизмат! — махнул презрительно рукой Корецкий и обратился к своему соседу направо.

— Панове,— заговорил Кисель, подымаясь с места,— я знаю, что, благодаря этой несчастной вражде религий, словам моим придадут мало веры, но во имя отчизны, прошу вас, панове, верить искренности их.

В зале стоял легкий шум; паны разговаривали вполголоса между собой.

— Если Хмельницкий и шайка его — мятежники,— продолжал Кисель,— то накажите их, но не карайте невинный народ. Напрасно вы думаете, что суровость испугает их и заставит смириться; она-то и толкает их искать спасения в рядах восставших, и за такое естественное движение нельзя так жестоко карать!

— Вполне присоединяюсь к мнению пана воеводы,— произнес Радзиевский,— но прибавлю еще больше. К моему великому огорчению, я вижу, что слова мои, благодаря какому-то непонятному для меня недоразумению, перетолковываются в совершенно нежелательном для меня смысле. Я снова повторяю, что если его величество и желает прекращения жестоких мер с народом, то вовсе не для унижения шляхетства, а для водворения возможного мира и спокойствия в этой стране. Ввиду панских же выгод желает его величество, чтоб народ не уходил на Запорожье. И если б вместо этих жестоких универсалов были опубликованы какие-либо льготы...

Но Радзиевский не окончил своей фразы: яростные крики, вырвавшиеся вдруг при одном этом слове, заглушили его голос. Казалось, вся комната превратилась вдруг в гнездо разъяренных ос. Стучали кресла, звенели сабли, охрипшие голоса перекрикивали друг друга.

— Что? — взвизгнул пронзительно Потоцкий, соскакивая с своего места.— Я буду еще выдавать льготы своим хлопам за то, что они бунтуют против меня?

— Это в Варшаве, панове, так любят выдавать привилеи и льготы,— пыхтел, багровея от злобы, Опацкий,— а у нас, пане посол, в коренном шляхетском сословии это не в ходу!

Князь Корецкий слегка наклонился к своему соседу и произнес гордо, прищуривая свои подпухшие глаза:

— Прошу пана повторить мне эти слова, быть может, мои старые уши изменяют мне, ибо сколько я живу на свете, я еще не слыхал подобных предложений!

Потоцкий продолжал, бросая в сторону Киселя и Радзиевского едкие взгляды:

— Пан воевода называет хлопов невинным народом. Не знаем, может быть, и не они виновны в этом мятеже... Но раз они восстают против нашей воли, воли их законных владельцев, мы называем их мятежниками! И за это желают, чтоб мы им выдавали льготы!

— Ха-ха-ха! — разразился громким хохотом Чарнецкий, шумно отбрасываясь на спинку кресла.— Да ведь это хотят нас позабавить, панове!

— Или надеть нам на голову дурацкий колпачок! — добавил Опацкий.

— Есть у нас одна песня такая, вельможное панство,— вставил, услужливо склоняясь, Барабаш.—«Простыимене, моя мыла, що ты мене была»... Хе-хе-хе!

— Vivat, vivat, пане полковнику! — крикнул громко Чарнецкий.— Из твоей старой кружки можно еще меду выпить!

Барабаш рассмеялся мелким подобострастным смешком. Дружный хохот покрыл слова Чарнецкого. Остророг поднялся с места.

— Тише, тише, пане полковнику,— остановил Чарнецкого за рукав Опацкий,— разве ты не видишь, что нам сейчас прочтут лекцию о доблести Муция Сцеволы и добродетели Лукреции? [80]

— К шуту! — крикнул Чарнецкий, встряхивая своими черными волосами.— Довольно нам проповедей! Никто не выдаст льгот!

— Никто! Никто! — поддержали его голоса.

— Позвольте, панове,— возвысил голос Потоцкий.

Шум слегка улегся.

— Мне кажется, пане посол,— заговорил он надменным тоном, обращаясь к Радзиевскому, но посматривая и на Остророга, и на Киселя,— что все, думающие так, забывают только одно маленькое обстоятельство, что здесь нет никакого «невинного народа»,— подчеркнул он язвительно,— а есть только наши хлопы, наше быдло!

А со своими мятежными хлопами, я надеюсь, мы имеем право расправиться и сами.

— Верно! Верно! — раздались голоса.

— Запорожских козаков мы не трогаем,— продолжал он,— но если они подымут оружие, то мы распорядимся с ними с тем правом,— окончил он высокомерно,— какое предоставляет нам наша власть!

— Осмелюсь вставить и свое скромное мнение,— произнес негромким сладким голосом Барабаш, приподымаясь с места,— хотя я сам принадлежу и греческой вере, и козацкому сословию,— вздохнул он,— но пристрастие не ослепляет мои глаза, и, хорошо зная козаков, я бы осмелился подать пану коронному гетману свой скромный совет: употребить с козаками самые суровые меры, ибо пока не истребят это племя до последнего колена, они не изменят своих мятежных, изменнических дум!

— Вполне присоединяюсь к мнению пана полковника, — встал и Кречовский, улыбнувшись загадочно.

— Пан посол видит,— развел руками Потоцкий,— что даже лучшие головы из козаков придерживаются того же мнения.

Радзиевский взглянул с гадливостью на дряблую, униженную фигуру Барабаша и хотел было возразить что-то, как вдруг турецкий ковер, прикрывавший двери, заколебался, и в комнату вошел взволнованный и бледный дежурный офицер.

— Что там еще? — крикнул нетерпеливо Потоцкий, взбрасывая на него свои холодные оловянные глаза.

— Тысячу раз прошу простить меня... Важные новости. Перебежчик принес известие, его подтвердили и наши объезды. Хмельницкий уже выступил из Сечи с огромным войском и занял позицию в клине между устьем Тясмина и Днепром [81].

В комнате стало так тихо, словно все эти люди услыхали сразу свой смертный приговор. Какое-то острое леденящее чувство охватило всех присутствующих. Несколько секунд длилось беззвучное молчание.

Тихий, едва слышный облегченный вздох вырвался из груди Радзиевского...

LI

— Я очень рад,— произнес Потоцкий, давая дежурному офицеру знак, что он может удалиться,— что это известие доставлено нам в присутствии пана посла. Теперь он сам и без наших слов может убедиться в том, что мы не преувеличивали положения дел. И так как неприятель уже начал свои действия,— опустился Потоцкий на свое кресло,— то я, панове, открываю военный совет.

Кругом все молчало; лица всех стали сосредоточенны.

— Мое мнение,— заговорил энергично и смело Калиновский,— не откладывать сборов ни на один день! Двинуться сейчас же всем войском против мятежников, запереть в клине, раздавить их одним ударом и разом укротить мятеж!

— Гм,— откашлялся Опацкий, передвигаясь беспокойно в кресле,— слишком много чести для подлых хлопов...

— Да и мы как же останемся без войска в наших имениях? — отозвался несмело хриплый голос.

Потоцкий бросил в сторону Калиновского насмешливый взгляд и произнес небрежно:

— Пан польный гетман придает слишком большое значение этому скопищу рвани, если думает двигать против него все войско. А кто же останется здесь?

— Совершенно верно! Согласны с паном коронным,— оживились паны,— мы не можем бросить своих имений на разграбление хлопам и искать дешевых лавров в степи!

— Уйти в пустыню и поджидать, пока-то пришлют нам подмогу! Сто тысяч дяблов! — отдувался пан Опацкий.— Приятная судьба!

— Пока еще неизвестен исход сражения, за край этот нечего опасаться, панове: он перейдет на сторону победителя, а Марс следует всегда за смелыми и отважными людьми! — перебил всех горячо Калиновский.— Притом же нам неизвестно количество войска. Если оно так велико, как передают слухи, то надо во что бы то ни стало не допустить его сюда!

— Чем дальше, тем меньше смысла! — проворчал про себя Опацкий.

— Хотя Марс и следует всегда за смелыми и отважными людьми,— повторил язвительно Потоцкий,— но он

часто бывает непостоянен, и смелые люди попадаются иногда, как отважные крысы, в западню.

Калиновский вспыхнул и закусил губу.

— Еще бы! Только зеленые юноши ищут опасностей и приключений,— послышались одобрительные возгласы среди панов,— для зрелого мужа первое дело — спокойное рассуждение.

— И меня изумляет немало,— продолжал Потоцкий,— как это пан польный гетман противоречит сам себе. Если допустить, что войско Хмельницкого соответствует распространившимся слухам, то как же рискнуть нам выступить в степь со столь невеликим войском?

— Еще бы, еще бы! — послышалось отовсюду.— Войско наше слишком мало, а его будет увеличиваться с каждым днем!

— Ведь край этот пойдет за победителем,— продолжал язвить Потоцкий,— и если удача выпадет не на нашу долю, то мы очутимся, так сказать, среди двух огней!

— Я не знал, что пан коронный гетман так опасается хлопов, что даже заранее уверен в поражении! — покрылся весь красными пятнами Калиновский.— Конечно, если у самого предводителя такая неуверенность...

Потоцкий позеленел.

— Пан польный гетман желает обвинить меня в собственном недостатке. Не он ли рекомендовал мне выслать против Хмельницкого все наше войско, я же предлагаю отправить только небольшой отряд.

— Конечно! Еще бы! — зашумели голоса.— Нагаями их! Псарей за ними послать, а не благородных шляхтичей!

— Если успех битвы неизвестен даже для целого войска, то какая же может быть в этом надежда для одного отряда? — горячился Калиновский.— Уверяю вас, панове, что наша нерешительность даст им повод сомневаться в нашей отваге, что отчасти и будет верно...

— Тысячу перунов! Кто смеет сказать подобное о нас? — побагровел Чарнецкий.— Если медведь не бежит со всех ног за мышью, это еще не значит, что он боится ее!

— Вот захотелось этой ветряной мельнице крыльями махать,— проворчал про себя Опацкий,— ведь ровно ничего не смелет, кроме навоза!

— Согласен с паном польным гетманом,— заметил задумчивый юный вельможа,— что в победе над этим хамьем нельзя сомневаться.

— Однако предосторожность необходима.

— Предосторожность с хлопами постыдна, панове!

— Постыдна только трусость. Умный человек не выйдет и к бешеной собаке с пустыми руками.

— Правда, правда! Нам надо защитить свое имущество, жен и детей! — поднялись ярые крики и споры среди панства.

Однако большинство соглашалось с коронным гетманом, только горячие юноши поддерживали Калиновского.

— В победе нечего сомневаться! — вопили они.— Мы их перебьем батогами, как зайцев!

Поднялся неимоверный шум. Неизвестно, сколько бы времени продолжались препирательства обоих гетманов и всего панства, если бы в разговор не вмешался почтенный и старый князь Корецкий.

— Вельможное панство, позвольте и мне, как старому воину, сообщить и свое мнение,— начал он, и так как никто не возражал ему, то Корецкий продолжал дальше: — Оба мнения, высказанные нашими достопочтенными гетманами, прекрасны, но est veritas in medio *. Выступать нам со всем войском в степь опасно, так как войско наше мало, а неприятельского мы не видели, каково оно. Притом же надо сознаться в том, что на верность здешнего населения полагаться нечего...

— Еще бы, они сейчас же разграбят наше имущество, лишь только мы выступим отсюда!

— За Хмельницким идут еще татары! — раздались со всех сторон возгласы панов.— В случае погибели войска, этот край останется беззащитным!

— Мы не можем рисковать собою, — горячился Опацкий,— нам надо помнить о том, что мы защитники отчизны!

По лицу Радзиевского, молча следившего за советом панства, проскользнула едва заметная улыбка. Он обвел весь бушующий зал взглядом и остановился на Кречовском: последний с каким-то жадным вниманием прислушивался к горячим спорам, и Радзиевскому показалось,

---

* Правда посередині *(лат.)*.

что и в глазах козацкого полковника блуждает тоже насмешливое и полупрезрительное выражение.

— Однако чтобы хлопство не усумнилось в нашей силе и отваге,— продолжал князь Корецкий,— как вполне справедливо предполагал пан польный гетман, я соглашаюсь с мнением пана коронного гетмана и тоже полагаю, что следует отправить в степь сильный, хорошо устроенный отряд под надежною командой и приказать ему до тех пор не возвращаться, пока он не отыщет неприятеля и не захватит пленников, от которых мы узнаем подробно о его силах!

Одобрительные возгласы снова наполнили комнату.

— Разумную речь и слушать приятно! — заключил с облегченным вздохом Опацкий.

— Итак,— поднялся с места Потоцкий, — я вижу, что панство согласно со мною. Мы отправим послов к королю с просьбой, чтобы он формально приказал выступить в поход войску, оберегающему Украйну, а тем временем вышлем завтра же небольшой отряд, так как стыдно,— прибавил он, надменно поглядывая на Калиновского,— посылать большое войско против какой-нибудь презренной шайки отверженных хлопов: чем меньше будет отряд, который истребит это быдло, тем больше славы!

— Vivat! Vivat! Згода! — зашумели кругом голоса.— Vivat, пан гетман! Мы их посмычкуем, как псов!

— Я не согласен с панством,— поднялся Калиновский,— и считаю подобное решение позорным.

— Жалею о том,— искривил свои тонкие губы Потоцкий,— но когда пробощ в приходе, тогда викарий молчит.

Калиновский вспыхнул, но ничего не ответил; он только метнул на гетмана такой затаенный злобный взгляд, который говорил без слов, что этой выходки он не забудет гетману до самой смерти.

Между тем слуги внесли в комнату вина и меды. Зазвенели келехи и кубки; всюду раздались хвастливые восклицания; заранее поздравляли друг друга с победой, кричали и бранились, как кто умел.

Когда наконец первое оживление немного утихло, Потоцкий обратился ко всем присутствующим:

— Вельможное панство! Так как я считаю унизительным для нашего шляхетского сословия назначать кого-

нибудь начальником отряда для поимки этого быдла, то сперва спрашиваю вас: быть может, кто-нибудь из вас сам желает принять начальство над отрядом?

Паны переглянулись. Вдруг, ко всеобщему изумлению, молодой Потоцкий, который с получения известия о приближении неприятеля находился в каком-то нервном, возбужденном состоянии, поднялся с места.

— Отец! — произнес он, краснея от смущения, но голосом твердым и звонким.— Я знаю, что я слишком молод для того, чтобы мне поручать такое дело, но если моя жажда послужить чем-нибудь дорогой отчизне и мое презрение к смерти могут хоть отчасти уравновесить мою молодость, то прошу тебя — вверь мне отряд. Клянусь честью своей, я не унижу твоего имени и вернусь «с ним или на нем»!

Слова юноши, произнесенные горячим молодым голосом, произвели на всех впечатление; по зале пронесся одобрительный шепот. Старый гетман, казалось, глубоко тронулся юною отвагой сына, и так как никто не оспаривал его просьбы, то гетман произнес торжественно, с гордостью прижимая юношу к груди:

— Сын мой, иди! И пусть Марс украсит твое юное чело!

На другой день в полдень все население Черкасс собралось пестрыми толпами на берегу Днепра. Яркое весеннее солнце освещало ослепительными лучами широкую синюю гладь реки, и песчаные берега, и толпы народа, собравшиеся полюбоваться на торжественный выход войск.

На огромных байдаках, плавно покачивавшихся длинною цепью, сидели рейстровые козаки,— одни в своих синих жупанах и шапках с красными верхами, другие — одетые в пестрые костюмы немецкой пехоты. Загорелые, смуглые лица их были сосредоточенны и серьезны. Сквозь эту суровую сосредоточенность не просвечивало ни одно из затаенных чувств, бушевавших в груди. На переднем байдаке, украшенном знаменами, была разбита великолепная палатка для начальников рейстровых — Барабаша, Кречовского и Шемберга.

На берегу длинною блестящею вереницей вытянулась легкая польская кавалерия. Разодетые в шелк и бархат,

всадники казались не воинами, а маркизами, собравшимися на свадебный пир. Закованные в серебряные и золотые латы, гусары блистали на солнце своими крылатыми панцирями и пернатыми шлемами. Ветер развевал их шелковые шарфы, молодцевато перекинутые через плечо. Великолепные лошади вытягивали свои гибкие, лоснящиеся шеи и нетерпеливо стучали о землю копытом. За конницей вытянулась грозная артиллерия с блестящими жерлами пушек, а за нею уже едва виднелся огромный обоз.

Играли серебряные трубы, лошади ржали, развернутые знамена шумели величаво. Лица всадников глядели весело и надменно; громкие возгласы перекатывались по берегам Днепра.

На украшенном драгоценными коврами и тканями возвышении стояли пан коронный гетман и остающиеся паны. Гетман отдавал начальникам последние распоряжения. Перед ним стояли Кречовский, Шемберг, Барабаш и молодой предводитель; задумчивое лицо последнего горело теперь какою-то жгучею, юною отвагой.

— Пане Кречовский,— говорил отрывисто гетман,— я для того тебя и выбрал начальником, чтоб дать тебе возможность загладить свою ошибку; надеюсь, что ты не выпустишь теперь Хмельницкого из рук.

— О, ваша ясновельможность, — склонился перед гетманом на колени Кречовский,— клянусь вам жизнью и смертью, что я употреблю все возможное для того, чтобы поскорее встретиться с ним!

— Хорошо! Верю! — протянул ему гетман свою руку для поцелуя.— Идите, панове, к своему отряду и оправдайте доверие, возложенное на вас!

Барабаш, Кречовский и Шемберг поклонились и спустились по устланным коврами ступеням к своему байдаку.

— Вас, пане полковник,— обратился гетман к Чарнецкому,— прошу, как отец и как гетман: окажите своим разумным советом и опытом помощь моему юному полководцу.

— Не только мой совет, но и жизнь моя в распоряжении моего юного друга,— брязнул саблей Чарнецкий.

— Спасибо,— сжал его руку Потоцкий и, обнявши сына, произнес с непривычною для его резкого голоса теплотой: — Тебя же, мой сын, прошу всегда обращаться

за советом к пану полковнику: его опыт и разум, твой пыл и отвага ручаются мне за успех.

Юноша опустился перед отцом на колени.

— Иди же,— произнес торжественно гетман, складывая крестообразно руки на светловолосой голове сына,— и пусть история напишет на своих хартиях тебе бессмертную славу!

— Vivat! — заключили слова гетмана остающиеся паны.

Молодой гетман опустился при шумных приветственных возгласах по ступеням и легко вскочил на подведенного ему коня; рядом с ним стал впереди войска и Чарнецкий. У ног гетмана колебались блестящею вереницей стройные линии войск. Гетман дал знак. Трубы огласили воздух резкими возгласами и умолкли. Все обнажили головы. Монахи запели. Но вот пение смолкло. Козаки на байдаках приподняли весла,— всадники отпустили повода. Все смолкло.

Гетман простер над войсками торжественно руки и произнес гордым и уверенным тоном:

— Вельможные, славные рыцари, верные защитники отчизны! За вами летит победа! Пройдите ж степи и леса, разорите Сечь, уничтожьте дотла презренное скопище и приведите зачинщиков на праведную казнь!

— Vivat! — вырвался дружный крик из груди многотысячной толпы и перенесся с одного берега Днепра на другой. Грянули трубы, ударили весла, и двинулись полки и галеры [82].

А между тем наказной гетман Богдан Хмельницкий, во главе восьмитысячного войска запорожской конницы и новообразованных полчищ из козаков да беглецов-поселян, выступил из Сечи 22 апреля [83] и, миновав Кодак, двигался уже стройными массами, перерезав безлюдную степь и верховья речек Базавлука и Саксагани, по плоскогорью, служащему водоразделом между притоками Днепра и Ингула, направляя свои силы к Чигирину.

Во главе войск на белом кровном аргамаке ехал гетман в стальной дамасской кольчуге и в шлыке (особого рода шапка), украшенном двумя страусовыми перьями, пришпиленными крупным алмазом; за плечами

у него волновался пышный шкарлатного цвета плащ, схваченный под шеей дорогим аграфом; у седла висела серебряная булава. Рядом с Богданом ехал хорунжий, держа гетманское развернутое белое знамя с вышитою золотом надписью: «Покой христианству», а по сторонам бунчужные товарищи везли бунчуки. Немного далее за Богданом следовали его есаулы и генеральная старшина, а за ними уже короткими лавами тянулась запорожская конница, вооруженная преимущественно холодным оружием. Яркая, разнообразная одежда всадников и разномастные косматые кони производили бы впечатление пестрого сброда, если бы правильность лав (шеренг) и стройность движений не объединяли каждый отряд в единое и мощное тело. На челе у батав выступали куренные атаманы со своими стягами и бунчуками. За конницей шли густые колонны пехоты, предводительствуемые полковником Кривоносом на вороном коне; рядом с ним ехал хорунжий Морозенко с малиновым знаменем, подаренным Владиславом IV [84]. В одежде и вооружении пехоты был произвол уже полный: хотя передние колонны и были снабжены мушкетами да семипядными рушницами, но зато задние, при недостатке огнестрельного оружия, шли с косами, прилаженными к древкам в виде штыков, а то и с топорами да ножами. За пехотой следовала артиллерия, каковую представляли две пушки — гарматы, дубовые дула которых были стянуты железными обручами, а за артиллерией двигался обширный обоз с провиантом и военными припасами, прикрываемый конным арьергардом; обоз этот состоял из огромных, окованных железом возов, из которых запорожцы умели строить неприступные подвижные укрепления. В возы и в артиллерию впряжены были круторогие питомцы вольных степей — серые волы.

По бокам и впереди войска рыскал врассыпную разведочный авангард.

LII

Весна стояла уже в полном разгаре, теплая, пышная, благодатная. Бархатным, роскошным, ярким ковром лежала широкая степь. По изумрудному полю пестрели и золотые одуванчики, и бледно-розовая березка, и голу-

бенькие косматые волошки, и оранжевый дрок,— все это, волнуемое легким, ласковым ветром, играло и горело под яркими лучами майского солнца, отливая молодою, несмятою красой... И по этой красавице степи, словно гигантский змей, ползли, сверкая сталью и железом, полки, тая в груди своей накипевшую месть и неся с собой смерть и разрушение. Молчаливо и мерно колебались ряды; топот тысячных масс, смягченный пушистою травой, отдавался в земле какими-то глухими, могучими стонами, а кругом все ликовало и наслаждалось жизнью. Из-под копыт лошадей вырывались с резвым шумом то перепелки, то куропатки, то стрепеты; вдали важно бродили табуны дроф; испуганная серна или косуля перерезывала иногда дорогу стрелой; жаворонки купались в голубых волнах напоенного благоуханием воздуха, кобчики неподвижно трепетали в нем, выглядывая в траве добычу, а высоко, под куполом неба, реяли темными точками степные орлы... Жужжание, щебетанье, крик журавлей, бой перепелов, треск коростелей и свист куликов наполняли всю степь жизнерадостными звуками. Но этот праздник жизни не отражался на лицах бойцов, не светился утехой в очах их, не выливался ни песней, ни смехом. Выражение лиц у всех было сосредоточенно и серьезно: и воспоминания прошлого, и думы о грядущем роились вокруг этих чубатых голов, а роковая судьба своею загадочною тяжестью наклоняла их книзу.

— Ох, коли б моя воля,— терзал себя неотвязной думой Морозенко,— полетел бы вперед кречетом, перенесся бы стрелою к палацу этого изверга, литовского гада, вырвал бы у него пыткой признанье, куда он упрятал мою горличку, мое поблекшее счастье! Я нашел бы Оксану свою и под землею... Но жива ли она? Что с нею сталось? Хоть бы знать, хоть бы доведаться? Столько времени уплыло, ужасного, безотрадного, а тут, как на зло, оно тянется еще медленнее, еще докучнее! — сжимал он в руке древко знамени, то горяча, то сдерживая коня.

Тогда как у Морозенка кипела от тревоги и нетерпения кровь, а приливы тоски отражались на его прекрасном лице, у ехавшего с ним рядом Кривоноса сердце билось радостно и спокойно, а в выражении его сурового изуродованного лица светилось несвойственное ему счастье; вся жизнь этого ограбленного, старого, одино-

кого сироты была одною лишь целью: поймать своего лютого ворога[85] и напиться всмак его кровью, но годы проходили в бес[...]одной борьбе, а ворог свирепел и не давался в руки. И вот наконец этот истерзанный злобой и муками старец дожил до радостного дня, когда не горсть удальцов, а грозная уже сила поднялась на врага, когда приблизился час кровавой широкой расправы! «О, только гаркнем, ударим — и ополчится весь забитый народ... Наберется у старого козака достаточно силы, чтобы сломить этого кичливого дьявола и посчитаться с ним и за родной, истерзанный бичами, народ, и за свои обиды!» Такие мысли бродили в приподнятой голове Кривоноса и сладостно щекотали ему грудь, расправляя глубокие морщины и зияющие шрамы на его страшном лице.

Чарнота тоже улыбался загадочно, предвкушая удалой восторг на кровавом пиру; даже задумчивый витязь, удалец из удальцов Богун смотрел теперь с воскресшею радостью в ясную даль, скрывавшую зарю народного счастья, а быть может... Безотчетная, беспричинная надежда почему-то грела его сиротливое сердце.

Один лишь Богдан не мог осилить душевной тревоги, и она впивалась в его грудь, как полип, запуская глубже и глубже с каждым днем корни: и гордость за врученную ему роль, и страх за исход поднятого восстания, и напряженная любовь к народу, поставившему на карту свое бытие, и жажда мести, и стремление увидаться с врагом,— все это наполняло его грудь великим и трепетным чувством: первая удача — и народ весь воспрянет и погонит из родных пепелищ ошеломленного врага, но зато первая неудача — и обездоленный люд в отчаянии притихнет, а окрыленный ворог понесет в родную страну новые ужасы... Да, от этого первого шага зависит все, а он, Богдан, кажется, сделал его поспешно, увлеченный нетерпением и отвагой, а может быть, и другим эгоистическим порывом? Но нет, он, как полководец, сознавал, что медлить дольше было нельзя, иначе бы неприятель соединился с сильным гарнизоном крепости Кодака и запер бы ему выход из Сечи; потому-то он и поспешил пойти навстречу врагу и отрезать ему путь к Кодаку, тем более что и союзник его, Тугай-бей, уже стоял с своими татарами на соседних Базавлуцких степях. Но почему же до сих пор они не присоединяются?

Вот уже восьмой день похода, а союзника нет как нет, словно канул в воду! Везде расставлены Богданом сторожевые посты, но до сих пор ни врагов, ни друзей они не открыли. Не побоялся ли его приятель риска и не вернулся ли преспокойно в свой Перекоп? А то, пожалуй, стоит на стороже и ждет, на чью сторону склонится удача, и тогда только ударит или с нами, или на нас. Вероятно, он получил такие инструкции и от султана. Вот эта-то боязнь за союзника, чтобы он не превратился во врага, да еще в тылу, вот эта-то фатальная неизвестность и жгла тревожным огнем сердце Богдана...

Молча ехал Богдан на своем Белаше, покачиваясь слегка на высоком козачьем седле, уставившись глазами в луку, ушедши глубоко в себя думами. Конь, не чувствуя ни шпор, ни удил, шел, нагнувши голову, и захватывал вытянутыми губами сочную, душистую траву; простывшая люлька висела уже без огня в зубах гетмана, но он ничего этого не замечал, припоминая и взвешивая малейшие обстоятельства из пребывания своего в Крыму [86].

«Нет, это невозможно,— думалось ему,— подозрения мои дики и оскорбительны... С неподдельною радостью и с искренним братским радушием встретил меня в Перекопе своем Тугай-бей; и отец, и сын принимали нас с Тимком как найдорожайших гостей и не скупились на пиры и подарки. Тугай-бей со слезами на глазах делился со мной и своими радостями, и своим горем и снова клялся в вечной дружбе... Да и как бы сталось иначе? Ведь я смолоду еще, когда был заложником в Крыму, подружился с ним на всю жизнь по-юнацки, ведь мы обменялись даже своею кровью, ведь я два раза спас Тугай-бея от смерти!»

— Да, если уже такой друг изменить сможет,— вырвалось у Богдана вслух,— то нет на земле ничего святого!

Богдан долго сидел в Бахчисарае и дожидался аудиенции у Ислам-Гирея; придворные мурзы брали бакшиш и только водили да угощали его, но и тут помог Тугай-бей: через месяц наконец допустили посла перед светлые очи султана [87].

И встают, воскресают в воображении Богдана картины недавнего прошлого.

Диковинный, пышный дворец; царит в нем восточная

роскошь; раззолоченные, расписные арабесками залы, освещенные разноцветными окнами, блистают сказочным великолепием; царедворцы, скрестив на груди руки и склонив головы, стоят безмолвными группами; под пышным балдахином, на атласных, золотом расшитых подушках восседает падишах [88]; перед ним курятся ливанские ароматы, в устах у него дымится кальян *.

И помнится Хмельницкому, что какая-то непослушная дрожь пробежала по его телу; но он, осилив волнение, после обычных раболепных приветствий, обратился по-турецки к султану:

— До сих пор мы, соседи и братья по удали, были врагами; но к вражде принуждал нас наш утеснитель, запрегший в панское ярмо вольный русский народ. Знай же, светлейший султан, что козаки воевали с подвластным тебе народом по принуждению, поневоле, а в душе они питали всегда приязнь к верным сынам твоим, к храбрым и доблестным витязям. Теперь же час нашего ига пробил, ярмо до костей стерло наши шеи, и мы решились или умереть, или добиться свободы и зажить в мире с нашими славными соседями. Вот и послала меня к тебе, солнце востока, вся наша земля ударить челом властелину и просить у него ласки да помощи: мы предлагаем дружбу и вечный союз, клянемся сражаться за мусульманские интересы. Взгляни своим орлиным оком на эту бумагу: то наказ короля вооружиться нам всем поголовно и ударить на татар и на турок. Но мы открываем твоему блистательному сиянию коварные замыслы наших деспотов и предаем свою судьбу в твои мощные руки. Враги наши — поляки — и ваши враги: они презирают силу твою, светозарный владыка, отказываются платить тебе должную дань и еще побуждают нас, подневольных, поднимать руку на своих природных друзей... Так открой же к нашему предложению высокий свой слух и склони благороднейшее сердце к нашей просьбе!

Ислам-Гирей слушал его, Богдана, с благосклонным вниманием и, видимо, тронут был его речью; он милостиво отпустил посла, пообещав сделать все, что не повредит интересам его страны, и даже протянул ему руку;

* Кальян — прилад для куріння у східних народів. Складається з трубки і посудини з водою, проходячи через яку, дим очищається і прохолоджується.

но Тугай-бей передал Богдану, что султан хотя и рад был в душе исполнить просьбу козаков, хотя предложение Богдана и сулило ему многие выгоды, но он не доверял ему и боялся подвоха. Тогда Богдан предложил через Тугай-бея оставить в заложники своего сына; султан согласился на этот залог и призвал посла торжественно поклясться перед диваном *.

Памятен ему этот день, влажный и теплый, с жемчужною цепью несущихся по синему небу облаков. Богдан стоял перед султаном среди многочисленного общества мурз и начальников крымских. На лице падишаха и на всех царедворцах лежал отпечаток особенного настроения.

— Хмельницкий, — произнес наконец торжественно султан,— если твое намерение искренно, если слова твои не лукавы, то поклянись перед всеми нами на моей сабле.

Подали драгоценную саблю, и Богдан, поцеловав клинок, произнес твердым, недрогнувшим голосом.

— Боже, всей видимой и невидимой твари создатель! Перед тобой наши души открыты, тебе ведомы помышления наши! Клянусь, что все, что прошу от ханской милости, прошу от щырого сердца, что все, чем обязуюсь ему, исполню без коварства и без измены — иначе покарай меня, боже, гневом твоим и допусти, чтобы это священное лезвие отделило от моего тела преступную голову.

— Мы тебе верим теперь! — протянул Хмельницкому руку султан, а затем и все мурзы стали приветствовать его как союзника и друга.

Но хитрый султан не захотел объявить сразу Польше войну, не двинул своих сил на защиту козаков; он дозволил только своему вассалу Тугай-бею, славному наезднику и грозе всех соседей, пойти к Богдану на помощь. «Очевидно, он надвое думал,— улыбнулся горько Богдан,— удастся дело — тогда он двинет и свои полчища, а не удастся — тогда он свалит вину на своеволие вассала... Не думает ли такой же думы и приятель мой Тугай-бей? О, то было б возмутительным, неслыханным вероломством!» Вместе ведь, после их байрама [89], отпивши из одного кубка кумыса, выехали они из Перекопа

---

* Диван — найвища рада при султанові.

с табором бея, Богдан только свернул с дороги и поспешил в Сечь.

И как обрадовались ему и кошевой, и куренные, и товарищи-братья! С распростертыми объятиями встретили его, с криком восторга передавали друг другу привезенные им вести... А потом гукнули из гармат, ударили в стоявшие на плацу казаны и собралась рада, да такая, что не вместила ее обширная площадь, майдан, а пришлось перейти всем за сечевые окопы, на широкий луг.

Ох, какая это была минута, когда вся десятитысячная толпа, снявши шапки, поклонилась Богдану и восторженно завопила:

— Слава и честь Богдану! Веди нас, будь нам головою! Мы без тебя — как стада без чабана! Мы все, сколько нас есть, пойдем за тобою на панов и ксендзов и постоим за родной край до последнего дыхания!

Посыпались тогда к ногам его шапки, загудели колокола с запорожской звонницы, загрохотали залпы мушкетов и отгукнулись сечевые гарматы.

А потом торжественный молебен, освящение знамен и выступление из Сечи... Эти дни сверкнули для него, для Богдана, ослепительным блеском и наполнили его грудь приливом таких восторженных чувств, которых не выдерживает иногда и закаленное, железное сердце...

— Какие это тянутся сизою лентой луга? — спросил у хорунжего Дженджелея Богун, пристально вглядываясь в мглистую даль,— не Ингул ли?

— Нет,—взглянул по указанному направлению Дженджелей,— Ингул левее, а это, верно... да, так и есть,— это Тясмин [90].

— Тясмин? — вскрикнул Богдан и встрепенулся весь, словно разбуженный страшным окриком.— Тясмин? Уже, значит, близко родные края, родные люди, дорогие лица... но близко уже и враги... Быть может, тут за несколько миль поджидают нас с отборным многочисленным войском, а союзника моего нет! Измена или какое-нибудь несчастье?.. Ох, господи,— поднял он глаза к небу,— пощади их, неповинных!

В это время послышался приближающийся топот бешено несшихся к нему всадников, очевидно, из авангарда. У Богдана застыло сердце в груди.

— Ясновельможный гетмане! — осадил перед ним запорожец коня.— От заката солнца наступает на нас

какая-то рать... Распознать кто — еще нельзя, а видно по мареву и слышно по гуку в земле, что конница.

— Конница от заката? — переспросил Богдан.— Не обошли ли поляки? А может быть... Нет, Тугай-бей шел бы от полудня с тыла,— несомненно, что это враги! — и, подавив в себе смущенье и тревогу, крикнул громким и бодрым голосом: — Стой! Стройся, шикуйся в табор!

Команду гетмана подхватили полковники, от них приняли сотники и передали куренным атаманам, а последние уже своим батавам, и понесся гетманский приказ от лавы до лавы перекатным, замирающим эхом. Передние ряды стали, к ним начали примыкать подходившие, и растянувшийся хвостом змей вдруг стал сжиматься и толстеть с шеи, расширяясь до полного изменения первоначальной формы. Конница распахнулась на две половины и дала место пехоте, а сама вытянулась справа и слева двумя широкими крыльями; в центре выстроились густыми лавами пешие полки, за ними подходивший обоз начал устанавливать возы в грозный четвероугольник с двумя орудиями по углам, который при надобности мог вместить в себя все полки и составить неприступное прикрытие, особенно если время еще позволяло окопаться рвами.

Богдан, поручая старшине отаборить поскорее полки, сам между тем поскакал к ближайшей могиле и стал с вершины ее обозревать окрестность. В глазах у него не было уже и тени тревоги, напротив того, они горели отвагой и огнем: теперь осматривал поле не подозрительный, сомневающийся в самом себе ставленник, а опытный полководец-герой, привыкший к победам и славе. У ног гетмана колоссальным кругом расстилалась степь, что гладь зеленого моря; из этой глади то сям, то там, словно островки, возвышались курганы, а вдали, на краю горизонта, убегающею лентой синели луга. Везде было пустынно, безлюдно; нигде не обнаруживалось движение масс, только на вершинах холмов чернели одинокие всадники да двигались иногда такие же продолговатые черные точки по далеким окраинам, описывая широкие дуги. Вдруг две, три точки приблизились к дальнему кургану; в то же мгновение сорвался с него всадник и понесся стрелою к другому; не успел он доскакать, как с этого кургана полетел вскачь вартовой до

следующего возвышения и т. д. Наконец через десяток минут примчался к подножию холма, где стоял гетман, вестовой запорожец и гаркнул, махая шапкой:

— Татаре, ясновельможный, татаре!.. Тугай-бей!

У Богдана от прилива радости захватило даже дыхание; он только мог воскликнуть: «Боже великий!» — и перекрестился широким крестом.

Из-за лугов начали действительно выступать изогнутыми линиями движущиеся массы; по своеобразной неправильности их и по следующим за ними кибиткам Богдан сразу узнал орду; она приближалась к его полкам на полных рысях.

Между тем и козачья старшина, известившись, что впереди не враги, а союзники, поспешила вместе с хорунжими и бунчужными к своему гетману и окружила его полукругом; над Богданом развернулись два знамени и склонились бунчуки.

Через полчаса перед выстроенными развернутым строем запорожцами и отаборенной в густых лавах пехотой волновалась уже неправильными массами орда, вооруженная саблями, ятаганами и луками.

Остановились татаре, и Тугай-бей, атлетического сложения богатырь, черноволосый, темнокожий, с прорезанными узко глазами, поскакал с своими мурзами и каваджами к холму; запорожцы затрубили в трубы, ударили в бубны и котлы и, крикнувши татарам: «Дорогие гости, мир вам!» — принялись палить из мушкетов.

А татары в свою очередь загалдели, махая руками: «Ташгелды! Барабар!», «Будьте благословенны! Дружба навеки!»

LIII

Когда Тугай-бей поднялся на холм, Богдан двинулся к нему навстречу и, поравнявшись, обнял его горячо; кони заржали и, вытянувши морды, начали ласково пощипывать губами друг другу шеи. Всполошенные выстрелами, степные хищные птицы — серебристые ястреба, пестрые соколы и серые кречеты — взвились из густой травы вверх и закружились высоко над могилою, где происходила встреча предводителей союзных дружин.

— Кардаш! Дост! Побратым и приятель! Ты изму-

чил меня ожиданием, — говорил, обнимая Тугай-бея, Богдан.

— Йок тер! Не понимаю, чем мой друг себя мучил? — изумился татарин.

— Да разные, знаешь, мысли...

— Пек! Про Тугая не может быть разных мыслей, а только одна,— сдвинул бей свои черные как уголь брови.

— Однако,— замялся Богдан,— несчастья возможны... И беда может над каждым стрястись.

— Какая бы ни была беда, она моего слова сломить не сможет, если б даже сломала меня; у Тугая есть сокол-сын, и он бы исполнил отцовское слово. О, друг мой, дост — оно крепче стали дамасской!

— Да будет благословенно имя аллаха,— воскликнул Богдан, пожавши крепко побратыма-товарища руку,— что послал мне такого верного друга; ты солнце добродетели, благородная тень падишаха!

— Барабар, — улыбнулся бей страшною улыбкой, обнажая свои широкие зубы,— ты шел к Днепру, а я ближе к Ингулу, чтобы не допустить врага в середину, не дать обойти; но мои дозорцы поглазастее твоих; они не упускали из виду приятельских передовиков.

— Скажи, пожалуйста,— засмеялся Богдан,— у моих-то пошире глаза, а вот недобачают...

— Потому что не едят конины и кумыса не пьют, а ракию *,— мотнул уверенно головой Тугай.— Да вот тебе, кардаш, доказательство: мои выглядели и изловили десять ляхов, я их заарканил и приволок к тебе; показуют, что враг недалеко, миль за пять, за шесть, и идет на нас двумя чамбулами **: один сухим путем, с полуночи, а другой на байдарах, по широкой реке.

Богдан пристально посмотрел в глаза Тугай-бею и помолчал с минуту, подавляя охватившее его волнение, а потом громко и радостно вскрикнул:

— Наконец-то привел господь! С таким союзником-другом не страшен мне ни один враг! — и потом, обратясь к своей старшине, добавил:

— Поздравляю вас, товарищи-друзья, с утехой и славой: наш исконный враг идет к нам навстречу... Судьба

---

* Ракия — горілка. Муеульманський закон забороняє пити горілку.

** Чамбула — загін.

его должна свершиться! Передайте же и славному рыцарству, и всем козакам и бойцам, чтоб не скупились на привет давно жданным гостям,— славы хватит на всех!

— Хвала гетману! Долгий век батьку! — ответила восторженная старшина, за нею откликнулись и все полки перекатным гулом.

На допросе с пристрастием пленные показали, что польское войско, состоящее из двух тысяч гусар, двух тысяч латников и трех тысяч кварцяной пехоты, под предводительством молодого Стефана Потоцкого и помощника его полковника Чарнецкого направляется через Тясмин к притоку его Жовтым Водам [91], а что пять тысяч рейстровых козаков да тысяча немецкой пехоты отправились на байдаках с Барабашем вниз по Днепру.

Убедившись в истине этих показаний, Богдан сделал распоряжение двинуться немедленно и поспешно всеми силами к Жовтым Водам, чтобы успеть раньше занять правый берег, господствующий над местностью, хорошо ему известной еще с детства. Тугай-бей со своими загонами пошел несколько левее, чтобы прикрыть фланговое движение главных сил.

Солнце заходило кровавым пятном, когда двинулись в поход соединенные силы вчерашних врагов, которых примирила на этот раз месть; весь закат горел ярким багрянцем и предвещал бурю.

Горящий нетерпением и боевым огнем, Богдан скакал на своем белом коне впереди Запорожского войска, за ним неслись наклоненные бунчуки и развевалось блестящее знамя.

Не успели еще сумерки окутать степь серою дымкой, как к Богдану подскакал со стороны Днепра на взмыленном коне козак, видимо, из Чигиринского полка.

— Верныгора! — вскрикнул Богдан, опознавши приятеля, что спасался у него в бывшем Субботове.— Каким чудом, каким дивом?

— А таким, какое теперь всю Украйну поставило на ноги, какое заронило надежду всем на спасенье! — воскликнул Верныгора, снимая шапку.— Витает тебя, ясный гетман и батько, вся наша земля и кланяется челом. А меня-то к тебе послала Ганна оповестить.

— А что, все здоровы, все целы? — перебил его тревожно Богдан.

— Слава богу, он милует! — успокоил Верныгора.—

А вот байдаки с нашими рейстровиками плывут и к ночи будут в устье Тясмина...[92] недалеко отсюда, мили три-четыре... там много есть прихильных, и Кречовский... только вот пехота немецкая, а то бы... если б послать кого... может, бог поможет.

— И Кречовский тут?

— Тут, на первом байдаке.

— Так я сам еду!

— Что ты, батьку? Опасно... Не доведи бог... Кто его знает?..

— Привернуть к святому делу рейстровиков-братьев — это почти выиграть дело,— воодушевился Богдан,— а этого никто сделать не может, кроме меня самого... Так чтоб я поберег себя и упустил такой случай, быть может, посылаемый богом? Да будь я проклят после этого, а жизнь перед нуждой родины — плевое дело!

— Но жизнь твоя для родины, для спасения ее и нужна!

— Кто за бога, за того бог! — воскликнул вдохновенно Богдан и велел позвать к себе Кривоноса, Ганджу и Морозенка.

Боясь, чтобы они не остановили его, он скрыл от них настоящую причину своего отъезда и объявил только, что ему нужно отправиться в сторону, переговорить с поджидавшим его приятелем, так что он поручает полки Кривоносу и Богуну, пусть ведут их усиленным маршем всю ночь к Жовтым Водам и отаборятся на правом берегу, а он их к утру нагонит.

Старшина было начала усиленно просить своего батька-атамана не рисковать ночью, но воля Богдана осталась непреклонной, и он согласился только взять с собой Ганджу, Морозенка да двадцать козаков конвоя и полетел под покровом темной, безлунной ночи на рискованное дело к деду Днепру[93].

Чуть брезжится. Необъятною темною гладью лежит Днепр. Тихо спит дед перед рассветом; воды его ни всплеснут, ни подернутся рябью; только там, где разлив реки покрыл прибрежные шелюга и верболозы, между вынырнувшими верхушками кустов струятся серебристые нити да в глубоких местах медленно вращаются воронкообразные темные круги... В бледном сумраке потонул левый далекий берег могучей реки, а правый слов-

но раздвоился, и одна излучина, отделившись, пошла в сторону — это Тясмин. Он обрамлен густыми очеретами, камышами да лозняком, и кажется от множества золотистых островков, от водяных белых лилий и изумрудных грив оситняка совсем пестрым, какою-то лентой, стричкой, убегающей в синеву дремлющего утра. Безмолвно, пустынно. Но вот почудились всплески, шелест тростника, резкий крик и свист сорвавшейся стаи диких уток, и снова все смолкло; пролетело несколько минут, вдруг заколыхались массы ближайшего камыша, и показался из-за него черный силуэт громадной байдары; словно черепаха, она неуклюже ползла, лавируя между зарослями и направляясь к возвышенному правому берегу; на чардаке (палубе) байдары стоял седоусый козак, опытный стерничий, и налегал грудью на руль; по бокам байдары подымались мерно и стройно с тихими всплесками длинные весла; темная глубь пенилась и бороздилась молочными дугами.

В густой заросли на берегу поднялась какая-то фигура, постояла неподвижно несколько мгновений и исчезла, словно заколыхалась и убежала случайная тень.

— А ну, годи спать, хлопцы! — нарушил наконец тишину рулевой. — Принимайтесь за багры... пора на берег!

— А что, уже Тясмин, диду? — поднялся с разложенного на корме чепрака, лениво потягиваясь, какой-то значный козак.

— Да Тясмин же, Тясмин [94],— поправил на голове шапку дед,— зарос весь, затянулся лататьем да ряской, точно небритый козак после долгой попойки.

— Так на ноги! — вскочил бодро значный козак и, вздрогнувши, проворчал: — Бр-р-р! Свежевато! — а потом, оправившись, скомандовал зычно: — Гей, хлопцы, вставать! Рушать, уже берег!

Сидевшие и лежавшие в самых смелых позах, фигуры зашевелились, начали потягиваться, толкать друг друга и схватываться на ноги. В байдаре заворошилась целая уйма людей: иные стали разминать онемевшие члены, другие чесать пятерней затылки, третьи приводить в порядок одежду, некоторые взялись за багры... Послышалось позевывание, сдержанный гомон, всплески воды и бряцанье оружия.

— Что же это, высаживаться, что ли? — спросил мо-

лодой светлоусый рейстровик у своего старшего товарища, что чистил длинной иглой свою люльку.

— Похоже,— плюнул тот на коротенький изогнутый чебучок, прилаживая к нему какое-то украшение.

— Стало быть, наши близко?

— Какие наши? — окрысился старший. — Ляхи-то? Этот блазень со псом? — взглянул он свирепо на молодого козака и начал рубить огонь.

— Да и они... и запорожцы с батьком Хмелем,— сконфузился молодой.

— Вон те, другие, с батьком на челе и суть наши, а ляхи да перевертни — это не наши, а чужие — кодло ворожье!

— Так как же? Я в толк не возьму... мы с ворогами, значит, пойдем своих бить?

— Это еще надвое ворожила кума, — улыбнулся ехидно старший товарищ,— а только Каин сможет поднять руку на брата: такому проклятому аспиду не будет помилования ни на сем, ни на том свете!

— Авжеж... именно! — заключил молодой.

В другом углу седоусый рейстровик, с шрамом на лбу и закрученным ухарски за ухо оселедцем, говорил тихо окружавшей его кучке товарищей:

— Неужели мы пойдем на такой грех? Поднимем руку на борцов за наше добро и за веру? Да я охотнее дам отрубить к черту свою старую дурную башку, чем пойду на такое пекельное дело!

Слушавшие деда рейстровики молчали, но, по выражению лиц, видно было, что слова старика врезывались глубоко в их сердца.

В третьем месте передавал по секрету молодой и юркий козак, что бывший-де наш войсковой писарь Хмельницкий поставлен уже гетманом, что за ним стала Сечь, что со всех концов Украйны сбегаются к нему люди и что он приказал всех панов и арендарей вырезать, а земли разделить промеж себя поровну.

Жадно слушали эти вести козаки; иные отходили, почесывая затылки, а иные произносили тихо: «Помогай ему, боже!»

Но большинство их было мрачно и с угрюмым молчанием исполняло приказания старшин.

Байдару причалили к берегу. Десант не замедлил высадиться и расползся по нему нестройными группами.

Кречовский вышел последним; не делая никаких распоряжений, он удалился несколько в сторону и стал на краю берега осматривать безучастно окрестности: небо начинало синеть, дали прояснялись, но с юга поднимался ветер и начинал сметать песок с ближайших холмов.

На душе у Кречовского поднималось тоже смятение; сердце ныло в тревоге, голова отказывалась работать, а воля колебалась в разные стороны, не находя себе определенного, стойкого решения...

Хмельницкого он искренно любил и честному делу его сочувствовал; он ведь из приязни засадил было кума в тюрьму, чтобы дать ему возможность улизнуть в Сечь, а иначе, если бы Хмель попался в лапы другому, то не сдобровал бы; он и байдарой своей вырезался вперед с тайным умыслом... Рассудок ему твердил, что если возьмут верх поляки, то ему, Кречовскому, мало будет от того пользы, но если победит кум, то спасителя своего вознесет высоко... Да, и выгоды, и сердце тянули Кречовского на сторону Богдана; но благоразумие налагало узду: на небольшой риск хватило бы у него и энергии, но броситься, очертя голову, в бездну, отдаться с завязанными глазами случайностям не позволяла ему осторожность, а главное, смущало его полное неведение: где Хмельницкий, кто с ним, каковы его силы?

С болезненным напряжением придумывал Кречовский, каким бы способом добыть ответы на эти вопросы, стоявшие неотразимо перед ним во все время похода, и терялся в неразрешимой задаче; очевидно, нужно бы послать на разведки верного человека, но кому можно без риска довериться? Есаул Нос, кажется, верный и преданный, но... все они, по крайней мере его полка козаки, сочувствуют, кажется, и Богдану, и его целям, а пойдут ли в решительную минуту за ним или выдадут его, Кречовского, головой, он не мог этого знать, не мог даже душою провидеть... А время между тем шло и отнимало возможность дальнейших колебаний: еще минет день, полдня, быть может, несколько часов,— примкнут с одной стороны верные короне рейстровики, а с другой — поляки, и тогда уже будет невозможно бороться с судьбой, а нужно будет подчиниться неудержимой силе потока....

LIV

— А что, пане полковнику, ведь наш гетман Хмель недалеко,— подошел к Кречовскому тихо есаул Нос и сообщил ему эту весть на ухо.

— А?.. Что? — вздрогнул Кречовский и оглянулся с испугом кругом.

— Батько наш, гетман наш близко, идет к Тясмину с большими силами! — добавил радостно есаул.

— Гетман? Потоцкий? — прищурился Кречовский, словно не понимая, о ком ему сообщал есаул.

— Какое!.. Наш гетман, Богдан Хмель,— улыбнулся широкою улыбкой Нос.

— Да разве кум мой гетманом выбран?

— Выбран, как же... Всею Сечью и прибывшими козаками... Это верно. Давно уже известно...

— Откуда?

— В Прохоровке, последней стоянке, все говорили... вестуны от него приезжали — Небабу сам видел, расспрашивал. Из тамошних поселян много к нему прилучилось... отовсюду бегут видимо-невидимо... Под булавою у нашего батька Богдана тьма-тьмущая войска. Весь Крым со своими загонами стал за него...

— Что ты? — изумился и обрадовался Кречовский. Если в словах Носа была половина лишь правды, то за его кумом победа, а потому нельзя терять удобного мгновения, нужно решаться, не то будет поздно.

— Провались я на этом месте, коли неправда! — перекрестился Нос.— Небаба не такой человек, он не прибавит ни крихты... да и все, все гомонят... сказывали, что тут где-то должен быть батько Хмель: идет-де наперерез ляхам, чтобы не допустить их соединиться с нами, лейстровиками...

— Значит, он ближе к нам во всяком случае, чем Потоцкий? — заволновался полковник и, чтобы скрыть свою радость, добавил: — Нужно принять меры.

— Авжеж,— подхватил Нос, понявши по-своему меры,— двинуться навстречу, пристать к батьку, да разом с ним...

— Тс-с! — зажал ему рот Кречовский.— Ты так репетуешь, как баба перекупка... услышат и схватят, как бунтаря, а бунтарю в походе — смерть, и я не помилую, подведешь еще...

— Да кто ж меня, пане полковнику, за такие речи хватать будет? Все одной думки.

— Не верю.

— Все, как один. Только слово скажите.

— Слово не воробей: выпустишь — не поймаешь... Тебе, паливоде, и море по колена... Благоразумные люди, с окрепшим разумом,— а их у нас немало,— прежде всего не поверят голому, порожнему слову, а потребуют увидаться с Богданом и потолковать с ним ладком, а потом помозговать и со своими: в серьезном деле семь раз примерь, а один раз отрежь.

— Да ведь, пане полковнику, пока мы будем примерять, так нас отрежут: час ведь не стоит...

— Так-то оно так,— вздохнул Кречовский и почесал с беспокойством затылок,— и кума жаль, да и выскочить зря, как Филипп с конопли, не приходится... береженого и бог бережет.

— Да ведь за божье дело.

— Конечно, как кто... только вот,— уставился вдруг Кречовский в просветлевшую даль реки,— не байдаки ли то наши? — указал он на черневшую точку.

— Нет, пане,— успокоил его Нос,— байдаки наши и к завтрему, почитай, что не будут: ветер закрепчал, встает на Днепре супротивная хвыля.

Действительно, уже два раза чуть не сорвало порывом ветра шапки с Кречовского, а у Носа растрепало пышный оселедец совсем, и по небу понеслись клочьями облака, заволакивая мглою восток.

— Чудесно,— потер руки Кречовский,— значит, есть срок и нам... во всяком случае нужно разведать про Хмельницкого, во всяком случае... так вот что,— заторопился он оживленно,— возьми ты, верный мой Нос, коня и поезжай на разведки; повысмотри, повыспроси досконально, где Богдан, куда идет, какая у него сила, с ним ли татары? А если найдешь самого кума, то сообщи ему, что мы здесь... стоим... ждем... и коли он что, то зараз бы прибыл: свидеться нужно непременно,— все будет зависеть от его приезда; побачут в глаза батька — и песню запоют не ту, а заочи и не поверят...

— Да батько тут! Вырушил! — раздался вдруг ясно у ног их, словно из-под земли, голос.

Кречовский так и шарахнулся, а Нос до того оторопел, что стал отплевываться, причитывая:

— Чур меня, чур, сатана! Чур меня, болотяный дидько!

— Тю на тебя! Какой я дидько? — послышался из камыша смех, и в то же время из-за куста поднялась мокрая, чубатая фигура.— Крещенный козак, христианин, а не дидько! — выкарабкался кто-то на берег.

— Ганджа! — вскрикнули Кречовский и Нос, присмотревшись к нежданному гостю.

— А кой же бес, как не он? — захохотал, оскалив свои широкие, лопатообразные зубы, Ганджа.— Он самый, пане полковнику и пане есауле, он самый!

— Да каким ветром сюда тебя занесло? — изумлялся Нос.

— Кто тебя затопил в болоте? — не мог придти еще в себя и пан Кречовский.

— Приехал я на киевской ведьме...— смеялся Ганджа,— летела верхом на помеле к Лысой горе, да присела у Жовтых Вод жаб наловить в глечик (крынку), а я ее за хвост — да на спину, ну, и понесла, что добрая кобыла, аж в ушах загуло... только вот тут захотелось мне потянуть люльки,— я за кисет, а хвост-то из рук и выпусти... а она, подлая, зараз — брык! — и скинула меня в болото.

— Говори толком! — обратился к нему Кречовский.

— А что ж, родные панове,— приехал я повидаться с товарыством своим и с лыцарством славным, переказать от низовцев — запорожцев — всем сердечный привет и спросить: с нами ли братья кровные или против нас? Поднимут руки, как на Авеля Каин?

— Да отсохни тебе язык, чтобы я Каином стал! — возмутился Нос.

— Как же на свою мать и на веру?.. — отозвался нерешительно и Кречовский. — Только ведь это нужно пообмыслить, потолковать лично... свидеться с кумом...

— Да ясновельможный гетман, батько наш тут!

— Где тут? Где Богдан? — встрепенулись, вспыхнули радостью есаул и полковник.

— А вон за тою могилой стоит,— указал Ганджа на ближайший холм,— ждет моего извещения, что байдара причалила и горит огнем поскорее обнять своего друга и кума!

— Так скорее к нему! Веди! — уже не скрывал радости и восторга Кречовский.

— Гайда! — всплеснул руками Ганджа. — Вот-то утеха, аж сердце прыгает!..— и, повернувшись к группам козаков, вдруг неожиданно гаркнул: — Гей, товарищи-братья! Гетман наш ясновельможный Богдан Хмельницкий приехал к вам в гости; соберитесь же встретить своего батька!

— Сумасшедший!..— хотел было остановить Ганджу пан полковник, но было поздно: громкое слово понеслось по берегу и встрепенуло всех электрическою искрой. Ударь гром среди этой еще полусонной толпы, ослепи их молния, разорвись бомба — все это не произвело бы такого эффекта, как брошенное сейчас известие; все вскочили на ноги, засуетились и начали осматриваться кругом, жадно ища загоревшимися глазами того, к кому рванулись вдруг их сердца.

А Богдан между тем, не дождавшись Ганджи, уже выезжал из-за холма с Морозенком и несколькими козаками на своем белоснежном коне: мучительное нетерпение глянуть своей доле прямо в глаза, узнать поскорее, что ждет его впереди, отдать, наконец, себя на первую жертву толкало его неудержимо навстречу опасности... Кречовский и Нос, увидя его, бросились почти бегом, рейстровики со всего берега устремились тоже к своему батьку, махая руками и шапками.

Богдан, заметя этот общий порыв, подскакал сам поскорее к толпе и, снявши шапку, приветствовал всех взволнованным, растроганным голосом:

— Привет вам, дети мои, и от матери Сечи, и от батька Луга [95], и от ваших братьев в цепях, и от меня, слуги несчастной Украйны!

— Витаем ясновельможного гетмана! Век долгий батьку! — посыпались отовсюду горячие, восторженные приветствия, но все-таки не единодушные: многие упорно молчали, смотря на эту сцену лишь с любопытством да едкою тревогой; у них колом в сердце стояла данная при отъезде старшине польской присяга.

— Куме! Друже! — распростер руки запыхавшийся от скорой ходьбы Кречовский и, поставя ногу на стремя, потянулся к Богдану; последний обнял радостно своего кума и, приподняв его к себе, облобызал трижды на виду всех.

— Если бы не он,— обратился гетман к рейстровикам,— если бы не доблестный ваш полковник, то не знал бы я радости свидеться с вами, друзья мои!

— Слава полковнику! Слава и батьку! — загалдели еще веселее и дружнее козаки.

Богдан между тем снял шапку и, приподнявшись на стременах, поклонился на три стороны низко. Все понадвинулись и окружили его густыми рядами, с восторгом устремляя на своего родного гетмана глаза и готовясь жадно ловить каждое его слово. Мало-помалу гомон и суетливые движения занемели; все обратилось в слух.

Новый гетман сидел на коне величаво; выражение лица у него было растроганно и тревожно; неукротимое волнение высоко подымало ему грудь, но глаза его искрились отважным огнем.

Несколько мгновений он не мог превозмочь волнения, но наконец, осиливши себя, обвел столпившихся вокруг воинов испытующим взглядом и заговорил:

— Братья! На кого подняли мы оружную руку, за что мы повстали? Мы подняли меч на наших исконных врагов, ненавидящих и наши храмы, и наши святыни, и наше слово, и наши права; мы ополчились на угнетателей наших, отнявших у нас все до рубца, жаждущих стереть со света и русское имя; мы озброились на можновладцев, низведших и заступника нашего, наияснейшего короля Владислава, в ничто, истоптавших ногами закон... А повстали мы за веру отцов наших, поруганную, оплеванную нечестивыми, повстали мы за свою землю родную, ограбленную, опоганенную панством, повстали за вас, обездоленных, и за весь наш в рабы, в быдло обращенный народ... Братья! Разве у вас в жилах течет не та же кровь, что у нас? Разве другому вы молитесь богу? Ужели ваших сердец не тронут стоны замученных братьев, не тронут вопли наших жен и сестер? Ужели поднимется у вас на защитников Украйны рука, неужто пойдете вы с нашим врагом терзать свою мать? По воле народа и бога стал я на брань. Так... или убейте меня,— распахнул он жупан,— или вместе со мною рушайте за бога, за правду и за нашу волю!

Уже с первого слова Богдана загорелись у всех энтузиазмом глаза, с каждою фразой его волнение охватывало толпу, слетали с голов шапки, срывались то сям,

то там возгласы: «Одна у нас мать!», «Не каины мы!», «Какая там присяга по принуждению!» А когда Богдан оборвал свое пламенное слово и смолк, то из сотни уст вылетел и потряс воздух единодушный восторженный крик: «Слава нашему батьку и гетману Хмелю! Веди нас на ляхов! Все за тебя головы сложим!»

Растроганный, подавленный наплывом не поддающихся описанию чувств, Богдан не мог произнести ни одного слова: какой-то горячий поток наполнил, залил ему грудь, сдавил горло и застлал глаза влажною мглой...

Если бы осужденному на смерть преступнику, поставленному на эшафот перед палачами, в момент поднятия над ним страшных орудий, объявили нежданно свободу, то он бы не ощутил такой жгучей радости, как Богдан, услышавший на призыв братский восторженный отклик своих товарищей и друзей... Много ему приходилось потом переживать моментов великих побед, моментов необычайного, опьяняющего поднятия духа, но такого момента не пришлось пережить, перечувствовать дважды, и он запечатлелся в его сердце неизгладимым тавром... Это была бескровная победа духа, покорение сердцем сердец, торжество великой братской любви!..

Все упования, весь успех дела, все напряжение своего наболевшего сердца, всю жизнь свою Богдан поставил на карту, и карта была дана... Да, другого такого мгновения быть не могло, оттого-то и прервалось у Богдана слово, и он только молча поднял руки к заалевшему и словно обрызганному кровью востоку...

— Братья родные! Други! — не выдержали этой сцены Ганджа и Морозенко и, словно исступленные, рванулись обнимать всех козаков; их примеру последовали и товарищи.

Многие плакали, утирали кулаками глаза и смеялись, лобызали друг друга, говоря бессвязные речи:

— Ах вы, клятые! Ах вы, собаки родные! Шельмы, черти! Да чтоб мы один на другого?.. Да поглоти нас сырая земля! Потопи нас Днепр!.. Одна нас мать породила, за одну и умирать! Эх, любо!

Стерничий дед не отирал катившихся по его морщинам и по седым усам слез, а только простирал широко руки, словно желая обнять разом всех.

— Братцы,— силился он выкликнуть клокотавшим от

радостных слез голосом,— такого свята нет другого на свете, уж именно — велыкдень! Христосуются братья, радость-то, радость какая! Ангелы с неба дивятся ей, засмотрелись, вот и на темную землю может быть брошена богом светлая, райская минута!

А Кречовский, поднявши высоко руку, провозгласил напоследок торжественным, напряженным голосом:

— Товарищи! Други! Поклянемся же мы теперь вольною, не подневольною клятвой, поклянемся перед нашим батьком Днепром и перед этим небом, подножием предвечного бога, поклянемся за себя и за наших товарищей, что все мы, как один, станем под булаву нашего кревного гетмана, нашего батька Хмеля, и умрем честно и славно за нашу неньку Украйну!

— Клянемся! — вырвался изо всех грудей могучий, потрясающий отклик, и сотни рук со сложенными двумя перстами поднялись над обнаженными головами вверх к мутному небу.

LV

По прошествии первых взрывов шумной радости Кречовский распорядился братским сниданком — трапезой: кашевары изготовили кулеш с салом, достали из байдары сушеной баранины и выкатили полубочку горилки. Хотя было и походное время, но такой необычайный праздник давал право нарушить строгость военных постановлений, и все приветствовали с восторгом это нарушение. Началось широкое дружеское пированье.

Богдан, впрочем, не мог на нем оставаться: он торопился к своему войску, так как неприятель был уже на виду и столкновение могло последовать во всякое время; кроме него, никто не знал настоящей цели поездки гетмана, а потому отсутствие его могло вызвать общее смятение и подвинуть татар на какой-либо злостный поступок.

Богдан выпил вместе с товарищами два ковша оковитой — за общее побратанье и соединение под одним стягом всех сыновей Украйны и за освобождение ее от египетского ига, а затем стал прощаться со своими друзьями. Полковник и вся старшина клялись гетману, что привернут и остальных рейстровиков на его сторону.

— Если б еще нам кони, так мы бы завтра прибыли к тебе, любый мой куме и гетмане, все гуртом на вечерю.

— Кони будут,— воскликнул с уверенностью Богдан,— татаре берут их с собой двойной комплект, а Тугай-бей мне не откажет.

— Расчудесно! — обрадовался Кречовский.

— Что и толковать, пышно! — подхватил Нос.

— Так мы, ясновельможный батько, мигом! — загомонела весело старшина.

— Поезжай себе, ясный гетмане наш, к своему славному войску спокойно,— сказал дед,— и считай всех рейстровиков в своих лавах: у всех нас один дух, одна душа, да и правда у нас одна... Може, она и истаскалась вместе с нашею долей по жидовским шинкам да по панским хлевам, а как крикнешь: «Все разом!», так встрепенется она и к нам пристанет...

— Дай боже, чтоб твое пророчье слово справдилось,— промолвил сердечно Богдан,— на вас все упование наше, в вас все надежды народа: станете дружно — и воспрянет придавленный люд, а как воспрянет, так врагов наших не останется и следа, исчезнут яко дым, растают яко воск от лица огня.

— Так, батько, так! — качал утвердительно седою как лунь головой дед.— Не устоять пекельнику перед честным и животворящим крестом, не устоять и гонителям нашим перед нашею правдой!..

— Вот только за немецкую пехоту не совсем я уверен,— вставил Кречовский,— старшина там — немцы, строго держат жолнеров в муштре и послушестве, а немец, известно, от кого берет плату, за того и стоит.

— Да, пане полковнику,— возразил есаул,— в пехоте же все свои козаки, наш брат, только в немецкой одежде... а что до старшины, так и у нас же она не своя, а ворожья — вся ляшская; а коли и есть два-три человека, будто своих, так они перевертни, еще хуже ляхов!.. С такою старшиной и толковать нечего, и ладить не след: бурьян выполоть нужно,— сорную траву из поля вон!

— В самый раз! Верно! — подхватили злорадно несколько голосов.

— Всех их, аспидов, к дидьку! — крикнул Морозенко.— В одну кучу до панов и арендарей!

— Бесам на бигос! — засмеялся Ганджа.

Все захохотали.

— Да,— вздохнул дед,— не таковы они, чтоб их миловать.

Кречовский немного побледнел, но не возразил и слова: у него были меж старшиною друзья.

«А хорош и я с своею клятвой Потоцкому! — мелькнула у него мысль.— Хорошо загладил свои вины, добре постарался встретить Хмельницкого!.. Впрочем, что ж?— успокоил он себя.— Я не сбрехал, не сломал клятвенного обещания, а действительно употребил все усилия поскорее свидеться с кумом».

И Кречовский улыбнулся злою, ядовитою улыбкой.

А Хмельницкий, оставив Ганджу и Галагана на помощь куму [96], собрался уже с Морозенком и небольшим конвоем скакать назад к Жовтым Водам, где, по его расчету, должны были отабориться полки.

Прощание рейстровиков с своим гетманом было радостное: всякий знал, что оно кратковременно и что через день, через два настанет еще более радостная встреча. Со всех сторон неслись к нему сердечные пожелания, светлые пророчества, простирались восторженно руки, летели шапки к копытам его коня. Когда, растроганный таким приемом, Богдан после излияния благодарности от себя и от родины поворотил наконец своего Белаша, то грянули со всех концов ему на дорогу залпы из рушниц и мушкетов и провожали долго его перекатным эхом, пока он не скрылся за холмами, подернутыми дымчатою мглой.

По отъезде Богдана пированье приняло еще более широкие размеры; разгулявшихся козаков остановить уже было нельзя, а потому за первой распитою полубочкою последовала неизбежно вторая...

За ковшами шла оживленная, шумная беседа, приправленная веселым смехом и радужными проектами, сдобренная по адресу врагов хлесткою бранью и угрозами. Сговаривались между тем, кому на какой байдак отправляться и какого пустить где жука: иные были той думки, что лучше всего ошарашить всех сразу воззванием, действовать, одним словом, нахрапом, а другие, более осторожные, предлагали вербовать приверженцев исподволь, тихомолком... Спорили, горячились и порешили на том, чтобы вызвать по одному из десятка рейстро-

виков и устроить в укромном месте черную раду, совет из одной только черни без начальства, а тогда уже, сговорившись, крикнуть так, чтоб и уши старшине заложило.

Переговоривши обо всем, условившись насчет предстоящей встречи с товарищами, некоторые козаки разлеглись отдыхать, а большинство затянуло удалые песни. На звуки песен откликнулась бандура и зазвонила своими струнами и приструнками; нашлись и поэты, начали слагать к данному случаю слова, прилаживать к ним музыку, развивать захватывающий душу мотив, и создалась тут же широкая, пламенная народная песня, пережившая многие поколения, занесенная на страницы истории...

Гармоническими, могучими волнами понеслась она тогда по Днепру навстречу едущим братьям. Очарованные звуками и силою слов, козаки один за другим приставали к певцам и подхватывали дружно молодыми, звонкими голосами:

Течуть річки криваві
    Темними лугами,
Ой то ляхи, вражі сини,
    Глузують над нами...
Ступай, коню, піді мною
    Широко ногами,—
Поєднались, побратались
    Всі сини у мами...
Летить орел понад морем,
    Над байраком в'ється...
Ой там, ой там уже козак
    Із ляхвою б'ється.
Ой годі вам, вражі дуки,
    Руську крівцю пити,—
Не один лях вже тепери
    Посиротить діти...

А тем временем вся флотилия с рейстровиками и пехотой, имевшими во главе своего старшого Барабаша, ночевала лишь за один перегон от пировавших товарищей и не могла двинуться в путь вследствие сильной волны и противного ветра. Барабаш решился даже передневать, отправив вперед на разведки несколько легких челнов с опытными лоцманами, и пригласил в свою роскошную палатку на трапезу своего товарища Ильяша Караимовича и польскую да немецкую старшину.

Обширная байдара Барабаша была отделана резь-

бой, выкрашена пестро с позолотой и выглядела писанкой; на палубе под шелковым пышным навесом белели накрытые скатертями столы, уставленные длинношеими кувшинами, пузатыми флягами, серебряными мисами и полумисами со всякою снедью. Над пологом подымалась вверх высокая мачта, а на ней, вместо флага, болтался повешенный рейстровик.

— Что это у тебя, ясный пане,— спросил подъехавший в лодке Ильяш, указывая на мачту,— новое какое-то украшение?

— А новое, пане-товарышу, новое... хе-хе-хе! — захихикал старческим скрипучим смехом старшой.— Недавно вот привели шельму, переметчиком стал, бунтарем... Где-то там наловил брехень мятежных и давай их пускать между рейстровиками: что будто этот скаженый пес Хмель, этот мошенник, этот обманщик стоит недалеко и всех зазывает к себе, что у него будто сила... Так я вот этого глашатая и вздернул повыше, чтобы сзывал к себе воронье... Хе-хе-хе! Пусть покружится на виду у всех!

— Так и след,— кивнул длинными усами Ильяш,— у них у всех очи так и бегают сюда и туда, так и горят изменой... Нужно их осадить сразу!

— Да я послал юркого Пешту по всем байдакам, он наверное выудит таких шпигов на каждом. И через час, не больше, все байдаки украсятся у меня такими же флагами.

— Хи-хи-хи! — потер руки Ильяш, почти сощурив свои узко прорезанные глаза.

Начала сходиться старшина. Все приветствовали наказного с особым почтением и шумно одобряли его остроумную выдумку, встречая дружным хохотом появление оригинального флага на другом байдаке. Только немец Фридман сомнительно качал головою и говорил тихо соседу:

— Один страх — хорош, два — ничего, а много — очень нехорошо! Это на своя голова!

Но немца никто не слушал; да его и не слышно было за осушаемыми келехами, за звоном серебра и стекла, за стуком ножей, за гомоном и возрастающим разнузданным смехом гостей.

— Пусть мне поручат,— говорил уже не совсем твердым языком Барабаш,— справиться с этою рванью, так я им покажу, а то ясновельможный покарает их,

а потом снова попустит. Я бы их сразу гайда — и бунта чертма!

— Перевешал бы всех, ясный пан? — спросил весело полковник Дембицкий.

— О найн, нет, нет! — застучал Фридман ножом по столу.— Вешать — ни! Мой ландскнехт * вешать нельзя. На него веревка не можна, он сам вешать всех любит.

— Ха-ха-ха-ха! — захохотал во все горло Дембицкий.— Перепугался немец и заджеркотел... боится, что веревок не станет. Да я всю свою пеньку подарю на такое дело, а то и колья, проше пана, пойдут в дело.

— Я не пугался,— загорячился немец,— я не боялся никто, а для мой ландскнехт не дам не веревка, вешай, пан, свой рейстровик, а мой — ни! Попробуй пан кол, а он тебе — спис.

— Цо? — вспылил Дембицкий.— Ты, немчура, мне не очень!

— Что? Немчура? Я рыцарь, а не немчура! Я буду показать пану, что такое я! — схватился Фридман за саблю.

Барабаш просто ложился от хохота, потешаясь сценкой немца с поляком; но такой оборот дела встревожил его, и он пошатнулся к Фридману и удержал его за руку:

— На бога! Что ты затеял? Ошалели, панове, что ли? Хе-хе-хе! Как кошка с собакой! Стоит ли из-за быдла? Вот выпейте мировую! — наполнил он им кубки.—Я ведь и сам бы не хотел их перевешать, а лучше переселил бы всех на польские земли, а сюда, на наши, перегнал бы мазуров и литовцев: из них добрые бы вышли хлопы; они и до работы, и до послушенства привычны, а наши нехай себе там, в Польше, бунтуют. Хе-хе-хе! Покойнее нам, господарям, будет, а козачье там не покурит!

— Досконально! — крикнул восторженно Дембицкий.— Это просто гениальная думка!

— Верно! Пан наказной — гениус! — подхватили другие.

— Это, в самом деле, панове, умнее, чем резать, и прибыльнее, хе-хе-хе... я таки этот проект предложу. Да вот и теперь,— улыбнулся слащаво и самодовольно Барабаш,— я порешил загнать моего кума в Сечь и там

* Ландскнехт — найманий воїн.

истребить, разорить их осиное гнездо до камня, до цеглыны, чтоб и знаку не осталось, а потом переселить.

— Виват нашему гетману! — загалдели все вокруг столов.

— Что Сечь нужно снести до основания, так это первая речь,— стукнул ковшом Караимович.

— Первая, первая! — поддержали его поляки.

— Так и начнем! — поднял келех Барабаш и чокнулся со своим соседом.— На погибель всем бунтарям и на славу пышному лыцарству.

— Виват! — откликнулись ближайшие, а дальние, не расслышав за шумом возгласа, крикнули: «До зброи!»— и обнажили сабли.

— Ха-ха! — замахал руками Барабаш. — Вложите сабли в ножны; сегодня мы мирно пируем, а завтра, говорят, Хмельницкого увидим. Только нет! Эта лисица удерет, услышит про нас — и хвост подожмет, и следы заметет; это целая шельма! Как он только меня одурил! Шельма, хоть и кум, а шельма! Как начнет в глаза, так что твой святой, а письмо напишет — что ни слово — мед, мед-липец, и только! А за пазухой у него камень, да и в печенках стонадцать чертей и пять коп ведьм!

— Хмельницкий — голова, у, копф! — затряс поднятою рукой Фридман.

— Ну, а мы его заструнчим, как волка! — крикнул Дембицкий.

— И будем травить псами в Варшаве! — подхватили поляки.

— Если дастся только в руки,— заметил кто-то из своей старшины.

— Да вот и я утверждаю,— продолжал Барабаш,— что он удерет в степь; его только не допустить до населенных мест, потому что хлопы будут помогать, пристанут, а в степи пусть он к нам выходит. Мы его как стиснем с двух сторон, так он и слюну пустит, хе-хе-хе. Запищит, как мышь в тисках!

— Захмелеет Хмель! — сострил кто-то.

— Го-го-го! Ловко! — поддержала остроту пьяная старшина.

— Только вот беда,— заплетался языком Барабаш,— побоится, утечет чертов кум!..

В это время на палубу шумно вошел Пешта и объявил встревоженным голосом:

— Ясновельможный пане! Только что возвратились два челна; недалеко отсюда, где наша передовая галера, слышна пальба. Очевидно, Хмельницкий напал на нее!

Все сразу осунулись и притихли; какое-то неприятное, подавляющее впечатление отшибло даже хмель в разгоряченных головах и пробежало по спинам панства холодною змейкой. Длилось тяжелое молчание.

LVI

— Нам надо скорее бежать к ним, помогать! — встрепенулся первый Фридман, услышав нежданную весть, принесенную Пештой.

— Так, так! — зашамкал беспомощно Барабаш.— Помогайте, друзья мои... все дружно... Сниматься с якорей, конечно... да... нужно сниматься... С божьей помощью! Нас ведь много... Господь сохранит! Так рушать!— возвысил он свой дрожащий голос.

— Тем более, что и ветер стал нам попутным,— ободрил Пешта,— вы, панове, отправляйтесь вперед, а я, ясновельможный пане, буду охранять арьергард, где все наши запасы; неприятель на них главное и ударит.

— Так, так,— хлопал веками Барабаш,— а може б, и я в запас...

— Ясновельможному надо быть на челе! — улыбнулся Пешта.

— Так, так! — вздохнул Барабаш и для освежения выпил целую кружку холодного яблочного квасу.

Пиршество прервалось. Все бросились суетливо к своим байдакам, и через полчаса, окрыленные парусами, они уже неслись вниз по Днепру, словно стая белых лебедей.

К вечеру в тот же день байдаки Барабаша и Караимовича вошли первые в устье Тясмина. Еще до причала Барабаш увидел сам при заходящих лучах солнца рейстровиков Кречовского, спокойно лежащих на протяжении берега. Это привело его в недоумение: не перерезаны ли все? Но позы были так непринужденны, группы живописны, и не замечалось никаких безобразных следов смерти и разрушения. Однако он все-таки послал челнок для разведки и приостановил свой байдак. Разведчик не замедлил привезти ему известие, что у полков-

ника все благополучно и что никакого врага он и в глаза не видал, а стреляли они-де сами, на радостях, что пристали к берегу. Барабаш вздохнул облегченно и, выпивши по этому случаю два добрых ковша березовки, отдал приказ причаливать всем к берегам Днепра и Тясмина, а на утро высаживаться войскам.

Уже вечерняя заря совершенно потухла, когда байдаки начали приближаться и останавливаться у берегов. Обычное оживление при причале, суетливая беготня, перебранка и оклики на этот раз совершенно отсутствовали. Молча и угрюмо совершали свою работу, загадочно посматривая друг на друга, козаки; нигде не было проронено ни шутки, ни смеха, ни лишнего слова...

Между тем рейстровики Кречовского, завидя пристающие к берегу байдаки, встрепенулись, засуетились и рассыпались вдоль по Тясмину между шелюгами и лозняком, а некоторые переправились на челнах и на берег Днепра; сумрак, слетавший быстро с бурного, облачного неба, прикрыл их движение. На байдаках начали появляться таинственные гости; какие-то тени отделялись потом от толпы и тонули в темноте ночи. Кречовский остался на своем байдаке только с дедом стернычим и стоял неподвижно на корме, испытывая неприятную дрожь и тревожно всматриваясь в налегавшую со всех сторон тьму.

Глухая ночь. По темному небу несутся черные облака, клубятся, набегают друг на друга и заволакивают все мрачною пеленой. Вдали на рубеже горизонта вспыхивают по временам бледные огоньки, словно небо мигает; блеснет, осветит на мгновенье клубящийся полог, а потом и потопит все в непроглядной тьме. Вот-вот брызнет дождь, даже пахнет им, но брызг нет, лишь ветер нагибает лозы да тростник на острове Тясмина, шумит в густой листве обступивших его верб. При отблеске зарницы видно, что у каждой вербы стоит по одному и по два рейстровика, что они окружают этот островок тесным кольцом. Фигуры стоят неподвижно, безмолвно, словно тени выходцев из могил. За вербами у двух протоков, извивающихся между очеретом и составляющих единственный путь к этому тайнику, стоят знакомые нам Дженджелей и Ганджа и прислушиваются с напряжением к шуму ветра, не почудится ли в нем плеска волны. Стоят они окаменевшими, неподвижными

фигурами. Время тянется медленно, тоскливо; небо становится еще черней; ветер гудит однообразно и дико.

Но вот послышался треск очерета, легкий удар весла; что-то скользнуло в протоке и тихо причалило к берегу.

— Кто? — спросил Джендзелей, держа в руках пистолет со взведенным курком.

— Черная рада [97],— ответили подъехавшие в челне.

— За что?

— За крест и волю.

Тени вышли из челнока, запрятали его в тростник, а сами проскользнули на остров.

За первым челном последовал другой, третий, четвертый... На обоих протоках опрашивали прибывающих и пропускали на остров; вскоре он весь почти переполнился прибывающими гостями: фигуры входили, протеснялись молча в толпу и стояли, не обращаясь друг к другу ни единым словом. Наконец и Ганджа, и Джендзелей, сообразив, что все уже съехались, оставили у челнов одного вартового, а сами вошли тоже в таинственный круг собравшихся здесь в полночь товарищей.

Джендзелей взобрался на пень и, подняв свой шлык, обратился к собранию громким голосом:

— Почтенная черная рада, позвольте речь держать?

— Говори, рады слушать! — отозвалась глухо толпа и, всколыхнувшись, сжалась еще потеснее.

— Шлет вам, братья, привет гетман наш кровный, батько Богдан Хмельницкий, поставленный богом и всем низовым козачеством на защиту нашей веры, наших былых прав и вольностей давних.

— Благодарим бога за ласку, а батька Хмеля за витанье,— ответили дружнее и оживленнее съехавшиеся рейстровики.

— Братья родные, запроданные своими перевертнями, своими обляшками в неволю, ограбленные, приниженные нашими гонителями, нашими напастниками! — поднял Джендзелей голос, взволнованный и дрожащий от напряжения.— Бог нам дал душу, чтобы мы боронили ее от греха, а есть ли на свете более тяжкий грех, как продать свою веру? Есть ли страшнее, пекельнее дело, как надругаться над матерью, поднять руку на братьев? Прокляты ли мы на земле? Выродки ли мы последние во всей твари, что не станем защищать своих жен и детей, своих хат, своих храмов? Ведь всякий зверь боронит

свое логовище от врага... Что зверь? Птица божья, безоружная, невинная ласточка, и та бьется с иволгой за детей, нападает с сестрами дружно на коршуна и отгоняет его от своего гнезда. Что вольная птица? Муравей, на что уже крохотная тварь, и тот со своим товарыством отстаивает до последнего дыхания свои кубла и отваживает в десять раз сильнейшего врага. Неужто же мы хуже этой последней комашки? Неужто мы, как придохлые псы, не станем и обороняться от ката? Неужто мы обнажим еще наши клинки на братьев своих, на защитников наших? Да провались тогда под нами земля, поглоти нас пекло на самое дно! Пусть там и черти, и гады, и всякая нечистая сила терзают нас неслыханными, бесовскими муками до конца и за конец света!

— Не быть такому греху! — крикнул первый Нос.

— Не быть, не быть! Не проклятые мы! Не христопродавцы! — завопили все и заволновались.

— Мы идем за веру, за козачество и за весь народ русский! — махал знаменем Ганджа.— Силы наши немалые: позади нас идет Тугай-бей, мурза татарский, известный богатырь ногайской орды. За чем же лучше вам стоять — за костелами или за церквами божьими? Короне ли польской пособлять станете, что заплатит вам неволей, или своей матери Украйне?

— Украйне!—вырвался грозный крик и, смешавшись со стоном ветра, покатился эхом по Тясмину.

— Мы всею хоругвью своей поклялись и за себя, и за вас,— воскликнул зычным голосом Нос,— стать под стяги нашего гетмана Богдана, поклялись лечь костьми вместе с братьями за веру и за край наш родной, так не подведите же вы нас в клятве!

— Не подведем! Не бойтесь! Все клянемся! — отозвалось большинство горячо и подняло вверх руки.

Некоторые же позамялись.

— А как же будет с нашею первою присягой, что дали мы своей старшине?

— Какой такой своей старшине? Нет у нас своей старшины! Старшина у нас — кодло ворожье, ироды, гады пекельные! — посыпались со всех сторон разъяренные отзывы.

— Держать клятву таким аспидам — грех! Мы ломаем ее и даем вольную клятву Богдану! — завопили все дружно и бурно.

— Долой старшину! — прорезал общий гвалт чей-то взволнованный молодой голос.— Этот клятый обляшек Барабаш повесил сегодня моего брата! Смерть мучителю!

— Погибель, погибель! — завопили дикие голоса.— Он было украл и наши привилеи! Смерть ему!

— Смерть и Пеште-иуде,— выделился снова чей-то хриплый голос,— он сам задавил сегодня моего товарища, друга!

— Смерть всем до единого! Погибель и ляхам, и перевертням, и немцам!

— Стойте, панове! — крикнул в это время звонкою, высокою нотой чей-то молодой голос.— Подарите нам одного немца, нашего атамана Хирдму [98], он хоть и строг, да правдивая душа!

— Эка невидаль! Найдешь себе другого! — загалдели одни.

— На базаре немоте будет дешевая цена! — засмеялись другие.

— Нет, панове, жалко немца! — настаивал-таки молодой.

— Да целуйся с ним! Возьми себе его хоть за пазуху! — огрызнулся Нос.

— В чем же станет честная черная рада? — спросил для формальности Дженджелей.

— Все клянемся стать под знамена своего гетмана Богдана,— ответил сиплым и резким голосом Ганджа,— всю теперешнюю старшину вылущить и избрать себе нового старшого.— Так? Згода, панове? — обратился он жестом к толпе.

— Згода, згода! — замахали все шапками, и у всех, по словам летописца, вспыхнул огонь ярости и гнева.

— Так рушать, по байдакам! — вскрикнул Дженджелей, и с громким ревом ринулась толпа, уже не скрывая своего присутствия, к лодкам.

Не было еще рассвета, но небо уже начинало бледнеть, когда выборные подъехали на легких челнах к байдакам. Молчаливо, напряженно ждали их товарищи, лежавшие только для виду, но не сомкнувшие и на мгновенье глаз.

Переданное решение подняло всех сразу на ноги и вырвало из сотен грудей единодушный, не сдержанный уже осторожностью крик:

— На погибель ляхам и перевертням!

Барабаш, успокоенный и подкрепленный настойкой, безмятежно храпел под шелковым навесом своей гетманской палатки, но страшный крик донесся и до его пьяного уха и заставил вздрогнуть всем телом. Полураздетый привстал он на перине и, широко открывши полные недоумения и страха глаза, стал с ужасом прислушиваться к этому приближающемуся крику. Через мгновенье он понял все и беспомощно заметался, не зная в отчаяньи, куда броситься. Но и спасаться было уж поздно: разъяренная толпа с обнаженными саблями и нагнутыми копьями неслась бурным потоком к его палатке. Барабаш схватил было мушкет, но увидел эти искаженные злобой лица, эти устремленные на него свирепые глаза, в которых не было и тени пощады, растерялся, выронил его из рук и в смертельном страхе повалился на колени.

— Вот он — иуда, предатель! Вот он — враг церкви святой! — вопили неистово козаки, устремляясь на бледного, как мел, Барабаша.

— Пощады! Милосердия! На бога! — беспомощно защищал Барабаш старческими трясущимися руками свою обнаженную грудь и молил всех рвущимся от слез и ужаса голосом.— Я за вас, мои дети... будь я проклят, что хотите... куда хотите...

— Ишь, что запел идол! А привилеи украл? А нас всех запродал?

— А сколько перемучил народа, в угоду панам? — протискивались задние ряды с копьями.— Сколько посиротил детей? Скольких пустил по миру нищими, калеками?

— Берите все мое...— шептал беззвучно Барабаш, ломая руки, и искал безумным взором хоть у кого-нибудь сострадания,— все... все... берите... Только жизнь даруйте... покаяться дайте... Христа ради!

— Еще Христом молит христопродавец!

— И руки марать об эту гадину тошно! — заметил другой.

— Татарам продать его! — вскрикнул третий.

У Барабаша уже шевельнулась было надежда: последнее предложение могло бы действительно взять верх, так как татары могли дать за Барабаша приличную

сумму, а корысть для всякого соблазнительна; но в это время из толпы вырвался молодой рейстровик со зверским лицом и пеной на губах.

— Пустите меня посчитаться с собакой! — вскрикнул он хриплым голосом.— Он моего родного брата повесил вчера для потехи.

Расступились козаки перед таким аргументом, и Барабаш понял, что час его последний пробил. Стуча зубами, он инстинктивно схватился за нож... Одеревеневший язык его еще лепетал бессвязно и безумно:

— Ой ратуйте... ратуйте...

— Ступай к бесам, в пекло! — крикнул бешено рейстровик и, взмахнувши копьем, пригвоздил бывшего гетмана к мачте.

Барабаш замахал как-то по-детски руками, словно ища опоры, и, вскинув раза два белками, опустился и повис, словно мешок на гвозде.

На других байдаках разыгрывались в это время подобные же сцены. Некоторые из старшин прятались в трюме; но их находили и там, вытаскивали за ноги и подымали на копья; другие бросались в воду, желая спастись вплавь, но пущенные пули и стрелы настигали их и тянули, при взрывах проклятий, ко дну; иные, пойманные уже в лозах, были вздернуты на мачтах. Одного Пешты, которого все порешили было посадить на кол, нигде не нашли, словно он провалился сквозь землю, да немца Фридмана успел еще вовремя спрятать в камышах молодой рейстровик.

Через час, при проснувшемся утре, кровавая драма уже была закончена на всех байдаках; погибла в ней вся польская старшина, погибла и своя, ополяченная, изменившая народу и вере [99].

Совершив короткий суд и расправу, козаки быстро сошли с байдар, словно убегая от места жестокой казни, и составили на берегу короткую раду: на ней они порешили оставить у себя старшим Кречовского, а полковниками — Кривулю да Носа [100], выбрали из среды своей себе старшину, и у всех шести тысяч стал один ум и забилось беззаветным стремлением одно сердце.

LVII

Уже восьмой день близился к концу, а польские войска все углублялись в степь, направляясь по средней линии между Днепром и Ингульцом к Саксагани; они имели своею конечною целью занять три пункта между нею и Кодаком, чтобы отрезать Хмельницкому путь в населенные места Украйны и атаковать его с трех сторон. Перешедши Тясмин и Цыбулевку, войска вступили в совершенно безлюдные пустыри; на протяжении десяти миль не встречалось ни хутора, ни поселка, тянулось однообразно ровное, не тронутое плугом плоскогорье, окаймленное справа синеющею бахромой лугов и перерезанное байраками да пологими балками, поросшими дубняком и кленом. Чем дальше двигался отряд к югу, тем больше понижалось плоскогорье, переходя в волнистую котловину, тем чаще попадались на пути овраги с бегущими на дне ручьями, топкие болота и илистые речонки, отененные гайками из ольхи и береста. Не то что следов врага, но и следов живого человека почти не встречал Потоцкий в этих местах; несколько диких степняков, пойманных по дороге его разведчиками, не могли или не хотели показать, где Хмельницкий; Чарнецкий, несмотря на свои опыт и знание, не мог выудить про старого лиса ни малейшего слуха: очевидно, сведения, принесенные относительно его движения были ложны, и Хмельницкий, по всем вероятностям, сидел еще в Сечи. Чарнецкий был, впрочем, очень рад этому и тешил себя уже мыслью, как он вместе с Барабашом и Гродзицким обложит чертово гнездо[101] и раздавит в нем гада со всем его отродьем. Но молодой герой, Степан Потоцкий, раздражался тем, что до сих пор не встречал врага; пылкий, мечтательный, славолюбивый, он рвался на подвиг, жадно ища бури, чтобы упиться поэзиею борьбы, поиграть с опасностью, глянуть с улыбкою в глаза смерти; он весь горел нетерпением и отвагой. Движение предводимого им тысячеголового чудовища, закованного в блестящие кольчуги и латы, сверкающего стальною щетиной, украшенного в бархат и шелк, в гребни разноцветных перьев, звенящего оружием и шелестящего бесчисленным множеством крыл, увлеченному юноше казалось бесконечно медлительным; он метался в раздражении от

одной хоругви к другой, торопя всех, или уносился со своею свитой далеко вперед.

Особенно тяготил юного героя хвост этого чудовища — обоз; в нем неуклюже двигались и громоздкие брики, наполненные сулеями, бочонками, провиантом, посудой, коврами, перинами, и неуклюжие буды с поварами и всякою кухонною прислугой, и тяжелые колымаги с панским добром, и роскошные, удобные кареты,— все это, при отсутствии дорог, затрудняло движение войска, а при переправах через балки, овраги и топкие места задерживало иногда на полдня. В походе Потоцкий не отставал от последнего жолнера; он ни разу не захотел сесть в экипаж и сходил с коня разве только на общих привалах. Такой ригоризм не нравился изнеженной шляхте, обязанной, тоже по примеру своего вождя, нести непривычные тягости службы; паны ворчали друг другу: «Детку забава, а нашим костям вава!»

Только закаленный в битвах суровый полковник Чарнецкий да старый и честный служака пан ротмистр одобряли поведение молодого региментаря *, суля ему венец славы. Юный вождь действительно был теперь неузнаваем: задумчивое выражение, казалось, навсегда слетело с его прекрасного лица, глаза его горели энергией и воодушевлением, на щеках беспрестанно вспыхивал и потухал нервный румянец.

Солнце уже близилось к закату, косые лучи его, словно гигантские стрелы, пронизывали всю равнину, окрашивая запад ярким заревом; по противоположным краям обширного небесного купола сбегали уже смутные, лиловатые тени, сливаясь с темнеющим сводом, когда группа блестящих всадников, далеко опередив полки, растянувшиеся по склону котловины сверкающим поясом, подскакала к небольшой речонке. Окаймленная густым тростником и оситнягом, она то терялась, то снова разливалась и пересекала равнину во всю даль извивающеюся змеей. Мутные воды ее, окрашенные теперь низкими лучами солнца, казались кровавыми; на ясных плесах, выглядывавших то там, то сям среди расступившегося тростника, горели такие же огненные пятна.

Лошади всадников зашуршали раздвигающимися стеблями тростника и скрылись в этом зеленом море.

---

* Региментарь — полководец.

Первым вынырнул из него стройный золотистый конь Потоцкого. Остановившись на илистом берегу реки, он широко вдохнул свежий воздух своими раздувающимися ноздрями, издал тихое ржание и потянул свою гибкую шею к разлившейся у его ног неподвижной глади воды. Юноша оглянулся: кругом было тихо и величественно, все замирало, все готовилось ко сну. Облитый розовыми лучами, весь облик белокурого юноши и его стройного коня, разукрашенного драгоценною сбруей, напоминал скорее какого-то сказочного принца, заблудившегося в степи, чем предводителя войска, высланного против грозной запорожской силы.

Между тем из тростника вынырнула и свита юноши.

— Что это за речонка, не знает ли пан полковник?— обратился Потоцкий к Чарнецкому.

— Если не ошибаюсь, ее зовут Жовтыми Водами. Не так ли, пан ротмистр? — повернулся Чарнецкий к седому гусару, находившемуся в задних рядах свиты.

— Точно так, пане полковнику,— ответил тот почтительно.

— Я думаю, мы можем перейти ее вброд? — спросил Потоцкий.

— Сомнительно, — возразил Чарнецкий, — речонка мелка, но, видимо, дно ее вязко.

— Пустое! — пришпорил коня Потоцкий.

Осторожно, вздрагивая всем телом, вступил стройный конь в прохладные воды реки. За Потоцким двинулся Чарнецкий; остальные пустились за ними в беспорядке. Вода, поднявшаяся лошадям выше колен, казалась теперь какою-то огненною жидкостью.

— Жовтые Воды,— повторил словно про себя юноша,— я бы назвал их скорее «кровавые воды»... Мне кажется, что мой конь бредет по колено в крови.

— Дай бог, чтобы это так и случилось,— произнес торжественно Чарнецкий и вдруг перебил сам себя испуганным возгласом: — На бога! Пусть пан регіментарь подтянет повод, лошадь, видно, хочет пить.

— Что, что там случилось? — раздалось среди свиты.

— Конь гетмана потянулся к воде,— ответил резко Чарнецкий.

Но передовые видели, в чем было дело... «Лошадь под предводителем споткнулась!» — пробежал среди панов недобрый шепот.

Действительно, пугливый конь Потоцкого, испугавшись островка лилий, шарахнулся в сторону и, оступившись, упал на передние колени. Хотя это замешательство продолжалось не больше мгновения, но оно произвело какое-то неприятное впечатление на всю группу. Ротмистр нахмурил свои мохнатые брови, и помотавши несколько раз головою, украшенной пернатым шлемом, проворчал несколько невнятных слов, понятных только ему одному.

Перешедши с большим трудом речонку, всадники остановились на берегу.

— Что это? Мне кажется, к нам мчится какой-то всадник,— прикрыл Потоцкий рукою глаза, вглядываясь в какую-то смутную точку, быстро летящую к ним.

— Клянусь палашом, правда! Это из наших разведчиков! — поравнялся с Потоцким Чарнецкий.

Вся свита всполошилась.

— Из драгун?

— Нет. Из коронных жолнеров.

— Татарин!

— На двести злотых — козак!

Раздались кругом тревожные восклицания.

Между тем точка все росла и расширялась. Вот уже обрисовались очертания лошади и всадника. Вот уже вырисовался его убор, его отчаянно машущие руки; вот стало приметно и лицо, словно встревоженное, словно испуганное, с выражением чего-то страшного и решительного.

— Да это Чечель! Он бледен, словно его догоняют все полчища сатаны! — вскрикнул Чарнецкий, закусывая ус.— Потонули, что ли, все рейстровые, ведьмы им в глотки? — попробовал он засмеяться.

Но никто не поддержал ни его проклятий, ни смеха: все с каким-то болезненным напряжением поджидали гонца. Вот он приблизился и, осадивши взмыленного, шатающегося коня, произнес задыхающимся голосом:

— Пане гетмане! Неприятель — за мною... отаборился... ждет!

Словно ветер, пролетел не то вздох, не то какое-то восклицание среди всей свиты.

— Vivat! — воскликнул в восторге молодой вождь.— Панове полковники, есаулы, ротмистры,— обратился он к свите,— скачите к полкам своим, пусть переправляют-

ся скорее и строятся к атаке! Да принесут еще эти прощальные лучи известие богу о нашей победе!

Поскакали более горячие и завзятые начальники к своим частям, а более степенные, украшенные пробивающимся на висках морозом, нерешительно повернули коней и в недоумении направили их тихо через ручей.

— Пышный мой пане,— наклонился Чарнецкий к загоревшемуся неизведанною еще страстью Потоцкому,— сегодня начинать атаку поздно, а с наличными силами даже опасно.

— Почему?

— Разорвать козачий табор без сильного артиллерийского огня невозможно, а перевезти нашу тяжелую армату через эту вязкую тину немыслимо без фашин и загаты.

— Но наши гусары? — обернулся резко Потоцкий.— Они своими всесокрушающими копьями и неудержимым стремлением разорвут и фалангу Филиппа [102].

— Совершенно верно за фалангу Филиппа, но не за табор козачий.

— Как? Полковник сравнивает козаков с могучими воинами древней Греции, ставит выше их? — даже отпрянул в изумлении конем молодой рыцарь.

— Я сравнивал не строй, а способ защиты,— продолжал сдержанно, но с достоинством Чарнецкий.— Ясновельможный пан, конечно, знает эти подвижные козацкие крепости, но не брал их еще никогда приступом, а мне уж это случалось не раз. Ведь они иногда устанавливают даже в десять рядов свои широкие, обитые железом и скованные цепями колесо к колесу, возы! Как могут прорвать кони эту неразрывную десятисаженную стену? Они напарываются на торчащие, как пики, оглобли, а в это время сидящие между возов козаки палят в гусар из мушкетов. О, промахи для них редки, а гусарские пики не достигают до козаков! Так вот, и не угодно ли подойти к этой Трое [103] пехотой или перескочить ее кавалерией? Нужно иметь или крылатых пегасов *, или строить туры да подвижные башни.

— По словам пана,— улыбнулся недоверчиво и слегка насмешливо юный регlaunчментарь,— это нечто даже

* Пегас — за грецькою міфологією, крилатий кінь.

недоступное воображению; но мне интересно самому убедиться в его неприступности...

И, приподняв слегка свой кованный из серебра шлем с золотою чешуей, спадающей на шею, с гребнем белых страусовых перьев, он дал шпоры коню и понесся стрелою в окрашенную алою мглой даль.

Вспыхнувший от насмешки Чарнецкий грозно сжал брови, но также рванул с места коня; за ним понесся пан ротмистр с некоторыми из ближайшей свиты.

Едва Потоцкий вынесся на небольшую возвышенность, тянувшуюся по правому берегу протока, как перед глазами его раскинулась величественная картина. Среди обширной глади чернел гигантским четыреугольником козацкий лагерь, обрамленный широкою, более светлою каймой; по углам этой рамы блестели, словно украшения, козацкие пушки. Вдоль каймы тянулись в три ряда сверкающие точки.

— Их гораздо больше, чем я предполагал,— подскакал Чарнецкий к Потоцкому, остановившемуся неподвижно перед этою картиной.— Взгляни, ясный пане, какой громадный квадрат!

— Да, в лагере будет, пожалуй, до десяти тысяч,— добавил с уверенностью и ротмистр.

— Всего только по два пса на льва! — пожал презрительно плечами Потоцкий.

— В поле их и десять на одного гусара мало, но за этою стеной...

— Да, их там не достанешь ни копьем, ни палашом, ни кривулей,— заметил серьезно пан ротмистр,— да и бьются они молодцом, славно!

Потоцкий молчал и кусал себе в досаде усы.

— Вот негодяи! — прошептал сквозь зубы молодой есаул, перебирая плечами от резкого, своевольно охватившего его тело морозца.— Ощетинились, словно кабаны, да и поджидают, как бы запустить нам в бок клыки...

— Ощетинились! — сверкнул глазами ротмистр. — Да ты взгляни, пане, как ощетинились? Думаешь, если бы нам удалось даже прорвать их возы, дрогнули б они, разбежались? Все бы до единого полегли, а не подались бы назад ни на шаг! Да! Знаю я их!

У есаула, несмотря на его усилия, пробилась еще явственнее непослушная дрожь.

Потоцкий не мог устоять на месте от охватившего его задора и понесся дальше к козацким рядам; за ним погнались Чарнецкий и ротмистр; остальная свита поскакала только для вида, стараясь держаться в стороне.

— На бога, яснейший пане! — кричал Чарнецкий.— Не слишком приближайся к собакам: эти шельмы целятся метко. Марс поощряет отважных, но безумных карает... Какая-нибудь шальная пуля или стрела...

— Мужество ясновельможного пана поразительно,— вскрикнул с восторгом ротмистр,— но жизнь твоя дорога нам!

— А мне доблесть и долг дороже ее! — бросил запальчиво своим советчикам юноша и осадил коня, только прискакавши почти на выстрел к лагерю.

Теперь лагерь растянулся перед ним еще шире. Грозный четыреугольник сбитых широкою рамой возов представлял действительно необоримое препятствие, а за ним внутри чернели тяжелыми темными массами готовые к бою запорожские потуги.

Торжественно, стройно стояли козаки, не слышалось среди них ни крика, ни насмешки, ни боевого возгласа; освещенные последним отблеском зашедшего солнца, они казались какими-то мрачными бронзовыми изваяниями, сурово поджидавшими к себе на грудь недобрых гостей. Все было тихо и неподвижно в козацком лагере, и от этой мрачной тишины и от угрюмых теней, уже покрывавших весь табор темным пологом, эта затаившаяся масса казалась еще непреклоннее, еще грознее.

Охваченные сильным впечатлением, всадники также молчали. Вдруг в тылу их раздался звук труб и литавр. Потоцкий быстро оглянулся и увидел, что войска его переходят уже через ручей [104], помешавший ему упиться немедленно восторгом атаки.

— Поспешим, ясный пане,— обратился к нему Чарнецкий,— вижу, что уже строятся наши полки.

— Только легкая кавалерия, если мне не изменяют мои старые очи,— поправил ротмистр.

У Потоцкого снова было вспыхнула надежда рискнуть и ударить в это укрепление страшным натиском гусарских пик... но где же они, эти славные гусары и драгуны? И Потоцкий стремительно понесся назад к своим строящимся хоругвям.

В то время, когда Потоцкий доскакал, легкая кавалерия стояла уже в строю с распущенными знаменами и встретила своего полководца воинственным криком: «До брои!»

LVIII

Центр занимали польские козаки, одетые в жупаны, в высоких барашковых шапках с выпускными красными верхами, вооруженные саблями да легкими пиками; на правом фланге стояли польские татары в чекменях, низких шапочках, с кривулями й сагайдаками за спиной; на левом фланге были польские пятигорцы в черкесках, папахах с шашками да рушницами.

— А где же мои гусары? — спросил у Шемберга гетман.

— Не могли переправиться, ваша ясновельможность, через эту желтую топь; едва-едва переправилась легкая кавалерия и то разгрузила на огромное пространство это болото. Драгуны двинулись и начали вязнуть своими тяжелыми конями по брюхо, а гусары так с первых шагов загрязли... засосались...

— Гром и молния! — вскрикнул взволнованный гетман.— И эта речонка может служить препятствием к бою? Чтоб ночью были устроены гати,— возвысил он голос, — а к рассвету чтобы здесь уже стояла моя артиллерия и развевались все хоругви!

— Все, что возможно, будет исполнено,— замялся почтительно Шемберг,— но фашин нет, надо искать верболоза и лозняку.

— Проклятие! — вскрикнул Потоцкий.

— Но пусть не печалится ясновельможный: все уладим, добудем... а ничтожное промедление сослужит нам пользу... подойдут полки Барабаша.

— Они уже должны быть недалеко: я послал им в проводники десяток драгун,— доложил ротмистр.

— Ну, уж ждать рейстровиков не нахожу нужным,— загорячился Потоцкий,— в лагере трусливое молчание... паника... мы справимся и без них.

— Молчание нельзя объяснять паникой,— вмешался Чарнецкий,— черт побери! Они бросались дерзостно и на более многочисленные полки.

— Да, они стойки! — подтвердил Шемберг.

— Тысяча перунов, как стойки! — воскликнул ротмистр.

— Як бога кохам,— улыбнулся Потоцкий,— ваши отзывы, панове, порывают меня еще больше столкнуться с врагом и доказать ему, что у моего грозного, покрытого славой войска хватит и силы, и доблести раздавить мятежных козаков.

— Виват! Виват! — загремел взрыв восторженных приветствий.

— Несмотря на это,— заговорил после паузы настойчиво и серьезно Чарнецкий,— я бы просил, ввиду скорейшего осуществления ясновельможных желаний, не только не перетаскивать сюда артиллерии и обоза до прихода рейстровиков, а даже отступить назад с легкой кавалерией. Клянусь моею честью и опытностью,— поднял он руку на нетерпеливое движение предводителя,— козаки, заметя невыгодное положение и слабость наших легких хоругвей, бросятся стремительно по покатости и опрокинут их в болото.

— Я присоединяюсь к мнению полковника,— наклонил голову Шемберг,— позиция внизу, так сказать, под врагом, да еще с болотом в тылу — это вещь невозможная.

— Совершенно справедливо,— заметил и ротмистр,— разрывать войска нельзя, а на той стороне можно и окопаться, и подождать Барабаша с Ильяшем, а потом уже разом окружить и разнести на клочки врага.

Другие начальники хоругвей поддержали тоже это мнение, и Потоцкий, скрепя сердце, должен был подчиниться военному совету.

Не только заря успела погаснуть, но и заснувший ветер успел уже проснуться снова, и потемневшее небо успело покрыться чешуйчатою сетью облаков, усиливших мрак, когда, наконец, атаманы и легкие хоругви возвратились назад к своему обозу: пришлось ехать далеко в обход, так как по разгруженному болоту решительно нельзя было перебраться конем.

Начали сейчас же устраивать боевой лагерь.

Впереди уставили цепь из брик и фургонов, выдвинули между них артиллерию, расставили в авангарде широкою дугой спешившихся драгунов, нарядили по сменам конные разъезды и начали окапываться со всех четырех сторон рвами. Внутри же расставили по углам вартовых

и развели огромные костры. Между тем и паны велели разбить свои шелковые палатки, выкатить бочонки вина, наливок, венгржины, и вскоре весь воздух огласился их громкими возгласами, заздравными криками и хвастливыми поздравлениями с завтрашнею победой.

В козацком лагере тоже мерцали огни, хотя все было безмолвно и сурово.

Но вот стали затихать громкие возгласы и в польском обозе. Послышался кое-где густой храп, тихое фырканье лошадей, и мирная ночь спустилась над этими еще живыми, но уже обреченными смерти людьми.

Еще солнце не показывалось на горизонте, а все уже кипело жизнью в польском лагере. Играли трубы, били барабаны, предводители строили свои полки. К Потоцкому, осматривавшему грозных гусар, подскакал рыжий Шемберг.

— Ясный наш вождь,— преклонил он клинок обнаженной сабли,— мои лазутчики принесли мне известие, что рейстровики уже недалеко, идут к нам... вон там, за гайком; с минуты на минуту они должны быть здесь.

— Отлично, пане полковнику, мы подождем их прибытия. Строиться и ждать! — скомандовал Потоцкий войскам и, пришпорив коня, направился к небольшому пригорку, возвышавшемуся среди лагеря. За Потоцким последовали Чарнецкий, Шемберг, ротмистр и другие паны.

Перед глазами их открылась освещенная восходящим солнцем обширная равнина и огромный козацкий табор, занявший своею тяжелою массой весь ее горизонт.

— У них мало орудий,— заметил сквозь зубы Чарнецкий, всматриваясь в длинный ряд козацких укреплений.

— И положение их не совсем удобно, — прибавил Шемберг.— Когда подойдут рейстровые, нам не трудно будет опрокинуть весь их табор.

— Еще бы! — раздалось то здесь, то там.— Трусы! Смотрите, как притихли; небось, теперь и не задевают нас, как в былое время!

— Да постойте, пышное рыцарство,— заметил ротмистр,— они понадвинулись к реке.

— Клянусь найсвентшей маткой — это так! — воскликнул изумленный Потоцкий.— Они были вчера за полмили, а теперь на скате!

— Какая дерзость! — выхватил саблю Чарнецкий.

В это время на краю горизонта показались какие-то смутные, миражные линии.

— Они! Рейстровики! — крикнул громко Шемберг.— Ветра нет... Что-то колеблется маревом... Это наши стяги и хоругви.

— Рейстровые, рейстровые!—раздались кругом громкие возгласы.— Вон видны и кони!

— Vivat! Рейстровые! Подмога! Подмога! — замахали шапками паны, а за ними жолнеры, и громкие крики огласили весь лагерь.

— Но откуда они достали коней? — заметил с изумлением ротмистр; за шумными проявлениями восторга никто не обратил внимания на его слова.

Только драгуны молчали, посматривая нерешительно друг на друга из-под своих круглых, отороченных стальною сеткой шеломов. Казалось, какая-то общая затаенная мысль охватывала их всех и смущала сердца. Но, увлеченные нетерпением, и предводители, и жолнеры не замечали тревожного состояния своих сотоварищей. Между тем движущиеся облики вырезывались все яснее и яснее, и через четверть часа предводители действительно могли уже различить стройные колонны приближающихся полков [105].

— Молодец Кречовский! Поспел! Как раз вовремя! Стоит награды! — послышались среди панов громкие восклицания.

— Ну, уж мы теперь их всех живьем переловим! На арканах приволочим к гетману песьих сынов! — кричали хвастливо рыцари то в той, то в другой группе, размахивая саблями и руками.

А волнующиеся линии конницы все вытягивались и вытягивались... Они направлялись от Днепра, но по странной случайности двигались не по этой стороне речонки, а по другой, неприятельской...

Молодой гетман не замечал этой странности, а, отдавшись весь воинственному азарту, жадно следил за приближающимися колоннами и мысленно летал уже с окровавленною саблей в руке среди смятых и разбегающихся врагов.

— Ах, как они медленны! Как медленны! — горячил он в нетерпении коня.

— Но они, черт побери, слишком приближаются к

лагерю неприятеля! — пробормотал сквозь зубы Чарнецкий, сжимая свои широкие, почти сросшиеся брови.

— Да,— заметил и региментарь,— быть может, они не знают брода.

— А проводники? — спросил каким-то неверным голосом ротмистр.

— Да... Никто не вернулся пока,— повернул тревожно Шемберг коня, чтобы лучше рассмотреть движение рейстровиков.

— Слишком! Чересчур приближаются к неприятелю,— заволновался Потоцкий,— могут попасть в ловушку...

— Да чего им бояться? — выхватился чей-то задорный, молодой голос, но он прозвучал как-то странно в охватившей вдруг всех тревожной тишине.

— Смотрите, смотрите! Неприятель с их стороны размыкает табор,— горячился юный полководец,— сейчас последует вылазка!.. За мною! На выручку товарищей!— выхватил он свою саблю.

— До зброи! — подхватили некоторые.

Но в это время раздался бешеный рев Чарнецкого:

— Проклятье! Измена!

— Измена! Погибель! — вырвался один общий вопль из сотен грудей.

Ряды расстроились, жолнеры побросали оружие. Все бросились в смятении и ужасе к окопам. Но сомневаться тут было уже нечему. Распустивши свои козачьи бунчуки и знамена, войска стремительно мчались при звоне труб и литавр в широко распахнувшиеся объятия козацкого табора. Дружные, радостные возгласы тысяч голосов оглашали там воздух с прибытием каждой новой волны. Все у козаков оживилось и заволновалось.

Пораженные, безмолвные стояли поляки, не веря своим собственным глазам. Но вот прошла минута первого ужаса, и тысячи обезумевших от ярости криков огласили весь лагерь. В мгновенье все изменилось: испуганные, бледные, растерянные лица смотрели с ужасом друг на друга, толпясь беспорядочными, сбившимися массами.

— Измена, погибель! Измена! — раздавалось кругом. Только драгуны не разделяли общего ужаса: с загорающимися восторгом глазами они напряженно следили за движением рейстровых войск, прислуши-

ваясь к родным боевым звукам, долетавшим к ним издалека.

— Клятвопреступники! Вероломцы! — сжимал в отчаянии руки молодой предводитель.— Они клялись, и такая гнусная измена! Пусть позор покроет их головы на веки веков! Но мы поляжем здесь братски, панове, один подле другого, а не отступим назад!

Паны молчали.

— Отчаиваться нечего, панове,— заговорил уже бодро, овладев собою, Чарнецкий.— Правда, гнусная измена лишила нас возможности взять штурмом их лагерь, но мы еще можем защищаться. Надо послать только гонца за помощью к гетманам, окопать лагерь, укрепиться. А когда придет подмога, о, тогда мы отплатим им за измену,— будут помнить до судного дня!

Пышная, разряженная, увешанная оружием шляхта несколько ободрилась и бросилась делать, в свою очередь, распоряжения по войскам.

А среди толпы драгун волнение все росло и росло и, казалось, достигло высшей степени. Более всех волновался молодой еще украинец в драгунской форме.

— Братчики! Друзи! Родные! — вскрикнул он вдруг, не выдержавши, и оборвал рыданием слова.

Все оглянулись. Молодой драгун, забывши все окружающее, с восторгом указывал товарищам на исчезавшие в козацком таборе рейстровые войска.

— Холоп! — крикнул бешено Чарнецкий; взвизгнула сабля и опустилась клинком на голову козака. Раздался тупой лязг, и без слов упал, словно сноп, молодой козак. Еще и восторженная улыбка не успела слететь с его лица, но густая волна крови хлынула в одно мгновенье из разрубленной головы и, заливши все лицо, разлилась по земле широким красным пятном. Мрачно расступились вокруг трупа драгуны. Все замолчали и потупились. Какое-то тоскливое и тяжелое смущение охватило всех при виде первой пролившейся в лагере крови.

В это время в козацком лагере вспыхнул огонек, белое облачко покатилось кольцами по траве, и через мгновенье тяжелый грохот всколыхнул весь воздух кругом.

Страшное чудовище посылало свой первый привет.

Между тем рейстровики, проскакавши мимо польских окопов, въехали в козацкий лагерь.

Посреди широкого майдана, окруженного со всех сторон войсками, собралась вся козацкая старшина. Впереди всех сидел на белом коне сам гетман Богдан Хмельницкий. Одетый в белый парчовый жупан, с белым знаменем в левой руке и с серебряною булавой в правой, он мог бы казаться каким-то блестящим архангелом, если бы не глаза его, мрачно горевшие на суровом и темном лице. Над головою гетмана свивались и развивались малиновые козацкие знамена; бунчужные товарищи держали за ним бунчуки. По бокам гетмана, выстроив коней полукругом, помещались Богун, Кривонос, Небаба и другая старшина. Довбыши били в котлы, литавры и бубны.

Но вот показались первые лавы рейстровиков, и оглушительный, радостный возглас прокатился над всею многотысячною толпой.

Войска все вливались и вливались, затопляя и майдан, и все свободные места, и, казалось, с каждою их волной новая отвага и решимость вливались в сердца козаков.

Когда наконец все вошедшие войска выстроились стройными рядами, шесть выборных козаков отделились от них и подъехали к Богдану, держа в руках бунчуки и знамена.

— Кланяемся тебе, гетмане-батьку, и всему славному товарыству,— произнесли они, торжественно кланяясь на все стороны и слагая у ног Богдана знамена и бунчуки,— приходим мы под твое знамя служить церкви святой и матери нашей Украйне!

— Слава! Во веки слава! — раздался кругом воодушевленный возглас и прокатился громом по всем чернеющим рядам.

— Братья, рыцари-молодцы! — начал громко Хмельницкий, подымая свой бунчук.

Все кругом замолчали.

— Пусть будет ведомо вам, что мы взялись за оружие не ради добычи и славы, но ради обороны своей жизни и наших жен и детей. Все народы имеют свои земли, лисы имеют норы, птицы — гнезда, только несчастным козакам негде в своей родной земле буйные головы преклонить. Все отняли у нас поляки — и честь, и свободу, и веру. Это за то, что мы жизни своей не щадили, обороняя польское королевство от тяжких врагов, расширяя его пределы. Не они ли называют вас

хлопами и быдлом? Не они ли замучили ваших гетманов, вашу старшину? Не они ли отдали нечестивым ваши святыни и храмы? Не они ли зверски катуют ваших братьев, и жен, и детей? О, доколе же мы будем, панове-братья, невольниками в родной земле? Бедные мученики, погибшие за край и за веру, просят вас, братья, отмстить за их страшную смерть.

— Отмстим! Поляжем! Веди нас, батьку! Гетману слава! — раздались кругом восторженные возгласы.

Шапки полетели вгору. Объятия, крики, поцелуи, слезы, проклятия — все слилось в каком-то общем, захватывающем порыве.

— Эх, бей меня нечистая сила! — ударил шапкой по земле Кривонос, когда улеглись первые порывы стихийного воодушевления.— Да клянусь своею головой, стоило пережить все наше горе, чтобы дожить до такого светлого дня!

— Веди нас, батьку! Пусти добывать лядский обоз!— закричали разом Богун, Ганджа, Чарнота, Морозенко и другие козаки, обступая Богдана.

— Веди, веди! — подхватила окружающая старшина.

— Стойте, панове,— остановил всех Богдан,— потерпите, еще осталось немного терпеть. Не выходить из-за окопов в поле! С божьей помощью условимся со своими союзниками, а тогда уже ударим наверняка.

Беспрекословно разошлись начальники к своим отрядам, исполняя строгий гетманский наказ.

LIX

Отдавши последние приказания, Богдан отправился в свою палатку в сопровождении Кречовского, Кривоноса, Богуна и других.

— Друзи и товарищи мои! — начал Богдан, когда старшина уселась вокруг стола, и вход закрылся.— Правда, наши силы теперь удвоились, и победа, по всей вероятности, осталась бы за нами, но у нас почти нет арматы, а у поляков много горлят, да еще клятых, убойных. Добывать сразу их лагерь стоило бы слишком дорого: много пролилось бы нашей крови, а ее нужно щадить и беречь; а с союзником мы можем их задавить в их склепе и добыть все их добро без труда. Беллона любит и риск, но больше уважает проницательность и

разум. Мы должны не победить, а раздавить вышедшее против нас войско, чтобы весть о нашей страшной победе сковала ужасом лядские сердца, вселила бы веру и бесстрашие в наши войска и прокатилась бы громовым ударом по всей Украйне. От этой победы зависит все наше дело. Поэтому я и хочу ударить наверняка.

— Твоя правда, пане гетмане! — согласилась старшина.

— Но Тугай-бей уклоняется [106],— продолжал Богдан,— хитрый татарин! Он не доверяет нашим потугам. Я послал ему известие о нашем усилении и буду просить начать битву. Быть может, теперь он станет решительнее.

— Ладно, батьку! — одобрили старшины распоряжение гетмана.

— Мы тебе верим и разум твой чтим, а воле твоей коримся бесперечно.

А Морозенко уже мчался стрелой с поручением Богдана к Тугай-бею.

Утро стояло влажное, туманное. Кругом молодого козака расстилалась изумрудная долина с мягкими пологостями, покрытыми то там, то сям кудрявыми силуэтами окутанных мглою дерев. Налево, за извилистою гривой оситняга и светлыми проблесками воды, темнел длинною полосой польский обоз. Сердце Олексы билось как-то горячо и тревожно, легкий морозец пробегал по спине... Но не страх,— нет, какое-то другое чувство, делавшее все его движения необыкновенно смелыми и легкими, а мысли удивительно меткими, охватывало теперь козака.

— Так, так, скоро в бой! И поквитаемся ж за все, други,— повторял он вполголоса, сжимая коня острогами,— и за других, и за себя!..

И при этих словах перед глазами козака вставала такая близкая черноволосая головка с большими, испуганными глазами, и казалось ему, он слышит ее детский голосок: «Олексо, а когда ты вырастешь, ты женишься на мне?» Где-то, где-то она теперь, бедняжка? Да и жива ли еще? Думает, что Олекса забыл ее... Олекса... Да нет, нет!.. Надейся и жди, Оксаночка! Господь милосердный не оставит нас! Завтра битва, а там в Чигирин».

Окруженный своими мурзами, свирепый и дикий Тугай-бей сидел на куче сложенных конских кож и молча щелкал орехи, запивая это лакомство кумысом, когда

к нему ввели Морозенка. Молча, с непроницаемым лицом выслушал он пылкую речь козака, то оскаливая свои крепкие белые зубы, закладывая орех в рот, то сплевывая на сторону шелуху.

— Да будет благословенно имя аллаха, дающего всем дыхание,— произнес он наконец,— что он послал моему побратыму такую подмогу; но пусть Богдан не слишком доверяет козакам: кто раз изменил, может изменить и в другой раз.

— Они не изменили, блистательный повелитель,— вспыхнул Морозенко,— они только пристали к своим братьям.

— Пек! Но ведь они выступали против них.

— Их принудили силой, гроза неверных.

— Шайтан! В случае неудачи козаков они будут говорить то же самое.

— Неудачи быть не может! — вскрикнул горячо Морозенко.— Победа в наших руках: могучий властелин сам это видит своим орлиным, прозорливым оком.

— Клянусь аллахом, да! — поднял Тугай свои черные, косые глаза.— А потому я не знаю, о чем хлопочет доблестный брат мой, источник отваги и боевой мудрости! Победа так очевидна, неприятель ничтожен, в капканах... Стоит ли на него подымать разом два клинка?

— Пан гетман желает раздавить их с двух сторон сразу, чтобы меньше пролить родной крови.

— Гм... каждому полководцу кровь своих дорога,— мотнул головою Тугай-бей и замолчал, сдвинувши черные брови, причем лицо его приняло жестокое, непреклонное выражение.— Впрочем, я подумаю... Ступай! — махнул он рукой, и Морозенко вышел.

Целый день просидел Морозенко в стане Тугай-бея. Татары угощали его и кониной, и шашлыком, и чихирем, но ни ответа не давали от своего повелителя, ни самого его не пускали назад.

Долго томился Морозенко; тревога уже начинала не раз мутить его кровь, подбираться мучительным холодом к сердцу; нехорошие думы овладевали мало-помалу его головой. Он уже сорвался было лететь и без ответа, да и то не пустили, словно пленника. Тогда Морозенко решил отважиться на все темной ночью и стал поджидать ее с нетерпением. Как вдруг поздним вечером оживился весь табор: поймали какого-то поляка, посла

из польского обоза, и, заарканенного, бледного, изможденного, потащили в шатер Тугай-бея.

Через минуту поднялась во всем лагере суета. Выходили из шатра мурзы, передавали что-то радостное татарам, те в свою очередь сообщали другим, и всюду росло веселое настроение. Хотя Морозенко и понимал по-татарски, но из быстрых их речей не многое мог уловить,— он только догадался, что перехвачено какое-то письмо, что полякам очень худо...

Вскоре позвали и его к Тугай-бею. Теперь и Тугай-бей, и все мурзы смотрели дружески, приветливо.

— Передай нашему брату и союзнику,— произнес важно и торжественно Тугай-бей,— наш братский привет и вечный барабар. Хотя расчет и велел бы нам удержать своих воинов от первой битвы, но, ввиду того, что побратым наш желает выступить с нашею рукой, мы готовы заставить умолкнуть рассудок и послушаться голоса сердца. Пусть не тревожится брат мой: мы встретимся с ним при звуках труб и при бранных кликах... Дети аллаха мешают в дружбе кровь с кровью и душу с душой...

Над козачьим лагерем висела уже глухая темная ночь. И люди, и кони, и суетливый радостный гам давно уже улеглись и смолкли, лишь ветер не улегся, а выводил какую-то плаксивую ноту да вартовые перекликались ему в тон... Впрочем, не спал еще один человек в лагере, предводитель этой грозной силы,— гетман Богдан; он быстро ходил взад и вперед по палатке, останавливаясь, прислушиваясь, и, подавленный каким-то необоримым волнением, то садился к столу и сжимал себе голову, то отхлебывал из стоявшего на столе кубка.

Не робость, а какое-то жуткое чувство, смешанное из неотвязных сомнений, из едких желаний проведать, что сулит завтрашний день, из невольного трепета перед битвой, шевелилось пауком в его груди и застилало паутиной и сердце, и мозг; в этой паутине путались, вязли обрывки мыслей, неразрешимые вопросы и бросали гетмана то в жар, то в озноб.

«Да,— стучало у него в висках,— завтра... завтра... завтра... роковой час... секирой висит... Но судьба за нас... победа несомненна... такое единодушие...— бодрил себя гетман, но безотчетная тревога подтачивала тут же его бодрость: — А артиллерия?.. Наша ничтожна... три-

четыре калеки, а там... да и гусары, ведь если они ринутся со своими страшными копьями — нашим не устоять: ни пулей, ни стрелой не прошибешь их лат и шеломов, а малейшее колебание, ничтожный перевес в натиске врага — и паника может охватить еще не окрепших, не уверенных в победах... Оттого-то для верности первого удара и нужно бы было татар,— ой как нужно было бы! А Тугай-бей словно уклоняется, да вот и Морозенка до сих пор нет! — затревожился вдруг Богдан.— Отчего? Давно бы пора! Ведь Чамбул рукою подать... Или не застал Тугая? Но нет! Бей никогда не оставит своих полчищ.... Или схвачен поляками и на пытке конает? Только Морозенко ужом пролезет, ветром пролетит, пиявкой выскользнет, а живым в руки не дастся! Ну, а если Тугай?..— сыпнуло ему словно снегом за шею.— Нет, нет!.. Прочь, черные мысли!»

Богдан отдернул полу палатки и стал всматриваться в черную мглу: далеко за речкой мерцали огни польского лагеря, словно волчьи зрачки, но так тускло, что Богдан подумал, не пал ли туман? «Но ведь при ветре тумана не бывает? А может быть, моросит? Ах, кабы дождь, вот бы помощь была, так помощь!»

— Эх, где ты, моя доля? — даже вскрикнул он, пронизывая пытливым оком тьму ночи.— Побратым... Неужели?.. — зашептал Богдан побелевшими губами.— Боже, не попусти! — сжал он руки с такою силой, что пальцы захрустели.— Ты дал мне знак неизреченного милосердия, не отврати же лицо от рабов твоих!

Долго стоял Богдан в молитвенном экстазе, а потом, словно просветленный и успокоенный упованием, бодро воскликнул:

— Эх, да что же это я кисну, словно баба перед поло́гами? Заварено пиво, нужно распивать, а слепую долю можно и за косы! — и, нахлобучив шапку, он вышел из палатки и направился по лагерю в передовую линию.

Ветер освежал его пылающее лицо, быстрая ходьба усмиряла душевное волнение. Богдан подошел к гармашу Сычу, который с тремя гарматами и небольшим отрядом присоединился вчера к главному табору. С бритой, огненного цвета головой, с огромным оселедцем, закрученным за ухо, в чудовищных усах, он не только уже не напоминал давнего, золотаревского дьяка-звонаря, но мало был похож и на того новичка на Запорожье, что

поднял плечом целый дуб. Богдан посылал его лазутчиком в Кодак повыведать о настроении тамошнего гарнизона и повысмотреть на случай приступа слабые стороны крепости. Сыч блистательно исполнил поручение гетмана и успел еще украсть одну пушку, снял собственноручно дуло с лафета и выволок его за мур, а два других орудия вывез из Присечья, где ковали их кузнецы.

Начинался мутный рассвет, но окрестности еще тонули в сумраке ночи.

— Здоров будь, Сыч,— приветствовал его Богдан,— я на радостях вчера забыл и поблагодарить тебя и расспросить хорошенько.

— Благодарить-то, ясный гетман, не за что,— поправил смущенно Сыч свои всклокоченные усы,— не велика штука позвонить, бовкали ведь мы прежде в звоны.

— Что прежде! Теперь вот как бовкнешь. А на Кодак надеяться можно?

— Да залога (гарнизон) там хоть и не совсем наша, а суть добрые приятели, вот только сам комендант... но «аще будем толцитися, то и отверщется» *. Вот это от них и подарок,— ударил он рукою по медному жерлу,— добрая пуколка, а вот те две нашей работы.

— А попробовать бы,— осмотрел Богдан и железные пушки,— если только годящие, так твой подарок что писанка к велыкодню,— мы совсем без гармат.

— Отчего не попробовать, можно! — осклабился самодовольно Сыч.— Гей вы, лежебоки,— гаркнул он на своих подручных,— восстаньте и несите набои! Только вот клятые ляхи забрались далеко, вон-вон перенесли лагерь свой аж на возлобие.

— А, вот оно что? — взглянул пристально Богдан и удивился.— То-то мне и самому показалось, что как будто не там, где вчера. Стало быть, они нас боятся, не нападать, а борониться лишь помышляют.

— Будет им «вскую шаташася»...** а ну, дай-ка я наведу securitizations зализну бабу,— примеривал и прилаживал дуло клиньями Сыч.— А ну, гармаше, пали, посылай им подарок.

— На добрую память! — приложил тот фитиль к поличке.

---

* «Як будемо стукати, то й відкриється» *(старослов.)*.
** ...«чому метушитися» *(старослов.)*.

Вспыхнул на пановке светлым облачком порох, и в то же время из жерла орудия вылетел длинным столбом белый дым и покатился по траве расширяющимися белыми кольцами; воздух потрясся страшным грохотом; тележка с орудием подскочила, ближние козаки сорвались с земли и вытаращили спросонья глаза. А Богдан с Сычом всматривались, приставив ладони к глазам, в неприятельский лагерь. Вот наконец у подножья холма взрылась земля и подскочила вверх, словно ее подбросил кто лопатою.

— Эх, не докинула, клятая баба! — почесал Сыч затылок.— И кашлянула, кажись, добре, а не доплюнула...

— А ну, с той,— указал Богдан на другую железную пушку. Зарядили и другую; Сыч не пожалел пороху... Грянул выстрел, орудие так рвануло назад, что тележка под ним опрокинулась, сломала колесо другой, а самое дуло чуть не отшибло у Богдана ноги.

— Вот бешеная,— отскочил он,— своих калечит!

— Н-да, норовистая,— заметил философски и Сыч,— впрочем, это с непривычки подскакивает... Обойдется! А только вот не донесла чертова верша, натуги настоящей нет! Давай попробуем «панянку».

Гаркнула медная пушка, да так, что и гармаши отшатнулись, закрывши уши руками. Все затаили дыханье... Вдруг на окраине польского лагеря что-то вскинулось, полетели в разные стороны щепки, шарахнулись и кони, и люди.

— Донесла! Угодила! — закричали громко и радостно гармаши.— Переполоху-то, переполоху какого натворила! — тер себе от удовольствия руки Сыч.— Ишь, как метнулись! Ха-ха-ха!

Многие из проснувшихся козаков подошли к гармашам. Образовалась порядочная куча людей. Удачный выстрел Сыча привел всех в восторг; посыпались одобрительные отзывы и остроты.

Но не успели еще и зарядить второй раз медной «панянки», как взвился и побежал из польского лагеря длинною струей дым, один, другой, третий... Все сразу притихли и переглянулись. Несколько кратких, но показавшихся бесконечно длинными мгновений стояла тишина, вдруг что-то неприятно загоготало в воздухе, словно его засверлил кто-то с визгом. Звук усиливался с неимоверною быстротой и каким-то порывистым чудовищным

дыханием пронесся высоко вправо. Все невольно пригнулись и наклонили свои головы... Тогда только долетел грохот и прокатился за лагерь умирающим эхом.

— Кланяйтесь, братцы, пониже челом им! — захохотал Сыч.— Коли каждому лядскому буханцу такая честь, так и шее будет накладно.

Все как-то смешались и сконфузились.

— Напрасно ты, Сыч, пристыдил товарыство,— заступился добродушно Богдан,— наш козацкий звычай таков, что и ворогу отдаем челом; дальше на всякое чиханье не наздравствуешься, а на первый раз за ласку лаской.

— Спасибо, ясновельможный батьку, что за нас заступился,— загалдели козаки, махая шапками.

— А вот мы еще по батьковскому совету и им ласку пошлем,— приложил Сыч фитиль к «панянке».

— Только ты не утруждай ее чрезмерно; на всех горланов ляшских ее не станет, да и лучше не дразнить ос, а то видишь, как они далеко хватают, могут надоесть... А вот как перейдем на ту сторону, тогда и наши гарматы наддадут, понатужатся, так ляхам невтерпеж станет.

Шутливые слова гетмана бодрили всех и подмывали на бой, на молодецкую схватку; лица у козаков горели возбуждением, глаза играли отвагой.

Богдан шел обратно по проснувшемуся уже, оживленному лагерю и всюду встречал горячие приветствия, на которые отвечал задушевно, тепло, подымая во всех дух величием цели этой борьбы и полною верой в ее славный исход.

А ядра между тем хотя и не часто, но проносились с гоготаньем над лагерем, или погружались с шипеньем и фонтаном брызг в тину Жовтых Вод, или с треском и звяканьем попадали в возы, разбивая колеса, полудрабни, опрокидывали их, попадали иногда в коней и производили смятение. В иных местах раздавались по временам проклятия и стоны. Впрочем, обстреливание козацкого лагеря шло лениво, временами затихая совсем; у поляков было немного дальнобойных орудий, а козаки с одной «панянкой» вскоре умолкли.

Так прошел день. Прекратив пальбу, поляки тихо и молча окапывали и укрепляли свой лагерь, не помышляя уже о нападении, а готовясь лишь к обороне. Молодой

Потоцкий рвался сделать хоть вылазку, хоть открыть сильный артиллерийский огонь, но военный совет убедил его не предпринимать никаких вызовов к бою впредь до прихода вспомогательных войск. Скрепив свое пылкое сердце, молодой региментарь должен был подчиниться этой раде и просил лишь бога, чтоб козаки их первые задели, чтоб подали первые повод к битве.

В козацком лагере стоял между тем веселый шум и росло доброе оживление. Кто исправлял, снаряжал оружие, кто рассказывал про боевые схватки и случаи, кто передавал про неистовства панов и посессоров, кто рисовал картины предстоящей расплаты. В иных местах играли в сурмы и трубы; в других бандурист играл на бандуре и пел про рыцарские подвиги козаков, про славу бессмертных героев; в третьих хор подхватывал удалую песню.

Целый день Богдан не садился и даже не входил в свою палатку: он боялся быть наедине, остаться со своими думами. Морозенко не возвращался назад. Богдан послал другого есаула к Тугай-бею, но и тот словно упал в пропасть. Жгучая, сверлящая тревога за своего союзника-побратыма охватывала гетмана с каждым мгновением все больше и больше, терзая всякими предположениями.

Наступил и вечер, сумрачный, почти осенний; начал моросить мелкий дождик. Завернувшись в сиряки и видлоги, козаки улеглись возле пылавших костров. Богдан шел от Кривоноса и не знал уже, завернуть ли ему в свой намет или сесть на Белаша и полететь самому к Тугаю, как вдруг навстречу ему выбежал джура и сообщил, что Морозенко возвратился и ждет в намете ясновельможного.

Богдан даже ухватился за воз — таким варом обдало его это известие; несколько мгновений простоял он неподвижно, усиливаясь захватить в грудь побольше воздуха, и потом быстрыми шагами двинулся к своей палатке.

Увидя Морозенка, он даже не спросил у него ничего, словно не хватило на это звука, а лишь уставился на него мучительно-вопросительным взглядом. Когда же Морозенко передал ему последние слова Тугай-бея, то Богдан не выдержал и воскликнул: «Прости мне, боже, мои сомнения и духа уныния не даждь ми!»

LX

Было за полночь; беспросветный мрак скрыл уже своим пологом оба лагеря и полз к Жовтым Водам; мелкий дождь моросил и усиливал его еще больше. Среди однообразного шума дождевых капель послышались вдруг у берега речки чвакающие звуки конских копыт и в клубившейся тьме показались неясные силуэты нескольких всадников.

— Ты ж, Морозенко, добре знаешь, где другой брод? — послышался среди всадников сдержанный голос, звучавший густым басом.

— Так, так, пане полковнику,— ответил другой, молодой, голос,— как ездил к Тугаю, все выглядел гораздо; тут ляхи разгрузили, а там дальше перебраться чудесно, и вербы густо растут... За ними и притаиться можно.

— Гей, панове атаманы,— пробасила тихо гигантская тень,— за нами ведите хлопцев ключом, да чтоб и мышь не проснулась.

Приказание передалось шепотом от одного к другому, и за первым всадником потянулись длинною вереницей силуэты конных фигур, выплывая из тьмы и погружаясь через миг в нее снова.

Далеко левее этого места кто-то брехался конем в тине и хотя не полным голосом, но все же довольно внушительно ругал речку: «А чтоб ты всохла, жовта тванюка! Ишь, ни взад, ни вперед».

— Да куда ты, Чарнота, залез? — раздался из тьмы резкий шепот.— Налево выбирайся: еще далеко до броду.

— Хоть дулю под нос — не видно!

— Дай повод, я тебя проведу; нам ведь еще гонов за двое переходить.

— Веди, веди; ведь ты, Ганджа, верлоокий, как волк,— ночью видишь.

— Ха-ха-ха! — засмеялся вожак.— Сегодня все, брат, станем волками, как накинемся на ляхов невзначай. Ну, теперь проворнее: наши уже ушли... догнать надо. Гайда!

И две тени потонули во мраке.

Между тем в козацком лагере, по-видимому спавшем мертвецки при потушенных даже кострах, происходило в действительности что-то необыкновенное. Таинственно

и суетливо двигались тени, рассыпаясь по табору и соединяясь потом в стройные массы. С правой стороны у разомкнутых возов мерещилась расплывчатыми в сумраке очертаниями фигура гетмана на коне, окруженная атаманьем; неторопливым, уверенным тоном делал он свои последние распоряжения.

— Ты, Кривонос, со своими славными пехотинцами перейдешь вброд Жовтые Воды и подкрадешься на добрый мушкетный выстрел к лядскому лагерю; рассыпься между кустами и начни щелкать о панские брюхи орехи. Ты, Кречовский, с рейстровиками заляжешь за Кривоносом густыми лавами, там как раз есть и лощина, а Богун со своим конным отрядом переправится немного правее и прикроет вал, я же с моими бесстрашными запорожцами подойду слева и займу центр. Коли ж Кривоносовы осы доймут пышную шляхту и заставят ее выйти в поле, то первый ее натиск встретит Богун и привлечет к засаде. Если же они отважатся двинуть на нас и главные силы, то я их приму на свою грудь. А вы тогда, друзи, ты, Кривонос, со своими вовгурами, и ты, Кречовский, с рейстровиками, киньтесь в их лагерь, а с тылу еще пригнетит Тугай-бей. Ты же, Небаба, и ты, Нос, остаетесь с резервами в лагере. Переправлять возы через топь трудно, а гарматы и совсем невозможно, так вот ты и приготовь загату, загрузи несколько возов, постели по ним доски и через этот помост уже двинешься с гарматой и обозом, а пока что покашливай из «баб» и «панянок», хоть и надарма, лишь бы дымом застлать твои работы по переправе.

— Все исполним, ясновельможный! Костями ляжем за нашего батька! — загомонила вокруг старшина.

— Спасибо, друзи, верю! Не за меня только ложитесь костьми, а за кровный люд да за родину. За них и я несу свою голову. Помните, братцы, что сегодняшняя битва для нас все: либо пан, либо пропал. Так вот, ежели где-либо что — не допускайте смятения.

— Будь покоен, батьку, не дрогнем,— посыпались бодрые отклики.

— Это и малому дитяти известно,— подхватил энергично Богдан,— что нет на всем свете равных вам по отваге и силе.

— Спасибо, спасибо, батьку! — раздались воодушевленные возгласы и старшины, и ближайших козаков.

— Победа, братья,— продолжал гетман, увлекая всех своим бодрым, уверенным словом,— в наших руках. Этот дождик — божия к нам ласка; если он пойдет дольше, то так разгрузит поле, что уланы завязнут в нем своими тяжелыми конями. Что уланы? Драгуны даже не двинутся с места.

— А то, пожалуй, и к нам придут, если двинутся,— засмеялся кто-то.

— Что ж, братья к братьям,— заметил Небаба.

— Дай господи! — произнес торжественно Богдан.— С ним, мои братья и друзи, дерзаем! Соберем же все силы нашего духа во славу поруганного в наших храмах бога и ударим, не жалеючи жизни, на жестокого и кичливого врага! Не бойтесь этих пугал в крыльях и леопардовых шкурах! Чем они вас запугают — перьями на шапках, что ли? Разве отцы ваши не били их? Вспомните славу дедов наших, что разнеслась по всему свету! И вы одного с ними дерева ветви! Покажите ж свое завзятье! Добудьте славы и рыцарства вечного! Всемогущий господь вам поможет! Кто за бога, за того бог!

Настало туманное, мокрое утро. Лениво просыпались паны в своих пышных палатках после сытного ужина. Успокоенные крепкими рвами, грозною своею артиллерией и предполагаемою трусостью «хамья», они нежились еще на перинах, не желая выставлять своих полухмельных голов на холодный воздух сырого утра. Пахолки и жолнеры тоже прятались под будами и бриками, завертываясь в бурки и кереи. Совсем уже стало светло, но окрестности были задернуты тонкою пеленой синеватого тумана.

У окопов, где между свеженасыпанными валами расставлены были пушки, собралась порядочная кучка жолнеров, драгун и гусарских слуг. Шел оживленный разговор о том, где бы пустить коней на пашу, а главное — напоить.

— Як маму кохам, хоть пропадай! — горячился один мазур.— Выбрали такое место, что только с ведьмами танцевать, да и квита! За табором пески и солончаки.

— А впереди вода и паша,— заметил, загадочно улыбаясь, один из драгун.

— Ступай сам на то пойло,— огрызнулся мазур.— За окопы и носа не выткнешь, так и пронижут либо пулей, либо стрелой, Перун их забей!

— Да ты крикни Перуна на голову пана Чарнецкого. Это он вас завел в такое место.

— Ты, хлопе, про пана полковника дурно не говори! — прикрикнул мазур.— Уже испробовал один молодец его ласки, а ты еще и на кол угодишь!

— Посмотрим! — заскрежетал зубами драгун.

В это время недалеко за окопом раздались вдруг мушкетные выстрелы и начали пересыпаться трескучею гаммой. Среди собравшейся кучки засвистали, защелкали пули. Мазур повалился первым, за ним упало еще двое... еще и еще... Поднялось смятение; послышались стоны и крики. Уцелевшие люди бросились врассыпную к лагерю с воплями ужаса: «Атака! До зброи!» Но и там уже козацкие осы находили своих жертв и производили панику.

Ошеломленные неожиданною дерзостью хлопов, вельможные паны повыскакивали из своих палаток заспанные, полураздетые и начали метаться по лагерю, то хватая свое и чужое оружие, то крича на слуг, чтоб давали коней, то вопя в страхе: «До зброи!» Но не все потеряли рассудок, нашлись окуренные порохом, опытные в боях и с недрогнувшим сердцем начали приводить в боевой порядок войска; нашлись и пылкие удальцы, не пробовавшие еще боевого угара, которых эта нервная суматоха увлекала какою-то жгучею утехой и наполняла радостным трепетом сердца. К последним относился и молодой полководец-герой. Потоцкий и без того не спал почти целую ночь; он не принимал участия в панских пирах, а ходил по лагерю и наблюдал за производившимися при факелах работами. Когда же усилившийся дождь прекратил их, то он возвратился в свою палатку и долго не мог даже прилечь: кипучая натура его жаждала деятельности, боевой удали, сильных, могучих впечатлений, а вместо этого ему предложили томительное заключение в крепости и ожидание подмог. Все это возмущало и мучило нетерпеливого, рвущегося к славе героя и отгоняло сон от его очей. Только под утро он забылся в поэтических грезах, но и они не успокаивали его мятущихся порывов, а раздражали еще более фантазию какими-то образами дивных прислужниц, облекавших его в белоснежные ткани и венчавших венком неувядаемой славы.

Когда поднялось смятение в лагере, Потоцкий уже

был на коне и первый бросился к окопам, приказав трубить тревогу и сзывать к бою войска. Охваченный порывом огненной отваги, он горел нетерпением ринуться в битву со своими бессмертными гусарами и раздавить дерзких. К нему подскакал разъяренный Чарнецкий:

— Тысячи дяблов! Какая дерзость! О, это хамье, это быдло дорого мне за нее заплатит!

— Если бы только они все вышли в поле,— пламенел и восторгался Потоцкий,— мы бы их раздавили, разметали и с трубными звуками прошли бы по этим покрытым славою полям! Прикажите, полковник, готовиться к бою хоругвям,— обратился он к Чарнецкому,— я сам поведу их в атаку!

— О, ясновельможный гетман будет украшением нашего славного рыцарства! — воскликнул Чарнецкий.— Все будет готово, но сначала надо будет послать на рекогносцировку нашу легкую кавалерию!

— Двинуть все войска сразу, артиллерию вывести в поле, открыть непрерывный огонь; стремительностью и отвагой мы обратим в бегство врага, а тогда разгромим его табор!

— Погода для нас неблагоприятна, ясновельможный гетман,— вмешался в разговор подъехавший Шемберг,— в дождь и туман выходить в поле опасно, можно загрузить орудия и попасть в ловушку, в засаду.

— Такого дождя еще бояться? — изумился Потоцкий.— После этого я не знаю... да он и прошел... только небольшой туман!

Все оглянулись. Дождь едва-едва моросил, совершенно затихая; волнующийся туман сгущался, приподымаясь от земли клубами, но небо не прояснялось.

— Дождь-то хотя и утих, но только временно,— возразил Шемберг,— пожалуй перед ливнем... а поле разгружено и теперь. По-моему,— заговорил он решительно,— нашу конницу, легкую и тяжелую, выстроить здесь в боевой порядок, но не выводить за окопы; драгунов же спешить и расставить с мушкетами и копьями на валах, а против козацких застрельщиков выслать свою цепь.

— Да? — возмутился регlauncherментарь.— А самим стоять бездеятельно и любоваться, как наше славное рыцарство будет безнаказанно падать под градом хлопских пуль?

— Против застрельщиков высылать целую армию? — сдвинул плечами Шемберг.

— Застрельщики, вельможный пане, — вмешался Чарнецкий,— сами никогда не выступят за ними, верно, стоят полки и готовятся к атаке.

— Или ждут, чтобы мы поймались на удочку и вышли в поле,— поправил Шемберг,— а потому и нам лучше выждать и высмотреть расположение их войск.

— Выждать? — прервал его презрительно молодой полководец.— На бога! Опять ждать и дождаться, пока не выскочат из тумана тысячи этих дяблов и полезут на наши окопы...

— О, они хуже дяблов,— подъехал в это время к Шембергу пан ротмистр, услыхав только последнюю фразу,— если уж полезут, то никакой сатана не остановит их; распорите козаку брюхо — он будет лезть; отрубите руки и ноги — будет лезть, снимите голову...— остановился ротмистр, почувствовав, что немного увлекся.

— А если и без голов лезут? — улыбнулся саркастически Чарнецкий.

— Пане полковник! Пшепрашам! — вспыхнул было ротмистр.

— То тем более, — продолжал Чарнецкий,— ясновельможный региментарь наш прав, что мы не должны допускать их к атаке, а, напротив, отразить дерзость.

— Совершенно верно,— возвысил голос Потоцкий и скомандовал повелительным голосом: — Легкая кавалерия за мной в поле! Драгуны и гусары быть готовыми к бою! Артиллерии выступить и открыть усиленный огонь!

— Будет все исполнено! — отсалютовал саблей Чарнецкий.— Но я бы просил от имени отца панского, нашего славного гетмана, не рисковать так страшно жизнью. Начальство над легкою кавалерией можно поручить кому-нибудь другому,— неприятель еще не выяснен... могут быть случайности...

— За излишнюю храбрость сына не покраснеет отец,— бросил гордо Потоцкий и потом добавил: — А риску я не боюсь, опираясь на вашу доблесть, панове, известную ойчизне давно. Вы баловни славы; не ревнуйте же меня к ней, а позвольте хоть раз прикоснуться к ее сладким устам!

— Виват! — обнажили сабли собравшиеся начальники отрядов и с воинственными кликами помчались к своим частям.

Вскоре за окопами уже развевались разноцветные значки, и выстроенные в ряды кони нетерпеливо топтались на месте, закусывая удила. Потоцкий бесстрашно гарцевал впереди и воодушевлял всех своим огненным словом.

— Панове, витязи, любимцы Беллоны! Перед вами неприятель, которого вы всегда побеждали. Говорят, что он превышает нас численностью, тем лучше — больше потехи. Говорят, что эти хлопы бьются отважно — тем лучше: больше нам славы! Вперед же за венками! — взмахнул он блестящим клинком и вихрем помчался в ту сторону, откуда летели пули застрельщиков. За ним рванулась с места в карьер легкая кавалерия, хлопая хоругвями, шелестя значками, сверкая обнаженными саблями, шашками, ятаганами.

Козаки, заметив движение конницы, усилили пальбу; словно вспугнутое гнездо ос, зажужжали пули. Всадники стали пригибаться к луке, сваливаться на бок, падать, кони заметались, расстраивая стройность рядов.

Но вот наконец и козаки: за кустами, за камнями, за пригорками лежат, перескакивают, прячутся. Кавалеристы припустили лошадей; козаки, давши залп, пустились бежать назад. Но не уйти им от быстрых коней, от острой стали: вот покатился один с разрубленною головой, вот угодил другой на копье, как галушка на спицу, вот схватился третий, распорол лошади брюхо, свалил ее и поляка, но впилась ему в грудь стрела, и он упал плашмя под копыта мчащихся коней.

С победными криками рассеялись веером по полю герои, преследуя в одиночку убегавших козаков. Напрасно кричал ротмистр: «До лавы!», желая восстановить порядок и прекратить преследование целыми кучами одиночных людей,— борьба была так легка, победоносная травля так увлекательна, что ей поддался даже юный и пылкий герой, вкушавший впервые опьяняющую прелесть победы. Вдруг из ложбины, застланной полосами порохового дыма, раздался оглушительный треск; целая линия вспыхнувших огоньков обозначила густую, твердо стоявшую массу — мощное каре козацкой пехоты. Шарахнулись кони, взвились на дыбы и отпрянули сразу

назад, роняя славных всадников, наскакивая друг на друга и опрокидываясь в предсмертных конвульсиях. Поднялось смятение.

— На бога, панове! — вопил побледневший Потоцкий.— Вперед! В атаку! За мной!

— Стой! Стройся! — кричал в другом месте зычным голосом ротмистр.— Куда вы, трусы? Они отступают!..

И это было верно: рейстровики действительно подались назад. За ротмистром неслись и другие начальники хоругвей, перенимая бросившихся было наутек коронных татар и козаков.

LXI

Полякам кое-как удалось удержать расстроившиеся и смешавшиеся хоругви, но едва стали приводить их под градом пуль в возможный порядок, как справа раздался страшный дикий крик: «Гайда!» — и в дыму показался целый косяк несущихся бурею коней с наклоненными всадниками, с устремленными блестящими остриями копей и сверкающими молниями клинков. Оторопели сбившиеся в неправильные лавы хоругви и поняли, что от этого урагана было невозможно ни уйти, ни выдержать стоя его стремительный натиск.

— За мною! Ударил час славы! — вскрикнул Потоцкий и первый ринулся с безумною отвагой вперед.

Пример его увлек остальных; навстречу одной тучи понеслась другая, и обе слились в ужасном ударе. Страшные крики огласили воздух; упали сабли на сабли, скрестились длинные копья, завязался дикий рукопашный бой.

— Вперед, братцы! Бей их, локши на капусту! — ревел Кривонос, свирепый, обрызганный кровью, сверкая обнаженною саблей.— Додайте ляшкам-панкам, не жалейте рук, победа наша!

— Не сплошаем, батьку! — крикнул запальчиво Морозенко.— Сведем с этими мучителями счеты! — и неудержимый, как вихрь, кинулся он бешено в самый центр свалки.

Вот прямо понеслось на него острие пики, а с другой стороны взвизгнула сабля, занесенная мощною рукой. На одно неуловимое мгновенье растерялся козак: от

кого защищаться? Но оба удара не ждут... Вот головы скачущих коней и искаженные лица врагов. Рефлективно взмахнул саблей Морозенко, отбил взвившийся над его головою клинок и угодил концом дамасовки противнику в грудь. Брызнула из нее струя алой крови. В недоумении и ужасе ухватился руками за рану пышный всадник и свалился с седла, повисши одною ногой в стремени, и в тот же миг пролетело у Морозенко под мышкой копье, зацепив только одежду; не заметив промаха, помчался польский козак вперед и угодил как раз под размах сабли козацкой. Упала она с лязгом на его шею, и повисла отделившаяся от нее голова, покачнулся обезглавленный всадник и, свалившись на шею своей лошади, пронесся еще несколько мгновений, сидя в седле, обняв шею коня руками...

Опьяненный угаром резни, Морозенко рванулся еще бешенее вперед, неистово вскрикивая и размахивая своею окровавленною саблей; лицо его исказилось от ярости. Какое-то безумное наслаждение охватило его сердце в этом реве битвы, стонах и воплях падающих жертв. «А, украли, замучили мою несчастную голубку! Так вот же вам, изверги, звери!» — мелькало в его разгоряченном мозгу и охватывало душу дикою жаждой мести... Вот налетел он на молодого хорунжего, уронившего саблю и с детским страхом смотревшего вперед; в глазах у юноши, быть может, единственного у матери сына, мелькнула мольба о пощаде, но неукротимый мститель не дрогнул и одним ужасным ударом свалил беззащитного паныча...

Не видя возможности отступления, поляки рубились отчаянно и платили смертью за смерть. Падали и польские, и козацкие трупы и топтались копытами коней. Но уже удержать стремительный козацкий натиск не были в силах поляки; они начали подаваться в центре, а козаки врезывались в него необозримым потоком все глубже и глубже...

Потоцкий, увлеченный азартом и безумною отвагой, рубился впереди всех, нанося направо и налево смертельные удары. Напрасно старались удержать его старые рубаки: с разгоревшимся лицом, с струйкой алевшей на щеке крови, с блестящими беззаветною отвагой глазами, он рвался неукротимо вперед, перелетал от одной хоругви к другой, воодушевлял бойцов и кидался сам

под сеть перекрестных ударов, в самый водоворот резни.

— На бога, панове! Стойте смело! — кричал он звонким, молодым голосом.— Их горсть! Мы охватим их мощными крыльями! Вперед! Рубите смело! За мной!

Ободренные хоругви, заметив свое преимущество в численности, ударили еще дружнее и ожесточеннее на горсть удальцов и начали сжимать их в железных объятиях.

Стиснутые с трех сторон, козаки, несмотря на бешеное, нечеловеческое напряжение, должны были уступать подавляющей силе и погибли бы все до единого под ударами ляшских кривуль, если бы не заметил этого вовремя гетман.

— Гей, Дженджелей и Ганджа! — крикнул он зычно.— Ударьте двумя кошами на вражьих ляхов: наших давят! — указал он булавою.

— Гайда! На погибель! — гаркнул Ганджа и понесся с сечевыми завзятцами на польские хоругви, понесся и ударил с таким всесокрушающим натиском, что всполошенные враги шарахнулись, раздались и, смешавшись, начали отступать в беспорядке. А Ганджа, прорезавшись до Кривоноса, бросился вместе с ним преследовать поспешно отступавшего врага. Поляки окончательно смешались, все обратилось в какое-то паническое бегство.

Побледнел Потоцкий, как полотно, и бросился останавливать обезумевших от ужаса воинов.

— Назад, назад! На гонор! На честь шляхетскую, остановитесь! — кричал он, бросаясь навстречу несущимся в полном смятении толпам.— Не кройте голов наших вечным позором! Мы искрошим их! За мною, смело, вперед!

Еще раз увлечение молодого героя подействовало ободряющим образом на войска. Рассыпавшиеся хоругви начали собираться, строиться и отражать натиск врагов. Но наперерез им неслись уже с гиком еще два коша под начальством Сулимы и Нечая...

Теперь можно было уже хорошо рассмотреть расположение сил и ход битвы. Чарнецкий с непобедимыми гусарами стоял уже за окопами, на левом крыле; в центре выдвинулась далеко вперед артиллерия, прикрываемая пятигорцами под начальством Шемберга, а направо с драгунами стоял Сапега.

Заметивши место, где отчаянно рубился, окруженный своими офицерами, Потоцкий, Кривонос и Морозенко устремились туда. Завязался страшный рукопашный бой...

Тем временем Сулима и Нечай ударили на польские хоругви с фланга, стараясь отрезать Потоцкого от его войск. Но трудно было одолеть тяжелую стену копий. Рассвирепевшие и окруженные врагами поляки сражались теперь отчаянно храбро. Козаки падали, натыкаясь на их острые копья, и снова ломились с дикою, необузданною силой; поляки же, с своей стороны, стесненные собственными войсками, не в состоянии были отвечать на ежеминутные удары козаков: они спотыкались на трупы лошадей, падали и тем загораживали сами себе путь.

— Так, так их, панове! — рычал свирепый Вовгура, размахивая своею тяжелою окровавленной саблей над головой. Опьяненный кровью, с налитыми глазами, он бросался, очертя голову, на мечи и копья и своим безумным бесстрашием увлекал козаков и нагонял ужас на поляков. Тем временем Сулима и Нечай с своими козаками прорывались к Потоцкому. Вот они уже опрокинули жолнеров, вот разорвали их ряды и с диким криком ринулись в самую середину сражающихся масс. Завязалась жаркая схватка. Окруженный своими офицерами и жолнерами, Потоцкий дрался, как молодой лев, но козацкая сила одолевала. Они сдавливали поляков все теснее и теснее.

— А, теперь стой! Со мною! — крикнул Сулима, распахивая последний ряд жолнеров и занося саблю над головой Потоцкого.

— Холоп! — бросился на него Потоцкий, и с оглушительным звоном упала сабля на саблю. В силе и энергии противники не уступали друг другу,— как молнии, засверкали сабли, скрещиваясь над головами, искры посыпались из-под стали, но перевес не падал ни на чью сторону; кругом них кипела та же борьба. Пан ротмистр отбивался отчаянно среди кучки козаков, стараясь заслонить своею грудью молодого гетмана. Сабли подымались над ним со всех сторон, но длинный меч ротмистра падал со страшною силой на головы осаждающих, выбивая сабли из их рук. Медный шлем скатился с головы ротмистра, кровь струилась с плеча, но седой воин не останавливался, защищаясь, как раненый вепрь.

Вдруг среди общего рева раздался чей-то пронзительный возглас: «Гетман ранен! Гетман!» — и в то же время с оглушающим криком, прорвавшись сквозь польский строй, ринулись на осаждающих с тылу Нечай и Вовгура. Все смешалось: люди, лошади, сабли, копья...

Оцепивши молодого гетмана, поляки, под предводительством ротмистра, отчаянно отбивались от козаков, но такая битва могла уже продолжаться только минуты.

Между тем Чарнецкий, заметивши, что молодой гетман оцеплен со всех сторон козаками, бросился к нему на выручку со своими латниками, отдав приказание Шембергу открыть усиленный огонь по главным силам козаков, а Сапеге ударить на них с драгунами.

Уже и голубое гетманское знамя, встрепенувшись смертельно в воздухе, упало, вытянувшись на труп своего знаменосца. Уже и бешеный Вовгура, опрокидывая все на своем пути, дорвался до молодого Потоцкого, как вдруг за спиной их раздался победный крик латников и свирепый Чарнецкий навалился со своею тяжелою массой на обступивших Потоцкого козаков. Воодушевленные одним порывом, козаки совершенно не ожидали этого нападения, произошло смятение, замешательство, им-то и воспользовался Чарнецкий. Завязался бой, но силы оказались неравные, теперь перевес явно находился на стороне поляков. Уставшие козаки, несмотря на свою отчаянную храбрость, не могли сдержать свежих и далеко превышавших их численностью сил Чарнецкого.

— Панове хлопцы, спешите к гетману, просите подмоги! — кричал, задыхаясь, Кривонос, замечая, что силы польские одолевают отряд.— Спешите, мы их покуда задержим!

Но задержать поляков было уже трудно. Как тяжелая лавина, все давящая на своем пути, так теснили они толпу храбрецов, старавшихся преградить им дорогу. Несмотря на это, козаки не сдавались. Покачнулся бешеный Вовгура, пронзенный пикой в плечо, упал молодой Нестеренко, Луценко, Завзятый... Сорвало шапку с Сулимы, убили коня под Нечаем... козаки отступали, но отступали, оставляя за собою ряды трупов... Между тем сами отступающие заметили поспешное движение прикрывавших отступление козаков.

— Поляки давят! Наших бьют! — раздались испуганные возгласы среди более неопытных.

— Да что вы, псы? Молчите, трусы! Кто наших бьет? — пробовали было перекричать более старые воины, бросаясь вперед, но ничто не могло уже заглушить прорвавшихся криков: словно языки огня, запрыгавшие по стогу сена, вспыхивали они то там, то сям, громче, громче, и вдруг один общий крик: «Наши отступают!» — охватил всю толпу. Огромное чудовище заколебалось и подалось назад... Заметивши это, поляки напрягли все свои силы. Прорвавшись сквозь отряд Сулимы, туда же ринулся и Чарнецкий с Потоцким. Дрогнули козаки и начали медленно подаваться, задние же ряды, заполненные новобранцами, бросились с громкими криками в беспорядке бежать...

Между тем Богдан, стоя за пехотой во главе своей запорожской конницы, окидывал огненным взглядом все поле сражения; казалось, он взвешивал минутами все шансы и условия. Старые запорожцы следили за схваткой с таким же лихорадочным вниманием. Кривонос отступал, медленно, со скрежетом зубов, но отступал. Это было очевидно и для запорожцев, и для Богдана. Вот Чарнецкий распахнул курени Нечая и Сулимы и ринулся, как лавина, на козаков. Дрогнули козаки и подались...

— Гей, батьку! Пусти нас на помощь: давят ляхи! — крикнул дрогнувшим от напряжения голосом седоусый куренной атаман, следя сверкающими глазами за врезывающимся в козацкие хоругви врагом.

— Пусти, гетман! Не было бы поздно! — раздались голоса среди запорожцев.— Чарнецкий там со своим полком!

— Стойте, дети! — остановил всех Богдан, протягивая булаву.

Голос его звучал теперь повелительно и необычайно сильно; огненный взор освещал лицо его каким-то страшным вдохновением; уверенность и отвага росли в сердце каждого при одном взгляде на гетмана: здесь чувствовалась сила и мощь, и слову его повиновался каждый с восторгом.

— Стойте! — продолжал Богдан.— Еще не время, настанет и нам пора!

Однако, несмотря на отчаянную храбрость козаков, ряды их подавались назад все больше и больше... В это же время к Богдану подскакал, задыхаясь от напряженного бега, посол Кривоноса.

— Подмоги, гетмане! — закричал он еще издали.— Курени отступают!

— Не надо подмоги...— перебил его резко Богдан.— Пане есауле, скачи сейчас к Кривоносу приказать отступать куреням, заманивая врага к Жовтым Водам, и ждать там моего наказа.

И так как все онемели от изумления при таком приказе гетмана, то он добавил:

— Пускай потешатся панки, увлеченные первою победой, они сейчас же бросятся в атаку; нам надо приготовиться, принять их как следует на грудь...

Вихрем помчался есаул к Кривоносу.

Остолбенели козаки, услышав приказ гетмана; но привыкшие к строгой дисциплине, они, отбиваясь, начали отступать.

Тем временем Кречовский, стоя со своею тяжелою пехотой в неподвижном каре, наблюдал также опытным взглядом поле сражения. Козаки стояли густою безмолвною массой; шум, крики, звон и грохот битвы долетали до них; но ни сло́ва, ни крика не слышалось в темных, плотно сомкнувшихся рядах. Время от времени над головами их проносился резкий гогочущий звук или с глухим ударом пронизывало ядро густо сплотившуюся массу. Раздавались подавленные стоны или слабые предсмертные крики:

— Прощайте, братья!

— Лети к богу, брате, за веру! — обнажали головы соседи.

Трупы выносили, и снова смыкалось железное тело, и снова суровая тишина охватывала всю эту грозную массу людей.

Кречовский также следил за атакой правого фланга. Он давно уже замечал, что козаки подаются, и недоумевал, почему это гетман не посылает до сих пор подмоги. Но вот ряды козацкой конницы заволновались. Вот поскакал назад один, другой, третий, целая толпа; крики и вопли огласили воздух.

«Что это? — чуть не вскрикнул в ужасе Кречовский.— Отступают? Не может быть!» Но не успел он окончить своей мысли, как представившееся его глазам зрелище не оставило уже места сомнению.

Как сухие листья, подхваченные диким порывом ветра, мчались к протоку козацкие курени. Бунчуки, хоруг-

ви, знамена — все неслось в полном смятении, чуть не опрокидывая друг друга на своем стремительном пути. С громкими победными криками бросились латники догонять охваченных ужасом врагов.

«Что это? Позор? Поражение? — вихрем пронеслось в голове Кречовского.— Не может быть! Такое бегство... Нет, нет! Быть может, засада? Кривонос не побежит с поля! Однако... там латники... Чарнецкий...» — перескакивал он мучительно с одной мысли на другую, стараясь объяснить себе бегство козаков.

Но пехота стояла неподвижно, не выражая ни словом, ни криком впечатления видимой сцены, и в этой молчаливой стойкости чуялось, что живою она со своей позиции ни на шаг не сойдет.

LXII

Преследование козаков продолжалось недолго.

Затрубили трубы, и рассыпавшиеся по полю всадники стали собираться к своим знаменам. Вскоре хоругви построились снова и, повернувши фронт, направились к своим окопам.

«Гм, что-то теперь будет?» — подумал Кречовский, следя внимательно зорким глазом за движениями польских войск. С его позиции ему было прекрасно все видно. Вот хоругви подъехали к окопам; громкие возгласы и радостные движения рук приветствовали появление молодого гетмана. Вот наступила полная тишина; видно было, что гетман, поворотившись к войскам, говорил им какую-то речь. Вот он взмахнул обнаженною саблей, и вслед за его движением сотни сверкающих сабель поднялись в воздухе, и громкие возгласы долетели и до козаков.

— Гм! — поправил свой длинный ус Кречовский.— Расхрабрились ляхи,— теперь не начнут ли атаку? Может статься — у них ведь быстро хмелеет голова и от победы, и от поражения...

И действительно, слова Кречовского вскоре оправдались. Пушки выдвинулись еще дальше в поле и направились жерлами прямо против того места, где стояла козацкая пехота.

«Так, так... двадцать четыре,— пересчитал орудия

Кречовский,— для начала недурно, жарковато придется... Добро еще хоть дождь над самой головой висит,— поднял он глаза к небу, которое хмурилось все больше и больше и грозило разразиться с минуты на минуту сильным ливнем, — а то бы просто хоть жупаны скидай!..»

За пушками стали латники, коронные хоругви и польские козаки.

«А вот и гусары!» — повернул голову Кречовский в ту сторону, где стояли гусарские полки.

Неприятельские войска стали делиться на две части и выезжать по хоругвям вперед. Видно было, что Чарнецкий и Потоцкий беспрерывно подлетали то к одной, то к другой хоругви, и там, где они появлялись, раздавались сейчас же оживленные возгласы.

«Гм... гм,— повел бровями Кречовский,— оживились ляхи, значит, будет атака... гусары делятся... Итак, атака с двух флангов, а с фронта батарейный огонь... Задумано недурно, если только...»

Но здесь размышления его были прерваны оживленным шумом, пробежавшим по рядам.

— Гетман! Гетман! — раздалось среди козаков.

Кречовский обернулся: действительно, к козакам мчался на своем белом коне, окруженный знаменами и бунчуками, Хмельницкий.

— Панове друзи и братья! — заговорил он пламенным голосом, осаживая возле Кречовского коня.— Вон строятся польские войска; на вас понесутся сейчас в атаку гусары... они думают смять и рассеять вас, как овец; но не бойтесь их натиска: за ними стоят уже татары, а за вами — я! И этим ли лядским пугалам победить вашу силу? Били вы, братья, и не таких врагов! Не допустите же их только разорвать ваши лавы. Помните, друзи, что на вас смотрит заплаканными глазами Украйна, что от вашей стойкости зависит теперь победа... и ее доля. Постоим же крепко, товарищи, братья! Нам ли страшна смерть? Мы стали за правое дело, за край наш, за веру, и ангелы божьи понесут души павших к престолу всевышнего!

— Поляжем! Не дрогнем, батьку! — раздался один дружный возглас из тысячи уст.

— Вам я вверяю всю долю Украйны! — вскрикнул вдохновенно Богдан, указывая булавой на широкое поле,

по которому неслись уже гусарские хоругви.— Смотрите: вон мчатся гонители и мучители ваши. Защищайте же, дети, поруганную мать!

Единодушный порывистый возглас покрыл слова Богдана, и все глаза устремились по тому направлению, куда указывала гетманская булава.

Действительно, при громких звуках труб и литавр гусарские хоругви уже неслись полным галопом с двух сторон на козаков. Один вид этих страшных всадников мог нагнать ужас на самую бесстрашную душу. Длинные наклоненные пики их выходили далеко вперед лошадей; привязанные к ним разноцветные флаги развевались и свивались какими-то огненными змеями, пугая и людей, и коней. Залитые в серебряные и стальные латы, всадники казались вылитыми из металла, неуязвимыми великанами; огромные гребни перьев грозно развевались над их головами; медные и орлиные крылья шуршали за спиной; шелест этих крыл и звяк лат, палашей вместе с страшным топотом доносились и до козаков. От удара сотен тяжелых копыт глухо вздрагивала земля; развевающиеся знамена мелькали над наклоненными, блестящими всадниками, сверкали мечи и пики, а гусары все неслись, ускоряя свой бег, на темные фаланги козаков. Казалось, один их ужасающий натиск должен был смять и опрокинуть всю пехоту.

Страшно, невыносимо было смотреть, стоя неподвижно, в лицо летящей на распростертых крыльях смерти; но козаки стояли сурово и смело, готовясь принять в свои груди весь этот несущийся лес копий... Минуты отделяли рейстровиков от мчавшихся гусар, но эти минуты казались часами.

Раздалась короткая команда. Передние ряды козаков опустились на колени и приложились к ложам рушниц; задние наготовили самопалы.

Вот уже можно различить фигуры первых всадников... Жутко становится стоять неподвижно в первых рядах. Необоримое желание выстрелить, остановить огнем, или криком, или каким-нибудь действием эту чудовищную, несущуюся стену охватывает все больше и больше козаков; но куренные атаманы молчат, впиваясь зоркими глазами в летящие хоругви, словно измеряют расстояние, отделяющее их от козаков, и козаки стойко ждут, припавши к рушницам.

Вот обозначились уже лица врагов... Напряжение начинает доходить до высшей точки, до какой-то невыносимой тревоги.

— Пане атамане!.. Не опоздать бы!.. Допустим... Сомнут... — раздается порывистый возглас из первого ряда, и вслед за ним перебегают подобные же возгласы в разных местах.

— Стой! Не время! Выстрела даром не тратить! — звучат холодные и сдержанные голоса куренных, и козаки смолкают.

Сомкнувши свои тонкие брови, Кречовский выжидает...

Он знает, на сколько можно подпустить этих страшных гусар.

Вот уже некоторые из всадников вырвались вперед. Мучительное напряжение доходит до невероятных размеров. Еще минута.

— Целься! — раздается короткая команда.— В ноги коням!..

Козаки нагнулись и замерли.

— Пали!..

И слово не успело замолкнуть в воздухе, как дружный залп сотен ружей прокатился оглушительным треском над толпой.

Передние ряды конницы расстроились.

Лошади взвились на дыбы, опрокидывая своих всадников... Одни из них рванулись из строя в поле, волоча за собой тяжело закованных седоков, другие падали на мокрую землю, придавливая рыцарей своею страшною бьющеюся массой. Началась ужасная картина: с ужасом старались вырваться залитые в сталь всадники из-под давивших их коней, но тяжелое вооружение делало их неподвижными... Да было и поздно. Задние ряды, не будучи в состоянии сдержать своего бега, наскакивали на передние, давя своих товарищей; испуганные лошади кидались в сторону, сбрасывая седоков, скользили в грязи, кувыркались через головы, спотыкаясь на упавшие трупы, и тем образовывали еще большую баррикаду на пути своих войск. Крики, вопли, проклятья всадников, летящих под копыта лошадей, наполнили воздух...

Но несмотря на это, хоругви неслись, давя и опрокидывая своих, как волны дикого потока, прямо на коза-

ков... Только ряды их расстроились, растянувши неправильно свою линию.

Этого-то и старался достигнуть Кречовский, чтоб ослабить напор всей сконцентрированной массы. Кроме того, ему видно было, что и вязкая почва задерживает стремительность гусар и не дает им обрушиться своим всесокрушающим карьером на лавы козаков.

— Славно, хлопцы! — крикнул он резким, далеко слышным голосом.— Целься!

В одно мгновенье перелетели заряженные ружья из задних рядов в передние. Козаки припали к ложам.

— Пали!

Раздался оглушительный залп, и новый ряд смертельно бьющихся коней образовал новую преграду на пути летящих хоругвей.

Но, несмотря на это, главная масса все-таки неслась прямо на угол козацкого каре, перескакивая через раздавленные трупы своих товарищей...

До встречи войск оставались только секунды...

— Пали! — вскрикнул торопливо Кречовский.

Раздался залп почти в упор несущимся рядам.

Новые крики, стоны и вопли; но вот передние уже тут, еще несколько саженей...

— Передние лавы, наготовь спысы; задние, пали! — крикнул металлическим голосом Кречовский, бледнея от напряжения.

В одно мгновенье наставили козаки свои страшные, длинные копья, навалившись на них всею тяжестью своего тела, и замерли, впившись огненными глазами в налетавшую массу, что заслоняла уже собою свет... Это было что-то неотразимое, страшное, звенящее, топочущее, и ужас исчезал из души, заменяясь какою-то безумною, зверскою яростью...

— В брюхо целься коням! — успел еще крикнуть Кречовский.

Раздался глухой треск, дикий вопль... конница наскочила на каре.

Как ни ослаблял Кречовский первый удар гусар, но встреча войск была ужасна. Завязалась отчаянная рукопашная борьба. Пики козацкие впивались в брюха коней; кони подымались на дыбы, падали и, падая, давили ляхов и козаков; на место убитых новый ряд остервенившихся безумцев бросался со своими страшными пиками;

целый дождь пуль летел в лицо гусарам; наскочившие на каре, первые ряды их смешались, упали, но длинные пики гусарские делали свое дело, пронизывая козаков, доставая их и в третьих рядах; страшные палаши перерубливали рейстровиков надвое, пригвождали к земле; кони топтали их копытами; пули же козацкие скользили большею частью безвредно по стальным латам гусар.

Борьба кипела с глухим остервененным рычаньем, заглушавшимся страшным лязгом и звоном лат, копий и мечей. Козаки падали рядами, но не пропускали в свою середину врага. Однако выдержать долго эту разящую силу не было человеческой возможности.

С фронта их осыпал непрерывный град ядер картечи; сдавленные со всех сторон страшным напором конницы, они начали пятиться и падать под натиском. Заметивши это, бросившиеся было в стороны гусары снова примкнули к атакующим.

Отчаянно, безумно защищались козаки, но козацкие пики ломались, скользили по металлическим сеткам коней. Опьяненные неистовством отваги, козаки бросались с кинжалами, с мушкетами, с прикладами ружей на закованных рыцарей, вырывая их из седел, бросая под ноги лошадей; но, несмотря на все их безумное сопротивление, гусары начинали медленно врезываться в каре.

Казалось, еще несколько мгновений — и гусары разорвут козацкие лавы и начнут топтать направо и налево рейстровиков.

Вдруг страшный оглушительный крик прокатился в тылу атакующих — и, словно буря, ринулись на оба фланга гусарских колонн курени Кривоноса и Богуна.

Как ангел мести, как бог войны, несся впереди своих отрядов с обнаженною саблей Богун. Легкий вороной конь его летел, вытянувшись, словно крылатая птица, едва касаясь земли. Прекрасное лицо козака горело пламенною отвагой. Без шишака, без лат стальных, с огненным сердцем и твердой рукой несся он на схватку с закованным рыцарством; но в этой отваге не было безрассудного юношеского жара, а была твердость и бесстрашие героя, изучившего все мгновения войны.

Хоругви гусарские заметили сразу с двух сторон фланговые атаки. Раздалась команда остановиться и переменить фронт, но трудно было исполнить ее. В вой-

ских поднялось какое-то безобразное крушение. Разлетевшиеся всадники с трудом могли сдерживать своих несущихся уже по инерции коней; на останавливавшихся наскакивали задние. Переменить же фронт оказалось еще труднее: длинные пики гусар ранили собственных лошадей; страшное вооружение всадников, защищая их от вражеских ударов, делало в то же время самих неподвижными и неспособными к быстрым движениям; тяжелые, неповоротливые кони их скользили и вязли в грязи... Крики и проклятия дополняли смятение, охватившее войска.

Это-то и знал Богун. Как молния, ударил он на поляков, разбрасывая все на своем пути.

Польские войска смешались. Завязался страшный, оглушающий бой. Теперь гусары могли рубиться только палашами. Голоса командующих терялись в лязге и звяке оружия. Как молнии, мелькали над головами занесенные мечи. Кони, заразясь бешенством своих всадников, с остервенением бросались друг на друга, подымаясь на дыбы, впиваясь друг другу в шеи зубами. Грохот пушек, визг ядер, свист путь, ад диких криков, нечеловеческих стонов и воплей — все сливалось в какой-то ужасающий вой... Знамена метались и падали в дыму.

Все это видел Богдан.

Покрытое полосами дыма и движущимися черными массами, поле расстилалось, как карта перед ним. С загоревшимися лицами следили, испещренные шрамами, неукротимые запорожцы за ходом битвы; казалось, одна только страшная гетманская воля заставляла их неподвижно стоять на месте, не допуская ринуться с диким гиком в кипящий бой. Лошади их нетерпеливо перебирали ногами. Отрывочные, поспешные восклицания вырывались то здесь, то там, смотря по ходу битвы.

— Гей, батьку гетмане! Пусти нас в дело! — раздались страстные возгласы седых атаманов.— Богун отступает! Ударим на ляхов с другой стороны!

— Богун мой — сокол, подмоги ему не надо! — вскрикнул восторженно Богдан, следя за левым флангом, атакуемым Богуном.— Не отступает он! Он знает свое дело! Смотрите за ним! — указал он в ту сторону булавой, где мелькала среди темных масс золотая кисть на шапке Богуна.

Как искра, как блестка, блистала она то здесь, то

там, и всюду, где она появлялась, горячее закипала битва и расстраивались железные ряды гусар. Было что-то странное в этой битве: гусары оттесняли козаков,— оттесняли, но не побеждали...

LXIII

От польских обозов отделились новые, последние хоругви и помчались на помощь сражающимся.

— Подмога!.. Подмога! Новые хоругви! — пронеслось вихрем по рядам.

— Ха-ха! Пусть летят, братове, и очищают нам поле, — сверкнул глазами Богдан,— больше они уж не воротятся назад.

Действительно, тесня козаков направо и налево, гусарские хоругви сами отступали с поля сражения, очищая все больше местность.

— Эх, ударить бы на них теперь с тылу, есть где разгуляться! — вскрикнул с восторгом седой кошевой.

— Стойте, друзи! Придет наше время! На всех хватит кровавой славы! — остановил его глухо звенящим от напряжения голосом Богдан и обратился к группе ожидавших его приказаний козаков: — Панове есаулы, скачите к Кречовскому, передайте ему, чтоб начинал немедленно атаку на польские батареи.

Есаулы поскакали.

Сквозь дым, растянувшийся неподвижными полосами над всею равниной, двинулись на поляков темные, сплотившиеся ряды страшной реестровой пехоты со спысами наперевес...

Навстречу им потянулись спешенные коронные хоругви и польские козаки. Полки сошлись; но у поляков не было уже прежнего азарта; какая-то тревога, нерешительность, неуверенность охватили всю гигантскую толпу.

— Приспело время! За мною, панове! — сверкнул глазами Богдан, обнажая саблю.

Зазвенели серебряные литавры, и запорожская конница понеслась, разделившись на два крыла.

— Хмельницкий, Хмельницкий ударил! — вырвался мертвящий крик из сотен грудей и пробежал до последних рядов.

— Гетман! Гетман! — прокатилось не то с ужасом, не то с восторгом среди стоящих в резерве драгун.

Над темными массами козацких потуг развевалось белое гетманское знамя, и одно присутствие его вселяло панический ужас в сердца ляхов.

Закипела битва. Козаки ударили, хоругви коронные подались и вогнулись. Напрасно воодушевляли предводители жолнеров: полякам уже не было силы удержать позицию; теснимые со всех сторон козаками, они отступали, отступали в беспорядке, готовые при первом несчастии обратиться в растерянное бегство.

Тем временем гусарские полковники, заметивши, что Хмельницкий двинулся на польский обоз со своею конницей и таким образом сдавил их своими войсками с двух сторон, скомандовали отступление; но трудно уж было отступать. Увлекшись своим преследованием пятившихся козаков, гусары достигли низкого берега реки, разгруженного переправой. Тут-то и началось настоящее побоище: козаки переменили теперь тактику и ринулись прямо на гусар.

Легкие кони их, не обремененные страшною тяжестью, носились, как стрелы, наскакивая на гусарские хоругви, ошеломляя их своею быстротой, разрывая их ряды и окружая отторгнутые части целою стеной. Тяжелые же лошади гусар вязли в илистой почве, затягивались мундштуками, пятились, скользили и падали. Усталые руки всадников едва подымали свои тяжелые, полупудовые мечи, а запорожские сабли мелькали, как иглы, над их головами, оглушая закованных в латы панов. Кони взвивались на дыбы, падали, всадники вываливались из седел, придавливаясь тяжестью собственных лат. Тщетно летели один за другим послы от Чарнецкого и Потоцкого, требуя отступления; отступлению мешали крылья запорожской конницы, охватывавшие сверху хоругви. Гусары падали один за другим.

В центре дело шло еще хуже.

— Ясновельможный гетмане! — подскакал к Потоцкому запыхавшийся товарищ.— Подмоги, подмоги! На правом фланге наши уступают... Тревога в войсках!

— Драгуны, в атаку! Ударить на правый фланг! — вспыхнул Потоцкий.

Прошло несколько минут.

— Ясновельможный гетмане!.. На бога, скорее! —

подскакал другой товарищ с бледным, искаженным лицом.— Ряды наши расстроились, Хмельницкий давит. Драгуны не идут.

— Что? — вскрикнул Потоцкий, словно не понимая сообщения.

— Драгуны не идут,— повторил снова товарищ.

— Изменники! Схизматы! — вырвал в исступлении саблю Чарнецкий.

— Они пойдут! Я сам поведу их в атаку! — и, пришпорив коня, бросился Потоцкий по открытому полю к правому флангу, где стояли драгуны.

— Ваша вельможность! На бога! Это безумно! — вскрикнули в ужасе паны. Но молодой герой не слыхал ничего; в порыве безумной отваги он мчался к возмутившимся войскам; Чарнецкий и другие последовали за ним.

Драгуны стояли молча, неподвижно, с затаившимися, недобрыми лицами.

— Предатели! — набросился на них Потоцкий.—Или вам не дорога ни жизнь, ни слава ойчизны? Или подлая трусость сковала ваши члены? Вперед, вперед, говорю вам, не бойтесь их дикого стремления, против вашего напора им не устоять! За мной, в битву! Со смелым бог!

Но драгуны стояли неподвижно.

— Вперед, трусы, или мы погоним вас картечью! — вскрикнул Чарнецкий, замахиваясь саблей.

Глухой, зловещий рокот пробежал по рядам.

В это время за спиной Потоцкого раздался задыхающийся, рвущийся возглас:

— Подмоги, на раны Езуса! — кричал растерянный, обезумевший хорунжий, несясь во всю прыть без шлема, с окровавленным лбом к начальникам.

— Жолнеры бегут... Хмельницкий рвет наши лавы.

— О господи! — схватил себя за голову Потоцкий.— Да неужели же вы желаете погубить ойчизну и достаться в руки разъяренных врагов?! Еще есть время! Братья, друзья мои,— ломал он в отчаяньи руки,— быстрота может изменить все дело! Вперед за мною, или победим, или найдем славную смерть!

Ряды драгун заволновались и попятились еще больше назад.

— Так вот вы как, негодяи, трусы! — заревел Чарнецкий,— картечью их!

С молчаливою яростью впились глаза драгун в позеленевшее лицо Чарнецкого. В это время раздался сильный грохот: как туча, метнулось что-то по рядам драгун, и, как зрелые плоды под ударами града, попадала с седел целая шеренга солдат.

Дикий крик вырвался из сотен грудей, и, словно по сигналу, драгуны рванулись вперед; стремительным карьером вынеслись они в поле и, повернув направо, помчались к своим родным козакам[107].

Поляки онемели от ужаса и изумления; но это состояние продолжалось только одно мгновенье.

— Измена! Измена! Измена! — пронесся по всем рядам ужасный вопль, и вдруг вся масса, охваченная одним непобедимым, паническим ужасом, ринулась в безумном бегстве назад.

Словно стада зверей, убегающих от степного пожара, понеслось все к своим окопам. Это было какое-то безумное, безобразное, неудержимое бегство, увлекающее все на своем пути. Все смешались. Пушки повернули к обозу. Расстроенные хоругви понеслись, очертя голову, давя по дороге своих.

— Измена! Спасайтесь! Хмельницкий, Хмельницкий! — кричали жолнеры, летя в смертельном ужасе с исступленными, помутившимися глазами, точно за ними неслась смерть по пятам.

Паны атаманы не отставали от хоругвей.

— Спасайтесь! Спасайтесь! — кричали они, несясь в карьер, спотыкаясь на тела убитых, наскакивая на несущиеся в таком же ужасе пушки.

Знамена наклонялись, падали под ноги лошадей, тащились по окровавленному полю с позором.

— Остановитесь! На бога, панове! Вы губите себя! — кричал в отчаянии Потоцкий, бросаясь то к одной, то к другой группе.

Но не было уже никакой возможности победить этот стихийный ужас: никто не слушал его голоса. Все мчалось, все летело, очертя голову, назад.

— Так пусть же смерть смоет с меня позор ваш! — крикнул в отчаянии Потоцкий, бросаясь вперед в темные тучи врагов.

Эта безумная вспышка юного героя подействовала отрезвляющим образом на толпу.

— За гетманом! — рванулся вслед за Потоцким бес-

страшный Чарнецкий.— Или нас разучило умирать это быдло?

Слова Потоцкого и Чарнецкого воодушевили более смелых.

— За гетманом! За гетманом! — раздались возгласы среди офицеров.

Начали торопливо останавливаться и строиться несущиеся хоругви; несколько пушек, задержанных Шембергом, повернуло назад... Остатки успевших вырваться гусар примкнули к войскам.

Вдруг дикий крик: «Алла!» — огласил все поле битвы и, словно черная туча, ринулись на поляков с тылу татары...

— А ну теперь локшите их, хлопцы! — раздался среди козацкой конницы могучий крик прорвавшегося уже сквозь гусар Кривоноса, и конница понеслась.

Как безумный, мчался рядом с Кривоносом Морозенко, размахивая в каком-то экстазе саблей. Кругом него все неслось с диким, зажигающим гиком. Он чувствовал, как его сабля поминутно вонзалась во что-то мягкое и вязкое, как что-то горячее брызгало ему на руки, на лицо. Кривули, палаши сверкали, сплетались над ним, касаясь иной раз и плеч, и рук... Шапку сорвало с его головы, но, охваченный стихийным порывом, боли он не ощущал... Когда Морозенко пришел в себя, целые потоки ливня падали с неба. Все поле было уже пусто. Последние жолнеры, догоняемые татарами, скрывались в беспорядке в своих окопах. Груды окровавленных, растерзанных тел возвышались повсюду, толпы обезумевших лошадей метались по полю, волоча за собой своих безжизненных седоков, а белое гетманское знамя свободно развевалось подле самых польских валов...

Широким могучим кольцом окружали теперь безнаказанно козачьи войска вместе с татарами польский обоз и замыкали в нем несчастные остатки героев...

Вдруг раздался у самых окопов повелительный голос Богдана:

— Сдавайтесь, безумные! К чему проливать даром кровь? Ведь никто вас не вырвет из наших железных объятий!

Сбившиеся в беспорядочные кучи, охваченные смер-

тельным трепетом, польские войска молча стояли, и ни у кого не поднялась святотатственно рука на безумную дерзость победителя.

Дождь шел почти до вечера, превратившись из бурного ливня в тихий и частый. Ни одного выстрела не раздалось из польского лагеря: или порох был у поляков подмочен, или они, охваченные паникой, не думали уже и сопротивляться; а козацкие войска свободно расположились тесным черным кольцом вокруг польского лагеря и перевезли через Жовтые Воды свой обоз. По кипевшему так недавно бранными кликами полю бродили лишь одинокие фигуры и поднимали раненых да убитых.

Настала темная, беззвездная ночь. Хотя дождь перестал, но густые, темные облака заволакивали все небо, отчего оно казалось черным, мрачным, нависшим... У гигантских костров, дымившихся кровавым дымом, расположились по куреням козаки; кто перевязывал рану себе или своему товарищу, прикладывая к ней нехитрые снадобья, вроде мази из мякоти пороха с водкой или даже простой глины, кто острил пощербившуюся саблю, кто прилаживал выпавший кремень к курку, кто смоктал молча люльку, кто передавал свои впечатления, вынесенные из первого боя, а кто, привыкший к ним, безмятежно храпел, растянувшись на мокрой земле. В других группах шли оживленные толки насчет завтрашней битвы: старики вспоминали о тех зверствах, которые чинили над козаками ляхи.

За станом, у открытой широкой могилы, выкопанной среди обступивших ее кучерявых верб, стояла в торжественном и печальном молчании с обнаженными чупринами группа седоусых сечевиков с Небабою во главе; рейстровики и запорожские козаки подносили тела убитых товарищей и клали их рядышком на разостланную в могиле китайку.

— И Палывода, и Куцый, и Шпак полегли,— говорил тронутым, взволнованным голосом Небаба, всматриваясь в застывшие лица удалых и за час, за два еще полных жизни товарищей.— Эх, славные были козаки, и на руку тяжкие, и на сердце щырые, а вот и полегли честно, за землю родную, за веру... Прими ж их тела, сырая земля, а души приголубь, господи, в селениях твоих.

— Царство небесное, вечная слава! — крестились набожно козаки и опускали убитых товарищей в братскую могилу.

— И Шрам головой полег! — даже возмутился Небаба, взглянув на поднесенного к могиле богатыря.— Экая силища была! Подкову разгибал рукою, коня поднимал, а вот и тебя повалили, друже, клятые ляхи, да как искромсали еще! Должно быть, намахался ты вволюшку саблею и дорого продал свою молодецкую жизнь... Эх, жалко! Спи же, товарищ, спокойно, потрудился ты честно сегодня и добыл нам вместе с полегшими товарищами и радость, и славу!

— Пером над ним земля! — откликнулись глухими голосами козаки.

— Куда вы этих волочете? — остановил вдруг мрачный и седой запорожец подошедших к могиле носильщиков с двумя трупами.— Ведь это ляхи!

— Поляки... верно... жолнеры, мазуры,— обратили внимание и другие,— еще передерутся с нашими в могиле и развалят ее, чего доброго...

— Выкиньте их, не надо! — сурово повторил запорожец.— Пусть галич клюет им очи, пусть волки-сироманцы разнесут по полям их кости.

— Не так я думаю, братове,— отозвался Небаба,— не подобает выкидать из ямы христианина на поталу зверю, а в яме они не подерутся,— и тут они бились с нами по приказанию... а какие они нам враги? Такие же харпаки, как и мы, и так же терпят от панов, как и мы, грешные... Кабы разум просветил им незрячие очи, так они бы и биться с нами не стали, а, обнявшись по-братски, пошли бы вместе на общего врага—пана-магната... Пусть же их прикроет, как братьев, наша общая мать сырая земля.

— Разумное твое слово, пане атамане,— отозвались деды, и оба поляка были положены рядом с запорожцами и рейстровиками.

Подле гетманской палатки ярко горели два огромных факела, воткнутых на высокие вехи, освещая мигающим кругом ближайшие группы расположившихся войск; неподвижно стояли у входа вартовые, охраняя гетманские бунчуки; чигиринская сотня, выбранная теперь телохранителями гетмана, окружала его намет.

В палатке гетмана на покрытом ковром столе ярко

горели восковые свечи; подле него водружены были два знамени: белое гетманское и малиновое запорожское; на столе лежали гетманские клейноды: серебряная булава, драгоценная сабля, печать; тут же брошено было разорванное письмо.

Богдан ходил широкими шагами из угла в угол; усталое лицо его горело теперь энергией и отвагой, глаза смотрели повелительно, властно, гордые думы охватывали голову гетмана.

— Так, победа, победа несомненная,— повторил он сам себе,— надменный враг разбит, унижен и в моих руках... Ни одна живая душа, ни зверь, ни птица не прорвутся сквозь ту цепь, которою мы окружили лядский обоз... Они отрезаны от воды, коням их нет корму... в руках, да, в наших руках! О боже! — остановился Богдан.— Ты дал мне, слабому и неуверенному, эту силу! Ты поднял меня, униженного, бессильного, и поставил на челе сильной рати и двинул, как свою огненную тучу, на голову врага!.. Твою десницу я вижу в этом и чувствую на себе твой священный огонь!

Так, в руках непобедимый, безжалостный враг, в его, Богдановых, руках! Зашагал он снова торопливо. Помощи получить неоткуда. Вот письмо, в котором они умоляют гетмана прислать им подмогу, но гетман его не увидит: здесь оно! Другой гетман прочел его, и он клянется исполнить то, о чем просите вы! Богдан глубоко вздохнул и провел рукою по голове.

«Гордые можновладцы в руках у подлого быдла... Что же теперь? Раздавить ли их одним ударом или отнять все оружие и отпустить безоружных, а самому грянуть, пока не собрали кварцяного войска, на Чигирин? Так, так...» О, как побледнеют теперь его предатели от одного имени Богдана?

Богдан сжал голову руками и снова зашагал по палатке; на лице его выступили багровые пятна, видно было, что мысли неслись в его голове с дикою быстротой. Все вспомнит он им: и наглое презрение, и поругание всех его человеческих прав, и убийство несчастного сына. О, гетман Хмельницкий не забудет ни одной из тех мук, которые сотник чигиринский перенес! А она? Она?.. Лицо гетмана покрылось багровою краской. Разбить, взять силой и насмеяться, ух, так же насмеяться, чтоб и чертям стало тошно в аду? Богдан сжал до боли

руки... А может... ее насильно... лгать она не может... да, да... такие глаза чистые, прозрачные, как море... Остановился он, и знакомые оправдания снова охватили голову гетмана шумящей волною. «Любила меня, ничего не побоялась... веру переменила... все отдала... Да и чем же он лучше, богаче, знатнее? Нет, силой, силой! Знала, что я в Чигирине, и не постаралась... Да что может слабое созданье против злодея? — рванулся Богдан приглушить сразу пробирающееся сомненье.— Под замком... стража, крепкие стены, и коршун сторожит! Ах, поскорее,— стиснул Богдан лихорадочно пальцы,— освободить ее, вырвать из рук... сюда, сюда, к этому измученному сердцу... Мою голубку! Мою!» Вдруг мысли его оборвались, и гетман остановился как вкопанный. А пока он будет спасать коханку и чинить суд и расправу, старый Потоцкий соберет сильнейшее войско, соединится с панскими отрядами и ударит на козаков, и все великое дело пропадет из-за его недостойного порыва... и тысячи жизней... «Нет! Нет! — выпрямился Богдан, и лицо его приняло величавое выражение.— Да не осквернится искушением сердце мое! — произнес он твердо и опустился на ближайший табурет. Несколько минут Богдан сидел молча, опустив голову... Наконец он поднял ее, казалось, что-то просветленное засветилось в его глазах.— Так, кто богом избран, отбрось свои радости, свои боли! Перед лицом господа клялся он владыке страшною клятвой и клятвы своей не изменит никогда. Дальше! Вперед! Теперь в его сердце растет и ширится вера! Сбываются слова велебного владыки: ангельские рати встают на помощь козакам. Его господь послал спасти от поругания святую веру, вырвать народ из рук безжалостных мучителей, и он пребудет с ними до конца...»

LXIV

Полог палатки заколебался. Вошел Морозенко с перевязанною рукой и головой.

— Ясновельможный гетмане,— остановился он у входа,— над польскими окопами взвился белый флаг [108].

— Что? Что? — сорвался порывисто с места Богдан.— Ты говоришь, белый флаг? А!.. Так сдаются паны!.. Сами, без принуки! Передай же Чарноте, чтоб

выехал немедленно со своими козаками в поле, встретил бы и провел к нам посла.

Морозенко вышел. Богдан прошелся взволнованно по палатке и остановился у стола, опершись на него рукою; на лице его появилась гордая, торжествующая улыбка.

— Посол! Ха-ха-ха! Посол от можновладного панства к быдлу! Сын коронного гетмана к гетману Хмельницкому, к тому Хмельницкому, которого паны хотели повесить в Бузнике! Ха-ха-ха! Колесо фортуны сорвалось с оси! А что ж теперь сказать послу? — проговорил он отчетливо вслух и, умолкнув, устремил взгляд в дальний угол палатки. Глаза его начинали медленно разгораться. Со своей наклоненной головой, вытянутой шеей и сжатыми бровями он делался страшен...— А что бы они тебе сказали, Богдане, когда б ты так приехал к ним? Помиловали б или обошлись бы как с мятежным хлопом? Ха-ха-ха! — разразился гетман диким хохотом, отбрасывая гордо голову назад.— Теперь хлоп — гетман, а быдло — вы! Что ж, истребить их, всех до единого?.. Отмстить им сотнею пыток за каждую нашу смерть? Но нет, нет! — сжал он руками пылающую голову.— Стишься, сердце! Не дай обратиться справедливому возмездию в свирепую ярость!

В это время чья-то сильная рука рванула полог палатки, и в нее стремительно вошел Кривонос. Страшное лицо его было так злобно, что Богдан невольно бросился ему навстречу.

— Максиме! Что сталось? — остановился он с встревоженным лицом перед ним.

— Над польскими окопами взвился белый флаг,— ответил глухо Кривонос.

— Знаю, я уже послал Чарноту с козаками встретить и провести в наш лагерь посла.

— Как! — отступил Кривонос.— Так добывать не будем лядского обоза, когда он уже у нас в руках? Зачем нам посол? Не миловать же подлое панство? Пусти меня завтра с моими куренями, и к вечеру я их тебе всех на аркане сам приведу!

— Друже,— положил ему Богдан на плечо руку,— победа наша, сопротивляться они не могут, лагерь все равно достанется нам. Зачем же подымать из-за того битву, что мы можем получить даром, выпустивши их живьем? Правда, они могут полечь все до единого,

но зачем нам давать им возможность умереть геройскою смертью, а свои головы покрывать вечным стыдом... Какая честь!..

— Богдане! — перебил его яростно Кривонос.— Не нам думать о чести, мы ведь быдло, рабы! Не для лыцарских доблестей поднялись мы, а для мести, да для такой мести, чтобы волосы встали у всякого дыбом на голове!

В палатке наступило страшное молчание.

Наконец Богдан заговорил взволнованным голосом:

— Друже, в твоих словах есть справедливый гнев. Но поднятое нами дело важнее мести: нам надо не только отомстить, но и создать, а для этого мы должны беречь свои силы. Нет сомнения в том, что мы возьмем ляшский обоз, но они будут отчаянно защищаться и нам придется потерять немало своих сил. Помни, друже, что главные битвы еще перед нами. Поспольство соберется без счету, а опытных козаков нам уже негде будет найти.

— Хорошо, ты щадишь ляхов теперь, измученных битвой, усталых, охваченных ужасом, а как ты думаешь, пощадят ли они тебя, когда пристанут к гетманам и с новою силой ударят на нас? Если ты теперь боишься за козаков, то подумай, скольких уложат они тогда?

— Нет, нет, замолчи, Максиме! — поднял руку Богдан.— Не надо зверства,— мы поднялись за волю, за веру. Виновны паны и подпанки, а эти...— провел он рукою по волосам.— Кто обвиняет стрелу, спущенную с лука за то, что она летит и впивается в тело? Виновна натянувшая тетиву рука. Так и они. Не надо! Не надо! За что карать смертью сотни невинных людей?

— Невинных? Ха-ха-ха-ха! — вскрикнул дико Кривонос и заговорил бешеным, задыхающимся голосом.— А не эти ли самые невинные люди, Богдане, под приводом Самуила Ляща [109] в святую ночь христовой пасхи, когда все козаки стояли на молитве в церкви, ворвались в Переяслав и вырезали всех жителей, не пощадив ни женщин, ни малых детей? В церкви врывались, алтари орошали кровью, топтали конями хоругви, пасхи, иконы. И ты их зовешь невинными! Ты! Ты! Все они изверги, все звери, от пана до жолнера, мучители, кровопийцы, нет им прощенья от нас никогда, никогда, никогда!..

— Замолчи, замолчи, Максиме! — отступил от

Кривоноса Богдан, охваченный ужасною яростью, звучавшей в его словах.— Не дай сердцу взять верх над головою.

— Не потурай ляхам,— продолжал страстно Кривонос, не замечая его восклицания,— милость к ним — зневага для нас. Когда начал рубить дерево — руби до конца, не оставляй подрубленным на корне, чтоб оно не пошатнулось и не задавило тебя самого.

Богдан хотел было возразить; но в это время раздался протяжный звук трубы; полог поднялся, и появившийся на пороге козак доложил:

— Пан посол польский уже в нашем обозе.

— Кто? Кто такой? — спросил порывисто Богдан.

— Полковник Чарнецкий.

— Чарнецкий? Наш злейший ненавистник? Ха-ха-ха-ха! Клянусь всеми ксендзами, мы должны устроить такому высокому гостю блестящий прием! Гей, джура! — хлопнул Богдан в ладоши.

Вошел козак.

— Оповести сейчас моих чигиринцев, чтобы выстроились кругом намета,— заговорил он торопливо.— Всю старшину сюда позвать. Да больше света! Гей, джуры, скорей!

Через пять минут вся палатка осветилась десятками восковых свечей, вставленных в высокие канделябры. У столов кругом поставили небольшие табуреты, покрытые красным сукном. Начала входить старшина.

Поклонившись гетману, полковники молча останавливались в ряд по обе стороны входа. Богдан стоял у стола с гетманскою булавой, за ним поместились два молодых джуры.

Одетая в свои красные жупаны, украшенная драгоценным оружием, генеральная старшина молча ожидала появления посла, посматривая на своего гетмана. Вид гетмана был величествен и спокоен, но по высоко вздымающейся груди его, по гордо закинутой голове и горящим глазам видно было, что он сдерживал сильное волнение. Все молчали. Освещенная ярким светом десятков свечей, картина была торжественна, величественна и сурова.

Но вот послышался приближающийся шум конских копыт, ближе, ближе, вот он умолк у самого входа.

Полог широко распахнулся, и в палатку вошел Чар-

нецкий, в сопровождении почетной стражи козаков. Чарнота держал его за руку; глаза Чарнецкого покрывал белый платок; Морозенко и другие козаки, сопровождавшие его, почтительно остановились у входа. Богдан сделал знак — и платок упал с глаз Чарнецкого.

Полковник бросил быстрый взгляд на всю окружавшую его картину, но, ослепленный множеством свечей, он принужден был снова закрыть глаза.

Молчание не нарушалось. Молча смотрели на своего гетмана старшины, ожидая с нетерпением, как он заговорит с лядским послом дерзко, надменно, гневно; как начнет вспоминать им все прежние обиды и издеваться над их хвастливыми возгласами. Но вот гетман заговорил, и все изумленно переглянулись, пораженные неожиданностью. Голос его звучал приветливо, любезно, почти радостно.

— Большая честь нам и всему нашему Запорожскому войску,— начал Богдан,— что достославный пан полковник соизволил прибыть в наш лагерь. Правду сказать, мы бы не смели никогда и рассчитывать на такую честь, да вот случай помог. Благодарим же вельможного пана за честь и за ласку, а господа милосердного за то, что привел нам встречать у себя таких именитых гостей.

Чарнецкий взглянул с изумлением на Богдана; лицо последнего было торжественно и радостно, ни следа гнева, надменности или презрения нельзя было подметить на нем, только от опытного взгляда не ускользнула бы легкая, загадочная улыбка, бродившая вокруг губ гетмана. И эту улыбку подметили козаки.

Безмолвное оживление охватило вдруг всю группу. Казалось, им всем передалось каким-то неведомым путем настроение гетмана; словно летучий огонек пробежал по всей толпе: глаза вспыхнули, лица оживились; послышался шелест: старшины пододвинулись друг к другу.

От проницательного Чарнецкого не ускользнуло подозрительное настроение общества; но, несмотря на это, он решительно не мог понять причины любезности Богдана, а потому, опасаясь попасть в какую-нибудь ловушку, он ответил сдержанно:

— Благодарю пана Хмельницкого и все войско Запорожское за приписываемые мне доблести, но я не за похвалами сюда прибыл и не нуждаюсь в них; я прибыл

послом от пана региментаря, чтоб узнать, что потребуют от нашего войска козаки?

При первых словах Чарнецкого гневная вспышка блеснула в глазах Богдана, но к концу его речи он снова овладел собою.

— Что потребуют? — воскликнул он в изумлении.— А чего еще нам требовать, вельможный пане? Мы ведь привыкли только земно кланяться да просить! Да что там говорить об этом! Еще успеем наговориться. Не будем же омрачать сегодняшнего дня старыми попреками, а на радостях, что славный во всей Литве и Короне пан полковник Чарнецкий прибыл к нам в гости, выпьем за его здоровье, если только пан полковник не гнушается сесть с хлопами-козаками за один стол.

Молча, с усилием заглушая кипящую ярость, слушал Чарнецкий хвалебную речь и приглашение Богдана. Среди козаков начинали раздаваться то там, то сям громкие восклицания... Положение Чарнецкого делалось щекотливым; но, имея в виду ужасное положение своего войска, ему ничего не оставалось, как делать вид, что он принимает все это за чистую монету, а потому он и поспешил ответить с достоинством:

— Войско козацкое всегда известно было всем своею храбростью, а потому общество его никакому воину не может составить бесчестья.

— Клянусь честью, да! — вскрикнул гордо Богдан, окидывая собрание вспыхнувшим взглядом, и потом тотчас же прибавил, чтобы побороть охватившую его вспышку: — Но и польское сражалось сегодня недурно. Вот за славу и храбрость пана полковника, первого предводителя польского, которого мы теперь принимаем в своем лагере, я и хочу осушить добрый келех вина! Гей, джуры! — хлопнул он в ладоши.— Вина сюда, еды и меду! Оповестить моих чигиринцев, чтоб воздавали каждый раз ясу из рушниц (салют), когда мы будем подымать свои кубки!

Хотя в словах Богдана заключалось, казалось, только искреннее восхищение, но, несмотря на это, и старшина, и Чарнецкий сразу поняли глубокую иронию, заключавшуюся в них.

Чарнецкий закусил губу, чтобы не дать прорваться потоку бешеной злобы, овладевавшей им больше и больше.

«Первый польский предводитель — и в стан мятежников послан... просителем мира... Гм, недурно сказано... Но погоди, подлый хлоп, все это я припомню тебе! — стискивал он в бессильном бешенстве зубы.— Что ж, пожалуй, можно и сесть пировать с вами, лишь бы продлить время. Ха-ха! Опьяненные первой победой, вы совершенно потеряли голову и уверены в полном бессилии врага. Пируйте, пируйте! А тем временем гонец наш уже скачет к гетманам и, пока вы здесь наслаждаетесь своим торжеством над нами, подойдет коронное войско; тогда уж мы поговорим по-своему с вами: не так, как говорите вы теперь».

Тем временем столы уставили огромными блюдами, наполненными дичью, жареною бараниной, рыбой, кувшинами, фляжками и дорогими кубками. Приготовивши все для пира, джуры остановились у входа, ожидая приказаний гостей.

— Вельможный пане и славное товарыство,— обратился ко всем Богдан,— прошу всех на хлеб радостный.

Все с шумом начали размещаться. На челе у стола поместился Богдан, по правую руку его Чарнецкий, а по левую — Кречовский.

Чарнецкий поднял глаза и вдруг встретился взглядом с Кречовским.

«Хлоп подлый, лжец, клятвопреступник, изменник!» — хотел было он вскрикнуть, но только сжал до боли эфес сабли рукою и, стиснув зубы, бросил на Кречовского полный ненависти и презрения взгляд.

Кречовский встретил его с легонькою улыбкой, игравшей вокруг его тонких губ. Чарнецкий вспыхнул весь багровыми пятнами и отвернулся в сторону; остальные старшины сидели все вокруг стола, как попало; оттененные яркою краской жупанов, их суровые, исполосанные рубцами лица дышали своею величественною силой и простотой. Чуялось сердцем, что это великая народная сила, поднятая одною общею идеей за свою народность, за право существования на земле.

Но на Чарнецкого это зрелище не произвело такого впечатления. Вся кровь благородного шляхтича бунтовала в нем при одной мысли, что он принужден пировать за столом с быдлом, которое не смеет считать себя равным с ним человеком, но которое теперь позволяет себе даже иронизировать над ним. «О, если бы не

война, он показал бы этим хлопам их место! — стискивал Чарнецкий со скрежетом свои широкие зубы.— Но... ничего, гонец уже скачет. Подойдет коронное войско, тогда вы увидите меня, подлое хамье!»

Хмельницкий, жадно наблюдавший за лицом злостного ненавистника козаков, казалось, прочел на нем мысли, прожигавшие его мозг.

— Панове товарищи, славные лыцари, козаки-запорожцы! — заговорил он громко и торжественно, высоко подымая свой кубок.— Первый раз в жизни доводится нам, бедным сиромахам-нетягам, принимать в своем стане такого славного лыцаря и полководца, как вельможный пан Чарнецкий. Тем более радостным является этот день для нас, что вельможный пан полковник не жаловал нас прежде, а теперь сделал нам честь и сам пожаловал к нам. За славу ж вельможного пана!

— Слава, слава! — поднялись кругом кубки и потянулись к Чарнецкому.

Скрепя сердце начал чокаться с козаками Чарнецкий и выслушивать их шумные восхищения его военною тактикой и отвагой, посыпавшиеся со всех сторон.

— Выпьем же еще, панове,—продолжал снова Хмельницкий, когда первый шум умолк,— и за славу молодого гетманенка. Поистине, такого отважного и бесстрашного воина трудно встретить и среди закаленных стариков. Пусть живет на славу и радость отчизне!

Новые шумные возгласы огласили весь свод палатки. Прославление доблести и храбрости разгромленного войска делалось смешным. Чарнецкий давно замечал это, кусая губы, но восхваления делались такими искренними голосами, что трудно было придраться к ним.

— Ишь как печет его! — нагнулся Чарнота к Кривоносу, поглядывая на Чарнецкого, который то бледнел, то зеленел.

— Я бы его не так попек,— прорычал свирепо Кривонос, бросая в сторону Чарнецкого полный ярости взгляд.

— И за славное войско польское! — продолжал снова Богдан, наполняя кубок.— Правда, наделало оно нам немало хлопот, ну, да что вспоминать... Все хорошо, что хорошо кончается!

— Виват! Виват! — подхватили кругом козаки, чокаясь с Чарнецким кубками.

— Благодарю вас, панове, за лестное мнение о ясновельможном региментаре и обо мне,— поднялся надменно Чарнецкий, едва сдерживая душившую его злобу.— Правда, в эту несчастную для нас битву вы еще не могли убедиться в нашей доблести, но, быть может, судьба предоставит нам случай показать вам, что мы недаром слушали ваши хвалы!

Среди козаков пробежал какой-то глухой рокот.

— Еще бы, еще бы! — вскрикнул шумно Хмельницкий.— Беллона ведь женщина, вельможный пане, и коханцев своих меняет не раз... Да и что ж это была за битва? Жарт лыцарский, ей-богу, не больше!

Чарнецкий вспыхнул и хотел было что-то ответить, но Хмельницкий продолжал дальше:

— Да, вот я забыл вельможному пану сказать: тут татары принесли какое-то письмо... к коронному гетману, что ли, посылало его панство? Разорвали голомозые и мне притащили, так, я думаю, может, вельможный пан передаст его назад молодому полководцу-герою,— подал он Чарнецкому разорванное письмо.— Что ж оно будет у меня тут даром лежать?

Молча взглянул Чарнецкий на письмо, и все лицо его покрылось смертельною бледностью.

LXV

Прошел день, но ни Богдан, ни другой кто из козацких старшин не подымал с Чарнецким никаких разговоров о перемирии. Его угощали, окружали возвышенным почетом, даже, к изумлению самого Чарнецкого, допустили свободно расхаживать по всему лагерю,— словом, обращались с ним, как с почетным гостем, но отнюдь не как с послом.

Между тем для Чарнецкого после вчерашнего происшествия с письмом не оставалось уже никакого сомнения в безнадежности положения польского войска. Письмо к гетманам перехвачено; другого гонца нет никакой возможности послать, так как лагерь оцеплен козацкими войсками со всех сторон. Не получая никаких известий, гетманы подумают, что войска углубились к самой Сечи, а тем временем припасы здесь выйдут, лошади станут падать, воды нет, а прорваться невозможно. Каждый

день только близит их к гибели... «Выбирать нельзя и не из чего,— повторял сам себе несколько раз Чарнецкий, обдумывая положение своего войска,— придется или согласиться на условия, предложенные подлым холопом, или умереть. Но умирать из-за этого хамья, геройство показывать перед рабами? Нет, это уж слишком! Лучше уступить им, а соединившись потом с гетманами, отплатить за все это в сто тысяч крат!» И так как Богдан не делал решительно никаких намеков на переговоры, то Чарнецкий решился в последний раз подавить свою шляхетскую гордость и заговорить самому о перемирии.

На следующее утро, когда Богдан сидел в своей палатке с Кречовским, Богуном и Кривоносом, козачок, приставленный к Чарнецкому, вошел и доложил, что пан посол польский желает говорить с гетманом о войсковых делах.

— Ишь,— усмехнулся едко Богдан,— знать, допекло до живого ненавистника нашего, коли он сам идет просить мира у подлого козака!

И, обернувшись к джуре, он прибавил:

— Скажи, что мы ждем пана посла, да приказать просить сюда всю генеральную старшину.

— Так-то,— заметил и Кречовский,— уж, верно, никогда не думал вельможный пан Чарнецкий, что доживет до такого дня. Вот и откликнулись кошке мышиные слезки.

Но Кривонос не произнес ни слова, а только молча потупил свои злобные глаза.

Когда Чарнецкий вошел в палатку, Богдан уже сидел, окруженный всеми своими сподвижниками. Лицо его было гордо и сурово, в руке он держал украшенную каменьями булаву. Это уже был не прежний радушный хозяин,— это был победитель, принимавший побежденного врага.

Чарнецкий окинул взором все собрание и, сделавши несколько шагов, остановился.

В одно мгновенье весь ужас этой картины встал перед его глазами: он, вельможный шляхтич, рыцарь, прославившийся в стольких победах, гордый своими славными предками,— просит мира у подлого хамья, у своих конюхов, поваров, псарей, которых он сам запарывал, которых... которых... Судорожная спазма сжала его горло... Несколько мгновений Чарнецкий не мог произнести

ни одного слова... Наконец он сделал над собою страшное усилие и заговорил сухо и отрывисто:

— Гнусная измена довела нас до... до... истощения... гонец наш перехвачен... мы отрезаны от помощи... положение наше почти безнадежно... Этого не к чему скрывать. Вы это знаете сами. А потому я спрашиваю вас от лица ясновельможного региментаря: что угодно потребовать от нашего войска? Мы постараемся выполнить ваши требования, если только они не окажутся слишком тяжелыми и оскорбительными, потому что в противном случае у нас все-таки остается еще один исход...

Несколько мгновений все молчали, и вот заговорил Хмельницкий. В голосе его теперь явно звучали ненависть и презрение.

— Правду сказать,— начал он, смеривая надменную фигуру Чарнецкого гордым взглядом,— мне нет никакой необходимости делать вам какие-либо уступки. Что же с того, что вы проиграли битву и валите всю вину на какую-то измену? Должны ли мы из-за этого быть снисходительными к вам? Клянусь моей совестью, нет: этому не учили нас наши общие полководцы, да и пан полковник соглашался в этом с ними всегда! Толковать же с вами о наших делах мы не можем, так как у вас нет в лагере ни сенатора, ни уполномоченного, которому мы могли бы объяснить, что принудило нас поднять оружие. А снизошел я к вашему желанию войти с нами в переговоры только потому, что мне жаль вас, вельможные паны.

Губы Хмельницкого искривились змеиною улыбкой; Чарнецкий вспыхнул, но не проронил ни слова.

— Мне вашей крови не нужно,— продолжал снисходительным тоном Богдан,— отдайте мне ваши пушки, боевой припас и знамена и идите себе спокойно домой.

— Знамена?! — вскрикнул невольно Чарнецкий и затем прибавил глухим, упавшим голосом: — Нет... это невозможно... никогда!..

— Как угодно вельможному панству,— ответил спокойно Богдан,— об этом мы не хлопочем, так как все равно через два дня все они будут в наших руках.

Наступила долгая пауза.

Наконец Чарнецкий произнес с усилием:

— Я передам региментарю ваши условия. Прошу отпустить меня теперь в мой лагерь.

— Не к чему вельможному пану утруждать себя таким делом,— усмехнулся Богдан,— найдутся у нас и более молодые, что передадут пану гетману наши слова.

— Как? — отступил в изумлении Чарнецкий, словно не понимая слов Богдана.

— А так, что мы уже выбрали своих козацких послов.

— Не забывайте, что я посол и что особа моя священна!

— Как лучшее сокровище, а потому мы и хотим ее сберечь у себя.

— Так, значит, я в плену? — рванулся Чарнецкий с бешенством к своей сабле, но сильная рука Кривоноса опустилась на его руку.

— Помилуй бог! — воскликнул насмешливо Богдан.— За гостеприимство так вельможные паны не платят! Но не гневайся, вельможный пане, ты не в плену, а в гостях, в почетных гостях!

Тем временем, пока Чарнецкий сидел в почетном плену у козаков, положение дел в польском лагере становилось с каждым часом все хуже и хуже. Войска козацкие окружили их таким тесным, неразрывным кольцом, что прорваться сквозь него не было никакой возможности. Никто из жолнеров не смел показываться на валах. Все ожидали с минуты на минуту прибытия татарских загонов, а расположившиеся у окопов козаки изливали в самых едких насмешках и угрозах все те горькие обиды, мучения и поругания, которыми их довели до безумного отчаянья паны.

Бледный, убитый, с широко перевязанною головой сидел в своей палатке молодой полководец. Из-под приподнятых пол входа ему была видна почти вся площадь лагеря. Бездейственно стояли на опустевших валах брошенные пушки. Неподвижными группами, словно живые трупы, лежали то там, то сям и раненые и просто изнемогшие от жажды жолнеры. На их землистых лицах с запекшимися губами и ввалившимися воспаленными глазами лежал отпечаток какого-то смертельного, дошедшего до полной апатии, утомления. Казалось, ворвись войско козацкое сейчас же в лагерь, никто из них не был бы в состоянии даже поднять оружия для защиты себя. Страшные терзания жажды наложили свою ужасную печать на их изможденные лица.

Некоторые бродили, пошатываясь, по площади с го-

рящими глазами, с покрытыми лихорадочным румянцем щеками; с языка их срывались бессвязные восклицания и обрывки ухарских песен, дико раздававшихся в этой могильной тишине.

Это были опьяневшие.

Еще со вчерашнего дня Потоцкий велел раздавать жолнерам по порциям вина и меда из своих и панских телег, но вино и мед не утоляли жажды, а вызывали только болезненное опьянение в истощенных организмах.

И это смертельное опьянение едва блуждающих теней производило еще более тяжелое впечатление.

И серое нависшее небо, и голая песчаная почва лагеря застилали всю эту картину словно могильным саваном. Кругом было тихо, страшно, уныло... Даже ветер не нарушал этой безжизненной тишины. Иногда только раздавался надрывающий душу стон раненого или дикое вскрикивание опьяневшего жолнера.

Молодой региментарь не отрывал глаз от этой ужасной картины. Опустивши свою больную голову на руку, он сидел неподвижно, не дотрагиваясь до скудной порции вина и пищи, принесенной ему еще с утра. История письма к гетманам была уже известна и ему, и всему лагерю из насмешек окружавших окопы козаков. Вот уже третий день близился к концу, а Чарнецкий все еще не возвращался из козацкого обоза; безнадежность положения была теперь очевидна и для его пылкой головы.

О чем же думал молодой герой?

Рисовались ли теперь его воображению те заманчивые картины военной славы, ради которых он так горячо рвался сюда, не думая даже о том, где правая, а где неправая сторона; или теперь под стоны и вопли умирающих в его голове смутно подымался вопрос об ужасе насилия и угнетения народа, порождающем такие кровáвые дела?

В палатку вошел седой ротмистр и молча остановился у входа; Потоцкий даже не вздрогнул при входе его. Несколько мгновений добрые глаза седого воина с участием смотрели на молодого героя, наконец он произнес как можно тише и мягче, чтобы не встревожить измученного юношу:

— Ясновельможный гетмане!

— А? Что? — рванулся, вздрогнув всем телом, Потоцкий и поднял на ротмистра свои истомленные глаза.— Опять несчастье, измена? Ну что? Скорее, скорее!..

— Лошади падают без воды и травы; я предложил бы ясноосвецоному зарезать их.

— На бога, нет! — вскрикнул с отчаянием молодой герой, схватываясь с места.— Что хотите, но не их, не их! Единственная наша надежда,— заговорил он горячо, страстно,— еще, быть может, ночью можно прорваться, напор гусар неотразим, стремительность и бесстрашие давали иногда отчаявшимся спасение... сегодня ночью попробовать,— все равно.

Молча с горькою улыбкой слушал ротмистр последнюю вспышку ребенка-героя, наконец он произнес тихо:

— Наши люди уже не могут прорваться, жажда истомила их, третий день нет воды, сегодня я роздал последние капли вина.

Потоцкий сжал голову руками; но вдруг какая-то новая мысль осветила все его исстрадавшееся лицо.

— Колодезь!—вскрикнул он с горячечною энергией.— Копать колодезь, река здесь недалеко, тогда мы спасены!

— Попробовать можно,— согласился ротмистр,— но я боюсь, что здесь довольно высокий холм, придется рыть глубокую яму, без коловоротов нельзя, кроме того, нужны канаты.

— Порежем белье, жупаны! — вскрикнул Потоцкий и, охваченный последнею надеждой, стремительно бросился из палатки.

Вскоре на площади закипела работа; казалось, вспышка молодого гетманенка передавалась другим; более здоровые из жолнеров схватились за заступы, паны выбежали из своих палаток и обступили работающих кругом.

Последняя надежда подняла снова дух осажденных, работа шла с лихорадочною поспешностью. Взрываемые комья земли взлетали, и заступы врезывались снова в песчаный грунт. Все стояли, затаив дыхание.

Прошло полчаса напряженной, страстной работы; у ног столпившихся чернела уже порядочная яма, но ни малейшего признака близости воды нельзя было заметить: шел ровный, широкий песчаный пласт.

Вдруг один из копавших жолнеров пошатнулся и выронил заступ из рук.

Жолнера подхватили и вытащили из ямы; его место сейчас же занял другой. Прошло снова полчаса. Еще один покачнулся... еще одного вытащили и заменили другим. Работа продолжалась уже не с прежнею горячностью; отчаяние начинало пробиваться снова на бледных лицах.

— Пустите меня! — вскрикнул горячо Потоцкий, замечая упадок духа толпы.— Панове, кто из вас посильнее, за заступ!

Жолнеры отступили.

Увлеченные примером своего полководца, вельможные паны схватились за заступы, забросив длинные откидные рукава своих дорогих жупанов.

Работа снова закипела с проснувшеюся энергией, но из-под заступов все летел песок, песок и песок...

Так прошло снова томительных полчаса.

Вот и истомленный Потоцкий бросил наконец свой заступ... Вот расправился и высокий Шемберг, отирая пот, выступивший у него на лбу. И вдруг среди наступившей тишины раздался голос ротмистра:

— Панове, мне сдается, мы тратим напрасно последние силы: песок засыпает стены ямы, нужно сруб, а досок нет.

Ни вздоха, ни проклятия не послышалось кругом; все молча переглянулись и онемели в каком-то мертвом отчаянии. Вдруг у самых окопов раздался долгий и протяжный звук трубы...

— Чарнецкий! — вскрикнул Потоцкий.

— Чарнецкий! Чарнецкий! — раздались со всех сторон оживившиеся голоса.

— Да нет, не он! Не он! Чужой кто-то, из козаков! — замахали руками взобравшиеся было на вал жолнеры.

— Что ж это значит? Святая дева! — раздались разом испуганные возгласы оторопевших панов.

Но Потоцкий заговорил бодро и энергично:

— Не теряйте присутствия духа, панове. Хуже нашего теперешнего положения ничего уже быть не может. Сейчас узнаем всю истину, и, какова бы она ни была, она будет все-таки лучше этой томительной смерти. За мною ж, панове, а вас, пане ротмистре, прошу поскорее принять и провести к нам посла!

Паны последовали за региментарем, а ротмистр с молодым товарищем и еще несколькими офицерами отправился навстречу послу.

LXVI

У самых окопов польских стоял верховой козак с длинною, завитою трубой в руке; за ним в некотором отдалении остановился Чарнота [110]. Одетый в роскошный запорожский жупан, на белом, как снег, коне, он имел чрезвычайно красивый и шляхетный вид; над головой его развевалась белая мирная хоруговка. Небольшой отряд козаков окружал его.

Ротмистр осмотрел внимательно всю группу: Чарнецкого не было среди них.

— Посол ясновельможного гетмана и славного войска Запорожского! — произнес громко передовой козак.

— Просим пожаловать! — ответил ротмистр, стараясь заглушить овладевшее им беспокойство.

Чарнота подъехал.

— Я попрошу пана оставить свою свиту у ворот, ввиду того, что наш заложник остался в вашем лагере,— проговорил сухо ротмистр, отвешивая официальный поклон, и вдруг отступил в изумлении, поднявши на Чарноту глаза.

Такое же изумление отразилось и на молодом лице козака.

— Черт побери меня, — вскрикнул он радостно,— если это не пана ротмистра вижу я!

— Он самый, — улыбнулся широкою добродушною улыбкой старик.

— Так будь же здоров, любый пане! — с силою потряс руку старика Чарнота и заключил его в свои крепкие объятия.— Рассади я себе голову в первой стычке, если забыл ту услугу, что ты мне, помнишь, там, в Лубнах, оказал!

— И что там вспоминать! — улыбнулся уклончиво ротмистр.

— Нет, есть что! Ей-богу! — продолжал также радостно Чарнота.— Не случись ты тогда, не гарцевать бы мне здесь сегодня.

— Хе-хе! Так, значит, выпустил я тебя, козаче, себе на горе!

— А это еще увидим! Еще посчитаемся, пане друже! А твоя услуга, верь,— указал Чарнота на сердце,— шаблею закарбована здесь навсегда.

И поляки, и козаки с изумлением смотрели на ра-

достную встречу врагов. Наконец пѐрвый спохватился ротмистр.

— Одначе, пане посол,— произнес он серьезно, придавая своему лицу хмурое и суровое выражение,— я должен с тобою поступить так, как велит мне наш войсковый закон.

— Отдаю себя в руки пана ротмистра! — ответил Чарнота, спрыгивая с коня.

Слуги приняли посольского коня; ворота замкнулись.

Ротмистр вынул белый платок и, обвязавши им глаза Чарноте, двинулся вместе с ним к региментарской палатке в сопровождении своих офицеров.

Когда ротмистр с Чарнотой вошли в палатку, Потоцкий был уже там, окруженный своими полководцами.

Молча, понурив головы, сидели паны, как бы боясь прочесть на лице друг друга свой тяжелый позор.

— А где же наш посол пан Чарнецкий? — вскрикнул Потоцкий, едва ротмистр снял повязку с глаз Чарноты.

— Он остался в нашем лагере.

— Но это небывалое насилие! Права посла священны у всех народов!

— В лагере ясновельможного пана находятся наши заложники козаки.

Паны переглянулись; начало не предвещало ничего хорошего.

Прошло несколько секунд тягостного молчания; наконец Потоцкий произнес с усилием:

— Какие условия предлагает пан Хмельницкий?

— Наш ясновельможный гетман,— произнес гордо и с ударением Чарнота,— объясняет, что, не желая убивать беззащитных людей и жалея вельможное панство, он готов выпустить все войско с оружием, но только с тем непременным условием, чтобы все пушки, огнестрельные припасы и знамена были отвезены в козацкий обоз.

Потоцкий вспыхнул и хотел было резко ответить, но, бросив взгляд на все молчаливое собрание, произнес упавшим голосом, протягивая к выходу руку:

— Иди, мы призовем тебя выслушать наш ответ.

Чарноте снова завязали глаза и вывели его из палатки.

Вход закрылся.

— Панове, друзи и братья! — заговорил страстно Потоцкий, заламывая руки.— Да неужели же мы можем согласиться на такой позор? Лучше отважимся на отчаянную вылазку, лучше поляжем все друг подле друга, чем примем позорную милость от хлопа! С какими глазами предстанем мы перед всем рыцарством и гневным отцом? Что жизнь перед таким позором! Лучше честная смерть, чем купленная унижением жизнь! — остановился он, окидывая взглядом все собрание.

Но паны молчали, не подымая от земли потупленных глаз.

— Что ж вы молчите? — продолжал еще горячее Потоцкий.— На бога, на пресвятую деву! Да неужели же в вас угасла та польская доблесть, которая оживляла наших героев? Вспомните ж славу дедов наших, или нам запятнать ее теперь своим позором и заставить наших потомков краснеть за нас? Мы упали духом,— продолжал он снова то с мольбою, то с горечью, то со слезами в глазах.— Соберемся ж с силами, друзи и братья,— очнитесь! Будем рыцарями! Не посрамим дорогой отчизны! Умирать тяжело, а умереть со славой легко!

Голос юноши оборвался... Но на его страстный призыв не отозвался никто. Только седой ротмистр вспыхнул вдруг, сверкнул глазами и хотел очевидно произнести какое-то горячее слово, но запнулся на первом звуке и, смущенный молчанием вельмож, сурово нахмурился и умолк.

Еще раз обвел Потоцкий взглядом с отчаяньем все собрание и закрыл руками лицо.

Так прошло несколько тяжелых минут. Послышалось, как кто-то откашлялся и умолк.

Наконец раздался голос Сапеги; он заговорил смущенно, запинаясь на каждом слове, словно не находя подходящих выражений.

— Умереть всегда возможно, но... гм... дело не в том, чтоб умереть... Этим мы... гм... показали бы... так сказать, что думаем только о себе... но мы должны думать об отчизне и, так сказать, принести ей в жертву даже свою честь... Какая польза вышла бы отчизне от нашей смерти,— поднял он голову,— все равно оружие и знамена наши отошли бы в лагерь козаков. Правда, имена наши покрылись бы славой безумной храбрости,— под-

черкнул он,— но отчизна потеряла бы нужных ей теперь более, чем когда-либо, сынов.

Среди панов появилось оживление.

— Верно! верно! — раздалось то здесь, то там.

Сапега передохнул и продолжал смелее:

— Между тем, принявши предложение хлопов, мы сделаем лучшее, что возможно в нашем положении: мы выиграем время, присоединимся к гетманам, сообщим им о мятеже, о силах Хмельницкого и таким образом дадим возможность принять заранее меры, чтобы утушить этот пожар.

— Верно! Згода! Мы должны думать не о своей славе, а о защите отчизны! — перебили его уже более шумные восклицания, обрадовавшихся приличному оправданию, панов.

— Если же мы, послушавшись горячего предложения нашего молодого героя, поляжем здесь все до единого, то никто не принесет гетманам известия о нашей геройской смерти, а они, уверенные в благополучном исходе нашего похода, не будут принимать никаких предосторожностей. Этим-то и воспользуется Хмельницкий и, нагрянувши с татарами, разобьет и этот последний оплот отчизны.

— Згода! Згода! Згода! — покрыли его шумные крики панов.— Во имя отчизны мы должны победить свой гонор, покорить самих себя!

— Дорогой гетман! — раздался вдруг подле Потоцкого чей-то голос.— В твоем честном порыве нет безумия славолюбивого юноши, а твердость мужа, знающего свой долг. Пусть я покажусь смешным и глупым вельможному панству, но верь мне — только твое чистое сердце искупает наш позор.

Потоцкий оглянулся. На него глядели растроганные глаза старого ротмистра.

— Спасибо! — произнес юноша тронутым голосом, пожимая широкую руку старика, и снова обратился к панам: — Но подумайте об одном: наше позорное, малодушное бегство, будто бы во имя отчизны, не придаст ли еще больше смелости врагам?

— Осекутся! Еще как осекутся-то! — ответили сразу несколько голосов.

Потоцкий безнадежно опустил голову.

— Хоть одного не забудьте, панове! — произнес он

с мучительною мольбой после долгой паузы.— Чарнецкий там... его потребуйте... не бросайте товарища... хоть ради чести лыцарской.

— Это невозможно,— произнес сухо, после минутного размышления, Сапега,— как нам ни жаль пана полковника, но мы не имеем права из-за одного человека подвергать опасности жизнь целого отряда, а это непременно будет, если мы начнем раздражать козаков.

— Да и медлить невозможно, каждая минута дорога,— заговорили разом со всех сторон паны,— того и гляди, подойдут татары, а тогда мы погибли... Надо торопиться, панове!

— Так вы все решили бросить во враждебном лагере своего товарища и полководца? — произнес медленно Потоцкий, впиваясь глазами в лица панов, принявшие снова свой дерзкий и надменный вид.

— Что ж, Иефай и родною дочерью пожертвовал для спасения отчизны [111],— произнес, не подымая головы, Сапега.

— Итак, вы все, все решаетесь на это? — вскрикнул с мучительною болью Потоцкий.

Никто не отозвался на его горячий призыв.

— О, позор, позор, позор! — сжал он свою голову руками и с рыданием бросился вон.

Когда Чарноту призвали опять в гетманскую палатку, он не узнал уже пришибленных стыдом и бессилием воинов: паны сидели гордые и величественные, словно римские сенаторы при вторжении варваров в Капитолий. Только молодого региментаря да ротмистра не было среди них.

Сапега, занявший теперь председательское место, обратился к Чарноте важно и сурово, словно он говорил с присланным просить пощады послом:

— Если вы поклянетесь на евангелии, что исполните свое обещание и не представите никаких препятствий нашему движению, то мы согласимся на ваши условия.

По лицу Чарноты пробежала насмешливая улыбка.

— Добро, — произнес он, подчеркивая слова,— поклясться мы можем, только наш ясновельможный гетман требует, чтобы армата и знамена были отвезены в наш лагерь сейчас же, иначе...

— Идите, — прервал его коротко Сапега,— приго-

товьте все для присяги на поле. Требуемое вам вывезут сейчас.

Чарнота поклонился и вышел.

Через полчаса посреди поля возвышался уже небольшой, наскоро устроенный аналой, покрытый красною китайкой. На нем лежали крест и евангелие; старенький священник, взятый с собою из Запорожья, стоял подле. Рядом с ним помещались Хмельницкий, Чарнота, Кречовский и Нос, а за ними уже стояла полукругом козацкая почетная свита. Над обоими лагерями развевались белые флаги; толпы народа стояли на валах. Между козаками слышались веселые замечания, шутки, остроты, но на польских валах царило гробовое молчание.

Бледные, изможденные жолнеры стояли и сидели беспорядочными, сбившимися группами. Иные полулежали, опираясь на своих более сильных товарищей; раненые, вытащенные на вал, с усилием приподымались на руках, стараясь рассмотреть середину поля.

Ни слова, ни крика, ни стона не слышалось из этих куч живых мертвецов, но все их лица, землистые, изнуренные, с каким-то остановившимся в глазах ужасом обращались в ту сторону поля, где стояли козаки.

В стороне от всех ротмистр поддерживал едва стоявшего на ногах молодого полководца-героя.

Время близилось к вечеру. От козацкого лагеря дул легкий ветерок. Разорвавшиеся во многих местах облака быстро уходили на север, очищая голубое, словно омытое небо. Выглянуло солнце; повеяло теплом. На западе горизонта протянулись нежные розовые полосы.

Вот разомкнулись ворота в польском обозе, и тихим шагом выехали Шемберг и Сапега в сопровождении свиты жолнеров.

Лошади выступали медленно, как за погребальною колесницей; всадники сидели молча, опустив головы на грудь; длинные, седоватые усы Сапеги поникли на расшитом золотом жупане.

Вот всадники подъехали к аналою и остановились. Священник раскрыл евангелие и обе стороны обнажили головы, а козаки подняли кверху по два пальца. Слов их не было слышно, но можно было догадаться по их поднятым к небу глазам, что они повторяли за священником какие-то слова.

Но вот клятва окончилась. Шемберг и Сапега повер-

нулись к польским окопам и отдали короткий приказ. Снова разомкнулись ворота лагеря, и потянулось длинное и печальное шествие.

Среди поляков пробежал какой-то необъяснимый шелест: не то стон, не то вздох, не то оборвавшееся слово. Раненые потянулись к краю вала, подымаясь на руках, цепляясь за здоровых и стараясь разглядеть эту длинную черную полосу.

Впереди выехали польские пушки. Они двигались медленно, с трудом. Их повернутые к польскому лагерю, наклоненные низко дула при каждом толчке словно припадали от необоримой тяжести к земле.

— Одна, другая, третья, пятая, десятая...

Болезненный стон вырвался из груди гетмана... Ротмистр вздохнул и поник головой.

Но вот последняя пушка выехала из окопов, и вслед за нею двинулись по три в ряд всадники со знаменами в руках. То там, то сям послышались сдержанные всхлипывания.

Ветер подхватил и развернул полотна этих славных знамен. Пробитые пулями, закопченные дымом, они жалобно забились в воздухе и с громким шелестом потянулись к польскому обозу, словно простирая к войсковым товарищам и хорунжим бессильные руки.

— Знамена! Знамена! Знамена!—вскрикнул с безумным отчаянием молодой гетман.—Туда... за ними... лучше полечь!..— рванулся он стремительно вперед.

— На бога! — едва удержал его ротмистр.— Такая душа дороже знамени; она нужна отчизне.

Тем временем, пока пушки и знамена ввозили в козацкий лагерь, Богдан отдавал в своей палатке последние приказания Кривоносу. Молча слушал его Кривонос с мрачным и злобным лицом.

— Ляхи на рассвете начнут сниматься с лагеря,— говорил Богдан коротко, шагая по палатке,— ты, Максиме, возьми с собой два-три куреня, вовгуринцев и сулимовцев, что ли, и пойди вслед за ними, чтобы, знаешь, не устроили нам какой беды. Проведешь их так хоть за Княжьи Байраки [112], а потом и назад, только смотри, чтоб не шалили хлопцы. Разумеешь слова мои? — остановился он перед Кривоносом, бросая выразительный взгляд на его свирепое лицо, но в глазах Кривоноса было темно и мрачно.

Смутная тревога шевельнулась в душе Богдана.

— Слушай, Максиме,— заговорил он еще настойчивее, не спуская с Кривоноса своего пристального взгляда,— тебе я поручаю эту справу, потому что ты лучше всех знаешь дорогу и, в случае чего, сумеешь постоять за себя. Но помни, Максиме, чтобы все было так, как я сказал. За малейшую провинность ты мне ответишь. Помни,— окончил он сурово и строго,— что наше слово — закон.

— За всех не могу я ручаться,— поклонился Кривонос и вышел из палатки.

Богдан хотел было вернуть его и дать новые распоряжения, но в это же самое время ко входу ее подскакал во весь опор Тугай-бей, окруженный свитой татар.

Лицо его было свирепо, побелевшие губы вздрагивали от бешенства. С лошади его падали куски пены; видно было, что мурза мчался сломя голову. Окружавшие его татары разделяли настроение своего господина.

Из их яростных гортанных криков и угрожающих жестов Кривонос понял, что Тугай крайне возмущен договором Богдана с ляхами, а потому и остановился у входа подождать, чем окончится этот разговор.

— Шайтан! — набросился на него Тугай задыхающимся от ярости голосом.— Где гетман твой?

Лицо Кривоноса искривила злорадная улыбка.

— А вот,— ответил он злобно,— готовит похвальное слово ляхам.

Но Тугай уже не дослушал его слов. Соскочивши с коня, он бросился, как тигр, очутился в один прыжок подле Богдана и зарычал бешено, сжимая рукою эфес своей кривой сабли:

— Изменник, предатель, клятвопреступник! Где твое слово? Где добыча, где ясыр?

Ужасная догадка, как молния, полоснула вдруг по Богдану; но, скрывая свое волнение, он постарался еще обратиться к Тугай-бею недоумевающим голосом:

— Не понимаю, что могло так разгневать великого и мудрого повелителя степей? О каком ясыре говорит он? Ясыр впереди...

— А, впереди! — заревел еще бешенее Тугай-бей.— Мне впереди, а тебе теперь? Так даром, думаешь ты, полегли на поле тела правоверных, только для того, чтобы

дать тебе победу? Только для твоих выгод вступили мы с тобою в союз, а? Ты клялся, что дашь богатый ясыр, а теперь взял себе все пушки, мушкеты и отпускаешь со всем обозом ляхов? Мой обоз! Мои ляхи! Ты выпустил, изменник, мою добычу, так за это и я изменяю тебе и перейду сейчас на сторону ляхов.

Богдан отступил. Лицо его стало смертельно бледно. Это он выпустил из виду. В одну минуту тысяча самых ужасных мыслей пронеслась бурей в его голове.

«Здесь — слово... присяга... уверенность безоружных в безопасности... там — судьба целой родины... всего народа и сотен будущих лет! — Холодные капли пота выступили на лбу Богдана.— Выбора нет!» Свирепый Тугай-бей исполнит свое обещание; что ему козаки, ляхи, христиане? Он знает только свой ясыр. Не получит его— и перейдет на сторону ляхов, и тогда погибнет все дело, и эти тысячи обнадеженных людей, бросившихся, очертя голову, в восстание, погибнут из-за одной его гордыни,— и тысячи новых жертв, новых мук. «Нет, нет! — перебил сам себя Богдан, стискивая до боли свои пальцы.— Все, что угодно, только не это! Пусть на мне грех... Бог видит...»

— Несправедливый гнев отуманил голову моего союзника и брата,— произнес он вслух со спокойною улыбкой,— а потому он и решается грозить мне разрывом, тогда как должен был бы благодарить меня до скончания своих дней.

Тугай-бей недоверчиво взглянул на Богдана своими косыми глазами, еще не понимая его слов.

— Великий повелитель — не подчиненный мой, а равный союзник, — продолжал Богдан, — а потому ляхи должны были заключить с ним такой же договор, как и со мной.

Лицо Тугая начало проясняться.

— Мы поклялись им на евангелии, но мы клялись только за себя. Если же ляхи не вспомнили в своем договоре про Тугай-бея, то пусть пеняют сами на себя.

Зверская, алчная улыбка искривила лицо Тугай-бея.

— Где пушки гяуров?

— Они все здесь в нашем лагере.

— Когда выступают поляки?

— На рассвете. Кривонос провожает их.

— Барабар! — вскрикнул шумно Тугай, стискивая в своей мохнатой руке руку Богдана.— Брат души моей может рассчитывать теперь на дружбу правоверных до скончания веков!

LXVII

Утро настало яркое, сверкающее, теплое...

Медленным шагом двигалось польское войско по направлению к Чигирину. Несмотря на возможное облегчение обоза и на постоянную боязнь появления Тугай-бея, измученные лошади и люди не могли ускорить свой ход.

Теперь уже молодому гетману не нужно было понуждать панов к скорейшему передвижению: оставив свои громоздкие кареты, они сами ехали верхом впереди своих отрядов, торопя беспрестанно жолнеров, но от этого не увеличивалась быстрота движения. Раненых и больных везли в простых телегах. В такой же телеге, только намощенной перинами и коврами, ехал молодой гетман.

Бледный, недвижимый, с перевязанною головой, лежал он плашмя на возу, устремив глаза в голубое небо. Рядом с гетманом лежало и свернутое гетманское знамя, единственное знамя, оставшееся при польских войсках.

В один день все оживилось и просветлело в природе, словно и не было темных туч и осенних теней.

Яркое солнце огревало своими жаркими лучами всю землю и приятно ласкало тела этих измученных людей. Над головой Потоцкого то и дело проносились шумные стаи вспугнутых птиц. Белые легкие облачка проплывали и таяли в голубой синеве неба. Направо и налево тянулись опять те же веселые байраки и луга, по которым так недавно еще шествовало блестящее, полное надежд панское войско.

Но ничего этого не замечал молодой гетман.

Тусклый взгляд его голубых глаз тонул как бы равнодушно в прозрачной синеве. Можно было бы подумать, что он спит или дремлет, а между тем в его юной голове подымались и падали тысячи самых мучительных вопросов и сомнений.

Со вчерашнего военного совета в душе его произошел страшный переворот.

Несмотря на все рассудительные и пышные речи панов, ему было ясно, что ими руководила не прославленная любовь к отчизне, а жалкий страх за самих себя.

«Позор они могли легко принять во имя отчизны, но смерть во имя ее оказалась для них слишком тяжела... «Отчизна нуждается в сынах своих!» — повторил он мысленно с горькою улыбкой слова панов.— А сыны ее бегут, как овцы с поля, открывая врагу дорогу в ее сердце! Но ведь все великие герои — безумцы, мечтатели, искатели суетной славы! И Леонид Спартанский, и триста спартанцев [113] думали только о себе, когда полегли все до одного! К чему им было умирать? Ведь все равно персы прорвали в Грецию дорогу... Но не такие безумцы вельможные паны! Гибель их войска не могла бы остановить неприятеля; но она могла бы нанести ему сильный урон. А теперь без боя получил он и честь нашу, и силу.... Ох, а ведь эти,— взглянул Потоцкий на ряды двигающихся войск,— были еще отважнее других... Почему же козаки, хлопы, могли подыматься каждый год и падать широкими рядами во имя своей отчизны? Почему они не рассуждали так холодно и разумно, а с каким-то непонятным упорством несли один за другим свои головы на верную смерть? Почему? Почему? — повторял с тоскою гетман и отвечал сам себе с горькою ироническою улыбкой: — Потому, что они грубые, глупые хлопы и не умеют рассуждать так разумно, как вельможные паны!»

Кругом было тихо и безмолвно.... Ничто не прерывало печальных размышлений гетмана; только изредка скрип телеги или фырканье коня нарушали однообразную тишину.

Эта мертвая тишина пугала больное воображение гетмана. Время от времени он приподымал с усилием голову и с ужасом оглядывался кругом.

Бледные, измученные жолнеры сидели молча на конях; начальники ехали впереди, понурив головы на грудь. Сами лошади выступали как-то медленно, едва слышно... Ни вздоха, ни слова не слышалось кругом... И если б не доброе лицо седого ротмистра, которое с участием склонялось каждый раз над Потоцким, лишь только он поворачивал голову, можно было бы подумать, что это двигалось по полю войско поднявшихся мертвецов.

В отдалении за польским обозом тянулась неотступно широкая черная линия,— это шли козацкие отряды под начальством Кривоноса.

Сначала движение их пугало до чрезвычайности поляков, но, убедившись в том, что козаки не думают причинять им никакого зла, они совершенно успокоились на этот счет.

Действительно, козаки двигались по-видимому спокойно. Веселые шутки, остроты раздавались то здесь, то там; песенники затягивали удалые песни. Только седые куренные атаманы перебрасывались иногда сдержанными проклятиями, доказывавшими их далеко не мирное настроение.

Впереди всех ехал Кривонос. Дикий рыжий конь его, свирепый как и сам хозяин, грыз нетерпеливо удила, сердито поматывая своею косматою гривою. Кривонос ехал мрачный и угрюмый, как глухая осенняя ночь.

«С меня спросишь? Ну что ж, не испугаемся! — твердил он сам себе, сцепивши зубы.— На кол посадишь? И то не беда! Да кто ему скажет, что это мы?.. Быть может, татары! Не биться же нам с татарами! Кажись, не рука... Опять, кто может знать, что впереди случится? Мы идем сзади. А хоть бы и так? — тряхнул он энергично головой, сдвигая свои сросшиеся брови.— Пусть спрашивает все с меня! Панские штуки выдумал с ними показывать, отпускать их! Презрением поражать ляхов! Прощать им все их зверства! А простили ль они нас хоть единый раз? Простили ль они Наливайка, когда он сам пошел к ним, чтоб спасти свое войско?.. А! Они сожгли его в медном быке, а у козаков отобрали все пушки, все знамена и казнили их всех до одного. И их прощать? За то, что они отдали всех нас на зверства, на пытки, на муки? Ты забыл все это, Богдане, но я напомню им это. Слышишь? — ударил он себя кулаком в грудь.— Я, Кривонос!» Бешеные мысли понеслись еще скорее в его голове.

Так прошло несколько минут; грудь Кривоноса высоко подымалась от охватившего его дикого волнения. Наконец он обратился вслух к одному из кошевых, ехавших с ним рядом:

— Вернулись ли, Дубе, вовгуринцы?

— Нет, батьку, еще не видать.

— Замешкались что-то хлопцы...

— О них не тревожься, из пекла вынырнут назад.

— Ну добро, смотри ж, как только прибудут, сейчас оповести меня,— проговорил, не глядя на собеседника, Кривонос и снова погрузился в свои черные думы.

Но мало-помалу ликующий весенний день убаюкал и его свирепое сердце. Черты его разгладились; в глазах мелькнуло какое-то теплое, туманное выражение, горькая складка легла возле губ.

— Эх, что еще там в голову лезет?—выругался вслух Кривонос, встряхивая головою, словно хотел стряхнуть с себя рой воспоминаний, окруживших его своею прозрачною толпой, но несмотря на все его старания, непослушное воображение несло его дальше и дальше, в глубокую даль.

Перед Кривоносом выплыл вдруг потонувший в зелени хутор, освещенный таким же горячим солнечным лучом. На пороге стоит молодая дивчына, стройная, тоненькая, с светло-русою косой... Какой-то козак держит ее за руку... чернобровый, статный, хороший. Неужели это он, дикий зверь Кривонос?

Кривонос сжал рукою свое сердце, и глубокий, тяжелый стон вырвался из его груди.

А вот вечер, ночь... Соловей заливается... Месяц светит сквозь листья дерев... Шею его обвивают нежные, теплые руки... Он слышит, как боязливо бьется на его груди чистое девичье сердце. Он шепчет своей Орысе на ухо горячие, полные страсти слова.

«Ох, на бога!» — простонал Кривонос, стараясь отогнать от себя рвущие душу образы, но против его воли они сплетались вокруг него все тесней и тесней.

Вот и хатка чистая, светлая, счастливая. На лаве сидит молодая женщина с нежным лицом и повязанной головой. Она гладит одной рукой склоненную к ней на грудь буйную голову, а другою качает люльку, привязанную к потолку... От чистого счастья слова не льются из сердца... В хатке так тихо, так любо, как в светлом господнем раю.

«Эх, было ж и счастье,— сжал Кривонос свой пылающий лоб рукою,— такое счастье, какого и не видали на земле! Господь создал землю на счастье всем и на радость, для всех зажег это солнце, рассеял эти цветы, этих веселых птиц,— почему же люди отделили одних

на муки и на горе, а других — на роскошь и пресыщенье?! Почему одни смеют топтать счастье других? Почему?»

Какие-то страшные воспоминания охватили Кривоноса. Лицо его покрылось багровою краской... Глаза уставились в одну точку с диким, безумным выражением. Ужасный шрам обрисовался через все лицо широкой синей полосой.

Костер горит... Она... Орыся... дети, дети! Ух, как свистят батоги, опускаясь на обнаженное тельце сына. Ляхи тащат ее, Орысю, силой. А дочка! Боже, боже! Он бьется напрасно, привязанный у столба! Не может быть в аду такой муки! Они рвут тут, на глазах, его счастье. Как она бьется, как молит о спасении, как просит пощадить несчастную дочь! Конец! Втолкнули! Огонь охватил ее бьющееся тело. Страшный крик доносится до него.

— А!.. — заревел Кривонос, разрывая свой жупан,— нет силы носить эту муку!.. Крови, крови вашей, изверги, мало, чтобы затопить ее! Постой, подожди, голубка, уже не долго... справлю по вас кровавую тризну... А тогда... хоть и в пекло... теперь все равно!

— Пане атамане,— раздался подле него громкий голос кошевого,— вовгуринцы вернулись.

— А, вернулись! — воскликнул Кривонос, поворачивая к нему свое искаженное мукой лицо.— Все сделали?

— Не вырвется и крыса.

Так прошел полдень, и солнце начало склоняться к закату. Поляки остановились на короткую передышку и снова двинулись в путь. Отдохнувши на коротком привале, Потоцкий почувствовал себя немного лучше и потребовал коня.

В войске почувствовалось некоторое облегчение. Первая тяжесть позора начинала проходить, а сознание жизни и безопасности брало свое.

Так прошло полчаса. Дорога тянулась все еще волнистою зеленою степью.

— А вот и Княжьи Байраки,— указал ротмистр Потоцкому на несколько балок, покрытых низкорослым леском, видневшимся вдалеке.

Дорога становилась между тем все более и более неудобной, трудно было уже двигаться широкими рядами, а потому обоз растянулся узкою и длинною полосой.

Так прошло еще полчаса. Все было тихо и спокойно.

Вдруг один из жолнеров, повернувши случайно голову, издал подавленный ужасом крик.

Все оглянулись и остановились.

На горизонте быстро разрасталась черная полоса.

— Козаки! — крикнул кто-то.

— Нет, они здесь, панове,— ответил ротмистр, указывая на полосу, тянущуюся в тылу ляхов,— это татары.

Несколько мгновений никто не произнес ни слова; пораженные страшною вестью, они все словно окаменели, впившись глазами в расширявшуюся на горизонте черную полосу. Но это была одна минута.

— Предательство! Они отрезывают нас! Вперед скорее! К байракам! — раздались со всех сторон крики жолнеров и панов, и все бросились опрометью к котловине, покрытой молодой зарослью, на которую указывал Потоцкому ротмистр.

Теперь уже и Потоцкий не взывал к храбрости панов, и она была бы бессильна. Единственное холодное оружие, оставшееся у них в руках, не могло отражать стрел и пращей татарских; оно было годно только для рукопашного боя, да и то вряд ли могло быть ужасным в руках обессиленных людей. Единственное спасение мог оказать им ближайший лес; он мог потянуться далеко балкой и тогда отрезал бы их от преследователей, помешал бы татарам осыпать их градом своих стрел и, главное, избавил бы их от самой страшной опасности очутиться среди двух огней: татар и козаков. Все это понимал последний из жолнеров. Все видели в скорости единственное спасение; отчаяние учетверило их силы.

— Панове, на бога! Скорее! Скорее! — раздавались отовсюду безумные крики.

Всадники летели сломя голову. Телеги наскакивали на рытвины, на кочки, стараясь не отставать. Тяжело нагруженные фуры опрокидывались, теряя свою поклажу, но никто не думал их поднимать. Вопли раненых, растревоженных этим бешеным бегом, довершали ужас смятения, поднявшийся кругом. Но, несмотря на все это, быстрота татар опережала поляков. Черная линия разрослась уже в широкую черную массу, захватившую большой полукруг.

— Погибель! Смерть! Езус-Мария! — кричали одни, заслоняя ладонью глаза.

— Скорее, на бога! На бога! — торопили лихорадочно другие, с бледными лицами и расширившимися зрачками глаз.

Несколько телег с ранеными опрокинулось. Раздирающие душу вопли и мольбы о спасении прорезали общий гвалт; но жолнеры проносились мимо, затыкая уши, чтобы не слышать этих ужасных криков бессильных и брошенных людей. Никто не рискнул остановиться.

Потоцкий хотел было соскочить с коня, но железная рука ротмистра остановила его.

— Скрепи сердце, гетмане,— произнес он сурово,— все теперь напрасно, спасти их мы не можем. Для тех ты нужнее,— указал он на беспорядочно бегущую толпу и на черную тучу налетавших татар.

Они неслись широким полумесяцем, стараясь отрезать поляков от байраков и охватить с двух сторон. По-видимому их было не менее пяти тысяч.

— Свежие лошади, только что взятые... уйти невозможно... человека по три на душу, если еще нет где засады,— говорил отрывисто ротмистр, измеряя глазами расстояние, отделявшее их от татар.

— А мы без пушек, без ружей, почти безоружны,— ломал руки Потоцкий,— истомлены до крайности, обессилены ужасом... Нет! Битвы здесь не может быть! Одно еще спасенье, что козаки, кажется, не думают к ним приставать,— оглянулся он назад, где полоса козацких войск стушевывалась все больше и больше.

— Любый мой гетман,— произнес тепло ротмистр, бросая полный сожаления взгляд на лицо молодого героя,— для нас теперь это уж все равно.— Не успел ротмистр окончить своих слов, как дикий гик татарский донесся издали к полякам и в лицо их полетела целая туча острых стрел и камней.

Лошади шарахнулись. Некоторые всадники заколебались в седлах. Послышались проклятья, стоны. Впрочем, большого вреда этот залп еще не принес полякам, благодаря дальности расстояния и их тяжелому вооружению.

— Скорее, скорее! На бога! — закричали еще яростнее всадники, пришпоривая коней и оглядываясь ежеминутно на татарские полчища, надвигавшиеся как бы с сдержанною быстротой.

Движение поляков превращалось уже в какое-то беспорядочное, гонимое ужасом бегство. Но, несмотря на это, расстояние между ними и татарами все уменьшалось. Теперь уже можно было различить лица передних всадников.

— Святая дева! — вскрикнул с ужасом ротмистр, бросая взгляд в сторону татар.— Я вижу, с ними и свирепый Тугай-бей.

— Езус-Мария! — вырвался один общий вопль из уст тысяч душ, и в то же время второй ослепляющий залп стрел и камней посыпался на поляков. Теперь уже он не пронесся так безвредно, как первый. Раздались страшные крики. Острые стрелы впивались в лица, в глаза, в плечи, в груди... Некоторые всадники, пронзенные в сердце, попадали из седел, другие, обливаясь кровью, с усилием вырывали впившиеся в тело стрелы. Раненые лошади забились, падая на колени и опрокидывая своих седоков...

Вслед за вторым залпом посыпался третий, четвертый...

Очевидно, татары, несмотря на огромное преимущество своих сил, не хотели бросаться в атаку, а предпочитали поражать безнаказанно стрелами безоружного врага. Тучи их летели безпрерывно в лицо полякам; но уже первые ряды их успели достичь леса. С последним лихорадочным усилием бросились они вперед.

Напрасно молили о помощи раненые, упавшие с лошадей, цепляясь за руки, за ноги здоровых товарищей, умоляя не бросать их на зверство татарам: никто не слышал и не слушал их криков. Все неслось, сломя голову, в лес. Не останавливаясь ни на одно мгновенье, поляки летели дальше и дальше, перескакивая через пни, колоды и рытвины...

Дорога начала спускаться.

— Любый мой рыцарь,— заговорил ротмистр после долгого молчания, прерываемого только треском ломимого леса да топотом коней, обращаясь к Потоцкому, от которого он не отъезжал ни на шаг,— времени осталось немного. Все, дорожащие честью, должны здесь братски полечь. Кто знает, останется ли из нас кто в живых? Но знатнейших они пощадят для выкупа. Поэтому прошу... гетман мой...— запнулся он,— исполнить мою последнюю волю...

— Все, все,— перебил его с жаром Потоцкий, пожимая горячо руку старика.

— В Литве есть у меня деревенька,— продолжал отрывисто ротмистр, глядя в сторону.— Жизнь проходит, и все некогда подумать о спасении души... Вот все это передай на алтарь пресвятой девы в Ченстохове. Она вечная чистая заступница...

Страшные крики, раздавшиеся из передних рядов, прервали его слова. Не обменявшись ни словом, Потоцкий и ротмистр пришпорили коней и прорвались вперед.

Глазам их представилась ужасная картина. Сбившиеся в беспорядке войска метались посреди довольно широкой долины, окруженной со всех сторон пологими холмами, поросшими густою зарослью. Во все расстояние перед ними дорога была загромождена огромными срубленными, вывороченными с корнями деревьями, каменьями, колодами, перекопана рытвинами, ямами и рвами, в которых уже бились наскочившие с разбегу кони. Двинуться вперед не было никакой возможности.

— Предатели! Иуды! — кричали Сапега и Шемберг.

— Сзади татары, по пятам! Спасайтесь, на бога... на бога! — ломали с отчаяньем руки бледные как смерть воины, озираясь с ужасом назад.

Но татар не было: они словно желали насладиться безумною паникой пойманных и предоставляли их пока собственным мукам.

— Панове! В обход! Направо! Быть может, пробьемся! — скомандовал энергично Потоцкий.

Все бросились по его слову, но через несколько шагов остановились опять.

Дорогу пересекали те же рытвины, ямы, деревья, камни и пни.

— Конец,—произнес беззвучно Сапега,—поворачивая к Потоцкому свое помертвевшее лицо,— мы в западне.

LXVIII

Несколько мгновений ни один звук не нарушал ужасной тишины.

— Табор! — вскрикнул вдруг Потоцкий.

В одно мгновенье возглас этот отрезвил всех.

— Табор! Табор! Возы сбивайте! Копайте рвы! —

раздались во всех местах торопливые крики начальников.

В минуту все соскочили с коней. Жолнеры, хорунжие, полковники — все без различия принялись за работу. Одни бросились сбивать возы, другие, схвативши заступы, начали копать рвы, насыпать валы; работа закипела с какою-то лихорадочною, смертельною быстротой. Через полчаса наскоро сбитый обоз был уже готов. Вдруг издали донесся глухой топот множества коней. Все побледнели и молча обнажили сабли; но на бледных лицах столпившихся воинов не было уж больше страха, а горела суровая решимость отчаянья.

Так прошло несколько мучительных минут, топот и крики приближались с неимоверною быстротой. Весь лес наполнился диким, гогочущим шумом. Казалось, какой-то страшный ливень падал с неба, громче, сильнее, сильнее, и вот на края котловины хлынула из лесу татарская конница. Холмы зачернели волнующимися толпами: татары окружили польский обоз тесным кольцом.

— Собаки! Джавры! Трусы! — закричали сверху сотни голосов.— Вот теперь-то мы перестреляем вас всех, как сайгаков!

— Чего ж молчите, неверные псы? — издевались другие.— Ну ж, наводите на нас те пушки и мушкеты, которые побрали у вас козаки!

Крики, насмешки, брань и угрозы смешались в какой-то дикий, хищный вой. Камни, комки земли посыпались на поляков.

Вот один из наездников натянул лук и, прицелившись, спустил тетиву; стрела мелькнула в воздухе — и в тот же момент пораженный на смерть жолнер повалился на землю. Громкими криками приветствовали татары удачный выстрел. Шутка понравилась остальным; охотники стали подъезжать к краю оврага и прицеливаться, выбирая себе цель. То там, то сям слышалось после легкого свиста глухое падение тела. Число стрелков увеличивалось все больше и больше. Эта оригинальная и безобидная для татар охота доставляла им по-видимому большое удовольствие. После каждого меткого выстрела по всем надвинувшимся рядам раздавались взрывы дикого, адского хохота, перекатывались каким-то чудовищным ржанием, сливались со стонами умирающих внизу и неслись к окраинам этой ужасной

балки, где человек-зверь терзал своего собрата и издевался над его мучительною агонией.

Поляки падали один за другим, не имея возможности отразить врага. В ужасе бросались они под фургоны и телеги, запрятывались в кареты, забирались под лошадей,— меткие стрелы татарские всюду находили свои жертвы.

— О Езус! О матко найсвентша! Смерть! Погибель! Они перебьют нас до одного, как кур в курятнике! Упорство безумно! — послышались отовсюду дрожащие отклики, но большинство еще хранило угрюмое молчание.

Вдруг стрельба прекратилась. Татары расступились, и к самому краю обрыва подскакал дикий и свирепый Тугай-бей.

— Йок пек! Собаки! Джавры! — закричал он хриплым, громким голосом.— Сдавайтесь, трусы, на мою ласку! Даю вам на размышленье столько времени, сколько требуется для прочтения главы из корана; если же за это время вы не попросите пощады, всех вас перестреляю, как псов, а кого поймаю живьем, отдам вовгуринцам на потеху!

Тугай-бей отъехал. Словно стая диких кошек, сторожащих свою пойманную добычу, расселись татары по краям оврагов и начали перекидываться какими-то гортанными возгласами, не спуская своих хищных глаз с расположившегося у их ног польского обоза.

Поляки вышли из своих убежищ и столпились посреди обоза.

— Панове... — заговорил прерывающимся голосом Сапега,— мы должны согласиться на предложение татар; теперь уже мы не можем ничего сделать... нам нечем защищаться... У нас нет оружия... Они перестреляют нас, как собак. Ничего у нас не осталось, кроме этой жалкой жизни... К чему же нам лезть на смерть, на муки, когда нам нечего даже и защищать: наши пушки, наши ружья... знамена...

— Сдаться, сдаться! На бога! Скорее! Подымайте белый флаг! — прервали его дрожащие возгласы. Но в это время раздался голос Потоцкого. Он зазвучал так властно и сильно, что все невольно умолкли и обратили на него глаза.

Поднявшись на высокий пень, Потоцкий казался теперь выше всех головой. Лицо его было бледно, глаза

горели каким-то жгучим вдохновенным огнем, на лбу зияла темная рана.

— Панове! — заговорил Потоцкий глухим, пророческим голосом, подымая к небу руку.— Остановитесь в своем безумии! Вы думаете идти против воли того, кого не в состоянии никто победить! Знайте, это господь карает нас за нашу измену отчизне! Он обрек нас смерти, и нам от нее теперь никуда не уйти! Не обременяйте же души своей еще безумным сопротивлением воле того, перед которым мы все предстанем сейчас!

Было что-то страшное, сверхъестественное в его словах и фигуре. Казалось, это говорил толпе не юный предводитель, а карающий ангел, возвещающий людям о дне суда. Смертельный ужас охватил поляков. Потрясенные, все молчали, не спуская с Потоцкого глаз.

— Вы говорите, что у нас ничего не осталось, кроме жизни,— продолжал пламенно Потоцкий,— ошибаетесь: у нас осталась еще честь, которую предлагают вам бросить под ноги поганцев... Сохраним же ее, панове, для себя и для славы отчизны. Предстанем, по крайней мере, пред лицом творца не как предатели, не как последние, презренные трусы! Эта смерть — это его кара; так примем же ее честно и смело и хоть этим искупим свой позор!

— Amen! — ответили кругом суровые голоса.

— Amen! — повторил торжественно ротмистр и, сняв шелом, обратился ко всем каким-то несвойственным ему трогательным голосом:

— Братья! Простим же мы перед смертью друг другу вины... Вспомним, что много на своем веку пролили невинной крови, много причинили насилий и кривд таким же людям, как и мы... Эта кровь и вопиет к небу, и там, на весах, взвешено все. Но если мы творили неведомо, будучи слепы, то милосердие и ласка божья не имеют границ...

Все обнажили головы и молча опустились на колени.

Ротмистр поднял глаза к небу. Он один стоял, словно старый дуб, среди коленопреклоненной толпы.

— Боже, прости прегрешения наши! — начал он взволнованным голосом и над склоненными головами зазвучали печальные и торжественные слова последней молитвы.

Среди наступившей тишины слышно было, как кто-то

повторял торопливо святые слова, кто-то шептал дорогое имя, кто-то передавал товарищу последний завет. Остальные молча пробегали в уме свои житейские дела.

— Еще живем в этой юдоли плача, не освобожденные от уз смертельного тела, но час нашей смерти пробьет через минуту,— продолжал ротмистр. Слова его раздавались отчетливо и громко.

— Что ж вы молчите, псы? — рявкнул с обрыва громкий голос Тугай-бея.—Время прошло! Я не стану ждать!..

Поляки не обращали на него внимания.

— А!.. шакалы! Так вот вы как! — заревел бешено Тугай-бей с пеной у рта.— Погодите ж, мы вас поучим! Перестрелять их всех до последнего!..

Все молчали и только еще ниже пригнули головы. Никто не думал сопротивляться. Ни крик, ни стон, ни проклятья не нарушили этой предсмертной тишины. Голос ротмистра раздавался твердо и сильно. Поляки геройски встречали свою смерть.

Среди татар послышалось суетливое движение.

— Подаждь нам, господи, вечный покой! — заключил ротмистр. Все преклонили головы и осенили себя крестом.

Раздался резкий свист, и целый дождь стрел посыпался с четырех сторон на поляков.

— Езус-Мария! — успел еще вскрикнуть молодой поручик и опрокинулся навзничь, с впившеюся в сердце стрелой. Послышалось тяжелое падение в разных местах.

За первым залпом последовал другой, третий, четвертый... Началась бойня, страшная бойня в сумерках потухавшего дня.

Окружив со всех четырех сторон лагерь, татары безбоязненно приблизились к нему шагов на пятьдесят и, стоя на возвышенности, могли направлять во все концы табора стрелы и поражать наверняка свои беззащитные жертвы. Гусары и драгуны были еще отчасти защищены от этого смертельного града латами и кольчугами, кроме того, их закрывали и возы, за которыми они лежали и сидели; но лошади, привязанные к возам, брошенные просто среди лагеря, приняли на свои непокрытые спины и шеи весь этот вихрь жал и, пронзенные ими, бились, подымались на дыбы, храпели, отрывались от возов, опрокидывали их и с бешенством метались по замкну-

тому лагерю, ища выхода. Эти взбесившиеся животные увеличивали еще более смятение и ужас осажденных; малейшая попытка выскочить из прикрытия и усмирить или стреножить коней наказывалась смертью; рой стрел налетал на отважного, и он падал пронзенный ими, в конвульсиях.

Так прошло с полчаса. Положение делалось невыносимым.

И ужас, и бессильная злоба, и бешенство отчаянья охватили обреченных на смерть. Самые храбрые души не могли выдерживать дальше такой бессмысленной пассивной смерти. Ряды заволновались; глухим раскатом пробежал по ним ропот.

— Что ж это? Нас расстреливают, как баранов, а мы молча стоим и не платим ничем им за смерть!

— На раны Езуса, то правда! — схватился за голову Потоцкий и, взмахнувши своей украшенной каменьями саблей, крикнул громким энергичным голосом: — За мною ж, друзи, на вылазку! Умрем все, но умрем не даром, а продадим подороже собакам свою жизнь.

— На бога! Мой гетмане! — хотел было остановить геройский подвиг Потоцкого ротмистр, но было уж поздно.

Как ураган, понесся тот вперед; за ним ринулись разъяренною толпой исступленные от страданий, гонимые ужасом воины... Уже толпа в порыве безумия начала было оттягивать возы, разрывать сковывавшие их цепи, как вдруг раздался страшный грохот... вздрогнула земля.

С грохотом и треском разлетелись три воза, обдав осколками железа и дерева ближайшую к ним толпу.

Страшный крик ужаса вырвался из тысяч грудей и замер. Лавы, готовые было броситься в полуоткрытый проход, занемели, застыли на месте. В стороне корчилось несколько жолнеров. Сапега упал, раненный осколком в ногу, и тщетно порывался подняться. Несколько лошадей билось на земле; остальные навалились на угол из брик и, давя друг друга, старались разорвать преграду.

— Пушки наши! Пушки! — вскрикнуло несколько голосов.

— Так! Пушки ваши! Это кара самого неба! — протянул Потоцкий руку к татарским войскам.— Смотрите!

Любуйтесь! Вы отдали их без боя, и теперь они мстят за себя!

Новый грохот заглушил слова его. Послышался снова страшный треск и лязг чугуна о железо. Один воз подскочил и упал на бок, другой разлетелся в щепы, с третьего сорвало буду. Упал хорунжий Собеский с гетманским знаменем; распластался обезглавленный поручик Грохольский и обрызгал кровью контуженого ротмистра, два драгуна тихо присели и, покачнувшись, вытянулись спокойно. Еще бешенее шарахнулись кони и начали ломать и опрокидывать на противоположном конце возы; а татары, заметя это, стали пускать в них тучи стрел. Взбесившиеся от ужаса и боли, окровавленные, истыканные стрелами, они с каким-то ревом набросились на возы, разбрасывая комьями белую пену, и страшным натиском опрокинули их, разорвали, и, вырвавшись бурей из табора, разметали стоявшие против них лавы татар, и вынеслись в степь. С гиком погнались за ними стоявшие в арьергарде нагаи.

Ядра, шипя и свистя, пронзали и разбивали возы, калечили, убивали людей... А на верху окраины, на высоком холме, стоял закутанный в керею мрачный всадник, казавшийся каким-то гигантом при наступающих сумерках. Зоркими сверкающими, как угли, глазами впивался он в эту ужасную картину, распростершуюся у его ног. Казалось, вид этой страшной смерти, дикие звуки этих предсмертных криков и храпений доставляли ему невыносимое, рвущее душу наслаждение.

— Так, так! — вырывались у него отрывистые хрипящие слова.— Костер горит... шипит огонь, подымается к небу... Ее тащат... рвут косы... она бьется... цепляется за руки, молит о спасении... Втолкнули!.. Ух! Пекло! — сжал всадник до боли голову руками, словно старался избавиться от рвущего душу виденья и продолжал задыхающимся, безумным голосом, простирая над страшным ущельем руку: — А, хорошо, хорошо вам там, звери, внизу? Кричите ж, хрипите, корчитесь от муки, рвите на куски свое сердце, как рвем мы его целую жизнь... И знайте, что так же кричал и стонал Наливайко, Путивлец, Скидан и она... Орыся, Орыся... дети! — вскрикнул с невыразимою мукой всадник и закрыл кереей лицо...

— Умрем! — раздался громкий голос Потоцкого.—

Ляжем честно за славу ойчизны и покажем, как умеют рыцари умирать!

— Виват! — крикнул бодро, словно на пиру, ротмистр, и его крик повторили тысячи голосов.

— А мы, друзья, туда! — указал Шемберг на широкий проход, прорванный взбесившимся табуном.— Не посрамимся перед нашим славным героем! Вперед, за мной!

Половина рыцарства и жолнеров бросилась за Шембергом, другая — за Потоцким; но ни тому, ни другому не удалось сделать вылазки: ее упредили татары.

Дикий гик огласил воздух, и, с поднятыми ятаганами и кинжалами в зубах, кинулись татары ураганом в проломы.

— На копья их! — скомандовал Потоцкий.

Ставши на одно колено, передние ряды нагнули их и уперли другим концом в землю; вторые и третьи ряды взяли наперевес. Потоцкий силился стать в первых рядах, но ротмистр оттянул его.

— Там надо сильных, любый мой гетмане,— почти молил он,— а ясный мой пан ослабел от раны... Придет и наш черед... теперь на всякого хватит отваги.

Внутри обоза раненые, больные, умирающие приготовились тоже к последней отчаянной борьбе. Обернувши оторванными велетами свою раненую ногу, Сапега приподнялся на колени и, прижавшись к возу спиной, обнажил свой длинный палаш. Кто мог еще подняться, последовал его примеру, остальные, лежащие, вытянули зубами кинжалы и взвели курки.

С двух сторон лагеря раздался оглушительный, рычащий крик, и татары, пустивши в упор тучу стрел, налетели на копья.

Закипел и там, и тут свирепый, дикий рукопашный бой: крики, взвизги, рычанья, проклятья, стоны, лязг мечей, стук ударов, шум паденья, треск костей — все слилось в какой-то адский, потрясающий рев, и рев этот подымался к ногам мрачного всадника, наполняя его душу страстным, безумным блаженством.

— Тебе, тебе, невинная голубка! — шептал он бессвязно.— Вам, бедные мученики, вам эта жертва! Спите спокойно... Братья не забыли о вас!

Первые ряды татар падали, но на трупы их лезли другие; пронзенные насквозь, тянулись все-таки по древ-

кам, чтобы хоть ударить врага кинжалом; с возрастающим остервенением налетали новые татарские силы, но поляки с мужеством последнего отчаянья продавали свою жизнь страшною ценой; даже падающие в смертельных ранах цеплялись руками, впивались зубами в горла своих косоглазых врагов. Ослепленные каким-то безумием злобы, и кони, и люди сцеплялись, падали и скатывались в окровавленную, барахтающуюся кучу. При серых сумерках, сгустившихся в долине, эти прощавшиеся с жизнью герои в кольчугах и латах, сверкавших тусклым блеском, напоминали каких-то страшных выходцев с того света. Горсть их казалась ничтожною в сравнении с тучей саранчи, охватившей своими бурными волнами весь табор и грозившей ежеминутно затопить его.

Заметя, что уменьшающиеся с каждым мгновением силы поляков сосредоточены только у двух прорывов, где кипел с адским ожесточением бой, татары начали проползать с двух остальных сторон, под телегами, а у самых прорывов, несмотря на отчаянное сопротивление поляков, сила их начинала ослабевать: одни падали под перекрестными молниями ятаганов, другие, истощив до последнего энергию, подавались под страшным напором назад.

У Шемберга от страшного удара о кольчугу какого-то мурзы разлетелся вдребезги клинок, но он схватил в руки огромную дубовую люшню и стал размахивать ею, разбрасывая направо и налево облепивших его татар.

— Гей! Сюда! Сюда, панове! — хрипел он, задыхаясь и чувствуя, что скоро выбьется из последних сил.

Но мало кто мог уже откликнуться на его зов. Кругом падали жолнеры, покрывая своими телами каждый уступленный татарам шаг. Последние рассвирепели и усилили нападение на охраняемый Шембергом пункт.

Ротмистр все еще держался у бреши и косил татар своим полупудовым палашом, словно косой. Багровый, с седыми развевающимися волосами и сверкающими глазами, он напоминал собою какого-то сказочного богатыря из северных саг. Паны не отставали от него, и каждый взмах их кривуль не пропадал даром; но копейщиков оставалось мало; древки ломались, перебивались ятаганами, защитники падали на трупы своих братьев...

Потоцкий стоял со своим голубым знаменем в цент-

ре; кучка слабых, изнуренных раненых теснилась вокруг своего юного гетмана, а он, с окровавленною головой и огненным взором, потрясенный страшною картиной смерти героев, не чувствовал ни боли, ни опасности, а горел душой броситься поскорее в рукопашный бой и повторял отрывисто: «Отчизна, ты не покраснеешь за нас!»

В долине уже было почти темно, но догоравший день бросал еще последние красноватые отблески на возвышенные окраины. Потоцкий поднял глаза и увидел как раз над собою темную, резко вырезавшуюся на горизонте фигуру. Освещенная с одной стороны слабыми кровавыми тонами, она показалась ему выходцем с того света, злым духом, любующимся разгромом и поджидающим их душ.

— Сатана! — вздрогнул Потоцкий и покачнулся.

Но в это время раздался справа страшный крик: «Алла!..»

LXIX

— Бейте невер! За мною, друзья! — крикнул, оглянувшись, Потоцкий и, потрясая знаменем, бросился, не помня себя, один на черную толпу разъяренных демонов. Увлеченные беззаветною отвагой своего молодого вождя, бессильные, истекающие кровью воины вспыхнули последнею энергией и вихрем рванулись вслед за героем. Натиск этой кучки полуживых людей был так стремителен и разящ, что татары смешались, попятились, а атакующие начали поражать их чем попало: саблями, кинжалами, пистолетами, обломками копий, осями, железными цепями.

Растерявшиеся татары отбивались слабо, скользили в крови, падали, прятались под возы; но сверху через баррикады карабкались другие, а на противоположном конце копошились под возами третьи.

Отряд Шемберга был уже почти совсем оттеснен от прорыва, но сам он, с огненными всклокоченными волосами, с налитыми кровью глазами, как разъяренный бык, еще стоял впереди и взмахивал своею страшною люшней; с хряском обрушивалась она то на одну, то на другую бритую голову... Но вот за люшню уцепились три пары сильных жилистых рук, и обессиленный Шемберг, поте-

ряв равновесие, поскользнулся в густой красной луже и упал на спину... С диким гиком бросились на его грудь татары...

В то же время раздался какой-то демонский визг, и пролезшие с противоположной стороны татары ударили с тылу на Потоцкого, а справа в широкую брешь, где пал Шемберг, ворвался черным кипящим потоком торжествующий враг.

— Гетман окружен! — вскрикнул с ужасом ротмистр, увидав колеблющееся знамя Потоцкого среди хлынувших на него со всех сторон татар.— На выручку! За мною! — гаркнул он и бросился с воскресшею силой в кучу врагов; за ним кинулись и остальные, оставив свободным проход.

Уронивши в неистовом порыве свой меч, ротмистр схватил какой-то обломок оглобли в обе руки и начал прокладывать им широкую дорогу к бесстрашному юноше.

— Ах, любый мой! Надежда наша! Краса и цвет Польши! — произносил он со стоном, тяжело дыша, отрывочные слова, не сводя глаз с своего любимца. А Потоцкий с сверкающими глазами, с пылавшим лицом все еще стоял и отбивался своею саблей, прижимая левою рукой свое знамя к груди.

— Не троньте, псы! Это гетман! — рычал охрипшим голосом ротмистр, проламываясь к нему.

Потоцкий услышал эти вопли и бросил в сторону ротмистра благодарный любящий взгляд.

Вот еще три-четыре татарина — и ротмистр уже прикроет своего предводителя широкой грудью; но вдруг кто-то оглушил его сзади чем-то тупым; искры сверкнули в глазах его, голова закружилась, рука выпустила оглоблю. Но ротмистр еще не упал, а, покачнувшись, протискивался вперед. В этот миг налетевший неожиданно татарин полоснул гетмана по руке, и она опустилась с саблей, как плеть.

— Стой! Диявол! — рванулся к гетману ротмистр, простирая над ним обе руки, но было уже поздно...

Блеснул другой ятаган, черкнул концом по руке ротмистра и с несколько ослабленным ударом впился в белую шею молодого героя. Как подрезанный косой колос, упал полный сил и красы юноша в лужу разлившейся крови.

Мучительный стон пронесся среди не павших еще жолнеров и рыцарей; напряженная до последней степени энергия их сразу упала; изнеможенные до полного бессилия, они молча побросали оружие, не прося даже пощады, а ожидая с нетерпением скорейшего конца этих терзаний. С потухшею злобой, с безжизненными глазами, многие даже не шевельнули рукой для защиты от вонзавшегося в их усталые груди железа.

В это время раздался стук многих копыт, и к месту страшной бойни подлетел на коне в черной керее значной козак и, подняв полковничий пернач, крикнул зычным голосом:

— Именем ясновельможного гетмана, требую, чтобы битва была сейчас же прекращена!

Все вздрогнули, оглянулись и занемели.

Перед ними стоял известный всей татарве Кривонос.

— Стой! Салдыр! — крикнул на своих Тугай-бей и подскакал к Кривоносу.— Якши! Чего, брат, сердитый?

— Гетман заключил с ними мир и отправил как вольных,—смотрел угрюмо полковник на разгромленный табор, на кучи окровавленных тел.

— Йок пек! Не знал! — улыбался широкой хищною улыбкой татарин.— Скажи на милость! Пусть брат не сердится, не знал! Отбери ему от меня бакшиш! — ударил он ласково по плечу Кривоноса и подъехал к обозу, где уже хозяйничали мурзы.

Кривонос в сопровождении своих козаков поехал свободно по польскому лагерю. Кругом виднелись ужасные картины кровавого разгрома: обломки возов и укреплений, кучи окровавленных, наваленных друг на друга тел, корчащиеся в последних муках умирающие, судорожно бьющиеся раненые лошади.

Татары копошились уже всюду: одни закручивали руки и связывали на аркан оставшихся в живых поляков, другие грабили панские возы и фургоны, третьи срывали с умирающих серебряные латы, шлемы, золотые перстни и другие украшения, рубя для скорости пальцы и руки.

Кривонос бросил брезгливый взгляд на этих темных шакалов, копошащихся среди окровавленных трупов, и проехал дальше.

Внимание его обратила на себя кучка поляков, над которою развевалось голубое знамя. Словно не замечая

всего окружающего, все они столпились в немом молчании вокруг чего-то лежащего на земле. Кривонос подъехал. Глазам его представилась грустная картина.

Плашмя, с закрытыми глазами, лежал, вытянувшись на земле, Потоцкий; лицо его было бледно, безжизненно; из перевязанной шеи кровь била сильною струей; на коленях подле него стоял ротмистр, с отчаяньем прижимая голову к своей груди.

Что-то похожее на сожаленье промелькнуло на суровом лице Кривоноса.

— Умер? — спросил он угрюмо.

— Нет еще, но, верно, умрет через полчаса,— ответил коротко ротмистр.

Вид этой юной жертвы был так трогателен, что произвел, казалось, впечатление и на суровых, закаленных козаков Кривоноса. Молча столпились они вокруг. Несколько минут никто не нарушал печального молчания.

Наконец Кривонос произнес, глядя в сторону:

— Подымите его и вынесите наверх из этой ямы: это гетманский пленник.

Осторожно, с помощью козаков, поднял ротмистр неподвижное тело Потоцкого.

Юноша не пошевельнулся и не открыл глаз.

Наверху еще было светло. Солнце спускалось к горизонту, словно гигантский рубин, но длинные последние лучи его еще освещали всю степь. Огромным, чистым, прозрачным куполом опрокинулось над нею голубое небо. Ни одного облачка не было видно на нем.

Гетмана осторожно опустили на траву; ротмистр остановился подле него; знаменоносец с уцелевшим знаменем стал в головах. Козаки обступили юного героя.

Все молчали.

— Бидный, бидный пане Степане,— произнес наконец, кивая печально головой, седой запорожец, не спускавший глаз с безжизненного лица юноши,— не попав, небоже, на Запорожье, не знайшов гаразд шляху.

Кто-то принес воды. Ротмистр вспрыснул юношу, но ни один мускул лица его не вздрогнул.

Ротмистр отвернулся в сторону. Солнце уже почти касалось горизонта своим нижним краем.

«Это заходящее солнце еще переживет тебя»,— подумал он с горечью и снова повернулся к герою.

Вдруг веки юноши слабо вздрогнули и приподнялись.

Тусклый взгляд скользнул безразлично по лицам козаков и остановился на ротмистре. Какая-то слабая тень улыбки промелькнула на лице умирающего.

Ротмистр поднес Потоцкому кружку воды и молча прижал его руку к своим губам.

Потоцкий сделал несколько слабых глотков и, отстранивши жестом кружку, прошептал прерывающимся шепотом:

— Отчизна... не покраснеет за нас?

— Ты честь ее и слава! — вскрикнул дрогнувшим голосом ротмистр, припадая снова к руке умирающего.

Но Потоцкий, казалось, уже не расслышал его слов; ослабленный этим последним усилием, он опрокинул навзничь голову и снова закрыл глаза. Так прошло несколько секунд... Ротмистр торопливо прижал его голову к своей груди, сердце еще билось слабо, едва слышно...

Но вот веки юноши снова вздрогнули и приподнялись.

— Умираю...— произнес он тихим, но твердым голосом и, обративши глаза на ротмистра, добавил с трудом,— крест... молитву.

Ротмистр вытащил из ножен обломок меча и поднял его, как крест, пред умирающим.

Но молитвы уже не произнесли побелевшие уста юноши. В горле его что-то слабо забилось и умолкло... Голова опустилась на землю, руки вытянулись...

Все затаили дыхание... Ждали... Вздоха не было.

— Конец! — произнес тихо ротмистр, опускаясь перед Потоцким на колени и вкладывая ему в руки обломок меча.

Последний край солнца скрылся за горизонтом, и тихо склонилось голубое гетманское знамя над мертвым челом молодого героя.

Когда скрылись из виду поляки и вслед за ними двинулся Кривонос, Богдан глубоко вздохнул и прошептал: «Без воли твоей ни един волос», а потом, стряхнув с себя налетевшее смущение, велел явиться сюда немедленно всем хорунжим с хоругвями, всем бунчуковым товарищам с бунчуками, всем гармашам с пушками и всему атаманью, пригласили и священника.

Через час на том же месте, где козаки давали присягу, старенький священник служил благодарственный

молебен за ниспослание победы и одоление врага; весь аналой был укрыт польскими знаменами, а место вокруг было широко обставлено гусарскими хоруговками.

Когда по окончании молебствия священник начал кропить святою водою наклоненные козачьи бунчуки и знамена, грозную батарею и густые лавы конного и пешего войска, слушавшего с восторгом служение, воодушевленного отвагой и верой, когда из тысячи грудей раздался могучий гимн «Тебе бога хвалим», то у Богдана сердце затрепетало такою новою широкою радостью, какая поглотила сразу все уколы совести и наполнила его душу гордым сознанием своей силы и торжества.

— Тебе, создателю, тебе хвала и благодарение! Ты осенил ласкою измученный твой народ и окрылил меня, ничтожного раба твоего! — повторял он во все время молебна, поднимая глаза к чистому, словно омытому небу.

— Поздравляю вас, товарищи-братья, молодцы козаки и славные запорожцы,— обратился он взволнованным голосом ко всем, когда последние звуки гимна умолкли.— Поздравляю вас с первою и громкою победой; гром ее разнесется теперь по всей Украйне, согреет радостью и надеждой сердца замученного народа и встряхнет ужасом наших гонителей и напастников. Эта победа станет провозвестницей наших многих и славных побед, провозвестницей нашей правды и свободы! Я верю в милосердие бога,— простер он руки к небу,— и в ваше несокрушимое мужество!

— Слава гетману! Век жить! — раздался в ответ на горячие слова Богдана могучий, восторженный крик и понесся раскатами от лавы до лавы; откликнулись на него ближайшие байраки и передали радостную весть ближайшим кудрявым лугам.

Богдан распорядился дать по чарке горилки на брата, а сам со старшиною начал приводить в порядок свои войска и армату. Теперь уже под знаменами у гетмана был не сброд запорожцев и беглецов хлопов, а стояли грозные силы всякого рода войск и оружия, с которыми он смело мог двинуться в поход и побороться с грозным врагом.

Теперь у него было артиллерии до тридцати пушек, испытанного в боях регулярного пешего и конного войска за пятнадцать тысяч, громаднейший обоз харчей и

боевых припасов, а впереди тысячи, десятки тысяч добровольцев, весь народ, вся Украйна.

Оттого-то и горели гордостью лица всех, оттого-то ни в одно, самое слабое сердце не прорывалось сомнение.

Всю свою и приобретенную артиллерию гетман разделил на три батареи, назначил к ней гармашными атаманами Сыча, Ганджу и Верныгору, подчинив ее всю, как равно и обоз, генеральному обозному Сулиме. Запорожские полки он укомплектовал до пяти тысяч и поставил над ними кошевым Небабу, а перешедших к нему рейстровых козаков, драгун и русских из кварцяных войск да добровольцев разбил на шесть полков [114]: Чигиринский, Черкасский, Корсунский, Каневский, Белоцерковский и Переяславский, назначив к ним полковниками Богуна, Кривоноса, Чарноту, Нечая, Мозыря и Вешняка.

Распределив между полками обоз, боевые припасы и харчи, а главное — вяленое мясо, Богдан оттрапезовал торжественно со своей новой генеральной старшиной и начальниками отдельных частей. Но, несмотря на счастливый и радостный день, пированья не было: еще предстояло сломить главные силы врагов, одолеть коронных гетманов Потоцкого и Калиновского, чтобы можно было с свободною душой отдаться братскому пиру.

За трапезой шли серьезные разговоры о предстоящем походе. Передавались последние сведения, полученные от перешедших драгун и пленных поляков, относительно войска Потоцкого. Говорили, что оно могло находиться и близко отсюда, так как, вырядив сына, сам гетман коронный намерен был медленно подвигаться вперед. Преподавались скромно советы, но Богдан упорно молчал и думал свою крепкую думу.

— К вам, ясновельможный гетмане,— сообщил новый генеральный есаул Тетеря, чрезвычайно подвижной, с быстро бегающими лукавыми глазами,— уже прибежало с тысячу поселян, и все прибывают новые ватаги... [115]

— Ого,— изумился Нечай,— что ж это будет, когда разнесется весть о нашей победе, когда пробежит она по Украйне?

— Все двинется к нам,— подхватил Чарнота.

— В этом-то и будет наша главная сила,— добавил Богдан,— своей жестокостью и насилием ляхи ее выковали сами на себя. Теперь бы вот только,— обратился

он к Сулиме,— постараться разнести поскорее весть о нашей победе и призвать всех к оружию. Универс бы написать...[116]

— Пиши, ясный гетмане,— отозвался Богун,— а я скороходов найду: ветром полетят они по родным местечкам, селам и хуторам и возвестят всем великую радость.

— Гаразд, друже,— усмехнулся ему светло Богдан,— а вот бы побольше мне писарей.

— Ге-ге,— засмеялся Сулима,— чего захотел батько! Письме́нных (грамотных) у нас не густо.

— Подсобим как-нибудь, — ободрил Богун, — а то авось и подойдет кто.

— Да, пане обозный,— спохватился озабоченно гетман,— всем новоприбывшим выдавать оружие и распределять равномерно по полкам.

— Добре, батьку! Я уже сот восемь распределил, а придется на завтра еще столько же, если не больше.

Разговор пошел своим чередом, а Богдан крепко задумался над мучившим его все время вопросом: оставаться ли здесь и подождать новых подкреплений, как советовали некоторые, или стремительно ринуться вперед и нежданным появлением ошеломить врага? И личный характер Богдана, стремительный, страстный, и его военная тактика, и данные обстоятельства, и сердечные влечения стояли за последнее; но тем не менее Богдан ни на что не решался и на другой еще день отдыхал, словно лев, на поле победы.

С виду он был величав и спокоен, но внутреннее волнение жгло ему грудь, сжимало неотвязною тревогой сердце, стучалось укором в подкупленную самооправданием совесть. Всею мощью проснувшегося старого чувства его влекло в Чигирин, но интересы войны влекли в другую сторону; каждая минута промедления могла быть пагубною для него, для войска и терзала Богдана невыносимо, но он все-таки ждал... чего? Ждал известия о несчастных, обреченных на смерть.

Ему бы лучше было двинуться поскорее, уйти от этих зудящих душу впечатлений, но неизвестность казалась ему еще нестерпимее, и он ждал. Он боялся оставаться наедине, усиленно суетился, все время ходил по лагерю, ко всему присматривался, везде делал указания, всякого поджигал возбудительным словом.

LXX

К вечеру второго дня возвратился Кривонос со своим отрядом. Когда Богдану доложили, что полковник привез много добычи и много пленных, Богдан только сжал голову рукой и прошептал тихо:

— Свершилось!

Между пленными оказались Шемберг, Сапега и еще несколько магнатов.

— А где же молодой Потоцкий, что с ним? — спросил тревожно Богдан.

— Убит! — ответил угрюмо Кривонос.

Не то стон, не то вздох вырвался у Богдана; он отвернулся в сторону... «Жертва невинная, павшая за грехи отцов своих!» — пронеслась у него в голове горькая мысль.

— Я, пане гетмане, проводил только до Княжьих байраков,— заговорил Кривонос, глядя мрачно в землю, так как Богдан молчал, отвернувшись в сторону, и не предлагал ему никаких вопросов, – а потом, услышав шум, повернул, но было поздно... татары...

Богдан махнул нетерпеливо рукой и приказал Чарноте обставить прилично их пленников.

— Прости, ясновельможный пан,— обратился он с низким поклоном к Шембергу,— если мои люди, может быть, непочтительно отнеслись к вам... Что делать? Tempora mutantur *,— улыбнулся он. — События над нами паны. Впрочем, панство может считать себя у меня гостями: караул обеспечит вашу безопасность, а гостеприимство, надеюсь, охранит от лишений.

Скрепя сердце поблагодарили пленные молчаливым поклоном Богдана и ничего не ответили на его насмешливую любезность.

— А вот, батьку,— подошел в это время весело Богун,— я тебе выменял у татарина писаря.

— Кого, кого? — засмеялся Богдан.

— Да нашего-таки Выговского [117], если помнишь. Знает толк, горазд в пере.

— Выговского? Ивана? Как не знать! А где же он?

— Да вот,— подозвал Богун Выговского,

---

* Часи міняються (*лат.*).

— А, пане Иване! — обрадовался знакомцу Богдан.— Как же это ты попался татарину?

— Да что ж, батьку,— поклонился низко Выговский,— служил, как и все мы, грешные, ляхам, а известно ведь, на чьем возе едешь, тому и песню пой...

— Так, так... Только поганая, брат, эта песня... Ну, а теперь?

— Рад, что попался нашему славному спасителю, нашему Моисею, в руки, готов служить и душой, и телом правде козачьей и до земли ей преклоняюсь челом! — отвесил Выговский глубокий поклон Богдану, коснувшись рукою земли.

— Спасибо, спасибо,— улыбнулся польщенный гетман,— послужишь этой правде, простится и грех: много и долго издевались над нею арендари и ляхи.

Когда Чарнота, собравши пленных, начал отбирать почетных в особую группу, то к изумлению и неописанной своей радости наткнулся на лежавшего на возу раненого ротмистра.

— Черт побери! Ну, да и счастье! — вскрикнул Чарнота.—Словно наколдовано! Опять вижу пана—и живым.

— Это не счастье, а горе,— вздохнул тяжело ротмистр,— горе всем тем, кто пережил такой позор и смерть такого героя...

— Удел войны — шутка слепой фортуны,— старался ободрить старика Чарнота.— Но что бы там ни было, пану горевать нечего: его доблесть и храбрость известны всему свету, а сам он теперь в руках самого искреннего друга...— Обнял он его.

— Спасибо... верю,— покраснел от волнения ротмистр,— но пусть пан хоть и сердится, а я всегда говорю правду, — загорячился он, — не по-лыцарски поступили вы с нами, нет! Нет! Такое предательство, вероломство...

— Татары — не подчиненный народ,— перебил его Чарнота,— они своевольны и непреклонны... Да и наши еще не все дисциплинированны. Надо правду сказать, учили нас этому коронные и польные гетманы... А, да что там! К бесу эти горькие кривды!.. Надоели! Пора и отдохнуть от битв и споров. Пан — мой дорогой гость. Прошу к себе, и раны перевяжем, и отдохнем, и разопьем добрый жбан литовского меду.

Устроив пленных в особой палатке и позаботясь о их

продовольствии, Чарнота увел наконец пана ротмистра к себе; последний едва шел, хромая на раненую ногу и склонив на плечо радушного хозяина опухшую от страшного удара голову.

Но когда раны были перевязаны и омыты умелой рукой, когда ротмистр, подкрепившись кружкой горилки, похлебал горячего кулишу, то силы у него поднялись сразу, на добродушном лице заиграл яркий румянец, и глаза снова оживились.

Друзья улеглись на бурках, закурили свои люльки и, прихлебывая из кухлей добытый у шляхты при Княжьих байраках старый черный как смола мед, начали вспоминать прошлое...

— Как странно все нас сводит с тобой судьба, пане ротмистре,— говорил Чарнота, глядя любовно в искренние и добрые глаза своего гостя, оттененные серебристыми, нависшими бровями.— Сдается мне, помню я еще тебя и на Масловом Ставу, когда нам читали смертный приговор... помню, когда склонилось и распростерлось на льду наше знамя, один из пышных гусар отвернулся в сторону и, сдается мне,— улыбнулся он плутоватой улыбкой,— смахнул с глаз слезу.

— Рассказывай! — нахмурился ротмистр, кивнувши отрицательно головой, но эта мина не придала желательного сурового выражения его добродушному лицу.

— Нет, нет, пане, я это заметил,— продолжал Чарнота,— и этот пышный гусар был ты... Оттого-то потом, через восемь лет, когда увидел я пана у князя Яремы, сразу почуял что-то словно знакомое... Сначала не мог вспомнить, а потом и признал...

— Хе-хе! Ловко надул тогда пан князя,— улыбнулся широкою улыбкой ротмистр, воодушевляясь воспоминанием.— И ловко, и дерзко, Перун меня убей! Люблю такой отчаянный, лыцарский жарт! Смотрю — и не верю: пышный шляхтич, и только! Да еще, черт побери, что за залеты! Знаю, друже,— хлопнул он Чарноту по плечу,— сам бывал в переделках! Знали меня по всей Литве! А пани Виктория! Вспыхивает, как зарница... в глазах истома! Ей-богу, стоит и голову положить!

Чарнота подавил непрошенный вздох и выпил залпом ковш меду. При первых словах ротмистра он почувствовал вдруг жгучую боль в груди, словно сорвали струп с старой, не зажившей еще раны и она залилась

вновь горячею кровью. «Ах, эти неотвязные пламенные воспоминания,— словно шептало ему что-то в ухо,— каким ароматом веет от них! С этим образом слились и чистые, ясные дни твоей весны, и первые бури, и рай, и ад, и ураган мучительных страстей и порывов...»

— А хороша она, ей-богу, хороша пани Виктория,— продолжал ротмистр,— и волосы золотые, и жгучий румянец, и глаза... Да, триста ведьм, если я видел у кого другого такие!

— А где она теперь? Пан не знает? — употребил все усилия Чарнота, чтобы придать голосу совершенно равнодушный тон, но он изменил ему и оборвался...

— А должно быть, в Черкассах,— выпустил ротмистр изо рта и из носа клубы сизого дыма.— Ведь Корецкий же прибыл с своими дружинами к Потоцкому, ну, и она с ним... А ведь ты тогда чуть-чуть не угодил на кол к Яреме...

— Да, только ты, пан ротмистр, и спас тогда меня от смерти,— пожал крепко его руку Чарнота,— и еще от скверной, от пакостной смерти... Я это помню и прошу тебя, прийми ж от меня, как от друга, такой же подарунок. Я принес тебе свободу...

— Свободу? — приподнялся ротмистр, не совсем поняв смысл слов Чарноты.

— Да, свободу, волю и крылья! Пусть пан ротмистр знает, что козаки помнят как зло, так и добро! Я выкупил тебя, пане, и теперь имею право отпустить на все четыре стороны хоть сию минуту; мало того, имею право доставить пана оборонно, куда он захочет.

— Но, друже мой,— сел ротмистр, бросив в сторону от волнения трубку,— бей меня Перун, а не покривлю перед тобой душою, и если ты меня выпустишь, я стану опять в ряды коронного войска.

— Куда призовет пана ротмистра и честь, и сердце, туда он и станет. Я не связываю ничем честного воина. Всякий из нас должен защищать свою отчизну... Только мы ведь не нападаем на Польшу, мы защищаем свою жизнь и свои поруганные права... Но,— остановил сам себя Чарнота, не желая затрагивать щекотливого вопроса,— рассудит теперь нас лишь он, единый, всезнающий и нелицеприятный судья.

— Да, он один и рассудит, и примирит,— сказал с

чувством ротмистр и заключил Чарноту в свои широкие объятья.

Последняя партия беглецов из панских имений сообщила Богдану, что коронные гетманы вышли давно из Черкасс и направляются не к Днепру, а в противоположную сторону за Смелу, что Потоцкий все жжет на ходу, а людей сажает на кол.

Медлить дальше не было никакой возможности, и Богдан решил двинуться на заре ускоренным походом; но в каком направлении, куда? И показания беглецов, и очевидность говорили ясно, что нужно двинуть войска, углубляясь в левую сторону от Днепра; но Чигирин, что творится в нем? Ведь Потоцкий мог завернуть и туда, и сжечь все, уничтожить... Положим, старостинских имений он не тронет, и подстаросту с его супругой,— стиснул зубы Богдан,— но его, Богданову, семью замучит пытками на смерть. Разве отправить войска наперерез гетманам, а самому понестись вихрем к Чигирину — разведать, спасти, укрыть? А если в его отсутствие ударит на войска враг, и они без главы растеряются, смутятся, и плоды первой победы рассеет позор пораженья? О, не дай бог! Но что же делать? Туда влечет долг, туда сердце,— и гетман в мучительной борьбе шагал порывисто по палатке, не зная, что предпринять. Воображение рисовало ему ужасные картины. Сердце сверлила щемящая боль... Наконец, чтобы отогнать от себя эти дорогие, бледные образы, Богдан кликнул Выговского и занялся с ним составлением универсалов. Но вот и универсалы готовы, подписаны, Богдан отослал их к Богуну, а у палатки все еще стоят есаулы и ждут распоряжений от гетмана, куда направлять войска.

Время идет, пора решить. Едкая тоска змеей впивается в грудь, яд разливается в крови.— Эх, хоть бы Тимко был тут со мною, а то остался заложником в Бахчисарае! — ударил Богдан энергично кулаком по столу, и вдруг какая-то неожиданная мысль осветила радостью его лицо: Богдан поспешно встал с места и велел позвать Морозенко.

— Тебе вручаю я свою бывшую сотню, поздравляю тебя сотником чигиринским,— заключил он появившегося у входа в палатку хорунжего в свои широкие объятия.

— Батьку... орле... всю жизнь тебе! — вскрикнул тот, задыхаясь от восторга, и прижался к мощной груди.

— Знаю, верю,— прижал его крепко Богдан,— оттого-то и поручаю тебе то, чего бы никому не доверил,— заговорил он торопливо, отрывисто, уставившись глазами в темную ночь, заглядывавшую к ним через открытый полог палатки,— я тороплюсь и двинусь на заре всеми войсками... Гей, есаулы,— крикнул он неожиданно,— оповестить всех полковников и старшину, что выступим до рассвета в поход... по дороге к Тальному, чтоб всё и все были готовы!

— Да, тороплюсь,— продолжал он по удалении есаулов,— а между тем там, в Чигирине... пылает, быть может, целое пекло... и я не могу быть там, помочь, спасти... да, не могу, как ни тяжко, а не могу! Так вот поручаю тебе заменить меня... Я знаю... все, что мог бы я, сделаешь и ты...

— Разорвусь, батьку, костьми распадусь,— ударил себя Морозенко в грудь.

— И ляжешь костьми, это я знаю,— потрепал его ласково по плечу Богдан.— Так вот что,— заторопился он,— возьми свою сотню, еще куреня два моих запорожцев и лети стрелой в Чигирин.

— Через час будем все на конях,— перебил его, весь загоревшись, Морозенко.

— Так вот же что, слушай,— подошел к нему близко Богдан и, взявши за конец пояса, как-то смущенно опустил вниз глаза,— немедленно захвати замок, пушки, укрепи замчище, раздай всем, кто встанет под наш стяг, оружие и защищай место, на случай, если вздумает напасть на него по дороге Потоцкий.

— Не бойся, батьку, не укусит: зубы поломает! Как только появлюсь я, сбегутся к нам тысячи.

— Дай господи! — вздохнул порывисто гетман.— Так вот, устроишь все и навестишь сейчас же мою семью. Где-то она, несчастная, там или в Золотареве? Разведай, отыщи и водвори немедленно под верным крылом; к Ганне же отвези и этих пленных...

— Ох, они задержат меня! — прервал испуганно Морозенко.

— Да... так ты отряди к ним прикрытие, а сам взаправду спеши скорее... Неровен час... Скажешь Ганне, чтоб присмотрела пленных, полечила раненых... Главное,— сжал Богдан брови и начал порывисто дышать,— если поймаешь этого аспида, этого литовского пса, то

заклинаю тебя всем святым, дай мне его не подохшим в руки! Всякая жила во мне истерзана этим недолюдком, этим извергом, и все во мне кричит о мести! Дай же мне его, дай живым!!

— Лишь бы только застал,— сверкнул злобно глазами Морозенко,— то не дал бы сорвать с него волосинки... уж какой он мне враг, а не трону, батьку, сохраню для расправы...

— Спасибо, спасибо! Знаю, и тебе поломал он счастье,— перебил его взволнованным голосом Богдан,— ну что ж, я и тебя вспомню... А вот если ее, горлинку, встретишь или отыщешь, то спаси, укрой... Оксану свою будешь искать, так не забудь же и Марыльку...

— Знаю, батьку... и не проси! Свое сердце задавлю, а твое вызволю, как перед богом!

— Сыне мой! Друже мой! — обнял его горячо Богдан.— Спеши ж, лети! Пусть бог хранит и их, и тебя!

Притиснул он еще раз к груди козака и стремительно ушел в другую сторону палатки.

Еще солнце не вставало, когда полки Богдана с распущенными знаменами, с развевающимися бунчуками, с колеблющейся щетиной пик подходили стройными рядами к урочищу Княжьи байраки.

Не доезжая за версту до леса, уже начали попадаться по пути распростертые трупы людей и лошадей, а с полуверсты вся дорога была усеяна пышными рыцарями и жолнерами. Солнце выглянуло и залило золотисто-розовыми лучами эти пажити смерти, заискрилось весело на серебряных латах, золотых шишаках, обнаженных дамасских клинках, засветилось блеском на обрызганном кровью атласе, парче, оксамите... но не могло оно закрасить своим блистательным светом страшных черных пятен на дорогих латах, на одежде, на прибитой траве, не могло отогреть своими живительными лучами окоченелых, частью уже обглоданных зверьем, трупов.

Понурив голову, молча ехал Богдан, потрясенный видом этого страшного поля, а кругом все ликовало в войсках, глядя на сраженного, ненавистного врага. Перекинувши поперед седел свои звонкие бандуры, седые бандуристы, с загоревшимися вдохновенными лицами, слагали бессмертные думы. Вот ударили сильные пальцы по струнам, и после стонов и адских воплей степь огласилась могучими звуками широкой песни козачьей:

Не квітками вкрилось поле
Попід Княжим лугом,
Зарясніло воно пишно
Самим панським трупом;
Лежать пани, лежать ляхи,
Вищиривши зуби...
Не одна вдова заплаче
Від тяжкої згуби...
Висипався хміль із міха
До байраків Княжих
Наробив ляхам він лиха,
Геть приспав їх, вражих!

Тысячи голосов подхватили импровизированную песню... Широко разлились могучие звуки и понеслись к зеленой дубраве, где вчера стояли стон и рев, где вчера еще терзал человек человека. Но не слышали холодные трупы этой торжествующей победной песни; неподвижно лежали они, устремив мертвые, незакрытые очи к бездонной синеве неба...

LXXI

В Чигирине во время рождественских святок случился скандал: в одно прекрасное сверкающее серебром и алмазами утро подстаростинская челядь узнала, что пан их Чаплинский с вельможною паней, с подчашим Ясинским и некоторыми приближенными слугами исчезли, пропали. Конюхи сообщили, что закладывались ночью два возка и четверо саней, что выносились сундуки и всякая клажа из старостинского замка, что наряжено было в провожатые несколько дворовых козаков; но куда должен был направиться этот кортеж — никто не ведал. Заинтересованные эконом и дворецкий получили от пана неопределенный ответ, что отъезжают-де на неделю в гости к соседям... Но прошла неделя, другая, а панство не только не возвращалось само, но и из отправившихся за ним провожатых никого не прислало назад.

Сначала отсутствие панов не только не встревожило дворовой шляхты и челяди, а, напротив, развязало руки, дало свободу широко погулять на святках. Но потом, когда мятежные слухи из Запорожья о разгроме Хмелевского, посланного туда с пятью сотнями драгун для поимки бежавшего чигиринского писаря, оправдались и

стали смущать окружных селян, когда последние начали учащенно бежать из панских маетностей, выкидывая под час и крупные шалости, тогда-то всполошилась панская дворня: разосланы были по близким и дальним соседям гонцы, а прежде всего полетел пан эконом в Черкассы, где находился с коронными гетманами сам пан староста и куда езжал не раз и Чаплинский. Но ни в Черкассах, ни у соседей пана подстаросты не оказалось.

Конецпольский был этим известием очень встревожен. Сначала он думал, что Чаплинский, чтоб уклониться от поручения словить Хмельницкого, отправился в объезд по старостинским имениям, а теперь порешил, что Чаплинский пал жертвою ярости хлопов; но старый Потоцкий разуверил старосту:

— Да он, мой пане, удрал, да и баста! Я это говорил и повторяю. Я ему предложил поймать упущенного им пса, а он струсил, шельма, и наутек!

— Да разве он такой трус? — сконфузился староста.

— Ха-ха! А пан еще и теперь думает заступаться за эту литовскую пройду? Шкодлив как кошка, а труслив как заяц! Нет... покойный отец панский, славный каштелян краковский и гетман, был в выборе людей непрозорлив, опрометчив... Этот писарь мятежный, этот подстароста, полковник Радзиевский, канцлер — все это сомнительные люди.

— Отец мой был несколько иных убеждений,— сжал брови староста.

— Знаю, знаю, фантазер, ха-ха! Поклонник королевской власти и быдла...

— О мертвых говорят или хорошо, или ничего,— закусил губу молодой Конецпольский.

— Правда! Прости, пан староста... Я вот только не могу хладнокровно судить о таком лайдаке, как этот Чаплинский... Ведь что ни говори, а он заварил всю эту кашу, раздразнил волка, выпустил его из капкана и потом — гайда до лясу! А мы тут из-за него собирайся, терпи всякие лишения в походе, усмиряй негодяев...

— Совершенно верно,— отозвался дородный шляхтич Опацкий,— этот Чаплинский и в старостве не умел обходиться с поселянами, а по-литовски лишь грабил... Оттого-то все из панских маетностей и бегут.

Конецпольский сознавал, что он сам был слеп и по-

творствовал своему подстаросте и что бросаемые в Чаплинского камни попадают и в его огород, а потому молчал и сидел красный как рак.

— Положим, что в конце концов я этому рад,— закинул голову надменно Потоцкий,— есть повод раздавить запорожскую рвань и окончательно заковать в ярмо хлопов; но тем не менее я отрубил бы за ослушание и трусу Чаплинскому голову... Вот мой совет пану: немедленно назначить другого подстаросту, времена теперь такие, что без твердой власти не может быть староство, и вот я рекомендовал бы егомосць пана Опацкого...

Конецпольский, не имея в виду другого кандидата, немедленно согласился, и к масляной пан Опацкий был водворен в замке Чаплинского.

Опацкий решился занять предложенный ему пост на основании главным образом тех соображений, что в бурное время замок, защищенный добрым гарнизоном, во всяком случае безопаснее открытого хутора и что коронные войска будут, наверное, сконцентрированы в этом старостве; кроме того, конечно, манили его и выгоды, и почет.

Поселившись в Чигирине, новый подстароста, в ограждение своей личности, принял другую тактику: отменил сразу все особенно тяжкие распоряжения своего предшественника, допустил некоторые льготы, а чего сам сделать не мог, складывал на своего патрона, вообще старался выгородить себя, приобрести популярность... Раз только объехал он староство, но, встретив везде угрюмое молчание и какое-то затаенное противление выказываемому им добродушию, порешил оставаться до поры, до времени в замке и поналечь лучше на кухню да на погреба, чем подвергать себя неприятному риску. И зажил пан Опацкий широко и привольно в Чигирине, зажил полным, бесконтрольным господарем, так как молодой Конецпольский проводил все время в Черкассах, при главном лагере, не заглядывая даже ни разу в свое гнездо.

Новый подстароста не только не рисковал преследовать кого-либо из местных обывателей, но, напротив, желая сблизиться с ними, оказывал даже покровительство, а на заподозренных смотрел сквозь пальцы.

Вследствие этого семья Богдана, поселившаяся было вначале, после отъезда батька, у брата Ганны в Золота-

реве, решилась переехать опять в Чигирин на свое пепелище. Золотаренко был постоянно в отлучке: то поддерживал настроение умов в народе, то воодушевлял слабых надеждой, то перепрятывал беглецов, то отправлял новые банды... Потому-то Ганна и решила, что в Чигирине им безопаснее, да и дело могло найтись.

Зажили они в новом гнезде своем мирно и тихо, молясь постоянно о дорогом батьке, ставшем уже без забрала в ряды борцов за освобождение истерзанного народа; молили они бога за сохранение его жизни, за исполнение заветных желаний... и с наболевшею от тревоги душой ждали известий от старцев, бандуристов да захожих людей.

Катря уже выглядела совсем взрослою девушкой, хотя в стройном стане ее и замечалась некоторая незаконченность, полудетская угловатость; но в задумчивых темных глазах светилась уже не детская грусть. Катря не могла забыть своей бабуси и нежно любимой подруги Оксаны, расспрашивала всех о последней, плакала по ночам, делилась иногда своим горем с Ганной и Варькой. Потеря подруги заставила ее ближе сойтись со своей сестрой Оленой, которая уже стала пидлитком; часто они вместе, забравшись в уголок или усевшись на одной кровати, вспоминали об Оксане, об Олексе, о прежних светлых днях и роскошных вечерах в Субботове, и эти воспоминания обвивали сердца их созвучною тоской и связывали неразрывною любовью.

Юрко тоже вытянулся, хотя все-таки выглядывал хилым; плохо давалась ему наука у дьяка, и даже к играм мальчишек его мало тянуло; любил он больше слушать рассказы старого деда, оправившегося после раны и еще бодро махавшего своею седою бородой, а то любил ласкаться к своей второй маме, дорогой голубке Ганнусе.

У Ганны все, накипевшее на сердце за долгие годы страданий, разрешилось теперь в лихорадочной деятельности, пламенной молитве; бледная, с лучезарным взором, переполненным надежды и веры, она с удвоенною энергией трудилась, с удвоенною любовью холила Богдановых сирот, принимала и кормила всех убогих, ухаживала за калеками и больными... Не раз ездила даже в заброшенный хутор Субботов и там в лесу устраивала приют для гонимых.

Неусыпною помощницей ей во всем была Варька, оставшаяся при семье с отъезда пана господаря. Варька за последнее время оправилась и поздоровела: на щеках у нее снова загорелся здоровый румянец, движения сделались быстрыми, энергичными, глаза загорелись ярким, хотя и мрачным огнем. Она привязалась всею своею измученной душой к Ганне и в этой привязанности нашла некоторое примирение с жизнью. Ганна, с своей стороны, полюбила эту сильную, озлобленную натуру и умела всегда найти благородный исход ее накипавшей злобе.

Сама Ганна словно переродилась. Сознание, что на ее друга и батька, на кумир ее души, обращены теперь все взоры Украйны, что с ее молитвой о нем сливаются десятки, сотни тысяч молитв,— подымало ее высоко, навевало какое-то трепетное величие на ее душу; экзальтация ускорила пульс ее жизни, прогнала прочь аскетическое равнодушие, напрягла до неутомимости силы, и это хрупкое, нежное существо казалось теперь каким-то неземным, чудным вместилищем великого духа.

Так прошел пост; настали великодные святки... Повеяло теплом; побежали по потемневшей лазури небес жемчужною цепью светлые, золотистые пряди; потянулись на север ключом журавли; разлился голубым озером Тясмин.

В Ганниной леваде зазеленели изумрудными сережками верболозы и начали покрываться снежными пушинками деревья вишен.

Раз стояла там Ганна, озаренная мягким сиянием догоравшего весеннего вечера, и, погрузясь в какое-то раздумье, вдыхала первый аромат теплого, но полного еще болотной сырости воздуха, да ловила долетавшие к ней звуки игривой веснянки, как вдруг раздались от будынка крики Юрка:

— Рогуля, Рогуля приехал!

Встрепенулась Ганна, как птица, и побежала к нему навстречу. Рогуля, живший прежде в Субботове, служил теперь в Чигиринской сотне, что стояла со всеми рейстровыми в Черкассах, а потому появление его здесь удивило и встревожило Ганну, но то, что Рогуля передал ей, зашатало ее приливом такой бурной радости и восторга, что она чуть не упала.

Ганна кликнула детей в батьковскую светлицу, где

перед образом спасителя горела неугасимая лампада, и, сказавши им: «Молитесь, батько наш избран гетманом и идет освобождать из неволи народ свой!», упала с рыданием на колени и занемела в горячей мольбе.

Рогуля убежал из сотни тайком известить Ганну о предстоящей опасности для семьи Богдана,— так как первая месть врагов могла упасть на нее,— да о том, что они с гетманом выступают в поход и ночью же должен был лететь назад; а Ганна, не могши сразу собраться, послала на добром скакуне к своему брату Варьку, чтобы посоветоваться с ним, куда бежать, где найти безопасное от панского гнева убежище. Золотаренко прибыл только через день, но не успел он и побалакать с сестрой, как их обоих потребовали к подстаросте в замок.

Опацкий заявил им, что по распоряжению пана старосты и коронного гетмана ни Золотаренка, ни семьи Богдана он не выпустит из Чигирина; что Золотаренко поставлен здесь ответственным дозорцем за верностью местного населения, а семья Богдана будет служить залогом спокойствия; что при соблюдении этих условий власть не сделает им ничего злого, но при малейшем народном волнении они ответят головою; что всякая их попытка бежать будет тоже наказана смертью, да и сверх того будет бесцельной, так как над ними учрежден строжайший надзор.

Золотаренко, рассчитав, что для Богдана тут также нужны свои люди и что видимою покорностью он до поры, до времени защитит его семью от неистовств, подчинился распоряжениям старосты и поселился при семье своего друга; он был рад, что этим распоряжением отстраняли его от похода против своих, а Ганне теперь были безразличны угрозы: она вся — и сердцем, и душой, и мыслями — была там, где зарождались под родными знаменами первые силы бойцов, и о личной своей жизни даже не помышляла.

Как ни старался Опацкий скрыть от населения тревожные слухи из Запорожья, но весть о том, что Хмельницкий поднял знамя восстания и призывает к себе всех, кому дорога воля, разнеслась по Чигирину с быстротой молнии, а оттуда через приезжающих на базар поселян и по всем окрестным селениям. Подстароста в опровержение этих толков рассылал своих дозорцев с оповеще-

нием, что мятежник Хмель уже схвачен и препровождается с шайкою бунтарей на расправу в Черкассы, что всякий побег из имений будет караться немилосердно и на семье бежавшего, и на родичах; но люди покачивали недоверчиво головой и, не обращая внимания на угрозы, убегали иногда целыми семьями на Низ.

В Чигирине, впрочем, Золотаренко остановил побег поселян и мещан такими доводами: что если-де все разбегутся, то сюда наведут польских жолнеров — и Богдану придется потерять много людей, пока возьмет этот неприступный замок, а если останется местное население, то оно отворит своему батьку ворота, а ждать его придется, вероятно, очень недолго.

Народ успокоился на время, но неопределенность положения и неизвестность начали волновать его, а распускаемые поляками слухи о разгроме Хмельницкого пугали доверчивых, слабых и озлобляли отважных; неудовольствие и ропот глухо росли, прорываясь иногда в угрожающих выходках, в ожесточенных спорах и ссорах, доходивших до драки.

Образовались две партии: одна за Богдана, другая за поляков; польская старшина разжигала между ними вражду, стремясь извлечь из нее себе пользу, и дело наконец дошло до того, что обе стороны готовы были броситься друг на друга с ножами.

Опацкий почти через день посылал гонцов к старосте с просьбой прислать ему, на всякий случай, подмогу, но гонцы возвращались ни с чем, не принося даже известий о подвигах высланных против врага отрядов и о нем самом. Подстароста растерялся и начал подыгриваться к более влиятельным обывателям, даже к Золотаренку, чтобы повыудить у них хотя что-либо и знать, в каком направлении держать руль, но все выслушивали почтительно его басни и упорно, с лукавою улыбкой, молчали... К подстаросте начал подкрадываться с каждым днем больше и больше страх, отбивший у бедного пана аппетит; даже учащенные келехи оковитой, венгерского, старого меду не могли отогреть его зябкого сердца... А между тем время шло, неся на своих крыльях весну с яркими коврами цветов, с благоуханным теплом, с любовною лаской.

LXXII

Стоял чудный майский день. Воздух был тих и прозрачен, небо безоблачно. Солнце обливало ярким светом темные, остроконечные крыши замка и зубчатые стены бойниц, смягчая мягкими тонами их мрачный, пасмурный вид; под лучами его играла кровавыми оттенками черепица на домиках, окружавших замковую площадь, и золотом отливал песок, покрывавший ее глубоким пластом. Из-за муров замка выглядывала готическая, стрельчатая крыша костела, а среди площади стояла скромная деревянная церковь о пяти главах, с крытою галереей вокруг, а возле нее ютилась грибком низенькая дзвоница (колокольня). Церковный погост огорожен был простым плетнем, поваленным в двух-трех местах бродячими свиньями.

На площади было не людно; торг уже давно отошел, и только несколько замешкавшихся с хлебом возов стояли в конце площади да за церковью, поближе к лавочкам, сидели перекупки (торговки) с паляницами, пирогами, колбасами, холодным из свиных ног, семечками, цыбулей и другими гастрономическими товарами.

Лениво переходили площадь прохожие, пригретые почти летним зноем, запоздавшие покупатели или сновали между перекупками, или закусывали в тени.

На замчище было еще пустыннее; какой-то жолнер спал в амбразуре, другой прятался от солнца за выступом башни.

Вдруг на дзвонице ударил колокол. Дрожащий звук всколыхнул сонный воздух и сразу же разбудил всех от апатии: был будний день, поздняя пора, а потому удар колокола мог предвещать только что-нибудь необычайное.

Все стали прислушиваться к характеру звона.

Вот за первым ударом раздался вскоре второй, третий; и полетели, гудя и волнуясь, торопливые, тревожные звуки, словно сзывающие своим порывистым стоном людей на помощь.

— Набат! Набат! — послышались встревоженные крики во всех концах, и со всех улиц и переулков, с замчища, с пригорода повалил на площадь всполошенный люд. Всякий озирался, ища зловещее зарево, и, не находя его, с испугом обращался к соседу:

— Где горит? Что случилось? Ко̀заки? Татары?

Но сосед, не зная ничего, спрашивал, в свою очередь, третьего и, не получая ответа, метался растерянно, увеличивая общее смятение.

Уже то там, то сям прорывались панические крики:

— Татары! Татары! Закапывайте все!

Оставшиеся в хатах матери и бабы бросились в ужасе прятать в погреба детей и имущество. Поднялся везде плач и стон, смешавшийся с воплями в какой-то печальный, перекатистый гул....

А на площади уже колебалась темными волнами встревоженная толпа, и гул ее возрастал прибоями до бурных порывов.

Ворота в браме замковой закрылись с лязгом; на стенах появились ряды вооруженных жолнеров. Перепуганный на смерть пан Опацкий появился также, шатаясь с похмелья, в амбразуре бойницы... А набат не смолкал, наполнял стонущими звуками воздух и разносил тревогу по ближайшим хуторам и приселкам.

Когда площадь переполнилась уже вся народом, и волнение, и раздражение его начинали уже высказываться в угрожающих криках и брани, посылаемых по адресу звонаря, и к колокольне начали проталкиваться свирепые лица с поднятыми вверх кулаками, то набат вдруг смолк, в окне показался дед, весь в белом, с волнующеюся седою бородой, с серебристым оселедцем за ухом и, высунувшись из окна, распростер над толпою руки. Все вдруг затихло и занемело в напряженном ожидании.

— Дети, братья! — обратился дед к собравшимся старческим, но сильным голосом. Во всей фигуре его чувствовалось необычайное возбуждение, глаза горели восторженным огнем. Толпа шелохнулась, понадвинулась еще теснее к колокольне и замерла. А дед, поднявши высоко руку и, захвативши побольше воздуха в костлявую грудь, возвысил свой голос до необычайной силы.

— Друзи! К нам идет со славным Запорожским войском наш гетман Богдан, богом нам посланный заступник и отец. Он уже близко от родного города, так раскроем же настежь ему ворота и встретим нашего избавителя хлебом и солью!

Какой-то страшный звук, словно крик ужаса, вырвался

из груди всей толпы и замер... Упала вдруг могильная тишина. У жолнеров вытянулись лица, пан Опацкий побледнел, как мел, и уставил в даль налитые кровью глаза...

Но вот минута оцепенения прошла; пробежала волна по толпе; заколыхались чубатые головы; послышался то там, то сям встревоженный говор, начали вырываться и радостные, и неуверенные возгласы: «Хмельницкий здесь!», «Батько наш прибыл!», «Господи, спаси нас!», «Да что плетешь? Какой там Хмельницкий! Может, гетман коронный?»

Отрывистые крики начали сливаться в два враждебных хора, одни кричали: «Молчите вы, перевертни, недоляшки! Заткнет вам всем глотки Хмельницкий!» А другие вопили: «Погодите, погодите! Повесит вас всех, как собак, Потоцкий, а зачинщиков на кол посадит!» — «Ах вы, псы, изменники!» — начинало теснить последних заметное большинство. В иных местах стали пускаться в дело и кулаки со взрывами брани.

Опацкий, заметивши, что в толпе нет единодушия, а есть партия, готовая примкнуть к его бунчуку, несколько ободрился; он вздумал воспользоваться минутой общего замешательства и разъединить еще более обе стороны, поддержав мирных, покорных и рассеяв дутые надежды бунтовщиков.

— Слушайте, несчастные,— гаркнул он, побагровев от натуги,— не накликайте на свои головы бед! Мне жаль вас! Я только что получил известие, что сын коронного гетмана разгромил Запорожье и возвращается с богатою добычей назад. Может быть, кто-нибудь и видел уже близко его непобедимых гусар.

— Не верьте,— раздался вдруг неожиданно голос Золотаренка,— запорожцев и козаков видел верный человек в Затонах, только что прискакал, а с ними, конечно, и батько.

Заявление подчиненного, отвечавшего своею головой за спокойствие, его открытый вызов к возмущению толпы были так безумны, что только безусловная уверенность в немедленном прибытии грозных родных сил могла оправдать их, и это смутило пана Опацкого.

— Молчи, дозорца! — попробовал еще староста поколебать впечатление, произведенное на толпу Золотаренком.— Ты рискуешь головой, ты пренебрегаешь мило-

сердием Речи Посполитой и губишь в слепом безумии всю семью этого бунтаря! Опомнитесь, панове! — обратился он к опешившей и примолкшей толпе.— На бога! Разве осмелится этот бежавший банитованный, лишенный всех прав писарь явиться хотя бы со всем Запорожьем сюда, когда тут, в этих местах, сосредоточена такая сила панских и коронных войск, какая сломит и сто тысяч врагов?

— Мой племянник видел его! — закричал неистово дед, подымая вверх руки.— Только не мог его догнать; река разделяла, но он узнал батька. Он был на белом коне, с белым знаменем. За ним краснели как мак запорожские ряды; густые луга их закрыли... клянусь всемогущим богом, он не лжет! Пусть земля обрушится под моими ногами, пусть раздавит мою старую голову этот колокол, коли я покривил душой перед вами!

— Дед не возьмет греха на душу; это ляхи мутят, а батько наш здесь, спешит к нам! — раздались то здесь, то там поодиночно возгласы, сливаясь в торжествующий гул.

— Да, пожалуй, и правда,— начали сдаваться противники.— Если Хмель близко и узнает, что мы заперли перед ним ворота, так расправится с нами также посвойски, а гарнизон нас не защитит! — зашумели они сначала тихо, а потом и громче.

— Схватить этих бунтарей! — заревел дико Опацкий.— Триста Перунов, если не гаркну в вас из гармат... Не уйдет эта тень от стен, как явятся сюда полки драгун, и тогда не будет пощады! У кого есть разум и страх, вяжите мятежных лайда́ков! На раны Езуса, если тот старый дурень и видел баниту, так он, значит, прятался, как заяц в лугах... Верные должны схватить его и передать в руки властей, за что и получат награду: як маму кохам, всем покорным и верным даны будут великие льготы, а буйные и мятежные обречены на погибель!

Бешеный крик подстаросты произвел снова впечатление на низшие слои толпы; с одной стороны драгуны, Потоцкий, изуверские казни... и это близко, неотразимо, а с другой стороны мифический Хмельницкий, бессильный против коронных гетманов, а быть может, и разбитый беглец... Льготы или пытка? Благо или смерть?

Не долго длилось смущенное молчание, не долго

колебалась толпа. Загалдели сначала более слабые духом:

— Долой мятежников! Мы за пана старосту!

Вскоре к ним пристало и большинство.

— Запирай ворота! Хоть бы не только Хмельницкий, а и сам черт к нам приехал. Запирай! — раздались отовсюду голоса.

— Бей изменников! — крикнул Золотаренко, а за ним и другие удалые козаки.

— Вот мы вас перевяжем всех, как баранов! — напирала на них серая масса.

— Отпирай ворота! — заревели исступленно горячие головы, протискивая кулаками дорогу к воротам. Во многих руках блеснули уже ножи.

— Режут! Стреляйте в них! — подымали руки к бойницам приверженцы старосты и, теснясь, давили друг друга.

Какая-то бледная девушка с темною косой торопливо и бесстрашно протискивалась среди кипящей толпы; она несколько раз порывалась говорить, подымая руку, но голос ее терялся в беспорядочных волнах перекатного рева.

Опацкий сделал было распоряжение стрелять, но жолнеры как-то замялись. Послышались робкие возражения.

— Хлопы под самою стеной: не достанем, а только разлютуем... нас горсть, подмоги нет!

Один жолнер, впрочем, выстрелил и убил наповал девочку, затесавшуюся из любопытства на площадь. Возле упавшей малютки с простреленною насквозь головой сбилась густая толпа.

— Убил изверг! Неповинного младенца убил! — раздался один общий крик.

Средних лет женщина, с искаженным от злобы лицом, с дико сверкающими глазами, со сбившимся набок очипком, энергично проталкивалась к убитой.

— Вельможный пан,— подбежал часовой к подстаросте,— вдали показалась конница... подымается пыль.

— Наша? Подмога? — вспыхнул Опацкий.

— Вряд ли... с другой стороны...

— Езус-Мария...— растерялся совершенно Опацкий и забормотал побелевшими губами: — А что, если и взаправду Хмельницкий?

Исступленная женщина,— это была Варька,— прорвалась наконец к распростертой окровавленной девочке и, поднявши ее высоко на руках, крикнула резким, взволнованным голосом:

— Глядите! Глядите! Вот труп невинный! Они бьют наших детей, а мы не будем мстить им? Хворосту под браму, скорее, жечь их, извергов, дотла!

Более рассвирепевшие бросились за хворостом, но более благоразумных охватил ужас: огонь ведь не пощадил бы никого.

— С ума спятили вы, что ли? Гоните ведьму!

Испуганная толпа стала оттирать прорывавшихся к браме удальцов.

— В ножи! Руби их! — кричали последние, выхватывая из ножен сабли, а из-за сапог ножи.

Завязалась борьба. Злобное волнение охватило всю площадь. Воздух огласился криками и воплями. Брызнула кровь.

Вдруг три раза порывисто ударил колокол; на колокольне появилась Ганна и, замахавши белым платком, крикнула с таким отчаянным воплем: «Остановитесь!» — что голос ее, пронизав стихнувший на мгновенье рев, заставил вздрогнуть и оглянуться уже начавшую приходить в безумную ярость толпу.

— Распятым богом молю вас! — воспользовалась минутным затишьем возмущенная до глубины души Ганна.

Бледная, с приподнятыми вверх руками, с сияющими лучистыми глазами, она напоминала собою какую-то пророчицу, посланную возвестить веленья свыше; голос ее звенел, как сильно натянутая струна; в нем слышались властные, покоряющие сердца тоны.

— Распятым богом и слезами пречистой матери молю вас, заклинаю! — продолжала она, овладевая общим вниманием толпы.

— Остановитесь! Опустите руки! Не подымайте, как Каин, брат на брата ножей! Бог сжалился над вашими страданиями, шлет вам избавителя от напастей, а вы за неизреченную милость его кощунствуете над святыми заветами его и перед этим праведным солнцем готовы пролить братскую кровь. Братья, не распря должна волновать теперь ваши мужественные сердца, а любовь и слияние воедино! Распрю нашептывает вам диявол, а

любви братской требует бог! Или вы бога забыли и потеряли последнюю совесть? Богдан не может быть разбит, не может! На нем десница господня! Это они, враги наши, клевещут, чтобы смутить ваше сердце и посеять в нем злобу отчаяния. Но если бы всевышний захотел еще раз испытать нас, то неужели бы вы лишили приюта того, кто понес за ваше счастье всю свою жизнь?

Толпа стояла молча, не шелохнувшись, и склоняла ниже и ниже голову на грудь; каждое слово Ганны падало на нее тяжелым свинцом и вонзалось в сердце.

Дед, опершись на дубовый столб на колокольне, рыдал навзрыд.

— Друзи, не выдадим батька! — вскрикнул зычно Золотаренко.— Откроем ворота! Станем за него все, как один!

— Не выдавать! Не выдавать батька! — загалдели за Золотаренком друзья, а за ними закричали сочувственно и остальные.

Опацкий, смотревший с ужасом с высоты башни на приближающийся отряд козаков, чувствовал лихорадочный озноб и не мог ничего ответить на поднявшийся вокруг него ропот гарнизона. Но когда пламенное слово Ганны зажгло в толпе мятежный порыв и до него донесся бурный крик: «Ломай ворота! Бей ляхов!», то подстароста, не помня себя, начал просить всех слезливым, дребезжащим голосом:

— Не тревожьтесь, не тревожьтесь, братцы, я сам отворю. Коли вы все за Хмельницкого, так и я за него. Он мне приятель, я вот и семью его сохранил. Что ж, пока не было его, то мы должны были исполнять волю Потоцкого, знаете ведь: «Скачи, враже, як пан каже». А коли батько наш здесь, так и нам начхать на панов!

Слова Опацкого рассмешили всех и сразу переменили воинственное настроение на добродушное, тем более что и ворота загромыхали и заскрипели на железных петлях.

А тем временем отряд Морозенка быстро приближался к Чигирину и широким облаком пыли закрывал уже все предместье; Ганна увидела его с высоты колокольни и, опьяненная приливом восторга, закричала, протягивая руки к толпе:

— Друзи! Козаки уже здесь. Я вижу их, вот развевается наше родное знамя, они несут его своим братьям, они летят к нам на помощь, они нам посланы богом!

— Ворота им настежь! — раздался один радостный, дружный крик, и стоявшие у края площади бросились к нижней браме.

Вскоре в стенах города раздался звук труб и литавр, и тысячный отряд с распущенными знаменами и развевающимися бунчуками вошел торжественно и стройно под предводительством славного Морозенка на Замковую площадь.

Обнажив головы, вся толпа почтительно распахнулась на две части перед славными спасителями, а дед, в порыве экстаза, зазвонил во все колокола, размахивая и оселедцем, и бородой, и руками.

Отряд остановился. Сбросивши свой шлем, Морозенко перекрестился на ветхую церковь и возвестил всем громким, восторженным голосом:

— Хвалите господа всевышнего! Поляки разбиты дотла!

— Господу слава! — вырвался из всех грудей один растроганный возглас, и тысячная толпа, как один человек, опустилась на колени.

LXXIII

Приняв под свою власть замок и город, Морозенко расставил везде свою стражу и занял своими войсками все крепостные башни, помещения и казармы, из бывшего же гарнизона выделил католиков и поручил им, обезоруженным, разные хозяйственные при замке работы, а остальных, православных, присоединил к своему отряду. Много и добровольцев из местного населения пожелало стать под стяг нового своего сотника, и Морозенко поручил товарищам вербовать всех и вооружать из старостинского арсенала.

Пану Опацкому, в уважение его человечного отношения к обывателям и народу, предложено было или отправиться свободно в лагерь Потоцкого, или остаться в Чигирине, но с ограничением уже личной свободы. Опацкий, взвесивши все обстоятельства, выбрал последнее. Он снискал особую ласку у молодого сотника еще тем, что пощадил семью Богдана, о чем и поспешил заявить козаку с первых слов, мотивируя свое рискованное уклонение от наказов гетманских непобедимым расположе-

нием и к великому вождю, и к козачьему рыцарству, и вообще к русскому люду...

На вопрос Морозенка: «Где Чаплинский и семья его?» — Опацкий поклялся всеми святыми—и римскими, и греческими,— что не знает, сбежал-де с женой и добром, что все розыски пана подстаросты не привели ни к чему, вследствие чего ему, Опацкому, и навязан был этот пост, и что он согласился взять его с единственным тайным умыслом охранить семью ясновельможного Хмельницкого и сберечь для него все добро...

Морозенко слушал болтовню перепуганного пана Опацкого и кусал себе губы с досады, что опоздал и не застал уже коршуна в его клятом гнезде; полжизни отдал бы с радостью он, чтобы разведать лишь, где скрывается этот дьявол, чтобы исполнить любимого батька просьбу... и вот насмеялась злая судьба,— ни самого, ни следа!

Как же он теперь доставит живым этого пса? Как разыщет Елену? Как исполнит первое и такое дорогое поручение своего гетмана? Как вырвет наконец из когтей извергов свою Оксану?

— А-а! Жизни вашей подлой мало, чтобы заплатить мне за такую обиду!..— заскрежетал он зубами и, в порыве охватившего его бешенства, готов уже был подвергнуть пытке и помилованного пана Опацкого, и всех захваченных им поляков.

— Куда же удрал этот аспид? — допытывался с пеною у рта Морозенко.

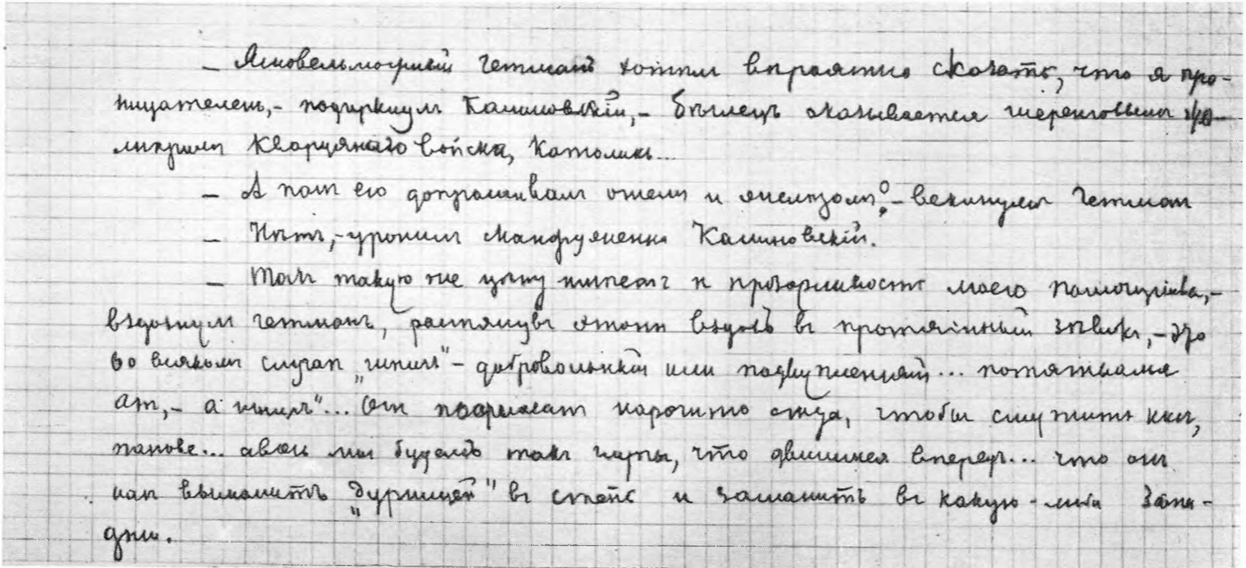
— На бога! Не знаю... проше вельможного пана... падам до ног! — бледнел и дрожал пан Опацкий, глядя на пылавшие гневом глаза своего нового повелителя, на его искаженное злобой лицо.

— Пекельники! Поплатитесь! — топнул он свирепо ногою.— Пан может же хоть предполагать?

— Могу, конечно, могу...— ухватился за счастливую мысль допрашиваемый,— доподлинно, проше пана, трудно... но предположить... отчего нет? И я, бей меня Перун, полагаю... даже наверное полагаю, что этот шельма убежал в Литву и скрывается в своем жалком маентке...

— Да? В самом деле? — просветлел Морозенко.— Пан, пожалуй, прав... Но где же болото этой жабы?

— Я знаю где! — вскрикнул решившийся на все с отчаяния Опацкий.



Сторінка чорнового автографа роману «Буря». *Фотокопія.*

— Пан знает?! — вспыхнул от радости Морозенко и ухватил порывисто за руку подстаросту.

— Да, знаю; конечно, трудновато,— запнулся тот немного,— найти сразу в трущобах, но все же можно...

— Так пан мне поможет? — жал Опацкому руку Морозенко.— О, он окажет ясному гетману и мне такую услугу, за которую дорого платят, которую никогда не забывают!..

— Рад служить панству... рад служить...— багровел и морщился бывший староста от козачьей ласки,— все пущи, все болота переверну вверх дном, а найду!.. От меня этот лайдак не укроется нигде!.. Пан рыцарь еще меня не знает! Ого-го! От ока Опацкого никто не спрячется, от его руки никто не уйдет... Як бога кохам!

Морозенко хотя и не совсем доверял хвастовству пана, но все-таки оно давало хоть слабую надежду и на первый случай проводника.

С лихорадочным, неподдающимся описанию нетерпением ждала Ганна и вся семья Богдана Олексу: со слезами радости, с оживленными лицами, пылавшими ярким восторгом, с трепетавшими сердцами все они — и Катря, и Оленка, и Юрась, и дед, и челядь — то стояли за воротами, то выбегали в соседние улицы, то заглядывали даже на площадь; но Морозенка все еще не было, и даже брат Ганны Федор [118], и тот не возвращался из замка... Нетерпение начинало уже переходить в тревогу...

А Ганна молилась в своей светелке перед образом матери всех скорбящих. Обливаясь благодатными слезами, умиляясь душой до истомы, расплываясь всем бытием в какой-то неземной радости, она не находила слов для молитвы: все ее существо, все струны ее сладостно трепетавшего сердца, все чувства и помышления сливались в какой-то неясный, но дивный гимн души, и этот гимн несся за пределы миров, к сверкающему радугой источнику вечной любви...

Наконец поднявшийся шум на дворе и бурные крики радости заставили очнуться Ганну: она стремглав бросилась на крыльцо и увидела, что дед и дети душили дорогого Олексу в своих объятиях; челядь тоже шумно виталась с славным козаком, с своей гордостью...

Морозенко, завидя Ганну, припал к ее руке, растроганный ее нежною лаской, смахивая неловко и долго

слезу, неприличную уже для закаленного в боях рыцаря.

Не скоро еще смогли господари затащить дорогого гостя в гостеприимный будынок: он был должен удовлетворить сначала горячее любопытство и челяди, и собравшихся соседей,— порассказать им о новом, дарованном господом гетмане, о разгроме поляков и о том, что с страшными потугами (силами) он спешит сюда, чтобы спасти всех от лядского ига, освободить Украйну от рабских цепей.

Наконец-таки Золотаренко освободил сотника от новых, беспрерывных атак набегающих слушателей и увел его в еще незнакомый Олексе будынок, к ожидавшей уже на столе роскошной трапезе. Катря с Оленкой суетились и наперерыв угощали друга своего детства, и последний был видимо счастлив, видя вокруг себя дорогие, родные лица, чувствуя на себе их любящие взоры, слыша знакомые голоса; только отсутствие двух лиц — несчастной бабуси и особенно сверкавшей черными глазенками обаятельно-прекрасной Оксаны — смущало ликующую радость и раскаленным железом прохватывало не раз его сердце... «Ах, Оксано, Оксано...— бледнел он в те мгновенья и шептал беззвучно: — Где ты? Вся жизнь — родине и тебе!»

Под конец трапезы эти приливы жгучей тоски до того усилились, что Морозенко не в силах был уже больше сносить их и, подошедши к Ганне, обратился к ней глухим голосом:

— Ганна! Единая мне и мать, и сестра! — сжал он свои руки до боли.— Я знаю все... этот дьявол ушел... с Еленой... и с этим тхором Ясинским... Зять этой жабы литовской, вылюдок Комаровский, тоже сбежал, но Оксана...— вырвался из груди Морозенка какой-то хрип и оборвал дыхание.

— Ах, Олексо! Бедный мой! — уронила, вздрогнувши, Ганна и поцеловала Морозенка в наклоненную голову.

— Панна ничего не слыхала про...— давился словом Олекса.

— Ничего,— вздохнула Ганна.

— Я знаю место,— поднял голову Олекса, и в его искаженном лице было столько невыразимой муки, что даже Ганна отшатнулась от боли,— где эти звери хоронят мою горлинку... Я было напал на это разбойничье

гнездо, но у меня было мало сил, чуть самого не схватили, удалось только ранить Комаровского да повалить штук девять его палачей!.. Так я вот сейчас же туда.

— Олекса, и я с тобою! — остановила его за руку Ганна.

— Спасибо, спасибо! — поднес Олекса ее руку к губам и порывисто вышел с Ганной из будынка.

Долго путался Морозенко по оврагам и балкам оттененного уже молодою зеленью леса; нигде не было ни следа, ни тропы. Густая трава, высокая крапива, пышные кусты папоротника, вьющаяся березка устилали ровным, несмятым пологом все полянки; в ином месте обвал от весенних ручьев или вывороченный камень совершенно заграждали путь; нужно было делать в обход большие круги, через что терялось и взятое направление. Бесясь и проклиная все на свете, колесил Морозенко с Ганной и десятью козаками по лесу, словно по лабиринту, и не находил выхода из этого заколдованного круга.

— Это та чертова карга, ведьма заколдовала места,— рычал и скрежетал он зубами.— У-у!.. Попадись она теперь мне в руки!

— Какая ведьма? — вскинула на него глаза Ганна.

— А та, что сторожила мою зозулечку, мою горлинку... Вот тут где-то росли рядком высокие яворы, а за ними в долинке стояли густою дубравой развесистые дубы; они, как часовые, обступали двойной частокол. Вот за тем частоколом и пряталась проклятая тюрьма, где была заперта моя пташка, и как это я тогда сразу попал, а теперь будто ослеп, вот хоть рассадить о пень башку, и рассажу-таки ее к нечистой матери!

— Успокойся, Олексо,— взяла его за руку Ганна,— ты вот через свой запал и память теряешь, да и то еще, тогда лес голый был, виднее было.

— А правда, теперь он, словно на горе мне, укрылся весь листом, вон и на полсотни ступней ничего не проглянешь. Мы уже, может быть, были не раз у этой чертовой дыры, да и не приметили! Эй, смотри! — крикнул он назад.— Не ездите за мною гуськом, а врассыпную, облавой, да глядите мне в оба, где-то вот здесь должен быть частокол и яворы дорожкой... Не пропустите!

— Не бойся, пане атамане, не провороним! — отозвался старший десятник.

— Гаразд только поторопимся, уже близко вечер. Забирайте вот так, полукругом,— показал рукой Морозенко,— и режьтесь прямо на солнце...

А солнца уже и не было видно за стеной стройных ясеней и широколиственных кленов; то там, то сям сквозь своды сплетшихся ветвей пробивались косые, алые лучи и играли опалами на светло-изумрудной листве; внизу же сгущался уже темными пятнами сумрак и наполнял лес какою-то таинственною игрой света и теней. Скоро, впрочем, алые брызги и нити сбежали до самых верхушек дерев, и последние загорелись, как свечи; но вот и их ярко-красное пламя начало гаснуть, и внутри леса улегся клубами густой полумрак; только сквозь нависшие сетчатым пологом своды еще пробивалось мелкими бликами побледневшее лиловатое небо.

Отчаяние начинало овладевать Морозенком; он готов был остаться один в лесу и не выходить из него, пока не отыщет разбойничьего притона или хоть руин его пепелища; ему казалось, что самая смерть далеко легче невыносимых мук неизвестности, и это сознание начинало ему нашептывать безумные намерения.

Вдруг из черной чащи, шагов за сто от него, раздался какой-то дикий вопль, словно крик вспугнутого филина, а затем глухой стук.

Опрометью бросился на этот стук Олекса, не окликнув даже отставшей от него Ганны; он натыкался на деревья, на пни, царапал себе до крови руки и лицо о нависшие ветви и прутья и, с риском даже выколоть себе глаза, продирался в непролазной трущобе; наконец, после неимоверных усилий и жертв, он выбрался на полянку и увидел, что два козака стучали и били прикладами рушниц в высокую дубовую браму, замыкавшую двойной круг частокола.

— Оно!.. Оно самое! Нашли! — вскрикнул не своим голосом Морозенко в порыве жгучей радости и, соскочивши с коня, подбежал к козакам.— А что, заперто? Никого нет? Не откликается? Глухо? Мертво? — засыпал он их вопросами.

— Да нет, пане сотнику,— снял один шапку,— какая-то ведьма вскочила туда и заперла за собою ворота.

— Ведьма! О господи! — схватился молодой сотник

за сердце, боясь, чтобы оно не выпрыгнуло из груди.— Значит, она еще тут, сторожит, значит...— у него захватило дух от нахлынувшего огненной волной чувства.

— Кругом обступить, чтобы не проскользнула и мышь! Топор сюда, бревна! — командовал он отрывисто, не помня себя.— Ломай ворота, руби!

Сбежались на крик остальные козаки и принялись дружно громить и прикладами, и саблями, и найденным во рву бревном дубовую, окованную железом браму. Наконец к ним подъехала и Ганна.

В дворике было тихо,— ни лай собак, ни людской гомон, ни какой-либо другой шум не обнаруживали там присутствия живого лица, только тяжелые удары в ворота отдавались глухим стуком за брамой и откликались разбегавшимся эхом по мертвому лесу. Наконец одна половина ворот начала поддаваться с усиливающимся треском, но все еще сидела пока крепко на петлях.

За воротами послышался вновь дикий вопль, сменившийся вдруг хохотом. Кто-то завозился у них и стал придерживать плечом дрожавшую под ударами воротину.

— Эй, дружней! Наляжьте! — крикнул рассвирепевший от нетерпения сотник.

Упершись ногами, козаки поналегли еще сильнее, воротина затрещала громче и отогнулась назад, но все же ее держал еще засов.

— Дозволь, пане атамане,— отозвался тогда старший десятник,— я перелезу через частокол, свяжем пояса, товарищи спины подставят; там ведь, кроме дурной бабы, нету и черта.

— А в самом деле! — обрадовался предложенному исходу Морозенко.— Полезай, и я за тобой.

Козаки попробовали было отклонить атамана от такого риска, но, встретив с его стороны грозный отпор, полезли и сами за ним, оставив с Ганной лишь двух.

Перелезши через частокол, Морозенко окинул беглым взглядом весь дворик; но никого в нем не заметил; только у ворот и у коморы валялось несколько сгнивших и обглоданных собачьих скелетов; покосившаяся, вросшая в землю хата выглядывала пусткой; выбитые окна смотрели черными дырками; упавшая дверь торчала боком в проходе.

Ужас охватил Морозенка при виде этого заброшенного, пустынного жилища. Не было сомнения, оно было оставлено, как ненужное больше, а для обитателей отыскан был, вероятно, более отдаленный и верный приют.

— Где же эта ведьма? Где она? — кричал в бешенстве Морозенко, бросаясь с отчаянием во все закоулки двора. Но темнота ночи мешала делать розыски.— Огня, хлопцы,— крикнул он,— оглядеть бесовское кубло, отыскать чертовку, а потом и сжечь его с нею дотла!

Одни бросились устраивать импровизированные факелы, другие отпирать ворота. Через несколько минут в руках трех-четырех козаков пылала и искрилась свороченная жгутом солома, надерганная из крыш.

Как только осветился дворик мигающим, красноватым светом, так сразу и нашли полоумную старуху: она сидела за какою-то бочкой, недалеко от ворот, уставив в одну точку безумные, расширенные и застывшие от ужаса глаза; седые, всклокоченные, непокрытые волосы висели беспорядочными космами вокруг ее желтого, худого, изрытого морщинами лица; сжатые на груди руки судорожно тряслись; она сидела на корточках и напоминала собою исхудавшую от голода, одичавшую кошку, съежившуюся перед собакой.

— Где дивчына? Где Оксана? — подбежал к ней исступленный Морозенко.

Старуха задрожала еще сильнее, с усилием открыла рот, в котором торчало лишь два черных поточенных клыка, и, видимо, хотела что-то сказать, но язык не повиновался ей, и губы шевелились беззвучно.

— Говори, чертовка! — схватил ее Морозенко одною рукою за шею, а другою обнажил саблю.— Я из тебя жилы вытяну, сожгу на медленном огне!..

Старуха взвизгнула и, выпучивши страшно глаза, закостенела.

— Бабуся,— нагнулась к ней Ганна,— помнишь ту дивчыну, что привез сюда пан и велел тебе сторожить,— молоденькая, чернявая, Оксаной звали?

У обезумевшей старухи блеснул наконец луч сознания в глазах.

— А-а! — промычала она невнятно и, оглянувшись с ужасом на хату, повалилась вдруг к ногам Ганны и забормотала, всхлипывая, что-то бессвязное, непонятное.

— Что? Что? — обратился весь в слух Морозенко и почувствовал какой-то леденящий холод в груди.

— Не губи, панно! — взвизгивала она, ломая свои костлявые пальцы.— Умоли ясновельможного! Я не виновата!.. Я не могла! Окно... двери... собаки... козак... ночь... много козаков... я заперла... она сама... так... так... сама... собаки подохли... Ай-ай! Что мой пан? Плети, сковорода? О-о! — показала она покрытые язвами ноги.— Опять огонь! Ай-ай! Рятуй! — бросилась она снова Ганне в ноги.

— Олексо, Олексо, пойми, мой любый,— схватила Ганна жесткую мозолистую руку козака,— Оксану украл не пан, а козак! Видишь, он был свой человек, кто-нибудь из друзей твоих, из товарищей! Старуха говорит, что она сама ушла... Значит, Оксана с ним уговорилась.

— Но ее же нет?!

— Нет, но несомненно, что она не в руках врага, а в руках твоего друга, козака; а что ее нет и мы не знаем, где она, то, верно, он укрыл ее где-нибудь в добром тайнике...

— Ганно, так ли? — встрепенулся Морозенко; голос его дрожал, но в нем уже слышались не крики отчаяния, а трогательные, умиленные ноты.

— Не ропщи!—продолжала Ганна, возвысив голос.— Благодари милосердного господа, Олексо. Уж коли ангел божий спас наше бедное дитя в этом вертепе, то он сохранит ее от врагов и в диком лесу. Не ропщи же, а молись, Олексо.

Морозенко прижался к руке Ганны, закрывши лицо руками, тихо заплакал как дитя.

LXXIV

В польском лагере, расположившемся широко и привольно в живописной местности между Черкассами и Смелой, шло между тем великое, беспечное пирование. Польские паны и магнаты, съехавшиеся не для суровых походов, не для тяжких лишений, а для рыцарских потех, для возлияний Бахусу и для культа Венере, щеголяли пышностью своих придворных дружин, роскошью одежды, богатством оружия и соперничали друг перед другом безумною расточительностью; за каждым паном притя-

нулись в лагерь целые обозы с разнообразною утварью, мебелью, многоценными коврами, золотою и серебряною посудой, с полчищами поваров и поваренков, с целыми транспортами оковитой, старого меду, пива, мальвазии, наливок и непременной венгржины. Блестящие рыдваны, колымаги, раззолоченные кареты, выездные кони в сверкающей бляшками, гудзиками, а то и каменьями сбруе наполняли весь лагерь и придавали ему характер какого-то пестрого, веселого сборища разряженных в бархат, парчу и атлас щеголей, съехавшихся или на пышный турнир, или на королевскую охоту; последнее казалось еще вероятнее на том основании, что многие паны привели с собой целые псарни.

Одних только обольстительниц фей, чарующих красотой своих белоснежных лиц, с утреннею зарей на щеках, с полуденным жаром в очах, поражающих сказочным блеском своих нарядов, по-видимому, здесь недоставало; но зато сюда приводились чуть ли не ежедневно связанные молодицы, девушки, подлетки-девочки; шли они, как на смертную казнь, бледные, трепещущие, с расширенными от ужаса глазами, в полуразорванной одежде, а то и совсем обнаженные... Бессильное сопротивление их смирялось канчуками, едкость стыда осмеивалась пьяными, разнузданными шутками; перед гетманскою палаткой сортировался по красоте и достоинству этот товар: паны не брезговали им в походе, как не брезгуют охотники в отъезжем поле коркою черного хлеба. Когда благовонная южная ночь, полная истомы и неги, укрывала своим темным, усеянным звездами пологом всю землю и лагерь и усыпляла бесчувственным сном отягченные хмелем головы, тогда среди тишины беспомощно раздавались во многих местах отчаянные вопли, задавленные рыданиями несчастных жертв, оторванных от родных и семьи.

Число всех войск в лагере превышало двенадцать тысяч [119]; половину их составляли панские команды, остальные состояли из кварцяных войск и двух тысяч драгун. До мая месяца все войска сосредоточивались в Черкассах, но после отправки Потоцким отряда со своим сыном во главе для поимки Хмельницкого и разгрома взбунтовавшихся «банд» старый гетман передвинулся лагерем ближе к Смеле и упорно не трогался с места, как ни домогался движения вперед Калиновский.

В роскошной шелковой палатке коронного гетмана Николая Потоцкого, разделенной тяжелыми адамашковыми занавесами на многие отделения, обставленной с восточным великолепием, восседало и возлежало на оттоманках пышное рыцарство, именитая панская магнатерия: тут был и высокий, худощавый, вечно раздражавшийся бездействием, польный гетман Калиновский, и первый после Вишневецкого богач, кичившийся своими надворными войсками, Корецкий, и браиловский воевода — почтенный Адам Кисель, и соперничавший со всеми роскошью столовой посуды и кухни, тучный, багровый Сенявский, и генеральный обозный Бегановский, и региментарь драгонии Одржевольский, и каштеляне, и полковники, и гетманские хорунжие...

Наевшись до отвалу и выпивши поражающее количество келехов настоек, наливок, густого меду и черного пива, ясновельможное панство, распустивши пояса и расстегнувши жупаны, полудремало теперь в истоме, лениво прихлебывая какую-то ароматную настойку — мальвазию, отменно приготовленную поварами Потоцкого. Разговор шел о прибежавшем вчера жолнере из отряда якобы молодого Потоцкого, принесшем нелепейшую басню о разгроме отряда.

— А что,— вскинул Потоцкий прищуренными, посоловевшими глазами на Калиновского,— отрубили этому лайдаку башку?

— Нет еще, да и причин не вижу,— передернул нервно плечами польный гетман,— я показаниям его придаю цену...

— Ха-ха-ха! Егомосць слишком доверчив... Это подосланный схизматами шпион...

— Ясновельможный гетман хотел, верно, сказать, что я проницателен,— подчеркнул Калиновский,— беглец оказывается шеренговым жолнером кварцяного войска... католик...

— А пан его допрашивал огнем и железом? — вскинул головой гетман.

— Нет,— ответил сконфуженно Калиновский.

— Так такую же ценность имеет и прозорливость моего помощника, — вздохнул гетман, растянув этот вздох в протяжный зевок.— Это во всяком случае шпион, добровольный или подкупленный,— потягивался он,— а шпион! Он подослан, як бога кохам, нарочито сюда, что-

бы смутить нас, панове: авось, мы будем так глупы, что двинемся вперед, что он нас выманит дурныцей в степь и заведет в какую-либо западню.

— На матерь божью, так,— икнул хрипло Сенявский,— кой меня бес заставит бросить насиженное место? От приятных утех броситься в степь, блуждать по безлюдным пустыням, испытывать голод и холод?

— Ну, егомосць скорее может растопиться,— язвительно заметил лысый и кривой на глаз Беглновский,— ведь теперь наступает пекло.

— Но пшепрашам, — вмешался полковник Одржевольский,— на егомосць может нагнать холод Хмельницкий.

— Ха-ха-ха! — разразилось хохотом на эту шутку молодое рыцарство.

Но Потоцкому она не понравилась; он нахмурился и, бросив злобный взгляд на полковника, остановил жестом поднявшийся разнузданный смех и крикливые возгласы посиневшего от досады Сенявского.

— Меня изумляет,— процедил он сквозь зубы,— что пан полковник ожидает какого-то холода от этого рванья, от этого схизматского быдла.

— Это жарт, ясновельможный гетмане, я пошутил,— сконфузился Одржевольский.

— Да,— не взглянул даже на него гетман,— пословица говорит, что у страха глаза велики... но... но...— усиливался он произнести непослушным языком слова,— но на наше славное, храброе рыцарство никто не нагонит холоду, притом же этот шельмец, бунтарь, наверное, уже в руках моего сына, и мы на днях будем иметь удовольствие рвать ремни из шкуры этого пса, рвать ремни из его шкуры, а потом посадить на кол.

— Д-да,— вставил саркастически Калиновский,— за небольшим только остановка: нужно поймать его и схватить.

— А почему пан польный полагает, что он не схвачен? — вскинулся задорно, вечно споривший со своим товарищем, гетман.

— Да потому, что мы до сих пор не имеем никаких известий о нашем отряде,— заговорил раздражительно Калиновский, нервно жестикулируя и подергиваясь всем телом,— а это, по-моему, худо...

— А по-моему, хорошо, отлично, великолепно, восхитительно!

Калиновский пожал презрительно плечами.

— При удаче региментарь прислал бы немедленно известие.

— При неудаче! — даже привскочил выходивший из себя гетман.— При не-у-да-че прислал бы, конечно, чтобы предупредить нас, чтоб... триста перунов! А при удаче к чему ему торопиться? Ведь он мог же и загоститься в этом разбойничьем гнезде. Пока всех перевяжешь, пока всех их добро упакуешь, нужно время... Не так ли, панове? Ведь логика вопит за меня... но многим она чужда; впрочем, nomina sunt odiosa *,— протянул он руку к ковшу и, наполовину расплескав его по дороге, опрокинул в рот.

— Конечно,—поддержал гетмана Сенявский,—могли загоститься, и наверно...

— Только при неудаче ясноосвецоный сын гетмана поспешил бы дать известие,— подхватили хором молодые.

— Но при неудаче,— обвел всех Калиновский презрительным, уничтожающим взглядом,— он мог быть отрезан, мог быть поставлен в совершенную невозможность дать кому-либо знать, мог быть лишен... мало ли что!

— Как? — завопил гетман,— пан польный позволяет себе взводить такую напраслину на моего сына? На лучших воинов, опытных и храбрейших вождей? То, проше пана, оскорбленье гонору,— шипел он, стуча костлявою рукой по столу и сверкая яростно своими оловянными, вспыхивающими зеленым огнем, глазами.— Одна мысль, чтоб этот подножный сор, эта пся крев могла нанести какой-либо вред нашему славному, шляхетскому панству,— есть преступление!

Среди вельмож послышался глухой ропот.

— Не оскорблять я думал шановное наше рыцарство и доблестных воинов,— возвысил дрожавший от гнева голос польный гетман,— я их не менее чту и головой лягу везде за нашу честь... но я хочу сказать, что мы относимся к нашим товарищам чересчур небрежно... Стоим здесь бездеятельно, беспечно предаемся забавам,

* Не будемо називати імен *(лат.)*.

в полной неизвестности даже, где наш враг... не посылаем к действующему войску ни разведчиков, ни летучих отрядов, ни сами к ним не подвигаемся на помощь...

— Слыхал, слыхал! — перебил польного раздраженный Потоцкий.— Егомосци желательно бросить нас всех под колеса фортуны для приобретенья дешевеньких лавров? Ха-ха! И для кого это нужно подымать и двигать в степь такую грозную силу? Для какого-то отребья! Да с ним позор шляхетству и сражаться! Батожьем его разогнать, вот что!

— Ясноосвецоный прав,— отозвался Корецкий,— и я отдаю в его распоряжение всех моих доезжачих и псарей...

— Я сам презренное быдло считаю ничтожным,— заговорил снова Калиновский,— но Беллона капризна... Марс непостоянен... Сила мыши ничтожна перед силой льва, но упади он в яму, и мыши могут наброситься на него и загрызть на смерть.

— Хотя бы его загрызли не только мыши, но и блохи, не двинусь вперед ни на шаг! — вскрикнул высокомерно Потоцкий.— Сам король мне пишет, чтоб я не рисковал войсками, остановил бы военные действия на Украйне, что он сам приедет сюда и усмирит без кровопролития бунт. Хотя его воля не указ нам, но здесь она благоразумна, и я готов ей подчиниться... Рисковать коронными и панскими войсками, обрекать их на голодную смерть — это безумие... это... это... преступное стремление поставить на карту судьбу отчизны ради личных заносчивых химер...

— Да ведь здесь войскам больше угрожает голод,— схватился Калиновский с канапы и начал быстро ходить взад и вперед по палатке,— ваша ясновельможность изволили приказать выжечь на три мили вокруг все села и хутора...

— Да, приказал, потому что моя воля — закон,— воскликнул визгливо гетман,— и никто мне поперечить не смеет! Я и местечки, и города — все смету здесь как сор, чтобы не смели хлопы бежать, чтобы быдло не отходило от панской работы! Я им покажу... сто чертей их матери!..

Адам Кисель, не принимавший участия в бражничестве, сидел и теперь молча в стороне и, склонивши свою седую голову на руки, думал горькую думу: «Зачем я здесь, среди этой пьяной, ненавидящей нас всех толпы?

Разве они собрались утвердить закон, защитить благодетельный порядок, насадить благо? Разве мой голос, голос презренного для них схизмата, может обуздать разнузданное распутство? Пока верилось, что между ними найдутся благоразумные, трезвые и примкнут ко мне, до тех пор и чувствовал я, что честно служу моей родине, но когда я в это не верю, то мое присутствие здесь не есть ли трусливая нерешительность, граничащая с изменой? Да, да!.. Ведь те забитые, задавленные, взявшиеся за оружие — единственные герои и истинные сыны своей матери Украйны... О горе, горе!» — подымался в его душе бессильный вопль и наполнял жгучими сомнениями голову.

— Я знаю,— остановился между тем с вызывающим видом перед гетманом дрожавший от негодования Калиновский,— знаю, что я польный гетман и должен подчиниться коронному, знаю, что в силу этого обстоятельства мой самый искренний, самый лучший совет не будет принят в резон, но я знаю, что через это пострадает и отчизна. Коротко: я убежден, что мы на краю пропасти, я убежден, что этот беглец не шпион, не подкупленный переметчик, а правдивый вестник.

— Как...— поднялся, шатаясь, позеленевший от ярости Потоцкий,— и пан имеет дерзость? Да это... это...

— Что хочет сказать ясновельможный гетман? — выпрямился Калиновский, схватившись за эфес сабли.

— А то,— брызнул пеной Потоцкий,— что только отуманенный ужасом мозг может сплесть подобную небылицу!

— Удовлетворения! — прошипел, задыхаясь от оскорбления, Калиновский и двинулся на шаг вперед.

Ближайшие к нему паны вскочили с мест в страшной тревоге.

Но в это мгновение кто-то порывисто отдернул входный полог и на пороге появился с перевязанною грязною тряпкой головой ротмистр. Вся изорванная одежда его была в грязи и в пыли; измученное лицо было бледно и убито, ноги шатались. Видно было, что он скакал без отдыха не один день.

Все взглянули на него и застыли, закоченели на своих местах. Зловещее молчание длилось несколько мгновений.

— Кара господня! — прервал наконец его тяжелым

вздохом ротмистр.— Измена и вероломство нас победили... Нет войска, нет обоза... Сапега, Шемберг, Чарнецкий в плену... а наш молодой гетман, наш несчастный герой,— голос ротмистра дрогнул,— он сражался как лев и пал со славой как рыцарь!

Как бледнеет на солнце трава, прибитая до рассвета морозом, так побледнели вдруг все онемевшие от ужаса паны.

Дикий вопль раздался среди могильной тишины, и со стоном повалился старый гетман на стол...

LXXV

Два дня без устали пил и предавался бурному отчаянию Потоцкий. Вопли, стоны, кощунственный ропот, проклятия и взрывы безутешных рыданий раздавались в опустевшей гетманской ставке и наводили ужас на метавшихся тоскливо по лагерю обеспамятевших панов. Калиновский, из уважения к горю старика гетмана, забыл свою обиду, отправился было навестить его, но Потоцкий никого не допускал, ничего не хотел слушать и лишь заливал свое горе горилкой... Многие опасались даже за его жизнь.

Теперь польный гетман выиграл в общем мнении, и растерявшиеся от страха паны спешили к нему за советами; но Потоцкого это раздражало еще сильнее, и на третий день он собрал военный совет.

Сошлись унылые, убитые духом вельможи в гетманской ставке и молча стали ожидать спасительной рады.

— Ясновельможный гетмане и пышное рыцарство,— начал после долгого неловкого молчания Калиновский,— гнусное предательство, возмутительная, неслыханная измена погубили наших храбрых воинов, наших рыцарей славных и поразили нас всех страшным горем...

— О сын мой! О мой любый, единый!..— застонал Потоцкий, закрывши руками лицо.— На то ли я тебе дал булаву, чтобы ты променял ее на заступ могильный?

— Но,— продолжал возбужденно польный гетман,— горе должно возбудить у нас не малодушие, а усиленный призыв к борьбе: поражение, нанесенное злодея-

нием, требует возмездия, павшие трупы героев взывают о восстановлении чести оружия...

— О, месть, месть! — встрепенулся Потоцкий, поднял вверх дрожащие руки и выкрикнул надтреснутым голосом: — Клянусь всеми силами ада, что не успокою растерзанной души до тех пор, пока не омою трупа моего сына в море вражьей крови, пока не заглушу своих стонов воплями, скрежетом тысяч, десятков тысяч этих собак... О, я их заставлю так умирать, что сам Вельзевул * от испуга спрячется в бездне!.. О сын мой, о моя полегшая безвременно слава!

Все угрюмо молчали; не раздалось ни слов утешения, ни криков кичливого задора.

— Итак, нам нужно показать нашу силу врагу, встряхнуть его, — возвысил голос Калиновский, — нам нужно не дать ему торжествовать своей низкой победы и разящим ударом ошеломить хлопов... Для наших бессмертных героев — это шутка! Что за войска у этого бунтаря? Сброд, табун быдла, стадо баранов...

— Ясновельможный вождь легко смотрит на силы врага,— заметил скромно, но с достоинством ротмистр,— у Хмельницкого доброе войско, и дерутся козаки превосходно.

Калиновский сделал нетерпеливое движение и, окинув ротмистра недоверчивым взглядом, бросил ему небрежно:

— Бывают положения, пане, когда и курица выдается за орла... впрочем, если бы они были храбры, то нам бы это доставило больше чести... Но, на бога, панове, сброд недисциплинированных банд — не войско... разве вот одни эти изменники, христопродавцы, что перешли к злодеям, могут еще считаться за воинов... но такие негодяи всегда трусы и при первой опасности переменяют фронт...

— Ясновельможный гетман забывает еще татар,— вставил язвительно ротмистр, сдерживавший с трудом негодование, вызванное оскорбительным недоверием к нему Калиновского.

— Татар? — переспросил тот и немного смутился.— Верно ли это?

— Я презираю лжецов,— поднял голову ротмистр,—

* Вельзевул — злий дух, сатана.

а татар я видел своими глазами и чувствовал собственною шкурой,— указал он с оскорбленным достоинством на свою голову.

— Свидетельство почтенное и достойное храброго витязя,— наклонил голову гетман.

— Это ужасно! Вот кого ведет этот изверг на край родной! Вот кто уничтожил наши войска! — раздались тревожные возгласы всполошенных еще пуще панов.

— Успокойтесь, пышные рыцари,— овладел снова общим вниманием Калиновский,— если разбойнику и помогает бродячий татарский загон, то несомненно, что это какая-либо горсть, разбойничья шайка,— не больше: у нас с Крымом мир, и хан его не нарушит так нагло, без предуведомлений, без предварительных требований... и ради кого? Ради какого-то безвестного хама! И я без преувеличений скажу, что эта горсть не вступит даже с нами в битву, а рассеется, как полова от дыхания ветра... Да и правда, уж кого, кого, а татар нам бить не в диковину: кромсали мы и грозные силы за жарт, а такую ничтожную горсть трусливых шакалов раздавим как мух... и мокрого следа не останется!

Задор и уверенный тон гетмана ободрили вельмож. Один только Потоцкий относился совершенно безучастно к этим сообщениям, или, проще, ничего не слушал, а может быть, и не слыхал: убитый потерею сына и позором поражения, расшатанный вконец старостью и алкоголем, он чрезмерно, с преувеличенным излишеством предавался излияниям горя, впадая то в бурное бешенство, то в отчаяние, то в апатию.

— Да,— продолжал между тем Калиновский,— так о пресловутых татарах мы не будем и поминать... Ну, так какое же еще войско у этого баниты, кроме иуд и татар? В чем заключаются его грозные силы? — захихикал он презрительно.— В хамье?

— О, оно с каждым днем становится нахальнее...— вставил Корецкий,— мои разведчики мне доносят, что пустеют кругом совершенно местечки и села... Хлопы на глазах уходят бандами в степь, везут мимо нашего лагеря нагло припасы и фураж неприятелю Все они — дяблам их в зубы! — вооружены и пиками, и саблями, и даже отчасти самопалами...

— Езус-Мария! — всплеснул руками Сенявский. — Так это организованный мятеж... Кругом нас бунт, а

мы... мы очутились по беспечности... среди самого пекла!

— А почему, позвольте вас, пышное панство, спросить,— обвел всех Калиновский внушительным взглядом,— почему хлопы бегут из наших маетностей и пристают к этому бунтарю? Да потому, что волк не заструнчен, а гуляет до сих пор на воле и манит их к себе обещаниями наживы и пьяного разгула. Побеги и бунты нужно гасить там,— указал он энергично рукою на юг,— а не здесь: казни, истребление оставшегося бабья, детей, больных и калек ничуть не могут остановить от побегов здоровых... напротив, усиливают их.

— А нам приносят разорение,— заметил Корецкий,— уничтожают рабочую силу.

— Это подтверждает мою мысль,— продолжал прерванную речь гетман,— казнями их не устрашишь, а грабежом и пожарами разоришь наибольше себя... потому-то единственное и самое верное средство уничтожить мятеж — это поймать главного поджигателя и казнить привселюдно... Как только увидят, что голова этого идола разъезжает по местечкам и селам, сразу смирятся и сядут!

— Так, так! Ясновельможный прав! Поймать этого дьявола, а здесь истреблений и разорений не нужно! — послышались со всех сторон одобрительные отзывы.

— Все это вынуждает нас, пышные рыцари и вожди,— продолжал Калиновский,— сняться как можно скорей с лагеря и броситься стремительно на врага... Один натиск наших бессмертных гусар — и вражьи скопища будут разорены и сметены, как придорожная пыль... В стремительности удара все наше спасение. Это быдло, упоенное дешевой победой, наверно, теперь опухло от пьянства... татары разметались за грабежом... Ну, налететь и раздавить!

Предложение польного гетмана произвело сенсацию. Шляхетное панство робко переглянулось между собою: храбриться за ковшами и сметать языком хлопов было одно, а действительно рискнуть двинуться им навстречу и связаться с Хмельницким — было другое.

— Но ведь там, говорят, большие силы,— вырвался после неловкого молчания откуда-то робкий голос.

— Да и татары, — откликнулись в другом конце ставки.

— Лезть, очертя голову! — покачал головой Бегановский.

— Войска видимо смущены,— просопел Сенявский.

— Стоянкой и бездействием! — резко ему бросил Корецкий.

— Довольно! — поднял тогда голову коронный гетман, ударив рукой по столу.— Довольно безумств! Или нас... не... не научил ужасный, вопиющий урок? А! Мало им мук, мало! — ударил он кулаком себя в грудь.— Ясновельможный пан,— покачнулся он неловко в сторону Калиновского,— предлагает... упорно... все предлагает идти в пустыню... и искать врага... уж лучше поискать... да... прошлогоднего снега...

— Или утраченной отваги...— добавил Калиновский, стиснув зубы,— ужасный урок говорит за меня и служит укором вашей ясновельможности. Я предлагал двинуться всем силам и раздавить сразу врага, не давши ему опериться, а его гетманская мосць изволила послать лишь отряд, составленный преимущественно из схизматов...

Лицо Потоцкого покрылось багровыми пятнами; он затрясся от охватившей его ярости, попробовал было встать, но опять сел и не мог сначала произнести ни одного слова, а только стучал саблей о стол.

— Я прошу егомосць,— задыхаясь и брызгая пеной, прошипел наконец Потоцкий,— выражаться осторожней и помнить, что панские мнения мне не указ, что я великий коронный гетман, власть моя во время войны неограниченна, нарушение ее есть госу... да... есть военная измена, пусть помнит это егомосць польный и молчит...

— Бывают положения, ваша ясновельможность, — усмехнулся ядовито польный гетман и положил с достоинством руку на рукоять сабли,— когда молчание и уступчивость будут взаправду изменой отечеству. Но я воздержусь пока, не в силу угроз... потому что над благородным рыцарским сословием не имеет безграничной власти никто, кроме одного пана,— поднял он величественно руку вверх,— а воздержусь из уважения к глубокой, немощной старости.

По ставке пронесся сочувственный шорох.

— Довольно! Баста! — взвизгнул ужаленный гетман.— Прошу слушать... я говорю! — откинулся он надменно на кресле.— Где же враг? Куда, к какому дяблу

идти? На низ или вверх? Добыты ли, черт возьми, эти сведения? Ведь эта пся крев с своими выплодками может быть и в тылу? А мы... дурни, с завязанными глазами будем по степи в прятки играть, пока не попадем в волчью яму? Нам нужно подумать о своем спасении... о себе!

— О себе, о себе! — загомонили, оживились вельможи.— Конечно, о своем спасении... Нам нужно стать в более людной местности... под защиту крепостей и ждать подмоги!

— Войско как-то смущено, потеряна уверенность, упал дух,— заметил угрюмо Одржевольский,— Жовтые Воды навели панику, жолнеры побегут, увидя многочисленного врага, а то и передерутся: ведь и у нас есть до черта этих схизматских гадюк. Так, лучше, по-моему, заранее спокойно отступить, чем отступать под выстрелами врага.

— К чему же удивляться, панове, смущению простых жолнеров,— прищурился язвительно Корецкий,— что побегут от врага? Да ведь мы сами собираемся бежать, не видя даже его, и мне кажется, что напрасно мы прикрываемся якобы неведением о месте нахождения врага? Он идет на нас прямо, а не в обход, и я согласен с польным гетманом, что дружным натиском мы бы ошарашили его, откинули назад, а кто знает, может быть, и разметали бы.

— А отступая,— поднял снова голос Калиновский, бросив Корецкому благодарный взгляд,— мы только даем возможность усилиться врагу; он с каждым днем растет, как лавина, а мы тратим время в бесплодных советах и спорах.

Несколько молодых запальчивых голосов поддержали польного гетмана и Корецкого; другие набросились на них с криком и бранью; Потоцкий, обуреваемый яростью, только стучал кулаком по столу, но напрасно: трудно было усмирить поднимавшуюся бурю страстей.

— Тише, триста перунов! — крикнул наконец неистовым голосом побагровевший от натуги Потоцкий.— Прошу слушать, панове! Я — коронный гетман и не потерплю противоречий. Не нужно мне больше совета: я приказываю отступать всем войскам к Корсуню, и немедленно! — сделал он повелительный жест рукой, приглашавший всех удалиться.

Молча, с затаенною злобой, бросая вокруг свирепые взоры, выходили из гетманской ставки предводители, готовые броситься друг на друга. Только Калиновский не утерпел и, сухо поклонившись Потоцкому, процедил на прощанье:

— С болью сердца я подчиняюсь воле коронного гетмана, но клянусь всеми святыми, что она ведет к погибели войска. Дай бог, чтобы при Корсуне не повторились Жовтые Воды!

— Без наставлений, ваша милость, — прикрикнул Потоцкий, — я вот сожгу дотла этот Корсунь, чтобы панское злорадное пророчество не сбылось!

Ротмистр стоял у палатки и печальным, убитым взором следил за расходившимся рыцарством; в этом совете оно не проявило ни самоотвержения, ни доблести, ни любви к отчизне, а только грубый трусливый эгоизм да корыстные, низменные инстинкты. Выходившие из ставки предводители вели себя на свободе еще наглее, еще циничнее.

— Пане хорунжий,— пыхтел и переваливался, торопясь догнать своего офицера, Сенявский,— прошу не слушать ничьих распоряжений, кроме моих: пан у меня служит и повинуется только мне! Сто дяблов им в зубы! Завели к ведьме в гости, да и крутят. А мне наплевать! Лучше подобру-поздорову, пока еще есть время. Стоит ли из-за хамья и беспокойство принимать?

— Мы тут служим гетманским капризам,— продолжал вкрадчиво хорунжий,— а там в это время хлопы разнесут все княжьи маетности.

— Именно, именно! Бей их всех Перун! И я тоже хорош...— озирался Сенявский, удаляясь от гетманской ставки.— Быть наготове!

В другой группе Корецкий горячо доказывал Бёгановскому, что движение к Корсуню — безумие.

— Я не видал, пане, нигде такого бессмысленного положения, как у нас. Старик уже давно должен был бы отдыхать на лаврах. Он и прежде не переносил чужих мнений, а теперь, после потери сына, совсем обезумел: делает возмутительные вещи, польного гетмана ставит ни в грош. Почему же мы должны подчиняться явному безумию?

Но дальнейших слов Корецкого ротмистр уже не рас-

слышал, так как последний скрылся с Бегановским в ближайшей роскошной палатке.

Дальше на площади шли уже ссора и драка между рядовыми жолнерами и драгунами. Из долетавших криков и брани можно было только разобрать, что последние не хотели ничего делать и грозили Хмельницким, а жолнеры обзывали их изменниками.

Ротмистр слушал все это и не верил своим ушам. Еще так недавно это грозное войско дышало единодушием, дисциплиной и отвагой, и вот полная картина разрушения. А предводители, эти славные рыцари? Давно ли они горели бранным задором, кичились доблестями, готовностью лечь за отечество, и вот в неделю-две такая страшная перемена: все готовы бежать, предать друг друга, оставить отечество на расхищение... Пошатнутся скрепы, зашатается пышное здание и упадет; без фундамента строили, потому и упадет. Вот те, гонимые, и должны были бы быть фундаментом, а теперь остается лишь честно умереть! Побрел он разочарованный, мрачный, убитый в свою уединенную палатку.

Погруженный в свои печальные размышления, он и не заметил, что давно оставил за собой лагерь и шел по чистому полю. Громкий топот конских копыт, шумные крики и звонкий смех, раздавшийся около, заставили его, однако, очнуться и поднять глаза.

Прямо вперерез ему неслась веселая кавалькада. Впереди всех летела на белом коне стройная и красивая амазонка, одетая в темно-зеленый костюм и такую же широкую шляпу с целым каскадом роскошных страусовых перьев, спускавшихся ей на плечо. За поясом прекрасной всадницы торчал серебряный кинжал, а из седла выглядывали чеканные пистолеты. Глаза ее горели; выбившиеся из-под шляпы золотисто-огненные волосы окружали светлым ореолом прелестное, гордое лицо, дышавшее теперь каким-то острым возбуждением.

Ротмистр взглянул на нее и сразу признал в ней панну Викторию. Амазонка тоже узнала его сразу.

— А, пан ротмистр! — крикнула она, осаживая на всем скаку своего горячего коня.— Сюда, сюда скорее! Мы возвращаемся с рекогносцировки*. Надо же ободрять слабодушное рыцарство,— бросила она насмешливо-пре-

* Рекогносцировка — розвідка.

небрежительный взгляд на окружавших ее блестящих всадников.

— Не ободрять, но вдохновлять! — заметил с тонкою улыбкой один из ближайших панов.— Присутствие богини войны удесятеряет наши силы, но подрывает их у такого нежного существа, какое нужно только носить на руках, а не подвергать опасности встречи с грубым хлопом.

— Я не боюсь хлопов, как другие! — бросила надменно Виктория.

— С наружностью княгини можно не бояться встречи и с диким медведем, но мы...

— Довольно! — перебила резко слащавого пана Виктория и протянула руку ротмистру, которую тот с чувством прижал к губам.

— Я рада была услышать о спасении пана, очень рада,— произнесла она искренно, бросая на старика ласковый взгляд.— Сегодня же хотела просить пана к себе, чтоб услышать от него истину об этом несчастном, позорном поражении... Но каким чудом спасся сам пан?

— Меня спас, вельможная пани, один козак, находящийся в войсках Хмельницкого,— ответил ротмистр, устремляя на Викторию пристальный взгляд,— я оказал ему когда-то большую услугу...

Нежная краска медленно сбежала с лица красавицы. Рука, державшая хлыст, вздрогнула.

— Кто? — спросила она неверным голосом.

— Чарнота.

Серебряный хлыстик, который держала в руках амазонка, упал со звоном на землю.

Ротмистр бросился за хлыстом. Виктория тоже нагнулась и почти прикоснулась лицом к лицу.

— Далеко ли Хмельницкий?—спросила она шепотом.

— Я думаю, мы встретимся с ним дня через два.

Подавленный стон вырвался из груди Виктории; лицо ее стало бледно, как мрамор, рука ухватилась невольно за сердце.

— На бога! Что с пани? — бросились к ней пышные рыцари.

— Мы говорили пану князю! Ведь это преступление! Такой прелестной бабочке только порхать с цветка на цветок, а не подвергаться опасностям войны... Вот первый испуг — и она опускает свои прелестные крылышки.

— Ошибается панство! — перебила резко шумные восклицания панов Виктория, выпрямляясь в седле.— Легкая бабочка сама летает на огонь! — и, взмахнувши хлыстом, она ударила им со всей силы коня; оскорбленное животное взвилось на дыбы и бешено рванулось вперед...

LXXVI

Через два часа снялся лагерь с места, и войска двинулись растянутыми, нестройными эшелонами назад, по направлению к Корсуню. Солдаты шли нехотя, молча, угрюмо; какое-то затаенное чувство недоверия, злобы то всплывало, то угасало в их опущенных в землю глазах. Не слышалось ни говора, ни шуток, ни смеха... Всяк сознавал, что коли и начальство бежит, так стало быть враг грозен и непобедим. Группы кавалеристов отделялись иногда от хоругвей и ехали в стороне. Некоторые из пехотинцев нарочно отставали, ложились у кустов, под видом усталости, и закуривали люльки, словно стараясь этим явным нарушением порядка заявить протест. Начальствующее панство выказывало, напротив, тревожную торопливость; но как оно ни подгоняло отрядов, а не могло ускорить движения неуклюжих масс с чудовищным громоздким обозом: все это ползло, как черепаха, и только на третий день дотащилось до Корсуня, отстоявшего от прежней стоянки всего лишь на четыре мили.

Это беспорядочное шествие сопровождалось между прочим дымом пожаров, который стлался черным флером по обеим сторонам их пути. Потоцкий качался полусонно в карете, заливая приступы тоски старкой; только тогда, когда он подъезжал к какому-нибудь хутору или поселку, то дряблое старческое лицо его оживлялось, кровавые глаза начинали сверкать, как у дикой кошки; он высовывался из окна и кричал исступленным голосом:

— Жгите все, к нечистой матери, колите, рубите псов! Кидайте щенят в огонь!

Вспыхивало пламя; ложился клубами по земле черный дым; летели к небу искры снопами; раздавались крики и стоны; доносился чад горящего мяса... а Потоцкий безумно хохотал и потешался этою картиной.

Калиновский ехал впереди, чтобы не видеть этих зверств обезумевшего от ярости старика, и говорил сопровождавшим его вождям:

— Это он зажег себе погребальные факелы!

Уже был поздний вечер, когда среди лугов, за игривою Росью, показался приютившийся у двух гор Корсунь. Потоцкий было приказал продолжать отступление дальше, но нагнал войска посланный польным гетманом на рекогносцировку Гдышевский и принес громовое известие, что Хмельницкий уже за Смелой, следует по пятам, что от него не уйти. Все были поражены, как громом. Хотя и нужно было ждать этой неизбежной вести, но у каждого еще теплилась надежда на «авось»...

Сам Потоцкий только разводил руками и в бессильной злобе грыз себе ногти.

Так как каждая минута была дорога, то польный гетман самовольно остановил войска и велел разбивать лагерь... Потоцкий только хныкал и повторял:

— Тут старые окопы... пусть в старые окопы... пушки, пушки и возы!

— В старых окопах невыгодная позиция,— подскакал к карете Калиновский,— сзади овраги, река, а впереди— господствующие возвышенности.

— Что вы со мною делаете? — взвизгнул плаксивым голосом Потоцкий.— Или я уж не гетман? Я требую, приказываю, чтобы в старых окопах... Что же это? Триста перунов!

— Хорошо! Но слушайте, панове,— обратился польный к своей свите,— коронный гетман вас обрекает на гибель...

— Обрекаю... обрекаю,— высунул Потоцкий из окна искаженное гневом лицо,— и никому отчета не даю... никому... никому!..

— Нет, ваша гетманская мосць,— перебил его резко Калиновский,— обреченные на смерть иногда спрашивают отчет, да так еще спрашивают, что и гетманская булава падает часто из рук...

— Протестую! — завопил в бессильной злобе старик и повалился на подушки в карете.

Стояла ночь. Бесформенными, пестрыми массами становились войска, расположившись по отлогостям и котловинам, где попало; телеги, пушки, рыдваны, кони,

люди — все перемешалось в какие-то нестройные кучи; гам, крик, ругань наполняли воздух.

Мало-помалу тишина ночи начала убаюкивать гудящую толпу, и вскоре слетела на лагерь унылая тишина; только по окраинам еще раздавались протяжные, тоскливые оклики вартовых.

На горизонте мигали зарницы дальних пожаров; впереди разгоралось клубящимся пламенем ближайшее местечко Корсунь; окраины неба приняли вид гигантского багрового кольца, а к закату небесный свод мрачно темнел и казался черной, гробовой крышкой, нависшей над табором.

До рассвета еще закипела в польском лагере тревожная, суетливая деятельность: подновлялись рвы, насыпались валы, устанавливались орудия; за батареями укреплялись ряды возов; в центре устанавливались обоз и пехота, а кавалерия размещалась на обоих флангах, распахнув широко крылья. Теперь уже не кичились хвастливо паны, не собирались разгонять хлопов батогами, а молча помогали сами в работах жолнерам, бросая вдаль пугливые взоры; Потоцкий же спал на перине в своей палатке хмельным, бесчувственным сном.

Настало позднее утро, но солнце застилал густой, темный туман: воздух до того был насыщен гарью и дымом, что все небо казалось закопченным, желто-бурым, а когда к полудню проглянуло наконец сквозь мрачную пелену солнце, то оно оказалось совершенно тусклым, без ореола лучей и смотрело кровавым глазом с зловещего свода небес.

Не успели еще окончить паны укреплений лагеря, не успели еще войска занять своих позиций, как прискакали на взмыленных конях несколько всадников; растерянные, обезумевшие, сообщили они в бессвязных речах, что высланный авангард драгун передался Хмельницкому, что враг тут, уже за этими холмами, что у него несметные силы, что не видно конца-краю загонам татар...

И начальники, и войска до того были потрясены этим известием, что все они как высыпали густыми массами на валы, так и застыли на месте, ничего не предпринимая, ни на что не решаясь: казалось, одно лишь желание их охватило — убедиться воочию, что этот страшный кошмар, холодящий кровь, сковывающий волю, не бред воображения, не сон, а действительность.

Бросились будить Потоцкого; он долго не хотел просыпаться, закрывался подушкой и ворчал: «Отступать, отступать!» Когда же его растормошили и он, протерши глаза, присел и понял наконец, что Хмельницкий здесь, то лицо его, брюзглое, опухшее, окаменело от ужаса, а глаза приняли детское беззащитное выражение; он молча затряс головой и стал смотреть на всех точно испуганный ребенок, собирающийся вот-вот заплакать. Вся фигура этого старикашки была в эту минуту до того жалка, что даже клевреты его отвернулись с некоторым чувством брезгливости... Наконец, великий коронный гетман зашамкал беззубым ртом и произнес слезливым тоном: «Пива!»

А между тем за холмами вдали показались облака пыли; они быстро росли и гигантской дугой охватывали почти половину горизонта. Многочисленный, грозный враг на рысях приближался к ошеломленным зрителям... да, это был не сон, а настоящий, действительный ужас!

— Славное рыцарство! — крикнул наконец бодрым, радостным голосом Калиновский.— Враг налицо, враг несется на нас; это ли не утеха? Разве мы не видали врагов? Разве мы не разили их нашим мечом,— обнажил он палаш,— на клинке которого блестит вековечная слава?.. Вспомним, что за плечами у нас наша отчизна, панове, великая Речь Посполита; закроем же ее грудью, как закрывали ее отцы наши и деды! Встрепенемся же! До зброи! Пушкари по местам! Гусары, латчики, черкесы, на коней! Пехота к окопам! Сегодня наш день... день покровительницы нашей, святой, непорочной панны! Враг почтил нас вежливостью, не заставил себя искать, так примем же его по-шляхетски! — закончил он зычным голосом, долетевшим до самых дальних рядов.

Пламенное воззвание гетмана пробежало электрическою искрой по сердцам всего воинства; ожили, встрепенулись энергией и шеренговые, и жолнеры, и молодые пышные паны, и умащенные гордыней магнаты.

— Виват! За гетмана! За отчизну! До зброи! — загремело вокруг и понеслось, раскинулось во все концы лагеря... и все бросились с лихорадочным напряжением к своим постам.

А враг уже развертывал свои полчища за полверсты у окопов и надвигал их ближе и ближе...

Впереди волновались то сгущающимися, то разбегаю-

щимися тучами, словно летящая саранча, загоны ногайцев, а сзади широким полумесяцем выдвигались на окружных возвышенностях стройные массы грозных козацких сил: на ближайшие холмы взвозились медные, уступленные поляками пушки и устанавливались жерлами на своих господ; в центре сползала по покатости широкими, тяжелыми лавами с развернутыми знаменами пехота и строилась в густые колонны; справа и слева обхватывала лагерь могучими крыльями конница, игравшая стягами и хоруговками, сверкавшая иглами, пестревшая переливами ярких цветов, а прямо, против лагеря, на господствующем над всей местностью холме, вырезывалась на коричневом фоне небес стройная фигура на белоснежном коне; над ней вихрились склоненные бунчуки и развевались знамена, за ней, в почтительном отдалении, стоял целый кортеж пышных всадников.

Неприятель надвинулся так близко, что по нем уже можно было открыть артиллерийский огонь; но нигде на окопах поляков не взвивался еще дым и не нарушалась грохотом царившая тишина. Все были поражены развернувшеюся перед глазами картиной, и всем казалось, что перед этою страшною, могучею силой их горсть была так мала, так ничтожна, что сопротивление ее считалось бы жалким безумием.

Со стороны Хмельницкого еще не было пущено в польский лагерь ни одного выстрела; войска его, устроившись, стояли спокойно,— видно было, что козачий гетман или не решался, или пока не хотел начинать атаки...

Отделился лишь от своих волнующихся полчищ богатырь Тугай-бей и с дерзкою, безумною отвагой подлетел с сопровождающими его мурзами на мушкетный выстрел к окопам; он понесся вдоль их, осматривая позиции, и ни один польский выстрел не смутил дерзости степного орла. Вслед за своим вождем понеслись и татарские наездники; джигитуя, подлетали они к неприятельским линиям очень близко и, пустив по стреле в лагерь, уносились с веселым гиком назад. Но эта игра, этот герц удалой не вызвал со стороны осажденных протеста. В лагере было глухо и тихо; бездействие главного врага, нависшего почти над головой, подавлявшего своею силой, сковывало ужасом волю поляков, как сковывают глаза очковой змеи движения своей жертвы.

Но вот вернулся к своей орде Тугай-бей и, подняв ятаган, крикнул зычным голосом: «Гайда!»

Тысячи голосов повторили этот крик диким ревом. Несколько загонов отделились и стали боковым движением приближаться к правому, наименее защищенному крылу поляков. Но зорко следил за степным орлом полный отваги и боевого опыта Калиновский; он угадал его намерение и, подскакав к Одржевольскому, командовавшему правым флангом, ободряюще крикнул:

— Друзья! Смотрите, враг смущен и не решается ударить на нас: он чует, что за нашим гробовым молчанием скрывается стойкость мужества, броня славы... Только вон дурноголовые татаре, напившись бузы *, собираются вас потревожить,— так угостите же неверных псов нашею старкой!

— За славу гетмана! — обнажил саблю полковник.

— За славу! Нех жие! — повторили и оживились ряды. Защелкали курки у мушкетов, наклонились острия пик... А черные, мятущиеся тучи с диким воем «Алла!» уже неслись на окопы... Вот поднялись на скаку руки с луками, раздался взвизг тетив, и мелькнули в воздухе вихрем стрелы... Застучали они по возам и брикам, зазвенели по стали лат и меди орудий, захрящали, вонзаясь в тело и кости... Но не послышалось даже стонов в сомкнутых рядах латников и шеренговых, так напряжены были их сердца возбуждением, подавляющим все прочие чувства... Несутся татары; вот уже видны их свирепые лица, оскаленные зубы и мечущие искры глаза... Вот слышен уже сап их взмыленных коней и свист обнаженных клинков, вот уже... но вдруг сверкнули змеистою линией окопы, раздался оглушительный треск — и заволоклись дымом валы...

Как налетевшая на скалу волна дробится в брызги и с ропотом широкими дугами убегает назад, так смялись, упали с воплями первые ряды атакующих, вторые шарахнулись, спотыкаясь на трупы, а остальные, словно под напором налетевшего урагана, повернули назад и рассыпались веером по полю. Понеслись к окопам новые загоны ногаев, но их не допустили поляки до роковой черты, где среди неподвижно лежавших трупов корчи-

* Буза — алкогольний напій у східних народів, виготовляється з гречаного борошна або проса.

лись и ползали в предсмертной агонии люди и кони; грянуло шесть орудий, завизжала, засвистала картечь и разметала чугунным градом почти ползагона... Когда улеглись клубы белого с розовыми переливами дыма, то атакующих татар уже не было, а лежали лишь кровавые кучи обезображенных, исковерканных тел.

Загорелся гневом Тугай-бей и послал гонца разузнать, почему Хмельницкий не начинает битвы, а выставляет лишь татар на убой? Но «ніхто того не знає,— говорит народная дума,— що батько Хмельницький, гетьман запорозький, думає-гадає!»

А Хмельницкий долго стоял, смотрел с высоты своего холма на раскинувшийся у его ног польский лагерь. Он освещен был лучами заходящего солнца и казался в сгустившейся внизу мгле поражающим мутно-красным пятном; а кругом, во всю ширь горизонта, то подымался, то лежал черною пеленой дым от пожарищ... Среди них — да, он проезжал сам и видел — лежали в золе на тлеющих углях обгорелые, черные, скорченные трупы людей и невинных младенцев...

Богдан вздрогнул от этих воспоминаний и махнул булавой. К нему подскакали ближайшие юнаки.

— А кто из вас, любые мои молодцы,— обратился он к ним,— может сослужить мне великую службу?

— Только повели, батько! — крикнули все отважно.

— Но то, что я потребую, что нужно сделать во имя этой пылающей отчизны,— повел гетман рукой,— во имя горящих там ваших братьев, сестер, матерей,— нахмурил он брови,— то дело потребует жертвы... взявшего на себя этот подвиг ждут муки... и хотя славная, но ужасная смерть...

— Бери наши головы! — еще с большим энтузиазмом крикнули все и замахали шапками.

— Мне нужно одного...

— Что ж? Жребий? — загорячились юнаки, выдвигаясь друг перед другом вперед.

Начали метать жребий.

А к Калиновскому в это время прискакал есаул от коронного гетмана с наказом не начинать битвы.

— Передайте его ясновельможности,— бросил презрительно тот,— пусть пожалует самолично сюда, а то из кареты неудобно командовать... или, если это не нравится, то я ему могу прислать для допроса татарок.

Ободренные первою удачей, паны поддержали смехом слова своего любимца-героя. На валах тоже пошел между жолнерами гомон; посыпались на татар даже остроты.

Подъехал между тем к Одржевольскому ротмистр и, отсалютовав своим полупудовым палашом, сообщил встревоженно, что пробираются направо четыре татарских загона с видимым намерением обойти наше крыло.

— Нельзя допустить,— горячился он,— там нет окопов, удостойте меня чести, ясновельможный... я высмотрел местность.

— Но твои, пане ротмистре, раны? — взглянул полковник на его повязки.

— Что мои раны перед раной отчизны?.. Теперь единственное благо — забвение...

— Пан ротмистр прав,— вздохнул Одржевольский,— возьми четыре сотни черкес.

Ротмистр поклонился и, бросивши радостный, благодарный взгляд на полковника, удалился поспешно. Одржевольский велел пустить еще несколько ядер в татар, чтобы дымом скрыть движение отряда.

Солнце закатывалось за гору. На лагерь ложилась мглистая тень; только возвышенные части, занимаемые войсками Хмельницкого, освещены были багрянцем. Среди этих пестрых туч, охвативших могучею дугой осажденных, было совершенно ясно, спокойно, а внизу еще перекатывало эхо грохот пушек и неясный шум отдаленной битвы.

Прошло еще несколько мгновений, начало стихать и перекатное эхо. Но вдруг вспыхнули клубами молочного дыма холмы, послышался в воздухе зловещий свист и шипенье, и вздрогнула от грома земля. Хмельницкий начал канонаду. Раздался в лагере треск дерева, звяк железа; поднялись стоны и крики, закружилось смятение, упал ужас сразу на всех.

Все магнаты сбежались к палатке Потоцкого; последний до того растерялся, что разогнал есаулов к армате с приказом не отвечать на канонаду, не дразнить псов.

— Хмельницкий атакует! Хмельницкий громит! Хмельницкий здесь нас раздавит... нам невозможно держаться! — вопили со страхом пышные рыцари.

— Да, невозможно,— повторял дрожавшим голосом

Потоцкий,— войско устало... пастбища могут отнять... реку отвести... что же мы тогда без коней? Позиция ужасная... припасов вокруг нет... нас выморят голодом, перебьют, как зайцев.

— Если будем зайцами, то и перебьют! — вошел торопливо Калиновский.— Позиция, правда, плоха, но не я ее выбрал... припасов в окружности нет, но не я истребил их... ожесточение врага велико, но не я его вызвал!

— Я пана польного не хочу видеть... я с ним буду говорить в трибунале... здесь не слушаю! — закричал капризно Потоцкий, затыкая себе пальцами уши.

— Я пришел сюда не для беседы с его гетманской мосцью,— какая честь! — бросил ему надменно в глаза Калиновский,— а меня призвала сюда отчизна... Панове рыцари,— обратился он ко всем,— отступление невозможно: нас окружат, обойдут, загонят в западню... Мы не знаем, куда направиться, мы не знаем дорог... Пусть враг и многочислен, но, атакуя, мы вдесятеро сильнее, чем отступая. Мы умеем лишь резаться вперед. Вот ротмистр сейчас опрокинул стремительною атакой татар, шедших в обход нам... а их было вчетверо больше... Он захватил даже в плен десяток ногаев...

— На кол их! Всех на кол! — махнул Потоцкий есаулу рукой.

— Допросить бы...

— Головы снять, сейчас же! Проше панство... без разговоров! — затопал ногами старый гетман.— Я здесь глава! Меня одного слушаться, сто перунов! Отрубить всем головы, и квит!

В палатке сгустился сумрак; растерянные слуги метались, но канделябр не зажгли. Канонада, хотя и слабее, а все еще потрясала воздух громами... Сквозь открытый полог палатки в сумерки были видны вспыхивавшие на вершинах зарницы...

LXXVII

— На бога, панове! На всех святых, прошу вас, молю,— простер руки к собранию польный гетман,— не отступайте! Ударим всеми силами на врага и опрокинем его, прорвем себе дорогу!

Искренняя, горячая речь Калиновского увлекла мно-

гих, но не могла победить паники, сковавшей у большинства волю: вырвавшиеся одобрения были заглушены трусливыми криками, между которыми особенно вырывались вопли Сенявского.

— Да кто тут смеет рассуждать? — посинел от злости Потоцкий и, заметив на своей стороне большинство, принял дерзкий, возмутительный тон.— Кто смеет, тысяча чертей, когда я налицо? Или я вам, панове, не вождь, или я не великий коронный гетман Речи Посполитой? Или вы хотите мятежно топтать мою волю?

Послышались отзывы:

— Ты наш коронный гетман, ты наш глава!

— А коли глава, то прошу не подымать при мне голоса,— кинул он на Калиновского наглый, вызывающий взгляд.— Несогласные могут уйти, и баста!.. А я при-ка-зы-ваю,— прокричал он,— сниматься немедленно с лагеря и отступать укрепленным четвероугольником!

— Гетманская воля будет исполнена, — обрадовалось рыцарство этому распоряжению.

— Отчизна! — вскрикнул, не помня себя, возмущенным голосом Калиновский.— Ты поплатишься за то, что вверила свои силы такому вождю! Мой меч не служит позору... разделяйте вы его с ним!

И он, разломив свой палаш, бросил его к ногам гетмана.

— Арестовать! — зашипел, запенился тот и залился удушливым кашлем; но никто не двинулся с места, а Калиновский, сложивши на груди руки, гордо стоял.

Между тем вбежал в палатку джура и доложил, что схватили в плен одного козака.

— На кол! — крикнул Потоцкий, но потом остановился.— Стой! Пойдемте допросим, панове!

Все за гетманом вышли. Слуги осветили факелами место перед палаткой.

У входа стоял пехотинец и держал на аркане связанного по рукам и ногам козака. Пленник, не лишенный, по-видимому, силы и красоты сложения, представлял теперь из себя жалкий вид: он дрожал как осиновый лист, корчился, гнулся и бросал вокруг перепуганные, умоляющие взоры.

— Где пойман? — спросил Потоцкий.

— За окопами, ясновельможный гетман, — указал рукой вдаль шеренговой,— пробирался лайдак к нам

пошпионить, то ползком, то скачком, а то и просто ходою,— такая дерзкая шельма,— прямо под носом у нас! Ну, я с товарищем через ров — да за ним. А он, пес, наутек! Догнал я его — да арканом за шиворот.

— Спасибо! — бросил Потоцкий шеренговому червонец.— Подать дыбу!

Слуги сейчас же принесли и водрузили походную дыбу, состоящую из связанных трех жердей с утвержденным наверху блоком.

— Кто ты? — толкнул ногою пленника гетман.

— Селянин... хлоп, ясновельможный пане,— плаксивым, перерывистым голосом простонал пленник.

— Как зовут?

— Галаган [120].

— А куда же ты шел? Зачем шел, пся крев, быдло, гадюка? Зачем и куда, шельма, а? — тыкал гетман его в лицо и в зубы ножнами.— Вздернуть бестию.

К связанным на спине рукам пленника привязали веревку, продетую через блок, и начали его поднимать; нужно было иметь железные мускулы и употребить нечеловеческое усилие, чтобы удержать на них всю тяжесть тела и не дать вывернуть рук из ключиц.

Козак побагровел, выпучились жилы у него, как ремни, на висках и на шее, налились кровью глаза, выпятилась страшно грудь; но он держался на мускулах.

— Здоровая собака, таких и не видывали,— заметили палачи.

— А вот мы этого селянина поджарим...— прошипел гетман.— Гей, уголья! Смолы! Так ты, шельма, селянин?

— Селянин,— ответил задавленным голосом подвешенный; видно было по тяжелому, свистящему дыханию, что такое напряжение не могло долго тянуться.

Принесли две высоких жаровни и пододвинули их к бокам козака. Сорочка задымилась на нем с двух сторон, сквозь прорехи выглянули страшные багровые ожоги тела... вздымались волдыри, лопались, чернели, шипели, послышалась гарь... понесся чад от горелого мяса.

— Спустите! — сверкнул пытаемый страшным взглядом.— Все расскажу!

Когда его спустили и поставили, он снова съежился и упал к ногам гетмана.

— Прости, ясновельможный пан, я солгал,— заговорил он торопливо,— я не селянин... я шеренговой из вой-

ска Хмельницкого... Теперь бежал от него, пробирался в Корсунь... там мой род... семья... я из немецкой пехоты, что при Барабаше... меня захватили насильно... я вот и хотел бежать... боялся признаться.

— А, шельма! Так ты еще и изменник? Приготовить кол!

Услышав это, несчастный словно обезумел от ужаса; он начал ползать у ног и молить о пощаде, произнося бессвязные речи.

— Сжальтесь, на бога, на матку свенту! Я унит... Меня насильно... Всю жизнь... всякую услугу! Мне известны здесь все шляхи, все тропинки... Пошлите куда, хоть ночью... по болотам... на десять, на двадцать миль кругом... Всякий кустик знаю.

При последних словах гетман поднял глаза: его озарила какая-то мысль.

— Так ты здесь все пути хорошо знаешь?

— Знаю, знаю все! Крестом святым клянусь! — забил он себя кулаком в грудь.

— Какое местечко в ту сторону найближе?

— Грохово [121].

— Как далеко?

— Мили две... оно на Роси... окружено скалами... речка огибает его почти кругом.

— Ясновельможный гетмане,— отвел его тихо Сенявский,— вот бы куда... можно отсидеться... послать за помощью.

— Я об этом и думаю, пане,— кивнул головою Потоцкий.

— Это господь нам посылает спасение.

— Д-да... придется пса пощадить.

— О, неотменно! — потер от радости руки Сенявский.— Мы не знали, куда двинуться, и вот — спаситель.

Присутствующие рыцари разделяли тоже его радость и улыбались самодовольно.

В глазах осужденного на кол сверкала тоже скрытая радость и на лице змеилась загадочная улыбка.

— Через Рось ведь нет броду? — обратился снова к стоявшему на коленях козаку гетман.

— Нет, но он и не нужен: можно свободно пройти по полям и по балкам до Грохова, а там есть мост.

— И ты дорогу твердо знаешь?

— Пошлите, ваша ясновельможность, ночью с кон-

воем... и если я не прибуду к утру... свои ж места, боже мой!

— Хорошо, я испытаю тебя, и если ты будешь добрым проводником, то все прощу и награжу, как никто,— осыплю золотом; но если,— прошипел Потоцкий,— то лучше бы тебе было на свет не родиться!

Прощенный бросился целовать полу гетманского кунтуша.

— Встань, — указал рукой величаво Потоцкий, — скажи по правде, слышишь, по правде, мне ведь от пленных известно, не было ли дано вам приказа завтра начать атаку?

— Пусть меня сто раз посадит его гетманская мосць на кол, коли я хоть одно кривое слово скажу,— на завтра нет. Он ждет завтра хана.

— Хана? — вскрикнули, обезумев, вельможные паны и побелели, как полотно.

— А сколько войск у Хмельницкого? — пробормотал упавшим, надтреснутым голосом гетман.

— У Хмельницкого — не знаю... трудно сосчитать: после Жовтых Вод было двадцать тысяч... ну, а с каждым днем прибывает, почитай, тысячи по две... а у Тугая, знаю, что сорок тысяч... да у хана, слыхал, тысяч сто.

— Ступай,— махнул Потоцкий рукой, чтоб скрыть свой ужас,— накормить его и держать под стражей! — А потом, обратясь к вельможам, добавил: — Одно нам осталось: бежать, и как можно скорее, к Грохову... Немедленно сниматься с лагеря и ночью же в путь!

Все бросились исполнять волю гетмана.

Еще стояла предрассветная тишь и на востоке едва начали бледнеть звезды, когда табор с крайнею осторожностью тронулся с места. Он был устроен, по поручению Потоцкого, полковником Бегановским. Посредине двигался чудовищный двойной четвероугольник, составленный из восьми рядов скованных возов; внутри его помещена была вся артиллерия, весь панский обоз, состоявший из колымаг и фур, напакованных всяким добром, и все кавалерийские кони; по бокам шла густыми лавами пехота, с тылу она тоже прикрывала табор; правым флангом командовал Потоцкий, левым — Калиновский, арьергард поручен был Одржевольскому.

Потоцкий ехал в карете, окруженный двумя хоругвями гетманских латников; со дня слетевших на его голову

невзгод, он крепко запил, а теперь, ради поднятия бодрости и отваги, еще усилил приемы жизненной воды. Изредка только, очнувшись от толчка, он таращил глаза и, подозвав к себе есаула или джуру, приказывал им справляться, благополучно ли идут фуры с его добром. Сенявский и большинство пышных панов по примеру гетмана уселись тоже в кареты и, под прикрытием своих надворных команд, тянулись гуськом за своим предводителем.

Калиновский ехал на вороном коне рядом с Корецким, во главе левого фланга. Выражение лица его было мрачно; он то всматривался пристально в группу всадников и пехотинцев, составлявших конвой Галагана, шедшего впереди табора проводником, то тревожно оборачивался назад. Хотя все было спокойно и табор около суток шел беспрепятственно, не натыкаясь на неприятеля и не сбиваясь с дороги, тем не менее у польного гетмана, кроме стыда за позорное бегство, шевелилось еще какое-то глухое, непонятное подозрение.

— Нет, что ни говори, пане,— обратился он к Корецкому,— а над нами тяготеет какой-то неумолимый рок. Потоцкий, положим, и прежде был склонен больше к Бахусу и Венере, чем к Марсу, и вследствие чрезмерной гордости и самомнения отличался бараньим упрямством,— ну, а теперь просто спятил с ума, далибуг! Делает одно безумство за другим... Опьяненный горилкой и кровью несчастных селян-хлопов, он в критическую минуту доверяется тому же самому хлопу...

В это время в задних рядах раздались выстрелы. Все встрепенулись и стали озираться кругом.

— Вот оно! Предчувствие меня не обмануло! — крикнул Калиновский и помчался туда, где уже трещала перестрелка.

Поднялась суета. Заскакали по всем направлениям гонцы. Табор шел теперь по едва заметной лощине, открытой со всех сторон. Далеко впереди синела дымчатая полоса леса. Солнце клонилось к закату. Сзади, словно вынырнув из-за холмов, покрытых кустарниками, показался неожиданно со своими густыми массами Хмельницкий, а с двух сторон разлились широкими волнами татары.

Татары и летучие отряды козаков сначала только гарцевали, и, словно желая подразнить отступающих

ляхов, подскакивали на довольно близкое расстояние, и, пустив для потехи несколько стрел, разбегались с веселыми криками. Но когда показался на горизонте лес и поляки подняли в таборе суету, направляя к нему торопливо войска, тогда тактика окружавших врагов изменилась; они повели правильные и беспрерывные атаки с тылу и флангов, не отрезывая от леса поляков, а, напротив, нагоняя их на него.

Наступал уже вечер.

Лес уже был близко, и атакующие, играя, как кот с мышью, дали передохнуть полякам и ускорить снова к нему путь.

Подъехал к Калиновскому ротмистр.

— На бога, ясновельможный, не направляйте войск к лесу,— обратился он к нему с тревогой,— будет то, что и в Княжьем байраке... Клянусь святым Патрикием, там западня. Вон направо удобная возвышенность. Занять бы табором, пусть берут, а ночью можно перейти Рось.

Калиновский вынесся вперед, окинул беглым взглядом местность и, убедившись в правильности предположения ротмистра, подскакал к карете Потоцкого. Последний, разбитый ужасом, представлял из себя жалкую развалину; он только затыкал уши при треске залпов, и прятался в угол кареты, да торопил, молил окружающих, чтобы скорее спешили «до лясу».

— Нужно здесь остановиться, пане,— крикнул дерзко Калиновский в окно кареты,— в лесу засада, погибель... там всех перебьют, а здесь хоть защищаться возможно.

— Панове рыцарство! — закричал неистово Потоцкий, словно бы кто его резал.— Кто смеет распоряжаться здесь вашей жизнью? Арестуйте его!.. Я гетман... Там в лесу спасение... обоз можно скрыть!..

— Какой ты гетман? — не помня себя, крикнул Калиновский.— Ты пьяный тхор, трус, убийца, зверь и предатель отчизны!

Потоцкий оцепенел от ужаса и оскорбления, ничего не мог произнести и только рвал рука́ми шелковую обивку кареты.

— А вы, панове, не хотите-таки дать отпор врагу? — набросился Калиновский на рыцарей и, получив в ответ смущенное молчание, крикнул им на прощанье: — Так

пропадайте ж вместе с этим позорным вождем! — и, пришпорив коня, поскакал к своим хоругвям.

Между тем к Хмельницкому, следовавшему за поляками саженях в трехстах, не больше, подлетел Чарнота, выскочивший из опушки леса, и сообщил, видимо, приятную новость.

Лицо Богдана озарилось восторгом, и он, обнажив саблю, крикнул:

— Гей, славные козаки, лыцари-запорожцы! Настал час и нам потешиться над клятым врагом, что жег наших детей, терзал братьев, насиловал жен и сестер... Господь предает нам его в руки... Наварите же червоного пива, чтобы похмелели ляхи! Гей, армата, гукни-ка им на погибель!

Раздались колонны пехоты; вылетело тридцать орудий и гаркнули целым адом на табор. Ядра ударили в арьергард, разметали человечье мясо, проложили себе широкую кровавую улицу и расстроили, опрокинули с десять возов. Не успел улечься вопль ужаса, как раздался еще ближе второй залп армат и принес еще больше смертей и опустошения...

Паника охватила всех леденящим холодом, отняла у всех волю и разум; никто уже не слушал команды, никто уже не думал о сопротивлении, никто не хотел уже повиноваться ни крикам, ни просьбам более трезвых, а всяк, бросая даже оружие, спешил уйти от этого пекла, кидался, не ведая куда, давил, топтал друг друга и натыкался на смерть... Настал какой-то безобразный хаос... Татары, заметив панику и смятение в рядах поляков, ударили с двух сторон бурей и почти безнаказанно рубили направо и налево жолнеров, прорезывались до самых возов, а в чудовищном четвероугольнике во многих местах уже прорваны были ядрами бреши...

Потоцкий с пышными вождями, замкнувшимися тоже в каретах, сопровождаемый кортежем рыцарства, торопился объехать войска и скрыться поскорее в лесу, но это было почти невозможно: дорога становилась все у́же, покатей; по сторонам подымались кручи; мятущаяся толпа заграждала путь... Некоторые, исступленные от ужаса и отчаяния, набрасывались даже на эти пышные экипажи с криками: «Бей их, зрадныков! Это они нас кинули на погибель!»

Потоцкий, обезумев окончательно, то затыкал себе

уши, забившись в угол, и бормотал бессвязно: «Pater noster... Матка найсвентша, смилуйся!», то ломал себе с ужасом руки и вопил со слезами: «Обоз мой! Добро мое!»

А Хмельницкий, заметив, что татары уже смешались с поляками, остановил артиллерийский огонь и двинул свои полчища в атаку...

Поднялись крики ужаса, вопли отчаяния. В разорванную брешь вырвались из табора до двух тысяч драгун и бросились с распростертыми объятиями к своим наступающим братьям[122]. Это обстоятельство остановило на мгновение атаку, но никто из поляков и не подумал замкнуть широко распахнутых возов, а всяк бежал и пробивался, не помня себя.

Напрасно Калиновский, с некоторыми сгруппировавшимися вокруг него доблестными и отважными рыцарями, старался остановить бегущие и мятущиеся толпы воинов; стихийная сила гнала их неудержимо. Только несколько сотен, преданных гетману беззаветно, удерживала возле него бесконечная любовь к своему герою, пересилившая даже кружившийся над всем табором ужас...

— Погибло все! — простонал Калиновский.—Друзья! Кто не хочет перенести этот позор, за мной! — и он бросился с горстью удальцов, воодушевленных отчаянием, с такою стремительною силой, что даже заставил вздрогнуть и остановиться с изумлением во сто раз сильнейшего врага...

Теперь уже обоз старались разорвать и сами поляки, не видя в нем больше убежища,— они хлынули беспорядочными волнами вдогонку товарищам. Дорога между тем суживалась в овраг, в котором уже теснились беспорядочные, мятущиеся массы, опрокидывая и давя друг друга, проклиная все на свете, прочищая себе среди братьев дорогу даже оружием...

Когда эта, сдавленная крутизнами, толпа, гонимая ужасом, увлекаемая сильным наклоном оврага, обстреливаемая с высоты берегов тучами стрел, барахтающаяся под копытами коней, под возами, стала выползать, вываливаться безобразными кучами на прогалину, то ее ошарашил вновь неожиданный ужас: свирепый Кривонос вынырнул словно из земли[123] и, ударив с бешеною яростью на оторопевших поляков, стал крушить их и са-

жать на длинные копья. Напрасно летели ему навстречу вопли отчаяния, мольбы о пощаде; упоенный сладостью мести, он не внимал им и беспощадно, с адским хохотом, прорезывался к панам и обагрял свою саблю в их дымящейся крови.

Теперь уже ясно всем стало, что Галаган завел табор в устроенную заранее западню... Подскакали к нему осатанелые злобой и яростью шляхтичи, выбившиеся вперед, но козак уже смотрел на них презрительно, гордо и шел с приподнятою высоко головой, с злорадною улыбкой...

— Куда ты завел нас, шельмец? — набросились они на него с ревом.

— В яму, в волчью яму! — ответил он с дерзким хохотом.— На погибель, в берлогу к дикому зверю! Там ваши панские кости будут валяться, там ваше падло сгниет!.. Га,— крикнул он с диким злорадством,— вы думали, ляшки-панки, что я испугался бы ваших мук и валялся бы у ваших паршивых ног, прося пощады, что я мог бы вам, страха ради, учинить хоть что-либо доброе? Гай-гай, дурни! Дурил я вас... и пришел только для того к вам, чтоб погубить ненавистников, кровопийц наших...

Остервенившаяся шляхта не дала, впрочем, докончить ему этой приветственной речи: десять клинков впились в его грудь, и с прощальным криком: «Будьте прокляты!» — полег за козачество Галаган...

А Корецкий бросился в разорванный табор и крикнул своим дружинам:

— Гей, на коней! Довольно уже нам, сто дяблов, толкаться в этом таборе обезумевших трупов! Гайда! Или пробьемся на волю, или умрем с честью!

Паны начали было его удерживать именем коронного гетмана, но Корецкий крикнул им:

— Плевать мне на этого дурня! — и ринулся со своими дружинами прямо на черневшие массы татар...

LXXVIII

Разорванный табор распахнулся теперь на две половины, и в широкие проходы бурей устремились козаки и татары, круша, рубя, давя мятущихся, ползающих на коленях, молящих о пощаде панов и жолнеров. Неутоми-

мый в ярости Кривонос налетал всюду, разил беспощадно и только рычал: «Не жалейте рук, хлопцы, да приговаривайте: за то вам, вражьи ляхи, и за это!»

Наконец, на эту вопиющую сцену человеческого зверства налетел Богдан и, потрясенный до глубины души, остановил зычным голосом резню.

Потоцкий был уже давно высажен козаками из кареты; поддерживаемый хлопами, он сидел на пушке, с искаженным от бессильной злобы лицом. Гетмана окружало перевязанное славное рыцарство, лежавшее с тупым выражением ужаса в мутных глазах.

— Видишь, Потоцкий,— подъехал к пленным Хмельницкий.— Есть суд на небе! Хотел ты меня взять в неволю, да сам в нее и попал!

Несмотря на свое безвыходное положение, Потоцкий не смог выдержать такого оскорбления от хама; он позеленел, затрясся от гнева и крикнул с брезгливою ненавистью:

— Презренный хлоп! Не ты с своею разбойничьей шайкой победил меня, а славное воинство татарское! Чем же ты ему заплатишь за это?

— А чем же, вельможный пане? Тобою,— ответил с улыбкой Богдан,— да еще таким же, как ты, можновладным сметьем!..

Три дня после страшного разгрома приводили в порядок свой лагерь козаки: делили несметную добычу, устраивали обоз, рассортировывали пленных. Обоих гетманов (Калиновского нашли израненным, полумертвым) Богдан отдал Тугай-бею, а с ними же и множество знатных панов, но пана Сенявского, не замеченного в большой жестокости к крестьянам, он отпустил на слово. Теперь лагерь козацкий представлял пышную и величественную картину: не сдавленный тесными окопами, он широко раскинулся у опушки леса по волнистой местности Корсунского поля. То там, то сям подымались роскошные палатки, украшенные расшитыми золотом гербами, доставшиеся теперь козацкой старшине. Драгоценные ковры, посуда, оружие валялись в разных местах еще неразобранными грудами. Отправивши в Чигирин раненых и похоронивши с честью павших в битве товарищей, козаки понемногу успокоились, и к вечеру третьего дня лихорадочная суматоха в козацком лагере утихла. К ночи гетман разослал по всем войскам приказ собрать-

ся на утро для торжественного молебствия в честь одержания победы над супостатами ляхами.

Еще майское яркое солнце не успело наполнить своим золотым блеском таинственных зарослей леса, как уже весь майдан, выбранный для богослужения, окружало широкое, блестящее кольцо козацких войск. В самой середине было приготовлено два возвышения: одно с аналоем — для духовенства, другое, обитое красною китайкой и окруженное почетной чигиринской сотней под начальством вернувшегося из Чигирина Морозенка,— для гетмана. Впереди войск выступила полукругом значная козацкая старшина: Богун, Кривонос, Кречовский, Чарнота и др. За нею вытянулись блестящею линией музыканты с бубнами, литаврами и серебряными трубами, за ними седая запорожская конница, а за нею все остальные полки. Духовенство было уже в сборе, а гетмана все еще не было. Но вот среди войск пробежало какое-то оживление, послышался топот копыт, и вскоре показался сам гетман, окруженный своей генеральной старшиной. Красный бархатный плащ, вышитый золотом, спускался с плечей его до самых стремян, придавая ему истинно королевский вид; шапку его украшали два высоких страусовых пера, скрепленные посредине бриллиантовою звездой. Над головой гетмана свивались и развевались бунчуки и знамена. Белый конь его выступал так гордо и величественно, словно сознавал, какую силу он нес на своей спине. Лицо гетмана было торжественно и серьезно.

Громкие крики: «Слава гетману, слава!» — понеслись ему навстречу.

При несмолкаемых восторженных криках Богдан взошел на приготовленное для него место и подал знак. Началось торжественное богослужение.

Кругом стало так тихо, словно все эти двадцать тысяч людей онемели и превратились в каменные изваяния в один миг. Но вот раздалось торжественно: «Тебе бога хвалим!» — и, поднявши кресты, священники двинулись с кропилами освящать святою водой знамена, бунчуки и склоненные головы козаков. Оглушающий залп орудий покрыл поднявшийся шум и прокатился потрясающим громом, возвещая далеким окрестностям победную весть.

— Слава гетману, слава!—раздались со всех сторон восторженные крики; но новый гром орудий покрыл все

голоса. Еще раз рявкнули гарматы, и залп тысяч ружей заключил могучим аккордом бурный народный восторг. Когда улегся, наконец, поднявшийся шум, Богдан обратился ко всем с речью:

— Панове рыцари-молодцы, славные козаки-запорожцы, все войсковые товарищи и близкий нашему сердцу православный люд, поздравляю вас, друзи, с победою, с такою победою, какой еще не видела наша земля. Разбито коронное войско, в плену гетманы, нет в Польше никаких сил; перед нами открыты теперь все дороги: пойдем туда, куда сами захочем пойти. Но не мне, не мне, друзи, эта слава, не мне и не вам! Слава господу всемогущему, даровавшему нам, слабым, эту силу, поднявшему нас на защиту своего креста, слава ему, отозвавшемуся на наши страданья, слава и матери нашей Украйне, что подняла нам на помощь всех своих бедных детей. Своей чудесной помощью господь показал всему миру, что мы встали за правое дело. Так будем же всегда помнить об этом, друзи, не будем обольщать себя ни добычей, ни славой, а только защитой нашего родного края и святого креста! В знак нашей великой победы мы отменяем на сегодня наш строгий войсковой порядок и назначаем пир для всего славного рыцарства. Пусть выкатят сорок бочек меду, вина и горилки. Пируйте, братья, да поднесите и вельможным панам з ласки козацкой по чарке вина.

Полетели вверх шапки козацкие; громкие возгласы огласили воздух. Грянула запорожская музыка и покрыла все голоса.

Богдана окружила старшина; начались поздравления, поцелуи и объятия. Когда первый порыв восторга умолк, Богдан обратился к Выговскому, уже возведенному в должность войскового писаря.

— А что, пане Иване, готовы ль козаки и универсалы? [124]

— Все готово, ясновельможный гетмане,— произнес с низким поклоном Выговский, подавая Богдану исписанный лист с прикрепленной к нему на шнурке запорожской печатью.— Но...— замялся он,— как посмотрит на это король?

— Король за нас, а не за панство.

— Так, гетман, но это не против панства,— улыбнулся вкрадчиво Выговский,— а против короля.

— А если король вздумает идти против нашего народа, то мы пойдем и против короля! — ответил запальчиво Богун, бросая на Выговского недружелюбный взгляд.

— Так, так, друже! — поддержали Богуна и другие старшины.

По лицу Выговского промелькнула какая-то неопределенная улыбка.

— Король наш доброчинец,— возвысил строго свой голос после минутного смущения Богдан, останавливая всех,— и не пожелает нам ничего худого. Позвать сюда наших послов!

Выговский отдал приказ, и из толпы войск отделилась сотня козаков и, выехавши перед старшиной, выстроилась по пяти человек в ряд. Это были самые отборные и смелые со всего войска. Шапки их были молодцевато заломлены набекрень, великолепные красные кунтуши были наброшены с какой-то удалой козацкою небрежностью, отборное оружие блестело на солнце. Лица козаков смотрели смело, энергично; дорогие кони их нетерпеливо перебирали ногами и грызли удила. В руке у каждого всадника было по длинному свитку бумаги, с прикрепленной запорожской печатью при конце.

— Слава гетману вовеки! Хай жие! — крикнули в один голос, обнажая головы, козаки.

— Спасибо, дети,—ответил Богдан.— А все готово ль?

— Все, батьку.

— Летите ж, дети, по всей Украйне, не мынайте ни больших городов, ни малых деревень. Будьте колоколами нашими; звоните по всей Украйне, зовите весь люд в одну церковь к своему алтарю!

— Гаразд, батьку! — крикнули оживленно козаки.

— Ну, с богом! — протянул Богдан руку, и маленькие отряды понеслись стрелой в четыре стороны безбрежной степи. Богдан следил за ними задумчивым взором: вот каждая из них разделилась еще на несколько групп, еще и еще... и вскоре все всадники скрылись вдали.

— Так, — произнес задумчиво Богдан, — понеслось теперь наше слово во все концы родного края, и нет уже никакой силы остановить его... Ну, дальше ж что,— обратился он к Выговскому, тряхнувши головой, словно хотел сбросить с себя налетевшее вдруг раздумье,— кто дальше есть?

— Посол от превелебного владыки печерского[125].

— Владыки? — переспросил изумленно и радостно Богдан.— Сюда ж его, сюда, скорее!

Выговский быстро сошел с помоста и через несколько мгновений возвратился в сопровождении высокого мужчины, одетого в грубую суконную чемарку, подпоясанного простым поясом, в черной бараньей шапке на голове. Этому высокому, коренастому человеку, одетому в такой грубый мужицкий костюм, придавала какой-то странный вид густая, черная с проседью борода, окаймлявшая суровое, энергичное лицо, и небольшая коса, видневшаяся из-под шапки. За ним на майдан въехало шесть небольших пушек, сопровождаемых целою толпой поселян, вооруженных косами, ножами и самодельными саблями.

Богдан с изумлением взглянул на приближающуюся к нему фигуру, и вдруг по лицу его промелькнуло какое-то мучительное выражение,— казалось, он старался вспомнить, где видел еще раз это странное лицо, но размышления его прервал громкий возглас Нечая:

— Будь я проклят, если это не отец Иван!

— Отец Иван! — вскрикнул радостно Богдан, и в один миг перед глазами его мелькнула вся картина встречи с изгнанным, зовущим к восстанию попом.

— Ты ль это, отче? — сделал он несколько шагов навстречу священнику.

— Я, недостойный пастырь, еще не заработавший у господа право одеться в священные ризы,— произнес тот, вынимая из-за пазухи простой кипарисный крест на грубой веревке и осеняя им склонившего голову Богдана.— Челом бьет тебе, гетмане, вся Украйна, а превелебный владыка шлет всем свое святое благословение, вот эти гарматы на гостинец для войска, а тебе, гетмане, это письмо.

Богдан почтительно принял толстый пакет, запечатанный восковой печатью, прижал его благоговейно к губам, сломал печать и развернул желтый пергамент. В письме владыка благословлял Богдана и все славное войско на честный подвиг, обещал во всем свое содействие и в конце снова повторял Богдану: «Помни ту клятву, которую ты дал мне в полночный час у алтаря. Не соблазнись своею гордыней: нам надо не только разрушить, нам надо создать».

— Святой, великий рачитель нашей бедной Украйны! — произнес Богдан с глубоким чувством, складывая желтый лист и прижимая его почтительно к губам.— Но скажи мне, отче велебный, как попал ты сюда?

— Когда ты, гетмане, покинул тогда наше селенье,— начал отец Иван,— я стал приготовлять к делу всю мою паству. Мы перековывали рала на ножи и сабли, мы святили их ночью; я, отрекшийся от службы святой, призывал в пущах лесных благословение господне на каждый нож, который мы раздавали людям. К весне мы все были готовы; чуть пронеслась весть о том, что ты собираешь войско на Запорожье, мы сожгли наш замок и двинулись вперед. Так прибыли мы в Киев к святому владыке; он сообщил нам о твоей победе и направил нас сюда. Со мною тысяча поселян, закаленных и крепких; прими ж и нас, батьку, под свой стяг.

— Тебя, тебя, отче? — отступил даже от изумления Богдан, и все старшины молча переглянулись.

— Так, меня! — ответил решительно и сурово отец Иван.— У каждого в наше время есть на душе свое тяжкое горе; но не за себя, не за свою семью горит мое сердце скорбью и гневом, я дал святую клятву препоясаться мечом и встать на защиту своей церкви, и владыка благословил меня! Не удивляйтесь же тому, братия, что попы идут в ваше войско. Каждый пасомый даст ответ на страшном судище только за себя, а с пастыря господь спросит за все стадо и за церковь, которую он отдал под защиту своего воинства. Скажите мне, братья, что делают с воинами, когда они отворяют врагам браму замковую и впускают в крепость врагов? Мы сделали хуже, мы отворили в святую крепость латынским псам ворота и отдали на расхищенье проклятым волкам вверенных нам богом детей!

Слова отца Ивана производили глубокое впечатление на собравшихся: этот страстный, мрачный фанатик зажигал родным огнем козацкие сердца.

— Но отныне конец! — сдвинул отец Иван свои широкие брови, и лицо его приняло выражение мрачной и грозной отваги.— Конец, говорю вам! — стукнул он со страшною силой суковатою палкой.— Мой сан воспрещает мне кровопролитие, но горе тому пастырю, кто станет во имя закона умывать свои руки. «Восстаньте, пастыри, и благо сотворите»,— рече господь, и мы восстали,

все восстали от края до края: кто мечом, кто словом... И горе тому нечестивцу, кто опять вздумает поднять руку на наш храм!

— Оставайся, панотче, с нами,— произнес прочувствованным голосом Богдан,— верю, что с твоим присутствием благословение господне снидет на нас!

— Сойдет, сойдет! Оно уже сошло на всю нашу землю! — заговорил страстным, уверенным голосом отец Иван.— Паны бегут толпами на Волынь и в Корону, пустеют все города и замки, а народ, как речки в море, спешит со всех сторон лавами к тебе!

— А что, отче,— спросил Богдан,— не слыхал ли чего о Яреме? Он, говорят, зол на панов и не хочет приставать к войску. Я послал к нему козаков.

— Послы твои уже дождались высокой чести: красуются на палях в Лубнах.

— Собака! — воскликнул бешено Богдан.—Моих послов? Посмел... посмел!

— Смерть ему, смерть отступнику! — зашумела кругом грозно старшина.

— Так, смерть! — поднял руку отец Иван, и глаза его вспыхнули фанатическим огнем.— Он отрешен от божьего престола, и нет над ним милосердия! Он отступил от веры отцов, он гонит и угнетает родную веру горше латынян, он мучит своих братьев! Но... настанет час. Он уже недалеко... говорю вам — уже и секира при корени лежит!

— Так, отче,— провел рукою по лбу Богдан,— все взвесится на весах правосудия, но смирим же до времени свой гнев, братья... Что дальше? — повернулся он круто к Выговскому.

— Поймали какого-то панка, разбойничал с своею шайкой по хуторам.

— На кол его! — вскрикнул Кривонос.— Всех на кол, по десять за козацкую душу!

— Нет, стой, Максиме,— остановил его движением руки Богдан,— успеем; сперва допросить. Взять его пока под стражу. Я сам приду, а дальше что?

— Из справ войсковых ничего, а ждет ясновельможного из Чигирина панна Ганна.

— Ганна... Да что же ты мне раньше об этом не сказал! — воскликнул радостно Богдан.— Ну, так вот что: устрой же ты как следует шановного панотца, а я по-

спешу,— и, обратившись ко всей старшине, он прибавил: — Прошу вас всех к себе, панове, вечером на добрый келех вина.

Гетман вскочил на подведенного ему коня и, окруженный своею свитой, поскакал к лагерю. Старшина последовала его примеру, только Богун круто повернул в сторону и, сжавши своего коня острогами, вихрем помчался в степь.

Подскакавши к порогу своей палатки, Богдан быстро соскочил с коня и, отбросивши полог, воскликнул радостно:

— Ганно, Ганнусенько, дитя мое!

— Батьку, спаситель наш! — рванулась к нему навстречу Ганна и со слезами припала к его руке.

Несколько мгновений ни она, ни Богдан не в состоянии были произнести ни единого слова. Наконец Богдан приподнял ее голову и вскрикнул с испугом:

— Ты плачешь? Ганнуся, голубочка!

— От счастья, от радости, батьку,— подняла на него сияющие лучистые глаза Ганна, не отирая слез.

— Дитя мое,— прижал ее к себе крепко Богдан и усадил рядом с собой на турецкую оттоманку, на которой еще так недавно возлежали гетманы.— Да ты вся дрожишь! Что с тобою? — сжал он ее холодные руки в своих руках.

— Ничего, ничего, дядьку, — заговорила радостно, прерывающимся голосом Ганна, улыбаясь полными слез глазами,— вижу вас здоровым, счастливым, славным... ох, а тогда, тогда что было!

— Намучилась?

— О господи!

— Жалобница наша! — сжал Богдан ее холодные руки и прижался губами к ее лбу.

— О господи,— продолжала Ганна,— что было тогда! Ляхи кричали, что войско козацкое разбито, что дядько посажен на кол,— мы ничего не знали верного. Но я верила, я надеялась, а кругом поднялись такие ужасные кары, такие муки...

— Несчастные! И вы могли пасть жертвою панской мести!

— Что мы,— перебила горячо Ганна,— там было все войско, вся наша надежда и сила!

— Господь помог нам!

— Так, дядьку, он услышал наши молитвы. О, если бы вы видели, что делается кругом: спешат к батьку, все прославляют его, называют спасителем отчизны, в церквах благословляют его имя!

— Дитя мое! — обнял ее Богдан.— Ты вливаешь мне в душу такую веру, такую крепость, что я и сам себе кажусь Самсоном!.. Но довольно о славе,— произнес он, вздыхая всею грудью, и провел рукою по лбу,— скажи мне, что дома?

— Все благополучно.

— Здоровы дети?

— Все, как один.

— Ну, садись же, расскажи, как перебивались вы, бедные, без меня?

Богдан взял Ганну за руку и снова усадил ее на оттоманку рядом с собой, и между ними завязался радостный, дружеский разговор.

LXXIX

После войн, бурь и казней душа Богдана при рассказе Ганны отдыхала в оживающих снова перед ним давно забытых тихих радостях. Каждая семейная новость доставляла ему огромное удовольствие. Дети здоровы, растут, как грибки после дождя; Катря, Оленка — красавицы дивчата, а Юрко — козачок. В Субботове уже начались работы, устраивают наново всю усадьбу, дядько сам скажет как.

Молча, с тихою улыбкой, слушал Богдан слова Ганны; но время от времени на лице его появлялось мучительное выражение; видно было, что какая-то тайная мысль, которую он не решается высказать, беспокоит его. Наконец, когда Ганна передала все новости, Богдан откашлялся и, перебирая пояс руками, спросил неверным голосом:

— А больше ты ничего не слыхала, Ганна?

Ганна взглянула на него, и ей стало сразу понятно, о ком хочет узнать дядько. Горькое чувство сжало ее сердце, лицо покрылось слабою краской.

— Нет, дядьку,— произнесла она, опуская глаза,— ничего.

Наступило неловкое молчание. Вдруг полог палатки

заколебался, и на пороге появился высокий статный козак.

— Богун! — вскрикнула радостно Ганна, подымаясь с места.

— Ганна, сестра моя! — подошел к ней козак и, взявши ее за обе руки, крепко-крепко сжал их в своих загорелых грубых руках.— Ну что, довольна ль ты теперь нами?

— Вы наши орлы, соколы! — вырвался у Ганны восторженный возглас.

— Так, Ганно,— подошел к ним Богдан, ласково смотря на обоих,— и этот сокол,— положил он руку на плечо Богуна, — помог нам выиграть Жовтоводскую битву.

— Что я...— тряхнул энергично головою козак,— одной храбрости мало. Но,— вынул он из-за пазухи толстый пакет,— я принес важные новости.

— Что такое? — насторожился Богдан.

— Мои козаки перехватили лядских послов; король скончался [126].

— О господи,— произнес Богдан и бессильно опустился на табурет.— Несчастный, бедный заступник наш!.. Ты не дожил до того дня, когда твои верные дети вернули б тебе и власть, и силу, которой ты вполне был достоин. Что теперь делать? Что делать? — сжал он голову руками и замолчал, опершись локтями о стол.

С глубоким сочувствием молча смотрели Ганна и Богун на искреннее горе Богдана. Наконец Богун заговорил решительным, твердым голосом:

— Жаль короля, гетман, то правда: он один был нашим заступником и доброчинцем и, если бы его воля, дал бы нам равные с шляхтой права; но, несмотря на это, смерть его развязывает нам руки.

— Что ты говоришь? — поднял с изумлением голову Богдан.

— Развязывает нам руки,— повторил Богун, сдвигая свои черные брови.— Когда бы он был жив, мы должны были бы идти против его воли, потому что, как король польский, он не мог бы согласиться на наши требования и должен был бы выступить с войском против нас. Тебе бы было это, гетмане, тяжко, не весело и нам. Но теперь ничто не сдерживает нашей воли. Мы свободны... Там, в Польше, остались одни враги. Вот посмотри, про-

чти это письмо. Его посылали они к московским воеводам, умоляя их двинуть на нас войска; они выставили нас бунтовщиками, разбойниками, изменниками и просили московского царя соединиться с ними и разбить нас вконец.

Резким движением вырвал Богдан бумагу из пакета. Чем дальше читал гетман, тем грознее и грознее сжимались его брови.

— Собаки! — крикнул он наконец бешено, сжимая письмо в руке и бросая его с силой под ноги.— Постойте ж, я вам припомню это письмо... Они сами научили меня тому, о чем я до сих пор смутно думал. Послы поедут, поедут, шановное панство, только повезут другой пакет. Ха-ха-ха-ха!.. Напишем и мы суплику. Московский царь — царь православный, он вступится, а если он согласится, то не вы нас, а мы вас вот так, между рук, раздавим, как стекло.

— Вот видите, дядьку,— подошла к Богдану Ганна,— господь посылает удары, и он же указывает нам сам и верную помощь. Царь православный не пойдет против своих одноверцев, он встанет против наших гонителей, он пришлет нам свои дружины, он поможет. Ведь наша вера — его вера, наша земля — родная его земля...

В это время порывисто распахнулся вход и, как безумный, влетел в палатку бледный, задыхающийся Морозенко.

— Гетмане!—крикнул он прерывающимся голосом,— поймали Комаровского!

— Где? Где? — сжал безумно его руку Богдан, забывая все окружающее.

— Здесь, в лагере.

— Веди.

Задыхаясь от волнения, спешил за Морозенком Богдан.

Дорога шла через весь лагерь. Уже вечерело. Кругом все ликовало. Все оживленно хлопотали, одни раскладывали громадные костры, другие собирались зажигать смоляные бочки или импровизированные факелы, воткнутые на высокие шесты. Громкие песни переливались с одного конца лагеря до другого. Но, несмотря на страстное возбуждение, охватившее весь лагерь, все с изумлением оглядывались на гетмана, недоумевая, куда это спешит он с таким искаженным бешеною злобой лицом?

Богдан и Морозенко прошли весь лагерь и остановились наконец у простой серой палатки, принадлежавшей, верно, прежде кому-нибудь из мелких панков.

— Здесь,— произнес отрывисто Морозенко.

Богдан схватился рукой за высоко вздымавшуюся грудь и решительно вошел в намет. В палатке было почти темно. Воткнутый в землю высокий смоляной факел слабо освещал средину палатки красноватым светом, оставляя углы в тени. В одном из них полулежал на охапке соломы дородный, белокурый шляхтич. На руках и на ногах у него надеты были кандалы, но бледное лицо не выражало страха, в нем виднелось скорее какое-то тупое затаенное бешенство. При входе Богдана шляхтич не пошевельнулся. Но вдруг взгляд его упал на вошедшего вслед за Богданом Морозенка. Словно электрическая искра пробежала по всему его телу.

В одно мгновение ока схватился он на ноги и с диким рычанием бросился вперед, но козаки удержали его.

— Оставьте нас,— произнес отрывисто Богдан, с трудом переводя дыхание,— и ждите моего наказа.

Козаки молча поклонились и вышли из шатра.

— Где Елена? — крикнул он, уже не сдерживаясь, каким-то бешеным голосом, сжимая до боли свои дрожащие кулаки.

— Не знаю,— ответил небрежно шляхтич, встречая с холодною усмешкой дикий взгляд Богдановых глаз.

— Не знаешь? Ты не знаешь, дьявол, ирод,— задыхался от бешенства Богдан,— когда сам украл ее?

— Мне поручил это дело Чаплинский.

— Все равно! Вы вместе же с ним устроили это дьявольское дело... Говори, или я заставлю тебя говорить!

— Не знаю...

— А! Так дыбу ж сюда, огня, железа! — заревел Богдан.— Теперь я разделаюсь за все с тобой!.. Ты сжег мое родное гнездо, ты запорол моего несчастного сына... Шкуру сорву с тебя всю, живого изжарю, в кипящей смоле выкупаю, клочками буду рвать тело за каждый его крик, за каждый его стон!

Шляхтич побледнел.

— Я не виновен, я не трогал твоего сына,— произнес он, не спуская глаз с Богдана,— Ясинский расправился с ним и со всем хутором.

— Не виновен ты? Да не ты ли украл ее, изверг?

— Делай, что хочешь, но я не виновен. Я не крал ее против воли; она сама, по своей охоте захотела...

— Лжешь, ирод! — вырвал Богдан из-за пояса пистолет и занес его над головою шляхтича, но в это время между ним и Комаровским выросла фигура Морозенка.

— Стой, батьку,— произнес он твердым голосом,— собака эта не лжет...

Богдан бросил на Морозенка помутившийся, безумный взгляд, но опустил руку.

— Не лжет, батьку,— продолжал Морозенко взволнованным голосом,— ляховка обманывала тебя...

— Откуда ты знаешь?

— В Чигирине я нашел двух слуг Чаплинского,— заговорил торопливо Морозенко,— я допросил; они показали, что сначала пан с паней жили согласно, а потом начались споры, и староста попрекал ежедневно жену в том, что никто не брал ее силой, сама пошла по своей воле... и пани молчала.

Пистолет с грохотом выпал из рук Богдана; шатаясь, как пьяный, вышел он из шатра.

Полог захлопнулся. Пламя факела судорожно заколебалось, и соперники остались одни.

— Ну, теперь ты ответишь передо мной,— произнес хриплым голосом Морозенко, устремляя на Комаровского полный бешеной ненависти взгляд,— ты заклевал мою голубку; теперь же ты узнаешь и козацкую месть! Гей, хлопцы! — крикнул он, засучивая рукава.— Огня сюда, дыбу, железа.

— Пытай! Ха-ха... — исказилось злобной усмешкой лицо Комаровского,— теперь ты на свободе, я в кандалах... Не испугаюсь я твоей пытки, но Оксаны я не трогал...

— Клянись, собака!

— Перед тобой не стану клясться: ведь ты теперь это и сам знаешь... не трогал... не мог допустить насилия.

— Зачем же ты украл ее?

— Потому, что любил.

— Любил?! Ее... мою дивчыну... мою кохану?..

— Да, любил, — заговорил горячо Комаровский,— больше любил, чем ты, хлоп, можешь любить... Я бы ее не бросил одну и не уехал в степь... Отчего я не тронул ее? Ха-ха! Потому, что я любил ее и ждал, чтобы она меня полюбила.

— Не было бы этого вовеки, собака!

— Нет, было б, хлоп,— побагровел Комаровский,— если бы ты не украл ее у меня!

— Что?! — отступил Морозенко, не понимая слов противника.

— Да,— продолжал Комаровский,— если бы ты не украл ее!

— Ты лжешь или смеешься, сатана? — схватил его со всей силы за плечи Морозенко, и в глазах его запрыгали белые огоньки.

— Так это не ты? Не ты? — вцепился ему в руку Комаровский.

— Не я... Я не видел ее.

— А-а...— простонал Комаровский, хватаясь за голову.— Тогда она погибла!

— Ты знаешь что-то... Говори, на бога! — схватил его за борт кафтана Олекса.

— Стой! — поднял голову Комаровский, впиваясь в козака глазами. — Отвечай: кто выпустил тебя из тюрьмы?

— Не знаю.

— Не друг твой?

— Нет! Я ждал уже смерти,— заговорил отрывистыми словами Олекса,— моих друзей не было никого... уйти не было никакой возможности... тройные кандалы покрывали руки и ноги. Накануне мне прислали, кроме воды и хлеба, пищу; я съел и погрузился в глубокий сон. На утро кандалы мои были разбиты...

— Проклятье! — вскрикнул дико Комаровский.— Теперь все знаю!.. Погибла!

— Кто же?!

— Чаплинский! — Безумный вопль вырвался из груди Олексы, а Комаровский продолжал, задыхаясь и обрывая слова: — Он хищный волк! Он не пожалеет. Он выпустил тебя! Он сказал мне, что в ту же ночь, когда Оксана покинула мою хату, ты бежал из тюрьмы и что вместе с нею вы бросились с шайкой Богдана в дикую степь... Лжец, холоп! Ему нужно было отвлечь мои мысли и выслать меня в степь! И я поверил... А теперь все уж поздно, она погибла, погибла!

— Да где же он? — перебил его Морозенко.

— Не знаю, говорят, бежал в Литву...— вдруг в глазах Комаровского блеснул какой-то огонек, он схватил

Морозенка за руку и заговорил горячечным, страстным шепотом: — Слушай! Едем, едем немедленно, у тебя есть козаки... Я знаю местность, мы найдем его, быть может, еще не поздно.

Морозенко задумался на мгновенье.

— Нет! — произнес он решительно после минутного колебанья.— Вдвоем с тобою нам не ходить по свету!

В это время распахнулся полог, и в палатку вошли два козака с дымящимися жаровнями, полными углей и раскаленными добела длинными полосами железа.

— Не нужно! — произнес отрывисто Морозенко, обращаясь к козакам.— Снимите с него только кандалы!

Со звоном упали на землю цепи Комаровского.

— Идите! — указал Морозенко козакам на выход и, обратившись к Комаровскому, произнес твердо: — Ты наступил мне на сердце, но ты пощадил ее! Бери ж саблю! — бросил он ему лежавшую в стороне карабелу.— Защищайся! Пусть нас рассудит бог!..

Появление Морозенка, его сообщение, безумная ярость, охватившая с первых его слов Богдана, настолько ошеломили Богуна и Ганну, что несколько мгновений они не могли дать себе отчета в том, что произошло в один момент на их глазах. Когда же взгляд Ганны упал на удаляющуюся, почти бегущую вслед за Морозенком фигуру Богдана, все стало ей ясно, и стыд за мелкое чувство батька, и горе, и оскорбление — все это нахлынуло на нее какою-то страшною, темною волной. В ушах ее зазвенело, ноги подкосились, свет погас, Ганна бессильно опустилась на лаву и уронила голову на стол. «Его тянет она, Елена! Да неужели же нет для него ничего дороже тех шелковых кос и лживых лядских очей?» Ганна охватила голову руками и словно занемела.

В палатке было тихо; слышалось только тяжелое, прерывистое дыханье Богуна. В душе козака происходила глухая, затаенная борьба. Наконец, подавленный, глубокий вздох вырвался из его груди; Богун сжал с силой свои руки, так что кости в них треснули, и подошел к Ганне.

— Бедная моя дивчына! — произнес он тихо и положил ей руку на плечо.

Ганна вздрогнула и подняла голову.

— Бедная, бедная моя! — повторил еще печальнее козак.

Ганна взглянула на него, и ей стало ясно сразу, что Богуну теперь понятно все.

— Брате мой! — произнесла она дрогнувшим голосом, подымаясь с места.

— Не надо, Ганна,— остановил ее Богун и молча прижал ее голову к своей груди... Несколько минут они стояли так неподвижно, безмолвно, не произнося ни одного слова.

— Эх, Ганна, — произнес он наконец с горькою усмешкой,— не судилось нам с тобой, бедная, счастья! Что ж делать? Проживем как-нибудь и так!..

В это время послышались вблизи чьи-то неверные шаги и в палатку вошел Богдан; он шел, шатаясь, словно пьяный, ничего не видя перед собой; лицо его было так расстроено, так ужасно, что и Богун, и Ганна молча расступились перед ним.

— Лгала, лгала! Все лгала, все! — вскрикнул дико Богдан, не замечая их присутствия, и тяжело опустился на лаву.— На груди моей замышляла гнусную измену! Меня целовала и кивала из-за спины ляху! Старый осмеянный дурень!..—сорвал он с головы шапку.—Что ж теперь делать? Чем смыть позор? — слова его вырывались бурно, бессвязно, дико.— Такая гнусная измена! В Литву все силы двину! Весь край ваш до пня обшарю, до последней щепки!.. Растерзаю тебя, как собаку, лошадьми затопчу! — схватился он, как безумный, с места.

— Дядьку! — произнесла тихо Ганна, дотрагиваясь до его руки.

— А!..— отшатнулся в ужасе Богдан.— Ты здесь? — и, схвативши ее за плечи, он приблизил к ней свое обезумевшее лицо и крикнул хриплым голосом: — Лгала она, Ганно, все лгала!

— Знаю, дядьку!

— Ты знаешь? Откуда?

— Так должно было статься. Разве могла она оценить вашу гордость и славу? Разве могла разделить ваши думы? Не стоит она, дядьку, ни вашего гнева, ни мести. В такую минуту, когда вся Украйна смотрит на вас заплаканными глазами, что может значить ее измена? Поверьте, все, что ни делает господь, все идет нам

на благо, и ни один волос не падает с нашей головы без воли его!

Молча слушал Ганну Богдан, не подымая глаз.

— Так, так,— произнес он с горькою усмешкой, когда Ганна умолкла,— не стоит? А что, скажи мне, Ганно,— поднял он на нее глаза,— заполнит в этом сердце ту пустоту, которая останется здесь навек?

Богун взглянул на Ганну; лицо ее медленно побледнело.

— Каждая букашка, каждая былинка, каждое божье творенье,— продолжал страстно Богдан, не обращая ни на кого внимания,— тянется к свету, так как же жить человеку, когда свет угаснет перед ним?

— Так, дядьку, человеку,— произнесла твердо Ганна, и в глазах ее вспыхнул вдохновенный огонь,— человеку, но не тому, кого послал господь... Что заменит ее, спрашиваете вы, дядьку? Смотрите ж сюда! — отбросила она сильным движением весь полог палатки, и пред глазами Богдана предстала величественная своеобразная картина. Огромные костры, факелы и смоляные бочки, расставленные во всех местах, подымали к небу столбы огня и сверкающих искр, освещая на далекое расстояние широко раскинувшийся лагерь и группы козаков, разместившихся возле костров.

В палатке стало тихо; пораженные красотой зрелища, и Богдан, и Ганна, и Богун молчали.

Гей, не дивуйте, добрії люде,
що на Вкраїні повстало! —

донеслись к ним могучие звуки величественной песни; звуки росли, ширились и, казалось, заполняли собою весь небосклон.

— Слышишь, слышишь, батьку? — заговорила Ганна прерывающимся от волнения голосом, простирая руку к открывшемуся зрелищу.— Это голос всей Украйны! Это тебе поет она, тебя славит! Кто пробудил ее голос? Кто собрал сюда эти десятки тысяч людей? Кто вывел отчизну из неволи? Богдан, Богдан! Ему обязаны мы жизнью, честью... Каждый из собравшихся здесь отдаст за него свою жизнь! В его руках вся доля нашей отчизны, нет сердца во всей Украйне, которое билось бы для нее горячее! Он поведет нас к свободе и славе, и мы пойдем за ним...

— Пойдем, пойдем! — вскрикнул восторженно Богун, не отрывая от освещенной заревом Ганны своих горящих глаз.

— Так, друзи, вы правы! — протянул им Богдан руки и поднял голову.

Лицо его было спокойно и величественно, только меж бровей лежала горькая, мучительная складка.

— Последний струп сорвался с сердца! Теперь я ваш, дети, душой и сердцем, отныне и вовек!..

LXXX

Целая неделя пролетела незаметно в усиленных хлопотах. Не отступая от Корсуня, Богдан знал решительно все, что делалось кругом. Паника и бессилие всего края были очевидны, но Богдан решил не предпринимать пока больших военных операций, а отправить послов в Варшаву с письмом к королю, словно не зная о его смерти, чтобы разведать истинные намерения панов. Пока же послы привезут решительные вести из Варшавы, решено было заложить обоз под Белою Церковью для того, чтобы находиться в самом центре восстания.

Жаркое июньское солнце близилось к полдню. В лагере все готовилось к отъезду: нагружали возы и фуры, укладывали палатки, пригоняли отправленные в степь табуны коней. Отовсюду слышались торопливые окрики, ржание, грохот... В палатке гетмана, за столом, покрытым разными письмами, разорванными пакетами и бумагами, сидел пан писарь войсковый Иван Выговский. Склонившись над огромным листом пергамента, он старательно выводил на нем длинные, витиеватые строки; но, видимо, содержание работы крайне не нравилось пану писарю.

— А, пане Иване, ты тут? — раздался голос Богдана.

— Кончаю, ясновельможный, грамоту к московскому царю [127],— сорвался Выговский с места и с почтительным поклоном приблизился к Богдану.

— Ну что ж, готово?

— Все кончено, только подпись гетманская.

— А вернулись ли послы от севских воевод?

— Сегодня на рассвете; вот и письмо,— подал он Богдану разорванный пакет.

Богдан тревожно развернул его, но с первых же строк лицо его прояснилось, и чем дальше читал он, тем спокойнее и радостнее становились его черты.

Воевода извещал гетмана[128], что неприятель христианской веры наклеветал, будто московское государство хочет воевать с козаками: «Не имейте от нас никакого опасения,— писал он,— мы с вами одной православной, христианской веры».

— Ну, слава господу! — вздохнул облегченно Богдан, оканчивая письмо,— я так и думал: теперь уже ляхам не сдобровать, Иване! — обратился он весело к Выговскому.— Где грамота?

— Вот, ясновельможный!

— Все ли написал?

— Как сказано... но...— замялся Выговский,— что, если об этих грамотах узнают в сенате?.. Тогда вряд ли нам удастся заключить с Речью мир.

— А на кой бес нам ихний мир?

— Удобный час... для старшины, для гетмана... можно было б выговорить большие льготы.

— А для народа что?

— Ну, церковь... вера...

— И канчуки, и неволя?

— На большее не согласится панство.

— А мы не отступим от своего. Нет, Иване,— опустил он Выговскому руку на плечо,— теперь уже не то, что прежде! А если еще и государь московский пришлет нам свою помощь, то не они нам, а мы им пропишем саблей свои законы.

— Зачем же нам еще союзники, когда уже есть татары, ясновельможный? Войско разбито... теперь мы справимся с ляхами и сами.

— Татары — не христиане, — возвысил голос гетман.— Ведь сколько получили добычи, кажись, можно было б заткнуть самую ненасытную глотку, а вот не дальше как вчера мне донесли, что они бросились разорять наш край; сожгли Махновку, Глинск, Прилуки[129].

— Война... что делать, гетмане? — попробовал еще раз осторожно Выговский поколебать решимость Богдана.

— С врагами, но не с союзниками,— возразил строго Богдан и стал просматривать грамоту.

— Так... так,— повторял он время от времени, кивая одобрительно головой.

«Отдаемся вам с нижайшими услугами,— кончалась грамота,— если ваше царское величество услышишь, что ляхи сызнова на нас хотят наступить, поспешайся с своей стороны на них наступить, а мы их, с божьей помощью, возьмем отсюда, и да управит бог из давних лет глаголемое пророчество, что все в милости будем» [130].

— Аминь! — произнес вслух Богдан и, склонившись над столом, омочил перо в чернила и подписал крупными буквами: «Богдан-Зиновий Хмельницкий, войска Запорожского гетман, власною рукой» [131].

— Ну, нового что? — справился он.

— Кодак сдался [132],— ответил Выговский.

— Не может быть!

— Сам сдался... Нежинцы осадили, и когда подложили мины, старый волк Гродзицкий сам выслал им ключи.

— Ты позовешь ко мне победителей, клянусь, это стоит царской награды! Ха-ха-ха! — зашагал широкими шагами гетман, радостно потирая руки.— Жаль, что старый Конецпольский не дожил до этого дня! А Иеремия? Ух, осатанеет! Они тогда издевались над нами, показывая эту твердыню. Думали, что она пригнетет нас, как камень утопленных на дно... Но не сбылось... Ха-ха-ха! «Что создано руками, то руками и разрушено может быть»,— сказал я им тогда, и свершилось: упал Кодак! И не один еще Кодак упадет! — остановился он перед Выговским с возбужденным лицом и высоко вздымающеюся грудью.— Так, пане Иване: «Унижу сильные и возвеличу слабые!» Иди готовь послов, пусть едут с богом,— поднял он обе руки,— да чтобы зашли еще ко мне перед отъездом.

Выговский низко поклонился и, взявши грамоту, вышел из палатки.

Гетман остался один; несколько времени он молча смотрел вслед удаляющемуся писарю, затем тихо прошелся по палатке и тяжело опустился на лаву. Выражение гордости, уверенности, величия мало-помалу сбежало с его лица и заменилось отпечатком глубокой грусти.

Его вывели из задумчивости чьи-то легкие шаги.

В палатку вошла Ганна; лицо ее за эту неделю сильно осунулось, но глаза смотрели добро и энергично.

— Ну, что, Ганнусенько,— встал ей навстречу Богдан и взял за обе руки девушку,— одначе ты побледнела, любая, что это значит?

— Хлопот много, дядьку,— ответила уклончиво Ганна, опуская глаза,— лечила раненых... Умирал Комаровский, которого ранил Морозенко... Прибыло много нищих, калек, всех надо ведь оделить...

Богдан усадил Ганну рядом с собой; с минуту он молчал, не спуская с нее глаз, собираясь, видимо, сказать что-то решительное, и затем заговорил взволнованным голосом:

— Слушай, Ганно, голубка моя тихая, я много виноват перед тобою. Но погоди, дай время, все успокоится,— провел он рукою по лбу.— Да, видишь ли, господь послал мне двух ангелов на моем жизненном пути: один толкал меня на все злое, приковывая нечеловеческою, непреоборимою прелестью бесовских чар, и он отошел, отошел, Ганно, а светлый,— притянул он к себе ее голову,— светлый остался со мной!

— Мий таточку, коханый, любый! — захлебнулась Ганна и, опустившись перед ним на колени, припала со слезами к его руке.

Перед палаткой послышался яростный шум. Среди вспыхнувшего вдруг гама раздавались отчаянные проклятия, крики, угрозы; видимо, какое-то возмущающее известие упало, словно ядро, среди лагеря и взбудоражило всех козаков. Богдан поднялся было, чтобы направиться ко входу, но в это время влетел страшный и мрачный, как черная туча, Кривонос.

— Гетмане,— произнес он отрывисто,— я хочу поговорить с тобой.

— Оставь нас, Ганно! — произнес Богдан.

Ганна поспешно вышла.

— Ну, что? Что такое? — подошел он встревоженный к Кривоносу.

— Ярема выступил [133].

— Сам на сам?

— Да, с ним панских войск восемь тысяч да свои три. Идет к Переяславлю... Только что прибежала сюда кучка поселян, спасшихся от его казни... От ужаса их волосы поседели за одну ночь, мозг помутился... К нему сте-

кается со всех сторон перепуганная шляхта. Собака кричит, что сам усмирит нас своею саблей, как бешеных псов! Все жжет, все рубит на своем пути...

— Иуда! Отступник, проклятый богом! — вскрикнул бешено Богдан.— На кол, на кол его! Собакам на растерзание; татарам на потеху... Слушай, Максиме,— заговорил он торопливо, беря Кривоноса за борт жупана,— позови мне Кречовского... пусть собирается немедленно и завтра же выйдет на Ярему в поход.

— Нет, батьку, нет! — схватил его Кривонос за руку и заговорил диким, задыхающимся голосом.— Если у тебя есть бог в сердце, отдай Ярему мне! Ты знаешь все, знаешь те страшные раны, которыми он пробил мое сердце и искалечил меня на всю жизнь. Нет у меня через него ни бога в сердце, ни счастья на земле! Одною мыслью живу я все время: помститься над ним! Всю жизнь, Богдане, я ждал этой минуты, приготовлял восстание, подымал народ, топил свое сердце в горилке, чтоб не дать подняться тому горю, от которого не было бы спасенья и в пекельном огне! И чтоб теперь... теперь... когда все это здесь... в руках... близко... утерять его?! Нет! Нет!

Кривонос замолчал; дыхание шумно вырывалось из его груди, ноздри раздувались, на багровом лице рубец выделялся страшною синею полосой.

— Твоя правда, друже,— произнес после долгой паузы Богдан,— не имею я права отказать тебе... ты заслужил того своею страшною мукой: бери его — он твой!

— Богдане! Батьку! До смерти! — бросился к Богдану Кривонос и заключил его в свои бешеные объятия. Несколько мгновений он не мог придти в себя от охватившего его бешеного восторга.

Друзья обнялись еще раз.

— А теперь,— продолжал Богдан,— останься, я послал созвать всех старшин, прибудет и славное лыцарство татарское, сейчас соберутся, выпьем перед прощаньем по доброму кубку вина. Да́ вот и они,— заметил он входящих в палатку Богуна, Чарноту, Нечая, Кречовского и других.

— Ясновельможному гетману слава! — приветствовали Богдана старшины.

— Товарыству! — ответил он радостно на поклоны старшин.

— Что ж, все готовы к отъезду?

— Все, батьку! — зашумели разом многие голоса.

— А слыхали ль, панове,— заявил в это время громко, входя в палатку, Выговский,—Корецкий, который вот тут из-под Корсуня вырвался, идет к Иеремии.

— Ха-ха! Не испугают нас! — крикнул своим зычным голосом Нечай.— Пусть собираются муравьи до одной кучи, легче будет чоботом раздавить, а то ищи их по всем углам!

Громкие шутки приветствовали размашистую удаль Нечая; только на Чарноту известие Выговского, казалось, произвело какое-то особое впечатление.

— Ты это верно знаешь? — подошел он к Выговскому.

— Только что сообщили люди. А что?

— Так, ничего,— ответил небрежно Чарнота и подошел к Богдану.— Батьку гетмане,— обратился он к нему не совсем уверенным голосом,— пусти и меня с братом Максимом.

— Ладно, ладно, а теперь вот что: не сбиваться всем в одно место,— заговорил Богдан,— вы, Ганджа и Нечай, пойдете на Подолье, ты, Кривонос, с Чарнотой и Вовгурой отправишься на Ярему, значит, перейдешь на тот берег Днепра. Ты, Половьян, и ты, Морозенко,— обратился он к Олексе, который стоял осторонь суровый, молчаливый, с застывшею мукой на лице,— пойдете на Волынь; мы сами станем в Киевщине...[134] Ну, а ты, Богун, останешься со мной?

— Нет, батьку! Отпусти и меня! — взмахнул чуприной козак.— Душно тут! На волю, на широкое погулянье тянет душа!

— Ну, хорошо, друже! — согласился Богдан.— Расправляйте, дети, крылья, только как услышите мой покрик, спешите немедленно в гнездо!

Тем временем, пока входили старшины, пока отдавались последние приказания и инструкции, слуги приготовляли все к пиршеству: покрывали скатертями столы, расставляли блюда, кубки, фляжки. Для Тугай-бея и татар приготовляли отдельный стол, на котором расставлены были кушанья и напитки, разрешенные правоверным Магометом. Все было готово, ждали Тугай-бея, наконец показался и он, окруженный блестящею свитой своих мурз.

Богдан сам вышел навстречу почетному гостю. После обмена первых приветствий и благожеланий, Тугай вошел вместе с Богданом в палатку; старшины шумно приветствовали славного богатыря. Поклонившись всем старшинам, Тугай важно уселся за приготовленным для него столом; мурзы окружили своего господина.

— Попроси сюда панну Ганну,— обратился Богдан к одному из козачков.

Ганна вошла.

— Останься здесь, голубка, будь нам за хозяйку,— взял ее ласково за руку Богдан и посадил рядом с собой.

— О батьку! — подняла Ганна полные счастья глаза, и лицо ее покрылось нежным румянцем.

Вокруг Богдана и Ганны разместились все старшины. Началось пиршество. Меды, мальвазии и венгржина ясновельможных гетманов лились неиссякаемою рекой.

Когда пир уже близился к концу, к Богдану подошел один из козачков и сообщил с озабоченным лицом, что какой-то неизвестный человек настойчиво требует немедленного свидания с гетманом.

— Веди его! — разрешил Богдан.

Козачок вышел и через несколько минут возвратился в сопровождении худого, смуглого человека в одежде зажиточного горожанина.

— Челом бьет старый Киев ясновельможному гетману, избавителю христиан! — произнес громко вошедший и отвесил у порога низкий поклон.

— Пан Крамарь, ты? — вскрикнули в один голос и Богдан, и Богун.— Каким образом? Зачем? Откуда? — изумился радостно Богдан и поднялся навстречу прибывшему. Все насторожились.

— Прислал меня к тебе, гетмане ясновельможный, старый Киев и святое Богоявленское братство! Нет больше в Киеве лядских воевод [135]: мы, горожане, выгнали всех ляхов, ксендзов и унитов. Киев свободен, гетмане, и ждет с раскрытыми воротами тебя!

— О господи! — поднял глаза к небу Богдан.

— Киев свободен! Киев свободен! — зашумели кругом радостные, едва верящие этому событию голоса.

— А святое Богоявленское братство шлет войску свою посильную помощь; все, что может дать для сильных братьев бедный, угнетенный городской люд...— Кра-

марь развязал свой толстый пояс, и на стол посыпались кучи золотых истертых старых и новых монет.

Козаки потупились... все были тронуты.

— Спасибо, спасибо, брате! — произнес взволнованным голосом Богдан, прижимая Крамаря к своей груди.— Панове, друзи! — наполнил он свой высокий кубок и обратился к присутствующим с еще влажными от волнения глазами. — Приходит час распрощаться нам, братья! Дай же, боже, чтобы мы снова встретились в такой же счастливый час! Все к нам слилось. Плывут отовсюду подмоги, города открывают свои ворота, крепости падают, господь благословляет победами каждый наш шаг. Земля наша все нам дает и ждет от нас спасенья, и мы не обманем ее надежд. Ударил час! Поезжайте же во все стороны Украйны, братья: берите крепости, города, замки, освобождайте люд, выводите мучеников на волю! Изгоняйте панов, ксендзов! Не останавливайтесь ни перед чем, теперь уже сломаны все преграды. Буря вынесла нас в открытое море, братья! Нет берега; кругом нас подымаются страшные волны; но им не захлестать нашу козацкую чайку: били ее и раньше немалые бури,— привыкла, вынесет и теперь! Не смотрите на то, что ветер рвет наши ветрила: в бурю крепнут козацкие силы и вольнее дышет грудь! Пусть молнии блещут,— они освещают нашу дорогу; пусть гром грохочет,— он разрывает черные скопища хмар. Распускайте же паруса! Играйте с бешеным ветром! Проясняется небо... разрывается мгла!.. Взойдет над нами светлое солнце, и полетим мы на распущенных крыльях к нашему светлому берегу вперед!

— Слава! Слава ясновельможному! — вырвался один бурный возглас из груди у всех.

— Украйне слава! — поднял высоко свой кубок Богдан.